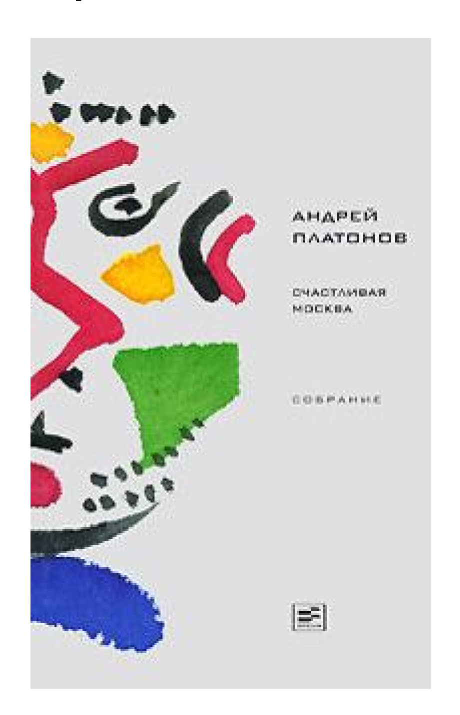
Андрей Платонович Платонов
Том 4. Счастливая Москва

Собрание сочинений – 4



«Собрание сочинений»: Время; Москва; 2010
ISBN 978-5-9691-0477-8

Аннотация

Перед вами — первое собрание сочинений Андрея Платонова, в которое включены все известные на сегодняшний день произведения классика русской литературы XX века.

В этот том классика русской литературы XX века Андрея Платонова вошла его проза 1930-х годов: роман «Счастливая Москва», восточная повесть «Джан» и рассказы, среди которых признанные шедевры — «Третий сын», «Фро», «Такыр», «Река Потудань»…

К сожалению, в файле не хватает трех рассказов.

Андрей Платонович Платонов
Собрание сочинений
Том 4. Счастливая Москва

Счастливая Москва

1

Темный человек с горящим факелом бежал по улице в скучную ночь поздней осени. Маленькая девочка увидела его из окна своего дома, проснувшись от скучного сна. Потом

она услышала сильный выстрел ружья и бедный грустный крик — наверно, убили бежавшего с факелом человека. Вскоре послышались далекие, многие выстрелы и гул народа с ближней тюрьме… Девочка уснула и забыла все, что видела потом в другие дни: она была слишком мала, и память и ум раннего детства заросли в ее теле навсегда последующей жизнью. Но до поздних лет в ней неожиданно и печально поднимался и бежал безымянный человек — в бледном свете памяти — и снова погибал во тьме прошлого, в сердце выросшего ребенка. Среди голода и сна, в момент любви или какой-нибудь молодой радости — вдруг вдалеке, в глубине тела опять раздавался грустный крик мертвого, и молодая женщина сразу меняла свою жизнь — прерывала танец, если танцевала, сосредоточенней, надежней работала, если трудилась, закрывала лицо руками, если была одна. В ту ненастную ночь поздней осени началась октябрьская революция — в том городе, где жила тогда Москва Ивановна Честнова.

Отец ее скончался от тифа, а голодная осиротевшая девочка вышла из дома и больше назад не вернулась. С уснувшей душой, не помня ни людей, ни пространства, она несколько лет ходила и ела по родине, как в пустоте, пока не очнулась в детском доме и в школе. Она сидела за партой у окна, в городе Москве. На бульваре уже перестали расти деревья, с них без ветра падали листья и покрывали умолкшую землю — на долгий сон грядущий; был конец сентября месяца и тот год, когда кончились все войны и транспорт начал восстанавливаться.

В детском доме девочка Москва Честнова находилась уже два года, здесь же ей дали имя, фамилию и даже отчество, потому что девочка помнила свое имя и раннее детство очень неопределенно. Ей казалось, что отец звал ее Олей, но она в этом не была уверена и молчала, как безымянная, как тот погибший ночной человек. Ей тогда дали имя в честь Москвы, отчество в память Ивана — обыкновенного русского красноармейца, павшего в боях, — и фамилию в знак честности ее сердца, которое еще не успело стать бесчестным, хотя и было долго несчастным.

Ясная и восходящая жизнь Москвы Честновой началась с того осеннего дня, когда она сидела в школе у окна, уже во второй группе, смотрела в смерть листьев на бульваре и с интересом прочитала вывеску противоположного дома: «Рабоче-крестьянская библиотека-читальня имени А.В. Кольцова». Перед последним уроком всем детям дали в первый раз их жизни по белой булке с котлетой и картофелем и рассказали, из чего делаются котлеты — из коров. Заодно велели всем к завтрашнему дню написать сочинение о корове, кто их видел, а также о своей будущей жизни. Вечером Москва Честнова, наевшись булкой и густой котлетой, писала сочинение за общим столом, когда все подруги ее уже спали и слабо горел маленький электрический свет. «Рассказ девочки без отца и матери о своей будущей жизни. — Нас учат теперь уму, а ум в голове, снаружи ничего нет. Надо жить по правде с трудом, я хочу жить будущей жизнью, пускай будет печенье, варенье, конфеты и можно всегда гулять в поле мимо деревьев. А то я жить не буду, если так, мне не хочется от настроения. Мне хочется жить обыкновенно со счастьем. Вдобавок нечего сказать».

Из школы Москва впоследствии сбежала. Ее вернули снова через год и стыдили на общем собрании, что она как дочь революции поступает недисциплинированно и неэтично.

— Я не дочь, я сирота! — ответила тогда Москва и снова стала прилежно учиться, как не бывшая нигде в отсутствии.

Из природы ей нравились больше всего ветер и солнце. Она любила лежать где-нибудь в траве и слушать о том, что шумит ветер в гуще растений, как невидимый, тоскующий человек, и видеть летние облака, плывущие далеко над всеми неизвестными странами и народами; от наблюдения облаков и пространства в груди Москвы начиналось сердцебиение, как будто ее тело было вознесено высоко и там оставлено одно. Потом она ходила по полям, по простой плохой земле и зорко, осторожно всматривалась всюду, еще только осваиваясь жить в мире и радуясь, что ей все здесь подходит — к ее телу, сердцу и свободе.

По окончании девятилетки Москва, как всякий молодой человек, стала бессознательно искать дорогу в свое будущее, в счастливую тесноту людей; ее руки томились по

деятельности, чувство искало гордости и героизма, в уме заранее торжествовала еще таинственная, но высокая судьба. Семнадцатилетняя Москва не могла никуда войти сама, она ждала приглашения, словно ценя в себе дар юности и выросшей силы. Поэтому она стала на время одинокой и странной. Случайный человек познакомился однажды с Москвой и победил ее своим чувством и любезностью — тогда Москва Честнова вышла за него замуж, навсегда и враз испортив свое тело и молодость. Ее большие руки, годные для смелой деятельности, стали обниматься; сердце, искавшее героизма, стало любить лишь одного хитрого человека, вцепившегося в Москву, как в свое непременное достояние. Но в одно утро Москва почувствовала такой томящий стыд своей жизни, не сознавая точно, от чего именно, что поцеловала спящего мужа в лоб на прощанье и ушла из комнаты, не взяв с собой ни одного второго платья. До вечера она ходила по бульварам и по берегу Москвы-реки, чувствуя один ветер сентябрьской мелкой непогоды и не думая ничего, как пустая и усталая.

Ночью она хотела залезть на ночлег куда-нибудь в ящик, найти порожнюю пищевую будку Мостропа или еще что-либо, как поступала она прежде в своем бродячем детстве, но заметила, что давно стала большая и не влезет незаметно никуда. Она села на скамью в темноте позднего бульвара и задремала, слушая, как бродят вблизи и бормочут воры и бездомовные хулиганы.

В полночь на ту же скамью сел незначительный человек, с тайной и совестливой надеждой, что, может быть, эта женщина полюбит его внезапно сама, поскольку он не мог по кротости своих сил настойчиво добиваться любви; он в сущности не искал ни красоты лица, ни прелести фигуры — он был согласен на все и на высшую жертву со своей стороны, лишь бы человек ответил ему верным чувством.

— Вам чего? — спросила его проснувшаяся Москва.

— Мне ничего, — ответил этот человек. — Так просто.

— Я спать хочу, и мне негде, — сказала Москва.

Человек сейчас же заявил ей, что у него есть комната, но во избежание подозрений в его намерениях — лучше ей снять номер в гостинице и там проспать в чистой постели, закутавшись в одеяло. Москва согласилась, и они пошли. По дороге Москва велела своему спутнику устроить ее куда-нибудь учиться — с пищей и общежитием.

— А что вы любите больше всего? — спросил он.

— Я люблю ветер в воздухе и еще разное кое-что, — сказала утомленная Москва.

— Значит — школа воздухоплавания, другое вам не годится, — определил сопровождающий Москву человек. — Я постараюсь.

Он нашел ей номер в Мининском Подворье, заплатил вперед за трое суток и дал на продукты тридцать рублей, а сам пошел домой, унося в себе свое утешение.

Через пять дней Москва Честнова посредством его заботы поступила в школу воздухоплавания и переехала в общежитие.

2

В центре столицы, на седьмом этаже, жил тридцатилетний человек Виктор Васильевич Божко. Он жил в маленькой комнате, освещаемой одним окном; гул нового мира доносился на высоту такого жилища как симфоническое произведение — ложь низких и ошибочных звуков затухала не выше четвертого этажа. В комнате было бедное суровое убранство, но не от нищеты, а от мечтательности: железная кровать эпидемического образца, с засаленным, насквозь прочеловеченным одеялом, голый стол, годный для большой сосредоточенности, стул из ширпотребного утиля, самодельные полки у стены с лучшими книгами социализма и девятнадцатого века, три портрета над столом — Ленин, Сталин и доктор Заменгоф, изобретатель международного языка эсперанто. Ниже тех портретов висели в четыре ряда мелкие фотографии безымянных людей, причем на фотографиях были не только белые лица, но и негры, китайцы и жители всех стран.

До позднего вечера комната эта бывает пуста; уставшие опечаленные звуки постепенно

замирают в ней, скучающее вещество потрескивает иногда, свет солнца медленно бредет по полу четырехугольником окна и стушевывается на стене в ночь. Все кончается, одни предметы томятся в темноте.

Приходит живущий здесь человек и зажигает технический свет электричества. Жилец счастлив и покоен, как обычно, потому что жизнь его не проходит даром; тело его устало за день, глаза побелели, но сердце бьется равномерно и мысль блестит ясно, как утром. Сегодня Божко, геометр и городской землеустроитель, закончил тщательный план новой жилой улицы, рассчитав места зеленых насаждений, детских площадок и районного стадиона. Он предвкушал близкое будущее и работал с сердцебиением счастья, к себе же самому, как рожденному при капитализме, был равнодушен.

Божко вынул пачку личных писем, получаемых им почти ежедневно в адрес службы, и сосредоточился в них своим размышлением за пустым столом. Ему писали из Мельбурна, Капштадта, Гонконга, Шанхая, с небольших островов, притаившихся в водяной пустыне Тихого океана, из Мегариды — поселка у подножия греческого Олимпа, из Египта и многочисленных пунктов Европы. Служащие и рабочие, дальние люди, прижатые к земле неподвижной эксплуатацией, научились эсперанто и победили безмолвие между народами; обессиленные трудом, слишком бедные для путешествий, они сообщались друг с другом мыслью.

В числе писем было несколько денежных переводов: негр из Конго перевел 1 франк, сириец из Иерусалима — 4 амдоллара, поляк Студзинский каждые три месяца переводил по 10 злотых. Они заранее строили себе рабочую родину, чтобы им было где приютиться на старости лет, чтобы дети их могли в конце концов убежать и спастись в холодной стране, нагретой дружбой и трудом.

Божко аккуратно вносил эти деньги на заем, а облигации отсылал невидимым владельцам с обратной распиской.

Изучив корреспонденцию, Божко писал ответ на каждое письмо, чувствуя свою гордость и преимущество как деятель СССР. Но писал он негордо, а скромно и с участием:

«Дорогой, отдаленный друг. Я получил ваше письмо, у нас здесь делается все более хорошо, общее добро трудящихся ежедневно приумножается, у всемирного пролетариата скопляется громадное наследство в виде социализма. Каждый день растут свежие сады, заселяются новые дома и быстро работают изобретенные машины. Люди также вырастают другие, прекрасные, только я остаюсь прежним, потому что давно родился и не успел еще отвыкнуть от себя. Лет через пять-шесть у нас хлеба и любых культурных удобств образуется громадное количество, и весь миллиард трудящихся на пяти шестых земли, взяв семьи, может приехать к нам жить навеки, а капитализм пусть остается пустым, если там не наступит революция. Обрати внимание на Великий Океан, ты живешь на его берегу, там плывут иногда советские корабли, это — мы. Привет».

Негр Арратау сообщал, что у него умерла жена; тогда Божко отвечал сочувствием, но приходить в отчаяние не советовал — надо сберечь себя для будущего, ибо на земле некому быть, кроме нас. А лучше всего — пусть Арратау немедленно приезжает в СССР, здесь он может жить среди товарищей, счастливей, чем в семействе.

На утренней заре Божко заснул со сладостью полезного утомления; во сне ему снилось, что он — ребенок, его мать жива, в мире стоит лето, безветрие и выросли великие рощи.

По своей службе Божко славился лучшим ударником. Кроме прямой геометрической работы, он был секретарем стенгазеты, организатором ячеек Осоавиахима и Мопра, завхозом огородного хозяйства и за свой счет учил в школе воздухоплавания одну малоизвестную ему девушку, чтобы хоть немного ослабить расходы государства.

Эта девушка раз в месяц заходила к Божко. Он ее угощал конфетами, отдавал ей деньги на пищу и свой пропуск в магазин ширпотреба, и девушка застенчиво уходила. Ей было неполных девятнадцать лет, ее звали Москва Ивановна Честнова; он ее встретил однажды на осеннем бульваре в момент своей стихийной печали и с тех пор не мог забыть.

После ее посещения Божко обычно ложился вниз лицом и тосковал от грусти, хотя

причиной его жизни была одна всеобщая радость. Поскучав, он садился писать письма в Индию, на Мадагаскар, в Португалию, созывая людей к участию в социализме, к сочувствию труженикам на всей мучительной земле, и лампа освещала его лысеющую голову, наполненную мечтой и терпением.

Один раз Москва Честнова пришла как обычно и не ушла сразу. Два года знал ее Божко, но стеснялся смотреться близко в ее лицо, не надеясь ни на что.

Москва смеялась, она окончила школу пилотов и принесла угощение за свой счет. Божко стал пить и есть с молодой Москвой, но сердце его билось с ужасом, потому что оно почувствовало давно заключенную в нем любовь.

Когда наступила поздняя ночь, Божко открыл окно в темное пространство, и в комнату прилетели бабочки и комары, но было так тихо всюду, что Божко слышал биение сердца Москвы Ивановны в ее большой груди; это биение происходило настолько ровно, упруго и верно, что, если можно было бы соединить с этим сердцем весь мир, оно могло бы регулировать теченье событий, — даже комары и бабочки, садясь спереди на кофту Москвы, сейчас же улетали прочь, пугаясь гула жизни в ее могущественном и теплом теле. Щеки Москвы, терпя давление сердца, надолго, на всю жизнь приобрели загорелый цвет, глаза блестели ясностью счастья, волосы выгорели от зноя над головой и тело опухло в поздней юности, находясь уже накануне женственной человечности, когда человек почти нечаянно заводится внутри человека.

Божко неотлучно, до нового светлого утра глядел и глядел на Москву, когда девушка уже давно уснула в его комнате, — и сонная, счастливая свежесть, как здоровье, вечер и детство, входили в усталого этого человека.

На другой день Москва пригласила Божко на аэродром — посмотреть работу новых парашютов.

Небольшой аэроплан взял к себе внутрь Москву и полетел высоко в вековое пустынное небо. В зените аэроплан приостановил мотор, наклонился вперед и скинул из-под своего туловища светлый комочек, который без дыхания понесся в бездну. В то же время невысоко над землей медленно летел другой аэроплан и, сбавив работу трех своих моторов, желал посадки. На низкой высоте, над этим трехмоторным парящим самолетом, одинокое воздушное тельце, беззащитно мчавшееся с нарастающим ускорением, распустилось в цветок, надулось воздухом и закачалось. Трехмоторный самолет сразу пустил все свои машины, чтобы уйти от парашюта, но парашют был слишком близок, его могло втянуть под винты в вихревые потоки, и умный пилот снова погасил моторы, давая парашюту свободу ориентации. Тогда парашют опустился на плоскость крыла и свернулся, а через несколько мгновений по накренившемуся крылу медленно и без испуга прошел небольшой человек и скрылся в машине.

Божко знал, что это прилетела из воздуха Москва; вчера он слышал ее равномерное, гулкое сердце — теперь он стоял и плакал от счастья за все смелое человечество, жалея, что давал Москве Честновой в течение двух лет сто рублей в месяц, а не по полтораста.

Ночью Божко опять, как обыкновенно, писал письма всему заочному миру, с увлечением описывая тело и сердце нового человека, превозмогающего смертельное пространство высоты.

А на рассвете, заготовив почту человечеству, Божко заплакал; ему жалко стало, что сердце Москвы может летать в воздушной природе, но любить его не может. Он уснул и спал без памяти до вечера, забыв про службу.

Вечером к нему постучался кто-то, и пришла Москва, счастливая по виду, как постоянно, и с прежним громким сердцем. Божко робко, от крайней нужды своего чувства, обнял Москву, а она его стала целовать в ответ. В исхудалом горле Божко заклокотала скрытая мучительная сила, и он больше не мог опомниться, узнавая единственное счастье теплоты человека на всю жизнь.

Каждое утро, просыпаясь, Москва Честнова долго смотрела на солнечный свет в окне и говорила в своем помышлении: «Это будущее время настает», и вставала в счастливой безотчетности, которая зависела, вероятно, не от сознания, а от сердечной силы и здоровья. Затем Москва мылась, удивляясь химии природы, превращающей обыкновенную скудную пищу (каких только нечистот Москва не ела в своей жизни!) в розовую чистоту, в цветущие пространства ее тела. Даже будучи сама собой, Москва Честнова могла глядеть на себя, как на постороннюю, и любоваться своим туловищем во время его мытья. Она знала, конечно, что здесь нет ее заслуг, но здесь есть точная работа прошлых времен и природы, — и позже, жуя завтрак, Москва мечтала что-то о природе — текущей водою, дующей ветром, беспрерывно ворочающейся, как в болезненном бреду, своим громадным терпеливым веществом… Природе надо было обязательно сочувствовать — она столько потрудилась для создания человека, — как неимущая женщина, много родившая и теперь уже шатающаяся от усталости…

По окончании школы воздухоплавания Москву назначили младшим инструктором при той же школе. Она теперь обучала группу парашютистов способу равнодушного прыжка из аэроплана и спокойствию характера при опускании в гулком пространстве.

Сама Москва летала, не ощущая в себе никакого особого напряжения или мужества, она лишь точно, как в детстве, считала, где «край», т. е. конец техники и начало катастрофы, и не доводила себя до «края». Но «край» был гораздо дальше, чем думали, и Москва все время отодвигала его.

Однажды она участвовала в испытании новых парашютов, пропитанных таким лаком, который скатывал прочь влагу атмосферы и позволял делать прыжки даже в дождь. Честнову снарядили в два парашюта — другой дали в запас. Ее подняли на две тысячи метров и оттуда попросили броситься на земную поверхность сквозь вечерний туман, развившийся после дождей.

Москва отворила дверь аэроплана и дала свой шаг в пустоту; снизу в нее ударил жесткий вихрь, будто земля была жерлом могучей воздуходувки, в которой воздух прессуется до твердости и встает вверх — прочно, как колонна; Москва почувствовала себя трубой, продуваемой насквозь, и держала все время рот открытым, чтобы успевать выдыхать внизывающийся в нее в упор дикий ветер. Кругом нее было смутно от тумана, земля находилась еще далеко. Москва начала раскачиваться, не видимая никем из-за мглы, одинокая и свободная. Затем она вынула папиросу и спички и хотела зажечь огонь, чтобы закурить, но спичка потухла; тогда Москва скорчилась, чтобы образовать уютное тихое место около своей груди, и сразу взорвала все спички в коробке — огонь, схваченный вихревою тягой, мгновенно поджег горючий лак, которым были пропитаны шелковые лямки, соединявшие тяжесть человека с оболочкой парашюта; эти лямки сгорели в ничтожное мгновение, успев лишь накалиться и рассыпаться в прах, — куда делась оболочка, Москва не рассмотрела, так как ветер начал сжигать кожу на ее лице вследствие жесткой, все более разгорающейся скорости ее падения вниз.

Она летела с горячими красными щеками, и воздух грубо драл ее тело, как будто он был не ветер небесного пространства, а тяжелое мертвое вещество, — нельзя было представить, чтобы земля была еще тверже и беспощадней. «Вот какой ты, мир, на самом деле! — думала нечаянно Москва Честнова, исчезая сквозь сумрак тумана вниз. — Ты мягкий, только когда тебя не трогаешь!» Она дернула кольцо запасного парашюта, увидела землю аэродрома в сигнальных огнях и закричала от внезапного мучения — раскрывшийся парашют рванул ее тело вверх с такой силой, что Москва почувствовала свои кости, как сплошь заболевшие зубы. Через две минуты она уже сидела на траве, покрытая парашютом, и стала выползать оттуда, вытирая слезы, выбитые ветром.

Первым к Москве Честновой подошел известный летчик Арканов, не погнувший за десять лет работы ни одного хвостового крюка, не знавший никогда ни неудачи, ни аварии.

Москва выползла из-под оболочки всесоюзной знаменитостью. Арканов и другой

пилот взяли ее под руки и повели в комнату отдыха, приветствуя по пути. На прощанье Арканов сказал Москве: «Нам жалко утратить вас, но, кажется, мы вас уже потеряли… Вы понятия не имеете о воздухофлоте, Москва Ивановна! Воздухофлот — это скромность, а вы — роскошь! Желаю вам всякого счастья!»

Через два дня Москву Честнову освободили на два года от летной работы вследствие того, что атмосфера — это не цирк для пускания фейерверков из парашютов.

Некоторое время о счастливом, молодом мужестве Москвы Честновой писали газеты и журналы; даже за границей полностью сообщили о прыжке с горящим парашютом и напечатали красивую фотографию «воздушной комсомолки», но потом это прекратилось, а Москва вообще не поняла своей славы: что это такое.

Она жила теперь на пятом этаже нового дома, в двух небольших комнатах. В этом доме жили летчики, конструкторы, различные инженеры, философы, экономические теоретики и прочие профессии. Окна квартиры Честновой выходили поверх окрестных московских крыш, и вдалеке — на ослабевшем, умирающем конце пространства видны были какие-то дремучие леса и загадочные вышки; на заходе солнца там одиноко блестел неизвестный диск, отражая последний свет на облака и на небо, — до этой влекущей страны было километров десять, пятнадцать, но, если выйти из дома на улицу, Москва Честнова не нашла бы туда дороги… Освобожденная от воздухофлота, Москва проводила свои вечера одна, к Божко она больше не ходила, подруг своих не звала. Она ложилась животом на подоконник, волосы ее свисали вниз, и слушала, как шумит всемирный город в своей торжественной энергии и раздается иногда голос человека из гулкой тесноты бегущих механизмов; подняв голову, Москва видела, как восходит пустая неимущая луна на погасшее небо, и чувствовала в себе согревающее течение жизни… Ее воображение работало непрерывно и еще никогда не уставало — она чувствовала в уме происхождение различных дел и мысленно принимала в них участие; в одиночестве она наполняла весь мир своим вниманием и следила за огнем фонарей, чтоб они светили, за гулкими равномерными ударами паровых копров на Москве-реке, чтоб сваи входили прочно в глубину, и думала о машинах, день и ночь напрягающихся в своей силе, чтоб горел свет в темноте, шло чтение книг, мололась рожь моторами для утреннего хлебопечения, чтоб нагнеталась вода по трубам в теплый душ танцевальных зал и происходило зачатье лучшей жизни в горячих и крепких объятиях людей — во мраке, уединении, лицом к лицу, в чистом чувстве объединенного удвоенного счастья. Москве Честновой не столько хотелось переживать самой эту жизнь, сколько обеспечивать ее — круглые сутки стоять у тормозного крана паровоза, везя людей навстречу друг другу, чинить трубу водопровода, вешать лекарства больным на аналитических весах — и потухнуть вовремя лампой над чужим поцелуем, вберя в себя то тепло, которое только что было светом. Свои интересы при этом она не отвергала — ей тоже надо было девать куда-нибудь свое большое тело, — она их лишь откладывала до более дальнего будущего: она была терпелива и могла ожидать.

Когда Москва свешивалась из своего окна в вечера одиночества, ей кричали снизу приветствия прохожие люди, ее звали куда-то в общий летний сумрак, обещали показать все аттракционы парка культуры и отдыха и купить цветов и сливочных тянучек. Москва смеялась им, но молчала и не шла. Позже Москва видела сверху, как начинали населяться окрестные крыши старых домов: через чердаки на железные кровли выходили семьи, стелили одеяла и ложились спать на воздухе, помещая детей между матерью и отцом; в ущельях же крыш, где-нибудь между пожарным лазом и трубой, уединялись женихи с невестами и до утра не закрывали глаз, находясь ниже звезд и выше многолюдства. После полуночи почти все видимые окна переставали светиться — дневной ударный труд требовал глубокого забвения во сне, — и шепотом, не беспокоя сигналами, проходили поздние автомобили; лишь изредка потухшие окна снова освещались на короткое время — это приходили люди с ночных смен, ели что-нибудь, не будя спящих, и сразу ложились спать; другие же — выспавшись, вставали уходить на работу — машинисты турбин и паровозов, радиотехники, бортмеханики утренних рейсов, научные исследователи и прочие

отдохнувшие.

Дверь в свою квартиру Москва Честнова часто забывала закрывать. Однажды она застала незнакомого человека, спящего на полу на своей верхней одежде. Москва подождала, пока проснется ее усталый гость. Он проснулся и сказал, что будет тут жить в углу — больше ему негде. Москва поглядела на этого человека; ему было лет сорок, на лице его лежали окоченелые рубцы миновавших войн и кожа имела бурый, обветренный цвет большого здоровья и доброго сердца, а рыжеватые усы кротко росли над утомленным ртом.

— Я бы не вошел к тебе без спроса, лохматая красавица, — сказал неизвестный гость, — но телу нужно покой давать, а места нету… Я тебя не обижу, считай меня как ничто, вроде лишнего стола. Ты ни звука, ни запаха не услышишь от меня.

Москва спросила его: кто он такой, гость объяснил про себя все подробно, с предъявлением документов.

— Ну а то как же! — произнес вселившийся. — Я человек обыкновенный, у меня все в порядке.

Он оказался весовщиком дровяного склада, родом из Ельца, и Москва Честнова не решилась отдалять коммунизм из-за бедности в жилищах и своего права на дополнительную площадь — она промолчала и дала жильцу подушку и одеяло. Жилец стал жить, по ночам он вставал и подходил на цыпочках к постели спящей Москвы, чтобы укрыть ее одеялом, потому что она ворочалась, раскрывалась и прозябала; по утрам же он никогда не ходил в уборную при квартире, не желая загружать ее своею гадостью и шуметь водой, а отправлялся в публичный клозет на дворе. Через несколько дней жизни в квартире Честновой весовщик уже укреплял каблуки на стоптанных туфлях Москвы, втайне чистил ее осеннее пальто от приставшего праха и согревал чай, с радостью ожидая пробуждения хозяйки. Москва сначала ругала весовщика за подхалимство, а потом, чтоб изжить такое рабство, ввела со своим жильцом хозрасчет — стала штопать ему носки и даже брить его щетину по лицу безопасной бритвой.

Вскоре комсомольская организация определила Честнову на временную работу в районный военкомат — для ликвидации упущений в учете.

4

Однажды в коридоре военкомата стоял худой и бледный вневойсковик с книжкой военного учета в руках. Ему казалось, что в райвоенкомате пахло так же, как в местах длительного заключения — безжизненностью томящегося человеческого тела, сознательно ведущего себя скромно и экономично, чтобы не возбуждать внутри себя замирающего влечения к удаленной жизни и не замучиться потом в тщетности, от тоски отчаяния. Равнодушная идеологичность убранства, сделанного по дешевому госбюджету, и незначительность служащих лиц обещали пришедшему человеку бесчувствие, происходящее от бедного или жестокого сердца.

Вневойсковик ожидал служащую у одного окна, пока она дочитывала стихи в книге; вневойсковик полагал, что от стихов каждый человек становится добрее — он сам читал книги до полуночи с молодости своей жизни и после того чувствовал себя грустно и безразлично. Служащая, дочитав стих, начала ставить вневойсковика на переучет, удивляясь тому, что этот человек, по данным учетного бланка, не был ни в белой, ни в красной армии, не проходил всеобщего военного обучения, не являлся никогда на сборно-учебные пункты, не участвовал в территориальных соединениях и в походах Осоавиахима и на три года пропустил срок своей перерегистрации. Неизвестно, каким способом, в какой тишине данный вневойсковик сумел укрыться от бдительности домоуправлений, со своей военно-учетной книжкой устаревшего образца.

Военнослужащая посмотрела на вневойсковика. Перед нею, за изгородью, отделявшей спокойствие учреждения от людей, стоял посетитель с давно исхудавшим лицом, покрытым морщинами тоскливой жизни и скучными следами слабости и терпения; одежда на

вневойсковике была так же изношена, как кожа на его лице, и согревала человека лишь за счет долговечных нечистот, въевшихся в ветхость ткани; он смотрел на служащую с робкой хитростью, не ожидая к себе сочувствия, и часто, опустив глаза, закрывал их вовсе, чтобы видеть тьму, а не жизнь; на одно мгновение он вообразил себе облака на небе — он любил их, потому что они его не касались и он им был чужой.

Поглядев нечаянно в даль военкомата, вневойсковик вздрогнул от удивления: на него смотрели два ясных глаза, обросших сосредоточенными бровями, не угрожая ему ничем. Вневойсковик много раз видел где-то такие глаза, внимательные и чистые, и всегда моргал против этого взгляда. «Это настоящая красная армия! — подумал он с грустным стыдом. — Господи! Почему я зря пропустил всю свою жизнь, ради иждевения самого себя!..» Вневойсковик всегда ожидал от учреждений ужаса, измождения и долготерпеливой тоски — здесь же он увидел вдалеке человека, сочувственно думающего по поводу него.

«Красная армия» встала с места — она оказалась женщиной — и подошла к вневойсковику. Он испугался прелести и силы ее лица, но из сожаления к своему сердцу, которое может напрасно заболеть от любви, отвернулся от этой служащей. Подошедшая Москва Честнова взяла у него учетную книжку и оштрафовала его на пятьдесят рублей за нарушение учетного закона.

— У меня денег нету, — сказал вневойсковик. — Я лучше как-нибудь живьем штраф оплачу.

— Ну как же? — спросила Москва.

— Не знаю, — тихо произнес вневойсковик. — Мне так себе живется.

Честнова взяла его за руку и отвела к своему столу.

— Отчего вам так себе живется? — спросила она. — Вы хотите что-нибудь?

Вневойсковик не мог ответить; он чувствовал, как пахло от этой служащей красноармейской женщины мылом, потом и какою-то милой жизнью, чуждой для его сердца, таящегося в своем одиночестве, в слабом тлеющем тепле. Он нагнул голову и заплакал от своего жалкого положения, а Москва Честнова в недоумении отпустила его руку. Вневойсковик постоял немного, а потом обрадовался, что его не задерживают, и скрылся в свое неизвестное жилище, чтобы просуществовать как-нибудь до гроба без учета и опасности.

Но Честнова нашла его адрес в переучетном бланке и через некоторое время пошла в гости к вневойсковику.

Она долго ходила в глуши Бауманского района, пока не отыскала один небольшой жакт, в котором находился вневойсковик. Это был дом с неработоспособным правлением и с дефицитным балансом расходов, так что его стены уже несколько лет не окрашивались свежей краской, а нелюдимый, пустой двор, где даже камни истерлись от детских игр, давно требовал к себе надлежащей заботы.

С печалью прошла Москва мимо стен и по смутно освещенным коридорам этого жакта, как будто ее обидели или она была виновата в чужой небрежной и несчастной жизни. Когда Москва Честнова вышла по ту сторону дома, обращенную к длинному сплошному забору, она увидела каменное крыльцо с железным навесом, над которым горел электрический фонарь. Она прислушалась к шуму в окружающем воздухе — за забором сбрасывали тес на землю, и слышно, как внизывались лопаты в грунт; у железного навеса стоял непокрытый лысый человек и играл на скрипке мазурку в одиночестве. На каменной плите лежала шляпа музыканта, прожившая все долгие невзгоды на его голове — и некогда она покрывала шевелюру молодости, а теперь собирала деньги для пропитания старости, для поддержания слабого сознания в ветхой голой голове.

Честнова положила в эту шляпу рубль и попросила сыграть ей что-нибудь Бетховена. Не сказав никакого слова, музыкант доиграл мазурку до конца и лишь затем начал Бетховена. Москва стояла против скрипача по-бабьи, расставив ноги и пригорюнившись лицом от тоски, волнующейся вблизи ее сердца. Весь мир вокруг нее стал вдруг резким и непримиримым — одни твердые тяжкие предметы составляли его и грубая темная сила

действовала с такой злобой, что сама приходила в отчаяние и плакала человеческим, истощенным голосом на краю собственного безмолвия. И снова эта сила вставала со своего железного поприща и громила со скоростью вопля какого-то своего холодного, казенного врага, занявшего своим мертвым туловищем всю бесконечность. Однако эта музыка, теряя всякую мелодию и переходя в скрежещущий вопль наступления, все же имела ритм обыкновенного человеческого сердца и была проста, как непосильный труд из жизненной нужды.

Музыкант глядел на Москву равнодушно и без внимания, не привлекаемый никакой ее прелестью, — как артист, он всегда чувствовал в своей душе еще более лучшую и мужественную прелесть, тянущую волю вперед мимо обычного наслаждения, и предпочитал ее всему видимому. Под конец игры из глаз скрипача вышли слезы — он истомился жить, и, главное, он прожил себя не по музыке, он не нашел своей ранней гибели под стеной несокрушимого врага, а стоит теперь живым и старым бедняком на безлюдном дворе жакта, с изможденным умом, в котором низко стелется последнее воображение о героическом мире. Против него — по ту сторону забора — строили медицинский институт для поисков долговечности и бессмертия, но старый музыкант не мог понять, что эта постройка продолжает музыку Бетховена, а Москва Честнова не знала, что там строится. Всякая музыка, если она была велика и человечна, напоминала Москве о пролетариате, о темном человеке с горящим факелом, бежавшем в ночь революции, и о ней самой, и она слушала ее как речь вождя и собственное слово, которое она всегда подразумевает, но никогда вслух не говорит.

На входной двери висела фанерная доска с надписью: «Правление жакта и домоуправление». Честнова вошла туда, чтобы узнать номер квартиры вневойсковика, — он указал в учетном бланке один номер дома.

До канцелярии жакта шел деревянный коридор, по обе стороны его жили вероятно многодетные семьи — там сейчас с обидой и недовольством кричали дети, деля пищу на ужин между собой. Внутри деревянного коридора стояли жильцы и беседовали на все темы, какие есть на свете, — о продовольствии, ремонте дворовой уборной, о будущей войне, о стратосфере и смерти местной, глухой и безумной прачки. На стенах коридора висели плакаты Мопра, Управления сберкасс, правила ухода за грудным ребенком, человек в виде буквы «Я», сокращенный на одну ногу уличной катастрофой, и прочие картины жизни, пользы и бедствий. Многие люди приходили сюда, в деревянный коридор домоуправления, часов с пяти вечера, сразу после работы, и простаивали на ногах, размышляя и беседуя, вплоть до полуночи, лишь изредка нуждаясь в какой-либо справке домоуправления. Москве Честновой было удивительно узнать это; она не могла понять, почему люди жались к жакту, к конторе, к справкам, к местным нуждам небольшого счастья, к самоистощению в пустяках, когда в городе были мировые театры, а в жизни еще не были разрешены вечные загадки мучения, и даже у наружной двери играл прекрасную музыку скрипач, не внимаемый никем.

Пожилой управдом, работавший в шуме людей — среди дыма и разных вопросов, — дал Честновой точную справку о всем вневойсковике: он жил в коридорной системе второго этажа, в комнате номер 4, пенсионер третьего разряда, общественный актив жакта много раз ходил к нему — уговаривать насчет необходимости своевременного переучета и оформления своего военного положения, но вневойсковик уже несколько лет обещал это сделать, собираясь с завтрашнего утра потратить весь день на формальные нужды, но до сих пор не выполнил своего обещания по бессмысленной причине; с полгода назад сам управдом посетил вневойсковика на этот предмет, увещевал его три часа, сравнивал его состояние с тоскою, скукой и телесной нечистоплотностью, как если бы он не чистил зубы, не мылся и вообще наносил сам себе позор, с целью критики советского человека.

— Не знаю, что и делать с ним, — сказал управдом. — Один такой во всем жакте.

— А чем он занимается вообще? — спросила Москва.

— Я же тебе сказал: пенсионер третьей категории, сорок пять рублей получает. Ну, он еще в осодмиле состоит, пойдет постоит на трамвайной остановке, поштрафует публику и

опять на квартиру вернется…

Москве стало грустно от жизни такого человека, и она сказала:

— Как нехорошо все это!..

Управдом вполне согласился с нею:

— Хорошего в нем нету!.. Летом он часто в парк культуры ходил, но тоже — зря. Ни оркестра не послушает, ни мимо зрелищ не погуляет, а как придет, так сядет около отделения милиции и просидит там целый день — то разговаривает понемногу, то ему поручение какое-нибудь дадут: он сделает пойдет, — любит он административную работу, хороший осодмилец…

— Он женатый? — спросила Москва.

— Нет, он неопределенный… Формально холост, но все ночи проводит молча с женщинами, уж сколько лет подряд. Это его принципиальное дело, жакт тут стоит в стороне… Но вот что — женщины к нему являются некультурные, неинтересные, такая, как вы, — первая. Не советую: убогий человек…

Москва ушла из правления дома. По-прежнему стоял музыкант у входа, но ничего не играл, а сам что-то слушал молча из ночи. Далекое зарево трепетало над центром города, волнуясь в бегущих тучах, и огромное, загроможденное мраком небо открывалось вдруг мгновенным и острым светом, сверкнувшим из-под трамвайного провода. В близком клубе местного транспорта пел хор молодых работниц, увлекая силой вдохновения собственную жизнь в далекие края будущего. Честнова пошла в тот клуб и пела там и танцевала, пока распорядитель, заботясь об отдыхе молодежи, не потушил свет. Тогда Москва уснула где-то за кулисами сцены на фанерной бутафории, обняв по девической привычке временную подругу, такую же усталую и счастливую, какой была сама.

5

Небрежный и нечистоплотный от экономии своего времени, Самбикин чувствовал мировую внешнюю материю как раздражение собственной кожи. Он следил за всемирным течением событий день и ночь, и ум его жил в страхе своей ответственности за всю безумную судьбу вещества.

По ночам Самбикин долго не мог заснуть от воображения труда на советской земле, освещенного сейчас электричеством. Он видел сооружения, густо оснащенные тесом, где ходили неспящие люди, укрепляя молодые доски из свежего леса, чтобы самим держаться на высоте, где дует ветер и видно, как идет ночь по краю мира в виде остатка вечерней зари. Самбикин сжимал свои руки от нетерпения и радости, а потом вдруг задумывался во мраке, забывая моргать по полчаса. Он знал, что тысячи юношей-инженеров, сдавших свою смену, сейчас тоже не спят, а ворочаются в беспокойстве в общежитиях и в новых домах — по всей равнине страны, а иные, только улегшись на отдых, уже бормочут и постепенно одеваются обратно, чтобы уйти опять на постройку, потому что их ум начала мучить одна забытая днем деталь, грозящая ночной аварией.

Самбикин вставал с кровати, зажигал свет и ходил в волнении, желая предпринять что-либо немедленно. Он включал радио и слышал, что музыка уже не играет, но пространство гудит в своей тревоге, будто безлюдная дорога, по которой хотелось уйти. Тогда Самбикин звонил в институтскую клинику и спрашивал — есть ли сейчас срочные операции, он будет ассистировать. Ему отвечали, что есть: привезли ребенка с опухолью на голове, которая растет с ежеминутной скоростью, и мальчик темнеет сознанием.

Самбикин выбегал на московскую улицу; трамваи уже не ходили, по асфальтовым тротуарам звучно стучали высокие каблуки женщин, возвращавшихся домой из театров и лабораторий или от любимых ими людей. Самбикин, действуя своими длинными ногами, быстро добегал до Бауманского района, где строился медицинский экспериментальный институт специального назначения. Институт не был еще окончательно оборудован, и сейчас в нем работали только два отделения — хирургии и травматическое. Двор института был

загружен трубами, досками, вагонетками и ящиками с научным инвентарем; забор детского масштаба, отделявший строительство от какого-то жилищного дома, накренился и вовсе поник.

На этом дворе Самбикин услышал вдруг жалкую музыку, тронувшую его сердце не столько мелодией, сколько неясным воспоминанием чего-то прожитого, оставленного в забвении. Он заслушался на минуту; музыка играла по ту сторону бедного забора. Самбикин влез на забор и увидел постаревшего лысого скрипача, игравшего в безлюдьи, в два часа ночи. Самбикин прочел вывеску над входной дверью дома, у которого играл музыкант: «Правление жакта и домоуправление». Самбикин достал рубль и хотел дать его музыканту за работу, но скрипач отказался. Он сказал, что сейчас играет для себя, потому что ему тоскливо и он может спать только на утренней заре, а до нее еще далеко…

Около малой операционной залы уже висели два мягких баллона с кислородом и стояла старшая дежурная сестра. В конце коридора, в отдельной комнате-боксе, сплошь застекленной по стороне, обращенной в коридор, больного ребенка готовили к операции — ему быстро брили голову две сестры. За левым ухом у мальчика, заняв полголовы, вырос шар, наполненный горячим бурым гноем и кровью, и этот шар походил на вторую дикую голову ребенка, сосущую его изнемогающую жизнь. Ребенок сидел в кровати и не спал: ему было лет семь. Он смотрел опустевшими, уснувшими глазами и немного поднимал руки в воздух, когда его сердце заходилось от боли, мучаясь и не ожидая пощады.

В живом сознании Самбикина с точным ощущением встала болезнь ребенка, и он потер у себя за ухом, ища шаровидную опухоль — вторую безумную голову, в которой сжимается смертный гной. Он пошел готовиться к операции.

Переодеваясь и думая, он слышал шум в своем левом ухе — это гной в голове ребенка химически размывал и разъедал последнюю костяную пластину, защищавшую его мозг; в уме мальчика сейчас уже стелется туманная смерть, жизнь держится еще под защитой костяной пленки, но в ней осталось толщины не более доли миллиметра, и слабеющая кость вибрирует под напряжением гноя.

— Что он сейчас видит в своем сознании? — спрашивал сам у себя Самбикин про больного. — Он видит сны, берегущие его от ужаса… Он видит двух своих матерей, моющих его в ванне, а это две сестры бреют его волосы. И он одного только боится: почему две матери?.. Он видит любимую кошку, которая живет с ним дома в комнате, и эта кошка впилась ему сейчас в голову…

Пришел старый хирург-оператор, которому должен помогать Самбикин. Старик был готов и приглашал своего ассистента. Вести операцию самостоятельно Самбикину еще не давали: ему было двадцать семь лет, и хирургический стаж его продолжался всего второй год.

Все звуки в хирургическом институте тщательно уничтожались, и сигнализация совершалась цветным светом. В комнате дежурного врача зажглись три лампы разных цветов — и вслед за тем почти бесшумно были совершены несколько действий: по пробковому ковру коридора проехала низкая тележка на резиновых колесах и отвезла больного в операционную залу; электромонтер переключил электрический свет на питание из институтской аккумуляторной батареи, чтобы свет не зависел от случайностей городской сети, и пустил в ход аппарат, нагнетающий озонированный воздух в операционную; дверь операционной залы беззвучно открылась, и в лицо больного ребенка подул прохладный и благоуханный ветер из специального прибора — мальчик получил усыпление и улыбнулся, освобожденный от последних следов страдания.

— Мама, я очень сильно заболел, меня сейчас резать будут, но мне ничуть не больно, — сказал он и стал беспомощным и чуждым самому себе. Жизнь словно отлучилась из него самого и сосредоточилась в отдаленном и грустном воображении снов; он видел предметы, всю сумму своих впечатлений, — эти предметы мчались мимо него, и он узнавал их — вот забытый гвоздь, который он держал в руках давно, гвоздь теперь заржавел, стал старый, вот черная маленькая собака, с ней он играл когда-то на дворе — она лежит мертвая

в мусоре, с разбитой стеклянной банкой на голове, вот железная крыша на низком сарае, он влезал на нее, чтобы смотреть с высоты, она пустая сейчас, и железо скучает по нем, а его долго нет; стоит лето, тень матери лежит на земле, идет милиция, но ее оркестр играет неслышно…

Старый хирург предложил Самбикину вести операцию, а он будет ассистировать.

— Начнем, — сказал старик в светлой глуши залы.

Самбикин взял резкий, блестящий инструмент и вошел им в существо всякого дела — в тело человека. Острая, мгновенная стрела вышла позади глаз из ума мальчика, побежала по его телу — он следил за ней воображением — и ударила ему в сердце: мальчик вздрогнул, все предметы, знавшие его, заплакали по нем, и сон его воспоминаний исчез. Жизнь сошла еще ниже, она тлела простой, темной теплотой в своем терпеливом ожидании. Самбикин чувствовал руками, как греется все более тело ребенка, и спешил. Он спускал гной из разверстых покровов головы и проникал в кость — он искал первичные очаги заражения.

— Тише, медленнее, — говорил старый хирург. — Скажите пульс, — обратился он к старшей сестре.

— Аритмия, доктор, — сказала сестра. — Иногда не слышно вовсе.

— Ничего, инерция сердца всегда велика — выправится.

— Держите ему голову! — указал Самбикин сестрам. Он приступил к выборке костных участков, в порах которых таился гной.

Инструмент звенел, как при холодной металлообработке, Самбикин шел в ударах на ощупь — глубже или мельче — на точном чувстве искусства; большие глаза его остекленели без влаги — ему некогда было моргать, — бледные щеки стали смуглыми от силы крови, пришедшей ему на помощь из глубины его сердца. Извлекая костяные секции, Самбикин глядел в них в свете рефлектора, нюхал, сжимал для лучшего ознакомления и передавал старшему хирургу; тот равнодушно бросал их в посуду.

Мозг приближался; выкалывая кости из черепа, Самбикин исследовал их теперь под микроскопом и все еще находил в них гнезда стрептококков. В некоторых местах головы ребенка Самбикин дошел уже до последней костной пластинки, ограждающей мозг, и зачистил ее по поверхности от смертного серого налета. Его руки действовали так, как будто они сами думали и считали каждый допуск движения. По мере удаления стрептококков их становилось меньше, но Самбикин переходил на сильнейшие микроскопы, которые показывали, что число гноеродных телец, быстро убывая, целиком все же не исчезает. Он вспомнил знаменитое математическое уравнение, выражающее распределение теплоты по пруту бесконечной длины, и прекратил операцию.

— Тампонировать и бинтовать! — приказал он, ибо, чтобы совершенно уничтожить стрептококков, надо было искрошить не только всю голову больного, но и все его тело до ногтей на пальцах ног.

Самбикину было ясно, что разверстое, с тысячами рассеченных сосущих кровеносных сосудов, горячее, беззащитное тело больного жадно вбирало в себя стрептококков отовсюду — из воздуха, а особенно — из инструмента, который стерелизовать начисто невозможно. Нужно было давно перейти на электрическую хирургию — входить в тело и кости чистым и мгновенным синим пламенем вольтовой дуги — тогда все, что носит смерть, само будет убито и новые стрептококки, проникнув в раны, найдут в них сожженную пустыню, а не питательную среду.

— Кончено, — сказал Самбикин.

Сестры уже перевязывали голову больного. Они повернули его лицом к врачам.

Тепло жизни, пробиваясь изнутри, розовыми полосами шло по бледному лицу ребенка и быстро размывалось прочь; затем оно возникало снова и опять стушевывалось. Глаза его были почти открыты и высохли настолько, что региновое вещество немного сморщилось от сухости…

— Он мертвый, — сказал старый врач.

— Нет еще, — ответил Самбикин и поцеловал ребенка в увядшие губы. — Он будет

жить. Дайте ему немного кислорода. Пить не давать до утра.

По выходе из клиники Самбикин встретил трясущуюся, судорожную женщину — мать ребенка. Ее не пускали по правилам и за поздней ночью. Самбикин поклонился ей и велел пропустить ее к сыну.

Загоралось утро. Самбикин посмотрел через забор на соседний жакт, все пусто было, скрипач ушел спать. Из двери вышел человек скромной наружности со сморщенной, изношенной годами и трудностью женщиной. Спутник ей убедительно признавался в любви; Самбикин нечаянно заслушался его голоса — в этом голосе звучала темная грудная грусть, и это делало его трогательным, хотя человек говорил пошлость и глупость.

— А война будет, ты бросишь меня, — робко возражала женщина.

— Я? Нет, нисколько! Я последняя категория, я вневойсковик, почти ничто… Пойдем за сарай ляжем полежим, душа опять болит.

— Иль ты в комнате не долюбил меня? — счастливо удивилась женщина.

— Маленько — нет, — сказал вневойсковой любовник. — Сердце еще болит, не остыло.

— Ишь, хамлет какой! — улыбнулась женщина. — И здоровья ему не жалко!

Она была горда сейчас, что нравится и увлекает мужчин. Вневойсковик сжался от утренней прохлады в своем истертом, усталом пальто и поспешил под руку с женщиной, видимо, желая как можно скорее отделаться от всего…

Самбикин пошел по Москве. Ему странно и даже печально было видеть пустые трамвайные остановки, безлюдные черные номера маршрутов на белых таблицах, — они вместе с трамвайными мачтами, тротуарами и электрическими часами на площади тосковали по многолюдству.

Самбикин задумался, по своему обыкновению, над жизнью вещества — над самим собой; он относился сам к себе как к подопытному животному, как к части мира, доставшейся ему для исследования всего целого и неясного.

Он думал всегда и беспрерывно, его душа сейчас же заболевала, если Самбикин останавливался мыслить, и он снова работал над воображением мира в голове, ради его преобразования. Ночью ему снились его разрушенные мысли, а он тщетно шевелился в постели, силясь вспомнить их дневной порядок, затем мучился и просыпался, радуясь утреннему свету и восстановленной ясности ума. Его длинное, усохшее тело, доброе и большое, всегда шумно жило и дышало, точно этот человек был алчный — постоянно хотел есть и пить, и громадное лицо имело вид опечаленного животного, только нос его был настолько велик и чужд даже громадному лицу, что сообщал кротость всему выражению характера.

Домой Самбикин пришел уже в светлое время, когда летнее великое утро горело на небе так мощно, что Самбикину казалось — свет гремит. Он позвонил в институт, ему сказали — оперированный ребенок хорошо спит, температура снижается, мать его тоже уснула на другой кровати. Передумав все о сегодняшней операции и все очередные проблемы, Самбикин почувствовал свое тоскующее, опустевшее сердце — ему надо было опять действовать, чтобы приобрести задачу для размышления и угомонить неясный и алчущий, совестливый вопль в душе. Спал он мало, и лучше всего после большой работы, тогда и сны в благодарность оставляли его. Нынче он действовал недостаточно, разум в голове не мог устать и хотел еще работать, отвергая сон. Пометавшись беспомощно по комнате, Самбикин пошел в ванну, разделся там и с удивлением оглядел свое тело юноши, затем пробормотал что-то и залез в холодную воду. Вода умиротворила его, но он тут же понял, насколько человек еще самодельное, немощно устроенное существо — не более как смутный зародыш и проект чего-то более действительного, и сколько надо еще работать, чтобы развернуть из этого зародыша летящий, высший образ, погребенный в нашей мечте…

Вечером в районном клубе комсомола собрались молодые ученые, инженеры, летчики, врачи, педагоги, артисты, музыканты и рабочие новых заводов. Никому не было более двадцати семи лет, но каждый уже стал известен по всей своей родине — в новом мире, и каждому было немного стыдно от ранней славы, и это мешало жить. Пожилые работники клуба, упустившие свою жизнь и талант в неудачное буржуазное время, с тайными вздохами внутреннего оскудения привели в порядок мебельное убранство в двух залах — в одном для заседания, в другом для беседы и угощения.

Одним из первых пришел двадцатичетырехлетний инженер Селин с комсомолкой Кузьминой, пианисткой, постоянно задумчивой от воображения музыки.

— Пойдем жевнем чего-нибудь, — сказал ей Селин.

— Жевнем, — согласилась Кузьмина.

Они пошли в буфет; там Селин, розовый мощный едок, съел сразу восемь бутербродов с колбасой, а Кузьмина взяла себе только два пирожных; она жила для игры, а не для пищеварения.

— Селин, почему ты ешь так много? — спросила Кузьмина. — Это может хорошо, но на тебя стыдно смотреть!

Селин ел с негодованием, он жевал как пахал — с настойчивым трудом, с усердием в своих обоих надежных челюстях.

Вскоре пришли сразу десять человек: путешественник Головач, механик Семен Сарториус, две девушки подруги — обе гидравлики, композитор Левченко, астроном Сицылин, метеоролог авиаслужбы Вечкин, конструктор сверхвысотных самолетов Мульдбауэр, электротехник Гунькин с женой, — но за ними опять послышались люди и еще пришли некоторые. Все уже были знакомы между собой — по работе, по встречам и по разным сведениям.

Пока не началось заседание, каждый предался своему удовольствию — кто дружбе, кто пище, кто вопросам на нерешенные задачи, кто музыке и танцам. Кузьмина нашла небольшую комнату с новым роялем и с наслаждением играла там девятую симфонию Бетховена — все части, одна за другой, по памяти. У нее сжималось сердце от глубокой свободы и воодушевленной мысли этой музыки и от эгоистической грусти, что она сама так сочинять не умеет. Электротехник Гунькин слушал Кузьмину и думал о высокой частоте электричества, простреливающей вселенную насквозь, о пустоте высокого грозного мира, всасывающего в себя человеческое сознание… Мульдбауэр видел в музыке изображение дальних легких стран воздуха, где находится черное небо и среди него висит немерцающее солнце с мертвым накалом своего света, где — вдалеке от теплой и смутно-зеленой земли — начинается настоящий серьезный космос: немое пространство, изредка горящее сигналами звезд — о том, что путь давно свободен и открыт… Скорее же покончить с тяжкой возней на земле, и пусть тот же старый Сталин направит скорость и напор человеческой истории за черту тяготения земли — для великого воспитания земли — для великого воспитания разума в мужестве давно предназначенного ему действия.

Немного спустя сюда же пришла Москва Честнова и молча улыбалась от радости видеть своих товарищей и слышать музыку, возбуждающую ее жизнь на исполнение высшей судьбы.

Позже всех в клуб явился хирург Самбикин; он только что был в институтской клинике и сам делал перевязку оперированному им мальчику. Он пришел подавленный скорбью устройства человеческого тела, сжимающего в своих костях гораздо больше страдания и смерти, чем жизни и движения. И странно было Самбикину чувствовать себя хорошо — в напряжении своей заботы и ответственности. Весь его ум был наполнен мыслью, сердце билось покойно и верно, он не нуждался в лучшем счастье — и в то же время ему становилось стыдно от сознания этого своего тайного наслаждения… Он хотел уже уйти из клуба, чтобы поработать ночью в институте над своим исследованием о смерти, но вдруг увидел проходящую мимо Москву Честнову. Неясная прелесть ее наружности удивила Самбикина; он увидел силу и светящееся воодушевление, скрытые за скромностью и даже

робостью лица. Раздался звонок к началу заседания. Все пошли из комнаты, где находился Самбикин, одна Честнова задержалась, укрепляя чулок на ноге. Когда она управилась с чулком, то увидела одного Самбикина, глядевшего на нее. От стеснения и неловкости — жить в одном мире, делать одно дело и не быть знакомыми — она поклонилась ему. Самбикин подошел к ней, и они отправились вместе слушать заседание.

Они сели рядом и среди речей, славы и приветствий Самбикин ясно слышал пульсацию сердца в груди Москвы.

Он спросил ее шепотом в ухо:

— Отчего у вас сердце так стучит?.. Я его слышу!

— Оно летать хочет, и бьется, — с улыбкой прошептала Москва Самбикину. — Я ведь парашютистка!

«Человеческое тело летало в каких-то погибших тысячелетиях назад, — подумал Самбикин. — Грудная клетка человека представляет свернутые крылья».

Он попробовал свою нагретую голову — там тоже что-то билось, желая улететь из темной одинокой тесноты.

После собрания наступило время общего ужина и развлечений. Молодые гости разошлись по многим помещениям, прежде чем сесть к общему столу.

Механик Сарториус пригласил Москву Честнову танцевать, и она пошла кружиться с ним, с любопытством разглядывая великое круглое лицо знаменитого изобретателя в области точной индустрии, инженера — расчетчика мирового значения. Сарториус держал Москву крепко, танцевал тяжко и робко улыбался, выдавая свое сжатое влечение к Москве. Москва же смотрела на него как влюбленная — она быстро предавалась своему чувству и не играла женскую политику равнодушия. Ей нравился этот неинтересный человек, ростом меньше ее, с добрым и угрюмым лицом, который не вытерпел своего сердца и пошел на крайнюю для себя смелость — приблизился к женщине и пригласил ее танцевать. Но вскоре это, наверно, ему наскучило, руки его уже привыкли к теплоте тела Москвы, горячего под легким платьем, и он начал что-то бормотать. Москва же, услышав такое, сразу обиделась:

— Сам меня обнимает, сам со мной танцует, а думает совсем другое, — сказала она.

— Это я так, — ответил Сарториус.

— Сейчас же скажите, что — так, — нахмурилась Москва и перестала танцевать.

Самбикин с ветром пронесся мимо них — он тоже танцевал, приурочившись к какой-то комсомолке большой миловидности. Москва улыбнулась ему:

— Неужели и вы танцуете? Вот странный какой!

— Надо жить всесторонне! — с ходу ответил ей Самбикин.

— А вам охота? — крикнула ему Москва.

— Нет, я притворяюсь, — ответил ей Самбикин. — Это теоретически!

Комсомолка, обидевшись, сейчас же покинула Самбикина, и он засмеялся.

— Ну, говорите скорей, — с надуманной серьезностью обратилась Москва к Сарториусу.

«Неужели она дура? Жалко!» — подумал Сарториус. Здесь к ним подошел метеоролог Вечкин, затем Самбикин, и Сарториус не успел ничего ответить Москве. Встретились они лишь спустя час — за общим ужином.

Большой стол был накрыт для пятидесяти человек. Цветы, казавшиеся задумчивыми от своей красоты, стояли через каждые полметра, и от них исходило посмертное благоухание. Жены конструкторов и молодые женщины-инженеры были одеты в лучший шелк республики — правительство украшало лучших людей. Москва Честнова была в чайном платье, весившем всего три-четыре грамма, и сшито оно было настолько искусно, что даже пульс кровеносных сосудов Москвы обозначился волнением ее шелка. Все мужчины, не исключая небрежного Самбикина и обросшего, грустного Вечкина, пришли в костюмах из тонкого матерьяла, простых и драгоценных; одеваться плохо и грязно было бы упреком бедностью к стране, которая питала и одевала присутствующих своим отборным добром, сама возрастая на силе и давлении этой молодости, на ее труде и таланте.

Небольшой комсомольский оркестр играл на балконе за открытой дверью маленькие пьесы. Пространный воздух ночи входил через дверь балкона в залу, и цветы на длинном столе дышали и сильнее пахли, чувствуя себя живыми в потерянной земле. Древний город шумел и озарялся светом, как новостройка, иногда смех и голос прохожего человека доносился с улицы сюда, в клуб, и Честновой Москве хотелось выйти и пригласить ужинать всех: все равно социализм настает! Ей было по временам так хорошо, что она желала покинуть как-нибудь самое себя, свое тело в платье, и стать другим человеком — женой Гунькина, Самбикиным, вневойсковиком, Сарториусом, колхозницей на Украине…

Люстры завода «Электроприбор» бледной и нежной энергией покрывали людей и богатое убранство; легкая предварительная закуска стояла на столе, а основной ужин еще грелся вдалеке в кухонных очагах.

Собравшиеся, которые были красивы от природы или от воодушевления и незаконченной молодости, долго устраивались со своими местами, ища лучшего соседства, но в конце концов желая сесть сразу со всеми вблизи.

И вот когда они уселись, тридцать человек, то их внутренние живые средства, возбужденные друг другом, умножились, и среди них и родился общий гений жизненной искренности и счастливого соревнования в умном дружелюбии. Но остронастроенный такт взаимных отношений, приобретенный в трудной технической культуре, где победа не дается двусмысленной игрой, — этот такт поведения не допускал ни глупости, ни сантиментальности, ни самомнения. Присутствующие знали или догадывались об угрюмых размерах природы, о протяженности истории, о долготе будущего времени и о действительных масштабах собственных сил; они были рациональные практики и неподкупны к пустому обольщению.

Более других была нетерпелива и безумна Москва Честнова. Она выпила, никого не ожидая, стакан вина и покраснела от радости и непривычки. Сарториус заметил это и улыбнулся ей своим неточным широким лицом, похожим на сельскую местность. Его отцовская фамилия была не Сарториус, а Жуйборода, а мать крестьянка его выносила в своих внутренностях рядом с теплым пережеванным ржаным хлебом.

Самбикин также наблюдал за Честновой и думал над нею: любить ему ее или не надо; в общем она была хороша и ничья, но сколько мысли и чувства надо изгнать из своего тела и сердца, чтобы вместить туда привязанность к этой женщине? И все равно Честнова не будет ему верна, и не может она никогда променять весь шум жизни на шепот одного человека.

«Нет, я любить ее не буду и не могу, — навсегда решил Самбикин. — Тем более, придется как-то портить ее тело, а мне жалко, лгать день и ночь, что я прекрасный… Не хочу, трудно!» Он забылся в течении своего размышления, утратив в памяти всех присутствующих. Присутствующие же, хотя и сидели за обильным и вкусным столом, но ели мало и понемногу, они жалели дорогую пищу, добытую колхозниками трудом и терпением, в бедствиях борьбы с природой и классовым врагом. Одна Москва Честнова забылась и ела и пила, как хищница. Она говорила разную глупость, разыгрывала Сарториуса и чувствовала стыд, пробирающийся к ней в сердце из ее лгущего, пошлого ума, грустно сознающего свое постыдное пространство. Никто не обидел Честнову и не остановил ее, пока она не изошла своею силой и не замолчала сама. Самбикин знал, что глупость — это естественное выражение блуждающего чувства, еще не нашедшего своей цели и страсти, а Сарториус наслаждался Москвой независимо от ее поведения; он уже любил ее как живую истину и сквозь свою радость видел ее неясно и неверно.

Во время шума людей и уже позднего вечера в залу незаметно вошел Виктор Васильевич Божко и сел у стены на диване, не желая быть замеченным. Он увидел красную, веселую Москву Честнову и вздрогнул от боязни ее. К ней подошел какой-то молодой ученый человек и запел над нею:

Ты ходишь пьяная,
Ты вся уж бледная,

Такая милая
Подруга верная…

Москва, услышав это, закрыла лицо руками и неизвестно — заплакала или застыдилась себя. Сарториус в тот момент спорил с Вечкиным и Мульдбауэром; Сарториус доказывал, что после классового человека на земле будет жить проникновенное техническое существо, практически работой ощущающее весь мир… Древние люди, начавшие историю, тоже были техническими существами; греческие города, порты, лабиринты, даже гора Олимп — были сооружены циклопами, одноглазыми рабочими, у которых древними аристократами было выдавлено по одному зрачку — в знак того, что это — пролетариат, осужденный строить страны, жилища богов и корабли морей, и что одноглазым нет спасения. Прошло три или четыре тысячи лет, сто поколений, и потомки циклопов вышли из тьмы исторического лабиринта на свет природы, они удержали за собою шестую часть земли, и вся остальная земля живет лишь в ожидании их. Даже бог Зевс, вероятно, был последний циклоп, работавший по насыпке олимпийского холма, живший в хижине наверху и уцелевший в памяти античного аристократического племени; буржуазия тех ветхих времен не была глупой — она переводила умерших великих рабочих в разряд богов, ибо она втайне удивлялась, не в силах понять творчества без наслаждения, что погибшие молчаливо обладали высшей властью — трудоспособностью и душою труда — техникой.

Сарториус встал на ноги и взял чашку с вином. Короткого роста, с обыкновенным согретым жизнью лицом, увлеченный мысленным воображением, он был счастлив и привлекателен. Честнова Москва загляделась на него и решила когда-нибудь поцеловаться с ним. Он произнес среди своих замолкших товарищей:

— Давайте выпьем за безымянных циклопов, за воспоминанье всех погибших наших измученных отцов и за технику — истинную душу человека!

Все сразу выпили, а музыканты заиграли старую песнь на стихи Языкова:

Там за валом непогоды
Есть блаженная страна,
Где не темнеют неба своды,
Не проходит тишина…

Божко сидел покорно и незаметно; он радовался больше участников вечера, он знал, что непогода проходит и блаженная страна лежит за окном, освещенная звездами и электричеством. Он скупо, молчаливо любил эту страну и поднимал каждую крошку, падающую из ее добра, чтоб страна уцелела полностью.

Подали обильный ужин. Его бережно начали отведывать, но Семен Сарториус не мог уже ни есть, ни пить ничего. Мученье любви к Честновой Москве сразу занялось во всем его теле и сердце, так что он открыл рот и усиленно дышал, как будто ему стало неудобно в груди. Москва издали и загадочно улыбалась ему, ее таинственная жизнь доходила до Сарториуса теплом и тревогой, а зоркие глаза ее глядели на него невнимательно, как на рядовой факт. «Эх, физика сволочь! — понимал Сарториус свое положение. — Ну вот что мне теперь делать, кроме глупости и личного счастья!»

Городская ночь светилась в наружной тьме, поддерживаемая напряжением далеких машин; возбужденный воздух, согретый миллионами людей, тоской проникал в сердце Сарториуса. Он вышел на балкон, поглядел на звезды и прошептал старые слова, усвоенные понаслышке: «Боже мой!» Самбикин по-прежнему сидел за столом, не трогая пищи; он был увлечен своим размышлением дальше завтрашнего утра и смутно, как в тумане над морем, разглядывал будущее бессмертие. Он хотел добыть долгую силу жизни или, быть может, ее вечность из трупов павших существ. Несколько лет назад, роясь в мертвых телах людей, он снял тонкие срезы с сердца, с мозга и железы половой секреции. Самбикин изучил их под микроскопом и заметил на срезах какие-то ослабевшие следы неизвестного вещества. После,

испытывая эти почти погасшие следы на химическую реакцию, на электропроводность, на действие света, он открыл, что неизвестное вещество обладает едкой энергией жизни, но бывает оно только внутри мертвых, в живых его нет, в живых накапливаются пятна смерти — задолго до гибели. Самбикин озадачился тогда на целые годы, и сейчас озадаченность его еще не прошла: труп, оказывается, есть резервуар наиболее напорной, резкой жизни, хотя и на краткое время. Исследуя точнее, размышляя почти беспрерывно, Самбикин начинал соображать, что в момент смерти в теле человека открывается какой-то тайный шлюз и оттуда разливается по организму особая влага, ядовитая для смертного гноя, смывающая прах утомления, бережно хранимая всю жизнь, вплоть до высшей опасности. Но где тот шлюз в темноте, в телесных ущельях человека, который скупо и верно держит последний заряд жизни? Только смерть, когда она несется по телу, срывает ту печать с запасной, сжатой жизни и она раздается в последний раз как безуспешный выстрел внутри человека и оставляет неясные следы на его мертвом сердце… Свежий труп весь пронизан следами тайного замершего вещества, и каждая часть мертвеца хранит в себе творящую силу для уцелевших жить. Самбикин предполагал превратить мертвых в силу, питающую долголетие и здоровье живых. Он понимал девственность и могущество той младенческой влаги, которая омывает внутренность человека в момент его последнего дыхания; эта влага, добавленная в живого, но поникшего человека, способна его сделать прямым, твердым и счастливым…

Он стоял долго; все теперь было для него нерешенным и посторонним. Чужие люди ехали на трамвае по улице, и звуки движения и разговорная речь доносились до слуха Сарториуса точно издалека; он слушал их без интереса и любопытства, как больной и одинокий. Он захотел сейчас же уйти домой, лечь под одеяло и согреть свою внезапную боль до того, чтоб она отошла к утру, когда снова придется идти [на работу][1].

За его спиной наслаждались его сверстники сознанием своего успеха и будущей технической мечтой. Мульдбауэр говорил о слое атмосферы на высоте где-то между пятьюдесятью и стами километров; там существуют такие электромагнитные, световые и температурные условия, что любой живой организм не устанет и не умрет, но будет способен к вечному существованию среди фиолетового пространства. Это было «Небо» древних людей и счастливая страна будущих: за далью низко стелющейся непогоды действительно находится блаженная страна. Мульдбауэр предсказывал близкое завоевание стратосферы и дальнейшее проникновение в синюю высоту мира, где лежит воздушная страна бессмертия; тогда человек будет крылатым, а земля останется в наследство животным и вновь навсегда зарастет дебрями своей ветхой девственности. «И животные это предчувствуют, — убежденно говорил Мульдбауэр. — Когда я гляжу им в глаза, мне кажется — они думают: когда же это кончится, когда же вы оставите нас! Животные думают: когда же люди оставят их одних для своей судьбы!»

Сарториус скучно улыбнулся; он хотел бы сейчас остаться в самом низу земли, поместиться хотя бы в пустой могиле и неразлучно с Москвой Честновой прожить жизнь до смерти. Однако ему жалко было оставить без своего ответа эти ночные звезды, с детства глядящие на него, быть безучастным к всеобщей жизни, наполненной трудом и чувством сближения между людьми, он боялся идти по городу безмолвным, склонив голову, с сосредоточенной одинокой мыслью любви и не желал стать равнодушным к своему столу, набитому идеями в чертежах, к своей железной пролежанной койке, к настольной лампе, его терпеливому свидетелю во тьме и тишине рабочих ночей… Сарториус гладил свою грудь под сорочкой и говорил себе: «Уйди, оставь меня опять одного, скверная стихия! Я простой инженер и рационалист, я отвергаю тебя, как женщину и любовь… Лучше я буду преклоняться перед атомной пылью и перед электроном!» Но мир, стелющийся перед его глазами огнем и шумом, уже замирал в своих звуках, заходил за темный порог его сердца и оставлял после себя живым лишь единственное, самое трогательное существо на свете.

[1] Слово вычеркнуто в рукописи, но замена не найдена.

Неужели он откажется от него, чтобы поклониться атому, пылинке или праху?

Москва Честнова вышла к Сарториусу на балкон. Она ему сказала с улыбкой:

— Почему вы такой печальный… Вы меня любите или нет?

Она дышала на него теплотою улыбающегося рта, платье ее шелестело, — скука зла и мужества охватила Сарториуса. Он ответил ей:

— Нет. Я любуюсь другою Москвой — городом.

— Ну тогда ничего, — охотно примирилась Честнова. — Пойдемте ужинать. Там ест больше всех товарищ Селин… Весь объелся, сидит красный, а глаза все время печальные. Не знаете почему?

— Нет, — тихо ответил Сарториус. — Я сам тоже печальный…

Москва пригляделась во тьме к его несоразмерному лицу, по нему шли слезы при открытых глазах.

— Лучше не плачьте, — сказала Москва. — Я тоже вас люблю…

— Вы врете, — не поверил Сарториус.

— Нет, правда, — совершенно верно! — воскликнула Честнова. — Пойдемте отсюда поскорей…

Когда они проходили под руку среди торжествующих друзей, Самбикин посмотрел на них своими глазами, забывшими моргать и отвлеченными размышлением в далекую страну от личного счастья. У выхода перед грудью Москвы очутился Божко и с уважением произнес свою терпеливую просьбу. Честнова настолько обрадовалась ему, что схватила со стола кусок торта и сразу угостила Божко.

Виктор Васильевич служил теперь в тресте весоизмерительной промышленности и был увлечен всецело заботой о гирях и весах. Он попросил Москву Ивановну познакомить его с таким знаменитым инженером, который мог бы изобрести простые и точные весы, чтоб их можно было сделать за дешевую цену для всех колхозов и совхозов и для всей советской торговли. Божко здесь же сообщил, не видя грусти Сарториуса, о великих и незаметных бедствиях народного хозяйства, о дополнительных трудностях социализма в колхозах, о снижении трудодней, о кулацкой политике, развертывающейся на основе неточности гирь, весов и безменов, о массовом, хотя и невольном, обмане рабочего потребителя в кооперации и распределителях… И все это происходит лишь благодаря ветхости государственного весового парка, устарелой конструкции весов и недостатку металла и дерева для постройки новых весовых машин.

— Вы меня извините, что я пришел сюда невольно, — говорил Божко. — Я понимаю, что я скучный. Здесь говорили, а я слышал, как человек скоро будет летающим и счастливым. Я это буду слушать всегда и с удовольствием, но нам нужно пока немного… Нам нужно хлеб и крупу вешать в колхозах с правильностью.

Москва улыбнулась ему с кротостью своего преходящего нрава:

— Вы прекрасный, советский наш человек!.. Сарториус, ступайте завтра же в ихний трест, сделайте им чертеж самых дешевых, самых простых весов — и чтоб правильные были!

Сарториус задумался.

— Это трудно, — сознался он. — Легче усовершенствовать паровоз, чем весы. Весы работают уже тысячи лет… Это все равно что изобрести новое ведро для воды. Но я приду в ваш трест и помогу вам, если сумею.

Божко дал адрес своего учреждения и ушел в свою комнату, где его ожидал обычный труд по всемирной корреспонденции.

7

Они приехали за город почти с последним трамваем и назад не могли возвратиться. Далекое электрическое зарево небосклон отражал обратно на землю, и самый бедный свет доходил до здешней ржаной нивы и лежал на ее колосьях, как ранняя, неверная заря. Но

была еще поздняя ночь.

Честнова Москва сняла туфли и пошла босиком по полевой мякоти. Сарториус со страхом и радостью следил за ней; что бы она ни делала сейчас, все ему приносило в сердце содрогание, и он пугался развертывающейся в нем тревожной и опасной жизни. Он шел за нею, все время нечаянно отставая, и однообразно думал о ней, но с такой трогательностью, что если бы Москва присела мочиться, Сарториус бы заплакал.

Честнова дала ему понести туфли, он незаметно обнюхал их и даже коснулся языком; теперь Москва Честнова и все, что касалось ее, даже самое нечистое, не вызывало в Сарториусе никакой брезгливости, и на отходы из нее он мог бы глядеть с крайним любопытством, потому что отходы тоже недавно составляли часть прекрасного человека.

— Товарищ Сарториус, что же мы теперь будем делать? — спросила Москва. — Ведь ночь еще стоит и скоро ляжет роса…

— Не знаю, — угрюмо ответил Сарториус. — Мне, наверно, придется любить вас.

— Вот колхоз в лощине спит, — показала Честнова вдаль. — Там хлебом сейчас пахнет и ребятишки сопят в овинах. А коровы лежат где-нибудь на выгоне, и над ними начинается туман рассвета… Как люблю я все это видеть и жить!

Сарториусу же были теперь безразличны все коровы и сопящие во сне ребятишки. Он даже хотел, чтобы земля стала пустынной и Москва бы не отвлекала никуда своего внимания, а целиком сосредоточилась на нем.

Под утро Москва и Сарториус сели в землемерную яму, обросшую теплым бурьяном, спрятавшимся здесь от культурных полей, как кулак на хуторе.

Сарториус взял Честнову за руку; природа — все, что потоком мысли шло в уме, что гнало сердце вперед и открывалось перед взором, всегда незнакомо и первоначально — заросшей травою, единственными днями жизни, обширным небом, близкими лицами людей, — теперь эта природа сомкнулась для Сарториуса в одно тело и кончилась на границе ее платья, на конце ее босых ног.

Всю свою юность Сарториус провел в изучении физики и механики; он трудился над расчетом бесконечности как тела, пытаясь найти экономический принцип ее действия. Он хотел открыть в самом течении человеческого сознания мысль, работающую в резонанс природы и отражающую поэтому всю ее истину — хотя бы в силу живой случайности, и эту мысль он надеялся закрепить навеки расчетной формулой. Но он сейчас не сознавал никакой мысли, потому что в голову его взошло сердце и там билось над глазами. Сарториус погладил руку Москвы, твердую и плотную, как резервуар скупого, тесно сдавленного чувства.

— Семен, ну чего же вы хотите от меня? — покорно спросила Честнова, готовая к добру.

— Я хочу жениться на вас, — сказал Сарториус. — Больше я не знаю, чего хотеть.

Москва задумалась и съела былинку бурьяна молодым алчным ртом.

— И ведь правда, что больше нечего хотеть, когда любишь. А говорят, что это глупо!

— Пусть говорят, — сумрачно произнес Сарториус. — Они только говорят, а сами, наверно, не любят… А что же делать, когда я без тебя томлюсь!

— А ты обними меня, и я тебя.

Сарториус обнял ее.

— Ну что, тебе легче стало томиться?

— Нет, так же, — ответил Сарториус.

— Тогда нам придется жениться, — согласилась Москва.

Когда невинное, ежедневное утро осветило местные колхозы и окрестности громадного города, Честнова и Сарториус еще находились в землемерной яме. Узнав всю Москву полностью, все тепло, преданность и счастье ее тела, Сарториус с удивлением и ужасом почувствовал, что его любовь не утомилась, а возросла, и он в сущности ничего не достиг, а остался по-прежнему несчастным. Значит, этим путем нельзя было добиться человека и действительно разделить с ним жизнь. Тогда как же быть? Сарториус ничего не знал.

Москва Честнова лежала навзничь; небо над нею было сначала водяным, потом стало синим и каменным, затем превратилось в золотистое и мерцающее, как будто прорастающее цветами, — взошло солнце за Уралом и приближалось сюда.

Москва выбралась из ямы, обтянула платье на себе, обулась и пошла в город одна. Сарториусу она сказала, что будет его женою впоследствии: пусть он пока работает в тресте весов и гирь, где служит Божко, она найдет его, когда нужно будет.

Беспомощный и ничтожный вылез вслед за нею Сарториус. Он стоял один на рассвете в пустоте недозревших полей, испачканный и грустный, как уцелевший воин на оконченном побоище.

— Зачем же ты уходишь, Москва? Я ведь люблю тебя еще больше!

Москва обернулась к нему.

— Я тебя не бросаю, Семен! Я же сказала, что вернусь… Я тоже тебя люблю.

— А почему уходишь от меня? Иди сюда снова опять.

Честнова стояла в недоумении шагов за десять.

— Мне жалко, Семен…

— Чего тебе жалко?

— Мне жалко чего-то… Сколько я ни живу, а жизнь со мной никак не сбывается, как я хочу.

Москва нахмурилась и стояла в обиде на границе высокой ржи. Солнце блестело на шелке ее платья, и на волосах высыхали последние капли утренней влаги, которую она набрала в бурьяне. Легкий ветер дул с прохладных москворецких низин и рожь неясно бормотала опухшими колосьями; свет солнца, как мысль и улыбка, наполнил всю местность, одна лишь Москва была невеселая, и красивое платье и тело ее, сделанные из той же светящейся природы, не соответствовали ее печальному лицу. Сарториус снова привел Москву в укромную траву и не мог понять, отчего им обоим стало так скучно.

— Отстань ты от меня! — отодвинулась вдруг Москва от Сарториуса. — Я все делала, в воздухе летала и с мужьями жила — не ты ведь первый, грустный, милый мой!

Честнова отвернулась и легла вниз лицом. Вид ее большого, непонятного тела, согретого под кожей скрытой кровью, заставил Сарториуса обнять Москву и еще раз молчаливо и поспешно истратить вместе с нею часть своей жизни — единственно, что можно сделать, — пусть это будет бедно и не нужно и на самом деле не решает любви, а лишь утомляет человека. Еще не дотерпев объятий Сарториуса до конца, Москва обернула к нему лицо и насмешливо улыбнулась — она обманывала в чем-то своего любимого человека.

Сарториус стал на ноги таким же, как ничего не было. Это озадачило его самого, а плачущее, влекущее чувство его не получило никакого утешения, — сердце болело по Москве столь же тщетно, словно она умерла или была недостижима.

— Ты наверно не любишь меня! — сказал он, отгадывая тайну.

— Нет, я люблю, ты мне нравишься, — убеждала Москва. — Мне и самой ведь трудно.

Где-то вдали уже поехали по земле колхозные телеги, была пора идти в город на работу, рассеиваться и покидать друг друга.

Москва сидела на траве в обиде, а Сарториус примирился со своею любовью к ней; достаточно будет жить с Москвою в браке, любоваться ею, может быть — родить детей, и боль чувства впоследствии утихнет, сердце изотрется и замрет навсегда ради спокойной и плодотворной деятельности ума.

— Я видела в детстве, — сообщила Москва, — как ночью бежал человек по улице с огнем на палке, с факелом. Он бежал к людям в тюрьму поджигать ее…

— Многое было такое, — произнес Сарториус.

— Мне его жалко все время, его убили потом…

— Что ж такого! — удивился Сарториус. — Мертвых много лежит в земле, и наверно, никогда не будет такого сердца, которое вспомнит сразу всех мертвых и заплачет о них. Это ни к чему.

Москва затихла на некоторое время; она глядела на все, как больная, померкшими

глазами.

— Семен… Знаешь что: ты лучше разлюби меня… Я ведь уж многих любила, а ты — меня первую! Ты — девушка, а я женщина!

Сарториус молчал. Москва обняла его одной рукой.

— Верно, Семен: разлюби! Ты знаешь, сколько я думала и чувствовала? Ужасно! И не вышло ничего.

— Что не вышло? — спросил Сарториус.

— Жизни не вышло. Я боюсь, что она никогда не выйдет, и я теперь спешу… Я раз видела одну женщину, она прислонилась лицом к стене и плакала. Она плакала от горя — ей было тридцать четыре года, и она горевала по своему прошлому времени так сильно, что я подумала: она потеряла сто рублей или больше.

— Нет, я люблю тебя, Москва, — угрюмо сказал Сарториус. — Мне с тобой хорошо будет жить!

— А мне с тобой будет нехорошо, — отвергла Москва. — И тебе будет плохо: ну зачем ты врешь, что хорошо!.. Сколько раз я хотела разделить свою жизнь с кем-нибудь, и теперь хочу, — я ничуть не жалела своей жизни и не буду ее жалеть никогда! На что она мне нужна без людей, без всего эсесера? Я комсомолка не оттого, что бедная девочка была…

Честнова говорила с огорчением, с серьезностью, как изжившая опытная старуха, и поблекла от слабости своего сердца, сжавшегося сейчас в ее груди, как в темной безвестности.

— Чтоб ты мне поверил, я тебя поцелую! — Она поцеловала одичавшего от грусти Сарториуса; он лишь следил со страхом, как быстро постарела ее очевидная красота, но это стало еще сильнее для его любви.

— Я выдумала теперь, отчего плохая жизнь у людей друг с другом. Оттого, что любовью соединиться нельзя, я столько раз соединялась, все равно — никак, только одно наслаждение какое-то… Ты вот жил сейчас со мной, и что тебе — удивительно, что ли, стало или прекрасно! Так себе…

— Так себе, — согласился Семен Сарториус.

— У меня кожа всегда после этого холодеет, — произнесла Москва. — Любовь не может быть коммунизмом: я думала-думала и увидела, что не может… Любить, наверно, надо, и я буду, это все равно как есть еду, — но это одна необходимость, а не главная жизнь.

Сарториус обиделся, что его любовь, собранная за всю жизнь, в первый же раз погибла безответно. Но он понимал мучительное размышление Москвы, что самое лучшее чувство состоит в освоении другого человека, в разделении тягости и счастья второй, незнакомой жизни, а любовь в объятиях ничего не давала, кроме детской блаженной радости, и не разрешала задачи влечения людей в тайну взаимного существования.

— Как же нам с тобой быть теперь? — спросил Сарториус.

— Мы будем еще долго, — улыбнулась Москва. — Ты жди меня, ты работай с Божко на фабрике весов и гирь, я приду к тебе снова… А сейчас я уйду.

— Куда? Посиди еще со мной, — попросил Сарториус.

— Нет, надо, — сказала Москва и встала с земли.

Солнце уже уменьшилось на небе и давало сосредоточенный накал. Вблизи гудели паровозы подъездных путей на ближнем строительстве; мелкие аэропланы летели по небу в учебных полетах, и пятитонные грузовики везли бревна по грунту, размалывая почву в пыль, — жара и работа с утра распространялись по земле.

Москва попрощалась с Сарториусом, обняв руками его голову. Она была снова счастлива, она хотела уйти в бесчисленную жизнь, давно томящую ее сердце предчувствием неизвестного наслаждения, — в темноту стеснившихся людей, чтобы изжить с ними тайну своего существования.

Она ушла довольная, сдерживая свое удовлетворение; ей захотелось сбросить платье и побежать вперед, будто она была сейчас на берегу южного моря.

Сарториус остался один. Он хотел, чтобы Честнова к нему возвратилась и они бы стали

мужем и женой доверчиво и навсегда. Сарториус чувствовал, как в тело его вошли грусть и равнодушие к интересу жизни, — смутные и мучительные силы поднялись внутри его и затмили весь ум, всякое здравое действие к дальнейшей цели. Но Сарториус согласен был утомить в объятиях Москвы все нежное, странное и человеческое, что появилось в нем, лишь бы не ощущать себя так трудно, и вновь отдаться ясному движению мысли, ежедневному, долгому труду в рядах своих терпеливых товарищей. Он хотел откупиться от всякого нынешнего и будущего содрогания своей жизни посредством простой, любимой жены и решил поэтому дождаться возвращения Москвы.

8

Учреждение находилось накануне ликвидации. Лишь спустя время Сарториус понял, что предназначенное к ликвидации иногда может оказаться наиболее прочным, но даже обреченным на вечное существование. Это учреждение находилось в Старо-Гостином Дворе на антресолях, где некогда хранились товары, боящиеся сырости. Лестница из этого учреждения спускалась вниз — в каменную галерею, окружавшую весь старинный торговый двор. На входной двери помещалась железная вывеска: Республиканский трест весов, гирь и мер длины — «Мерило труда».

Управление этой полузабытой и бедной отрасли тяжелой промышленности представляло из себя одну большую сумрачную залу с низким потолком, устроенным в виде подземного свода; при этом потолок у стен опускался настолько низко, что служащие, сидевшие вблизи стен, почти касались его головами. В зале стояло несколько столов, и за каждым сидело по одному или по два человека, которые писали либо считали на счетах. Всего служащих было человек тридцать или не более сорока, однако шумом своей работы, движением, вопросами и восклицаниями они производили впечатление громадного учреждения первостепенной важности.

В тот же день Сарториуса приняли на должность инженера по новым весовым конструкциям, и он сел за плоский стол против Виктора Васильевича Божко.

Пошли дни его новой жизни. В несколько ночей Сарториус закончил свой последний проект для института опытного машиностроения, где он работал до того времени, и сосредоточился на самой древней машине в мире — весах. Ничто так мало не изменилось на протяжении последних пяти тысяч лет истории, как весовая машина. Во времена циклопов, в античной Греции и Карфагене, в великой Персии, погибшей под ударами Александра Македонского, — всюду во всех временах и пространствах самой всеобщей и необходимой машиной были весы. Весы столь же стары, как оружие, и может быть, они одно и то же с ним, — весы это военный меч, положенный своей серединой на ребро камня — для справедливого разделения добычи между победителями.

Божко, не умевший работать без умственной и сердечной любви к предмету порученного ему труда, широко объяснил Сарториусу решающее значение весов в жизни человечества.

— Еще покойник Димитрий Иванович Менделеев, — говорил он, — выше всего любил весы! Он свою периодическую систему элементов — и то меньше любил. Хотя, что ж! Там ведь все дело основано на тех же весах: атомный вес, больше ничто!

Божко знал также, почему весовой прибор есть наиболее незаметный и скудный предмет: потому что человек зорко всматривается лишь в то, что лежит на весах — в колбасу или хлеб, но что под ними — он не замечает; а под хлебом и колбасой находятся весы — инструмент чести и справедливости, простая нищая машина, считающая и берегущая священное добро социализма, измеряющая пищу рабочего и колхозника в меру его творящего труда и хозрасчета.

И с усердием, со скупостью к крошкам хлеба, пропадающим благодаря неточности весов, Сарториус углубился в свои занятия. Внутри его тайно ото всех встретились и сочетались два чувства — любовь к Москве Честновой и ожидание социализма. В его

неясном воображении представлялось лето, высокая рожь, голоса миллионов людей, впервые устраивающихся на земле без тяготения нужды и печали, и Москва Честнова, идущая к нему в жены издалека, она обошла всю жизнь, пережила ее вместе с несметным числом людей и оставила годы терпения и чувства в темноте минувшей молодости; она возвращалась такой же, только в бедном платье, босая, с отросшими на работе руками, но более веселая и ясная, чем была прежде; она нашла теперь удовлетворение для своего блуждающего сердца…

Блуждающее сердце! Оно долго содрогается в человеке от предчувствия, сжатое костями и бедствием ежедневной жизни, и наконец бросается вперед, теряя свое тепло на холодных прохладных дорогах.

Согнувшись над столом в учреждении, Сарториус как можно скорее работал над улучшением устройства весов. Управляющий трестом сообщил Сарториусу об опасности весовых бунтов в колхозах по примеру соляного бунта в старину, ибо недостаток весов означает собой недовес хлеба по трудодням, либо хлеб выдается лишний, тогда получается обман государства. Кроме того, площадка товарных весов, если весы неточные, делается полем для кулацкой политики и классовой борьбы. Гирьевая проблема также чревата грозными событиями — уже во многих пунктах кладут вместо клейменых гирь жуткие пустяки вроде кирпичей, чугунных болванок и даже сажают в определенных случаях беременных женщин, уплачивая за прокат их туловища как за трудодень. Все это неминуемо поведет к потере сотен тысяч центнеров зерна.

Горюя по Честновой, боясь жить одному в своей комнате, Сарториус иногда оставался ночевать в учреждении. В десять часов вечера сторож засыпал предварительно на стуле у входа, а затем уходил в фанерный кабинет управляющего и укладывался в мягком кресле. Шло время на больших официальных часах, пустые столы вызывали тоску по служащим, иногда показывались мыши и кроткими глазами глядели на Сарториуса.

Он сидел один над тою же задачей, над которой думал некогда Архимед, а позже Менделеев. Задача ему не давалась, весы и так были хороши, однако нужны были другие и лучшие, чтобы меньше тратить металла на их изготовление. Сарториус покрывал целые полосы бумаги расчетами призм, рычагов, деформационных напряжений, себестоимостью матерьяла и прочими данными. Вдруг слезы самостоятельно выходили из его глаз и текли по лицу, так что Сарториус удивлялся этому явлению; в глубине его тела жило что-то, как отдельное животное, и молча плакало, не интересуясь весовой промышленностью. После полуночи, когда в открытую форточку окна — поверх всего города — доходила волна запаха дальних растений и свежих пространств, Сарториус опускал голову на стол, теряя точность размышления. Так же пахла Честнова когда-то вблизи него, природой и добротою. Он не ревновал ее сейчас: пусть она ест вкусно и помногу, не болеет, радуется, любит прохожих и спит потом где-нибудь в тепле и не помня никакого несчастья.

Раз или два в ночь внезапно раздавался телефонный звонок, и тогда Сарториус поспешно слушал трубку, но его никто не звал, это была ошибка, — человек извинялся и навечно исчезал в безмолвии; из многих друзей никто не знал, куда делся Сарториус, он надолго покинул большую дорогу техники и забыл свою славу механика, которая могла бы стать всемирной.

Однажды к нему домой пришел в гости Самбикин. Хирург сказал Сарториусу, что спинной мозг в человеке обладает некоторой способностью рационального размышления, так что думать может не только один ум в голове; Самбикин недавно проверил это предположение на одном ребенке, которому он делал вторичную трепанацию головы; ему пришлось удалить [2]

— Что ж тут такого! — не обрадовался Сарториус.

— Это основная тайна жизни, в особенности тайна всего человека, — задумчиво сказал Самбикин. — Раньше утверждали, что спинной мозг работает только ради сердца и чисто органических функций, а головной мозг — высший координирующий центр… Это неправда:

[2] Фраза не закончена.

спинной мозг может мыслить, а головной принимать участие в самых простых, инстинктивных процессах…

Самбикин был счастлив от своего открытия. Он еще верил, что можно вразу взойти на такую гору, откуда видны будут времена и пространства обычному серому взору человека. Сарториус немного улыбнулся наивности Самбикина: природа, по его расчету, была труднее такой мгновенной победы, и в один закон ее заключить нельзя.

— Ну дальше? — спросил Сарториус.

У Самбикина заклокотали внутренности от шума его высших переживаний.

— Дальше вот что… Надо проверить еще тысячу раз в эксперименте. Но вполне может получиться, что тайна жизни состоит в двойственном сознании человека. Мы думаем всегда сразу две мысли и одну не можем! У нас ведь два органа на один предмет! Они оба думают навстречу друг другу, хотя и на одну тему… Ты понимаешь, это может явиться основанием действительно научной, диалектической психологии, которой в мире нет. То, что человек способен думать вдвойне по каждому вопросу, сделало его лучшим животным на земле…

— А другие животные? — спросил Сарториус. — У них тоже есть голова и спина.

— Верно. Но здесь разница в пустяке, хотя пустяк этот решил всемирную историю. Надо было привыкнуть координировать, сочетать в один импульс две мысли — одна из них встает из-под самой земли, из недр костей, другая спускается с высоты черепа. Надо, чтоб они встречались всегда в одно мгновение и попадали волна в волну, в резонанс одна другой… А у животных, у них тоже против каждого впечатления встают две мысли, но они идут вразброд и не складываются в один удар. Вот в чем тайна эволюции человека, вот почему он обогнал всех животных! Он взял почти пустяком: два чувства, два темных течения он сумел приучить встречаться и меряться силами… Встречаясь, они превращаются в человеческую мысль. Ясно, что это ничего неощутимо… У животных тоже могут быть такие состояния, но редко и случайно. А человека воспитал случай, он стал двойственным существом… И вот иногда, в болезни, в несчастьи, в любви, в ужасном сновидении, вообще — вдалеке от нормы, мы ясно чувствуем, что нас двое: то есть я один, но во мне есть еще кто-то. Этот кто-то, таинственный «он», часто бормочет, иногда плачет, хочет уйти из тебя куда-то далеко, ему скучно, ему страшно… Мы видим — нас двое, и мы надоели друг другу. Мы чувствуем легкость, свободу, бессмысленный рай животного, когда сознание наше было не двойным, а одиноким. От животных нас отделяет один миг, когда мы теряем двойственность своего сознания, и мы очень часто живем в архейскую эпоху, не понимая такого значения… Но вновь сцепляются наши два сознания, мы опять становимся людьми в объятиях нашей «двусмысленной» мысли, а природа, устроенная по принципу бедного одиночества, скрежещет и свертывается от действия страшных двойных устройств, которых она не рождала, которые произошли в себе самих… Как мне жутко быть одному теперь! Это вечное совокупление двух страстей, согревающих мою голову…

Самбикин, очевидно давно не спавший, не евший, изнемог и сел в отчаянии.

Сарториус угостил его консервами и водкой. Постепенно они оба смирились от усталости и легли спать не раздетые, при горящем электричестве, и сердце и ум продолжали заглушенно шевелиться в них, спеша отработать в свой срок обыкновенные чувства и всемирные задачи.

Уже давно на Спасской башне прозвучала полночь и умолкла музыка интернационала; скоро наступит рассвет, и в предвидении его самые нежные, мало гостящие птицы зашевелились в кустарниках и садоводствах, а затем поднялись и улетели прочь, оставляя страну, где лето уже начало остывать.

Когда взошла заря и пожелтели лампы, длинный Самбикин и небольшой Сарториус по-прежнему спали на одном диване и шумно дышали, как пустотелые. Стесненная сном забота об окончательном устройстве мира все же снедала их совесть, и они время от времени бормотали слова, чтобы изгнать из себя беспокойство. Где была, где спала сейчас Москва Честнова, какое лето жизни она искала себе в начале осени, оставив друзей в ожидании?

Под конец сна Сарториус улыбнулся; кроткий характером, он почувствовал, что его

мертвого зарыли в землю, в глубокое тепло, а вверху, на дневной поверхности могилы, осталась плакать по нем одна Москва Честнова. Больше никого не было — он умер безымянным, как человек, действительно свершивший все свои задачи: республика насыщена весами до затоваривания и составлен весь арифметический расчет будущего исторического времени, дабы судьба стала безопасна и никогда не пришла в упор отчаяния.

Он проснулся довольный, с решимостью сделать и довести до совершенства всю техническую арматуру, автоматически перекачивающую из природы в человеческое тело основную житейскую силу пищи. Но глаза его уже с утра поблекли от воспоминания по Москве, и он от страха страдания разбудил Самбикина.

— Самбикин? — спросил Сарториус. — Ты доктор, ты знаешь ведь всю причину жизни… Отчего она так долго длится и чем ее утешить или навсегда обрадовать?

— Сарториус! — шутя ответил Самбикин. — Ты механик, ты знаешь, что такое вакуум…

— Ну, знаю: пустота, куда всасывается что-нибудь…

— Пустота, — сказал Самбикин. — Пойдем со мною, я тебе покажу причину всей жизни.

Они вышли и поехали на трамвае. Сарториус смотрел в окно и встретил около ста тысяч человек, но нигде не заметил лица Москвы Честновой. Она могла даже умереть, ведь время идет и случайности сбываются.

Они приехали в хирургическую клинику Института Экспериментальной Медицины.

— Сегодня я вскрываю четыре трупа, — сообщил Самбикин. — Нас здесь трое работают над одной темой: добыть одно таинственное вещество, следы которого есть в каждом свежем трупе. Это вещество имеет сильнейшую оживляющую силу для живых усталых организмов. Что это такое — неизвестно! Но мы постараемся вникнуть…

Самбикин приготовился как обычно и повел Сарториуса в прозекторское отделение. Это была холодная зала, где четыре мертвых человека лежали в ящиках, имеющих лед между двойными стенками.

Два помощника Самбикина вынули из одного ящика тело молодой женщины и положили перед хирургом на наклонный стол, похожий на увеличенный пульт музыканта. Женщина лежала с ясными открытыми глазами: вещество ее глаз было настолько равнодушно, что могло блестеть и после жизни, если только оно не разлагалось. Сарториусу стало плохо; он решил из института бежать скорей в свой трест, явиться в местком и попросить какой-нибудь товарищеской помощи от ужаса своего тоскующего сердца.

— Хорошо, — сказал готовый к работе Самбикин и дал объяснение Сарториусу. — В момент смерти в теле человека открывается последний шлюз, не выясненный нами. За этим шлюзом, в каком-то темном ущелье организма скупо и верно хранится последний заряд жизни. Ничто, кроме смерти, не открывает этого источника, этого резервуара — он запечатан наглухо до самой гибели… Но я найду эту цистерну бессмертия…

— Ищи, — произнес Сарториус.

Самбикин отрезал женщине левую грудь, затем снял всю решетку грудной клетки и с крайней осторожностью достиг сердца. Вместе с помощником он выбрал сердце и инструментами бережно положил его в стеклянный цилиндр — для дальнейшего исследования; тот цилиндр взяли и унесли в лабораторию.

— На этом сердце тоже есть следы той неизвестной секреции, о которой я тебе говорил, — сообщил Самбикин своему другу. — Смерть, когда она несется по телу, срывает печать с запасной, сжатой жизни, и она раздается внутри человека в последний раз, как безуспешный выстрел, и оставляет неясные следы на его мертвом сердце… Но это вещество — высшая драгоценность по своей энергии. И странно, самое живое появляется в момент последнего дыхания… Природа хорошо страхует свои мероприятия!

Далее Самбикин начал поворачивать мертвую девушку, точно предъявляя Сарториусу ее упитанность и целомудрие.

— Она хороша, — неопределенно произнес хирург; у него прошла мысль о

возможности жениться на этой мертвой — более красивой, верной и одинокой, чем многие живые, и он заботливо обвязал ей бинтом разрушенную грудь. — А сейчас мы увидим общую причину жизни…

Самбикин вскрыл сальную оболочку живота и затем повел ножом по ходу кишок, показывая, что в них есть: в них лежала сплошная колонка еще не обработанной пищи, но вскоре пища окончилась, и кишки стали пустые. Самбикин медленно миновал участок пустоты и дошел до начавшегося кала, там он остановился вовсе.

— Видишь, — сказал Самбикин, разверзая получше пустой участок между пищей и калом. — Эта пустота в кишках всасывает в себя все человечество и движет всемирную историю. Это душа — нюхай!

Сарториус понюхал.

— Ничего, — сказал он. — Мы эту пустоту наполним, тогда душой станет что-нибудь другое.

— Но что же? — улыбнулся Самбикин.

— Я не знаю что, — ответил Сарториус, чувствуя жалкое унижение. — Сперва надо накормить людей, чтоб их не тянуло в пустоту кишок…

— Не имея души, нельзя ни накормить никого, ни наесться, — со скукой возразил Самбикин. — Ничего нельзя.

Сарториус склонился ко внутренности трупа, где находилась в кишках пустая душа человека. Он потрогал пальцами остатки кала и пищи, тщательно осмотрел тесное, неимущее устройство всего тела и сказал затем:

— Это и есть самая лучшая, обыкновенная душа. Другой нету нигде.

Инженер повернулся к выходу из отделения трупов. Он согнулся и пошел оттуда, чувствуя позади улыбку Самбикина. Он был опечален грустью и бедностью жизни, настолько беспомощной, что она почти беспрерывно должна отвлекаться иллюзией от сознания своего истинного положения. Даже Самбикин ищет иллюзий в своих мыслях и открытиях — он тоже увлечен сложностью и великой сущностью мира в своем воображении. Но Сарториус видел, что мир состоит более всего из обездоленного вещества, любить которое почти нельзя, но понимать нужно.

9

Москве Честновой некуда было деться, когда она решила в жилище свое не возвращаться и Сарториуса больше не любить. Долгие часы она ходила и ездила по городу, к ней никто не прикоснулся и не спросил ни о чем. Всеобщая жизнь неслась вокруг нее таким мелким мусором, что Москве казалось — люди ничем не соединены и недоумение стоит в пространстве между ними.

Под вечер она отправилась в тот жакт, где жил вневойсковик. Скрипач настраивал свою скрипку у входа в домоуправление, по ту сторону забора визжала круглая пила на строительстве медицинского института, и жители жакта собрались в коридоре для обычной беседы.

Вневойсковик Комягин лежал на железной койке в своей маленькой комнате. Он тщетно искал в себе какую-нибудь мысль, чувство или настроение и видел, что ничего в нем нет. Стараясь о чем-нибудь подумать, он уже вперед не имел интереса к предмету своего размышления и оставлял поэтому свое желание мыслить. Если же нечаянно появлялась в его сознании какая-либо загадка, он все равно не мог ее решить, и она болела в его мозгу до тех пор, пока он ее физически не уничтожал путем, например, усиленной жизни с женщинами и долгого сна. Тогда он пробуждался вновь порожним и спокойным, не помня своего внутреннего бедствия. Иногда в нем начиналось страдание или раздражение, подобно бурьяну в покинутом месте, но Комягин быстро превращал их в пустое равнодушие посредством своих мер.

Но в последние годы он уже устал бороться с собой как с человеком и изредка плакал в

темноте, накрыв лицо одеялом, не мытым со дня его изготовления.

Однако было давнее время, когда Комягин жил необыкновенно. До сих пор на стенах его комнаты висели незаконченные картины масляной краской, изображающие Рим, пейзажи, различные избушки и рожь над оврагами. Это начинал когда-то рисовать Комягин, но ни одной картины не управился дорисовать, хотя прошло времени, как он их начал, лет десять или больше; поэтому избушки остались разоренными — без крыш, рожь не доросла до колоса, Рим походил на губернию. Где-то под кроватью, в изжитых вещах валялась тетрадка с начатыми в молодости стихами и целый дневник, также не завершенный ничем, остановленный на полуслове, точно кто-то ударил Комягина и он уронил перо навсегда. Года три назад Комягин захотел составить опись своих вещей и предметов, но список этот также не мог окончить, успев внести туда лишь четыре пункта: себя самого, кровать, одеяло и стул, а остальное ожидало своего учета в каких-то будущих, лучших временах.

Недавно Комягин повсюду искал пуговицу и нашел тетрадь со своими начатыми стихами. Он их писал из сельской жизни и прочел начало одного стиха:

Тою ночью, тою ночью чутко спали пашни, села,
Звали молча к ним дороги, уходили на звезду.
И дышала степь в истоме сердцем тихим, телом голым,
Как в испуге на дрожащем, уплывающем мосту…

Когда стихотворения не было, единственный стул не стоял на ножках и нуждался в срочной починке, Комягин принес даже когда-то два гвоздя для этого дела, но к работе все еще не приступил.

Иногда Комягин полагал про себя: через месяц или два я начну новую жизнь — дорисую картины, закончу стихи, обдумаю полностью свое мировоззрение, оформлю документы, поступлю на твердую работу, стану ударником, полюблю женщину-подругу и женюсь… Он надеялся, что через месяц-два в самом времени случится что-то особенное и оно, приостановившись, возьмет его в свое движение, но годы проходили мимо его окна без остановки и без счастливого случая. Тогда он подымался с кровати и уходил, как осодмилец, штрафовать публику в местах ее скопления.

И вот наступил август месяц одного из текущих лет. Шел вечер, распространяя по небу удаляющийся долгий и грустный звук, отчего в каждое открытое сердце проникала тоска и сожаление. В этот вечер Москва Честнова постучала в дверь Комягина. Не вставая с кровати, он сбросил левой рукою запорный крючок и пригласил гостью войти. Она вошла к нему, странная и знакомая, в своем дорогом платье, и оглядела эту комнату как свое привычное жилище. Вневойсковик решил сразу сдаться: документы у него были в беспорядке и оправданья нет. Но Честнова спросила его лишь, как он живет и не скучно ли ему так быть одному и никчему.

— Мне ничего, — сказал Комягин. — Я ведь и не живу, я только замешан в жизни, как-то такое, ввязали меня в это дело… Но ведь зря!

— Что зря? — спросила Москва.

— Неохота мне, — сказал Комягин. — Все время приходится надуваться: то думать, то говорить, то куда-то идти, что-то действовать… Но мне ничего неохота, я все забываю, что живу, а вспомню — начинается жутко…

Москва осталась у него побыть, удивляясь обстановке жизни этого давно начатого и неконченого человека. Комягин согрел ей кашу на ужин, потом показал свою любимую картину из неизвестного для Честновой времени. Комягин достал ту картину из своего укромного хлама под кроватью; картина не была вполне дорисована, но мысль на ней изображалась ясно.

— Если б государство не возражало, я бы тоже так жил, — указал Комягин.

На картине был представлен мужик или купец, небедный, но нечистый и босой. Он стоял на деревянном, худом крыльце и мочился с высоты вниз. Рубаху его поддувал ветер, в

обжитой мелкой бородке находились сор и солома, он глядел куда-то равнодушно в нелюдимый свет, где бледное солнце не то вставало, не то садилось. Позади мужика стоял большой дом безродного вида, в котором хранились, наверно, банки с вареньем, пироги и была деревянная кровать, приспособленная почти для вечного сна. Пожилая баба сидела в застекленной надворной пристройке — видна была только одна голова ее — и с выражением дуры глядела в порожнее место на дворе. Мужик только что очнулся ото сна, а теперь вышел опростаться и проверить — не случилось ли чего особенного, — но все оставалось постоянным, дул ветер с немилых, ободранных полей, и человек сейчас снова отправится на покой — спать и не видеть снов, чтоб уже скорее прожить жизнь без памяти.

Позже к Комягину пришла его старая, разведенная жена, истертая женщина, измученная с давних пор. Она приходила к Комягину очень редко и, видимо, еще трогала его чувство воспоминанием прежней привязанности. Комягин устроил угощение своих гостей, но бывшая жена, молча выпив чаю, вскоре собралась уходить, чтобы не мешать мужу оставаться с новой толстой девкой, как она оценила Честнову. Для этой женщины все были толстыми, лишь ею одной никто не интересовался. Однако Комягин вывел Честнову в коридор и попросил ее погулять немного, а потом вернуться, если ей нужно.

— Я ведь томлюсь, когда не поживу с женщиной, — признался Комягин. — Мне некуда деться, интереса все равно нету… Вы же со мной, извините, все равно знакомы не будете.

— Нет, я буду, — сказала Москва, смущенная горем Комягина. — Вы ступайте к ней.

Но Комягин еще постоял с нею в коридоре.

— Вы не обижайтесь…

— Я не обижаюсь, вы мне нравитесь немного, — ответила ему Честнова.

Комягин все же огорчился и наклонил голову.

— Она ведь мне женою была… Она плохо пахла, рожала от меня детей, а дети умерли… Мы вместе с ней спали нечистые. Она мне стала как брат, она теперь худеет и дурнеет, — любовь наша уже превратилась во что-то лучшее — в нашу общую бедность, в наше родство и грусть в объятиях…

— Я это понимаю, — тихо согласилась Москва. — Ты такой маленький гад, который живет в своей земляной дырочке. Я девочкой их видала, когда лежала в поле вниз лицом.

— Это вполне понятно, — охотно согласился Комягин. — Я человек ничто.

Москва нахмурилась: «Ну зачем, зачем он есть на свете? Из-за одного такого все люди кажутся сволочью, и каждый бьет их чем попало насмерть!»

— Я когда-нибудь приду к вам и буду женой, — сказала Москва.

— Я вас буду дожидаться, — согласился Комягин.

Но Москва быстро передумала, как еще не затвердевшее и неверное существо:

— Нет, не ждите, я никогда не приду в этот дом, — ты жалкий мертвец!

Она стала раздраженной и несчастной и прислонилась головой к стене.

В коридоре потух свет из экономии. Комягин ушел в свою комнату, и оттуда долго слышались сквозь временную стену звуки измученной любви и дыханье человеческого изнеможения. Москва Честнова прижалась грудью к канализационной холодной трубе, проходящей с верхнего этажа вниз; она присмирела от стыда и страха, и ее сердце билось страшнее, чем у Комягина за перегородкой. Но когда она сама делала то же самое, она не знала, что постороннему человеку бывает так же грустно, и неизвестно отчего.

Нет, не здесь проходит вдаль большая дорога жизни — не в бедной любви, не в кишках и не в усердном разумении точных мелочей, как делает Сарториус.

Она вышла наружу, была уже ночь. Громадные облака, освещенные лишь собственным слабым светом, прилегали близко к поверхности городских крыш и уносились в тьму полей, в скошенные пространства пустой, оголтелой земли.

Честнова пошла к центру, глядя во все попутные ярко освещенные окна жилищ и останавливаясь у некоторых из них. Там пили чай с семьей или гостями, прелестные девушки играли на роялях, из радиотруб раздавались оперы и танцы, спорили юноши по

вопросам арктики и стратосферы, матери купали своих детей, шептались двое-трое контрреволюционеров, поставив на стуле у двери гореть открытый примус, чтоб их слов не расслышали соседи… Москва настолько интересовалась происходящим на свете, что вставала носками туфель на выступы фундамента и засматривалась внутрь квартир, пока ее не осмеивали прохожие.

Она провела несколько часов в таком наблюдении и почти всюду замечала радость или удовольствие, однако ей самой делалось все более печально. Все люди были заняты лишь взаимным эгоизмом с друзьями, любимыми идеями, теплом новых квартир, удобным чувством своего удовлетворения. Москва не знала, к чему ей привязаться, к кому войти, чтобы жить счастливо и обыкновенно. В домах ей не было радости, в тепле печей, и в свете настольных абажуров она не видела покоя. Она любила огонь дров в печах и электричество, но так, как если бы сама была не человеком, а огнем и электричеством — волнением силы, обслуживающей мир и счастье на земле.

Москве уже давно хотелось есть, поэтому она вошла в ночной ресторан. Денег у нее не было никаких, но она села и взяла ужин. Все время оркестр играл какую-то безумную европейскую музыку, содержащую центробежные силы; после танцев под эту музыку хотелось свернуться телом в теплоту и лечь надолго в тесный, уединенный гроб. Не обратив на это внимания, Москва приняла участие в танцах среди зала; ее приглашал почти всякий человек из публики, находя в ней что-то утраченное в самом себе. Вскоре иные уже плакали, уткнувшись в платье Москвы, потому что опились вина, другие тут же исповедывались с точными подробностями. Сферический зал ресторана, оглушенный музыкой и воплями людей, наполненный мучительным дымом курения и газом сдавленных страстей, этот зал словно вращался — всякий голос в нем раздавался дважды и страдание повторялось; здесь человек никак не мог вырваться из обычного — из круглого шара своей головы, где катались его мысли по давно проложенным путям, из сумки сердца, где старые чувства бились как пойманные, не впуская ничего нового, не теряя привычного, и краткое забвение в музыке или в любви ко встречной женщине кончалось либо раздражением, либо слезами отчаяния. Чем позже шло время, чем более сгущалось веселье, тем быстрее вращался сферический зал ресторана, и многие гости забыли, что они танцуют. Нестарый, долго молчавший человек, с темным светом в глазах, с наслаждением и садизмом угощал Москву, точно он внедрял в нее не сладкое кушанье, а собственное доброе сердце. Но Честнова вспоминала другие вечера, проведенные со своими сверстниками; она видела там за открытыми летними окнами простое поле, открытое в плоскость бесконечности, и в груди ее товарищей не вращалась эта сферическая, вечно повторяющаяся мысль, приходящая к своему отчаянию, — там была стрела действия и надежды, напряженная для безвозвратного движения вдаль, в прямое жесткое пространство.

Ночь склонялась к утру. Где-то спал Комягин с худою женщиной, сидел Сарториус над решеньем всех проблем, один и тот же такт играл и варьировал оркестр, как будто катая его по внутренней поверхности полого безвыходного шара; собеседник Москвы бормотал вековую мысль о своей любви и печали, об одиночестве и припадал устами к чистой коже у локтя Москвы. Честнова молчала. Тогда ее знакомый, выпив немного вина для паузы, снова говорил ей о своей привязанности, о будущем возможном счастьи, если Москва ответит ему также любовью.

— Бросьте вы буксовать на одном и том же, — ответила ему Честнова. — Если полюбили, то перестаньте…

Собеседник Москвы не согласился:

— Мы рождаемся и умираем на груди женщины, — он слегка улыбнулся, — так полагается по сюжету нашей судьбы, по всему кругу счастья…

— А вы живите по прямой линии, без сюжета и круга, — посоветовала Москва; она чуть тронула свои груди указательным пальцем. — Посмотрите, на мне вам трудно будет умереть, я не мягкая…

Сильный добрый свет возник во тьме глаз этого внезапного товарища Честновой; он

вгляделся в обе ее груди и сказал:

— Вы правы, дорогая моя. Вы еще очень жесткая, вас наверно не мяли насмерть… У вас даже грудные соски глядят вперед, как два пробойных острия… Как это странно и тяжело видеть мне!

Он отвел голову в тоске; ясно было, что его любовь к Москве усиливалась от всякой замеченной новости в ней, даже от цвета чулок. Так же ее любил и Сарториус, вероятно — и Самбикин… Москва равнодушно поглядела на своего приятеля; ей не хотелось встречать в новых лицах тех, кого она оставила раньше. Если перед ней сидит такой же человек, что и Сарториус, то лучше вернуться к первому Сарториусу и не покидать его никогда.

Перед рассветом заиграли самый энергичный фокстрот, который действовал даже на пищеварение. Москва вышла танцевать со своим новым другом; они танцевали почти одни среди зала, опустошенного долгим весельем, как бедствием. Многие посетители уже дремали, некоторые глядели как мертвые, объевшись пищей и мнимыми страстями.

Музыка вращалась быстро, как тоска в костяной и круглой голове, откуда выйти нельзя. Но скрытая энергия мелодии была настолько велика, что обещала когда-нибудь протереть косные кости одиночества или выйти сквозь глаза, хотя бы слезами. Честнова понимала те пустяки, какие она делает сейчас ногами и руками, но ей нравилось многое, даже ненужное.

Наставал рассвет за окном сферического зала ресторана. Снаружи росло дерево; теперь его было видно в свете зари. Ветви дерева росли прямо вверх и в стороны, никуда не закругляясь, не возвращаясь назад, и кончалось дерево резко и сразу — там, где ему не хватало сил и средств уйти выше. Москва глядела на это дерево и говорила себе: «Это я, как хорошо! Сейчас уйду отсюда навсегда».

Она попрощалась с кавалером, но он загоревал по ней.

— Куда вы? Не надо спешить… Пойдемте отсюда куда-нибудь еще. Ну погодите немного, я расплачусь…

Москва молчала. Он предложил дальнейшее:

— Уйдем отсюда в поле — впереди нас ничего нет в мире, только дует какой-нибудь ветер из тьмы! А во тьме всегда хорошо…

Он напряженно улыбался, скрывая огорчение, считая последние секунды до разлуки.

— Ну нет! — сказала весело Москва. — Ишь вы, дурак какой нашелся… До свидания, благодарю вас.

— Куда вас можно поцеловать — в щеку или в руку?..

— В эти места нельзя, — смеялась Москва. — Можно в губы. Дайте — я сама вас…

Она поцеловала его и ушла. Человек остался расплачиваться без нее, удивляясь бессердечию молодого поколения, которое страстно целуется, точно любит, а на самом деле — прощается навечно.

Честнова шла одна на заре по столице. Она шла важно и насмешливо, так что дворники загодя отводили свои поливные рукава и ни одна капля не попала на платье Москвы.

Жизнь ее еще была долга, впереди простиралось почти бессмертие. Ничто не пугало ее сердце, и на защите ее молодости и свободы дремали где-то пушки вдали, как спит гроза зимою в облаках. Москва посмотрела на небо; там видно было, как шел ветер подобно существу и шевелил наверху смутный туман, надышанный ночью человечеством.

На Каланчевской площади за дощатой изгородью шахты сопели компрессоры метрополитена. У рабочего входа висел плакат: «Комсомолец, комсомолка! Иди в шахту метро!..»

Москва Честнова поверила и вошла в ворота; она желала быть везде соучастницей и была полна той неопределенностью жизни, которая настолько же счастлива, как и ее окончательное разрешение.

Сарториус решил проблему весов для колхозов. Он выдумал способ взвешивания хлеба на кварцевом камне. Этот камень был невелик, всего в несколько граммов. При сжатии его грузом кварцевый камешек выделял слабое электричество, которое усиливалось радиолампами и двигало, сколько нужно, стрелку циферблата, где отмечался вес. Радио было всюду, и на ссыппунктах, и в колхозных жилищах, и в клубах, поэтому весы состояли только из деревянной платформы, кварцевого камешка и циферблата, что было дешевле прежних сотенных весов раза в три и не требовало железа.

Теперь Сарториус переводил весь весовой парк республики на электричество. Он хотел пассивную мировую постоянную — тяготение земли заменить активной постоянной — энергией электрического поля. Это способно было дать весовым механизмам острое чувство точности и делало весовые машины дешевыми.

Лето окончилось, пошли дожди, такие же долгие и скучные, как в раннем детстве при капитализме. Сарториус редко ходил домой; ему там было страшно оставаться со своею тоскою по любимой, пропавшей Москве. Поэтому он с усердной сосредоточенностью занимался чертежами, и его сердце успокаивалось, сознавая пользу сбережения для государства и колхозников миллионов рублей благодаря техническому улучшению весового парка.

Здесь же, в Старо-Гостином Дворе, в учреждении бедняцкой, полузабытой промышленности, Сарториус нашел не только почет за свой труд, но и человеческое утешение в своей печали. Виктор Васильевич Божко, бывший председателем месткома весового треста, узнал тайну Сарториуса. Однажды, как обычно, Сарториус занимался поздним вечером. В тресте остался лишь один бухгалтер, подбивая квартальный баланс, да еще Божко склеивал вдали очередную стенгазету. Сарториус загляделся в окно, там люди целыми толпами ехали в трамваях из театров и гостей, им было весело друг с другом, и жизнь их шла надежно к лучшему, лишь техника напрягалась под ними — гнулись рессоры вагонов и утомленно гудели моторы.

Тем более озабоченно склонялся Сарториус над своей работой. Надо было решить задачу не только весов, но и железнодорожный транспорт, и прохождение кораблей в Ледовитом океане и попытаться определить внутренний механический закон человека, от которого бывает счастье, мученье и гибель. Самбикин ошибался, когда указывал душу мертвого гражданина, помещенную в пустоте кишок между калом и новой пищевой начинкой. Кишки похожи на мозг, их сосущее чувство вполне рационально и поддается удовлетворению. Если бы страсть жизни средоточилась лишь в темноте кишок, всемирная история не была там долга и почти бесплодна; всеобщее существование, основанное даже на одном разуме желудка, давно бы стало прекрасным. Нет, не одна кишечная пустая тьма руководила всем миром в минувшие тысячелетия, а что-то другое, более скрытое, худшее и постыдное, перед чем весь вопиющий желудок трогателен и оправдан, как скорбь ребенка, — что не пролезает в сознание и поэтому не могло быть понято никогда прежде: в сознание /разум[3]/ ведь попадает лишь подобное ему, нечто похожее на самую мысль. Но теперь! Теперь — необходимо понять все, потому что либо социализму удастся добраться во внутренность человека до последнего тайника и выпустить оттуда гной, скопленный каплями во всех веках, либо ничего нового не случится и каждый житель отойдет жить отдельно, бережно согревая в себе страшный тайник души, чтобы опять со сладострастным отчаянием впиться друг в друга и превратить земную поверхность в одинокую пустыню с последним плачущим человеком…

— Как много надо трудиться нам! — вслух сказал Сарториус. — Не приходи, Москва, мне сейчас некогда…

В полночь Божко скипятил чай электрической грелкой и с почтением начал угощать Сарториуса. Он сердечно уважал молодого, трудолюбивого инженера, который с охотой пришел работать в малозначную, безвестную промышленность, оставив в стороне славу

[3] Здесь и далее в косые скобки заключен авторский вариант — в случаях, когда выбор не определился.

авиации, разложения атома и сверхскоростной езды. Они пили чай и вели беседу об изжитии брака гирь, о двадцать первом правиле проверки весоизмерителей и о прочих подобных, по форме скучных предметах. Но за этим у Божко скрывалась страсть целого сердца, потому что точная гиря влекла за собою долю благоденствия колхозной семьи, помогала расцвету социализма, обнадеживала, в конце концов, душу всех неимущих земного шара. Гиря, конечно, небольшое дело, но Божко и себя сознавал невеликим, поэтому для счастья его всегда было достаточно материала.

Столица засыпала. Лишь вдалеке где-то стучала машинка в поздней канцелярии и слышалось, как сифонили трубы МОГЭСа, но большинство людей лежали в отдыхе, в объятиях или питались в темноте квартир секретами своих скрытых душ, темными идеями эгоизма и ложного блаженства.

— Поздно, — сказал Сарториус, напившись чаю с Божко. — Все уже спят в Москве, одна только сволочь, наверно, не спит, вожделеет и томится.

— А, это кто ж такое, Семен Алексеевич? — спросил Божко.

— Те, у которых есть душа.

Божко был готов из любезности к ответу, но промолчал, так как не знал, что сказать.

— А душа есть у всех, — угрюмо произнес Сарториус; он в усталости положил голову на стол, ему было скучно и ненавистно, ночь шла утомительно, как однообразный стук сердца в несчастной груди.

— Разве с точностью открыто, что повсеместно есть душа? — спросил Божко.

— Нет, не с точностью, — объяснил Сарториус. — Она еще неизвестна.

Сарториус умолк; его ум напрягался в борьбе со своим узким, бедствующим чувством, беспрерывно любящим Москву Честнову, и лишь в слабом свете сознания стоял остальной разнообразный мир.

— А нельзя ли поскорей открыть душу, что она такое, — интересовался Божко. — Ведь и вправду: пусть весь свет мы переделаем, и станет хорошо. А сколько нечистот натекло в человечество за тысячи лет зверства, куда-нибудь их надо девать!.. Даже тело наше не такое, как нужно, в нем скверное лежит.

— В нем скверное, — сказал Сарториус.

— Когда я юношей был, — сообщил Божко, — я часто хотел — пусть все люди сразу умрут, а я утром проснусь только один. Но все пусть останется: и пища, и все дома, и еще — одна одинокая красивая девушка, которая тоже не умрет, и мы с ней встретимся неразлучно…

Сарториус с грустью поглядел на него: как мы все похожи, один и тот же гной течет в нашем теле!

— Я тоже думал так, когда любил одну женщину.

— Кого же это, Семен Алексеевич?

— Честнову Москву, — ответил Сарториус.

— А, ее! — бесшумно произнес Божко.

— Вы ее тоже знали?

— Косвенно только, смутно, Семен Алексеевич, я был ни при чем.

— Ничего! — опомнился Сарториус. — Мы теперь вмешаемся внутрь человека, мы найдем его бедную, страшную душу.

— Пора бы уж, Семен Алексеевич! — указал Божко. — Надоело как-то быть все время старым природным человеком: скука стоит в сердце. Изуродовала нас история-матушка!

Вскоре Божко улегся спать на столе, приготовив для Сарториуса постель в кресле управляющего. Божко был теперь еще более доволен, поскольку лучшие инженеры озаботились переделкой внутренней души. Он давно втайне боялся за коммунизм: не осквернит ли его остервенелая дрожь /чужеродный дух/, ежеминутно подымающаяся из низов человеческого организма! Ведь древнее, долгое зло глубоко въелось в жизненную плоть, даже само тело наше есть наверно одна сплоченная терпеливая язва или такое жульничество, которое нарочно отделилось от всего мира, чтобы победить его и съесть в

одиночку…

Наутро, когда проснулся Божко, он увидел, что Сарториус вовсе не ложился. Он заготовил целую пачку чертежных схем и расчетов для электрического весового парка, но одновременно лицо его имело высохшие следы слез и морщины борьбы с неотвязным отчаянием тоскующего чувства.

В тот же день на вечер Божко созвал президиум месткома, где тактично доложил о личном горе инженера Сарториуса и наметил меры по уменьшению его страдания.

— Мы привыкли вмешиваться только во что-то общее и широкое, — говорил Божко на президиуме, — а надо попробовать помочь также частному и глубокому. Продумайте это, товарищи, по-советски и человечески, — вы помните, как Сталин нес урну с прахом инженера Федосеенко… Хотя горе товарища Сарториуса необыкновенно, благодаря его чувству, но утешить его надо обыкновенной мерой, потому что в жизни, как я заметил, хотя быть может и неверно, самое сильное — это что-нибудь обыкновенное: я ведь так полагаю…

Машинистка Лиза, член месткома, с легковерной готовностью полюбила про себя Сарториуса, но потом ей стало стыдно. Она была нежна и нерешительна, ее лицо почти всегда имело розовый цвет от совестливого напряжения с людьми. Девственница, она рано полнела, темные волосы ее росли все более густо и наружность делалась такой привлекательной, что многие обращали внимание и думали о Лизе, как о своем счастье. Один Сарториус замечал ее как-то косвенно и ничего не предполагал о ней.

Через два дня Божко посоветовал Сарториусу поглядеть на Лизу — она очень мила и добра, но несчастна от скромности.

В дальнейшем времени, благодаря общему делопроизводству, Сарториус ближе познакомился с Лизой, и однажды он в недоумении погладил ее руку, лежавшую на машинном столике, не зная, что сказать. Лиза не взяла руки и промолчала; был уже вечер, луна быстро, как время, всходила на небо за стенами учреждения, точно отмечая ежеминутную истекающую молодость.

Лиза и Сарториус вышли вместе на улицу, занятую таким тесным движением людей, что казалось, здесь же происходило размножение общества. Они поехали в окрестность города на трамвае, там была уже поздняя осень, в кочковатых полях стояла холодная сухость, и некогда росшая рожь, освещенная зарей московского полночного зарева, теперь была скошена и место лежало пустынным. В страхе от своего воспоминания Сарториус обнял Лизу, широко оглядывая одинокую тьму ночи; Лиза в ответ прильнула к нему, согреваясь и приобретая его руками, как разумная хозяйка.

С тех пор Сарториус нашел в учреждении утешение своей души и заунывная боль его по Москве Честновой превратилась в грустную память о ней, как о погибшей… За каменные весы он получил много денег, одел на них Лизу в роскошь и некоторое время жил легко и даже весело, предаваясь любви, посещению театров и текущим удовольствиям. Лиза была верна ему и счастлива, лишь одного она боялась — как бы Сарториус не оставил ее; поэтому она подолгу смотрела в его лицо, когда он спал, и думала о том, чтобы как-либо безболезненно и незаметно испортить наружность Сарториуса, хотя он и так был недостаточно красив, — тогда уж его, как урода, не полюбит другая женщина и он будет жить с нею до самой смерти. Однако Лиза ничего выдумать не умела и не знала, как сделать, чтобы Сарториус для всего мира стал ненавистным, — и когда он улыбался во сне неизвестному легкому сновидению, у Лизы показывались слезы от горя ревности и нарождающейся ярости.

Ум Сарториуса успокоился, в нем опять непроизвольно, как в семеннике, производились мысли и фантазии, и он просыпался, наполненный открытиями и далекими представлениями; он воображал себе бедняцкий южно-советский Китай и шведского ученого Мальмгрена, замерзшего во льду, уже забытого всем светом. И с беспокойством от ответственности своей жизни, со страхом от ее скорости, легкомыслия и мнимой утоленности, Сарториус работал все более поспешно, боясь умереть или снова полюбить Москву Честнову и тогда замучиться.

Наступила зима. Многие ночи Сарториус просидел в учреждении, в то время как Лиза печатала что-то вдали на машинке. Он спроектировал электрические весы, которые взвешивали звезды на расстоянии, когда они показывались над горизонтом востока, и его за это поцеловал замнаркома тяжелой промышленности; но Сарториус постепенно терял интерес и к весам и к звездам: он чувствовал в себе смутное волнение, не объяснимое его счастливой молодостью, и тайна человеческой жизни была для него неясна; он чувствовал себя так, как будто до него люди не жили и ему предстоит перемучиться всеми мученьями, испытать все сначала, чтобы найти для каждого тела человека еще не существующую, великую жизнь. В тоске и нестерпимости, лишь бы утомиться и переменить мысли, он целовал свою Лизу, и та принимала всерьез его чувство. Но после он долго спал с испитым сердцем и просыпался в отчаянии. Москва Честнова была права, что любовь — это не коммунизм /будущее/ и страсть грустна.

11

Зимою в два часа ночи подъемник 18-й шахты метрополитена сработал по аварийному сигналу — наверх была поднята девушка-шахтер и вызвана карета скорой помощи. У той девушки была размята правая нога в верхней полной части, выше колена.

— Вам очень больно или нет? — наклонился к ней серый от усталости и страха прораб.

— Ну конечно, но только не очень! — здраво ответила шахтерка. — Я еще, может быть, встану сейчас…

Она действительно встала с носилок, прошла несколько шагов и упала в снег. Из нее вышла кровь; на снегу, освещенном прожектором, кровь казалась желтой, истощенной еще задолго в теле, но лицо упавшей глядело блестящими глазами и губы были красные от здоровья или от высокой температуры.

— Как же это случилось с вами? — допрашивал ее прораб, помогая ей лечь на подстилку.

— Не помню, — ответила раненая, — на меня вагонетка наскочила и зажала в слепой проход… Но вы отойдите теперь, я буду спать, а то боль чувствовать неохота.

Прораб отошел, готовый сам себе оторвать ногу, лишь бы эта девушка уцелела полностью. Приехал автомобиль и увез уснувшую шахтерку в хирургическую клинику.

В экспериментальной клинике находился Самбикин в качестве ночного дежурного врача; срочных больных не привозили, поэтому он сидел наедине с мертвой материей и пытался выбрать из нее то малоизвестное веселое вещество, которое было припасено для долгой, но не случившейся жизни.

Перед Самбикиным лежал на опытном столе некогда оперированный им ребенок. Он долго томился в больнице, однако вчера умер и перед смертью стал на короткое время безумным, потому что в костяных скважинах на его голове, где производилась операция, появился гной и сразу, со скоростью сгорания, отравил его сознание. Сестра рассказывала Самбикину, что маленький больной закрыл на минуту спокойные, хорошо наполненные глаза, а открыл их пустыми и скучными, как пробитыми насквозь.

Самбикин в долгом одиночестве гладил голое тело умершего, как самую священную социалистическую собственность, и горе нагревалось в нем, пустынное, не разрешимое никем.

К полночи он раскопал инструментом сердце в груди покойного, затем вынул железу из области горла и стал исследовать эти органы приборами и препаратами, выискивая, где хранится неистраченный заряд живой энергии; Самбикин был убежден, что жизнь есть лишь одна из редких особенностей вечно мертвой материи и эта особенность скрыта в самом прочном составе вещества, поэтому умершим нужно так же мало, чтобы ожить, как мало нужно было, чтобы они скончались. Более того, живое напряжение снедаемого смертью человека настолько велико, что больной бывает сильнее здорового, а мертвый — жизнеспособней живущих.

Самбикин решил мертвыми оживлять мертвых, но его позвали к раненой живой.

Шахтерку положили на стол перевязочной и накрыли лицо двойной кисеей — она спала.

Самбикин осмотрел ее ногу; кровь вырывалась с давлением наружу и слегка вспенивалась; кость была раздроблена по всему сечению, и внутрь раны въелись различные нечистоты. Но окружающее целое тело имело нежный смуглый цвет и такую свежую опухшую форму поздней невинности, что шахтерка заслуживала бессмертия; даже сильный запах пота, исходивший из ее кожи, приносил прелесть и возбуждение жизни, напоминая хлеб и обширное пространство травы.

Самбикин распорядился о приготовлении изувеченной к операции на завтрашний день.

Наутро Самбикин увидел на операционном столе Москву Честнову; она была в сознании и поздоровалась с ним, но нога ее стала темной и жилы на ней, переполненные мертвой кровью, набухли, как у склерозной старухи. Москва уже была вымыта, и ей сбрили волосы в паху.

— Ну, теперь до свидания, — сказал Самбикин, растирая свои большие руки.

— До свидания, — ответила Москва и стала блуждать глазами, потому что сестра дала ей вдохнуть усыпляющее вещество.

Она забылась и пошевелила шелестящими губами в жажде горячего тела.

— Уснула, — сказала сестра, обнажая всю Москву.

Самбикин долго работал над ногой, пока не отделил ее начисто, дабы избавить организм от гангрены. Москва лежала спокойная; неопределенное грустное сновидение плыло в ее сознании, — она бежала по улице, где жили животные и люди, — животные отрывали от нее куски тела и съедали их, люди впивались и задерживали, но она бежала от них далее, вниз, к пустому морю, где кто-то плакал по ней; туловище ее ежеминутно уменьшалось, одежду давно содрали люди, наконец остались торчащие кости — тогда и эти кости начали обламывать попутные дети, но Москва, чувствуя себя худой и все более уменьшающейся, терпеливо убегала дальше, лишь бы никогда не возвращаться в страшные покинутые места, откуда она убежала, лишь бы уцелеть, хотя бы в виде ничтожного существа из нескольких сухих костей… Она упала на жесткие камни, и все, кто рвал и ел ее в бегстве, навалились на нее тяжестью.

Москва проснулась. Склонившись, ее обнимал Самбикин и пачкал кровью ее груди, шею и живот.

— Пить! — попросила Москва.

В операционной никого не было, своих помощниц-сестер Самбикин давно услал, где-то в далеком углу шипела газовая горелка.

— Я теперь хромая, — сказала Честнова.

— Да, — ответил Самбикин, не оставляя ее. — Но это все равно, я не знаю, что сказать вам…

Он поцеловал ее в рот; изо рта выходил удушающий запах хлороформа, но он мог теперь дышать всем чем попало, что она выдыхала из себя.

— Обождите, я ведь больная, — попросила Москва.

— Извините, — отстранился Самбикин. — Есть вещи, которые уничтожают все, это — вы. Когда я увидел вас, я забыл думать, я думал, что умру…

— Ну ладно, — неясно улыбнулась Москва. — Покажите мне мою ногу.

— Ее нет, я велел отослать ее себе домой.

— Зачем? Я ведь не нога…

— А кто же?

— Я не нога, не грудь, не живот, не глаза, — сама не знаю кто… Унесите меня спать.

На следующий день здоровье Москвы ослабело, начался жар и пошла кровавая моча. Самбикин стучал себя по голове, чтобы опомниться от любви, анализировал свое состояние физиологически и психически, смеялся; усиленно морща лицо, но ничего не мог достигнуть. Суета и напряжение работы оставили его, он ходил, как бездельник, по дальним улицам в

одиночестве, занятый скучной неподвижной мыслью любви. Иногда он прислонялся головой к дереву на ночном бульваре, чувствуя нестерпимое горе; редкие слезы опускались по его лицу, и он, стыдясь, собирал их языком вокруг рта и проглатывал.

Во вторую ночь Самбикин взял сердце и шейную железу умершего ребенка, приготовил из них таинственную суспензию и впрыснул ее в тело Честновой. Так как он спать теперь почти не мог, то проблуждал по городу до рассвета, а утром встретил в клинике мать покойного мальчика, — она пришла брать своего сына для похорон. Самбикин отправился с нею, помог ей в необходимых хлопотах, а после полудня уже шел рядом с худою, дрожащей женщиной за повозкой, где лежал мальчик с пустой грудью в гробу. Неизвестная, странная жизнь открылась перед ним — жизнь горя и сердца, воспоминаний, нужды в утешении и в привязанности. Эта жизнь была настолько же велика, как и жизнь ума и усердной работы, но более безмолвна.

Москва Честнова поправлялась долго, она пожелтела, и руки ее высохли от неподвижности. Но в окне она видела голые худые ветви какого-то дворового больничного дерева; ветви скреблись по оконному стеклу в течение долгих мартовских ночей, они зябли и тосковали, чувствуя срок наступающего тепла. Москва слушала движение влажного ветра и ветвей, постукивала им в ответ пальцем по стеклу и не верила ни во что бедное и несчастное на свете — не может быть! «Я скоро выйду к вам!» — шептала она наружу, прильнув ртом к стеклу.

Однажды в апреле, уже вечером, когда в клинике нужно было спать, Честнова услышала где-то далеко игру на скрипке. Она прислушалась и узнала музыку — это играл скрипач в том недалеком жакте, где жил Комягин. Изменяется время, жизнь и погода — наступала весна, кооперативный музыкант играл еще лучше, чем прежде: Москва слушала и воображала ночные овраги в полях и птиц, летящих в нужде сквозь холодную тьму вперед.

Днем, как обычно, Москву часто навещали ее подруги по прошлой работе в земле; после операции приходил два раза треугольник шахты метрополитена и приносил ей торты в коробках за счет профсоюза.

«Выздоровлю, пойду замуж за Комягина, — думала Москва по ночам, слушая, как распространяется в огромном воздухе музыка жактовского скрипача. — Я теперь хромая баба!»

Ее выписали в конце апреля. Самбикин принес ей новые прочные костыли — на весь долгий путь остающейся жизни. Но идти Москве было некуда, она жила до больницы в сорок пятом общежитии метростроя, а теперь то общежитие куда-то перевели, она не знала.

Самбикин, открыв дверь автомобиля, ждал адреса, куда ее везти, но Москва улыбалась и молчала. Тогда Самбикин повез ее к себе.

Через несколько дней, не дожидаясь окончательного заживления раны на ноге Москвы, Самбикин уехал с нею на Кавказ, в дом отдыха на черноморском берегу.

Каждое утро, после завтрака, Самбикин провожал Москву на берег шумного моря, и Москва часами смотрела в невозвратное пространство. «Уйду, уйду я куда-нибудь», — шептала она одно и то же. Самбикин молчал близ нее, его внутренности болели, точно медленно сгнивали, и в опустевшей голове томилась одна нищая мысль любви к обедневшему, безногому телу Москвы. Самбикин стыдился такой своей жалкой жизни; в мертвые послеобеденные часы он уходил в горную рощу и там бормотал, ломал сучья, пел, умолял всю природу отвязаться от него и дать наконец покой и работоспособность, ложился в землю и чувствовал, как все это неинтересно.

Возвращаясь к вечеру, Самбикин зачастую не мог даже добраться до Честновой, настолько она была окружена вниманием, заботой и навязчивостью полнеющих на отдыхе мужчин. Уродство Москвы теперь было мало заметно — ей привезли протез из Туапсе и она ходила без костылей, с одной тростью, на которой все, кому Москва нравилась, уже успели вырезать свои имена и даты и нарисовать символы безумных страстей. Разглядывая свою трость, Москва понимала, что надо удавиться, если бы рисунки были искренними: знакомые люди рисовали в сущности только одно: как бы они хотели рожать от нее детей.

Один раз Москве захотелось винограда, но весной он не вырастает. Самбикин обходил колхозные окрестности, однако всюду виноград уже давно был превращен в вино. Москва сильно опечалилась — после потери ноги и болезни у нее появилась разная блажь, в виде нетерпенья по поводу какого-нибудь пустяка. Она, например, каждый день мыла себе голову, потому что все время чувствовала в волосах грязь и даже плакала от огорчения, что грязь никак не проходит. Когда Москва, как обычно, мыла однажды вечером голову над чашкой в саду, к изгороди подошел пожилой горец и стал молча смотреть.

— Дедушка, принеси мне винограду, — попросила его Москва. — Или у вас нет его?

— Нету, — ответил горный человек. — Откуда он теперь!

— Ну тогда не гляди на меня, — сказала Честнова. — Неужели у вас ни одной ягодки нету, ты же видишь — я хромая…

Горец ушел без ответа, а наутро Москва увидела его снова. Он дождался, когда Москва вышла на крыльцо дома, и подарил ей новую корзину, где под свежими листьями лежал бережно отобранный виноград, весом более пуда. После корзины горец подал Москве маленькую вещь — цветную тряпочку; Москва развернула ее и увидела там человеческий ноготь с большого пальца. Она не понимала.

— Возьми, русская дочка, — объяснил ей старый крестьянин. — Мне шестьдесят лет, поэтому я дарю тебе свой ноготь. Если б мне было сорок, я бы принес тебе свой палец, а если б тридцать, я тоже отнял бы себе ту ногу, которой и у тебя нету.

Москва нахмурилась, чтоб спокойно сдержать свою радость, а потом повернулась, чтобы убежать, и упала, ударившись в камень порога неживым деревом ноги.

Горец не хотел знать про человека все, а только лучшее, поэтому он сейчас же ушел в свое жилище и больше не был никогда.

Прошло время отдыха и лечения, Москва оправилась окончательно и освоила деревянную ногу, как живую. По-прежнему каждый день ее провожал Самбикин на берег моря и оставлял одну.

Движение воды в пространстве напоминало Москве Честновой про большую участь ее жизни, о том, что мир действительно бесконечен и концы его не сойдутся нигде, — человек безвозвратен.

Ко дню обратного отъезда любовь Самбикина к Москве уже превратилась для него в такую умственную загадку, что Самбикин всецело принялся за ее решение и забыл в своем сердце страдальческое чувство.

12

Сарториус потерял славу всесоюзного инженера; он целиком сосредоточился в делах малозаметного учреждения, и его постепенно упустили из виду бывшие товарищи и знаменитые институты. Он все реже и реже ходил ночевать домой, оставаясь на отдых в том же учреждении, поэтому его по праву жительства выписали однажды из домовой книги, а вещи сдали в камеру при отделении милиции. Сарториус, поглощенный своей молчаливой жизнью, взял вещи из камеры и свалил их в том углу, где обычно дремал трестовский сторож — в борьбе с возможным грабежом имущества. С тех пор учреждение окончательно стало для Сарториуса семейством, убежищем и новым миром: там он жил с верной девушкой Лизой, имел широкую дружбу с сослуживцами, и местком — во главе с Божко — оберегал его от всякого горя и несчастья.

Днем Сарториус был почти всегда счастлив и удовлетворен текущей работой, но по ночам, когда он лежал навзничь на папках старых дел, внутри его рождалась тоска, она вырастала из-под его нагрудных костей, как дерево поднималось к потолочному своду Старо-Гостиного Двора и шевелилось там черными листьями. Так как Сарториус почти не умел мечтать, он мог лишь мучиться и наблюдать — что это такое.

Ум его все более беднел, спина слабела от занятий, но Сарториус терпеливо выносил самого себя; лишь изредка у него болело сердце — настойчиво и долго, в далекой глубине

тела, раздаваясь там, как темный вопиющий голос. Тогда Сарториус уходил за шкаф с давними делами и стоял в промежутке инвентаря некоторое время, пока не проходила в одиночестве и однообразии эта болящая скука чувства.

По ночам Сарториус спал мало. Он ходил в гости в семью машинистки Лизы, пил чай с нею и с ее небольшою матерью-старушкой, которая любила говорить о современной литературе, а особенно о путях развития изобразительных искусств, — и кротко улыбался от отчаяния. Иногда сюда же приходил Виктор Васильевич Божко: когда-то, ранее Сарториуса, Лиза намечалась для Божко в качестве невесты, но увлекшись делами учреждения, житейской атмосферой со всеми сослуживцами, Божко не видел пока острой надобности уединяться квартирным браком и даже склонил Лизу на утешение Сарториуса. Польза и счастье сослуживца затмили для Божко стихию сердечных страстей, а очагом, согревающим его личную душу, ему служил трест весов и гирь. Теперь, заставая Сарториуса и Лизу у общей старушки, Виктор Васильевич прилагал свое усердие к тому, чтобы они обручились; его прельщало, что молодые люди, и полюбя друг друга, останутся в том же учреждении и профсоюзе и не выйдут из небольшой, но тесной системы весовой промышленности.

Если же Сарториус не посещал Лизу, он ходил много верст по городу, подолгу наблюдал, как вешают хлеб и овощ в магазинах на электрических весах его конструкции, и вздыхал от теснящегося в нем, заунывного процесса неизменного существования. Затем, когда ночные пустые трамваи поспешно мчались в последние рейсы, Сарториус подолгу всматривался в чуждые непонятные лица редких пассажиров. Он ожидал увидеть где-нибудь Москву Честнову, ее милые волосы, свисающие вниз через раскрытое трамвайное окно, когда ее голова лежит на подоконнике и спит на ветру движения.

Он любил ее постоянно; ее голос звучал для него всегда в ближайшем воздухе — стоило ему вспомнить любое слово Москвы, и сейчас же он видел в своем воспоминании знакомый рот, верные нахмуренные глаза и теплоту ее кротких уст. Иногда она снилась Сарториусу, жалкая или уже усопшая, лежащая в бедности последний день перед погребением. Сарториус просыпался в горе и в жестокости и сейчас же принимался за какое-нибудь полезное дело в своем учреждении, чтобы затмить в себе столь печальную и неправильную мысль. Обычно же Сарториус снов не видел, не обладая способностью к пустому переживанию.

Почти одинаково, лишь с небольшими изменениями, прошло время в течение многих месяцев. Женщины давно оделись в теплые шапки, открылись катки, деревья на бульварах уснули, храня снег на ветвях до весны, электрические станции работали все более напряженно, освещая растущую тьму, — Москвы Честновой нигде не было: ни в натуре, ни по справкам в адресном столе.

Среди одного зимнего дня Сарториус посетил доктора Самбикина. Тот вернулся с ночной работы в клинике и сидел неподвижно, следя за течением очередной загадки в своем уме.

Странно, что оба товарища встретились после разлуки без радости, хотя Самбикин, как обычно, увидел в посещении Сарториуса многозначительное явление. Он даже озадачился.

Затем выяснилось, что Самбикин любил Москву бессмысленно и сознательно отошел от нее, чтобы решать в стороне всю проблему любви в целом, потому что это слишком серьезная задача, — бросаться же с головой в неизвестное дело недопустимо. И только после достижения ясности своего чувственного вопроса Самбикин думает встретиться с Москвой, дабы прожить с ней остаток времени до смертного сожжения.

— Она теперь хромая, — сказал еще Самбикин, — и живет в комнате члена осодмила товарища Комягина. Фамилия ее тоже стала не Честнова.

— Зачем же ты бросил ее хромую и одну? — спросил Сарториус. — Ты ведь любил ее.

Самбикин чрезвычайно удивился:

— Странно, если я буду любить одну женщину в мире, когда их существует целый миллиард, а среди них есть наверняка еще более высшая прелесть. Это надо сначала точно выяснить, здесь явное недоразумение человеческого сердца — больше ничего.

Сарториус, узнав адрес Москвы, оставил Самбикина одного. Доктор не проводил Сарториуса до двери и сидел по-прежнему в полной задумчивости по поводу всех важнейших задач человечества, желая всемирной ясности и договоренности по всем пунктам счастья и страдания.

Вечером Семен Сарториус вошел во двор жакта в Бауманском районе, где жил Комягин. Институт Экспериментальной Медицины был достроен за забором дома и освещен чистым огнем электричества. У входа в домоуправление сидел старый нищий с лысой головой, а шапка его лежала на земле пустотою вверх, и поперек нее находился смычок от скрипки. Сарториус положил в шапку немного денег и спросил у бедняка: почему у него лежит смычок.

— Это мой знак, — сказал старый человек. — Я ведь собираю не милостыню, а пенсию: я всю жизнь с упоением играл в Москве, меня слышали здесь все поколения населения с удовольствием — пусть дают на харчи, пока смерти еще не время!

— А вы бы играли на скрипке — к чему побираться! — посоветовал Сарториус.

— Не могу, — отказался старик. — У меня руки трепещут от волнения слабости. А это для искусства не годится — я халтурщиком быть не могу. Нищим — могу.

В длинном коридоре старого дома пахло еще долголетними остатками йодоформа и хлорной извести; здесь, вероятно, когда-то в гражданскую войну был госпиталь и лежали красноармейцы, — теперь живут жильцы.

Сарториус подошел к двери Комягина; за дверью слышался тихий голос Москвы Честновой; должно быть, она лежала в постели и говорила с мужем-сожителем.

— Ты помнишь, я тебе рассказывала, как я в детстве видела темного человека с горящим факелом — он бежал ночью по улице, а была темная осень и такое низкое небо, что некуда… дышать…

— Помню, — сказал мужской голос. — Я же тебе давал указания, как я бегал тогда на врагов: это был я.

— Тот был старый, — грустно сомневалась Москва.

— Пускай старый. Когда человек живет в виде маленькой девчонки, ей шестнадцатилетний кажется пожилым стариком.

— Это верно, — произнесла Москва; ее голос был немного лукав, немного печален, точно она была сорокалетней женщиной девятнадцатого века и дело шло в большой квартире. — Ты теперь сгорел и обуглился.

— Вполне правильно, Муся, — сказал Комягин; он ее звал сокращенно. — Я исчезаю, я старая песня, мой маршрут кончается, я скоро свалюсь в овраг личной смерти…

Муся промолчала, потом сказала:

— И птица, какая пела твою песню, давно улетела в теплые края. Ты какой-то весь жалкий человек, как бывший мужик!

— Истерся весь, — ответил Комягин. — Все понятно. Теперь ничего не люблю, кроме порядочка в нашей республике.

Муся кротко засмеялась, как она умела.

— Ты рядовой запаса второго разряда! Как я тебя встретила такого среди огромного количества?

Он объяснил:

— А мир ведь не очень велик, я два раза специально вдумывался в это. Когда на глобус глядишь или на карту, кажется — много, а так — не очень, и все ведь учтено и записано: можно в полчаса глазами пробежать весь регистр населения и территории — с именем, отчеством, фамилией и основными данными характеристики!

В коридоре потух свет благодаря наступлению какого-то максимального времени ночи и экономическому надзору уполномоченного по энергии. Сарториус прислонился головой к холодной канализационной трубе, которую когда-то обнимала Москва, и слышал в ней с перерывами потоки нечистот верхних этажей.

— И даже хорошо, что вся земля мала: на ней можно смирно жить! — говорил

Комягин.

Муся-Москва молчала. Наконец стукнула ее деревянная нога. Сарториус понял, что она села.

— Комягин, неужели ты был большевиком? — спросила она.

— Ну зачем, — не был нет никогда!

— А почему тогда ты с факелом бежал в семнадцатом году, когда я еще только росла?

— Нужно было, — сказал Комягин. — В то время не было же ведь ни милиции, ни осодмила — тем более. Жителям приходилось самообороняться ото всех врагов.

— А где мы жили и ты — там были почти нищие и одни голодающие… У моего отца имущество стоило рубля три, и то его надо было сорвать с тела и вырвать из пуза, — чего вы сторожили, дураки, зачем ты с факелом бежал?

— Инспектором самоохраны был, бежал — посты проверял… Когда всего мало, то значит бедность, а ее надо охранять тем более, это самое драгоценное: деревянная ложка делается серебряной! Вот тебе что!

— А стрельнул кто и в тюрьме крик голосов начался?.. Ты мне не ври!

— Чего врать! Правда — хуже. Стрельнул одинокий /тайный/ хулиган, а в тюрьме митинг был, там кормили хорошо и никто на волю не уходил — приходилось с боем выдворять на свободу. Я тоже щи там ел у надзирателя по знакомству.

Москва долго снимала одежду, сопела и шевелила деревянной ногой — она, наверно, укладывалась до утра.

Сарториус ждал в страхе дальнейшего конца. По коридору изредка ходили жильцы в общую уборную, но к чужому человеку в темноте они не присматривались, как привычные ко многим и всяким непонятным явлениям.

— Ты слепой в крапиве, — сказала Москва за дверью. — Не ложись со мной, гадость такая!

— Скрипишь, деревянная нога! — терпеливо указал ей Комягин. — Ты жизни нашей сугубой не знаешь…

— Нет, я знаю. Убить тебя надо, вот в чем жизнь.

— Погоди, я ни одного дела еще не доделал, важнейших мыслей не додумал…

— Ну когда ж ты успеешь это, ведь ты стареешь… На что ты надеешься?

Комягин скромно сообщил, что он надеется выиграть по займу несколько тысяч рублей и тогда одумается от мыслей и закончит все начатые дела.

— Но ведь это может не скоро будет, — печально говорила Москва.

— Если даже за час до смерти, и мне достаточно, — определил Комягин. — Все равно, хоть и не выиграю, хоть и не сделаю свою жизнь нормальной, все равно — я решил — как почувствую естественную погибель, так примусь за все дела и тогда все закончу и соображу — в какие-нибудь одни сутки, мне больше не надо. Даже в час можно справиться со всеми житейскими задачами!.. В жизни ничего особенного нету — я специально думал о ней и правильно это заметил. Ведь это только так кажется, что нужно жить лет сто и едва лишь тебе хватит такого времени на все задачи! Отнюдь неверно! Можно прожить попусту лет сорок, а потом сразу как приняться за час до гроба, так все исполнить в порядочке, зачем родился!..

Они больше не говорили. Комягин, судя по звукам, улегся на полу и долго вздыхал от огорчения, что время идет, а дела его стоят. Сарториус стоял в унынии, не имея никакого решения. Он слышал, как кто-то запер наружную выходную дверь и ушел спать в свою комнату последним человеком. Но Сарториус не боялся пробыть всю ночь во тьме коридора; он ждал — не умрет ли вскоре Комягин, чтобы самому войти в комнату и остаться там с Москвой. Он не спал в ожидании, наблюдая в темной тишине, как постепенно следует время ночи, полное событий. За третьей дверью, считая от канализационной трубы, начались закономерные звуки совокупления; настенный бачок пустой уборной сипел воздухом, то сильнее, то слабее, знаменуя работу могучего водопровода; вдалеке, в конце коридора, одинокий жилец принимался несколько раз кричать в ужасе сновидения, но утешить его

было некому и он успокаивался самостоятельно; в комнате против двери Комягина кто-то, специально проснувшись, молился богу шепотом: «Помяни меня, господи, во царствии твоем, я ведь тоже тебя поминаю, — дай мне что-нибудь фактическое: пожалуйста, прошу!» В других номерах коридора также происходили свои события — мелкие, но непрерывные и необходимые, так что ночь была загружена жизнью и действием равносильно дню. Сарториус слушал и понимал, насколько он беден, обладая лишь единственным, замкнутым со всех сторон туловищем: Москва и Комягин спали за дверью; укрощенно билось их сердце, и по коридору слышалось всеобщее мирное дыхание, точно в груди каждого была одна доброта.

Сарториус томился. Он осторожно постучал в дверь, чтобы кто-нибудь проснулся и что-нибудь произошло. Чуткая Москва заворочалась и позвала Комягина. Тот отозвался в раздражении: что ей надо ночью, когда и днем от него пользы нет.

— Проверь свои облигации, — сказала Москва. — Зажги свет.

— А что? — испугался Комягин.

— Может быть, выиграл… Если выиграл, начнешь жить по правилу, если нет — ляжешь и умрешь. Ты один такой в Советском Союзе, как тебе не стыдно?

Комягин с напряжением собирал ослабевшие мысли в своей голове.

— Что мне такое Советский Союз — Советский Союз! Про него все теперь бормочут, а я живу в нем как в теплоте за пазухой…

— Хватит тебе жить, умри по-геройски, — как ехидна, настойчиво предлагала Москва.

Комягин размышлял: ничего особенного, в самом деле, не будет, если даже умереть, — уже тысячи миллиардов душ вытерпели смерть и жаловаться никто не вернулся. Но жизнь его видимо еще сковывала своими костями, заросшим мясом и сетями жил, — слишком надежна и привычна была механическая прочность собственного существа. Он полез на коленях в свои незавершенные архивы и стал листовать облигации, а Москва ему читала перечень выигравших серий по сборнику Наркомфина. Выигрыш нашелся в сумме десяти рублей, но так как у Комягина была лишь четверть этой удачной облигации, то чистого дохода ему причиталось два с половиной рубля: жизнь лишь незначительно усугублялась, а итоги ее опять свести было нельзя безубыточно.

— Ну что теперь будешь? — спросила Москва.

— Умру, — согласился Комягин. — Жить не приходится. Отнеси завтра в отделение милиции книжку штрафных квитанций — тебе рублей пять процентов очистится: станешь кормиться после меня.

Он лег затем на что-то и умолк.

Вскоре Москва снова прошептала вопрос:

— Ну как, Комягин? — Она его звала по одной фамилии, как чужого. — Ты опять спишь, а потом проснешься?

— Едва ли, — ответил Комягин, — я сейчас задумался… Что, если б я в осодмиле лет десять еще поработал — я бы так научился в народ дисциплину наводить, мог потом Чингиз-ханом быть! — Кончай свой разговор! — рассердилась Москва. — Авантюрист! Время себе у государства воруешь!

— Нет, — отказался Комягин и нежно произнес: — Мусь, поласкай меня, я тогда скорей исчахну, к утру ангелом буду — умру.

— Я тебя вот поласкаю! — грозно отозвалась Москва. — Я тебя сейчас деревянной ногой растопчу, если ты не издохнешь!

— Ну кончено, кончено! Говорят, перед смертью надо всю жизнь припомнить — ты не ругайся, я ее вспомню срочно.

Наступило молчание, пока в уме Комягина очередью проходили долгие годы его существования.

— Вспомнил? — поторопила вскоре Москва.

— Нечего вспоминать, — сказал Комягин. — Одни времена года помню: осень, зиму, весну, лето, а потом опять осень, зиму… В одиннадцатом и двадцать первом году лето было

жаркое, а зима голая, без снега, в шестнадцатом — наоборот — дожди залили, в семнадцатом осень была долгая, сухая и удобная для революции… Как сейчас помню!

— Но ты же много любил женщин, Комягин, это, наверно, твое счастье было.

— Какое тебе счастье в человеке вроде меня! Не счастье, а бедность одного вожделения! Любовь ведь горькая нужда, более ничего.

— Ты ведь не очень глуп, Комягин!

— По-среднему, — согласился Комягин.

— Ну довольно, — сказала Москва ясным голосом.

— Довольно, — так же сказал Комягин.

Они снова умолкли, уже надолго. Сарториус равнодушно ожидал за дверью жилища, пока Комягин погибнет, чтобы войти в комнату. Он чувствовал, как у него начинают болеть глаза от тьмы и долгого мучения сердца.

Наконец Комягин попросил, чтобы Муся укрыла ему голову одеялом потуже и обвязала пониже то одеяло бечевой, чтоб оно не сползло. Москва сошла с кровати деревянной ногой и укутала Комягина как нужно, затем улеглась обратно со вздохами.

Ночь длилась как стоячая. Сарториус сел на пол в усталости: еще никто не проснулся в коридоре, утро еще находилось где-нибудь над зеркалом Тихого океана. Но все звуки прекратились, события, видимо, углубились в середину тел спящих, зато одни маятники часов-ходиков стучали по комнатам во всеуслышание, точно шел завод важнейшего производства. И действительно, дело маятников было важнейшее: они сгоняли накапливающееся время, чтобы тяжелые и счастливые чувства проходили без задержки сквозь человека, не останавливаясь и не губя его окончательно.

В комнате Комягина маятник не постукивал; оттуда слышалось одно чистое, ровное дыхание уснувшей Москвы; другого дыхания слышно не было — Сарториус не мог его уловить. Подождав еще немного, он постучал в дверь.

— Кто там? — сразу спросила Москва.

— Я, — сказал Сарториус.

Не вставая, Честнова скинула дверной крючок пальцем целой ноги.

Сарториус вошел. В комнате горел свет, не потушенный со времени проверки облигаций. На полу, на постилке лежал Комягин с головою, наглухо завернутой в толстое одеяло; кругом груди одеяло держалось тонкой впивающейся веревкой. Москва была одна на кровати, покрытая простыней; она улыбнулась Сарториусу и стала с ним беседовать. Потом Сарториус спросил ее:

— Как ты сюда попала, в чужую комнату, и зачем?

Москва ответила, что ей некуда было деться. Самбикин сначала любил ее, но потом задумался над ней, как над проблемой, и беспрерывно молчал. Ей и самой стало совестно жить среди прежних друзей, в общем убранном городе, будучи хромой, худой и душевной психичкой, поэтому она решила укрыться у своего бедного знакомого, чтобы переждать время и снова повеселеть.

Она сидела на кровати, Сарториус находился рядом с ней. Вскоре она опустила свое побледневшее лицо, ее большие темные волосы укрыли ее щеки, и она заплакала в чаще своих кос. Сарториус начал успокаивать ее посредством объятий, но ей это было все равно; она стыдилась и глубоко прятала деревянную ногу под юбку.

— Он спит? — спросил Сарториус про Комягина.

— Не знаю, — сказала Москва. — Может быть, умер — он сам хотел. Попробуй его ноги.

Сарториус попробовал концы ног Комягина, они были одеты, как в галстуки, в остатки носков — целы были только верхние части, а подошвы и пальцы обнажились наголо. Пальцы ног и пятки оказались холодными до самых костей, и все тело лежало в беспомощном положении.

— Наверно, умер, — сказал Сарториус.

— Пора ему, — тихо произнесла Москва.

Сарториус молча обрадовался, что никого нет живого в помещении, кроме него с прежней, любимой Москвой, еще более милой и сердечной для него, что счастье и слава ее временно остановились, оттого перед нею все опять лишь впереди, и у него не было никакого сожаления к Комягину. Ночь шла давно, оба они утомились и легли рядом лежать на постели.

Комягин был неподвижен на далеком полу; чтобы не запачкать постилки, ему Москва еще с вечера наложила на пол старые «Известия» 1927 года, и теперь свет освещал сообщения о минувших событиях. Сарториус обнял Москву, и ему стало хорошо.

Часа через два по коридору пошли ходить люди, готовясь к службе и работе. Сарториус очнулся и сел на кровати; Москва спала рядом, и лицо ее было во сне смирное и доброе, как хлеб, — не совсем похожее на обычное. Комягин лежал в прежнем виде, электричество горело ярко и освещало всю комнату, где все требовало переделки или окончания. Сарториус понял, что любовь происходит от не изжитой еще всемирной бедности общества, когда некуда деться в лучшую, высшую участь. Он потушил свет и лег, чтобы опомниться от наступившего состояния. Слабый свет, точно лунный, начал распространяться по стене над дверью, проникая через окно с утреннего неба, и когда он озарил всю комнату, в ней стало еще более тесно и грустно, чем ночью при огне.

Сарториус подошел к окну; за ним был виден зимний дымный город; очередной рассвет пробирался по обвисшему животу равнодушной тучи, из которой нельзя ждать ни ветра, ни грозы. Но миллионы людей уже зашевелились на улицах, неся в себе разнообразную жизнь; они шли среди серого света трудиться в мастерские, задумываться в конторах и в чертежных бюро, — их было много, а Сарториус сидел один, неразлучно с собою никогда. Душа и мысль его, заодно с однообразным телом, были устроены до смерти одинаково.

Мертвец Комягин лежал свидетелем вновь сбывшейся любви Сарториуса /случившихся комнатных событий/, но не двигался и не завидовал; Москва спала в отчуждении, повернувшись к стене прелестным лицом.

Сарториус испугался, что ему изо всего мира досталась лишь одна теплая капля, хранимая в груди, а остального он не почувствует и скоро ляжет в угол, подобно Комягину. Сердце его стало как темное, но он утешил его обыкновенным понятием, пришедшим ему в ум, что нужно исследовать весь объем текущей жизни посредством превращения себя в прочих людей. Сарториус погладил свое тело по сторонам, обрекая его перемучиться на другое существование, которое запрещено законом природы и привычкой человека к самому себе. Он был исследователем и не берег себя для тайного счастья, а сопротивление своей личности предполагал уничтожить событиями и обстоятельствами, чтобы по очереди могли в него войти неизвестные чувства других людей. Раз появился жить, нельзя упустить этой возможности, необходимо вникнуть во все посторонние души — иначе ведь некуда деться; с самим собою жить нечем, и кто так живет, тот погибает задолго до гроба /можно только вытаращить глаза и обомлеть от идиотизма/.

Сарториус прислонился лицом к оконному стеклу, наблюдая любимый город, каждую минуту растущий в будущее время, взволнованный работой, отрекающийся от себя, бредущий вперед с неузнаваемым и молодым лицом.

— Что я один?! Стану как город Москва.

Комягин пошевелился на полу и вздохнул своим же надышанным воздухом.

— Муся! — позвал он в неуверенности. — Я застыл здесь внизу: можно я к тебе лягу?

Москва открыла один глаз и сказала:

— Ну ложись!

Комягин начал освобождаться от удушающего его одеяла, а Сарториус ушел за дверь и в город без прощанья.

Он стал как неживой некоторое время. К машинистке Лизе он ходить перестал, потому что она твердо вышла замуж за Виктора Васильевича Божко, а трест весов и гирь был обращен к своей ликвидации и весь опустошен от служащих. Одна только курьерша жила в безлюдном, охладелом помещении учреждения — у нее родился ребенок, и она кормила и содержала его на мягкой пачке устарелых дел.

Сарториус дважды посетил свою старую службу, посидел за голым столом, попробовал набросать проект взвешивания чего-то невесомого и не почувствовал никакого ощущения, ни печали, ни удовольствия. Все кончилось — служебное семейство, отводившее душу людям, было распущено, общий чайник больше не согревался к двенадцати часам, и стаканы стояли в шкафу пустыми, постепенно заселяемые мелочью каких-то бумажных бледных насекомых. Ребенок курьерши то плакал, то утешался, часы-ходики шли над ним вперед, и мать его ласкала с обычной материнской любовью. Она со страхом ждала въезда в помещение нового учреждения, потому что ей негде было жить, но то новое учреждение накануне своего переезда тоже было ликвидировано, так что площадь зачислили в резерв жилфонда и впоследствии заселили семейными жильцами.

Сарториус стал видеть все более плохо, его глаза слепли. Он пролежал в своей комнате целый месяц, прежде чем начал опять понемногу смотреть наболевшим зрением. Курьерша из бывшего треста приходила к нему через день, приносила пищу и вела хозяйство.

Два раза его посетил Самбикин вместе с глазным врачом, и они вынесли свое медицинское заключение, что глаза имеют причиной заболевания отдаленные недра тела, возможно — сердце. Вообще, сказал Самбикин, конституция Сарториуса находится в процессе неопределенного /разрушения/ превращения, и сам озадачился этой мыслью на многие дни.

Наконец Сарториус вышел из дома. Его обрадовало многолюдство на улице; энергия мчавшихся машин зародила в его сердце воодушевление, непрерывное солнце светило на открытые волосы прохожих женщин и в свежие древесные листья деревьев, вымокшие во влаге своего рождения.

Опять наступила весна; время все более удаляло жизнь Сарториуса. Он часто моргал от ослепления светом и наталкивался на людей. Ему было хорошо, что их так много, что, следовательно, ему существовать необязательно — есть кому и без него сделать все необходимое и достойное.

Одно тяжелое и темное чувство владело им. Он нес свое тело как мертвый вес, — надоевшее, грустное, пережитое до бедного конца. Сарториус вглядывался во многие встречные лица; его томила, как бледное наслаждение, чужая жизнь, скрытая в неизвестной душе. Он сторонился и тосковал.

Десять тысяч народа приблизительно находилось в движении на Каланчевской площади. Сарториус с удивлением остановился около таможни в удивлении, точно никогда не видел такого зрелища.

«Сейчас скроюсь и пропаду среди всех!» — неопределенно и легко думал он о своем намерении.

К нему подошел какой-то туманный человек, которого нельзя запомнить и забудешь.

— Товарищ, вы не знаете, где здесь начинается Доминиковский переулок? Может, знаете случайно, я тоже знал, но потерял нить.

— Знаю, — сказал Сарториус, — он вон где! — И показал направление, вспоминая этот знакомый голос и не помня такого лица.

— А не знаете, есть там производство гробов или уже оно куда-нибудь переведено в связи со строительством и реорганизацией? — продолжал узнавать прохожий.

— Неизвестно… Кажется, что-то есть, гробы и венки, — объяснял Сарториус.

— А транспорт?

— Наверно, есть.

— Должно быть, автомобили с тихим ходом.

— Возможно. Едут на первой скорости и везут покойника.

— Ну да, — согласно произнес тот человек, не понимая первой скорости.

Они замолчали. Прохожий со страстью поглядел на людей, цепляющихся в трамваи на ходу, и даже сделал по направлению к ним одно неопределенное движение ярости.

— Я вас знаю, — сказал Сарториус, — я помню ваш голос.

— Вполне вероятно, — равнодушно сознался человек. — Мне многих приходилось штрафовать за нарушения, и при этом кричишь, как понятно.

— Может быть, я вспомню: как вас зовут?

— Имя — ничто, — сказал прохожий. — Важен точный адрес и фамилия, и то мало: надо предъявить документ.

Он вынул паспорт, и Сарториус прочел в нем фамилию: Комягин, пенсионер, и адрес. Человек ему был неизвестен.

— Мы с вами чужие, — произнес Комягин, видя разочарование Сарториуса. — Вам показалось только. Это часто что-то кажется серьезное, а потом — ничего. Ну, вы стойте здесь, я пойду узнаю про гроб.

— У вас жена умерла? — спросил Сарториус.

— Жива. Она сама ушла. Гроб я гадаю для себя.

— Но зачем?

— Как зачем? — необходимо. Я хочу узнать весь маршрут покойника: где брать разрешение для открытия могилы, какие нужны факты и документы, как заказывается гроб, потом транспорт, погребение и чем завершается в итоге баланс жизни: где и по какой формальности производится окончательное исключение человека из состава граждан. Мне хочется заранее пройти по всему маршруту — от жизни до полного забвения, до бесследной ликвидации любого существа. Говорят, что этот маршрут труден по форме. И верно, дорогой товарищ: умирать не надо, граждане нужны… А вы видите, что делается на площади: граждане мечутся, нормально ходить не приучаются. Сколько раз в свою бытность товарищ Луначарский проповедовал ритмическое движение масс, а теперь приходится их штрафовать. Прозаика жизни! Да здравствует героическая милиция республики!..

Комягин ушел на Доминиковский переулок. Кроме Сарториуса, его заслушались еще четверо посторонних и один бродячий ребенок. Этот ребенок, лет двенадцати, пошел скорой походкой вслед за Комягиным и заявил ему созревшим голосом:

— Гражданин, ты все равно умирать идешь, отдай мне домашние вещи — я им ножки приделаю.

— Ладно, — сказал Комягин. — Пойдем со мною, ты унаследуешь мою утварь, а свою участь жизни я возьму с собою дальше. Прощай, моя жизнь, — ты прошла в организационных наслаждениях.

— Ты добрый, что умираешь, — благодушно произнес разумный ребенок. — А мне для карьеры средства нужны…

Душа Сарториуса испытывала страсть любопытства. Он стоял с сознанием неизбежной бедности отдельного человеческого сердца; давно удивленный зрелищем живых и разнообразных людей, он хотел жить жизнью чужой и себе не присущей.

Возвращаться ему было необязательно — жилище его пусто, трест ликвидирован, родные сослуживцы поступили в обжитые места других учреждений, Москва Честнова пропадала где-то в пространстве этого города и человечества, — от этих обстоятельств Сарториусу становилось веселее. Основная обязанность жизни — забота о личной судьбе, ощущение собственного, постоянно вопиющего чувствами тела — исчезла, быть непрерывным, одинаковым человеком он не мог, в нем наступала тоска.

Сарториус сделал движение рукой — по универсальной теории мира выходило, что он совершил электромагнитное колебание, которое взволнует даже самую дальнюю звезду. Он улыбнулся над таким жалобным и бедным представлением о великом свете. Нет, мир лучше и таинственней: ни движение руки, ни работа человеческого сердца не беспокоят звезд, иначе все давно бы расшаталось от содрогания этих пустяков.

Сарториус пошел сквозь встречный народ по площади, увидел одну работницу

метростроя в рабочих штанах — такую же по фигуре, как Москва Честнова, и глаза его заболели от воспоминанья любви; жить нельзя неизменным чувством. Он попробовал уговорить метростроевку на предварительную дружбу, но она засмеялась и поспешила от него, грязная и красивая.

Сарториус вытер свои слепнущие глаза, потом хотел уговорить свое сердце, заболевшее по Москве и по всем прочим существам, но увидел, что размышление его не действует. Но от неуважения к себе страдание его было нетрудным.

Бродя по городу далее, он часто замечал счастливые, печальные или загадочные лица, и выбирал, кем ему стать. Воображение другой души, неизвестного ощущения нового тела на себе не оставляло его. Он думал о мыслях в чужой голове, шагал не своей походкой и жадно радовался пустым и готовым сердцем. Молодость туловища превращалась в вожделение ума Сарториуса; улыбающийся, скромный Сталин сторожил на площадях и улицах все открытые дороги свежего, неизвестного социалистического мира, — жизнь простиралась вдаль, из которой не возвращаются.

Сарториус поехал на Крестовский рынок, чтобы купить нужное для своего будущего существования. Он сильно заботился о своей новой жизни.

Крестовский рынок был полон торгующих нищих и тайных буржуев, в сухих страстях и в риске отчаяния добывающих свой хлеб. Нечистый воздух стоял над многолюдным собранием стоячих и бормочущих людей, — иные из них предлагали скудные товары, прижимая их руками к своей груди, другие хищно приценялись к ним, щупая и удручаясь, рассчитывая на вечное приобретение. Здесь продавали старую одежду покроя девятнадцатого века, пропитанную порошком, сбереженную в десятилетиях на осторожном теле; здесь были шубы, прошедшие за время революции столько рук, что мередиан земного шара мал для измерения их пути между людьми; в толпе торговали еще и такими вещами, которые потеряли свой смысл жизни, — вроде капотов с каких-то чрезвычайных женщин, поповских ряс, украшенных чаш для крещения детей, сюртуков усопших джентльменов, брелоков на брюшную цепочку и прочего, — но шли среди человечества как символы жесткого качественного расчета. Кроме того, много продавалось носильных вещей недавно умерших людей, — смерть существовала, — и мелкого детского белья, заготовленного для зачатых младенцев, но потом мать, видимо, передумывала рожать и делала аборт, а оплаканное мелкое белье продавала вместе с заранее купленной погремушкой.

В специальном ряду продавались оригинальные портреты в красках, художественные репродукции. На портретах изображались давно погибшие мещане и женихи с невестами уездных городов; каждый из них наслаждался собою, судя по лицу, и выражал удовлетворение происходящей с ним жизнью. Позади фигур иногда виднелась церковь в ландштафте /природе/ и росли дубы счастливого лета, всегда минувшего.

Сарториус долго стоял перед этими портретами прошлых людей. Теперь их намогильными камнями вымостили тротуары новых городов и третье или четвертое краткое поколение топчет где-нибудь надписи: «Здесь погберено тело купца 2-й гильдии города Зарайска, Петра Никодимовича Самофалова, полной жизни его было… Помяни мя господи во царствии твоем» — «Здесь покоится прах девицы Анны Васильевны Стрижевой… Нам плакать и страдать, а ей на господа взирать…»

Вместо бога, сейчас вспомнил умерших Сарториус и содрогнулся от ужаса жить среди них, — в том времени, когда не сводили лесов, убогое сердце было вечно верным одинокому чувству, в знакомстве состояла лишь родня, и мировоззрение было волшебным и терпеливым, а ум скучал и плакал по вечерам при керосиновой лампе или в светящий полдень лета — в обширной, шумящей природе; когда жалкая девушка, преданная, верная, обнимала дерево от своей тоски, глупая и милая, забытая теперь без звука. Она не Москва Честнова, она Ксения Иннокентьевна Смирнова, ее больше нет и не будет.

Далее продавали скульптуры, чашки, тарелки, таганы, вилки, части от какой-то балюстрады, гирю в двенадцать пудов, сидели на корточках последние частные москательщики, уволенные разложившиеся слесаря загоняли свои домашние тиски,

дровяные колуны, молотки, горсть гвоздей, — еще далее простирались сапожники, делающие работу на месте, и пищевые старухи с холодными блинами, с пирожками, начиненными мясными отходами, сальниками, согретыми в чугунах под ватными пиджаками покойных мужей-стариков, с кусками пшенной каши и всем, что утоляет голодное страдание местной публики, могущей есть всякое добро, которое только бы глоталось, и более ничего.

Незначительные воры ходили между нуждающимися и продающими, они хватали из рук ситец, старые валенки, булки, одну калошу и убегали в дебри бродящих тел, чтобы заработать полтинник или рубль на каждом похищении. В сущности они с трудом оправдывали ставку чернорабочего, а изнемогали больше.

Среди рынка возвышалось несколько деревянных будок для милиционеров. Милиционеры смотрели оттуда вниз, в это мелкое море бушующего ограниченного империализма, где трудящихся заменили, но были трущиеся.

Дешевая пища с заметным шумом переваривалась в людях, поэтому каждый себя чувствовал с тягостью, точно был сложным предприятием, и нечистый воздух восходил отсюда вверх, как дым над Донбассом.

В глубине базара часто раздавались возгласы отчаяния, однако никто не бросался на помощь, и вблизи бедствия люди торговали и покупали, потому что их собственное горе требовало неотложного утешения. Одного слабого человека, одетого в старосолдатскую шинель, торговка булками загнала в мочевую лужу около отхожего места и стегала его по лицу тряпкой; на помощь торговке появился кочующий хулиган и сразу разбил в кровь лицо ослабевшего человека, свалившегося под отхожий забор. Он не издал крика и не тронул своего лица, заливаемого кровью с висков, — он спешно съедал сухую похищенную булку, мучаясь сгнившими зубами, и вскоре управился с этим делом. Хулиган дал ему еще один удар в голову, и раненый едок, вскочив с энергией силы, непонятной при его молчаливой кротости, исчез в гуще народа, как в колосьях ржи. Он найдет себе пищу повсюду и будет долго жить без средств и без счастья, зато часто наедаясь.

Пожилой мужчина демобилизованного вида стоял на одном месте неподвижно, раскачиваемый лишь ближней суетою. Сарториус заметил его уже во второй раз и подошел к нему.

— Хлебные карточки, — сказал после некоторой бдительности наблюдения Сарториуса тот неподвижный мужчина.

— Сколько стоит? — спросил Сарториус.

— Двадцать пять рублей первая категория.

— Ну давай одну штуку, — попросил Сарториус.

Торгующий осторожно вынул из бокового кармана конверт с напечатанной надписью на нем: «Полная программа Механобра». Внутри программы была заложена заборная карточка.

Тот же торговец предложил Сарториусу и паспорт, если он требуется, но Сарториус приобрел себе паспорт позже — у человека, продававшего червей для рыбной ловли. В паспорте был записан уроженец города Нового Оскола Иван Степанович Груняхин, 31 года, работник прилавка, командир взвода в запасе. Сарториус заплатил за документ всего шестьдесят пять рублей и вдобавок отдал свой паспорт двадцатисемилетнего человека, с высшим образованием, известного в широких кругах своей специальности.

С базара Груняхин не знал, куда идти. Он доехал до большой площади и сел на железную перекладину лестницы, ведущей в будку регулирования уличного движения. Светофоры меняли свой свет, неслись люди в машинах, грузовики везли балки и бревна, милиционер двигал контакт и напрягал внимание, — многие неизвестные люди стояли по сторонам бегущего движения и забывали свою одинокую жизнь в наблюдении чужой. Груняхину казалось, что глаза его больше не болят и Москва Честнова не потребуется ему никогда, ибо много хороших женщин ходило здесь через дорогу, но сердце его ни к кому не лежало.

К вечеру он поступил в орс одного незначительного завода в Сокольниках, делавшего

какое-то подсобное оборудование, и новому работнику дали место в общежитии, поскольку человек не имел ничего, кроме своего небольшого одетого тела с круглым и по виду неумным лицом наверху.

Через несколько дней Груняхин уже вошел в страсть своей работы: он ведал заготовкой порций хлеба к обеду, нормировкой овощей в котел и рассчитывал мясо, чтобы каждому досталось по справедливому куску. Ему нравилось кормить людей, он работал с честью и усердием, кухонные весы его блестели чистотой и точностью, как дизель.

По вечерам, томимый одиночеством и свободой, Груняхин скитался по бульварам до последних трамваев. Когда же наступал второй час ночи и вагоны на большой скорости спешили в парк, Иван Груняхин садился в их пустынные помещения и оглядывал их с интересом, точно тысячи людей, бывших здесь днем, оставили свое дыхание и лучшее чувство на пустынных местах. Кондукторша, иногда старая, иногда молодая, милая и сонная, сидела здесь одна и дергала бечеву на безлюдных остановках, чтобы скорее кончался последний маршрут.

Став вторым человеком своей жизни, Груняхин подходил к кондукторше и заговаривал с ней о постороннем, не имеющем отношения ко всей окружающей видимой действительности, но зато она начинала чувствовать в себе невидимое. Одна кондукторша с прицепного вагона согласилась на слова Груняхина, и он ее обнял на ходу, а потом они перешли в задний тамбур, где видно более смутно, и неслись в поцелуях три остановки, пока их не заметил какой-то человек с бульвара и не закричал им «ура!».

С тех пор он изредка повторял свое знакомство с ночными кондукторшами — иногда удачно, но чаще всего нет. Однако его все более занимала не такая частная, текущая бесследно любовь, а неизвестный человек Груняхин, судьба которого поглощала его.

Работая далее в орсе, он постепенно увлекся своим трудом и окружением и начал даже упиваться жизнью. Он приобрел себе шкаф, наполнил его книгами и стал изучать мировую философию, наслаждаясь всеобщей мыслью и тем, что добро в мире неизбежно, даже скрыться от него никому нельзя. Законы золотого правила механики и золотого сечения по большому кругу действовали всюду и постоянно. Выходило, что благодаря лишь действию одной природы маленькая работа всегда даст большие успехи и каждому достанется кусок из золотого сечения — самый громадный и сытный. Следовательно, не столько труд, но ухищрение, умелость и душа, готовая на упоение счастьем, определяли судьбу человека. Еще Архимед и александриец Герон ликовали по поводу золотых правил науки, которые обещали широкое блаженство человечеству: ведь одним граммом на неравноплечном рычаге можно поднять тонну, даже целый земной шар, как рассчитывал Архимед. Луначарский же предполагал зажечь новое солнце, если нынешнее окажется недостаточным или вообще надоевшим и некрасивым.

Утешенный чтением, Иван Груняхин работал хорошо на производстве. В течение одного месяца он, по указанию начальника орса, целиком изменил унылое убранство столовой на роскошное и влекущее. Груняхин заключил на год договор с трестом зеленого строительства, а также с Мосмебелью и другими организациями. Он поставил сменные горшки с цветами и постелил ковровые дорожки; затем усилил циркуляцию воздуха и сам починил электромотор для второго, испорченного вентилятора, с трудом вспомнив электротехнику и более не интересуясь ею. На стенах столовой и сборочного цеха Груняхин повесил крупные картины с изображением эпизодов древнеисторической жизни: падение Трои, поход аргонавтов, смерть Александра Македонского, — и директор завода похвалил его за вкус.

— Нам нужно, чтоб было загадочно и хорошо, как будто несбыточно, — сказал директор Груняхину. — Но все это пустяки по сравнению с нашей реальностью! Однако — пусть висит: история раньше была бедна и спрашивать с нее много нечего.

Под влиянием общего приличия и благополучия Груняхин застыдился и начал приобретать в свое личное пользование нижнее белье, ботинки, фрукты и стал уже мечтать о любящей, единой жене. Иногда он вспоминал о прошлом бедном тресте весов и гирь, когда

он еще был Сарториусом, — там было грустно и тепло от своего сердца и жены не требовалось; но теперь, став другим человеком, Груняхину нужно было хотя бы искусственное согревание семьей и женщиной.

В цехе новых конструкций работал старшим монтером Константин Арабов, человек лет тридцати, член общества «Динамо», превосходный собою, знавший наизусть Пушкина. Его встречал несколько раз дежурный инженер Иван Степанович Груняхин, но не обращал внимания, — как часто бывает, что люди, участь которых войдет в ваше сердце, долго живут незаметно… Арабов увлекся одной бригадиршей, французской комсомолкой Катей Бессонэ-Фавор, забавной и разумной девушкой, и ушел с нею жить в любви навсегда, оставив жену с двумя сыновьями — одному было одиннадцать лет, а другому восемь. Жена Арабова, еще молодая, но грустная, приходила некоторое время на завод к концу работы, чтобы поглядеть на своего мужа, от которого сердце ее, должно быть, не могло сразу отвыкнуть. Потом она перестала ходить; чувство ее любви пришло в изнеможение и прекратилось. Вскоре Груняхин узнал от Кати Бессонэ, что одиннадцатилетний сын Арабова застрелился из оружия соседа по квартире и оставил записку как большой человек. Катя, горюя, говорила в слезах, что где-то в комнате заскучал и самостоятельно умер ребенок — в то время, когда она упивалась счастьем с его отцом. Груняхин вздрогнул от испуга и удивления перед такой смертью, точно слабый вопль раздался перед ним среди всеобщего молчания. Он пожалел, что не знал раньше того ребенка, упустив из виду это существо.

Катя Бессонэ, мучимая своим сознанием, отвергла от себя Арабова, который хотел успокоить свое отчаяние в еще более страстной любви с нею, как это обычно бывает. Но и одинокой она быть не могла, поэтому Бессонэ пошла в кино с Груняхиным, а оттуда они вместе направились к бывшей жене Арабова. Катя знала, что похороны умершего состоялись сегодня утром, и хотела помочь матери в ее вечной разлуке с самым верным для нее маленьким человеком.

Жена Арабова встретила их равнодушно. Она была чисто и хорошо одета, точно убрана к скромному торжеству, спокойна и не плакала. Катю Бессонэ она, конечно, знала, а Груняхина только видела однажды на заводе и не понимала, зачем он здесь.

Катя обняла ее сама первая, а жена Арабова стояла с опущенными руками и ничем ей не ответила, ей было теперь все равно, что с нею случается. Она механически завела примус и скипятила чай чужим для нее гостям. Груняхину понравилась эта женщина, с лицом некрасивым и нелепым до жалости; нос ее был велик и тонок, губы серые и глаза бесцветные, умолкшие от одинокого труда по домашнему хозяйству; тело ее, несмотря на небольшие годы, уже засушилось и напоминало фигуру мужчины, а опавшие груди висели точно без дела.

Напившись чаю, гости собрались уходить. Свидание не привело к утешению, и у самой Кати Бессонэ осталось внутри раздражение от бессилия своего слишком чувствующего, но бездеятельного сердца. Но при выходе хозяйка внезапно обернулась в пустоту своей комнаты. Груняхин внезапно оглянулся туда же, и ему показалось, что все предметы внутри стали вдруг подобиями, искажениями какого-то знакомого, общего человека, может быть — его самого, все они, значит, обратили внимание на присутствующих людей и угрюмо усмехнулись на всех своим неясным лицом и положением. Бывшая жена Арабова, наверно, увидела то же самое, потому что она вдруг заплакала от своего вечного горя и отвернулась от стыда перед посторонними. Она инстинктивно знала, что помощи от других быть не может и лучше спрятаться одной.

Огорчившись такой жизнью, Груняхин вышел на улицу с Бессонэ-Фавор и сказал ей:

— Вы слышали, что есть золотое правило механики. Некоторые думали посредством этого правила объегорить целую природу, всю жизнь. Костя Арабов тоже хотел получить с вами, или из вас — как это сказать?.. — кое-что, какое-то бесплатное золото… Он его ведь получил немного…

— Немного — да, — согласилась Бессонэ.

— Ну сколько получил — не больше грамма! А на другом конце рычага пришлось

нагрузить для равновесия целую тонну могильной земли, какая теперь лежит и давит его ребенка…

Катя Бессонэ нахмурилась в недоумении.

— Не живите никогда по золотому правилу, — сказал ей еще Груняхин. — Это безграмотно и несчастно, я инженер и поэтому знаю, природа более серьезна, в ней блата нет. Ну до свидания, вон ваш автобус идет.

— Подождите, — попросила Катя Бессонэ.

— Нет, мне некогда, — ответил Груняхин. — Мне неинтересно, я не люблю, когда упиваются сами собой, а потом не знают, куда деваться, и ходят со мной. Надо жить аккуратно.

Бессонэ-Фавор неожиданно засмеялась.

— Ну, идите, идите, — сказала она. — Чего вы от меня требуете, как будто я сама себя делала. Я не нарочно такая, я нечаянно. Ну я больше не буду, вы простите…

Груняхин возвратился в комнату жены Арабова. Она встретила его с прежним равнодушием, а он, перейдя порог, предложил ей выйти за него замуж, — больше предлагать было нечего. Женщина побледнела, словно в ней сразу собралась болезнь, и не ответила. Иван Степанович остался сидеть в комнате, пока не наступила поздняя ночь и движение на улице прекратилось. Тогда он поневоле заснул, а жена Арабова постелила ему место на коротком диване и велела лечь как следует.

Утром, как обычно, Груняхин пошел на работу, но вечером возвратился. Матрена Филипповна Чебуркова (фамилию мужа Арабова она перестала носить после его измены) не привечала нового человека и не выгоняла его. Он ей дал деньги — положил их на стол, она же автоматически скипятила ему чай и согрела что-то поесть из остатков своей еды. Через несколько дней вечером пришел дворник и велел Матрене Филипповне прописывать нового жильца — пусть что хочет делает: прогоняет его или выходит за него замуж, а так жить никто не позволит. Дворник был из некогда раскулаченных и поэтому держался за закон со всей точностью: он сам испытал и пережил государственную силу.

— Ты гляди, гражданка Чебуркова, как бы тебе не проштрафиться: казна убытка не любит.

— Ну уж ладно… Раньше небось не штрафовали, а как стала безмужняя, ослабшая…

— А ты прописывай его, — указал дворник на Груняхина, — не теряй женскую норму, а то и площадь упустишь, и сама будешь как Пышка в кино, только худощавая.

— Завтра пропишешь, успеешь, — сказала Матрена Филипповна. — Теперь бабы думают не сразу.

— Видать! — произнес дворник и ушел. — Прежде, было, совсем не думали, а жили без глупости, как умные, — сказал он за дверью.

Через два дня Груняхин прописался временным жильцом, но Чебуркова велела ему переписаться на постоянную жизнь.

— Кто поверит, чтоб в одной комнате с кухней мужик с бабой врозь жили! — раздражительно заявила она. — А я тебе не девка, я женщина, — вот завтрашний день в загс со мной пойдешь, не живая буду! А то ступай, откуда пришел!

Все прошло формально и скоро, и жизнь Груняхина смирилась в чужой комнате. Он работал, Матрена Филипповна хозяйствовала, выражала разное недовольство и редко вспоминала сына, — скорее всего лишь затем, чтобы после слез наступило то облегчение, которое равно наслаждению сердца; другое счастье она испытывать не могла или ей не встречалось случая. Втайне для нее самой смерть сына стала постепенно причиной тихого счастья ее жизни — после кратких слез, в медленных подробных воспоминаниях; и она призывала Ивана Степановича участвовать в ее бедном чувстве, где, однако, было согревающее тепло темного упоенья собственной скорбью и все терпение ее души. В такое время она всегда становилась более доброй и кроткой, чем требовал ее характер. Груняхин даже любил, когда Матрена Филипповна вдруг начинала плакать о своем погибшем ребенке, — тогда и Ивану Степановичу перепадала от жены какая-нибудь нежность или

льгота.

Обыкновенно же Чебуркова ходить мужу никуда не позволяла, кроме работы, и следила по часам — вовремя ли он возвращается, а в собрания она не верила и начинала плакать и браниться, что второй муж тоже подлец и изменяет ей. Если муж все же запаздывал, Матрена Филипповна, отворив ему дверь, начинала его бить любым предметом — старым валенком, вешалкой вместе с одеждой, самоварной трубой от бывшего когда-то самовара, башмаком со своей ноги и другой внезапной вещью, — лишь бы изжить собственное раздраженье и несчастье. В эту минуты Иван Степанович с удивлением смотрел на Матрену Филипповну, а она жалостно плакала — оттого, что одно горе ее превратилось в другое, но не исчезло совсем. Груняхин, видевший уже многую жизнь, особо не мучился от такого обращения.

Второй сын Матрены Филипповны глядел на ссору матери с новым отцом равнодушно, так как мать всегда одолевала отца. Но когда Иван Степанович схватил однажды руки жены, потому что она стала драть ногтями его горло, то мальчик сделал предупреждение:

— Товарищ Груняхин, не бей маму! А то я тебе живот шилом проткну, сукин сын!.. Не твой дом — и ты не задавайся!

Груняхин сразу опомнился: он забылся лишь нечаянно, и то от сильной боли. Перед ним в жарком поту отчаяния, в усталости, с усердием всего своего сердца волновалась Матрена Филипповна, — она защищала мужа от разврата и обеспечивала его семейную верность. Иван Степанович слушал, терпел и учился.

По ночам он думал рядом с женой, что все это так и быть должно, иначе его жадное, легкое сердце быстро износилось и погибло бы в бесплодной привязанности к разным женщинам и друзьям, в опасной готовности броситься в гущу всей роскоши, какая происходит на земле.

Утром второй сын Матрены Филипповны — тоже Семен, как раньше назывался Груняхин, — сказал Ивану Степановичу:

— Что ж ты спишь с моей матерью? Ты думаешь, мне приятно глядеть на вас? Приятно или нет?

Груняхин оробел от вопроса. Жены не было, она ушла на базар за пищей. Наступал выходной день, когда люди живут домашними чувствами, общими размышлениями и водят детей в кино. Иван Степанович тоже пошел в кино с Семеном поглядеть советскую комедию. Семен остался доволен, хотя картину покритиковал — для него были мелки такие проблемы, он сам пережил больше. Дома Матрена Филипповна сидела перед портретом прошлого мужа и плакала о нем, а когда увидела Ивана Степановича, то застыдилась и перестала; большей любви Груняхину было не надо, стеснение Матрены Филипповны он понял, как высшую нежность и кроткое доверие к нему. Своего мучения от этой женщины он не считал, потому что человек еще не научился мужеству беспрерывного счастья — только учится.

Ночью, когда жена и сын уснули, Иван Степанович стоял над лицом Матрены Филипповны и наблюдал, как она вся беспомощна, как жалобно было сжато ее лицо в тоскливой усталости и глаза были закрыты как добрые, точно в ней, когда она лежала без сознания, покоился древний ангел. Если бы все человечество лежало спящим, то по лицу его нельзя было бы узнать его настоящего характера и можно было бы обмануться.

Джан[4]

1

Во двор Московского экономического института вышел молодой нерусский человек Назар Чагатаев. Он с удивлением осмотрелся кругом и опомнился от минувшего долгого

[4] Джан — душа, которая ищет счастье (туркменское народов поверье).

времени. Здесь, по этому двору, он ходил несколько лет, и здесь прошла его юность, но он не жалеет о ней, — он взошел теперь высоко, на гору своего ума, откуда виднее весь этот летний мир, нагретый вечерним отшумевшим солнцем.

По двору росла случайная трава, в углу стоял рундук для мусора, затем находился ветхий деревянный сарай, и около него жила одинокая старая яблоня без всякого участья человека. Вскоре после этого дерева лежал самородный камень весом пудов, наверно, в сто, — неизвестно откуда, и еще далее впилось в землю железное колесо от локомобиля девятнадцатого века.

Двор был пуст. Молодой человек сел на порог сарая и сосредоточился. Он получил в канцелярии института справку о защите дипломной работы, а самый диплом ему вышлют после по почте. Больше он сюда не вернется. Он втайне прощался со всеми здешними, мертвыми предметами. Когда-нибудь они тоже станут живыми — сами по себе или посредством человека. Он обошел все ненужные дворовые вещи и потрогал их рукою; он хотел почему-то, чтобы предметы запомнили его и полюбили. Но сам в это не верил. По детскому воспоминанию он знал, что после долгой разлуки странно и грустно видеть знакомое место: ты с ним еще связан сердцем, а неподвижные предметы тебя уже забыли и не узнают, точно они прожили без тебя деятельную, счастливую жизнь, а ты был им чужой, одинок в своем чувстве и теперь стоишь перед ними жалким неизвестным существом.

За сараем рос старый сад. Там сейчас ставили столы, проводили временный свет и делали разное убранство. Директор института назначал сегодня вечернее торжество для второго выпуска советских экономистов и инженеров. Со двора своего училища Назар Чагатаев пошел в общежитие, чтобы отдохнуть и переодеться для вечера. Он лег на свою кровать и нечаянно уснул — с тем ощущением внезапного телесного счастья, которое бывает лишь в молодости.

Позже, во время темного вечера, Чагатаев снова пришел в сад экономического института. Он надел свой хороший серый костюм, сбереженный в долгие студенческие годы, и побрился перед ручным девичьим зеркалом. Все его имущество лежало под подушкой и в тумбочке около кровати. Чагатаев, уходя на вечер, с сожалением поглядел во внутреннюю тьму своего шкафа; скоро он забудет его, и запах одежды и тела Чагатаева навсегда исчезнет из этого деревянного ящика.

В общежитии жили студенты других вузов, поэтому Чагатаев отправился один. В саду играл оркестр, приглашенный из кинотеатра, столы были составлены в одну длинную очередь, и над ними горели прожекторные лампы, подвешенные электриками на времянках между деревьями. Пустая летняя ночь стояла над головами собравшихся на свое торжество, на свое последнее свидание, и вся прелесть той ночи была в открытом и теплом пространстве, в тишине неба и растений.

Музыка играла. Молодые люди сидели за столами, готовые разойтись отсюда по окружающей земле, чтобы устроить себе там счастье. Скрипка музыканта иногда замирала, как удаленный, слабеющий голос.

Чагатаеву казалось, что это плачет человек за горизонтом, — может быть, в той, никому не знакомой стране, где он когда-то родился, где теперь живет или умерла его мать.

— Гюльчатай! — сказал он вслух.

— Что такое? — спросила его соседка, технолог.

— Ничего не значит, — объяснил Чагатаев. — Гюльчатай — моя мать, горный цветок. Людей называют, когда они маленькие и похожи на все хорошее…

Скрипка играла снова, ее голос не только жаловался, но и звал — уйти и не вернуться, потому что музыка всегда играет ради победы, даже когда она печальная.

Вскоре начались танцы, игры, обычное торжество молодости. Чагатаев глядел на людей и в ночную природу; ему еще долго предстояло здесь находиться, может быть вечно, бороться с мученьем, работать и быть счастливым.

Против Чагатаева сидела неизвестная ему юная женщина, с глазами, блестевшими черным светом, в синем платье, надетом высоко, до подбородка, как на старухе, что ей

придавало неудобный и милый вид. Она не танцевала, стесняясь или не умея, и с увлечением глядела на Чагатаева. Ей нравилось его смуглое лицо с узкими чистыми глазами, направленными на нее в упор с добром и угрюмостью, его широкая грудь, скрывающая сердце с тайными чувствами, и мягкий, немощный рот, способный плакать и смеяться. Она не скрывала своей симпатии и улыбнулась Чагатаеву; он ей ничем не ответил. Общее веселье все более увеличивалось. Студенты — экономисты, плановики и инженеры — брали со столов цветы, рвали траву в саду и делали из них своим подругам подарки или прямо посыпали им растения на их густые волосы. Затем появилось конфетти, и оно тоже пошло в дело удовольствия. Женщина, сидевшая против Чагатаева, исчезла — она танцевала теперь на садовой тропинке, обсыпанная разноцветными бумажками, и была довольна.

Другие женщины, оставшиеся за столом, тоже были счастливы от внимания своих друзей, от окружавшей их природы и от предчувствия своего будущего, равного по долготе и надеждам бессмертию. Лишь одна между ними была без цветов и конфетти на голове; к ней никто не склонялся с шутливыми словами; и она жалко улыбалась, чтобы показать, что принимает участие в общем празднике и ей здесь приятно и весело. Глаза же ее были грустны и терпеливы, как у большого [рабочего животного][5]. Иногда она чутко глядела по сторонам и, убедившись, что никому не нужна, быстро собирала со стульев соседей упавшие цветы и красочные бумажки и прятала их незаметно. Чагатаев изредка видел ее действия, но понять не мог; ему уже стало скучно от долгого одинакового торжества, и он собирался уйти отсюда. Женщина, собиравшая цветы, павшие с других людей, тоже ушла куда-то, — время вечера вышло, звезды стали большими, начиналась ночь. Чагатаев встал с места и поклонился ближним товарищам — он не скоро с ними увидится.

Чагатаев пошел мимо деревьев и заметил ту женщину с [лошадиным] лицом, спрятавшуюся в тени; она его не видела, она сейчас накладывала себе на волосы цветы и ленты, потом она вышла из-за деревьев опять к освещенному столу. Чагатаев сейчас же возвратился туда: он хотел немедленно опрокинуть столы, повалить деревья и прекратить это наслаждение, над которым капают жалкие слезы, но женщина была теперь счастливая, смеющаяся, с розой в темных волосах, хотя глаза ее были заплаканы. Чагатаев остался в саду; он подошел к ней и познакомился; она оказалась студенткой-дипломницей химического института. Он ее пригласил танцевать, хотя сам не умел, но она танцевала отлично и вела его в такт музыке, как нужно. Глаза ее быстро высохли, лицо похорошело, и тело, привыкшее к дикой робости, теперь с доверием прижималось к нему, полное поздней девственности, пахнущее добрым теплом, как хлеб. Чагатаев забылся около нее, сон и счастье исходили от этой чужой женщины, с которой он, вероятно, не встретится более; так часто живет рядом с нами незаметное блаженство.

Свидание и веселье продолжалось до света на небе; затем сад опустел, осталась мертвая утварь, все разошлись. Чагатаев и его новая подруга Вера пошли по Москве, освещенной зарею. Чужеземец Чагатаев любил этот город, как родину, и был благодарен, что он здесь долго жил, узнал науку и съел много хлеба без попрека. Он посмотрел на свою спутницу — ее лицо стало красивым от встающего вдалеке солнца.

Прошло время, небо стало высоким и чистым, напряженное солнце беспрерывно посылало свое добро земле — свет. Вера шла молча. Чагатаев изредка всматривался в нее и удивлялся, почему она кажется всем нехорошей, когда даже скромное молчание ее напоминает безмолвие травы, верность привычного друга. Ведь это только издали можно ненавидеть ее, отрицать или быть вообще равнодушным к человеку. Но когда Чагатаев видел теперь вблизи морщины утомления на ее щеках, выражение лица, прячущего ее желания, глаза, хранимые веками, опухшие губы — все таинственное воодушевление этой женщины, скрытое в ее живом веществе, все доброе и сильное создание ее тела, то он робел от нежности к ней и не мог бы ничего сделать против нее, и ему даже стыдно было думать о том, красива она или нет.

[5] Здесь и далее в скобках отмечены места, где правка автором не завершена.

— Я уморилась, мы ведь не спали, — сказала Вера, — давайте прощаться.

— Ничего, — ответил Чагатаев. — Я скоро уезжаю, давайте немного побудем [вместе].

Они еще пошли вперед, миновали долгие улицы и где-то остановились.

— Здесь я живу, — указала Вера на новое большое жилище.

— Пойдемте к вам. Вы ляжете отдыхать, а я посижу около вас и потом уйду.

Вера стояла в смущении.

— Ну, хорошо, — сказала она и повела гостя.

У нее была большая комната с обычной мебелью девушки, но эта комната была какой-то грустной, занавешенной шторами, скучной и почти пустой.

Вера сняла летний плащ, и Чагатаев заметил, что она полнее, чем кажется. Затем Вера стала рыться в своих хозяйственных закоулках, чтобы покормить гостя, а Чагатаев засмотрелся на старинную двойную картину, висевшую над кроватью этой девушки. Картина изображала мечту, когда земля считалась плоской, а небо — близким. Там некий большой человек встал на землю, пробил головой отверстие в небесном куполе и высунулся до плеч по ту сторону неба, в странную бесконечность того времени, и загляделся туда. И он настолько долго глядел в неизвестное, чуждое пространство, что забыл про свое остальное тело, оставшееся ниже обычного неба. На другой половине картины изображался тот же вид, но в другом положении. Туловище человека истомилось, похудело и, наверно, умерло, а отсохшая голова скатилась на тот свет — по наружной поверхности неба, похожего на жестяной таз, — голова искателя новой бесконечности, где действительно нет конца и откуда нет возвращения на скудное, плоское место земли.

Но Чагатаеву, как больному, ничто теперь стало не мило и не интересно. С оробевшим сердцем он обнял Веру, склонившуюся близ него по своему хозяйскому делу, и прижал ее к себе с силой и осторожностью, будто желая как можно ближе приникнуть к ней, чтобы согреться и успокоиться. Вера сразу поняла его и не оттолкнула. Она выпрямилась, склонила его голову ниже своей и стала ласкать его черные жесткие волосы, а сама глядела в сторону, отстраняя лицо, но все же слезы ее изредка падали на голову Чагатаева и там высыхали. Вера плакала бесшумно, одними слезами, бегущими из глаз, стараясь не менять выражения лица, чтобы не всхлипывать. Чагатаев услышал ее, однако ему было все равно, что сейчас случается, и он бы не мог теперь никому помочь.

— Я ведь беременная, — сказала Вера.

— Пусть! — ответил Чагатаев, прощая ей все, храбрый в сердце, как обреченный на смерть.

— Нет! — печально говорила Вера, закрываясь концом рукава, чтобы высушить слезы и скрыть свое некрасивое лицо, о котором она помнила даже во сне. — Нет. Я ничего не могу.

Чагатаев оставил ее. Ему не нужно было обязательно утешать себя яростным наслаждением с Верой, чтобы иметь счастье. Достаточно быть с нею вблизи, держать ее руку и спросить, почему она плачет — от горя или оскорбления.

— У меня недавно умер муж, — сказала Вера. — А мертвого, вы знаете, как трудно забыть. И ребенок, когда родится, он не увидит отца, а одной матери ему мало будет… Ведь правда, мало?

— Мало, — согласился Чагатаев. — Теперь я буду его отцом.

Он обнял ее, и они уснули в светлое время дня, и шум строящейся Москвы, бурение недр, ссоры населения на уличном транспорте — все умолкло в их ушах; они лишь друг друга держали руками, и каждый из них слушал сквозь сон глухое, кроткое дыхание другого.

Под вечер, незадолго до окончания занятий в учреждениях, они зарегистрировались в ближнем загсе. Они стояли между двумя букетами цветов; заведующий загсом поздравил их краткой речью, предложил поцеловаться в знак пожизненной верности и посоветовал иметь много детей. чтобы революционное поколение распространилось на вечные времена. Чагатаев дважды поцеловал Веру и дружески попрощался с заведующим, думая о том, что хорошо было бы, если бы и он поцеловал Веру, а не ограничился служебной

необходимостью.

С тех пор Чагатаев каждый день приходил по вечерам в гости к Вере, когда она уже ждала его и радовалась его приходу. Они сразу же обнимались, причем Чагатаев обращался с Верой крайне осторожно, храня в ней ребенка от погибшего отца. Затем они шли гулять, как все люди обычно, под руку по улице, осматривали внимательно витрины, точно готовясь многое приобрести, следили за небом, где были свои происшествия, и не забывали ничего из окружающих их, беспрерывно текучих событий, как будто сердце во время любви настолько тяжело, что его надо все время развлекать пустяками, чтоб оно не чувствовало своей работы.

Но Чагатаев еще не был настоящим мужем Веры, она все время отклоняла его сожительство — с нежностью и страхом, чтобы не обидеть его и не отдаться ему. Она словно боялась погубить в страсти свое бедное утешение, которое явилось внезапно и странно; или она просто хитрила, расчетливо и разумно, желая иметь в своем муже неостывающую теплоту, чтобы самой согреваться в ней долго и надежно. Однако Чагатаев не мог вынести своего чувства к Вере на одной духовной и бесчеловечной привязанности, и он вскоре заплакал над нею, когда она лежала на кровати, по виду беспомощная, но улыбающаяся и непобедимая.

Чагатаев не умел терпеть силу своей жизни, он знал ее невинность и доброту, поэтому его оскорбляла чужая недоступность, и он терял память и соображение. Еще в детстве он так же топал босыми ногами в землю, обливался слезами от безутешного неистовства и грозился прохожим, когда видел еду за толстым стеклом и не мог ее немедленно съесть.

2

Лето продолжалось. От жары тлели торфяные болота вокруг Москвы, и по вечерам в воздухе стояла гарь, смешанная с теплым парующим духом удаленных колхозов и полей, точно всюду в природе готовили пищу на ужин. Чагатаев проводил с Верой последние дни: он получил назначение на работу; ему нужно было уезжать на родину, в середину азиатской пустыни, где жила или уже давно умерла его мать. Чагатаев пропал оттуда мальчиком, пятнадцать лет тому назад. Старая мать его, туркменка Гюльчатай, надела ему шапку-папаху, положила в сумку кусок старого чурека и еще добавила лепешку, испеченную из растертых корней камыша, катрана и ярмалыка, затем дала тростинку в руку, чтобы вместо старшего друга шло растение рядом, и велела идти.

— Ступай, Назар, — сказала она, не. желая видеть его мертвым рядом с собой. — Если узнаешь отца своего, ты к нему не подходи. Увидишь базары и богатство, в Куня-Ургенче, в Ташаузе, Хиве — ты туда не иди, ступай мимо всех, иди далеко к чужим. Пусть отец твой будет незнакомым человеком.

Маленький Назар не хотел уходить от матери. Он ей говорил, что привык умирать и больше не боится, что он мало будет есть. Но мать прогоняла его.

— Нет, — говорила она. — Я уже так слаба, что любить тебя не могу, живи теперь один. Я забуду тебя.

Назар заплакал около матери. Он обнял одну ее худую холодную ногу и долго стоял, впившись в ослабевшее привычное тело; небольшое сердце его стало тогда больным, оно сразу вдруг утомилось и билось тяжело, как намокшее. Мальчик сел в пыль земли и сказал матери:

— Я тоже тебя забуду, я тоже тебя не люблю. Вы маленького человека кормить не можете, а когда умрете, то никого у вас не будет.

Он лег лицом вниз и заснул в сырости слез и своего дыхания. Проснулся Назар в пустом месте. Мать ушла, с пустыни шел ничтожный чужой ветер — без всякого запаха и без живого звука. Некоторое время мальчик сидел смирно, он ел материнский чурек, оглядывался и думал ту мысль, которую теперь с возрастом забыл. Перед ним была земля, где он родился и захотел жить. Та детская страна находилась в черной тени, где кончается пустыня; там пустыня опускает свою землю в глубокую впадину, будто готовя себе

погребение и плоские горы, изглоданные сухим ветром, загораживают то низкое место от небесного света, покрывая родину Чагатаева тьмою и тишиной: Лишь поздний свет доходит туда и освещает грустным сумраком редкие травы на бледной засоленной земле, будто на ней высохли слезы, но горе ее не прошло.

Назар стоял на краю темной земли, павшей вниз; далее начиналась песчаная пустыня, более счастливая и светлая, и среди песчаных покойных бугров даже в тихое время, в тот исчезнувший детский день, ютился мелкий ветер, бредущий и плачущий, изгнанный издалека. Мальчик прислушался к этому ветру и повел глазами за ним, чтобы увидеть его и быть с ним вдвоем, но не увидел ничего, и тогда он закричал. Ветер пропал от него, никто не отозвался. Вдалеке наступала ночь; на темную низкую землю, откуда вывела его мать, уже легла тень, и лишь курился белый дым из кибиток и землянок, где прежде жил ребенок. Назар в недоумении попробовал свои ноги и тело: есть ли он на свете, раз его никто теперь не помнит и не любит; ему нечего стало думать, будто он жил от силы и желания других близких людей, а сейчас их нет, и они прогнали его… Шершавый куст — бродяга, по-русски — перекати-поле, без ветра склонялся и перекатывался по песку, уходя отсюда мимо. Куст был пыльный, усталый, еле живой от труда своей жизни и движения; он не имел никого — ни родных, ни близких, и всегда удалялся прочь. Назар потрогал его ладонью и сказал ему: «Я пойду с тобою, одному мне скучно, — ты думай про меня что-нибудь, а я буду про тебя. А с ними я жить не хочу, они мне не велели, пускай сами умрут!» И он погрозил тростниковой палкой на родину и забывшей его матери.

Назар пошел за кустом перекати-поле и шел до самой тьмы. Во тьме он лег и уснул от слабости, трогая куст рукой, чтоб он остался с ним. Наутро он проснулся и сразу испугался, что нет с ним куста: он укатился один ночью. Назар хотел заплакать, но увидел, что куст шевелился сейчас на верху ближнего песчаного холма, и мальчик догнал его.

Родина и мать давно скрылись — пусть их забудет его сердце, пока оно растет. В тот день бредущий куст довел Назара до овечьего пастуха, и пастух напоил мальчика и накормил, а куст его привязал к палке, чтобы он тоже отдохнул. Долгое время Назар ходил с пастухом и жил у него, пока не выпал снег, тогда хозяин отпустил пастуха по делам в Чарджуй, потому что пастух стал слепнуть, и пастух отправился с мальчиком, а в городе отдал его Советской власти, как не нужного никому. Советская власть всегда собирает всех ненужных и забытых, подобно многодетной вдовице, которой ничего не сделает один лишний рот.

Теперь прошли многие годы, но ничто не было забыто, и потерянная мать была такой же любимой, и для воспоминания о ней всегда будет одинокая сила в сердце, точно детство не прекратилось. Отца своего Чагатаев никогда не знал. Русский солдат Хивинских экспедиционных войск Иван Чагатаев пропал прежде, чем родила Гюльчатай, бывшая тогда молодой женой Кочмата, от которого она уже имела двоих маленьких детей; но дети от Кочмата умерли, когда Назар был в младенчестве, о них только говорила ему мать впоследствии, что они жили когда-то. Кочмат же был беден и гораздо старше своей жены; он жил тем, что ходил на байские земли в Куня-Ургенч и в Ташауз — работать на хошарах, чтобы хоть в летнее время питать семейство хлебом. А в зимнее время он почти беспрерывно спал в землянке, вырытой у подножья Усть-Урта. Он берег свою неимущую силу, и Гюльчатай лежала с ним под одною кошмой; она тоже грелась и дремала в долгие зимы, чтобы меньше есть, а между ними лежали их дети, когда они были живы. Изредка Гюльчатай выходила, добывала траву на пищу или шла наниматься батрачкой в Хиву… Однажды в Хиве она не нашла работы; была в то время зима, богатые пили чай и ели баранину, а бедные ждали тепла и роста растений. Гюльчатай ютилась на базаре, ела кое-что, что оставалось на земле от торговцев, но побираться стыдилась людей. На том хивинском базаре ее заметил солдат Иван Чагатаев и стал приносить ей каждый день казенную пищу в котелке. Гюльчатай ела солдатский суп с говядиной на вечернем пустом базаре, а солдат понемногу касался ее и затем обнимал. Но женщине совестно было в ответ на угощение отвергать

человека: она молчала и не сопротивлялась. Она думала, чем отблагодарить русского, и не было у нее ничего, кроме того, что выросло от природы.

— Отчего у тебя слезы на глазах? — спросила Вера у Чагатаева в день его отъезда на родину.

— Я вспомнил свою мать, как она улыбалась мне, когда я был маленьким.

— Но как же?

Чагатаев затруднился.

— Не помню… Она мне радовалась и оплакивала меня, — теперь люди так не улыбаются. У ней слезы лились по счастливому лицу.

Мать говорила Назару, что муж ее, Кочмат, когда узнал, что Назар — сын русского солдата, а не его, то он не ударил ее и не сделался яростным, а только стал скучным и чуждым для всех. Он ушел отдельно вдаль и там один отдышался от своей печали; потом он вернулся и любил Гюльчатай по-прежнему.

Назар Чагатаев пошел гулять с Верой в последний раз. Вечером его поезд уйдет в Азию. Вера уже собрала его в дальнюю дорогу: заштопала чулки, пришила нужные пуговицы, сама выгладила белье и несколько раз перепробовала и проверила все вещи, лаская их и завидуя им, что они поедут вместе с ее мужем.

На улице Вера попросила Чагатаева зайти с нею к знакомым. Может быть, через полчаса он навсегда перестанет любить ее.

Они вошли в большую квартиру. Вера познакомила мужа с пожилой женщиной и спросила:

— Что Ксеня — дома или еще где-нибудь?

— Дома, дома, она только что пришла, — сказала хозяйка.

В просторной неубранной комнате сидела черноволосая девочка лет тринадцати или пятнадцати. Она читала книжку и вертела конец своей косы в руке.

— Мама! — И девочка обрадовалась пришедшей матери.

— Здравствуй, Ксеня! — сказала Вера. — Это моя дочь, — познакомила она девочку с Чагатаевым.

Чагатаев пожал странную руку, детскую и женскую; рука была липкая и нечистая, потому что дети не сразу приучаются к чистоте.

Ксеня улыбалась. Она не походила на мать — у нее было правильное лицо юноши, немного грустное от стыда и непривычки жить и бледное от усталости роста. Глаза ее имели разный цвет — один черный, другой голубой, что придавало всему выражению лица кроткое, беспомощное значение, точно Чагатаев видел жалкое и нежное уродство. Лишь рот портил Ксеню — он уже разрастался, губы полнели, словно постоянно жаждали пить, и было похоже, что сквозь невинное безмолвие кожи пробивалось наружу сильное разрушительное растение.

Все молчали от неопределенного положения, хотя Ксеня уже догадывалась про все.

— Вы здесь живете? — спросил пустяковое дело Чагатаев.

— Да, у матери моего папы, — сказала Ксеня.

— А где папа, он умер?

Вера была в стороне, она глядела в окно, на Москву.

Ксеня засмеялась.

— Нет, что вы! Мой папа молодой, он живет на Дальнем Востоке и строит мосты. Два уже построил!

— Большие мосты? — спросил Чагатаев.

— Большие: один висячий, другой с двумя опорными быками и потерянными кессонами. Они скрылись навсегда, они потерялись! — радостно сказала Ксеня. — У меня фотографии из газеты есть!

— Папа вас любит?

— Нет, он любит незнакомых, он нас с мамой любить не хочет.

Они говорили еще, в сердце Чагатаева было неясное сожаление — он сидел с легким,

грустным чувством, как во сне и путешествии. Забывая обыкновенную жизнь, он взял руку Ксени к себе и стал держать ее, не разлучаясь.

Ксеня сидела со страхом и удивлением, разноцветные глаза ее смотрели мучительно, как двое близких и незнакомых между собой людей. Ее мать, Вера, стояла в отдалении, молча улыбаясь дочери и мужу.

— Тебе не пора собираться на вокзал? — спросила она.

— Нет, я не поеду сегодня, — сказал Чагатаев. Он скреб башмаками по полу, борясь с нетерпением своей души перед этой девочкой. Ему было, кроме того, стыдно, что его состояние Вера и Ксеня могут принять за жестокую мужскую любовь; он же чувствовал перед Ксеней лишь привязанность, полную смутного наслаждения, человеческого родства и заботы о ее лучшей судьбе. Он хотел бы быть для нее берегущей силой, отцом и вечной памятью в ее душе.

Извинившись, Чагатаев вышел на полчаса, купил в Мосторге различных вещей на триста рублей и принес их в подарок Ксене; если бы он не сделал этого, то сожалел бы многие дни.

Ксеня обрадовалась подаркам, а мать ее — нет.

— У Ксени всего два платья, и последняя обувь развалилась, — сказала Вера. — Отец ведь ничего не присылает, а я работаю недавно… Зачем ты накупил этих пустяков, на что девочке дорогие духи, замшевая сумка, какое-то пестрое покрывало?..

— Ну, мама, пускай, ничего! — говорила Ксеня. — Платье мне бесплатно в детском театре дадут, я там активистка, а в отряде скоро горные башмаки начнут распределять, мне обуви не надо. Пусть будет сумка и покрывало.

— Все-таки напрасно, — сетовала Вера. — И ему самому нужны деньги, он едет далеко.

— Мне хватит, — сказал Чагатаев. Он вынул еще четыреста рублей и оставил их на пропитание Ксени.

Девочка подошла к нему. Она поблагодарила Чагатаева, протянув ему руку, и сказала:

— Я вам тоже скоро буду давать подарки. Скоро наступит богатство!

Чагатаев поцеловал ее и попрощался.

— Назар, ты больше не любишь меня? — спросила Вера на улице. — Пойдем разведемся, пока ты не уехал… Ты видел — Ксеня моя дочь, ты ведь у меня третий, и мне тридцать четыре года.

Вера умолкла. Назар Чагатаев удивился:

— Почему я тебя не люблю? А ты любила других мужей?

— Я любила. Второй умер, и я по нем и теперь плачу одна. А первый оставил меня с девочкой сам, я его тоже любила и была верна… И мне пришлось долго жить без человека, ходить по веселым вечерам и бумажные цветы самой класть себе на голову…

— Но почему я тебя не люблю?

— Ты любишь Ксеню, я знаю… Ей будет восемнадцать лет, а тебе тридцать, может, немного больше. Вы поженитесь, а я вас посватаю. Ты только не лги мне и не волнуйся, я привыкла терять людей.

Чагатаев остановился перед этой женщиной, как непонимающий. Ему было странно не ее горе, а то, что она верила в свое обреченное одиночество, хотя он женился на ней и разделил ее участь. Она берегла свое горе и не спешила его растратить. Значит, в глубине рассудка и среди самого сердца человека находится его враждебная сила, от которой могут померкнуть живые сияющие глаза среди лета жизни, в объятиях преданных рук, даже под поцелуями своих детей.

— Поэтому ты со мной и не жила? — спросил Чагатаев.

— Да, поэтому. Ты ведь не знал, что у меня есть такая дочь, ты думал — я моложе и чище…

— Ну и что ж! Мне это безразлично…

— Нет, скажи: ты сейчас влюбился в Ксеню? Я заметила.

— Влюбился, — ответил Чагатаев, — я не вытерпел.

Они молча дошли до комнаты Веры. Она стала среди своего жилища, не снимая плаща, равнодушная и чужая для собственных окружающих предметов. Если бы был сейчас внезапный случай, она подарила бы всю свою утварь соседке; это доброе дело немного утешило бы ее и вместе с уменьшением имущества уменьшило бы размер ее страдающей души.

Но затем ей пришлось бы раздать свое тело до последнего остатка; однако и этот последний остаток мучился бы с тою же силой, как все тело вместе с одеждой, инвентарем и удобствами, и его также нужно было бы отдать, чтоб уничтожить и забыть.

Отчаяние, тоска и нужда могут сжиматься в человеке вплоть до его последней щели: лишь предсмертное дыхание выносит их вон.

— Ну, как же мне быть теперь? — спросила Вера, произнося эти слова для себя.

Чагатаев понимал Веру. Он обнял ее и долго держал близ груди, чтобы успокоить ее хотя бы своим теплом, потому что мнимое страданье наиболее безутешно и слову не поддается.

Вера начала отходить от горя.

— Ксеня тебя тоже полюбит… Я воспитаю ее, внушу ей память о тебе, сделаю из тебя героя. Ты надейся, Назар, — годы пройдут быстро, а я привыкну к разлуке.

— Зачем привыкать к худому? — сказал Чагатаев; он не мог понять, почему счастье кажется всем невероятным и люди стремятся прельщать друг друга лишь грустью.

Чагатаеву горе надоело с детства, а теперь, когда он стал образованным, ему оно представлялось пошлостью, и он решил устроить на родине счастливый мир блаженства, а больше неизвестно, что делать в жизни.

— Ничего, — сказал Чагатаев и погладил Вере ее большой живот, где лежал ребенок, житель будущего счастья. — Рожай его скорее, он будет рад.

— А может, нет, — сомневалась Вера. — Может, он будет вечный страдалец.

— Мы больше не допустим несчастья, — ответил Чагатаев.

— Кто такие, вы?

— Мы, — тихо и неопределенно подтвердил Чагатаев. Он почему-то стыдился говорить ясно и слегка покраснел, словно тайная мысль его была нехороша.

Вера обняла его на прощанье — она следила за часами, разлука подходила близко.

— Я знаю, ты будешь счастлив, у тебя чистое сердце. Возьми тогда к себе мою Ксеню.

Она заплакала от своей любви и неуверенности в будущем; ее лицо вначале стало еще более безобразным, потом слезы омыли его, и оно приобрело незнакомый вид, точно Вера глядела издалека чужими глазами.

Поезд давно покинул Москву; прошло уже несколько суток езды. Чагатаев стоял у окна, он узнавал те места, где он ходил в детстве, или они были другие, но похожие в точности. Такая же земля, пустынная и старческая, дует тот же детский ветер, шевеля скулящие былинки, и пространство просторно и скучно, как унылая чуждая душа; Чагатаеву хотелось иногда выйти из поезда и пойти пешком, подобно оставленному всеми ребенку. Но детство и старое время давно прошло. Он видел на степных маленьких станциях портреты вождей; часто эти портреты были самодельными и приклеены где-нибудь к забору. Портреты, вероятно, мало походили на тех, кого они изображали, но их рисовала, может быть, детская пионерская рука и верное чувство: один походил на старика, на доброго отца всех безродных людей на земле; однако художник, не думая, старался сделать лицо похожим и на себя, чтобы видно было, что он теперь живет не один на свете и у него есть отцовство и родство, — поэтому искусство становилось сильнее неумелости. И сейчас же за такой станцией можно видеть, как разные люди рыли землю, сажали что-то или строили, чтобы приготовить место жизни и приют для бесприютных. Порожних, нелюдимых станций, где можно жить лишь в изгнании, Чагатаев не видел; везде человек работал, отходя сердцем от векового отчаяния, от безотцовщины и всеобщего злобного беспамятства.

Чагатаев вспомнил материнские слова: «Иди далеко, к чужим, пусть отец твой будет

незнакомым человеком». Он ходил далеко и теперь возвращается, он нашел отца в чужом человеке, который вырастил его, расширил в нем сердце и теперь посылает снова домой, чтобы найти и спасти мать, если она жива, похоронить ее, если она лежит брошенной и мертвой на лице земли.

В одну ночь поезд остановился по неожиданному случаю в темной степи. Чагатаев вышел к двери в тамбур вагона. Было тихо, вдали сопел паровоз, пассажиры спали в покое. Вдруг в степной темноте вскрикнула одна птичка, ее что-то напугало. Чагатаев вспомнил этот голос через многие годы, как будто его детство жалобно прокричало из безмолвной тьмы. Он прислушался; еще какая-то птица что-то быстро проговорила и умолкла, он тоже помнил ее голос, но сейчас забыл ее имя: может быть, пустынная славка, может быть, пустельга. Чагатаев вышел из вагона. Невдалеке он заметил кустарник и, дойдя до него, взял его ветвь и сказал ему: «Здравствуй, куян-суюк!» Куян-суюк слегка пошевелился от прикосновения человека и опять остался как был — равнодушный и спящий.

Чагатаев отошел еще дальше. В степи что-то шевелилось и покрикивало, она казалась бесшумной лишь для отвыкших ушей. Земля стала опускаться в низину, началась синяя высокая трава. Чагатаев, с интересом воспоминания, вошел в траву; растения дрожали вокруг него, колеблемые снизу, разные невидимые существа бежали от него прочь — кто на животе, кто на ножках, кто низким полетом — что у кого имелось. Они, наверное, сидели до, того неслышно, но спали из них лишь некоторые, далеко не все. У всякого было столько заботы, что дня, видимо, им не хватало, или им жалко было тратить краткую жизнь на сон, и они только чуть дремали, опустив пленку на полглаза, чтобы видеть хоть полжизни, слышать тьму и не помнить дневной нужды.

Забыв свое дело, Чагатаев почувствовал запах влаги; где-то вблизи было озеро или колодезь. Он направился туда и вскоре вошел в какую-то небольшую, влажно растущую траву, похожую на маленькую русскую рощу. Глаза Чагатаева притерпелись ко мраку, он видел теперь ясно. Затем начался камыш; когда Чагатаев вошел в него, то сразу закричали, полетели и заерзали на месте все здешние жители. В камышах было тепло. Животные и птицы не все исчезли от страха перед человеком, некоторые, судя по звукам и голосам, остались, где были. Они испугались настолько, что, ожидая гибели, спешили поскорее размножиться и насладиться. Чагатаев знал эти звуки издавна и теперь, слушая томительные, слабые голоса из теплой травы, сочувствовал всей бедной жизни, не сдающей своей последней радости.

Поезд неслышно поехал. Чагатаев мог бы его догнать, но не поторопился; уехал лишь чемодан с бельем, и то его можно получить обратно в Ташкенте. Но Чагатаев решил его не получать, чтобы спешить по своему делу и не отвлекаться. Он уснул в траве, среди спокойствия, прижавшись к земле, как прежде.

Через семь дней Чагатаев дошел до Ташкента ближней пешей дорогой. Он явился в Центральный комитет партии, где его уже давно ожидали. Секретарь комитета сказал Чагатаеву, что где-то в районе Сары-Камыша, Усть-Урта и дельты Амударьи блуждает и бедствует небольшой кочевой народ из разных национальностей. В нем есть туркмены, каракалпаки, немного узбеков, казахи, персы, курды, белуджи и позабывшие, кто они. Раньше этот народ почти постоянно жил во впадине Сары-Камыша, откуда он ходил работать на хошары и на чигири в Хивинский оазис, в Ташауз, в Ходжейли, Куня-Ургенч и другие дальние места. Бедность и отчаяние того народа были настолько велики, что он о земляной хошарной работе, которая продолжалась лишь несколько недель в году, думал как о благе, потому что ему давали в эти дни есть хлебные лепешки и даже рис. На чигирях тот народ работал вместо ослов, двигая своим телом деревянное водило, чтобы подымалась в арык вода. Осла надо кормить круглый год, а рабочий народ из Сары-Камыша ел лишь немного времени, а потом уходил вон. И целиком не умирал и на другой год снова возвращался, протомившись где-то на дне пустыни.

— Я знаю этот народ, я там родился, — сказал Чагатаев.

— Поэтому тебя и посылают туда, — объяснил секретарь. — Как назывался этот народ,

ты не помнишь?

— Он не назывался, — ответил Чагатаев. — Но сам себе он дал маленькое имя.

— Какое его имя?

— Джан. Это означает душу или милую жизнь. У народа ничего не было, кроме души и милой жизни, которую ему дали женщины-матери, потому что они его родили.

Секретарь нахмурился и сделался опечаленным.

— Значит, все его имущество — одно сердце в груди, и то когда оно бьется…

— Одно сердце, — согласился Чагатаев, — одна только жизнь; за краем тела ничего ему не принадлежит. Но и жизнь была не его, ему она только казалась.

— Тебе мать говорила, что такое джан?

— Говорила. Беглецы и сироты отовсюду и старые, изнемогшие рабы, которых прогнали. Потом были женщины, изменившие мужьям и попавшие туда от страха, приходили навсегда девушки, полюбившие тех, кто вдруг умер, а они не захотели никого другого в мужья. И еще там жили люди, не знающие бога, насмешники над миром, преступники… Но я не помню всех — я был маленький.

— Езжай туда теперь. Найди этот потерянный народ — Сары-Камышская впадина пуста.

— Я поеду, — согласился Чагатаев. — Что мне там делать? Социализм?

— Чего же больше? — произнес секретарь. — В аду твой народ уже был, пусть поживет в раю, а мы ему поможем всей нашей силой… Ты будешь нашим уполномоченным. Туда послали кого-то из района, но едва ли. он что сделает там: кажется, не наш человек…

Затем секретарь дал Чагатаеву подробные, тщательные инструкции, командировочную бумагу, и Чагатаев попрощался.

Он задумал плыть на родину вниз по Амударье, сев около Чарджуя в каюк.

На ташкентской почте он получил письмо от Веры. Она писала, что ребенок ее приближается на свет, он уже думает что-то внутри ее тела, потому что часто шевелится и бывает недоволен.

«Но я ласкаю его, я глажу свой живот и, согнувшись лицом ближе к нему, — писала Вера, — говорю: „Чего ты хочешь? Тебе там тепло и тихо, я стараюсь мало двигаться, чтобы ты не раздражался, — зачем ты хочешь уйти из меня?..“ Я привыкла к нему, все время живу с ним как с другом, как хотела жить с тобой, и рождения его я боюсь — не потому, что мне будет больно, а потому, что это будет начало разлуки с ним навек, и его ножки, которыми он сейчас стучит, спешат уйти от матери, и они будут уходить все дальше и дальше — по мере его жизни, пока мой сын не скроется совсем от меня, от моих заплаканных глаз… Ксеня тебя помнит, но скучает, что ты далеко, не скоро приедешь, даже ничего не известно. Не умер ли ты уже где-то?»

Чагатаев послал Вере открытку, что он целует ее и Ксеню — в ее разноцветные глаза, и пройдет недолго, как он приедет, когда он сделает счастье среди одной земли.

4

Из Чарджуя в Нукус собирались идти с кооперативными товарами четыре каюка. Чагатаев не стал пользоваться своим правом командированного человека, потому что это право слабо признавалось, а нанялся быть помощником речного матроса. Он условился идти до Хивинского оазиса, а там сойдет на берег.

Наступили долгие дни плавания. Утром и вечером река превращалась в золотой поток благодаря косому свету солнца, проницающему воду сквозь ее живой, несущийся ил. Эта желтая земля, путешествующая в реке, заранее была похожа на хлеб, цветы и хлопок и даже на тело человека. Иногда на камышовой вершине сидела разноцветная незнакомая птичка, она вертелась от внутреннего волнения, блестела перьями под живым солнцем и пела что-то сияющим тонким голосом, будто уже наступило блаженство для всех существ. Птица напоминала Чагатаеву про Ксеню, маленькую женщину с цветными глазами, думающую

что-нибудь сейчас про него.

Через четырнадцать суток Чагатаев сошел на берег Хивинского оазиса, получив расчет и благодарность от старшего матроса.

Побыв несколько дней в Хиве, Чагатаев пошел на родину, в Сары-Камыш, дорогой детства. Он помнил эту дорогу по слабевшим признакам: песчаные холмы теперь казались ниже, канал более мелким, путь до ближайшего колодца короче. Солнце светило такое же, но менее высоко, чем в то время, когда Чагатаев был маленьким. Курганчи, кибитки, встречные ослы и верблюды, деревья по арыкам, летающие насекомые — все было прежнее и неизменное, но равнодушное к Чагатаеву, точно ослепшее без него. Он шел обиженный, как по чужому миру, вглядываясь во все окружающее и узнавая забытое, но сам оставался неузнанным. Каждое мелкое существо, предмет и растение, оказывается, было более гордым и независимым от прежней привязанности, чем человек.

Дойдя до сухой реки Кунядарьи, Назар Чагатаев увидел верблюда, который сидел, подобно человеку, опершись передними ногами, в песчаном наносе. Верблюд был худ, горбы его опали, и он робко глядел черными глазами, как умный грустный человек. Когда Чагатаев подошел к нему, верблюд не обратил на подошедшего внимания: он следил за движением мертвых трав, гонимых течением ветра, — приблизятся они к нему или минуют мимо. Одна былинка подвинулась близко по песку к самому его рту, и тогда верблюд сжевал ее губами и проглотил. Вдали влачилось круглое перекати-поле, верблюд следил за этой большой живой травой глазами, добрыми от надежды, но перекати-поле уходило стороною; тогда верблюд закрыл глаза, потому что не знал, как нужно плакать.

Чагатаев осмотрел верблюда кругом; животное давно стало худым от голодной нужды и болезни, шерсть его выпала почти вся, остались лишь некоторые клочья, поэтому верблюд дрожал от непривычки и озноба. Он, наверно, был разгружен и оставлен здесь каким-либо прохожим караваном вследствие слабости своих сил — либо его хозяин сам погиб, а животное начало ожидать его, пока не истратило в себе жизненного запаса. Потеряв способность движения, верблюд уперся остатком силы в передних ногах и привстал, чтобы видеть былинки трав, нагоняемые на него ветром, и поедать их. Когда ветра не было, он закрывал глаза, не желая тратить напрасно зрения, и был в дремоте; опуститься и лечь он не хотел, тогда бы он снова приподняться уже не смог, и так оставался сидячим постоянно — то бдительным, то дремлющим, пока смерть не склонила бы его вниз или пока любой ничтожный зверь пустыни не кончил бы его одним ударом маленькой лапы.

Чагатаев долго сидел около этого верблюда, наблюдая и понимая его. Затем он принес издали несколько охапок перекати-поля и дал верблюду их съесть. Напоить он его не мог, у него самого было только две фляги воды, но он знал, что дальше по руслу Кунядарьи есть пресные озера и мелкие колодцы. Однако трудно нести на себе верблюда по песку.

Наступил вечер. Чагатаев кормил верблюда, доставая ему траву из ближних окрестностей, пока тот не положил своей головы на землю; он уснул кротким сном новой жизни. Благодаря ночи, стало холодать. Чагатаев поел лепешек из своего мешка, потом прижался к туловищу верблюда, чтобы согреться, и задремал. Он улыбался; все было странно для него в этом существующем мире, сделанном как будто для краткой насмешливой игры. Но эта нарочная игра затянулась надолго, на вечность, и смеяться никто уже не хочет, не может. Пустая земля пустыни, верблюд, даже бродячая жалкая трава — ведь это все должно быть серьезным, великим и торжествующим; внутри бедных существ есть чувство их другого, счастливого назначения, необходимого и непременного, — зачем же они так тяготятся и ждут чего-то? Чагатаев свернулся калачом около живота верблюда и уснул, удивляясь необыкновенной действительности.

5

Через шесть дней пути по Кунядарье Чагатаев увидел Сары-Камыш. Все это время он вел за собою ожившего верблюда, который мог уже идти своей силой. Но еще не мог везти

на себе человека.

Чагатаев сел на краю песков, там, где они кончаются, где земля идет на снижение в котловину, к дальнему Усть-Урту. Там было темно, низко, Чагатаев нигде не разглядел ни дыма, ни кибитки, — лишь в отдалении блестело небольшое озеро. Чагатаев перебрал руками песок, он не изменился: ветер все прошедшие годы сдувал его то вперед, то назад, и песок стал старым от пребывания в вечном месте.

Сюда его мать когда-то вывела за руку и отправила жить одного, а теперь он вернулся. Он пошел дальше с верблюдом, в середину родины. Как маленькие старики, стояли дикие кустарники; они не выросли с тех пор, когда Чагатаев был ребенком, и они, кажется, одни из всех местных существ не забыли Чагатаева, потому что были настолько непривлекательны, что это походило на кротость, и в равнодушие или в беспамятство их поверить было нельзя. Такие безобразные бедняки должны жить лишь воспоминанием или чужой жизнью, больше им нечем.

Несколько дней Чагатаев потратил на блуждание по этой своей детской стране, чтобы найти людей. Верблюд самостоятельно ходил за ним следом, боясь остаться один и заскучать; иногда он долго глядел на человека, напряженный и внимательный, готовый заплакать или улыбнуться и мучаясь от неуменья.

Ночуя в пустых местах, доедая свою последнюю пищу, Чагатаев, однако, не думал о своем благополучии. Он направлялся в глубь безлюдной впадины, по дну древнего моря, спеша и беспокоясь. Лишь однажды он лег среди дневного пути и прижался к земле. Сердце его сразу заболело, и он потерял терпение и силу бороться с ним; он заплакал по Ксене, стыдясь своего чувства и отрекаясь от него. Он видел ее сейчас близкой в уме и в воспоминании; она улыбалась ему жалкой улыбкой маленькой женщины, которая может любить только в душе, но обниматься не хочет и боится поцелуев, как увечья. Вера сидела вдали и шила детское белье, сокращая разлуку с мужем и уже почти равнодушная к нему, потому что внутри ее шевелился и мучился другой, еще более любимый и беспомощный человек. Она ждала его, желала увидеть его лицо и боялась расстаться с ним. Но ее утешало, что еще долгие годы она будет целовать и обнимать его, когда захочет, пока он не вырастет и не скажет ей: «Будет тебе, мама, приставать ко мне, ты мне надоела!»

Чагатаев поднял голову. Верблюд жевал какую-то худую, костлявую траву, маленькая черепаха томительно глядела черными нежными глазами на лежавшего человека. Что было сейчас в ее сознании? Может быть, волшебная мысль любопытства к таинственному громадному человеку, может быть, печаль дремлющего разума.

— Мы тебя одну не оставим! — сказал Чагатаев черепахе.

Он заботился о существующем, как о священном, и был слишком скуп сердцем, чтобы не замечать того, что может служить утешением.

Они пошли с верблюдом далее, к Усть-Урту, где в самом подножье возвышенности жил один забытый старик. Он ночевал в землянке, вырытой в сухом спуске холма, и питался мелкими животными и корнями растений, находившимися в расщелинах плоскогорья. Древняя старость и убожество сделали его мало похожим на человека. Он прожил давно человеческий век, все чувства его удовлетворились, а ум изучил и запомнил местную природу с точностью исчерпанной истины. Даже звезды, многие тысячи их, он знал наизусть по привычке, и они ему надоели.

Его звали Суфьян; одет он был в старинную шинель русского солдата времен хивинской войны и в картуз, а обувался в обмотки из тряпок.

Когда он заметил Чагатаева, он вышел к нему из своего земляного жилища и уставился в пространство безлюдными глазами.

К нему шел человек с верблюдом. Суфьян сразу узнал прохожего и огорчился втайне, что нет для него ничего неизвестного.

— Я тебя знаю, — сказал он Чагатаеву. — Ты был мальчик Назар.

— А я тебя не знаю, — ответил Чагатаев.

— Ты не знаешь, ты живешь, как ешь: что в тебя входит, то потом выходит. А во мне

все задерживается.

Старик сморщился, вспоминая улыбку привета, но его лицо, даже спокойное, было похоже на пустую кожу высохшей умершей змеи. Удивившись, Чагатаев потрогал руку и лоб Суфьяна. О жизни и живых никто не заботится, но теперь наступила пора…

Чагатаев сказал старику, что он пришел издалека, ради своей матери и своего народа, но есть ли он на свете или уже давно кончился?

Старик молчал.

— Ты встретил где-нибудь своего отца? — спросил он.

— Нет. А ты знаешь Ленина?

— Не знаю, — ответил Суфьян. — Я слышал один раз это слово от прохожего, он говорил, что оно хорошо. Но я думаю — нет. Если хорошо — пусть оно явится в Сары-Камыш, здесь был ад всего мира, и я здесь живу хуже всякого человека.

— Я вот пришел к тебе, — сказал Чагатаев.

Старик опять сморщился в недоверчивой улыбке.

— Ты скоро уйдешь от меня, я умру здесь один. Ты молод, твое сердце бьется тяжело, ты соскучишься.

Чагатаев приблизился к старику и поцеловал его, как раньше целовал Веру, крепко и неутомимо. Странно, что уста старика имели тот же человеческий вкус, как губы далекой молодой женщины.

— Здесь ты умрешь от сожаления, от воспоминаний. Здесь, персы говорили, был ад для всей земли…

Они вошли в землянку, где жил на камышовой подстилке Суфьян. Он дал лепешку гостю, испеченную из корней трав плоскогорья. В отверстии входа видна была вечерняя тень, бегущая в яму Сары-Камыша, где в древности находился всемирный ад. Чагатаев слышал в Детстве это устное предание и теперь понимал его полное значение. В далеком отсюда Хорасане, за горами Копетдага, среди садов и пашен, жил чистый бог счастья, плодов и женщин — Ормузд, защитник земледелия и размножения людей, любитель тишины в Иране. А на север от Ирана, за, спуском гор, лежали пустые пески; они уходили в направлении, где была середина ночи, где томилась лишь редкая трава, и та срывалась ветром и угонялась прочь, в те черные места Турана, среди которых беспрерывно болит душа человека. Оттуда, не перенося отчаяния и голодной смерти, бежали темные люди в Иран. Они врывались в гущи садов, в женские помещения, в древние города и спешили поесть, наглядеться, забыть самих себя, пока их не уничтожали, а уцелевших преследовали до глубины песков. Тогда они скрывались в конце пустыни, в провале Сары-Камыша, и там долго томились, пока нужда и воспоминание о прозрачных садах Ирана не поднимали их на ноги… И снова всадники черного Турана появлялись в Хорасане, за Атреком, в Астрабаде, среди достояния ненавистного, оседлого, тучного человека, истребляя и наслаждаясь… Может быть, одного из старых жителей Сары-Камыша звали Ариманом, что равнозначно черту, и этот бедняк пришел от печали в ярость. Он был не самый злой, но самый несчастный, и всю свою жизнь стучался через горы в Иран, в рай Ормузда, желая есть и наслаждаться, пока не склонился плачущим лицом на бесплодную землю Сары-Камыша и не скончался.

Суфьян оставил Чагатаева ночевать. Экономист томился во сне: уходят дни и ночи напрасно, нужно торопиться и делать счастье на адовом дне Сары-Камыша; от нетерпения сердца он долго не мог уснуть, считая течение времени. Как свет совести, горели звезды на небе, верблюд сопел снаружи, и по песку осторожно скреблась сорванная дневным ветром обессиленная трава, точно стремясь идти самостоятельно на своих ножках-былинках.

На следующий день Чагатаев и Суфьян вышли с места, чтобы найти пропавших людей. Верблюд тоже пошел за ними, боясь одиночества, как боится его любящий человек, живущий в разлуке со своими.

На краю Сары-Камыша Чагатаев вспомнил знакомое место. Здесь росла седая трава, не выросшая больше с тех пор, как было в детстве Назара. Здесь мать сказала ему когда-то:

«Ты, мальчик, не бойся, мы идем умирать» — и взяла его за руку ближе к себе. Вокруг собрались все бывшие тогда люди, так что получилась толпа, может быть, в тысячу человек, вместе с матерями и детьми. Народ шумел и радовался: он решил идти в Хиву, чтобы его убили там сразу весь, полностью, и больше не жить. Хивинский хан давно уже томил этот рабский, ничтожный народ своей властью. Он сначала редко, потом все более часто присылал в Сары-Камыш всадников из своего дворца, и те забирали из народа каждый раз по нескольку человек, а затем их либо казнили в Хиве, либо сажали в темницу без возврата. Хан искал воров, преступников и безбожников, но их трудно было отыскать. Тогда он велел брать всех тайных и безвестных людей, чтобы жители Хивы, видя их казнь и муку, имели страх и содрогание. Сперва народ джан боялся Хивы, и многие люди заранее чувствовали изнеможение от страха; они переставали заботиться о себе и семействе и только лежали навзничь в беспрерывной слабости. Затем стали бояться все люди, — они глядели в чистую пустыню, ожидая оттуда конных врагов, они замирали от всякого ветра, метущего песок по вершине бархана, думая, что это мчатся верховые. Когда же третья часть народа или более была забрана без вести в Хиву, народ уже привык ожидать своей гибели; он понял, что жизнь не так дорога, как она кажется, в сердце и в надежде, и каждому, кто остался цел, было даже скучно, что его не взяли в Хиву. Но молодой Якубджанов и его друг Ораз Бабаджан не хотели зря ходить в Хиву, если можно умереть на свободе. Они бросились с ножами на четверых ханских стражников и оставили их на месте лежачими, сразу лишив их славы и жизни. А маленький Назар, увидев чужих вооруженных людей, побежал к матери за одной острой железкой, которую он спрятал себе для игры, но обратно он прибежал уже поздно: стражники умерли без его железки. Ораз и Якубджанов исчезли после того, сев на лошадей убитых солдат, а остальной народ пошел толпой в Хиву, счастливый и мирный; люди были одинаково готовы тогда разгромить ханство или без сожаления расстаться там с жизнью, поскольку быть живым никому не казалось радостью и преимуществом и быть мертвым не больно. Впереди пошел бахши, бормоча свою песню, а рядом с ним был Суфьян, и тогда уже старый человек. Назар смотрел на мать; он удивлялся, что она теперь веселая, хотя шла помирать, и все прочие люди шли также охотно. Дней через десять или пятнадцать сары-камышский народ увидел хивинскую башню. Дорога до Хивы была тяжелая и медленная, но трудность и нужда неподвижной жизни тоже требовали привычного сердца, поэтому люди не чувствовали раздражения от излишней усталости. Около самой Хивы пришедший народ окружило небольшое ханское конное войско, но тогда народ, видя это, запел и развеселился. Пели все, даже самые молчаливые и неумелые; узбеки и казахи танцевали впереди всех, один русский несчастный старик играл на губной гармонии, мать Назара подняла руки, точно готовясь к тайному танцу, а сам Назар с интересом ждал, как их всех и его самого сейчас убьют солдаты. Около ханского дворца стояли толстые смелые стражники, берегущие хана от всех. Они с удивлением глядели на прохожий народ, который шел мимо них с гордостью и не боялся силы пуль и железа, будто он был достойный и счастливый. Эти дворцовые стражники вместе с прежними всадниками должны постепенно окружить сары-камышский народ и загнать его в тюремное подземелье; но веселых трудно наказывать, потому что они не понимают зла.

Один помощник хана подошел близко к старым людям из Сары-Камыша и спросил их:

— Чего им надо и отчего они чувствуют радость?

Ему ответил кто-то, может быть Суфьян или прочий старик:

— Ты долго, приучал нас помирать, теперь мы привыкли и пришли сразу все, — давай нам смерть скорее, пока мы не отучились от нее, пока народ веселится!

Помощник хана ушел назад и больше не вернулся. Конные и пешие солдаты остались около дворца, не касаясь народа: они могли убивать лишь тех, для кого смерть страшна, а раз целый народ идет на смерть весело мимо них, то хан и его главные солдаты не знали, что им надо понимать и делать. Они не сделали ничего, а все люди, явившиеся из впадины, прошли дальше и вскоре увидели базар. Там торговали купцы, еда лежала наружи около них, и

вечернее солнце, блестевшее на небе, освещало зеленый лук, дыни, арбузы, виноград в корзинах, желтое хлебное зерно, седых ишаков, дремлющих от усталости и равнодушия.

Назар спрашивал тогда мать:

— А когда же будет смерть? Я хочу!

Но мать сама не знала, что будет сейчас, она видела, что все еще живы, и боялась опять возвращаться в Сары-Камыш и снова там вечно жить. На хивинском базаре народ стал брать разные плоды и наедаться без денег, а купцы стояли молча и не били этих хищных людей. Назар ел медленно, он глядел кругом, ожидая убийства, и успел съесть только одну дыню. Наевшись, народ стал скучным, потому что веселье его прошло и смерти не было. Гюльчатай повела Назара в пустыню, все люди также ушли прочь, в старое место своей жизни.

Назар с матерью вернулись назад в Сары-Камыш. На этой жесткой седой траве, где Чагатаев сейчас стоял с Суфьяном, они тогда отдыхали, и мать сказала сыну:

— Давай опять жить, мы не умерли!

— Мы с тобою целы, — согласился Назар. — Знаешь что, мама, мы будем жить — ничего не думать, нарочно нас нет.

— Хорошо тем, кто умер внутри своей матери, — сказала Гюльчатай.

— У тебя в животе? — спросил Назар. — А почему ты меня там не оставила? Я бы умер, и меня сейчас не было, а ты ела и жила и думала про меня: нарочно я живой.

Гюльчатай посмотрела тогда на сына: счастье и жалость прошли по ее лицу.

Теперь Чагатаев лишь погладил ту давнюю траву, живущую поныне без изменения, потому что она умерла еще до рождения Назара, но все еще держалась, как живая, глубокими мертвыми корнями. Суфьян понимал, что в Чагатаеве происходит сейчас какое-то волнение жизни, но не интересовался этим: он знал, что чем-нибудь надо человеку наполнить свою душу, и если нет ничего, то сердце алчно жует собственную кровь.

Через четыре дня Суфьян и Чагатаев настолько захотели есть, что стали видеть сновидения, в то время как ноги их шли и глаза видели обыкновенный день. Верблюд не покидал людей, но двигался в отдалении от них, где была ему попутная пища из травы. Суфьян глядел в свои плывущие сны без надежды, а Чагатаев то улыбался от них, то мучился. Дойдя до протока Дарьялык у Мангырчардара, два пешехода стали на обычный ночлег, и Суфьян размешал воду у берега, чтоб она была мутнее, гуще и питательней, а потом, напившись, оба человека легли в пещерку, дабы тело забыло, что оно живет, и скорее миновала ночь. Проснувшись наутро, Чагатаев увидел мертвого верблюда; он лежал вблизи с окаменевшими глазами, на его шее замерла кровь разреза, и Суфьян рылся в его внутренностях, как в мешке с добром, выбирая оттуда сырые части с чистой кровью и насыщаясь ими. Чагатаев тоже подполз к верблюду; из открытого тела его пахло теплом и сытостью, кровь еще капала и текла по скважинам в дальних ущельях его туловища, жизнь умирала долго. Наевшись, Чагатаев и Суфьян в блаженстве уснули опять и проснулись не скоро.

Затем они пошли далее — в разливы, в устье Амударьи. Они взяли с собой в запас верблюжьего мяса, но Чагатаев ел его без аппетита: ему было трудно питаться печальным животным; оно тоже казалось ему членом человечества.

6

Жители Сары-Камышской впадины разбрелись в камышах и кустарниках по устью Амударьи. Прошло уже около десяти лет, как народ джан пришел сюда и рассеялся среди влажных растений. Комары вначале разъедали людей так, что они раздирали себе кожу до костей, но спустя время кровь их привыкла к комариному яду и стала вырабатывать из себя противоядие, от которого комары делались беспомощными и падали на землю. Поэтому комары теперь боялись людей и не приближались к ним вовсе.

Некоторые люди народа расселились отдельно, по одному человеку, чтобы не мучиться за другого, когда нечего есть, и чтобы не надо было плакать, когда умирают близкие. Но

изредка люди жили семьями; в таком случае они не имели ничего, кроме любви друг к другу, потому что у них не было ни хорошей пищи, ни надежды на будущее, ни простого счастья, развлекающего людей, и их сердце ослабело настолько, что могло содержать в себе лишь любовь и привязанность к мужу или жене — самое беспомощное, бедное и вечное чувство.

Суфьян и Чагатаев сперва блуждали двое суток в сумрачных камышах по сырой земле, прежде чем увидели один травяной шалаш. В нем жил слепец Молла Черкезов, его берегла и кормила дочь Айдым, девочка лет десяти. Молла узнал Суфьяна по голосу, но говорить им было не о чем. Они посидели один против другого на камышовой подстилке, попили чая, приготовленного из растертых и высушенных корней того же камыша, и попрощались.

— Есть у вас новости? — спросил Суфьян, прощаясь.

— Нет, жизнь идет одинаково, — ответил Черкезов. — Жена моя, милая Гюн, утонула в воде и умерла.

— Отчего утонула твоя достойная Гюн?

— Не стала жить. Возьми у меня девочку Айдым и приведи мне молодую ослицу, буду с ней жить по ночам, чтоб не было мыслей и бессонницы.

— Я беден, — сказал Суфьян, — ослицы у меня нету. Ты обменяй дочь на старуху. Живи со старухой: тебе все равно.

— Все равно, — согласился Молла Черкезов. — Но старухи скоро помирают, их не хватает человеку.

— Ты слыхал, к нам приехал Назар из Москвы; ему велели помочь нам прожить нашу жизнь хорошо.

— Четыре человека приезжали раньше Назара, — сообщил Черкезов. — Их искусали комары, и они уехали. Я слепой человек, мое дело — тьма, мне хорошо не будет.

— Тебе хорошо далее от ослицы и от старухи, — сказал здесь Чагатаев. — Твое счастье похоже на горе.

— С женой время идет незаметно, — ответил Молла Черкезов.

Девочка Айдым сидела на земле и, раздвинув ноги, растирала маленьким камнем на большом корневище камыша; она была здесь хозяйкой и приготовляла пищу. Кроме камыша около девочки лежало несколько пучков болотной и пустынной травы и одна чистая кость осла или верблюда, выкопанная где-нибудь в дальних песках, — для приварка. Вымытый котел стоял между ног Айдым, она бросала в него время от времени то, что готовили ее руки, она собирала суп на обед. Девочка не интересовалась гостями; глаза ее были заняты своею мыслью, — вероятно, она жила тайной, самостоятельной мечтой и делала домашнюю работу почти без сознания, отвлеченная от всего окружающего своим сосредоточенным сердцем.

— Отпусти со мною твою дочь! — попросил Чагатаев у хозяина.

— Она еще не выросла, что ты будешь делать с ней? — сказал Молла Черкезов.

— Я приведу тебе старую, другую.

— Приводи скорее, — согласился Черкезов.

Чагатаев взял за руку Айдым, она глядела на него черными, ослепительно блестящими, как бы невидящими, глазами, пугаясь и не понимая.

— Пойдем со мною, — сказал ей Чагатаев.

Айдым потерла руки о землю, чтобы они очистились, встала и пошла, оставив все свои дела на месте недоделанными, не оглянувшись ни на что, словно она прожила здесь одну минуту и не покидала сейчас живого отца.

— Суфьян, тебе ведь одинаково — идти со мной или нет? — обратился Чагатаев к старику.

— Одинаково, — ответил Суфьян.

Чагатаев велел ему остаться у слепого, чтобы помогать Черкезову кормиться и жить, пока он не вернется.

Назар пошел с девочкой по узкому следу людей в камышовом лесу. Он хотел увидеть всех жителей этой заросшей страны, весь спрятавшийся сюда от бедствия народ. Про свою мать Гюльчатай он ни разу не спросил у Суфьяна, он надеялся неожиданно встретить ее

живой и помнящей его, а про то, где остались лежать ее кости, он всегда успеет узнать.

Айдым шла покорно за Чагатаевым всю долгую дорогу. Камыши иногда кончались. Тогда Назар и девочка выходили на пустые песчаные и илистые наносы, на мелкие озера, обходили жесткие старческие кустарники и опять входили в камышовую гущу, где была тропинка. Айдым молчала; когда она уморилась, Чагатаев взял ее себе на плечи и понес, держа ее за колени, а она обхватила ему голову. Потом они отдыхали и пили воду из чистого песчаного водоема. Девочка смотрела на Чагатаева странным и обыкновенным человеческим взглядом, который он старался понять. Может быть, это означало: возьми меня к себе; может быть: не обмани и не замучай меня, я тебя люблю и боюсь. Или эта детская мысль в темных, сияющих глазах, была недоумением: отчего здесь плохо, когда мне надо хорошо!..

Чагатаев посадил Айдым к себе на руки и перебрал ее волосы на голове. Она вскоре уснула у него на руках, доверчивая и жалкая, рожденная лишь для счастья и заботы.

Наступил вечер. Идти дальше было темно. Чагатаев нарвал травы, сделал из нее теплую постель для защиты от ночного холода, переложил девочку в эту травяную мякоть и сам лег рядом, укрывая и согревая небольшого человека. Жизнь всегда возможна, и счастье доступно немедленно.

Чагатаев лежал без сна; если бы он уснул, Айдым раскрылась бы голым телом и окоченела. Большая черная ночь заполнила небо и землю — от подножья травы до конца мира. Ушло одно лишь солнце, но зато открылись все звезды и стал виден вскопанный, беспокойный Млечный Путь, как будто по нему недавно совершился чей-то безвозвратный поход.

7

Свет зари осветил спящих на траве. Одна рука Чагатаева находилась под головой Айдым, чтобы ей не жестко и не влажно было спать, другой он закрыл свои глаза, укрываясь от утра. Неизвестная старуха сидела около спящих и смотрела на них без памяти. Она трогала, еле касаясь, волосы, рот и руки Чагатаева, нюхала его одежду, оглядывалась вокруг и боялась, что ей помешают. Потом она осторожно вынула руку Назара из-под головы девочки, чтобы он никого сейчас не чувствовал и не любил, а был с нею одной.

Спина ее давно уже и навсегда согнулась, и, когда старуха разглядывала что-либо, лицо ее почти ползало по земле, точно она была невидящая и искала Потерянное. Она осмотрела все, во что был одет Назар, перепробовала руками ремешки и тесемки его штанов и обуви, помяла в руках материю его куртки и провела пальцем, смоченным во рту, по черным запыленным бровям Чагатаева. Затем она успокоилась и легла головой к ногам Назара, счастливая и усталая, как будто она дожила до конца жизни и больше ей ничего не осталось делать, как будто у этих башмаков, гниющих изнутри от пота, покрытых пылью пустыни и грязью болот, она нашла свое последнее утешение. Старуха задремала или уснула, но вскоре поднялась опять. Чагатаев и Айдым спали по-прежнему: дети спят долго, и даже солнце, бабочки и птицы их не будят.

— Проснись скорее! — сказала старуха, обняв руками спящего Чагатаева.

Он открыл глаза. Старуха стала целовать его шею, грудь через одежду, руку, ползя лицом по человеку, и проверяла, и рассматривала вблизи все его тело: целы или нет его части, не отболело и не потеряно ли что-нибудь в разлуке.

— Не надо: ведь ты моя мать, — сказал Чагатаев.

Он встал на ноги перед ней, но мать была сгорблена настолько, что не могла теперь видеть его лица, она тянула его за руки вниз, к себе, и Чагатаев согнулся и сел перед ней. Гюльчатай тряслась от старости или от любви к сыну, но не могла ничего сказать ему. Она только водила по его телу руками, испуганно ощущая свое счастье, и не верила в него, боясь, что оно пройдет.

Чагатаев смотрел в глаза матери, они теперь стали бледные, отвыкшие от него, прежняя блестящая темная сила не светила в них; худое, маленькое лицо ее стало хищным и злобным

от постоянной печали или от напряжения удержать себя живой, когда жить не нужно и нечем, когда про самое сердце свое надо помнить, чтоб оно билось, и заставлять его работать. Иначе можно ежеминутно умереть, позабыв или не заметив, что живешь, что необходимо стараться чего-то хотеть и не упускать из виду самое себя.

Назар обнял мать. Она была сейчас легкой, воздушной, как маленькая девочка, — ей нужно начинать жить сначала, подобно ребенку, потому что все силы у нее взяло терпение борьбы с постоянным мученьем и она не имела никогда свободного от горя остатка сердца, чтобы чувствовать добро своего существования; она не успела еще понять себя и освоиться, как наступила пора быть старухой и кончаться.

— Где ты живешь? — спросил ее Назар.

— Там, — показала Гюльчатай рукой.

Она повела его через мелкие травы, через редкий камыш, и вскоре они дошли до небольшой деревни, расположенной на поляне среди камышового леса. Чагатаев увидел камышовые шалаши и несколько кибиток, связанных тоже из камыша. Всего было жилищ двадцать или немного больше. Ни собаки, ни осла, ни верблюда Чагатаев не заметил в этом поселении, даже домашняя птица не ходила на воле по траве.

Около крайнего шалаша сидел голый человек, кожа на нем висела складками, как изношенная, усталая одежда; он перебирал на своих коленях тростинки камыша, собирая из них себе вещь для домашней утвари или украшение. Этот человек не удивился появлению Чагатаева и не ответил даже на его поклон; он бормотал что-то про себя, воображая никому не видимое, занимая свою душу собственным, тайным утешением.

— Здесь живет весь наш народ или еще есть? — спросил Чагатаев у матери.

— Я уже забыла, Назар, я не знаю, — сказала Гюльчатай, с усилием пробираясь вслед за ним и низко неся голову, как трудный груз. — Были еще люди, десять людей, они живут по камышам до самого моря — раньше жили, теперь им пора умереть, должно быть, умерли, и к нам никто не приходит…

Шалаши и кибитки кончились. Дальше опять начинался камыш. Чагатаев остановился. Здесь было все — мать и родина, детство и будущее. Ранний день освещал эту местность: зеленый и бледный камыш, серо-коричневые ветхие шалаши на поляне с редкой подножной травой и небо наверху, наполненное солнечным светом, влажным паром болот, лёссовой пылью высохших оазисов, взволнованное высоким неслышным ветром, — мутное, измученное небо, точно природа тоже была лишь горестной, безнадежной силой.

Оглядевшись здесь, Чагатаев улыбнулся всем призрачным, скучным стихиям, не зная, что ему делать.

Над поверхностью камышовых дебрей, на серебряном горизонте, виднелся какой-то замерший мираж — море или озеро с плывущими кораблями и белая сияющая колоннада дальнего города на берегу. Мать молча стояла около сына, склонившись туловищем книзу.

Она жила в шалаше, на глине, без мужа и без родных. Две камышовые циновки лежали на земле внутри ее жилища — одной она покрывалась, на другой спала. Еще у нее был чугунный горшок для пищи и глиняный кувшин, а на перекладине висел ее девичий яшмак и одна тряпка, в которую она заворачивала Назара, когда он был грудным ребенком. Кочмат умер лет шесть тому назад, от него осталась одна штанина (другую Гюльчатай истратила на латки для юбки) и мочалка, служившая Кочмату, чтобы вытирать по/г и грязь со своего тела, когда приходилось ходить работать на хошарах по оазисам.

Мать Назара жила здесь, бобылкой-колтаманкой. Она удивилась, что Назар еще жив, но не удивилась, что он вернулся: она не знала про другую жизнь на свете, чем та, которой жила сама, она считала все на земле однообразным.

Чагатаев. сходил за девочкой Айдым, он разбудил и привел ее в камышовый шалаш матери. Гюльчатай ушла рыть коренья травы, ловить мелкую рыбу камышовой кошелкой в водяных впадинах, искать птичьи гнезда в зарослях, чтобы собрать на пищу яиц или птенцов, — вообще, поджиться что-либо у природы для дальнейшего существования. Она вернулась лишь к вечеру и стала готовить еду из трав, камышовых корней и маленьких

рыбок; она теперь уже не интересовалась, что около нее находится сын, и совсем не глядела на него и не говорила никаких слов, точно весь ее ум и чувство были погружены в глубокое, непрерывное размышление, занимавшее все ее силы. Краткое человеческое чувство радости о живом, выросшем сыне прошло, или его вовсе не было, а было одно изумление редкой встречей.

Гюльчатай не спросила даже, хочет ли есть Назар и что он думает делать на родине, в камышовом поселении.

Назар глядел на нее; он видел, как она шевелится в привычном труде, и ему казалось, что она на самом деле спит и движется не в действительности, а в сновидении. Глаза ее были настолько бледного, беспомощного цвета, что в них не осталось силы для зрения, — они не имели никакого выражения, как слепые и умолкшие. Судя по большим зачерствелым ногам, Гюльчатай жила всегда босой; одежда ее состояла из одной темной юбки, продолженной до шеи в виде капота, залатанной разнообразными кусками материи, вплоть до кусков из валяной обуви, которыми обшит подол. Чагатаев потрогал платье матери, оно было надето на голое тело, там не имелось сорочки, — мать давно отвыкла зябнуть по ночам и по зимам или страдать от жары — она притерпелась.

Назар позвал мать. Она отозвалась ему, она его понимала. Назар стал помогать ей разводить огонь в очаге, устроенном в виде пещерки под камышовой наклонной стеной. Айдым смотрела на чужих черными чистыми глазами, храня в них сияющую силу своего детства, свою робость, которая была печалью, потому что ребенку хотелось быть счастливым, а не сидеть в сумраке шалаша, думая о том, дадут есть или нет. Чагатаев вспоминал, где он видел такие же глаза, как у Айдым, но более живые, веселые, любящие, — нет, не здесь, и та женщина была не туркменка, не киргизка, она давно забыла его, он тоже не помнит ее имени, и она не может представить себе, где сейчас находится Чагатаев и чем занимается: далеко Москва, он здесь почти один, кругом камыш, водяные разливы, слабые жилища из мертвых трав. Ему скучно стало по Москве, по многим товарищам, по Вере и Ксене, и он захотел поехать вечером в трамвае куда-нибудь в гости к друзьям. Но Чагатаев быстро понял себя. «Нет, здесь тоже Москва!» — вслух сказал он и улыбнулся, глядя в глаза Айдым. Она оробела и перестала смотреть на него.

Мать сварила себе жидкую пищу в чугуне, съела ее без всякого остатка и еще вытерла пальцами посуду изнутри и обсосала их, чтобы лучше наесться. Айдым внимательно следила за Гюльчатай, как она ела, как еда проходила внутри ее худого горла мимо жил, но она смотрела без жадности и зависти, с одним удивлением и с жалостью к старухе, которая глотала траву с горячей водой. После еды Гюльчатай уснула на облежанной камышовой подстилке, и в то время уже наступил общий вечер и ночь.

8

Первый день жизни Чагатаева на родине прошел; сначала светило солнце на что-то можно было надеяться, теперь небо померкло и уже появилась вдалеке одна неясная, ничтожная звезда.

Стало сыро и глухо. Народ в этой камышовой стране умолк; его так и не услышал Чагатаев. Он набрал травы поблизости, сделал из нее постель в материнском шалаше и уложил Айдым в теплое место, чтоб она тоже спала.

Он вышел затем один, дошел до какого-то пустого, еле влекущего протока Амударьи и вновь возвратился. Мощная ночь уже стояла, над этой страной, мелкий молодой камыш шевелился у подножия старых растений, как дети во сне. Человечество думает, что в пустыне ничего нет, одно неинтересное дикое место, где дремлет во тьме грустный пастух и у ног его лежит грязная впадина Сары-Камыша, в котором совершалось некогда человеческое бедствие, — но и оно прошло, и мученики исчезли. А на самом деле и здесь, на Амударье, и в Сары-Камыше тоже был целый трудный мир, занятый своей судьбой.

Чагатаев прислушался: кто-то говорил вблизи, насмешливо и быстро, но оставался без

ответа. Назар подошел к камышовому жилищу. Слышно было, как внутри него дышали спящие люди и поворачивались на своих местах от беспокойства.

— Подбирай шерсть на земле, клади мне за пазуху, — говорил голос спящего старика. — Собирай скорее, пока верблюды линяют…

Чагатаев прислонился к камышовой стене. Старик сейчас лишь шептал в бреду, не слышно что. Ему снилась какая-то жизнь, вечное действие, он бормотал все более тихо, как будто удалялся.

— Дурды, Дурды! — стал звать голос женщины; она шевелилась, и циновка под ней шелестела. — Дурды! Не убегай от меня, я уморилась, я не догоню тебя… Остановись, не мучай меня, мой ножик острый, я зарежу тебя сразу, ты поддайся.

Они умолкли и спали теперь мирно.

— Дурды! — тихо позвал Чагатаев снаружи.

— А? — отозвался изнутри голос бормотавшего старика.

— Ты спишь? — спросил Чагатаев.

— Сплю, — ответил Дурды.

Чагатаев вспомнил этого Дурды в синеве своего детства; был в то время один худой человек из племени иомудов, который кочевал вдвоем с женой и ел черепах. В Сары-Камыш он приходил потому, что начинал скучать, и тогда сидел молча в кругу людей, слушал их слова, улыбался и был доволен тайным счастьем своего свидания; потом он опять уходил в пески ловить черепах и думать что-то в своей душе. Одинокая женщина (Назару тогда она казалась тоже старой) шла вослед мужу и несла за плечами все их семейное имущество. Маленький Назар провожал их до песков и долго глядел на них, пока они не скрывались в сияющем свете, превращаясь в плывущие головы без тела, в лодку, в птицу, в мираж.

Рядом была другая камышовая хижина, построенная в форме кибитки. Около нее сидела небольшая собака. Чагатаев удивился ей, потому что никаких домашних животных он здесь ни разу не видел. Черная собака смотрела на Чагатаева, она открывала и закрывала рот, делая им движение злобы и лая, но звука у нее не получалось. Одновременно она поднимала то правую, то левую переднюю ногу, пытаясь развить в себе ярость и броситься на чужого человека, но не могла. Чагатаев наклонился к собаке, она схватила своей пастью его руку и потерла ее между пустыми деснами — у нее не было ни одного зуба. Он попробовал ее за тело — там часто билось жестокое жалкое сердце, и в глазах собаки стояли слезы отчаяния.

В кибитке кто-то изредка смеялся кротким, блаженным голосом. Чагатаев поднял решетку, навешенную на жерди, и вошел внутрь жилища. В кибитке было тихо, душно, не видно ничего. Чагатаев согнулся и пополз, ища того, кто здесь есть. Жаркий шерстяной воздух томил его. Чагатаев ослабевшими руками искал неизвестного человека, пока не нащупал чье-то лицо. Это лицо вдруг сморщилось под пальцами Чагатаева, и изо рта человека пошел теплый воздух слов, каждое из которых было понятно, а вся речь не имела никакого смысла. Чагатаев с удивлением слушал этого человека, держа его лицо в своих руках, и старался понять, что он говорит, но не мог. Переставая говорить, этот сидячий житель кибитки кратко и разумно посмеивался, потом говорил опять. Чагатаеву казалось, что он смеется над своей речью и над своим умом, который сейчас что-то думает, но выдуманное им ничего не значит. Затем Чагатаев догадался и тоже улыбнулся: слова стали непонятны оттого, что в них были одни звуки — они не содержали в себе ни интереса, ни чувства, ни воодушевления, точно в человеке не было сердца внутри и оно не издавало своей интонации.

— Возьми поди взойди на Усть-Урт, подними что-нибудь и мне принеси, а я в грудь положу, — сказал этот человек, а потом снова засмеялся.

Ум его еще жил, и он, может быть, смеялся в нем, пугаясь и не понимая, что сердце бьется, душа дышит, но нет ни к чему интереса и желания; даже полное одиночество, тьма ночной кибитки, чужой человек — все это не составляло впечатления и не возбуждало страха или любопытства. Чагатаев трогал этого человека за лицо и руки, касался его туловища, мог даже убить его, — он же по-прежнему говорил кое-что и не волновался, будто был уже посторонним для собственной жизни.

Снаружи была прежняя ночь. Чагатаев, уходя дальше, хотел вернуться, взять и унести с собой бормочущего человека; но куда его надо нести, если он замучился до того, что нуждался уже не в помощи, а в забвении? Он оглянулся; безмолвная собака шла за ним, в камышовых шалашах лежали люди во сне и в своих сновидениях, по вершинам камышовых зарослей иногда проходила дрожь слабого ветра, уходя отсюда до самого Арала. В шалаше, рядом с тем, где спали мать и Айдым, кто-то тихо разговаривал. Собака вошла туда и вышла назад, а потом бросилась назад домой, боясь потерять или забыть, где находится ее хозяин и убежище.

Чагатаев пришел обратно к матери и лег, не раздеваясь, рядом с Айдым. Девочка дышала во сне редко и почти незаметно, было страшно, что она может забыть вздохнуть и тогда умрет. Лежа на глине, Чагатаев слышал в дремоте, как по глухому низу земли раздавалось сонное бормотание его народа и в желудках мучительно варились кислые и щелочные травы. В соседнем травяном жилище муж говорил с женой; он хотел, чтобы у них родился ребенок — может, он сейчас зачнется.

Но жена отвечала:

— Нет, в нас с тобой слабость одна, мы десять лет его зачинаем, а он не начинается во мне, и я всегда пустая, как мертвая…

Муж молчал, потом говорил:

— Ну, давай чего-нибудь делать вдвоем, нам нечему радоваться с тобой.

— Что же, — отвечала женщина, — мне одеться не во что, тебе тоже; как зимою будем жить!

— Когда будем спать, то согреемся, — отвечал муж, — от бедности чего же больше делать: одна ты осталась, поневоле глядишь и любишь!..

— Больше нечего, — соглашалась женщина, — нету никакого добра у нас с тобой, я все думала-передумала и вижу, что люблю тебя.

— Я тоже тебя, — говорил муж, — иначе не проживешь…

— Дешевле жены ничего нету, — ответила женщина. — При нашей бедности, кроме моего тела, какое у тебя добро?

— Добра не хватает, — согласился муж, — спасибо хоть жена рожается и вырастает сама, нарочно ее не сделаешь: у тебя есть груди, живот, губы, глаза твои глядят, много всего, я думаю о тебе, а ты обо мне, и время идет…

Они замолчали. Чагатаев почистил уши от скопившейся серы и стал слушать далее — не будет ли еще оттуда слов, где лежат муж и жена.

— Мы с тобой плохое добро, — проговорила женщина, — ты худой, слабосильный, а у меня груди засыхают, кости внутри болят…

— Я буду любить твои остатки, — сказал муж.

И они умолкли вовсе, — наверно, обнялись, чтобы держать руками свое единственное счастье.

Чагатаев прошептал что-то, улыбнулся и уснул, довольный, что на его родине среди двоих людей уже существует счастье, хотя и в бедном виде.

9

Утром Гюльчатай не обратила внимания ни на сына, ни на приведенную им девочку. Силы ее души хватило только на воспоминание о нем, когда он спал на траве у тропинки, рядом с Айдым; теперь она жила одной своей жизнью. В шалаше делать было нечего, все же мать долго ровняла камышовые стебли в наклонных стенах, собрала все былинки с земли, вычистила котел изнутри, оправила и свернула циновку и делала все это с глубокой тщательностью и усердием, заботясь о том, чтобы цело было ее хозяйское добро, потому что, кроме него, у нее не было связи с жизнью и прочими людьми. Затем человеку нужно что-нибудь непрерывно думать, она тоже, видимо, воображала что-то, когда трудилась в своей мелкой, почти бесполезной суете; без труда же думать она не умела; хозяйство и шалаш,

когда она прибирала его, давали ей воспоминания, наполняли чувством жизни ее пустое, слабое сердце.

Она попросила у сына, чтоб он дал ей что-нибудь. Попросила она робко, без надежды и без жадности, лишь для того, чтобы у нее стало больше вещей и увеличилась, посредством них. житейская занятость, — тогда время жизни проходит лучше. Назар правильно понял мать и отдал ей плащ, кобуру от револьвера (револьвер он переложил в карман брюк), блокнот и сорок рублей денег и заодно велел накормить Айдым. Но девочка сама вперед пошла собирать себе траву на пищу, а Гюльчатай осталась.

— Ты знаешь Моллу Черкезова? — спросил ее Назар.

— Я всех знаю, — сказала мать.

— Ступай, живи у него, тебе там лучше будет. Он слепой и будет беречь тебя, пока не умрет.

Согнутая старая мать глядела в землю; она не понимала, зачем она нужна Черкезову, если и сердце ее давно бьется уже не от чувств, а от привычки, если жизнь для нее почти незаметна. Однако она пошла, не взяв ничего с собою из жилища, кроме того, что ей дал сын, — и то потому, что эти вещи находились у нее в руках. Оказывается, и домашнее добро свое она уже не любила, потому что для жадности у нее не хватало душевных человеческих сил.

Чагатаев остался жить вдвоем с Айдым, желая, чтобы сердце матери согрелось в семейной жизни с Моллой Черкезовым. Айдым сразу начала хозяйствовать, собирать и варить траву, ловить рыбу и стряпать пищу на обед. Однажды она ходила далеко через протоки и разливы, дошла до саксаульника и принесла дров в запас на зимнее время. Чагатаев сам затем сходил два раза в этот далекий саксаульник и принес дров, а девочке вовсе запретил ходить, — пусть она только разводит маленький костер в домашней печке и готовит одну похлебку в сутки. Но вскоре ему пришлось хозяйствовать полностью одному, потому что Айдым заболела и стала горячая, жаркая, мокрая от пота. Назар укрывал ее травой от озноба, протирал ей запекшиеся глаза и поил жидким супом из трав, но девочка не справлялась с болезнью, она худела, молчала и направлялась в смерть. Глаза ее без сознания глядели на Чагатаева, она не умела ничего помыслить для облегчения. Чагатаев сидел над ней долгие пустынные дни и оберегал больную от тоски и страха.

По другим шалашам и кибиткам тоже лежали больные и немощные люди. Чагатаев сосчитал, что всего в народе джан было сорок семь человек, из них человек двадцать болело. Женщин среди народа находилось одиннадцать человек, а детей до двенадцати лет — три души, считая сюда и Айдым. Женщины, как самые большие труженицы, умирали прежде всех, а оставшиеся в живых рожали детей очень редко. Здесь, напрягаясь изо всех нищих сил, желали детей более, чем в далеких странах богатства, и если дети иногда рожались, то они получали в наследство то же, что имели их родители, — корни камыша, долгую участь жизни в пустом пространстве.

Во время болезни Айдым к Чагатаеву пришел уполномоченный райисполкома Нур-Мухаммед. Чагатаев ему сказал, что он командирован сюда для помощи своему народу, который должен стать счастливым, движущимся вперед и многочисленным. Нур-Мухаммед ответил Назару, что сердце народа давно выболело в нужде, ум его стал глуп и поэтому свое счастье ему чувствовать нечем; лучше будет дать покой этому народу, забыть его навсегда или увести куда-нибудь в пустыню, в степи и горы, чтобы он заблудился, и затем посчитать его несуществующим.

Чагатаев понемногу рассмотрел Нур-Мухаммеда; он был велик ростом, уже стар, глаза его глядели из узко прорезанных век, как сквозь постоянную боль. Он одевался в узбекский халат, имел тюбетейку на голове, был обут в войлочные туфли — единственный человек во всем народе, сохранивший такую одежду. Это объяснялось тем, что сам Нур-Мухаммед не принадлежал к народу джан, а был командирован сюда полгода назад и глядел на людей чужими глазами.

— Что ты сделал здесь за полгода? — спросил его Чагатаев.

— Ничего, — сообщил Нур-Мухаммед. — Я не могу воскрешать мертвых.

— Чего же ты ждешь тогда, зачем ты тут?

— Когда я пришел сюда, в народе было сто десять человек, теперь меньше. Я рою могилы умершим, — их хоронить в болотах нельзя, будет заражение, и я ношу мертвых в дальний песок. Буду хоронить, пока выйдут все, тогда уйду отсюда, скажу — командировка выполнена…

— Народ сам похоронит своих близких — ты для этого не нужен.

— Нет, он не будет хоронить, я знаю.

— Почему не будет?

— Мертвых должны хоронить живые, а здесь живых нет, есть не умершие, доживающие свое время во сне, ты им не сделаешь счастья, и даже своего горя они уже не знают, они больше не мучаются, они отмучились.

— Что же нам делать с тобой? — спросил Чагатаев.

— Ничего не надо, — сказал Нур-Мухаммед. — Человека нельзя долго мучить, а хивинские ханы думали — можно. Долго — он погибает, его надо — понемногу и давать ему играть, а потом опять мучить…

— Я им могилы рыть не буду, — сказал Чагатаев. — Я не знаю, кто ты: ты чужой, лучше ты уйди отсюда, оставь нас одних.

Нур-Мухаммед потрогал лоб спящей Айдым и затем поднялся с места.

— Мое дело в моей голове, а твое дело — в твоей. Скоро я понесу эту девочку в землю. До свидания.

Он ушел в свою землянку. Чагатаев завернул Айдым в траву и в циновку и быстро понес ее к матери и к Молле Черкезову: пусть ей дают пить время от времени и укрывают от ночного холода. А сам Чагатаев сразу же отправился в Чимгай, куда было сто или полтораста километров. Он шел через сухие русла, протоки, камыши и через дебри смешанных растений весь остаток дня, всю ночь и еще целый день, ободравшись и обнищав в дороге, блуждая и тяготясь нетерпением, темнея умом, пока не лег где-то лицом в мякоть мха. Потом он проснулся и увидел невдалеке большие развалины; он подошел к глиняным оплывшим стенам. Высокое солнце скопляло зной под старыми стенами; сон и забвение, беспамятство душного воздуха исходили из-под стен, где старела сухая глина. Чагатаев прошел внутрь укрепления, через то обрушенное место, где паводковые воды сделали в стене промоину. Там было еще более душно от затишья; жара неба собиралась в одно гнездо, заросшее огромными травами с толстыми сальными стволами, потому что их здесь некому было есть и они росли ради одного своего наслаждения. Чагатаев с ненавистью глядел на эти жирные растения, выискивая под ними какую-нибудь мелкую съедобную траву. Он нашел чьи-то небольшие разбитые кости: их рубили, чтобы получился гуще навар, или рассекли саблей несколько раз, если это был человек. Далее он увидел еще несколько костей и целую половину человеческого скелета вместе с черепом; этот человек скончался лицом вниз, и ребра его разошлись в стороны, как для посмертного дыхания, а одно ребро уперлось своим острием в смятый красноармейский шлем, уже сопревший теперь и проросший бледной травой. Чагатаев выпростал его из-под ребра; на шлеме еще сохранилась тень пятиконечной звезды, и внутри шлема, по надлобной полоске материи, имелась надпись химическим карандашом: «Ораз Голоманов» — имя павшего красноармейца. Чагатаев почистил шлем и надел его себе на голову, а свою фуражку положил на череп Голоманова. В глиняной стене, изнутри крепости, вероятно штыком Голоманова или другого красноармейца, кости которого лежали где-нибудь врозь по земле, были вырезаны слова: «Да здравствует юлдаш революции!» — и штык резал глину слишком глубоко, для того чтобы время, ветер и дождь не заровняли и не смыли след этой надежды мертвых и живых. Должно быть, в тридцатом или тридцать первом году здесь находился красноармейский отряд, бившийся с басмачами, с войсками хивинских и туркменских рабовладельцев, и Голоманов с товарищами остался здесь и сотлел в спокойствии, как будто он был уверен, что непрожитая жизнь его будет дожита другими так же хорошо, как им самим. Чагатаев насыпал травы с землей на скелет

Голоманова, чтоб орлы или одинокие звери не растаскали его кости, и ушел своим направлением на Чимгай.

В Чимгае он купил ящик с колхозной аптекой и достал через райком несколько десятков хинных порошков, но знал, что эти пособия слабо помогут его народу, который нуждается более всего в другой, еще не существующей жизни, которую можно терпеть, не умирая. На всякий случай он зашел еще на почту — спросить, нет ли ему писем из Москвы, может быть, есть. Внутри почтового помещения висели плакаты с изображением дальних авиационных сообщений, на наклонных столах под стеклом лежали образцы правильных почтовых адресов — в Москву, в Ленинград, в Тифлис, как будто все местные люди пишут письма только в эти пункты и тоскуют только по этим прекрасным городам.

Чагатаев обратился в окно «До востребования», и ему дали простое письмо из Москвы, которое было сюда переслано из Ташкента заботливыми работниками ЦК партии Узбекистана. Писала Ксения: «Назар Иванович Чагатаев! Ваша жена, моя мама Вера, умерла во Второй клинической больнице, в г. Москве, от родов девочки, которая когда родилась, то была мертвой, и я видела ее тело. Девочку сложили в больнице в один гроб с мамой Верой, вашей женой, похоронили в земле на Ваганьковском кладбище, не очень далеко от писателя Батюшкова. Я два раза ходила к могиле, постояла и ушла. Когда вы приедете, то я вам покажу, где находится могила. Мама велела мне вас помнить и любить, я вас помню. С пионерским приветом Ксеня».

Туркменская девушка выглянула из окна «До востребования» и сказала:

— Обождите, вам еще телеграмма есть, ей шесть дней.

И она дала Чагатаеву ташкентскую телеграмму: «Письмо смерти жены прочтено ввиду трудности сообщения с вами. Извиняемся. Разрешается выехать на месяц в Москву потом вернуться привет Орготдел Исфендиаров. При недоставлении течение двадцати дней возвратить Ташкент отправителю».

Чагатаев спрятал письмо и телеграмму, взял ящик с колхозной аптекой и ушел из почтовой конторы. Чимгай был ничтожен — слепые дувалы и глиняные жилища находились почти незаметно среди окружающего свободного пространства пустого мира. Чагатаев купил в чайхане ячменных лепешек и через пять минут был уже вне города, на ветру своей дороги; солнце горело высоко и обильно, и все же его свет не мог согреть человеческое сердце до состояния счастья Чагатаев перестал думать; он всматривался в разные подорожные предметы — в стебли мертвой травы, упавшей с чьей-то арбы, в куски переваренной пищи осла, в русский ветхий лапоть, неизвестно с какого дальнего странника; остатки и следы чужой жизни или деятельности отвлекали Чагатаева от собственной мысли. Наконец он увидел небольшую черепаху: она лежала с высунутой опухшей шеей, с беспомощно выпущенными лапками, не храня себя более под панцирем, — она умерла здесь, при дороге. Чагатаев поднял ее и рассмотрел. Затем отнес в сторону и закопал в песок. Эта черепаха была теперь ближе к его покойной жене Вере, чем он сам, и Чагатаев остановился в недоумении. Он сел на землю с ослабевшим сознанием, не понимая, что он живет и действует с известной целью; чужды и скучны были перед ним обычные явления природы; больше не нужно ему было никакое зрелище и наслаждение, и он с отвращением бросил ячменные лепешки, нагревшиеся в руке, а потом закричал, как в детстве, когда был выведен матерью из Сары-Камыша, и стал искать глазами кого-то в этом незнакомом месте, кто его услышит и явится к нему — как будто за каждым человеком ходит его неустанный помощник и только ждет, когда наступит последнее отчаяние, чтобы показаться… Вдали, в тишине, словно за мертвым занавесом, в близком, но другом мире, что-то постоянно гукало. Звук не имел значения и определенности. Чагатаев вслушался; он вспомнил, что эти звуки были ему знакомы и раньше, но он никогда не понимал их и пропускал мимо внимания. Звуки повторялись опять, они шли редко, с мертвыми паузами, одолевая пустые места пустоты, — будто капала влага огромными леденеющими каплями, будто изредка кратко звал рожок, который уносили все дальше по синим лесам, или шло большое звездное время,

что безвозвратно проходит, считая свои отмирающие части, а может быть, эти звуки раздавались гораздо ближе — внутри самого тела Чагатаева, и они происходили от медленного биения его собственной души, напоминая собой ту главную жизнь, которая сейчас забыта им, задушена горем в сжавшемся сердце…

Чагатаев встал и быстро пошел в поселение своего народа. К вечеру он настолько утомился, что уснул, не спрятавшись в какую-нибудь теплую расщелину земли, и вею ночь слышал неясный гул, разное волнение вокруг, тревожное движение природы, верящей в свое действие и назначение.

На вторую ночь он уже был в пределах камышовых дебрей, вблизи всех своих родных. Он думал, что народ джан сейчас уже спит, и пусть хотя бы во сне он не голодает и не мучается, пусть ночь идет долго, если утром он опять должен, чтобы не умереть, иметь хоть слабое представление о действительности, которое не больше сновидения. Поэтому по ночам Чагатаев обыкновенно меньше беспокоился: он понимал, что спящим жить легче, и мать его сейчас не помнит ни его, ни себя, а маленькая Айдым лежит, согреваясь сама собой, как счастливая, не нуждаясь ни в ком.

Он шел медленно, точно отдыхая, миновал низкий саксаульник, перешел через мелкую протоку; поздняя худая луна освещала текущую воду, постоянно трудящуюся без всякого одобрения. Над древней караванной дорогой, уходящей мимо Хивы в Афганию или дальше, стояла мерцающая пыль от света луны. Это было непонятно Чагатаеву. Та дорога лежит брошенной уже целые века, она идет по твердым, набитым пескам и лишь в одном месте проходит по лёссовому насту, где сейчас, наверно, сухо и подымается густая пешеходная пыль. Верблюды и ослы так не пылят, их пыль подымается выше, и она сгущается в хвосте каравана, Чагатаев оставил свой путь и пошел наперерез через дикие места в южном направлении, чтобы увидеть, кто идет там, где никого не должно быть. Он долго пробирался сквозь чащу камыша, увязая в трясине, отводил руками колючие благоухающие кустарники, пока не вышел на сухой, чистый, обдутый ветрами курган, под которым лежал в своей могиле какой-нибудь забытый археологический городок.

Старая дорога окружала этот курган по его подножию и скрывалась затем на юго-восток — в Китай и Афганистан, во тьму. Неизвестные пешеходы сюда еще не подошли, они двигались тихо, их было совсем не слышно, — может быть, они свернули с дороги или возвратились назад либо легли спать на землю. Чагатаев пошел им навстречу; он не ожидал увидеть ничего счастливого или удивительного, он знал, что пылить при лунном свете могли звери, вышедшие от бедствия из глубокой дельты Амударьи, чтобы дойти до дальних оазисов, до колхозов, чтобы там наесться мясом овец.

Но навстречу ему шли люди. Чагатаев прилег в стороне от дороги и увидел их всех. Районный уполномоченный Нур-Мухаммед вел за руку слепого Моллу Черкезова; позади их шла мать Чагатаева и перебирала маленькими ногами Айдым. Далее были другие люди, и среди них старый Суфьян, бормочущий Назар-Шакир, его жена, которую он любил, как единственный дар своей жизни, затем Дурды рядом с женой — всего человек четырнадцать, может быть — восемнадцать. Остальной народ, наверно, не мог проснуться или потерял силу и желание передвигаться.

Гюльчатай несла завернутые в плащ своего сына корни камыша на будущую пищу; Айдым волокла по земле за конец стебля связку съедобных трав; Назар-Шакир держал на голове большой сверток из одеял; Молла Черкезов левой рукой держался за Мухаммеда, а правой искал что-то в воздухе, — у всех их глаза были закрыты, они шли дремлющими, некоторые шептали или бормотали свои слова, привыкнув жить воображением. Один только Нур-Мухаммед глядел вперед открытыми глазами, сознавая ясно весь мир. Он курил травяную крошку, свернутую в высушенный лист болотного тростника, и молчал.

Чагатаев вышел к Мухаммеду и спросил его: куда он ведет людей?

Нур-Мухаммед поздоровался с Чагатаевым и ответил:

— Какие люди?.. Их душа давно рассеялась, им все равно — живут они или нет.

Он продолжал идти. Чагатаев пошел рядом с ним. Мухаммед улыбнулся про себя и

посмотрел в сторону: даже во тьме окружающая природа была жалка и ненавистна ему, а позади его шли почти несуществующие люди.

Дорога окружала небольшой курган, на котором только что был Чагатаев. Он с новой мыслью поглядел на этот земляной холм, под которым тоже лежал какой-нибудь небольшой народ, перемешав свои кости, потеряв свое имя и тело, чтобы не привлекать больше к себе никаких мучителей. Рабский труд, измождение, эксплуатация никогда не занимают одну лишь физическую силу, одни руки, нет — и весь разум и сердце также, и душа выедается первой, затем опадает и тело, и тогда человек прячется в смерть, уходит в землю, как в крепость и убежище, не поняв, что жил с пустыми жилами, отвлеченный и отученный от своего житейского интереса, с головою, которая привыкла лишь верить, видеть сны и воображать недействительное. Неужели и его народ джан ляжет вскоре где-нибудь вблизи и ветер покроет его землей, а память забудет, потому что народ не успел ничего воздвигнуть из камня или железа, не выдумал вечной красоты, — он лишь копал землю в каналах, но течение воды вновь их закосило, и народ опять рыл наносы и выкидывал лишний грунт из воды, а затем мутный поток осаживал новый ил и опять бесследно покрывал их труд.

— А где остальные — они спят? — спросил Чагатаев у Нур-Мухаммеда.

— Нет, они отстали, но идут за нами по следу; потом дойдут.

Айдым, бывшая близко около передних людей, упала во сне и осталась лежать. Чагатаев услышал это и оглянулся; позади лежали еще два тела заснувших людей.

— Пусть! — сказал ему Мухаммед. — Потом очнутся и догонят.

Но Чагатаев взял Айдым на руки и понес ее. Она спала и не дрожала от лихорадки, наверно, болезнь ее оставила. Несмотря на травяную еду, на болезнь, тело ее не было худым, оно забирало в себя все полезное даже из сухих тростей камыша и было приспособлено жить долго и счастливо.

— Куда ты их ведешь? — спросил Чагатаев у Нур-Мухаммеда.

— В Сары-Камыш, на родину, — ответил Нур, — где они раньше жили.

— Зачем?

— Пусть движутся куда-нибудь… Я их веду дальней дорогой — кругом разливов. Кто ходит — тому всегда легче.

— А больные? — спросил Чагатаев.

— Они тоже идут понемногу. От дороги они выздоровеют — мы оставили болота, и лихорадки не будет.

Чагатаев не верил доброму намерению Мухаммеда. Он не знал даже, почувствуют ли больные здоровье, если их разум так давно отвлекся от своего интереса и сердце привыкло томиться. По той же причине они и болезнь и страданье переносили безмолвно и бесчувственно, как будто это было не их делом. Чагатаев отстал от Мухаммеда, чтобы поглядеть на свою мать.

Айдым покойно спала на его руках; Гюльчатай открыла глаза, когда к ней подошел Назар, и ничего ему не сказала; за ее руку держался слепой Молла Черкезов, слабый и блаженный. Мать рассеянно глядела на сына, которого она знала, но не помнила, если его не видела вблизи. Назар продолжал смотреть на мать, и она отвела свои глаза от него, потому что ей стыдно было жить перед сыном, будучи слабой и несчастной; она хотела бы любить его своей прежней, забытой силой, но сейчас не могла, сейчас в ней хватало сердца только для своего дыхания, и ей нравился красноармейский шлем на сыне, она думала, что надо взять его себе в подарок, чтобы согревать в нем свою голову во сне.

Позже бредущий народ встретил на своей дороге сухой, теплый песок и лег в него дремать до утра. Чагатаеву спать не хотелось; он уложил Айдым между матерью и Моллой Черкезовым и остался один, не зная, как ему пробыть до утра. И он, то скучая, то улыбаясь, бормотал про себя слова, проживая жизнь как ненужную.

К утру подошли те, кто вчера упал на дороге или отстал от слабости, и все опять пошли вслед за Нур-Мухаммедом. Айдым теперь шла сама и даже смеялась с Чагатаевым. Он пробовал ее лоб, — жара в ней не было, хотя ей достаточно, чтобы температура упала на полградуса, и тогда она снова становилась живой и резвой. В полдень старый Суфьян увел Чагатаева в сторону от сухой дороги. Он сказал ему, что близ аму-дарьинских протоков еще можно встретить иногда две-три старых овцы, которые живут одни и уже забыли человека, но, увидя его, вспоминают давних пастухов и бегут к нему. Эти овцы случайно выжили или остались от огромных одичалых стад, которые баи хотели угнать в Афганистан, но не успели. И овцы прожили вместе с пастушьими собаками несколько лет; собаки их стали есть, потом подохли или разбежались от тоски, а овцы остались одни и постепенно умирали от старости, от зверей, заблудившись в песках без воды. Но редкие из них выжили и теперь бродили, дрожа, друг около друга, боясь остаться в одиночку. Они ходили большими кругами по бедной степи, не сбиваясь в сторону со своей круговой дороги; в этом был их жизненный разум, потому что съеденные и затоптанные былинки травы вновь зарождались, пока овцы миновали остальной свой путь и возвращались на прежнее место. Суфьян знал четыре таких кочевых травостойных круга, по которым ходили до своей смерти остаточные овцы от одичавших, вымерших стад. Одно из этих кочевых колец пролегало невдалеке, почти на пересечении той дороги, по которой народ джан шел теперь в Сары-Камыш.

Суфьян и Чагатаев дошли до малой влажной впадины в песке и остановились. Суфьян разрыл руками песок в глубине, он там был мокрый; старик сказал, что овцы разгребают передними ногами землю и затем жуют сырой песок, утоляя жажду, — здесь и надо ожидать овец; он знал время, в которое они обходят весь свой круговой путь, и насчитал, что срок их пришел явиться сюда; прошлый год он ходил за овечьим стадом и доходил до здешнего места. Овец в стаде тогда было около сорока голов, из них Суфьян съел шесть, семеро овец пали по Пути, а остальные ушли дальше.

Нур-Мухаммед подвел народ тоже сюда, где ожидали овец Чагатаев с Суфьяном, и все легли и задремали около овечьей тропинки, где овцы в прошлом году жевали сырой песок. Все люди снова спали, хотя до вечера еще было далеко и с утра немного прожито времени. Чагатаев один ходил между спящими и боялся, что больше никто не проснется; ему скучно было томиться в одном себе своими мыслями и воспоминаниями. Он подошел к Айдым, — она спала со сладко слипшимися веками глаз, с улыбкой беспамятства или сновидения. Не имея радости в действительности, она получала ее в своем чувстве и представлении, закрыв глаза. Молла Черкезов спрятал голову в грудь матери Чагатаева, прижался к ней и спал в любви и тепле, не помня, что он слепой. Нур-Мухаммед лежал в стороне; он шевелился на земле и шептал что-то.

— Ты что здесь думаешь? — спросил его Чагатаев.

— Больше сорока человек осталось, — произнес Мухаммед. — Много еще!

Он считал народ — сколько его умерло, сколько еще живо.

Чагатаев потолкал Суфьяна: старик не спал, он только держал закрытыми глаза, точно берег зрение и не желал рассеиваться душой среди впечатлений видимого дневного мира. Чагатаев сказал ему, что у него умерла в Москве жена, но Суфьян не разделил его горя, он промолчал, а затем сказал, чтобы Чагатаев пошел встретить овец — они могут найти влажный песок в другом месте и пройти стороною от лежащего народа.

Гюльчатай проснулась. Она теперь сидела, держа на коленях голову спящего Моллы Черкезова. Чагатаев пошел к матери, чтобы поговорить с ней, но ничего ей не сказал. Он сам догадался, что обращается к старику и к матери лишь для того, чтобы услышать от них утешение и прожить дальше. Но разве в том его существование, чтобы беречь себя здесь в душевном покое, в сожалении близких людей!.. Он зря не написал открытку Ксене — оттуда, где была почта, — чтобы она пошла в ЦК, если ей плохо будет жить без матери, когда он, ее отец, находится далеко и, может, не вернется для помощи.

Чагатаев погладил простоволосую голову Гюльчатай и надел ей красноармейский шлем, потому что от сильного солнца у матери должна болеть голова. Мать сняла шлем и

спрятала его под себя; она верила в имущество и берегла его — от этого у нее и сейчас была кофта раздута, внутри ее на голом теле лежали различные вещи, ее собственность, согревающая ей грудь. Вблизи матери лежала киргизка лицом в песок. Она спала и вскрикивала во сне детским голосом, закатываясь иногда в младенческом плаче и затем опять отходя к спокойствию и к ровному дыханию. Чагатаев приподнял ее лицо за виски и увидел, что это была пожилая женщина, и рот ее не открывался, когда она закатывалась в детском обмирающем крике. Казалось, внутри ее плакал ребенок, невинный другой человек, и он настолько был одинок и чужд для нее, что даже не будил ее ото сна, — или это плакала ее действительная, детская душа, неизменная и еще не жившая.

Чагатаев опустил голову женщины обратно на землю и пошел навстречу блуждающим овцам. Сначала он шел обыкновенно, но потом, когда день стал покрываться ночью, он побежал скорее вперед, чтобы не пропустить овец во тьме. Изредка он останавливался и дышал для отдыха, но потом опять спешил. Когда стало совсем темно, Чагатаев бежал низко согнувшись, чтобы видеть немного редкие былинки травы и касаться их руками, — это было направление, где могли ходить овцы; иначе он мог бы сбиться в сторону, попасть в голодные пески и не заметить бредущих овец.

Он бежал долго по пустой овечьей дороге. Наступила, может быть, полночь или позже. От усталости и горя, которого он не сознавал, но оно все равно самостоятельно томило его сердце, от прохладного, слабого ветра Чагатаев потерял память на ходу, — он заснул, упал и не мог подняться. Он спал глубоко, один в пустыне, в бедной тишине, где нечему шевелиться. Черные стебли небольшой травы редко, как сироты, стояли вокруг спящего, точно жалея, что он встанет и уйдет, а им придется быть здесь опять одним.

На рассвете Чагатаев открыл глаза, его сознание чуть засветилось и опять погасло, он снова заснул, чувствуя тепло и забвение. Две овцы лежали по бокам Чагатаева и согревали его своим теплом. Другие овцы стояли вокруг в ожидании, когда человек поднимет лицо. Их было голов сорок, они давно соскучились по пастуху и теперь нашли его. Старый баран время от времени подходил к лежащему Чагатаеву и осторожно лизал его шею и волосы на затылке, баран любил запах и соленый пот человека, но давно его не пробовал. Баран поворачивался туловищем во все стороны, желая увидеть собаку пастуха, но ее не было. Он устал водить овец, мирить их на водопое, сторожить по ночам от одинокого зверя — он помнил прежнее доброе время, когда пастух и его собаки управлялись со всеми заботами, а ему приходилось только покрывать овец и спать среди них без ума, в утомлении. Теперь же он стал умным, худым и несчастным, а овцы ненавидели его за слабость сил и за равнодушие к ним и тоже вспоминали пастухов и собак, хотя собаки, устанавливая порядок среди них на водопое, рвали иногда клочья из их шерсти, которую они с трудом нажили в пустынной траве. Баран жил обиженно, он хотел стать собакой и даже пытался рвать ртом шерсть на овцах, захватывая ее беззубыми деснами.

Проснувшись, Чагатаев погнал овечью отару к своему народу и дошел до него к вечеру. Народ дремал по-прежнему, одна Айдым играла в песок, проводя в нем реки и дороги. Чагатаев разбудил людей и велел им идти собирать саксаульник и мертвую сухую траву, чтобы зажечь огонь и сварить овечье мясо на пищу. Суфьян с охотой стал резать под горло овец и первым отпивал кровь из горловых жил, а потом нацеживал ее в миску и давал пить другим, кто хотел. Очередные живые овцы стояли возле и внимательно глядели на убийство, не беспокоясь о себе, точно жизнь для них не имела преимущества. Баран же находился в отдалении, среди отары уцелевших овец, и подымал голову, чтобы лучше видеть действия Суфьяна. Когда осталось в живых лишь тридцать овец и четыре костра уже горело на становище, а многие овцы лежали голыми тушами, с худыми ляжками, с отверстиями в своих телах, полными крови и смертной жидкости, — баран закричал и повернул голову в пустое направление степи. Он давно жил среди овец и бывал как муж внутри тех мертвых, которые теперь лежали, — он знал худобу их костей и теплоту цельного, смирного тела.

Чагатаев не велел резать больше десяти голов, остальные пусть живут на племя и на питание в будущее время. Баран остался цел, он отошел и лег вдалеке, и к нему подобрались

все живые овцы. Худые и опытные от дикой жизни, они сейчас издали походили на собак.

Туши начали запекать на кострах целиком, без разделки на части, и, обжаривши их, клали в сторону на песок. Затем началась еда. Люди ели мясо без жадности и наслаждения, выщипывая по небольшому куску и разжевывая его слабым, отвыкшим ртом. Лишь один Нур-Мухаммед ел много и быстро, он отрывал себе мясо пластами и поглощал его, потом, наевшись, глодал кости, до полной их чистоты и высасывал мозг изнутри, а в конце еды облизал себе пальцы и лег на левый бок спать для пищеварения. Женатые отошли спать в сторону со своими женами, Молла Черкезов тоже увел далеко мать Назара, одинокие же и сироты остались вокруг потухших костров — они настолько ослабели и так глубоко уснули, словно съеденная ими пища сама в отомщение изнутри поела их силы и они были побеждены ею.

Ночью Чагатаев ходил по становищу, он сосчитал живых овец с одним бараном, собрал овечьи шкуры и головы в общее место и стал смотреть в ночную мглу: что там делает сейчас Ксеня — далеко за этой тьмой, в электрическом свете Москвы; и где лежит мертвая Вера, что там осталось в земле от ее робкого большого тела… Чагатаев пошел мимо спящих; народ лежал на песке непокрытый, как будто он был целиком перебит и не оставил себе могильщиков. Но некоторые мужья и жены шевелились, любя друг друга. Молла Черкезов тоже лежал с Гюльчатай. Чагатаев увидел это и заплакал. Он не знал, что ему делать здесь сейчас, чтобы научить этот небольшой народ социализму. Он уже не мог его оставить одного умирать, потому что его самого, брошенного матерью в пустыне, взял к себе пастух и Советская власть и неизвестный человек прокормил и сберег его для жизни и развития.

Больные и слабые дремали в жару. Двое из них уснули с овечьими костями в руках, которые они обсасывали перед сном, чтобы набраться сил. Чагатаев сходил в песчаную влажную яму, разгреб песок и образовал маленький колодезь; когда в него собралась вода, он пошел к больным, разбудил их и дал каждому по хинному порошку, а затем сбегал несколько раз к песчаному колодцу и принес воды в пригоршне, чтобы дать запить лекарство.

Стало уже поздно. Чагатаев озяб, прилег к одному наиболее горячему больному, желая согреться об его тело, и уснул. Наутро баран и все овцы исчезли. Судя по следам, они ушли в открытые пески, оставив свою обычную кормовую дорогу.

11

Суфьян сделал расчет в уме и сказал, что эти овцы неминуемо возвратятся на свою кормовую дорогу либо набредут на другую, что проходит далее, через Каракумы, большой окружностью. Но обе эти кочевые дороги выходят на грязные озера Сары-Камыша, невдалеке от которых находится родина всего народа джан, и овцы рано или поздно выйдут на Сары-Камыш во впадину вечной тени и увидят темные горы Усть-Урта, где многими, кто здесь находится, была прожита вся жизнь. Нур-Мухаммед согласился с Суфьяном.

— Мы пойдем за ними, — сказал он. — Мы будем пить их кровь и есть их мясо. Через семь или восемь дней мы дойдем до Сары-Камыша… Кто-нибудь умер сегодня ночью? — спросил Нур-Мухаммед.

Ему ответили, что умерла одна старуха каракалпачка, и Нур-Мухаммед с тщательностью сделал отметку в своей записной книжке. Чагатаев не помнил этой старухи и не видел ее — она ночевала одна, уйдя далеко от общего стана, и там умерла спокойно.

Народ пошел длинной чередою по следу бежавших овец. Больные и слабые шли позади и часто садились на отдых, отпивая воду из домашних бурдюков. Чагатаев шел позади всех, чтобы никто не пропал и не умер незаметно. Животные, вероятно, бежали быстро: это разгадал Суфьян по виду овечьих следов, и так же думал Чагатаев. Он выходил на высокие барханы и до последнего горизонта не замечал даже самого слабого облака пыли от движения стада, — овцы ушли слишком далеко.

Старая хивинская рабыня-туркменка дала Чагатаеву тряпку, отодрав ее от своего

подола, и Чагатаев повязал себе голову, страдая от солнца. Народ шел терпеливо; Айдым выздоровела вовсе и повеселела — для нее, ничего не знавшей, здесь было достаточно предметов для всех чувств и впечатлений. Когда она уставала, Чагатаев брал ее на руки, и она могла спать у него на плече, вскрикивая иногда и бормоча свои страшные сны. Но какое сновидение питало сознание всего этого бредущего народа, если он мог терпеть свою судьбу? Истиной он жить не мог, он бы умер сразу от печали, если бы знал истину про себя. Однако люди живут от рождения, а не от ума и истины, и пока бьется их сердце, оно срабатывает и раздробляет их отчаяние и само разрушается, теряя в терпении и работе свое вещество.

До поздней и дальней ночи народ не догнал овец. Наутро Нур-Мухаммед опять спросил — кто умер за ночь или все остались живы? Умер только мальчик у одной матери, и Мухаммед с удовлетворением сделал вычитание погибшей души в своей записной книжке. Теперь в народе осталось всего двое детей — Айдым и еще небольшая девочка, рожденная случайно года три назад, когда в народ пришел какой-то человек из песков и, пожив с полгода, ушел дальше, оставив свою плоть в Гюзель, вдове разбойника из района Старого Ургенча.

На второй день народ увидел две овцы, лежавшие на дороге; они ослабели в бегстве и болезни и теперь умирали. Их поредевшая шерсть слиплась от лихорадочного пота, худощавые морды глядели злобно и дико — они теперь походили на шакалов, — а в хвостах у них не осталось никакого жира. Овец сразу убили, чтобы застать их еще живыми, и съели, не разводя огня, а кости разделили и унесли с собою на ужин. В следующие два дня не было другой пищи, кроме редких травяных былинок, вода же встретилась два раза в такырных ямах.

Народ двигался теперь только вечером и утром, а днем от слабости и жары закапывался в песок и спал. Нур-Мухаммед ежедневно отмечал умерших, а Чагатаев проверял их смерть, прислушиваясь к сердцу и наблюдая глаза, потому что однажды Суфьян и еще другой старик, ферганский раб Ораз Бабаев, притворились мертвыми. Но Чагатаев расслышал сквозь кости их глухое, далекое сердце, поднял на ноги и велел жить дальше.

— Зачем вы хотели умереть? — спросил их Чагатаев.

— У нас душа занемела от жизни, — сказал Суфьян, — кости ссохлись и согнулись, жилы сморщились: они потянуться захотели, пускай их дождь помочит, ветер посушит, черви пожуют, а то я им мешаю…

Ораз Бабаев стоял без ума, пусто глядя на Чагатаева, и не мог вначале ничего сказать; он, наверно, все равно считал себя умершим.

— Нам не живется, — сообщил он вслух, — мы каждый день пробовали.

— Ничего, мы вместе научимся, — сказал им Чагатаев.

— Немного потерпим, — согласился Суфьян, — а потом нечаянно все помрем.

Русский старик, по имени Старый Ванька, подошел к Суфьяну, попробовал его горло, разверз веки и заглянул внутрь каждого его глаза, потом ощупал ему ребра и сказал тогда:

— Чего ты! Только заматерел, а уж помираешь! Терпи: поживем, побьемся, да и меду в кадушках дождемся — с толстым ломтем подойдем да макнем…

Русский отошел, улыбаясь. Почти ежедневно, в течение шестидесяти лет, жизнь его должна окончиться, но он ни разу еще не умер и теперь разуверился в силе смерти и всякой беды, живя спокойно и равнодушно, как счастливый и бессмертный. Чагатаев знал, что Старый Ванька некогда — лет тридцать тому назад — прибежал сюда из сибирской каторги, прижился к неродному народу и жил себе одинаково со всеми, не помня больше дороги в Россию.

Ночью пошел пустынный темный ветер, песок тоже побрел за тем ветром и постепенно закрыл навсегда овечьи следы. Чагатаев понял здесь жизнь. Рано утром он отошел от спящих и дремлющих, когда понял, что овечье стадо ушло теперь вовсе, идти за ним стало бессмысленно и ослабевший народ очутился среди пустыни; без еды и без помощи — у него не хватит сил достигнуть Сары-Камыша и он уже не сможет вернуться назад, в разливы

Амударьи.

Утренний странный ветер дул Чагатаеву в лицо, песчаная поземка кружилась в подножье человека и стонала, как русская вьюга за ставнями избушки. Иногда же слышался жалобный звук жалейки, иногда играла гармония, дальняя труба или, чаще всего, бедная глухая дутара. Это пели пески, мучимые ветром, когда одна песчинка истиралась о другую. Чагатаев лег на землю, чтобы задуматься о дальнейшей своей работе; не для того его послали сюда, чтобы он умер здесь сам и оставил своему народу его смертную участь… Он попробовал рукою свое лицо; оно обросло волосами, в голове завелись вши, немытое худое тело скорбело от запустения. Чагатаев подумал о себе как о жалком, скучном человеке. Кто его помнил сейчас, кроме Ксени? Но и та, наверно, уже стала забывать: юность сейчас слишком воодушевлена своими счастливыми задачами. Чагатаев уснул в беспокойном песке, отдельно и довольно далеко от всех непроснувшихся людей. Все в нем замерло, глубоко и надолго, затаилось внутри тела, отжило на время, чтобы не умереть совсем. Он проснулся во тьме, полузасыпанный песком; ветер все еще дул, и была уже новая ночь. Он проспал весь день. Чагатаев пошел на общее становище; народа там не было. Все люди давно проснулись и ушли дальше, скорее от смерти. Лежал только один Назар-Шакир; потому что он умер и теперь открыл рот, в котором говорил теперь что-то ветер и песок. Чагатаев, набредя на мертвого, долго ощупывал его и проверял действительность смерти, потом закрыл всего человека песком, чтобы он стал никому не заметен.

Чагатаев шел всю ночь; иногда он, наклонившись, видел следы прошедшего народа, иногда, когда следы уже стравил ветер, шел по чувству.

Утром Чагатаев заметил по местности, что здесь должна быть вода, и он нашел заглушённый колодец, забитый песком. Назар дорылся руками до влажной глубины и начал жевать песок, ко сплевывать приходилось больше, чем получать внутрь; тогда он стал глотать мокрый песок целиком, и мученье жажды Оставило его. В следующие четыре дня Чагатаев старался идти вперед по пустыне, но от слабости уходил недалеко и вновь возвращался на мокрый песок, чтобы, изнемогая от голода, не умереть от жажды. На пятый день он остался на месте, решив набраться сил в дремоте и беспамятстве, а затем догнать свой народ. Он съел два оставшихся у него хинных порошка и разные карманные крошки, отчего ему стало лучше. Он понимал, что народ его близко, он тоже не имел сил уйти от него далеко, только неизвестно было направление его пути. Чагатаев представлял себе, с каким тайным удовольствием Нур-Мухаммед поставил отметку в своей записной книжке о его смерти. Он улыбнулся своей старой мысли: почему люди держат расчет на горе, на гибель, когда счастье столь же неизбежно и часто доступней отчаяния… Чагатаев зарылся от солнца во влажный песок и пытался впасть к беспамятство для отдыха и для экономии жизни, но не умел и все время думал, жил понемногу и смотрел в небо, где слабым туманом шел жаркий ветер с юго-востока и было так пусто, что не верилось в существование твердого, настоящего мира.

Отлежавшись, Чагатаев пополз к ближнему бархану, где он заметил задутый наполовину песком куст перекати-поля. Он добрался до него, отломил несколько высохших ветвей и сжевал их, а оставшийся куст вырыл из песка и отпустил бродить по ветру. Куст покатился и вскоре исчез за барханами, направляясь куда-то в дальнюю землю. Затем Чагатаев пополз еще по окрестности в несколько шагов и нашел в мелких песчаных могилах весенние засохшие былинки травы, которые он также проглотил, без различия. Скатившись с бархана, он заснул у его подножия, и во сне на его слабое сознание напали разные воспоминания, бесцельные забытые впечатления, воображение скучных лиц, виденных когда-то однажды, — вся прожитая жизнь вдруг повернулась назад и напала на Чагатаева. [Чагатаев следил за ним беспомощно и не умел теперь забыть его.] Раньше он думал, что большинство ничтожных и даже важных событий его жизни забыты навсегда, закрыты навечно последующими крупными фактами, — сейчас он понял, что в нем все цело, неуничтожимо и сохранно, как драгоценность, как добро хищного нищего, который бережет ненужное и брошенное другими. Бедный и пожилой человек не исчез из сознания, он все еще

бормотал что-то, прося или жалуясь (наверное, он давно умер в действительности), но вот подруга Веры, еле виденная им когда-то, склонилась над Чагатаевым и не уходила, она надоедала, и она мучила собою дремлющего в пустыне человека, и за нею, на глиняном дувале, дрожали тени от серебристой ветви, росшей некогда на солнце — может быть, в Чарджуе, может быть, еще где-нибудь. И еще многие едкие вечные пустяки в виде сгнившего дерева, почтового отделения в поселке, безлюдной стонущей горы на полуденном солнце, звука пропавшего ветра и нежных объятий с Верой — все это энергично вошло в Чагатаева одновременно и жило в нем неподвижно и настойчиво, хотя в истине, в прошлом, это были текущие, быстро исчезающие факты. В нем же они теперь существовали гораздо более резко и яростно, гораздо навязчивей, чем на правде. В действительности эти предметы жили кротко и не проявляли своего значения, не делали больно совести и чувству человека. Но сейчас они набились толпою в голову Чагатаева, и если от них можно было спасаться в настоящей жизни, хотя бы потому, что время проходит, то здесь события никуда не проходили, а продолжали быть постоянно и своей повторяющейся деятельностью точили и протирали кости черепа Чагатаева. Он хотел закричать, но у него не было достаточной силы. Он подумал заплакать, но испугался терять влагу, чтобы не есть потом мокрый жесткий песок. Он прислушался — не звучат ли вдали редкие, капающие, гулкие звуки — за черным мертвым горизонтом, из той темной свободной ночи, где без остатка поглощается последний солнечный свет, как река, впавшая в песчаную пустыню. Он слышал иногда те звуки дальней природы, не зная их причины и полного значения.

Чагатаев поднялся на ноги, чтобы избавиться от сна и от всего мира, застрявшего в его голове, как колючий кустарник; сон сошел с него, но вся страшная теснота воспоминаний и мыслей осталась живому наяву. Он увидел что-то на соседнем бархане — животное или кибитку, но не успел понять, что именно, и упал обратно от слабости. И то, что было на соседнем бархане — животное, или кибитка, или машина, — сейчас же вошло в сознание Чагатаева и начало томить его своей неотвязностью, хотя оно и не было понято и не имело даже имени. Это новое явление, сложившись со всеми прежними, осилило здоровье Чагатаева, и он впал в беспамятство, спасая свою душу.

Проснулся он на другой день в раннее время. Ветер ушел без остатка, всюду стояла робкая тишина, настолько пустая и слабая, что в нее внезапно могла ворваться буря. Тень ночи ушла в высоту и лежала там над миром, выше дневного света. Чагатаев теперь был здоров, ум его прояснился и думал по-прежнему о своих задачах; слабость сил не оставила его, но уже не мучила. Он предвидел, что ему, вероятно, здесь придется умереть и народ его также потеряется трупами в пустыне. Чагатаев не жалел о самом себе: большой народ жив, и он все равно исполнит всеобщее счастье несчастных; но плохо, что народ джан, изо всех народов Советского Союза наиболее нуждающийся в жизни и в счастье, будет мертв.

— Не будет! — прошептал Чагатаев.

Он стал подыматься, нажимая всем сердцем на свои дрожащие руки, упертые в песок, но сейчас же лег обратно, навзничь: позади его, со стороны затылка, кто-то находился; Чагатаев услышал быстрые, отступающие шаги какого-то существа.

Чагатаев закрыл глаза и взял в кармане рукоятку револьвера в руку; он только боялся, что теперь плохо справится со своим тяжелым оружием, потому что в руке осталась лишь младенческая сила. Он лежал долго, не шевелясь ничем, притворяясь умершим. Он знал многих зверей и птиц, которые поедают мертвых людей в степи. Наверно, позади народа — в невидимом отдалении — все время молча шли дикие звери и съедали павших людей. Овцы, народ и звери — тройное шествие двигалось в очередь по пустыне. Но овцы, теряя травяную полосу, иногда начинают идти за блуждающей травой перекати-поле, которую гонит ветер, и поэтому ветер является всеобщей ведущей силой — от травы до человека. Наверно, надо было идти по ветру, чтобы догнать овец, но Нур-Мухаммед ничего не знает, а Суфьян соскучился жить и больше не думает.

Чагатаеву хотелось сразу вскочить, выстрелить в зверя, убить его и съесть, однако он боялся, что промахнется от слабости и навсегда распугает от себя зверей. Он решил

допустить зверя до самого своего тела и убить его в упор.

Легкие, осторожные шаги все время раздавались позади головы Чагатаева, то приближаясь, то удаляясь. Сократив дыхание, Назар ждал, когда бросится ни него крадущееся существо, еще не уверенное в его смерти. Он беспокоился лишь, чтоб зверь не впился сразу ему в горло или, получив рану, не убежал далеко. Шаги послышались теперь рядом с головой. Чагатаев потащил немного револьвер из кармана наружу, уже чувствуя в себе хорошую силу, собранную изо всех остатков жизни. Но шаги прошли мимо его тела и удалились. Назар приоткрыл глаза; дальше его ног медленно шли две большие птицы, отдаляясь от него на противоположный бархан. Чагатаев никогда не видел таких птиц, они походили одновременно и на степных орлов-стервятников, и на диких темных лебедей; клювы их были как у стервятников, но толстая, могучая шея длиннее, чем у орлов, а прочные ноги высоко носили нежное, воздушное лебединое туловище. Сложенные черные крылья у одной птицы были сплошного серого цвета, а у другой — с красными, синими и серыми перьями; это, вероятно, самка; брюхо обеих птиц было выпушено белым, снежным пухом — Чагатаев заметил даже сбоку у самки мелкие черные точки; это блохи впились в живот птицы сквозь пух. Обе птицы чем-то походили на огромных птенцов, которые еще не привыкли жить в своем теле и двигались с осторожностью.

День стал жарким и заунывным, по песку закручивались мелкие смерчи, вечер еще высоко стоял на небе над светом и теплом. Две птицы взошли на бархан против Чагатаева и сразу оглянулись на него дальновидными, разумными глазами. Чагатаев следил за птицами из-под неплотно закрытых век, он разглядел даже серый редкий цвет их глаз, глядевших на него с мыслью и вниманием. Самка почистила клюв о когти ног и выплюнула изо рта какой-то давний объедок, может быть остаток расклеванного Назар-Шакира. Самец поднялся в воздух, а самка осталась на месте. Громадная птица низко полетела в сторону, затем несколькими прыжками на крыльях взлетела в высоту я сразу стала падать оттуда. Чагатаев почувствовал ветер в лицо прежде, чем птица достигла его. Он увидел над своим лицом ее белую, чистую грудь и серые расчетливо-ясные глаза, не злые, а думающие, потому что птица уже заметила, что человек жив и видит ее.

Чагатаев вынул револьвер, обеими руками поднял его в воздух и ударил из него в падающую ему на голову птицу. Среди груди мчащейся птицы, в белом ее пуху, задуваемом скоростью полета, появилось темное пятно, и вслед за тем мгновенный ветер вырвал весь пух в клочья вокруг черного места попадания, а тело орла на краткое время задержалось в воздухе неподвижно.

Птица закрыла серые глаза, потом они открылись у нее сами, но уже ничего не видели, — она умерла. Она лежала на теле Чагатаева в том положении, в каком падала: своею грудью на груди человека, головой на его голове, уткнувшись клювом в густые волосы Назара, широко распустив черные беспомощные крылья по сторонам, и ее вырванные перья и пух осыпали Чагатаева. Сам Чагатаев потерял память от удара тяжестью орла, но ранен не был; птица лишь оглушила его, опасная скорость ее падения была заторможена встречной, пронзающей пулей… Чагатаев вскочил и сел от резкой боли: вторая птица, самка, рванула клювом его правую ногу, взяв оттуда немного мяса, и сейчас же взлетела в воздух. Чагатаев, держа револьвер обеими руками, дважды выстрелил по ней, но не попал; огромная птица исчезла за барханами, потом он разглядел ее летящей на большой высоте.

Мертвого орла уже не было на Чагатаеве, он лежал в ногах Назара на песке; его, должно быть, стащила самка, желая убедиться, что он погиб, и прощаясь с ним.

Чагатаев подполз к убитой птице и начал есть ее горло, выщипывая оттуда перья. Орлица все еще была видна, но она уже достигла той высоты неба, где даже в полдень стоит тень ночи, сумрак заката и рассвета, и Чагатаеву казалось, что она оттуда уже не возвратится, что там есть своя воздушная счастливая страна улетевших птиц.

Наевшись немного, Чагатаев перевязал ногу мертвой птице своим поясным ремнем, а

другой конец ремня продел себе в глубину штанов — тогда он услышит, если какой-нибудь хищник захочет украсть орла. Потом Чагатаев полечил слюнями рваную ранку на своей ноге, закрыл ее материей и скорее улегся, чтобы приобрести крепость сил.

12

Гюльчатай не жалела о сыне, она забыла его. Согнувшись, она шла следом за другими и трогала руками песок, когда ей казалось, что в нем лежат какие-то вещи. Молла Черкезов держался за одежду Гюльчатай, все бремя стараясь помнить, что он живой. Нур-Мухаммед, отчаявшись сердцем, взял на руки Айдым; он предполагал воспитать, откормить эту девочку и воспользоваться ею как женой, а потом продать другому. Его мучило, что слишком мало женщин в народе джан и те, кто были еще живыми, уже стали ветхими, — надежна только одна Айдым, потому что она еще мала. Женщины ценятся дороже мужчин, они служат одновременно и для работы и для утешения, но мужчин тоже можно продать хорошо, если они не перемрут за долгий путь.

В то утро, когда Чагатаева не оказалось на общем становище, Нур-Мухаммед улыбнулся и сделал тщательную отметку в своей книжке об его исчезновении, собирая на всякий случай сведения для составления отчета о командировке. Он решил, что Чагатаев убежал спасаться один, как всякий живой и малодушный, и Нур-Мухаммеду стало лучше без него: люди теперь уже не спрашивали у Мухаммеда, скоро ли они дойдут до Сары-Камыша, и никогда не вспоминали о пище. Сам Нур-Мухаммед тоже мог пасть от слабости, но он еще держался старыми запасами своего тела, потому что много ел риса, мяса и фруктов, когда жил по оазисам и ходил тайно в Афганистан, к давно бежавшему хану Джунаиду.

Суфьян в тот день пошел по ветру, куда несутся вырванные, изжившие жизнь былинки травы и катится перекати-поле; он знал, что в этом направлении и пошли теперь овцы, раз ветер бесследно задул их кормовую тропинку, по которой изредка, оазисами, росла устойчивая трава. За Суфьяном пошли было остальные люди, но Нур-Мухаммед велел им идти в другую сторону — против ветра, на юго-восток. Он прижал к себе Айдым, чтобы ощутить зачатки ее женской груди, но почувствовал лишь ее тонкие ребра.

Нур-Мухаммед оглянулся на всех; ветер раскачивал народ, песчаная поземка била в ноги людей, погибшая трава влеклась навстречу пешеходам — эту траву под самый корень сжал ветер по всему песчаному безлюдью, где прошла его гребущая сила. Некоторые люди упали от ветра, другие шли во сне, разбредаясь в разные стороны, теряя друг друга в сумраке метущегося песка.

Нур-Мухаммед остановился.

Ветер дул со стороны юго-востока ровной гнетущей силой, как из машины. Народ рассеивался под ним и больше не слышал или не признавал голоса Нур-Мухаммеда, звавшего каждого по имени идти за ним вперед. Он сам еле дышал от терпения, от жажды и голода: здравый смысл его разума уже покрывался тенью равнодушия к своей судьбе. Раньше он предполагал увести весь этот ничтожный, ослабевший народ в Афганистан и продать его в рабство старым ханам, а самому прожить счастливо остальную жизнь в собственной, обильной домашним добром курганче, где-нибудь в афганской долине на берегу потока, тогда не надо будет быть членом профсоюза и кооперации, не надо сдерживать в молчании скопляющееся яростью сердце. Теперь Мухаммед, сбиваемый с ног песком и ветром, видел, что народ джан падает или разбредается в беспамятстве: тело каждого человека стало пустым и сердце постепенно вымерло. Они не дойдут до Афганистана, а дойдя туда, не сумеют быть даже последними батраками, потому что в них не осталось хотя бы слабого житейского интереса, который необходим и для раба.

Нур-Мухаммед стоял долго, пока весь народ не разошелся в сумраке ветра и не свалился там лежать — в смерти или во сне. Айдым укрылась около его горла и тихо дышала в своем забвении. Мухаммед бережно держал ее, а сам с наслаждением, не помня, что ему хочется пить и есть, следил за погибающим народом. Суфьян сел в песок и согнулся.

Сгорбленная Гюльчатай давно лежала на земле, и слепой муж ее, Черкезов, укладывался за нею с подветренной стороны, точно ища удобства в супружеской постели. Худой нестарый каракалпак, по прозвищу Таган, снял с себя одежду — штаны и халат, — бросил их по ветру, а сам зарылся голым в песок и там остался, почти невидимый больше. Мухаммеду было хорошо, что в Советском Союзе теперь меньше жителей на целый народ, — пусть этот народ и не знал никто, а все-таки польза для государства уменьшилась, и работники, рывшие некогда целые реки для баев, теперь ничего не будут рыть, даже могилы для самих себя.

Нур-Мухаммед чувствовал сейчас не только удовольствие, но он даже слегка пошевеливался в некотором танце, видя в людях их последний песчаный сон. Он ценил теперь себя дороже, выше, — ему больше достанется добра в пустыне и на всей земле, потому что живых становится меньше. Неизвестно, получил бы он больше наслаждения, когда продал бы весь этот народ в рабство, или теперь, когда потерял его, когда в природе стало просторней, когда сразу закрылись рты наиболее алчных бедняков. Мухаммед решил уйти навсегда в Афганистан и унести с собой Айдым, чтобы продать ее там и оправдать хоть немного свои убытки от работы в Советском Союзе.

Ветер вдруг сразу ослабел, и стало светлее повсюду. Нур-Мухаммед прижал к себе девочку с такой силой, что Айдым открыла глаза. Он пошел ласкать ее в уютное песчаное ущелье, соскучившись без счастья от чужого тела. Ни голод, ни долгое горе не могли уничтожить в нем необходимость мужской любви, она жила в нем неутомимо, жадно и самостоятельно, пробиваясь сквозь все жесткие беды и не делясь своей силой с его слабостью. Он мог бы обнимать женщину и зачинать детей, находясь в болезни, в безумии, за минуту до окончательной смерти.

Мухаммед нашел укромное место, положил девочку и лег рядом с нею. Айдым. опять спала в забытье. Он снял с нее верхние нечистые тряпки одежды и увидел голое детское существо, столь незнакомое, что страсть его вначале не стала действовать. Айдым была мала, как пятилетняя, и кости ее были обтянуты бледно-синей пленкой, не имевшей никогда достаточной упитанности, чтобы превратиться в настоящую кожу. Однако сквозь эту пленку, почти непосредственно из костей скелета, уже прорастали женские груди и начинали опухать будущие материнские места, не считаясь с бедностью вещества в других частях тела. Наверное, Айдым было уже лет двенадцать или тринадцать; если ее покормить, на ней можно жениться.

Две большие птицы с темными крыльями низко пролетели над Мухаммедом и Айдым. Мухаммед проследил их полет и затем обнял девочку, потому что у него не было времени и лишней силы терпеть свою любовь. Айдым проснулась от боли. Она видела много раз, как взрослые спят и любят, знала это дело с точностью и теперь, догадавшись обо всем, стала повторять действия старых людей, как опытная женщина, что немного удивило Нур-Мухаммеда. Айдым молча смотрела на Мухаммеда любопытными глазами, полными слез от боли и терпения. Она словно ждала чего-то, что будет сейчас с нею, неизвестного или хорошего, но ничего не было, и ей стало неинтересно.

— Уходи! Лучше я буду одна, — сказала Айдым Мухаммеду, потому что она не узнала в любви никакой новой жизни.

Но Мухаммед не оставил ее, пока его чувство не получило наслаждения: без наслаждения он не мог существовать.

В пустыне смеркалось, наступила ночь, и она прошла во тьме. Некоторые люди, павшие вчера по пескам от ветра, наутро поднялись и стали оглядываться в чистом свете, среди тишины другого дня.

Вблизи, за глухим барханом, раздался выстрел. Дремавший Суфьян сел и стал слушать. Айдым прибежала к нему от Мухаммеда, который спал вдали и не проснулся.

Народ был весь живой, но жизнь в нем держалась уже не по его воле и была почти непосильна ему. Люди глядели перед собой, хотя и не сознавая ясно, как надо им пользоваться своим существованием; даже темные глаза теперь посветлели от равнодушия и не выражали ни внимания, ни силы собственного зрения, точно ослепшие или прожитые

насквозь; только одна Айдым хотела быть живой, она не истратила еще детства и материнского запаса энергии, она смотрела в песок все еще блестящими глазами.

За барханом еще [стрельнули] два раза. Айдым пошла туда смотреть, но не нашла сразу места, где стреляли. Из других людей никто не пошел; они не боялись врага и не ожидали друга или помощника.

Айдым перешла четвертый бархан и увидела, что внизу его лежит спящий или мертвый человек, рядом с темной птицей. Девочка спустилась с песчаного откоса и узнала Чагатаева. Она попробовала руками его лицо, оно было теплое, изо рта шло дыхание.

— Спи! — сказала шепотом Айдым и прикрыла своими пальцами веки Чагатаева, чуть приоткрытые во сне.

Затем Айдым освободила убитую птицу от ремня, взяла ее за ногу и поволокла через пески к своему народу.

Все люди собрались вокруг птицы и глядели на нее без жадности, они отвыкли надеяться на еду. Тогда Айдым взяла нож из брошенных штанов Тагана и стала ощипывать птицу и резать ее на мелкие куски. Каждому, кто мог есть, она дала понемногу птичьего мяса, а сама высасывала кровь и сок из каждого куска, прежде чем отдать его. Народ поглотал эти куски, сглодал все кости без остатка и обсосал щипаные перья, но не наелся, а только разохотился; лучше б было ничего не есть и не тратить последнюю силу на жеванье и пищеваренье.

Айдым пошла опять к Чагатаеву. Народ, думая, что там есть еще битые мясные птицы, пошел следом за девочкой. Однако люди шли теперь слишком медленно, иные же ползли, помогая себе руками, в том числе ползла и еще помогала ползти Молле Черкезову мать Чагатаева. Некоторые же остались на месте, потому что у них уже не хватало силы нести свой скелет. Айдым, отойдя немного, подолгу ждала влекущихся за ней людей. И лишь к вечеру народ добрел до песчаного холма, за которым лежал Чагатаев. Все время, пока двигался народ, Айдым слышала трение и скрип костей внутри шевелящихся людей, — наверно, у них высох весь жир в суставах, и кости теперь мучились.

Нур-Мухаммед видел издали это движение народа, но оно его не интересовало. Он хотел сначала поискать в ближней округе какой-нибудь воды, хотя бы соленой, иначе он не дойдет до Хивинского оазиса. За Айдым он решил вернуться после, когда отыщет воду, чтобы и ее напоить, а потом уже вместе с нею он уйдет отсюда навеки в Афганистан.

13

Чагатаев заплакал от боли во сне и проснулся; он подумал, что боль ему приснилась и сейчас пройдет. Две темные птицы — одна прежняя самка, другая новый самец — отошли от него. Три раза они клевнули его тело сосущими клювами и до костей прорвали мясо на груди, колене и на плече. Отойдя немного, птицы остановились, повернули шеи и поглядели на Чагатаева — каждая птица одним глазом. Назар вынул револьвер и стал стрелять в птиц, пока еще не вышло много крови из его ран и не пропала сила, собранная во сне. Птицы поднялись в воздух. Он успел стрельнуть в них два раза, и одна птица опустила крылья и села вниз, сразу подломив под себя ноги; потом она положила голову в песок и потянулась всем горлом как бы в надоевшей усталости; из горла птицы шла кровь и впитывалась в перья и ближний песок. В глазах птицы появилось равнодушие, и они задернулись серыми пленками. Другая птица ушла в высоту, закричала оттуда кратко и гулко, словно из пустого подземелья, и пропала в тумане солнечного света.

Из-за бархана показалась Айдым. Она пошла к убитой птице и поволокла ее за ногу мимо Чагатаева.

— Айдым! — позвал ее Назар.

Девочка подошла к Чагатаеву.

— Дай напиться! — попросил он.

Айдым подволокла мертвую птицу и, став на колени, приложила ее горло к губам

Чагатаева и стала нажимать мокнущее горло, выдаивая оттуда кровь в рот Чагатаева.

— Ты лежи нарочно как мертвый, — сказала Айдым. — К тебе прилетят птицы, прибегут шакалы, ты их убивай, а мы будем кормиться…

— А где другие люди? — спросил Чагатаев.

— Там идут, — указала Айдым.

Чагатаев попросил ее, чтобы она принесла воды, если она есть, и промыла ему раны. Айдым осмотрела его раны, вынула из них шерсть от одежды, затем зализала их своим языком, зная, что слюна заживляет тело.

— Ничего: ты не умрешь, раны ведь маленькие, — сказала она. — Лежи опять смирно, а то птицы больше не прилетят…

Айдым поволокла птицу за песчаный холм, где ее народ образовал свое новое становище в тишине глубокой впадины. Птицу съели сразу же, и если те далекие люди, которые едят каждый день, не почувствовали бы никакого утоления голода, съев тот маленький щипаный кусок птичьего мяса, какой дала Айдым каждому, то здесь человек большого голода почти наелся этой ничтожной пищей, — во всяком случае, его тело получило надежду и утешение.

Стало опять темно. Суфьян разрыл руками песок до влажного горизонта и начал жевать его от жажды. Некоторые люди увидели действия Суфьяна, подошли к нему и разделили с ним ужин из песка и воды.

Нур-Мухаммед боялся холода и на ночь пришел к народу, чтобы лежать где-нибудь в его тесноте и согреваться.

Рано утром Мухаммед разбудил Айдым, взял ее на руки и пошел с ней навсегда в Афганистан.

Чагатаев по-прежнему лежал и сторожил птиц. Он сосчитал патроны, их у него осталось семь штук. Он знал наверное, что птицы явятся опять: он ведь убил самца, а самка с цветными крыльями улетела, и она снова вернется не одна, чтобы добить наконец человека, убившего ее первого, может быть, самого любимого мужа.

Айдым соскочила с рук Нур-Мухаммеда и прибежала к Чагатаеву попрощаться. Он поцеловал ее, погладил по лицу худою рукой и улыбнулся. Было еще сумрачно. Нур-Мухаммед ждал девочку в отдалении.

— Не ходи никуда, Айдым, — сказал Назар ребенку. — У нас скоро свое будет счастье.

— Я знаю, — ответила Айдым. — А он мне велит…

— Позови его, — сказал Чагатаев.

Айдым привела за руку большого Нур-Мухаммеда.

— Помираешь? — спросил Нур у Чагатаева. — Я думал, тебя давно птицы склевали.

— Зачем девочку уводишь с собой? — спросил его Чагатаев.

— Стало быть, нужно, — сообщил Мухаммед.

— Пусть остается с нами! — сказал Назар.

Айдым села около Чагатаева на песке.

— Я останусь, — сказала Айдым, — я маленькая, я уморюсь идти, мне не надо!

Чагатаев облокотился на локоть и привлек к себе девочку. Пала роса, и Назар незаметно полизал волосы Айдым, на которых были капли влаги.

— Уходи один! — сказал Чагатаев Мухаммеду.

— Мертвым пора молчать! — произнес Нур-Мухаммед. — Повернись в землю и спи! — Он ударил Чагатаева в лицо ногой, обутой в брезентовый сапог.

Чагатаев повалился навзничь; он заметил, что у Мухаммеда до сих пор лежал за пазухой учрежденческий портфель среднего служащего, может быть, Нур-Мухаммед всю свою жизнь считал лишь временной командировкой в дальние места, и единственная прелесть его существования заключалась в том, что можно оставить изжитое место и уйти на новое: пусть погибают остающиеся!

Чагатаев, не подумав, встал сразу на ноги. Он был теперь пуст и легок, тело его стало

свободно, и он качался, как невесомый. Айдым уперлась руками ему в живот, чтобы он не падал. Но Нур-Мухаммед схватил Айдым поперек ее тела и пошел с нею прочь. Чагатаев бросился за ним вслед, но упал, потом опять поднялся, пытаясь сосредоточить силы. От слабости мир перемежался перед его глазами: то был, то не был. Мухаммед шел не спеша впереди, он не боялся полумертвого.

— Вы куда? — изо всех [сил] сказал Чагатаев.

Айдым заплакала на руках Мухаммеда.

— Возьми меня, Назар Чагатаев… Я не хочу в Афганистан: там буржуи живут…

Откуда она знает о буржуях?.. Чагатаев больше уже не упал, торжественная мысль жизни вернулась к нему, он поднял револьвер отвердевшей рукой и велел Мухаммеду остановиться. Тот увидел оружие и побежал. Айдым заметила на шее Мухаммеда болячку и впилась в нее своими отросшими ногтями. Нур-Мухаммед закричал по-страшному и ударил девочку по лицу, но размахнуться ему было негде, и ей не стало слишком больно от его удара. Айдым не отняла своих рук от болячки и повисла теперь не шее Мухаммеда, тогда он бросил ее держать, чтобы ударить по-настоящему.

— Видишь, как больно тебе! — [рассказывала] Айдым. — Тебе ведь говорили: не воруй меня, не надо! А ты украл, ты басмач! Терпи, теперь терпи!

Из-под болячки Нур-Мухаммеда шла густая кровь: засохшую корку больного места Айдым уже сорвала.

Мухаммед застонал и с трудом сбросил с себя девчонку. Оглянувшись на Чагатаева, он опять схватил Айдым и побежал с нею; он не [уважал] работать впустую. Чагатаев не мог бить по нему насмерть, чтоб не убить Айдым, которую Мухаммед прижал сейчас спереди к своей груди, и выстрелил в него по ногам. Пуля попала. Нур-Мухаммед был сорван с земли, как ненужный и посторонний, он упал с разбегу плечом в песок и мог изуродовать Айдым. Но она отлетела в сторону, прежде чем упал Мухаммед, и, сейчас же поднявшись, побежала к Назару. Чагатаев хотел выстрелить еще, чтобы уничтожить Мухаммеда, однако патронов у него было немного, их надо беречь для охоты и прокормления своего народа.

Нур-Мухаммед пролежал в песке лишь несколько секунд, а затем бросился бежать прочь, сразу вскочив на крутой откос бархана, как сильный и здоровый человек. На ходу он кричал от боли, потому что от движения еще больше рвал свою рану, но не слышал своего крика. Он скрылся за песчаным холмом, и голос его умолк навсегда для Чагатаева. Айдым стояла в изумлении, все еще глядя вослед пропавшему Нур-Мухаммеду. Она думала — скоро он умрет или нет.

Она пошла с Чагатаевым обратно.

— Скорей иди! — говорила она. — Ложись опять в песок, пока птицы не прилетели, а то нам есть нечего!

Слабея все больше, Чагатаев дошел до своего прежнего облежанного места и опустился на него. Айдым направилась к народу, на общее становище. День еще был долог, но все люди уже лежали для экономии жизни во сне или в пустом безрассудстве, покрывшись остатками одежды.

Чагатаев находился отдельно, за песчаным перевалом. Он старался думать лишь самое необходимое для общей жизни спасения. Орлица опять улетела живой и несчастной. Если в первый раз он убил ее мужа, то кого он застрелил во второй раз? Наверно, второго ее мужа… Нет, у птиц так не бывает, значит — друга или родственника ее мужа, может быть, его брата, которого она позвала себе на помощь для общего мщения. Но и брат ее мужа погиб, за кем же она полетела теперь?.. Если там — за горизонтом или в далеких небесах — у нее никого не найдется для боевой помощи, то все равно она прилетит одна. Чагатаев был убежден в этом, он знал прямые нестерпимые чувства диких животных и птиц. Они не могут плакать, чтобы в слезах и в истощении сердца находить себе утешение и прощение врагу. Они действуют, желая утомить свое страдание в борьбе, внутри мертвого тела врага или в собственной гибели.

По мере своей второй жизни в пустыне Чагатаеву казалось, что он все время куда-то

едет и удаляется. Он начал забывать подробности города Москвы; лицо Ксени его память сберегла лишь в общих, неживых чертах — он жалел об этом и напрягал свое воображение, чтобы видеть ее иногда в уме; представляя ее образ, он всегда замечал, что ее губы что-то шепчут ему, но он не понимает и не слышит ее голоса за дальностью расстояния. Разноцветные глаза ее глядели на него с удивлением, может быть, с грустью, что он долго не возвращается. Но это лишь обольщающее чувство! В действительности Ксеня, наверно, вовсе забыла Чагатаева; она ведь еще ребенок, в ее сердце теснится прекрасная, завоевывающая ее жизнь, и там не хватит места для сохранения всех исчезнувших впечатлений.

День проходил пустым, не принося избавления. Чагатаев знал, что нельзя накормить народ еще одной или двумя убитыми птицами, но он не был великим человеком и не мог выдумать, что ему нужно сейчас сделать более действительное. Пусть его охота за птицами — ничтожное дело, зато оно единственно возможное, пока не прошло его изнеможение. Если бы он был в прежней силе, он обыскал бы всю пустыню вокруг на десятки километров, нашел бы диких овец и пригнал бы их сюда. Если бы хотя в одном человеке была способность пройти пятьдесят или сто километров до какого-нибудь телеграфного аппарата, он бы потребовал помощи из Ташкента. Может быть, покажется аэроплан на небе! Нет, здесь едва ли они бывают, здесь нет пока сокровищ на земле, чтобы тратить дорогую машину. И убогий, малополезный труд, заключавшийся в терпении, в притворстве быть трупом, все же утешал Чагатаева, однако назавтра он решил идти с народом на родину, в Сары-Камыш, при всех обстоятельствах.

Он задремал. Мир опять чередовался перед ним, то оживая, светлый и шумящий, то отдаляясь в темное забвение, откуда он опять затем возвращался, пробиваясь в сознание Чагатаева сквозь больные кости его головы.

Вечером Чагатаев расслышал неясные звуки. Он приготовился, засунув правую руку себе под спину, где лежал револьвер. Он ошибся — это не был шум летящих орлов. Его мать, низко неся свою голову, подошла к нему, попробовала руками его тело и осмотрела глазами, глядящими в песок, всю ближнюю местность. Она не проверяла, жив или скончался ее сын, — она искала убитых птиц своими слепнущими от горя глазами. Странные скрипящие звуки шли из тела матери; сухие кости ее скелета с трудом и болью преодолевали трение друг о друга. Гюльчатай медленно удалилась, помогая себе двигаться тем, что касалась руками земли и гребла ими назад песок.

Вскоре эти же звуки многих трущихся костей Чагатаев услышал опять. Он поборол свое закатывающееся сонное сознание и сосредоточился. За песчаным перевалом бархана что-то шевелилось. Старый Ванька глядел на него оттуда; рядом с ним поднялся подошедший, очевидно, снизу, с другой стороны бархана, Суфьян, потом показалось еще чье-то неразличимое лицо, там же была Айдым и даже Молла Черкезов, хотя он не видел света. Человеческие лица постепенно прибавлялись, все они смотрели в сторону Чагатаева. Чагатаев тоже глядел на них. Больше не было слышно звуков от трения трущихся мертвеющих костей. Множество глаз наблюдали за лежащим человеком — не жадных и не умоляющих глаз, а безразличных. Кроме Айдым, глаза всех людей глядели подобно глазам Моллы Черкезова — ослепшими. У людей не осталось силы в сердце, чтобы держать энергию или выражение мысли в глазах. Лишь предчувствие еды привело их сюда, но и это чувство не было яростным или жестоким, как у обычного человека, а было невинным, способным остаться без удовлетворения, потому что чувство уже не поддерживалось разумом.

Чего ожидали от Чагатаева эти люди? Разве они наедятся одной или двумя птицами? Нет. Но тоска их может превратиться в радость, если каждый получит щипаный кусочек птичьего мяса. Это послужит не для сытости, а для соединения с общей жизнью и друг с другом, оно смажет своим салом скрипящие, сохнущие кости их скелета; оно даст им чувство действительности, и они вспомнят свое существование. Здесь еда служит сразу для питания души и для того, чтоб опустевшие смирные глаза снова заблестели и увидели

рассеянный свет солнца на земле. Чагатаеву казалось, что и все человечество, если бы оно было сейчас перед ним, так же глядело бы на него, ожидающее и готовое обмануться в надеждах, перенести обман и вновь заняться разнообразной, неизбежной жизнью.

Чагатаев улыбнулся; он знал, что горе и страдание есть лишь призрак и сновидение, их может разрушить сразу даже Айдым своими детскими силами; в сердце и в мире бьется, как в клетке, невыпущенное, еще не испробованное счастье, и каждый человек чувствует его силу, но чувствует лишь как боль, потому что действие счастья сжато и изуродовано в тесноте, как сердце в скелете. Вскоре он переменит судьбу своего народа. Чагатаев махнул рукой глядящему на него народу. Айдым поняла и велела уйти всем, чтобы не мешать Чагатаеву охотиться.

В начале ночи, когда все люди забылись, Айдым пошла одна в пустыню искать диких овец. Суфьяну и Старому Ваньке она велела разрыть руками песок в одной небольшой долине между длинными барханами. Там, под песком, она обнаружила глину, которая должна собирать воду, и она уже пила ее немножко из ямки. Она понимала, что, когда нет пищи, вода тоже кормит.

14

Шла ночь над песками. Чагатаев спал на правом боку, и сновидения заполнили его, вытеснив жажду, голод, слабость и всякое страдание. Он танцевал в саду, освещенном электричеством, с большой, выросшей Ксеней, в летнюю ночь, пахнущую землей, детством, накануне рассвета, который уже горел на вершинах тополей, как дальний, еще неслышный голос. Ксеня томилась в его осторожных объятиях, ее глаза были закрыты, точно она спала. С рассвета, с востока шел ветер между деревьев и шевелил платья танцующих женщин. Играла музыка, ранний свет и ветер проходили по лицам людей, безмолвных и счастливых. Затем музыка утихла, стало совсем светло вокруг, и Чагатаев нес спящую Ксеню на руках. Вдруг он увидел тьму на месте света, голова его заболела, и, падая, он повернулся во время падения на спину, чтобы не ушибить Ксеню, которую он держал спереди, как маленькую: пусть она упадет на него и не убьется. Он крепко еще сильнее схватил ее руками, но ее уже не было с ним. Он закричал, вскочил во тьме с земли, и два острых удара — опять в голову и в грудь — сбили его обратно.

Большие птицы, падая на него и вновь поднимаясь в воздух, били его клювами и рвали одежду и тело когтями. Чагатаев старался вскочить на ноги, но не успевал и терял силу от боли и новых ударов нападающих тяжелых птиц; он ворочался и греб в ожесточенном отчаянии руками песок, окруженный пустынной ночью, взмокший последней кровью. Он хотел вскрикнуть, чтобы поднять в себе, из самой глубины, из остатков исчезающей жизни, яростную силу, но жалящие удары орлиных клювов и когти их, рвущие жилы, прерывали его крик, прежде чем он успевал взять воздух себе внутрь. От крыльев птиц его сбивал ветер, он не мог дышать в этой буре и давился пухом и перьями, отлетающими от птиц. Чагатаев понял, что два первых удара клювами он получил в голову, около затылка, откуда сейчас текла кровь за шею, и еще у него, кажется, сорван один грудной сосок, там болела рана щекочущей вопиющей болью.

Наконец Чагатаеву удалось вскочить на мгновение на ноги. Он распростер руки, готовый схватить птицу, которая первая падет на него, чтобы задушить ее вручную. Орлы были в воздухе и сейчас разгонялись на него. Он наступил ногою на свой револьвер и быстро нагнулся за ним, однако не успел поднять его. Птицы бросились ему в спину, но он уже теперь опомнился и сумел сосчитать по числу своих новых ран от клювов — орлов было три. Чагатаев, схватив револьвер, опрокинулся навзничь, чтобы сбросить с себя или задавить птиц, впившихся ему в спину, но силы его действовали плохо, он свалился как попало, на бок, а орлы низко отлетели в сторону. Чагатаев попытался подняться для лучшего прицела, все истощенные кости его скелета заскрипели, так же как у людей его народа. Он прислушался, и ему жалко стало своего тела и своих костей — их собрала ему некогда мать

из бедности своей плоти, — не из любви и страсти, не из наслаждения, а из самой житейской необходимости. Он почувствовал себя как чужое добро, как последнее имущество неимущих, которое хотят расточить напрасно, и пришел в ярость. Чагатаев сразу крепко сел в песке. Орлы, даже не очень поднявшись в высоту, опять со скоростью мчались на него, тесно прижав к себе крылья. Он их подпустил ближе, потом нажал курок. Чагатаев видел орлов верно, их было три, и стрелял теперь точно, хладнокровно, оберегая себя, как второго человека, как ближнего, беспомощного друга. Он выпустил пять пуль в мчавшихся орлов почти в упор. Птицы низко, со свистом воздуха, пролетели над ним, уже не сумев остановить своего разгона, потому что они были либо уже мертвые, либо раненные насмерть. Они упали в нескольких метрах далее Чагатаева, в темный ночной песок.

Чагатаев дрожал от тревоги и усталости. Он разгреб в песке пещеру и лег в нее, сжавшись телом, чтобы согреться и уснуть, не заботясь о том, сколько вытечет крови из его рваных ран, пока он будет спать, не думая о здоровье и о своей будущей жизни.

Айдым далеко ушла в ту ночь; потом она уморилась, прилегла и заснула, не услышав выстрелов Чагатаева. Но, помня, что ей спать долго нельзя, она вскоре пробудилась в беспокойстве и опять пошла. Полуночная обедневшая луна вышла из-за далекой земли и осветила пески низким светом. Айдым осмотрелась кругом проницательными глазами. Она знала, что не может быть, чтобы на земле ничего теперь не было. Если идти по пескам целый день, то обязательно что-нибудь встретишь или найдешь: либо воду, либо овец, либо увидишь многих птиц; попадется чей-нибудь заблудший осел или пробегут вблизи разные животные. Старшие люди говорили ей, что в пустыне столько же добра, сколько на любой далекой земле, но в ней мало людей, и поэтому кажется, что и остального нет ничего. Айдым, однако, даже не знала, где есть земля более богатая и лучшая, чем пески или камышовые леса в разливах Амударьи.

Айдым стояла на самом высоком бархане; ее привлек мерцающий, брезжущий свет луны в одном направлении — по остальной земле свет шел спокойно, а гам что-то мешало ему светить. Она пошла туда, где свет затемнялся, и вскоре разглядела маленькую овцу-детеныша. Овечка царапалась ногами на самой вершине невысокого холма и взметывала песок так, что издали, сквозь ослабшую тьму, поверх привидений холмистой пустыни, это казалось важным, загадочным происшествием.

Овца-ярка, наверно, выбирала из песка весенние погребенные травинки и кормилась ими. Айдым тихо взобралась на холм и обхватила овечьего детеныша. Ярка не сопротивлялась, она ничего не знала про человека. Айдым повалила ее и хотела прокусить ей слабое горло, чтобы испить крови и наесться; Но она увидела сейчас, что под барханом, часто дыша, как люди, множество овец рыли ногами песок, догребаясь до нижней, скрытой влаги. Айдым оставила ярку и сбежала с бархана, к овечьему стаду. Прежде чем она достигла крайней овцы, к ней навстречу прыгнул баран и остановился перед ней, нагнув голову для боя.

Айдым посидела немного перед ним, подумала своим небольшим умом — как ей быть. Она сосчитала овечью отару — в ней было двадцать четыре головы, сложив сюда ярку и двух козлов, тоже прижившихся тут. Она отползла потихоньку к ближней роющей овце; баран тоже пошел за нею в ожидании. Айдым попробовала рукою песок в ямке, которую разгребала овца — там было сухо, вода не чувствуется. На губах ближних овец собралась пена томления, изредка они хватали ртом песок и выбрасывали его обратно вместе с последней слюной. Песок не поил, а сам испивал их сок. Айдым подошла к барану, он был не очень худ и лишь тяжко дышал от жажды, от напряжения перед задачами своей жизни, как главного среди овец. Айдым взяла барана за рог и повела его за собой. Баран сразу пошел, потом остановился, чтобы образумиться, но Айдым потянула его, и баран пошел за ней. Некоторые овцы подняли головы, перестали работать и пошли следом за девочкой и бараном. Оставшиеся козлы и прочие овцы также вскоре нагнали своего барана.

Айдым спешно тянула барана, память на место у нее была точная, но лишь к заре и погасшему месяцу на небе она дошла до той глубокой долины, где она отрывала себе воду в

песке. Там она оставила стадо, и овцы опять принялись раскапывать ногами песок, а сама Айдым пошла на общий ночлег к народу. Она обиделась: в долине не было отрыто ни одного колодца. Старый Ванька и Суфьян либо умерли, либо поленились, или, может быть, напились одни, не заботясь о другой жизни.

Айдым ощупала на становище всех спящих и беспамятных: они привыкли жить, дышали, и никто из них не умер. Айдым разбудила Суфьяна и Старого Ваньку и велела им идти пасти и сторожить овечье стадо, а сама отправилась к Чагатаеву, чтобы привести его есть…

Чагатаев долго не просыпался, когда его будила Айдым; он медленно умирал, потому что кровь не переставая медленно сочилась из него во сне, и видно было, как она редкими толчками выходила из ран, утихая в песке. Айдым поняла все; она сбегала обратно к народу на ночлег, но все люди уже тронулись оттуда к стаду, кто как мог: кто полз, кто шевелился на ногах, кто пользовался помощью другого. Айдым поискала глазами, у кого была более целая или мягкая одежда, но не нашла, чего ей хотелось. У всех из одежды осталось худое и нехорошее или очень малое. Молла Черкезов имел мягкие шаровары, но от его слепоты они были нечистые. Айдым сняла с себя рубашку и осмотрела ее: ничего, она еще маленькая, в ней не накопилось заразы и болезней, как у стариков, рубашка пахла одним только потом и ее телом, а грязи в ней не было — пустыня вся чистая. Айдым вернулась к Чагатаеву, разодрала свою рубашку на полоски и перевязала все его раны на теле и на голове, откуда показывалась кровь. Чагатаев проснулся уже и поворачивался, чтоб девочке удобней было работать. Он открыл глаза и увидел Айдым, убитых птиц и пески как бы сквозь густой сумрак, хотя наступило обычное солнечное утро. Он разглядел орлов и узнал в самой крупной птице самку, а другие два орла были гораздо меньше: это ее дети. Она прилетела сюда вместе с самыми верными друзьями своего мужа — его детьми.

15

Четыре дня народ джан ел и оправлялся от своего горя и бедствий. Айдым следила за тем, чтобы никто лишнего не переедал, а особо усердных на пищу останавливала или била по глазу: иначе будет не больно. Раны на теле Чагатаева подернулись пленками и заживали; он отдал Айдым свое нижнее белье, и она сшила себе юбку и кофту, а то была голая. Суфьян, который всю жизнь носил при себе необходимый житейский инвентарь — спички, иголку, нитки, шило, какой-то старинный документ о своей личности, ножик и прочее добро, — он попросил Айдым обштопать его одежду. Айдым зашила все крупные дыры на халате старика, потом заодно починила всю ветхую одежду на народе в тех местах, где видно было тело; на многих людях ей пришлось укоротить одежду, чтобы выиграть материал и пришить его тем, у кого не хватало. Из этих обрезков Тагану она сшила штаны и рубашку, потому что он забросил свое платье где-то в песок, когда думал, что пора кончать жизнь, и с тех пор жил голым.

На эту работу у Айдым ушло еще четыре дня — ей помогали штопать и шить только Старый Ванька и Чагатаев. Кроме того, Айдым следила за общим порядком жизни народа, за распределением пищи, за сном и за оставшимися овцами, — чтобы их пасли и поили и чтобы они не худели, не проживали своего тела зря. На ночь каждую овцу Айдым привязывала к человеку, а барана укладывала рядом с собой и прочной бечевкой туго обвязывала ему шею, а другим концом бечевки обматывалась сама вокруг живота и делала мертвый узел. Благодаря этой осторожности ни одна овца не убежала, хотя по всей ночи овцы лежали не евши и не прибавили в весе. Утром, через девять дней после того, как Айдым привела овечью отару, народ тронулся далее в дорогу, на свою родину. Теперь осталось у него десять овец и одиннадцатый баран, а тринадцать голов и трех орлов народ поел. Люди шли сейчас хорошо и чувствовали, что они существуют, не напрягаясь памятью для воспоминания о самих себе.

До Сары-Камыша оказалось всего три полных дня среднего хода. Но уже на второй

день народ увидел серое плоскогорье Усть-Урта и темноту у его подножия — впадину пустых земель с редкими горькими водами. Все обрадовались и поспешили туда, точно там обеспечено было счастье и стояли убранные дома с открытыми входами, ожидающими хозяев. Чагатаев вел за руку мать и улыбался, будто он снова, как в детстве, находился перед будущей великой жизнью, готовый на мучительный, терпеливый труд, имея в сердце неясное, робкое предчувствие неизбежной победы.

Вечером третьего дня народ перешел последние светлые пески — границу пустыни — и начал спускаться в тень впадины. Чагатаев вглядывался в эту землю — в бледные солонцы, в суглинки, в темную ветхость измученного праха, в котором, может быть, сотлели кости бедного Аримана, не сумевшего достигнуть светлой участи Ормузда и не победившего его. Отчего он не сумел быть счастливым? Может, оттого, что для него судьба Ормузда и других жителей дальних, заросших садами стран была чужда и отвратительна, она не успокаивала и не влекла его сердце, — иначе он, терпеливый и деятельный, сумел бы сделать в Сары-Камыше то же самое, что было в Хорасане, или завоевал бы Хорасан…

Чагатаев любил размышлять о том, что раньше не удалось сделать людям, потому что как раз это самое ему необходимо было исполнить.

Еще через два дня народ миновал впадину и приблизился К подножию Усть-Урта. Чагатаев нашел здесь небольшой пресный водоем, питавшийся весенним стоком со склонов плоскогорья, и люди остановились около него для отдыха и для выбора постоянного жительства. Овец теперь осталось лишь три головы и четвертый баран. Но это само по себе еще не было страшным для такого народа, как джан, который мог пользоваться добром природы в самых [худых] ее местах. Айдым в первый же день нашла несколько слепых ущелий, заполненных травой перекати-поле. Траву нагнал сюда с пустыни юго-восточный ветер, и лишь тот куст перекати-поля, который не попадал в такое мертвое ущелье, поднимался по склону на высоту возвышенности и уходил через плоскогорье дальше, в степь.

Суфьян сходил в свою пещеру, где он жил до прихода Чагатаева, и дал совет обосноваться всему народу по соседству с его пещерой: там есть широкая, просторная долина, поросшая степною травой, и мелкий ручей бежит посреди нее с Усть-Урта, не иссякая до середины лета. Народ пошел к той долине и по дороге нашел следы своих прежних становищ — еще в ханские времена. Там не осталось никаких заметных предметов, была лишь обычная пустошь, несколько горстей угля, комья глины, стоял кол от кибитки, забытый всеми, изъеденный жарой и ветрами и умерший; валялась погребенная в почву старая детская тюбетейка — Айдым почистила ее и надела себе на голову.

Долина, указанная Суфьяном, была хороша для жизни. Она имела травяной покров на долгом протяжении, и еще теперь — в конце лета — не вся трава умерла: среди пожелтевших стеблей попадались живые, зеленые былинки. Русло ручья было пусто, но в глубине Сары-Камыша, в одном-двух километрах, виднелось зеркало воды — озеро, куда стекал горный ручей весною и в начале лета; этого достаточно для существования. Когда люди вошли в устье долины, множество черепах побежало от их ног, и, удалившись, они медленно повернули свои шеи и поглядели на прибывших — каждая черепаха одним черным, зорким и милым глазом. Чагатаев обрадовался им; он теперь отдохнул и опомнился: по-прежнему все в жизни стало возможным, самая лучшая участь осуществима немедленно.

Он пошел вместе с Айдым далеко в глубь Усть-Урта, на его вымершие высокие равнины. Он искал там деревьев или хотя бы саксаула, растущего иногда по оврагам, — дерево нужно было для поделки хозяйственных инструментов и принадлежностей. По дороге Чагатаев поднял Айдым на руки, чтобы она не уморилась, и целовал ее в щеки, в глаза, в волосы — от этого ему становилось лучше на сердце. Он любил ощущать другую жизнь и другое тело, ему казалось, что там есть что-то более таинственное и прекрасное, более [существенное], чем в нем самом, и его здоровье и сознание часто улучшалось лишь оттого, что он имел возможность держать кого-нибудь за руку, как в свое время Веру и еще ранее ее другую женщину, студентку экономического института, любившую его, но умершую от

болезни в юности. Айдым тоже обнимала Чагатаева за голову и заглаживала пальцами две плешины в волосах — следы от орлиных ран; она помнила, что съела тогда сразу целого маленького орленка.

У Чагатаева был только перочинный нож, поэтому ему пришлось долго работать, чтобы подрезать и надломить одно небольшое дерево мягкой породы, росшее в одиночку среди каменистого ущелья, где не росло ничего другого, словно птица когда-то уронила семя этого дерева из воздуха.

В течение нескольких дней в долине Усть-Урта, избранной для жительства, работали только двое людей — Чагатаев и Айдым; остальные люди дремали в пещерках, которые они нарыли себе для ночлега в склонах долины, ловили черепах и готовили из них себе пищу, но ели мало, почти неохотно, и раз в сутки ходили на озеро пить воду. Три овцы и барана Чагатаев не велел трогать; он их оставил в запас, на крайнюю нужду. Назар пересчитал людей — кто жив, кто умер — и увидел, что не хватает одного ребенка — трехлетней девочки. Никто не мог ему сказать — ни отец ее, ни мать, ни прочие, где исчезла, умерла одна незаметно эта маленькая девочка, небольшой человек. Никто не запомнил, когда она была задута ветром и песком в пустыне и отошла от рук…

Чагатаев и Айдым стали носить глину для постройки первой курганчи, но им никто не помогал в работе. Когда Чагатаев привел работать Суфьяна и Старого Ваньку, как наиболее здоровых, то они отнесли два раза глину, а потом перестали. Они сели на землю и задумались, хотя по старости лет имели время уже все передумать и прийти к истине.

Тогда Чагатаев собрал всех людей и спросил их: имеют ли они намеренье жить? Никто ему ничего не ответил…

Многие бледные глаза глядели на Чагатаева с напряжением, чтобы не закрыться от немощи и равнодушия. Чагатаев почувствовал боль своей печали, что его народу не нужен коммунизм, — ему нужно забвение, пока ветер не остудит и не расточит постепенно его тело в пространстве. Чагатаев отвернулся ото всех; его действия, его надежды оказались бессмысленными. Нужно взять Айдым на руки и уйти отсюда навсегда. Он ушел в сторону и лег там в землю лицом. Он понимал, что, куда бы он ни ушел отсюда, он снова вернется обратно. Ведь его народ — наибольший бедняк на свете: он растратил все свое тело на хошарах и в нужде пустыни, он отучен от цели жизни и лишился сознания и своего интереса, потому что его желание никогда, ни в какой мере не осуществлялось, народ жил благодаря механическому действию своей скудной, ежедневной пищи — из черепах, черепашьих яиц и мелкой рыбы, которую он начал ловить в том водоеме, из которого пил воду. Осталась ли в народе хоть небольшая душа, чтобы, действуя вместе с ней, можно совершить общее счастье? Или там давно все отмучилось и даже воображение — ум бедняков — все умерло?.. Чагатаев знал по своей детской памяти и по московскому образованию, что всякая эксплуатация человека начинается с искажения, с приспособления его души к смерти, в целях господства, иначе раб не будет рабом. И насильное уродство души продолжается, усиливается все более, пока разум в рабе не превращается в безумие. Классовая борьба начинается с одоления «духа святого», заключенного в рабе; причем хула на то, во что верит сам господин — на его душу и бога, — никогда не прощается, душа же раба подвергается истиранию во лжи и разрушающем труде. Чагатаев помнил рассказ Старого Ваньки, как он однажды в Хиве, на дворе мечети, хотел убить павлина, чтобы продать его потом на чучело русскому купцу. В поспешности Старый Ванька бросил камень в павлина — в священную птицу, но не попал. Вдалеке, среди растительности, показался сторож или посторонний человек. Старый Ванька схватил в руку что попалось ему среди кустов и запустил в голову павлина этим предметом. Павлин сразу проглотил, скормился тем куском, какой бросил в него Ванька, и потом закричал своим подлым прерывистым криком, а Старый Ванька кинулся к нему, чтобы задушить его вручную, но не управился, потому что явившиеся мусульмане схватили Старого Ваньку, вытащили на улицу и начали бить, пока не решили, что он уже мертв, и тогда его бросили в бездействующий арык. Пока его увечили, Старый Ванька, держа руки на лице, понял по запаху своих рук, что он второй раз ударил

священного павлина куском засохшего кала. Старый Ванька выполз из канавы живым, но любил затем швырять во всех летящих и сидящих птиц чем-нибудь нечистым, особенно если это были голуби, — пока по истечении многих лет не потерял интереса к такому занятию.

Над головой Чагатаева засопело какое-то животное, он подумал — это овца. Но животное схватило пастью ухо Чагатаева и стало тереть его во рту между беззубыми деснами. Это была та же яростная и малосильная собака, которую Чагатаев видел в поселении своего народа на Амударье. Она не была с людьми в пустыне, она отбилась где-то или, может быть, осталась караулить одна покинутое становище, а потом, соскучившись, прибежала прямой дорогой в Сары-Камыш, где она тоже, очевидно, жила в прежние годы. Чагатаев взял собаку за голову и пригнул ее к земле, чтоб она легла. Собака покорно легла; она дрожала от утомления — старая, дикая, не в силах закончить и изжить свою мучительную жизнь и все еще уверенная в блаженстве своего существования, потому что в самом терпении ее, в худом дрожащем теле было добро.

Собака уснула рядом с Чагатаевым. Айдым одна месила голыми ногами глину, таская воду в бурдюке за два километра. Когда Чагатаев очнулся, кругом него сидело несколько человек людей, которые ожидали его пробуждения. Суфьян, самый старший человек, сказал Чагатаеву, что народ теперь нарочно не имеет души, не знает своего намерения, не льстится на лучшую пищу, он греется самым слабым теплом своего сердца, а сердце получает это тепло из травы, из черепах, из рыбы, из костей самого человека, когда ему нечего есть.

Суфьян склонился к уху Чагатаева, отодвинув собаку. Собака жадно и грустно глядела на людей. Темная, трудная надежда ее была в желании съесть всех людей, когда они умрут. Она пришла сюда не прямою отдельной дорогой, а следом за народом, идя на большом отдалении, и ела павших в песках людей, зарываясь днем глубоко в песок, чтобы ее не заметили степные орлы и прочие хищники. Суфьян сказал Чагатаеву:

— Ты думаешь плохо. Народ жить может, но ему нельзя. Когда он захочет есть плов, пить вино, иметь халат и кибитку, к нему придут чужие люди и скажут: возьми, что ты хочешь, — вино, рис, верблюда, счастье твоей жизни…

— Никто не даст, — ответил Чагатаев.

— Немного давали, — говорил Суфьян. — Горсть риса, чурек, старый халат, вечернюю песню бахши мы имели давно, когда работали на байских хошарах…

— Мать велела мне самому кормиться, когда я был маленький, — сказал Чагатаев. — Мы мало имели, мы умирали.

— Мало, — произнес Суфьян. — Но мы всегда хотели много: и овец, и жену, и воду из арыка — в душе всегда есть пустое место, куда человек хочет спрятать свое счастье. И за малое, за бедную, редкую пищу, мы работали, пока в нас не засыхали кости.

— Это вам давали чужую душу, — сказал Чагатаев.

— Другой мы не знали, — ответил Суфьян. — Я тебе говорю, если за маленькую еду мы делались от работы и голода как мертвые, то разве хватит даже нашей смерти, чтобы заработать себе счастье?

Чагатаев поднялся на ноги.

— Хватит одной жизни! Теперь наша душа в мире, другой нет.

— Я слыхал, — равнодушно сказал Суфьян, — мы знаем — богатые умерли все. Но ты слушай меня, — Суфьян погладил старый московский башмак Чагатаева, — твой народ боится жить, он отвык и не верит. Он притворяется мертвым, иначе счастливые и сильные придут его мучить опять. Он оставил себе самое малое, не нужное никому, чтобы никто не стал алчным, когда увидит его.

Суфьян ушел с теми людьми, какие были с ним. Чагатаев отправился к Айдым и работал с ней до вечера. Вечером он уложил ее спать в сухой пещерке, а сам работал опять, готовя из глины и растертой старой травы саманные кирпичи на постройку первого жилища. Вокруг него и во всей долине никого не было; все люди куда-то разошлись — может быть, ушли ловить черепах или ловить рыбу на озере. Чагатаев работал все более быстро и рационально. Поздно ночью он поднялся по склону на плоскогорье посмотреть, куда ушли

все люди. Было всюду видно от чистой высокой луны; свет стоял над безлюдным Усть-Уртом, покрывая тенью гор впадину Сары-Камыша, и опять занимался далее над влекущей пустыней, уходящей к горам Ирана. Три овцы и баран паслись в соседнем мелком ущелье, с шумом ворочаясь в кучах перекати-поля, ища зеленые живые стебли. В черной тени Усть-Урта, где начинался Сары-Камыш, горел маленький огонь костра, немного далее костра лежало слабое облако тумана над озером. Чагатаев сошел с возвышенности и направился к огню. Через полчаса он подошел достаточно близко и увидел, что вокруг костра, где тихо сгорал саксаул, сидел весь народ. Он пел песню и не видел Чагатаева. Чагатаев заслушался той песни; в детстве он слышал много песен от бахши, от матери, от разных стариков — песни были прекрасные, но жалкие. Эта же песня имела незнакомый смысл, в ней было чувство, не родное его народу, но зато подходящее для него более, чем печаль. Чагатаев расслышал даже тихий, стыдящийся голос своей матери. В песне говорилось: мы не заплачем, когда придут к нам слезы, мы не улыбнемся от радости, и никто не достигнет нашего глубокого сердца, которое выйдет само к людям и ко всей жизни и протянет к ним руки, когда настанет его светлое время, и время это близко: мы слышим, как спешит в нашем сердце душа, желая выйти к нам на помощь… Песня окончилась. Старый Ванька шевелил палкой костер и вытаскивал оттуда испекшиеся рыбки, пробуя их — готовы они или нет, а неиспекшихся кидал обратно.

Чагатаев, не обнаруживая себя перед людьми, ушел обратно. Он снова взялся делать кирпичи на становище и работал, пока не растаяла луна на небе и не взошло солнце. Утром он увидел, что народ все еще сидел около потухшего костра, а Старый Ванька двигался и метался всем телом, — должно быть, плясал. Чагатаев решил не оставлять своей работы, поскольку ночь уже прошла и спать не время. Он формовал кирпичи в глиняных формах, затрачивая в труд всю силу своего сердца. Айдым все еще спала, Чагатаев изредка подходил к углублению, в котором она лежала, и покрывал ее травой от мух и насекомых: пусть она набирает себе тело во сне — в рост и на долгую жизнь. Около полудня к Чагатаеву пришел Старый Ванька, он снял штаны, сшитые ему Айдым из разных кусков, вместо изношенных ранее, влез в яму, куда была завалена глина с водой, и начал месить ее худыми, жесткими ногами.

16

К осени в долине Усть-Урта было построено четыре небольших дома из саманного кирпича, окруженных общим дувалом. В этих жилищах, не имевших окон, за отсутствием стекла, разместился весь народ, впервые прочно укрывшись от ветра, от холода и мелкой, летающей, жалящей твари. Некоторые из людей долго не могли привыкнуть спать и жить за глухими стенами — через короткие промежутки времени они выходили наружу и, надышавшись там, насмотревшись на природу, возвращались со вздохом назад, в жилище.

По предложению Чагатаева народ избрал свой Совет трудящихся, куда членами вошли все люди, в том числе и Айдым, как активистка, а Суфьян стал председателем.

Весь народ джан теперь жил, не чувствуя ежедневно своей смерти, и трудился над добычей пищи в пустыне, в озере и на горах Усть-Урта, как обычно живет в мире большинство человечества. Чагатаев добился даже, чтоб каждый день был у всех обед; он знал, что это очень важно, так как обедает лишь меньшинство людей, живущих на земле, большинство — нет. Айдым хорошо вела хозяйство и заставляла всех искать и приносить пищу: траву, рыбу, черепах и мелких существ из горных ущелий; она сама вместе с Гюльчатай растирала съедобные травы, чтобы получалась мука, и своевременно указывала Суфьяну, что надо делать травяные сети для птиц, которые садятся около озера пить воду. Кто забывал свою обязанность жить и кормиться, тем Айдым говорила при всех, что когда она подрастет немного, то нарожает совсем других людей, не таких, как эти, ничтожные, которых приходится кормить ей, малолетней; ведь их матери кровью заливались, а они родились и живут, как из одолжения; вот она выроет завтра с Назаром большую яму — пусть

ложатся все, кому не нравится на свете!

— Нам несчастных не нужно, — говорила Айдым, — глаз вырву и на стенку повешу его, будешь тогда смотреть на свой глаз, косой человек!..

Но Чагатаев был недоволен той обыкновенной, скудной жизнью, которой начал теперь жить его народ. Он хотел помочь, чтобы счастье, таящееся от рождения внутри несчастного человека, выросло наружу, стало действием и силой судьбы. И всеобщее предчувствие, и наука заботятся о том же, о единственном и необходимом: они помогают выйти на свет душе, которая спешит и бьется в сердце человека и может задохнуться там навеки, если не помочь ей освободиться.

Вскоре выпал снег. Чагатаеву и всем людям все более трудно приходилось с добычей пищи. Черепахи спрятались и уснули; великие стаи птиц пролетели над Усть-Уртом с севера на юг, они не спустились пить воду на маленькое озеро и не заметили живущего внизу небольшого человечества. Корни съедобных трав обмерли и сделались невкусными, рыба в водоеме ушла ближе ко дну, в сумрак покоя. Чагатаев понимал все эти обстоятельства. Он решил сходить один в Хиву на пищевые базы и привезти оттуда продовольственную ссуду для народа на всю зиму. Айдым зашила ему обветшалую порванную одежду, он починил себе обувь деревянными самодельными гвоздями и узкими ремешками из овечьей кожи. Затем он попрощался с каждым человеком и, велев ждать его скоро, начал спускаться во впадину Сары-Камыша. Он не взял из экономии никакой пищи с собой, рассчитав, что покроет все расстояние натощак в течение трех дней.

Чагатаев исчез в туманном далеком воздухе пустых мест, Айдым сидела на горном склоне и плакала слезами из черных блестящих глаз, она думала, что больше Назар никогда не вернется. Но в следующие дни Айдым ни разу не управилась заплакать о Чагатаеве: ее заняли заботы по хозяйству, нужда и ответственность, чтоб люди жили и не умерли. Она только вздыхала иногда, как бедная старушка. Народ все еще работал слабо, он не был убежден, что жизнь есть преимущество, его отучили от этого баи на хошарах, и он не ценил своего существования, а наслаждения, даже от пищи, вовсе не понимал.

Больше всего работы теперь, после ухода Чагатаева, приходилось на Айдым. Но ее работа не мучила, она знала от Чагатаева, что богатых нет, а она самая бедная и ей будет скоро хорошо, а потом еще лучше.

Через три дня отсутствия Чагатаева Айдым вспомнила о нем и сморщила лицо, чтобы заскучать и заплакать, но был уже вечер, ей надо поскорее отыскать овец и барана, которые забрались куда-то в дальние лощины, и она решила потосковать о Чагатаеве отдельно, когда ляжет спать. Когда она гнала овец обратно к общей курганче, то неизвестный свет ослепил ее. Около глиняных домов горели такие ясные огни, каких Айдым никогда не видела. Она остановилась и хотела уйти назад, чтобы спрятаться с овцами в пещере или в глухой, далекой пропасти, а завтра днем вернуться и посмотреть, что здесь будет. Она взяла барана за рог, а сама все глядела на огни около глиняных домов; интерес и удивление одолели в ней страх, она повела маленькое стадо домой. Она думала: огни — это либо звери, либо умное такое — оттуда, где живут большевики.

Айдым увидела фигуру Чагатаева, прошедшего мимо огня. Она побежала к нему и, дрожа, зажмурившись, ухватилась за его ногу. Чагатаев поднял ее к себе на руки и отнес спать в дом на травяную постель, а сам вернулся наружу разгружать автомобили. Он встретил их на второй день своего пути, на выходе из Сары-Камыша в пустыне. По распоряжению из Ташкента два грузовых автомобиля вышли из Хивы еще четыре дня назад. На одной машине были мясные консервы, рис, галеты, мука, лекарства, керосин, лампы, топоры и лопаты, одежда и прочее добро, а на другой — двое людей, бочки с бензином, масло и запасные части.

Из Ташкента велели разыскать в районе Сары-Камыша или между Усть-Уртом и Аральским морем кочующее племя джан и помочь ему всеми средствами, а впредь до нахождения того племени или следов его, свидетельствующих об общей гибели людей, машинам назад не возвращаться.

К полночи машины были полностью разгружены, и Чагатаев сел писать доклад в Ташкент о положении народа джан, пока шоферы и начальник экспедиции заправляли машины в обратный путь. Чагатаев писал до рассвета; он предлагал в конце своего письма дать возможность оправиться народу от многолетних бедствий (теперь эта возможность дана, и народ сыто перезимует, пользуясь присланной помощью республики), а самое главное — каждому здешнему человеку нужно вновь нажить себе прожитое почти до внутренних костей, истощившееся тело, в котором слишком слабо сейчас действует чувство и сознательная мысль.

Чагатаев отдал письмо начальнику, и автомобили поехали в Хивинский оазис. Еще все люди спали, было рано, в Сары-Камыше лежал снег. Чагатаев взял топор и лопату, разбудил Старого Ваньку и Тагана и пошел с ними корчевать саксаул. В полдень они возвратились с дровами. Айдым растопила печки сухою травой и стала готовить обед из новой пищи, которую почти никто не пробовал в жизни.

Консервное мясо и рис сразу насытили людей, но они утомились от этой еды настолько, что все заснули после обеда. Вечером Чагатаев велел опять приготовить, второй обед и сам начал делать лепешки из белой муки, потом приготовил еще чай и кофе, кому что будет нравиться. Наевшись вторым обедом, народ проспал до следующего полудня. Чагатаев знал, что такое питание немного вредно, но он спешил накормить людей, чтобы в них окрепли их кости и чтобы они приобрели бы хоть немного того чувства, которым богаты все народы, кроме них, — чувство эгоизма и самозащиты.

Третий обед готовил Суфьян. Он когда-то видел, что ели баи в Хорезме, и сделал приблизительно разные кушанья на память.

Чагатаев с наслаждением наблюдал, как ест его народ — без жадности, осторожно сберегая пищу у рта, с сознанием необходимости и с кроткой задумчивостью, точно представляя в своем воображении лица и душу тех людей, которые тяжко добыли эту пищу и подарили им ее.

Чагатаев терпеливо жил дальше, подготовляя тот день, когда он начнет осуществлять настоящее счастье общей жизни, без которого нечем заниматься и сердцу стыдно. Изредка он говорил с матерью, она ничего теперь не просила у него, только гладила его ноги и тело поверх одежды; он держал ее согнутую голову близ своего живота и думал о том, что ему надо сделать, чтобы искупить и утешить это почти уничтоженное существо, внутри которого он начал жить. Он не знал, что его мать вспоминала о нем лишь благодаря укорам со стороны Айдым и втайне утирала слезы, понимая, что надо любить сына, и не имея, не помня его больше в своем чувстве; поэтому она трогала его, как всякого чужого и доброго.

Через несколько дней сильно захолодало, в одном доме пришлось жарко истопить печь и заодно приготовить обильный обед, потому что печь служила и для тепла и для кухни. В других домах печей не было устроено. Сильный ветер дул с высот Усть-Урта и нес в воздухе мелкий обледенелый снег. Айдым привела овец в горницу дома, где ночевала сама, и оставила их там на ночь. Чагатаев с трудом привез воду с озера на самодельной тачке в пяти бурдюках; он поднимался на плоскогорье против обрушивающегося на него ветра и толкал тачку в упор с большим напряжением. И этот ветер, и ранняя зимняя тьма во всем мире, и пустая смертная впадина Сары-Камыша, куда хотел свалить и унести Чагатаева ветер, — все убеждало Назара в необходимости особой, другой жизни.

В одном жилище шевелились люди, внутри его горел свет из открытого входа. Там кончили обедать и дремали; Айдым гремела новой посудой, убирая всякую нечистоту и остатки, и говорила людям, чтобы они ложились сегодня на ночь здесь, где было натоплено; пусть будет тесно, но зато тепло.

Времени было часов шесть, но весь народ уже улегся в одной горнице, близко друг к другу, и спал в тесноте, как в блаженстве. Чагатаев пообедал стоя, сесть было негде. Айдым пошла ночевать в другой дом, куда она загнала овец, и туда же пошел спать Чагатаев.

Наутро пошла метель, но потеплело. В общей курганче не было никакого звука, хотя вовсе рассвело. Айдым спала в тепле среди двух овец. И овцы спали, один баран глядел как

безумный на Чагатаева. Чагатаев не хотел будить Айдым, но сам пошел в теплый дом, где спали все люди. Там он зажег лампу и осмотрелся.

Народ спал в том же положении, как вчера, точно никто не повернулся за долгую ночь. Многие лица лежали теперь в постоянной улыбке. Слепой Молла Черкезов спал с открытыми глазами, подложив левую руку под спину Гюльчатай, чтобы постоянно чувствовать и хранит ее. Старый перс по прозвищу Аллах глядел вполовину одного ясного глаза, и Чагатаев не мог понять, что видит и думает сейчас этот человек, какое желание души скрывается в нем: то ли самое, что у Чагатаева, или совсем иное.

Весь остальной день Чагатаев просидел около Айдым, любуясь ее лицом, ее дыханием, рассматривая румянец юности, который все более покрывал ее щеки по мере течения долгого сна. Овец он выпустил на снег — пусть они пороются и поваляются в чистоте зимы. Затем Чагатаев взял руку Айдым в свои руки, молчаливо радуясь, что вокруг этого бедного, нежного существа железной стеной защиты стоят большевики и он сам лишь для того здесь и находится.

К вечеру Айдым проснулась. Она поругала Чагатаева — зачем он ее не разбудил раньше и у нее весь день пропал. Чагатаев сказал ей, чтоб она пошла [потрогала] остальной народ — он тоже лежит, не поднимается. Айдым, услышав такое, даже вскрикнула от ожесточения и побежала в соседний дом. Айдым подняла травяной мат над входом, чтобы холод обдал людей и они проснулись бы. Однако спящие только теснее прижимались друг к другу, съеживались, ухмылялись и спали по-мертвому.

Прошла вторая ночь. Наутро Чагатаев опять осмотрел спящих. Лица их еще более изменились, чем вчера. Старый Ванька покраснел от оживления, и теперь ему на вид было лет сорок; даже ветхий Суфьян подобрел наружностью и имел сейчас в выражении лица какую-то заинтересованность. Кара-Чорма, человек лет шестидесяти, лежал розовый и опухший и дышал воздухом с глубоким чувством, как будто питаясь влагой во время жажды. Склонившись к матери, Чагатаев не увидел изменения в ее лице; Гюльчатай, горный цветок, могла совсем не проснуться, ее глаза завалились, щеки потемнели, печать земли легла на нее. Зрачки Моллы Черкезова по-прежнему были открыты, в них появился далекий блеск, как будто проникавший из глубины мозга, и Чагатаеву показалось, что у этого человека появилось теперь зрение.

Назар истопил печь для тепла и пошел с Айдым гулять; впервые за много месяцев он имел свободный час. Метель прекратилась еще ночью; сейчас падал редкий последний снег, и на самой высокой террасе Усть-Урта уже блестел солнечный свет, веселый, ослепительный, обещающий вечное торжество. Айдым смеялась и бегала по снегу; она исчезала далеко, проваливалась в ущелья, забитые снегом, и неожиданно кидалась сзади Чагатаеву на шею. Наконец он схватил ее к себе на руки и побежал с нею к пропасти. Она заметила его намерение.

— Бросай, я не умру! — сказала Айдым.

Во время возвращения домой Айдым шла самостоятельно, рядом, и спросила Чагатаева:

— Назар, они когда проснутся?

— Скоро, скоро… Может, просыпаются уже.

Айдым задумалась.

Печь в доме еще не угасла совсем. Чагатаев растопил ее снова, и вместе с Айдым они сварили обед на весь народ, на всякий случай.

К вечеру некоторые из людей начали просыпаться. Первым проснулся Суфьян, затем Старый Ванька и Молла Черкезов, в полночь встали все, кроме Гюльчатай. Она умерла.

Чагатаев перенес ее в свободный, холодный дом и положил на постель из высохшей травы. Опомнясь от долгого сна, народ сел обедать в теплом глиняном жилище, а Чагатаев лег рядом с матерью и уснул.

Айдым кормила народ обедом и попрекала его, что он спит по две ночи подряд, а жить одну жизнь не может. Старый Ванька захохотал над нею.

— Теперь мы помрем! — говорил он. — Не горюй о нас, девчонка…

На ночь Айдым ушла в дом, где лежал Чагатаев с покойной матерью. Она смирно улеглась в углу и сразу уснула. На рассвете она поднялась и вышла по хозяйству. Натопленный дом, где остался ночевать народ, был пуст от людей, в других двух домах тоже никого не оказалось. Айдым осмотрела и приблизительно сосчитала все вещи и принадлежности, все общее добро, пошла в то помещение, где лежал запас продовольствия, привезенный из Хивы; обеспокоившись, потрогала даже стены домов и ничего не узнала нового. Продовольствие было все цело. Как она вчера брала консервные банки на обед, так они и теперь лежали. Мешки с рисом и мукой тоже стояли нетронутые. Может, что-нибудь и пропало, но немножко, может быть — табак и спички, которые брали всегда без счету.

Она поднялась по склону из долины на плоскогорье. Маленькое солнце освещало всю большую землю, и света хватало вполне. Снег блестел по Сары-Камышу и на высотах Усть-Урта. Дул слабый ветер, но из чистого неба шло тепло, и было хорошо кругом в пространстве. Прижмуриваясь, Айдым долго наблюдала окрестности и заметила четверых людей. Все они шли по одному человеку, на большом удалении друг от друга. Один уходил по Сары-Камышу туда, где садится солнце, другой брел по нижним склонам Усть-Урта к Амударье, еще двое исчезали порознь по дальнему плоскогорью, пробираясь через горы в ночном направлении.

Айдым разбудила Назара. Чагатаев ушел один за несколько километров; он поднялся на самую высокую террасу, откуда далеко виден мир почти во все его концы. Оттуда он рассмотрел десять или двенадцать человек, уходящих поодиночке во все страны света. Некоторые шли к Каспийскому морю, другие к Туркмении и Ирану, двое, но далеко один от другого, к Чарджую и Амударье. Не видно было тех, которые ушли через Усть-Урт на север и восток, и тех, кто слишком удалился ночью.

Чагатаев вздохнул и улыбнулся: он ведь хотел из своего одного небольшого сердца, из тесного ума и воодушевления создать здесь впервые истинную жизнь, на краю Сары-Камыша, адова дня древнего мира. Но самим людям виднее, как им лучше быть. Достаточно, что он помог им остаться живыми, и пусть они счастья достигнут за горизонтом…

Он медленно пошел обратно и по дороге заплакал.

Ему все же казалось, Что, несмотря на все бедствия, здесь была или начиналась счастливая жизнь и она возможна в маленьком народе, в четырех избушках, настолько же, насколько за любым горизонтом земли. Он вынул из снега куст перекати-поля и принес его в тот дом, где лежала его мать. Чагатаев тоже провожал ее сейчас в дорогу, как она его в детстве когда-то.

Айдым сидела одна в углу против мертвой старухи. Она ее боялась, и ей было интересно глядеть на нее, на то, что делается уже невидимым.

— Назар, хочешь, я поплачу по ней? — спросила Айдым.

— Не надо, — сказал Чагатаев. — Ступай напои овец. С тобой прощался кто-нибудь?

— Нет, я спала, — ответила Айдым. — Старый Ванька мне сказал, когда я уходила…

— Что он сказал?

— Прощай, девка, сказал, теперь ноги ходят помаленьку и живот дышит, пора жить наступила. Больше ничего не сказал.

— А ты что?

— А я ничего… Я ему: у ишаков тоже ноги ходят.

— Почему — у ишаков?

— На всякий случай сказала!

Айдым пошла управляться с овцами, а Чагатаев взял лопату и ушел рыть могилу на плоскогорье. К вечеру он вернулся и отнес мать в землю; Айдым прибирала в то время теплую горницу, где был на постое целый народ, откочевавший неизвестно куда. Айдым засмеялась: даже слепой Молла Черкезов ушел, неужели его глаза что-нибудь увидели, как только он наелся много еды?..

17

Чагатаев и Айдым решили зимовать в четырех глиняных домах… Назар, лишенный сразу всех людей, о которых он заботился, ходил теперь один по пустым склонам Усть-Урта. Айдым стряпала обед, чинила одежду, убирала овец или делала что-нибудь другое по хозяйству — на двоих оказалось лишь немного меньше работы, чем на весь народ джан, — и время от времени она выходила глядеть наружу, чтобы Назар далеко не уходил, потому что ему, наверно, скучно жить с одной Айдым. Но Чагатаев скучал по бежавшему народу недолго; он бродил несколько дней в удивлении, что он оказался ненужным для своей родины и люди одной земли с ним предали его забвению в своей памяти, оставив его и самую младшую, единственную свою дочь сиротами в пустыне. Чагатаев не понимал равнодушного, окончательного забвения; он помнил людей неизвестных и давно умерших, — даже тех, которые ему были бесполезны и самого его не знали, — ведь иначе если погибших и исчезнувших быстро забывать, то жизнь вовсе сделается бессмысленной и жалкой: тогда останется помнить только одного себя. Однако долго терпеть печаль одиночества и разлуки Чагатаев не мог. Он стал приживаться к обстоятельствам: к Айдым, к овцам, к опустевшим домам, к мелким животным, проживающим повсюду в природе, и к Обмершему кустарнику.

Назар находил в укромных, теплых пещерках оврагов спящих черепах и приносил их домой. Некоторые из них отогревались от зимы и оживали, другие оставались жить спящими, собирая силы для долгого будущего лета… Чагатаев чувствовал с удивлением, что можно существовать и совместно с одними животными, с беззвучными растениями, с пустыней на горизонте, если иметь в ближнем жилище хотя бы одного человека, — пусть даже это будет ребенок, как Айдым. И здесь — в бедной природе Усть-Урта, на ветхом дне Сары-Камыша — есть важное дело для целой человеческой жизни. Не может быть, чтобы все животные и растения были убогими и грустными — это их притворство, сон или временное мучительное уродство. Иначе надо допустить, что лишь в одном человеческом сердце находится истинное воодушевление, а эта мысль ничтожна и пуста, потому что и в глазах черепахи есть задумчивость, и в терновнике есть благоухание, означающие великое внутреннее достоинство их существования, не нуждающееся в дополнении душой человека. Может быть, им требуется небольшая помощь со стороны Чагатаева, но превосходство, снисхождение или жалость им не нужны…

По вечерам Айдым зажигала лампу. Она садилась за столом против Назара и делала что-нибудь, чего не успела сделать днем: расчесывала себе блестящие, черные волосы, набирала ковер из старых тряпок и мешочных ушивок, рассматривала с улыбкой картинки в книгах, не понимая, что они изображают, или просто глядела на Чагатаева, не сводя с него глаз, и разгадывала, что он думает — про нее или про другое.

— Назар, — спросила Айдым в один долгий вечер. — Назар, а отчего мы живем? Нам будет хорошо за это?

— А тебе плохо сейчас со мной? — сказал Чагатаев в ответ.

— Нет, мне хорошо теперь, — произнесла Айдым и послюнявила штопку во рту. — Я просто так себе сказала, потому что у меня во рту говорится что-нибудь…

Ее большие, открытые темные глаза были наполнены блестящей силой детства и зачинающейся юности, — они смотрели на Чагатаева с доверчивым интересом и сами по себе были предметами счастья, если глядеть на них со стороны. И если даже обмануть доверие Айдым, то она все равно простит свою обиду: ей надо жить дальше и долго томиться каким-либо мученьем она не может.

— Назар, чего я всегда ожидаю? — опять спросила Айдым. — Отчего мне кажется такое важное, а потом ничего не бывает… Отчего у меня сердце начинает болеть?

— Ты растешь, Айдым, — сказал Чагатаев. — Пусть тебе кажется что-нибудь в голове, пусть твое сердце начинает болеть — ты не бойся, без этого горя жизнь не бывает.

— Не бывает, — согласилась Айдым. — А я не хочу, чтоб это было. У твоей матери

сердце от голода болело, она мне сама говорила… Пускай у нас теперь другое горе будет, интересное,* а не такое. Такое надоело. Ты выдумай что-нибудь […]

Чагатаев привлек к себе Айдым и приласкал ее, поглаживая девочку по большой, все еще детской голове.

— Научи меня, чтоб я лучше не думала, а то я боюсь: мне кажется страшное! — сказала Айдым.

— Но ведь у тебя не от голода душа начинает болеть? — спросил Чагатаев.

— Не от голода, — ответила Айдым. — У меня от чувства… Назар, отчего я чужая?

— Кому ты чужая, Айдым? — спросил Чагатаев.

— Народ жил с нами, а теперь весь раскочевался, — сказала Айдым. — Ты тоже скоро уйдешь, кто тогда меня помнить будет?

— Я от тебя не уйду, — пообещал Чагатаев.

— Назар, скажи мне что-нибудь главное…

Айдым привернула фитиль в лампе, чтобы меньше тратилось керосина. Она понимала — раз есть что-нибудь главное в жизни, надо беречь всякое добро.

— Главного я не знаю, Айдым, — сказал Чагатаев. — Я не думал о нем, некогда было… Раз мы с тобою родились, то в нас тоже есть что-нибудь главное.

Айдым согласилась:

— Немножко только… а неглавного — много.

Айдым собрала ужинать — вынула чурек из мешка, натерла его бараньим салом и разломила пополам: Назару дала кусок побольше, себе взяла поменьше. Они молча прожевали пищу при слабом свете лампы. Тихо, неизвестно и темно было на Усть-Урте и в пустыне.

После ужина Чагатаев вышел наружу, чтобы посмотреть, что сейчас делается в мире, и послушать — не раздастся ли чей-нибудь человеческий голос во тьме… Где теперь бродит Старый Ванька или Кара-Чорма и неужели Молла Черкезов видит свет своими глазами?

Айдым тоже вышла из жилища и позвала Назара:

— Иди спать ложись, а то я огонь в лампе потушу…

— Туши, — ответил Назар, — я потом опять его зажгу.

— Нет, лучше не надо: ты спички будешь тратить! — сказала Айдым. — Ты в темноте ложись…

Айдым ушла в дом. Чагатаев сел на землю и осмотрелся. Слабая ночь шла над ним; ветра не было, звезды изредка показывались на небе — их застил высокий, легкий туман. Снег остался лишь в далеких, возвышенных овражных распадках Усть-Урта, его уже отовсюду согнал ветер и стравило полуденное солнце. А в другую сторону, на юг, лежала бедная, родная пустыня, покрытая пустым небом; иногда, на мгновение, пустыня вдруг озарялась мерцающим неизвестным светом, и там чудились горы, города, население людей, большая, влекущая жизнь. Но на самом деле там сейчас спали черепахи, зябло семя прошлогодних трав и мелкий, местный ветер зачинался в песке и ложился обратно в него. Чагатаев сошел вниз, поближе к Сары-Камышу, и окликнул темное пространство. Ему ничто оттуда не ответило, и даже голос его не отозвался обратно, — звук сразу заблудился и исчез.

Чагатаев вернулся домой. Айдым спала под одеялом и больше не слышала ничего, ей снились ее детские сны, и она занята была тем, что видела в самой себе. Назар зажег лампу, наложил в сумку чуреков и оделся в ватный пиджак и шапку-папаху. Затем он приоткрыл одеяло и посмотрел в лицо Айдым, — оно было оживленным, внимательным, и глаза ее, не вполне спрятанные веками, были в движении, следя за тайными событиями в своей душе.

— Айдым, — прошептал ей Чагатаев.

Айдым открыла сначала один глаз, потом другой.

— Спи, Назар, — сказала она.

— Нет, я сейчас не буду, — ответил Чагатаев. — Я пойду народ соберу, я скоро вернусь.

— Приходи скорее, — попросила Айдым.

— Ты не скучай без меня, — сказал Назар.

— Не буду, — пообещала Айдым. — Ступай скорее, а то они ослабеют — они теперь набегались, наигрались, им пора домой.

Чагатаев тронул рукой голову Айдым и пошел от нее, но Айдым велела ему сначала потушить лампу, потому что ночь еще долга, а свет ей не нужен.

Погасив лампу, Чагатаев оставил дом и отправился по нагорью в сторону Хивы. Оглянувшись вскоре на местопребывание своего народа, Чагатаев уже не увидел там ничего, — и лишь незаметно среди всего мира и природы осталась одна уснувшая девочка Айдым. Но это ничего, ей горя мало — в домах лежит рис, мука, соль, керосин, спички тоже есть, а счастье и терпение пусть она добывает в одном своем сердце, пока н? вернется к ней остальной народ.

Чагатаев шел быстро; рассвет его застал уже в глуши Сары-Камыша; а темный Усть-Урт, еще находившийся в ночи, был теперь на последнем отдалении и погружался своим основанием за край земли… На третий день пути Чагатаев пришел в Хиву. Там бывали большие базары, куда приходили люди из пустыни, чтобы посмотреть на торговое добро, купить что-либо для удовлетворения своей крайней нужды и повидаться друг с другом. Назар надеялся, что на хивинском базаре он встретит людей своего племени и уведет их обратно домой. Они неминуемо должны явиться в толпу чужого народа; им ведь нужно было послушать слухи и разговоры, посидеть в чайхане, снова почувствовать свое достоинство и задуматься о старой песне, которую споет и сыграет бахши на дутаре. В глиняных жилищах на Усть-Урте еще мало было обыкновенного, житейского, а без него нигде не живется человеку.

Чагатаев появился на хивинском базаре около полудня. Солнце, уже пошедшее на лето, хорошо освещало сорную землю базара, и земля согревалась теплом. Вокруг базара стояли дувалы жителей, около их глиняных стен сидели торгующие у своих товаров, разложенных по земле. Посреди площади, на низких деревянных столах, тоже шла торговля добром пустыни.

Здесь лежал урюк в небольших мешках, засушенные дыни, овечьи сырые шкурки, темные ковры, вытканные руками женщин в долгом одиночестве, с изображением всей участи человека в виде грустного повторяющегося рисунка; затем целый ряд был занят небольшими вязанками дров — саксаульника, и далее сидели старики на земле — они положили против себя старинные пятаки и неизвестные монеты, железные пуговицы, жестяные бляхи, крючки, старые гвозди и железки, солдатские кокарды, пустые черепахи, сушеные ящерицы, изразцовые кирпичи из древних, погребенных дворцов, — и эти старики ожидали, когда появятся покупатели и приобретут у них товары для своей нужды. Женщины торговали чуреками, вязаными шерстяными чулками, водой для питья и прошлогодним чесноком. Продав что-нибудь, женщина покупала для себя у стариков жестяную бляху на украшение платья или осколок изразцовой плитки, чтобы подарить его своему ребенку на игрушку, а старики, выручив деньги, покупали себе чуреки, воду для питья или табак. Торговля шла тож на тож, без прибыли и без убытка; жизнь, во всяком случае, проходила, забывалась во многолюдстве и развлечении базара, и старики были довольны. В некоторых дувалах, расположенных вокруг базара, в их внутренних дворах, находились чайхане; там сейчас шумели большие самовары и люди вели свою старую речь между собой, вечное собеседование, точно в них не хватало ума, чтобы прийти к окончательному выводу и умолкнуть. Пожилой, коричневый узбек пошел в одну чайхане; он понес за спиной сундук, обитый железом по углам, — и Чагатаев вспомнил этого человека: он видел его еще в детстве, и узбек тогда тоже был коричневый и старый. Он ходил по аулам и городам со своим инструментом и матерьялом в сундуке и чинил, лудил и чистил самовары во всех чайхане; сажа и копоть работы, ветер пустыни при дальних переходах въелись в лицо рабочего человека и сделали его коричневым, жестким, с нелюдимым выражением, и маленький Назар испугался пустынного самоварного мастерового, когда увидел его в первый раз. Но рабочий-узбек тогда же первый поклонился мальчику, подарил ему согнутый гвоздь

из своего кармана и ушел неизвестно куда по Сары-Камышу; наверно, где-нибудь в дальних песках потух самовар. Около мусорного ящика, прислонившись к нему, стояла туркменская девушка; она прижимала рукою яшмак ко рту и смотрела далеко поверх базарного народа. Чагатаев тоже поглядел в ту сторону — и увидел на краю пустыни, низко от земли, череду белых облаков, или то были снежные вершины Копетдага и Парапамиза, или это было ничто, игра света в воздухе, кажущееся воображение далекого мира. О чем же думала сейчас душа этой девушки, — неужели до нее не жили старшие люди, которые за нее должны были передумать все мучительное и таинственное, чтобы она родилась уже на готовое счастье? Зачем раньше ее люди жили, если она, эта туркменская незнакомая девушка, стоит теперь озадаченная своей мыслью и печалью? Насколько же были несчастными ее родители, все ее племя, если они ничем не могли помочь своей дочери, прожили зря и умерли, и вот она стоит опять одна, так же как стояла когда-то ее нищая молодая мать… Лицо этой девушки было милое и смущенное, точно ей было стыдно, что мало добра на свете: одна пустыня с облаками на краю, да этот базар с сушеными ящерицами, да ее бедное сердце, еще не привыкшее к нужде и терпению.

Чагатаев подошел к ней и спросил, откуда она и как ее зовут.

— Ханом, — ответила туркменка, что по-русски означало: девушка или барышня.

— Пойдем со мной, — сказал ей Чагатаев.

— Нет, — постыдилась Ханом.

Тогда Чагатаев взял ее за руку, и она пошла за ним.

Он привел ее в чайхане и поел вместе с нею горячей пищи из одной чашки, а затем они стали пить чай и выпили его три больших чайника. Ханом задремала на полу в чайхане; она утомилась от обилия пищи, ей стало хорошо, интересно, и она улыбнулась несколько раз, когда глядела вокруг на людей и на Чагатаева, она узнала здесь свое утешение. Назар нанял у хозяина чайхане заднюю жилую комнату и отвел туда Ханом, чтоб она спала там, пока не отдохнет.

Устроив Ханом в комнате, Чагатаев ушел наружу и до вечера ходил по городу Хиве, по всем местам, где люди скоплялись или бродили по разной необходимости. Однако нигде Назар не заметил знакомого лица из своего народа джан: под конец он стал спрашивать у базарных стариков, у ночных сторожей, вышедших засветло караулить имущество города, и у прочих публичных, общественных людей, не видел ли кто-нибудь из них Суфьяна, Старого Ваньку, Аллаха или другого человека, и говорил, какие они из себя по наружности.

— Бывают всякие люди, — ответил Чагатаеву один сторож-старик, по народности русский. — Я их не упоминаю: тут ведь Азия, земля не наша.

— А сколько лет вы здесь живете? — спросил Чагатаев.

Сторож приблизительно подумал.

— Да уж близу сорока годов, — сказал он. — По правилу, по нашей службе надо б каждого прохожего запоминать: а может, он мошенник! Но мочи нету в голове, я уж чужой силой, сынок, живу, — свою давно прожил…

И другие старые жители Хивы или служащие тоже ничего не сообщили Чагатаеву, как будто никто из блуждающего народа джан здесь не появлялся. По справке в управлении милиции оказалось, что все души, числившиеся в племени джан, вымерли еще до революции и никакой заботы о них больше не надо.

К вечеру Чагатаев вернулся в жилую комнату в чайхане. Ханом уже проснулась; она сидела на кровати и занималась домашней работой — чинила себе платье в подоле запасной ниткой, наващивая ее во рту. Должно быть, ей каждое место приходилось считать своим домом и сразу обвыкаться с ним; иначе, если бы она откладывала свою нужду и заботу до того времени, как у нее будет свое жилище, она бы оборвалась, обнищала от небрежности и погибла от нечистоты своего тела. Чагатаев сел рядом с Ханом и обнял ее одной рукой; она перестала чинить платье и замерла в страхе и ожидании. Блаженство будущей жизни, еще не рожденной, безымянной, но уже зачинающейся в нем, прошло в сердце Чагатаева живым, счастливым ощущением. Нечто более лучшее, чем он сам, более одушевленное и славное,

томилось сейчас внутри Чагатаева, согревало его силу и радовало его. Он посмотрел на Ханом; она кротко, задумчиво улыбнулась ему, точно она вполне понимала Назара и жалела его. И тогда Чагатаев обнял Ханом обеими руками, будто он увидел в ней олицетворение того, что в нем самом еще не сбылось и не сбудется, что останется жить после него — в виде другого, высшего человека на более доброй земле, чем она была для Чагатаева. Счастливые, Ханом и Назар прижались друг к другу; старая ночь покрыла тьмою глиняную Хиву, в чайхане умолкли голоса гостей — одни из них ушли на ночлег, другие остались спать на месте, — и хозяин закрыл трубу самовара глухою крышкой, чтобы несгоревший уголь затомился в трубе до завтрашнего утра. Чагатаев с жадностью крайней необходимости любил сейчас Ханом, но сердце его не могло утомиться и в нем не прекращалась нужда в этой женщине; он лишь чувствовал себя все более свободным, счастливым и точно обнадеженным чем-то самым существенным… Если Ханом нечаянно засыпала, то Назар скучал по ней и будил ее, чтоб она опять была с ним.

Не спавший всю ночь, Чагатаев наутро встал веселым и отдохнувшим человеком, а Ханом еще долго спала, свалившись с подушки на сторону милым, доверчивым лицом. Назар погладил ее волосы, запомнил ее рот, нос, лоб — всю прелесть дорогого ему человека — и ушел в город, чтобы поискать еще раз свой народ.

Солнце уже поднялось с китайской стороны, и Чагатаев посмотрел туда немного — поверх пустынь и степей, в туманную мглу неба на востоке, где находился Китай. Там уже давно проснулись и работали полмиллиарда терпеливых бедняков, — сколько мысли и чувства было в их душах, если б можно было их сразу ощутить в одном своем сердце!..

Старый рабочий-узбек показался на базарной площади. Он вышел из помещения, в котором раньше помещался караван-сарай и ночевали верблюды; он там, наверно, провел минувшую ночь и теперь шел на работу.

Чагатаев поклонился мастеровому-узбеку и спросил его: не видел ли он прохожего человека из племени джан? Узбек поглядел на Чагатаева старыми, помнящими глазами: должно быть, он тоже узнал в Назаре бывшего ребенка, которому он некогда подарил гвоздь; что хоть однажды трогало его чувство, того самоварный мастер уже не мог забыть, да и жизнь недолга — всего не забудешь.

— В Уч-Аджи видел, — тихо сказал узбек. — Он в чайхане под русскую музыку, под гармонию плясал.

— Он Старый Ванька? — спросил Чагатаев.

— Старый Ванька, — сказал рабочий-узбек.

— А ты сейчас далеко уходишь? — спрашивал Назар.

Мастеровой помедлил, — он не любил говорить про свои еще не сбывшиеся намерения.

— Далеко, — сказал узбек. — В Чарджуй ухожу, там на механика учиться буду, туда экскаваторы привезли — каналы копать; я кончаю самовары работать…

— А тебе сколько лет? — поинтересовался Чагатаев. — Ты успеешь механиком научиться?

— Успею, — обещал самоварный рабочий. — Мне семьдесят четыре года — это я при плохой жизни прожил, а сколько я при хорошей проживу?

— Лет полтораста? — спросил Назар.

— Может быть! — ответил старик.

Они попрощались. Чагатаев вернулся в чайхане и сговорился с хозяином, чтоб он кормил Ханом и содержал ее в помещении, пока Назар не вернется — дней через десять или пятнадцать. Но хозяин попросил дать на харчи для Ханом деньги в задаток; ему для коммерческого оборота нужны сейчас наличные средства. Чагатаев обещал хозяину заплатить задаток и снова пошел на хивинский базар.

К полудню ему удалось продать свой ватный пиджак: время уже все равно шло к теплу. Он взял немного денег, себе, а остальные заплатил хозяину чайхане в задаток за прокормление Ханом.

Чагатаев разбудил спящую Ханом и сказал ей, чтоб она жила здесь, пока он вернется. Ханом улыбнулась ему теплым, согретым во сне лицом и велела Назару побыть еще с ней немного. Чагатаев побыл с ней, а затем оставил Ханом одну в глиняной комнате и ушел из Хивы. Он отправился сначала в южную сторону Хивинского оазиса, а потом — там видно будет…

18

Через три дня Чагатаев миновал последний аул Хивинского оазиса. Опять перед ним открылась обычная пустыня; кусты перекати-поля брели под ветром через песчаные холмы, старинная дорога вела на далекие колодцы […]

Чагатаев побежал вперед по пустой дороге. Он хотел еще к вечеру нынешнего дня дойти до следующего оазиса — может быть, там окажется кто-нибудь, кого он ищет. Куда же они все разбрелись? Ведь их разум еще слаб и печален, они все погибнут в нищете, в отчуждении, по пескам и чужим аулам… Никакой народ, даже джан, не может жить врозь: люди питаются друг от друга не только хлебом, но и душой, чувствуя и воображая один другого; иначе, что им думать, где истратить нежную, доверчивую силу жизни, где узнать рассеяние своей грусти и утешиться, где незаметно умереть… Питаясь лишь воображением самого себя, всякий человек скоро поедает свою душу, истощается в худшей бедности и погибает в безумном унынии.

Если бы Чагатаев не воображал, не чувствовал […], как отца, как добрую силу, берегущую и просветляющую его жизнь, он бы не мог узнать смысла своего существования, — и он бы вообще не сумел жить сейчас без ощущения той доброты революции, которая сохранила его в детстве от заброшенности и голодной смерти и поддерживает теперь в достоинстве и человечности. Если бы Чагатаев забыл или утратил это чувство, он бы смутился, ослабел, лег бы в землю вниз лицом и замер…

Две одичавшие овцы лежали невдалеке от дороги, на склоне бархана. Они были худы и подобны собакам. Чагатаев уже миновал их, но овцы пошли за ним следом, может быть, от голода или жажды, надеясь спастись при человеке, а может — от долгого одиночества и отчаяния. Однако овцы скоро изнемогли и отстали, потерявшись опять в сиротстве пустынной природы.

К вечеру Чагатаев дошел до маленького аула, расположенного у трех колодцев; здесь жили люди из племени эрсари, они кормились тем, что ловили рыбу в староречье Амударьи, когда туда набиралась паводковая вода и приносила с собой рыбу; в остальное время жители делали для певцов-бахши дутары и продавали их в ближнюю пустыню и в Чарджуй. Чагатаев слышал об этом ауле и видел его в детстве; здесь жили добрые люди, потому что они делали музыкальные инструменты и для испытания своих изделий часто должны были напевать кроткие или смешные поэтические песни.

Назар вошел внутрь первого двора и постучал в дверь, но дверь сама отворилась внутрь от его стука. На глиняном полу комнаты сидели в сумраке четверо людей; один из них тихо бил по двум струнам дутары и хрипло шептал старую песню, а другие слушали его. Чагатаев остановился при входе, чтобы не помешать музыке и песне до их окончания. Песня, видимо, тронула всех здешних людей, — они молчали, не замечая вошедшего чуждого гостя. В песне говорилось о том, что у всякого человека есть своя жалкая мечта, свое любимое ничтожное чувство, отделяющее его ото всех, и поэтому своя жизнь закрывает человеку глаза на мир, на других людей, на прелесть цветов, живущих весною в песках…

По окончании песни старый хозяин жилища пригласил Чагатаева сесть рядом с ним и отдохнуть. Около него сидели два молодых человека, наверно его сыновья, а третьим был ветхий Суфьян. Хозяин, игравший на дутаре, передал ее теперь Суфьяну — тот взял ее к себе и тщательно ощупал.

— Играть хочу, песню сам выдумал, сердце у меня хорошее, — сказал Суфьян, — а платить за дутару нечем: я не очень богатый человек, в одном теле своем живу…

На Суфьяне была надета прежняя, старосолдатская шинель, прожитая уже в клочья, почти насквозь, в рядно.

Хозяин дутары, сделавший ее, сказал одному сыну, что надо сварить рис и рыбу на угощение старого и нового гостя, а потом обратился к Суфьяну:

— Это очень хорошая дутара, но я ее не продаю… Ты человек старый и не мог себе нажить одной дутары, значит, ты жил добром — я прошу тебя взять эту дутару без денег, чтоб мне стало хорошо.

Суфьян положил дутару себе на колени и загляделся на нее в удивлении, как на свое первое великое достояние.

После ужина Суфьян сыграл немного на дутаре и спел про умную, сильную рыбу, плавающую в черной, глубокой земле. Чагатаев спросил его затем: где же теперь ихнее племя джан?

— Народ жить разошелся, Назар, — сказал ему Суфьян. — Раньше силы не было уйти, а ты накормил его, и он пошел ходить.

— А зачем ему ходить? — удивился Чагатаев. — Он опять силу потратит!

— Нужно, — ответил Суфьян. — А не нужно станет, народ опять на Усть-Урт вернется.

— А куда они все пошли?

— Я не спрашивал — пусть каждый сам думает, — сказал Суфьян. — Ложись спать: время идет, ночью жить не надо, я свет люблю — мне его мало видеть осталось…

Наутро, на рассвете, Суфьян взял дутару и попрощался с хозяином.

— Пойдем со мной, — сказал Суфьян Чагатаеву. — Я буду теперь бахши, буду ходить и петь по аулам, по кибиткам, пока не помру. Со мной всех людей встретишь, ты станешь мне подпевать и кушать со мной угощенье…

— Я могу выдумать тебе новые песни, которых другие бахши еще не знают, — сказал Назар.

— Ты мне спой их по дороге, — произнес Суфьян.

Хозяин дувала дал им чурек, и Суфьян с Назаром ушли по дороге на Чарджуй.

19

До самого лета Чагатаев и Суфьян ходили вдвоем по аулам, по окраинам городов и кочевым кибиткам. Суфьян играл народу на дутаре и пел, а Назар ему иногда подпевал, и оба они кормились и жили в своем долгом пути. Они прошли все оазисы от Чарджуя до Ашхабада — были в Байрам-Али, в Мерве, в Уч-Аджи, удалялись по колодцам и такырам в кочевья и наконец от Ашхабада побрели на Дарвазу.

Чагатаев нигде не встретил знакомого человека из своего народа, и сердце его уже утомилось от блуждания, тщетной надежды, от тоски и памяти по Ксене, Айдым и Ханом. Он часто спрашивал у Суфьяна, как у старого умного человека: что могло случиться со всеми людьми из джана, отчего их нигде нет? Суфьян отвечал ему, что один или двое могли умереть, но остальные будут целы: жизнь для такого народа, как джан, нетрудна и любопытна, раз он уже перетерпел долгое смертное томленье.

— Он сам себе выдумает жизнь, какая ему нужна, — сказал Суфьян, — счастье у него не отымешь…

В Дарвазе Суфьян и Назар жили три дня. После того они попрощались. Суфьян задумал идти по кочевьям на Гассан-Кули, на реку Атрек, а Чагатаев решил возвращаться по хивинской дороге на Хиву, а затем через Сары-Камыш домой на Усть-Урт. Он боялся за судьбу Айдым и не знал, что сталось с Ханом, девушкой видимо несчастной и всем чужой. Суфьян и Назар собрали в поселке и ближних кибитках чуреков — в качестве угощения за свою музыку, — и в одно утро они разошлись в разные стороны, теперь уже, наверно, навсегда.

Было жарко, но Чагатаев привык к пустыне, к терпению и шел от колодца к колодцу,

встречая около них обыкновенно по нескольку кибиток: пустыня ведь не пустая, в ней вечно люди живут. В кибитке Чагатаев становился на ночлег и всегда ужинал в семействе добрых кочевников, как среди родственников. Чуреки, взятые из Дарвазы, он нес у себя за пазухой и на ходу ел их изредка щепотками, когда сильно уставал, чтобы отвлечь себя от утомления.

На пятый день пути Назар увидел хивинскую башню и побежал, чтобы успеть до темной ночи достигнуть базара, пока хозяин чайхане еще не спит и не закрыл дверь в заведение…

Вот он уже видит открытую дверь в чайхане, там горит свет, и оттуда вышел человек на площадь. Чагатаев пошел спокойным шагом, и в чайхане поклонился гостям и хозяину. Затем он спросил у хозяина равнодушно, как чувствует себя Ханом.

Хозяин узнал Чагатаева и ответил ему:

— Она по тебе сильно соскучилась.

— Я пришел теперь, — сказал Назар.

— Она давно ушла от нас, — сообщил этот человек. — Она пошла тебя искать…

— Куда? — спросил Чагатаев.

— Не сказала, — произнес хозяин. — Она плакала один раз, потом молчала.

Чагатаев вынул остаток последнего чурека из-за пазухи и пожевал его, пока горе еще не дошло до его сердца — тогда он есть ничего не будет.

— Сколько я тебе должен денег за Ханом, что ты кормил ее? — спросил Назар.

— Денег не надо, — сказал хозяин. — Она мне посуду мыла, чайхане убирала, она работала…

Чагатаев вышел из заведения на пустой, темный хивинский базар. Тоска по утраченной бедной Ханом уничтожила в Назаре всю его усталость, тело его сразу стало сильным и горячим, чтобы бороться со своей печалью. Он быстро пошел по площади, потом побежал и вскоре миновал пределы Хивы. Если бы Назар остановился, он бы уже не мог справиться со своим отчаянием: он бы заплакал или умер.

Без пищи и отдыха Чагатаев прошел всю ночь. Он спешил к Сары-Камышу, на Усть-Урт. Он хотел как можно скорее увидеть Айдым, чтобы успокоиться около нее и заняться заботами о ней, работой по домашнему хозяйству, обычной жизнью… В полдень, в жару, Чагатаев истомился; он нашел расщелину в глинистом холме, в которой была глубокая, устойчивая тень, прогнал оттуда дремлющих ящериц и лег спать до вечера… Ночью он вошел в пределы сары-камышской впадины и впервые за дорогу от Хивы напился из небольшого мелкого озерка плохой, засоленной водой. Переспав снова дневную жару в тишине какой-то влажной ямы, с вечера Чагатаев снова тронулся в ход, и на утро следующего дня он подошел к Усть-Урту. Он быстро поднялся на взгорье, чтобы скорее увидеть глиняные дома своего племени…

Встревоженный и худой, Назар взбежал на последний подъем и остановился в радости и недоумении. Светлое, чистое солнце, еще нежаркое на этой возвышенности, озаряло кроткую пустую землю Усть-Урта; четыре небольших дома были выбелены, из кухонной знакомой трубы в безветренный воздух шел сытный, пахнущий пищей дым; отара овец, не менее чем в сотню голов, паслась на удаленном склоне горы, по ту сторону большого оврага, и в стороне от поселения лежали два старых верблюда, жуя разный сор вокруг себя, чтобы не скучать и ничего не думать напрасно… Со стесненной, озабоченной душой Чагатаев пошел в дом, где была печь, но из крайнего жилища вышла Айдым с пустым ведром. Она сначала бросила ведро на землю, однако тут же опомнилась, подняла ведро обратно к себе и побежала к Назару босыми ногами. Лицо ее стало вдруг испуганным и печальным, она припала головой к животу Чагатаева и уронила ведро, — Айдым боялась, что Назар вскоре опять оставит ее и никогда не вернется; она почувствовала вперед, раньше времени. Чагатаев взял Айдым на руки и пошел с нею на озеро, — он забыл попить воды и умыться. Айдым положила ему свою голову на плечо и стала говорить в ухо, как она здесь долго жила одна, а потом пришел Таган с Кара-Чормой, они пригнали из пустыни сорок голов овец и четыре барана; эти овцы были ничьи, они ходили вослед одному верблюду, а у верблюда, должно

быть, пропал хозяин, и верблюд сам не знал, куда ему теперь надо идти. А когда верблюд увидел в пустыне Кара-Чорму, то сам подошел к человеку и лег около него, и овцы тоже легли вокруг Кара-Чормы.

— Они не знали, где им пить, — сказала Айдым. — Траву они находят, а доставать из колодцев воду не умеют… А наружной воды мало бывает…

— А другой верблюд откуда? — спросил Чагатаев.

— Другого я сама нашла, — ответила Айдым. — Я в пески ходила тебя смотреть, думала — ты близко… А там есть колодезь, у него сруб сделан из саксаула — верблюд лежал горлом на срубе, смотрел на воду в колодце и капал туда изо рта слюной. Он уже ослаб и хотел умирать, я пошла домой, взяла ведро с веревкой и. дала ему пить…

Назар поцеловал Айдым в щеку, она улыбнулась ему и отвернула свое лицо от него в первой совести девичества. Чагатаев опустил Айдым на землю, потому что озеро, куда они шли, было уже близко.

— Я тебе обед пойду стряпать, ты ведь уморился и есть хочешь, — сказала Айдым и убежала обратно.

Чагатаев не мог еще понять, что произошло здесь без него. Он умылся в озере, оправил и почистил одежду и пошел домой, в новый аул. Но солнце, идущее на полдень, и душный зной, начавшийся в затишье предгорья, утомили его; тело его ведь устало уже давно. Чагатаев лег в тень небольшой лощины и уснул, забылся всеми своими изнемогшими костями.

Он проснулся вечером; четверть луны светила над пустыней, народ сидел вокруг него и молчал. Чагатаев не мог сразу вспомнить, что он такое, и вновь закрыл глаза, чтобы одуматься. Большая теплая рука легла ему на лицо, и Чагатаев услышал знакомый доверчивый голос, зовущий его.

— Ханом! — сказал Назар; ему стало хорошо, покойно, рука женщины была нежна и проста, Чагатаев не размышлял сейчас — сновидение это или правда, он думал об одной Ханом.

— Назар! — сказала Ханом и сняла свою руку с лица Чагатаева.

Назар увидел улыбающуюся Ханом; она сидела на земле около его головы и осторожно трогала теперь его волосы. Рядом с Ханом, ближе к ногам Чагатаева, сидели Таган, Старый Ванька, Молла Черкезов, Аллах и Кара-Чорма. Они внимательно глядели в лицо Назара, они все были живыми и целыми. Не веря им, Чагатаев приподнялся, протянул руку и коснулся каждого в отдельности. Позади их сидели неизвестные Чагатаеву люди — человек пять мужчин, четыре женщины и одна девочка, ровесница Айдым.

— Здравствуй, Назар, — сказал Молла Черкезов.

— Разве ты видишь меня? — спросил его Чагатаев.

— Немного вижу, — ответил Черкезов, — я уже давно привыкаю глядеть, но ведь раньше еды не было и душа болела, с чего было взяться глазам? Теперь она мне протирает глаза, целует их, и они видят свет в тумане…

— Кто их тебе целует? — спросил Назар.

— Ханом, — сказал Молла. — Она моя жена, я взял ее с собой из Нукуса, Ханом пришла туда из Хивы и жила одна на базаре… Спи, — Айдым не велела тебя будить.

— Я проснулся, — сказал Чагатаев; он сел на землю среди всех и понял, что все стало хорошо.

Вскоре из глиняных домов прибежала Айдым и, узнав, что Назар уже проснулся, велела всем идти есть плов, который она приготовила ради Назара.

Ханом взяла за руку Моллу Черкезова и пошла вослед Чагатаеву, а Назара вела за руку Айдым. Около своих жилищ Чагатаев увидел ночующую отару овец, голов в сто с небольшим; внутри одного дувала стояли три ишака, не считая еще двух верблюдов. Откуда же такое добро у небольшого народа? Ведь когда Чагатаев уходил отсюда, здесь было, кажется, всего три овцы и один баран.

Назар обошел все четыре дома; внутри их было чисто, стены выбелены, в одной

комнате он заметил запасы шерсти и два небольших ковра, сотканных уже здесь же, руками женщин, пришедших жить в народ джан.

В том жилище, где Айдым собрала общий праздничный ужин, на полу лежали вымытые циновки, в глиняных кувшинах стояла свежая трава из дальних высоких долин Усть-Урта и в больших глиняных блюдах лежал обильный плов для угощения целого народа. Вокруг этого плова сели еще пятеро неизвестных Чагатаеву пожилых туркменов, почти стариков, и семь человек женщин, кроме тех людей, что сторожили спящего Назара. Он поклонился всему своему племени и всем новым родственным людям, пришедшим жить сюда общей жизнью. Айдым велела ему взять плов первым, и после того все стали не спеша кушать пищу, понимая ее ценность и достоинство…

Всю ночь просидел народ в беседе друг с другом, в удовольствии своей дружбы и свидания. Лампа горела посреди пола в кругу людей; изредка кто-нибудь выходил посмотреть овец, ишаков и верблюдов, потом снова возвращался; ровесница Айдым уснула около своей матери, Айдым тоже спала уже, положив голову на колени Назару, счастливая Ханом дремала и стыдилась, что ей хочется спать при Чагатаеве. Беззвучно было на Усть-Урте, четверть луны давно закатилась за край пустыни, все одинокие животные спали в песках и в горах, лишь время от времени кричали ишаки в дувале.

— Зачем вы ушли от нас тогда зимой? — спросил Назар у Кара-Чормы и Моллы Черкезова.

Они нахмурились в недоумении какой-то странной мысли, а Старый Ванька ответил за них:

— Мы думали, что уж давно нету ничего на свете… Мы думали, одни мы остались — к чему ж тогда и нам жить?

— Мы проверить пошли, — сказал Аллах. — Нам интересно стало, где есть другие люди.

Чагатаев понял их и спросил, что, значит, они теперь убедились в жизни и больше умирать не будут?

— Умирать не надо, — произнес Черкезов. — Один раз умрешь — может быть, нужно бывает и полезно. Но ведь за один раз человек своего счастья не понимает, а второй раз умереть не успеешь. Поэтому тут нету удовольствия…

— А откуда у вас овцы, верблюды, где вы взяли это небедное добро? — спросил еще Чагатаев.

— Овец мы заработали, — сообщил Таган; и каждый сказал после того, что с ним случилось.

Убедившись в действительности мира и в прелести его, пожив с женщинами, поев разнообразной пищи, Таган, Аллах, равно и прочий человек из джана, пошел работать, где ему пришлась выгода. Старый Ванька брал деньги за то, что хорошо плясал в пивных, в чайхане, на базарах и на русских свадьбах, Аллах дробил камень для шоссейной дороги за Чарджуем, Молла Черкезов мыл шерсть в Нукусе. Ели они мало — они отвыкли за прежнюю жизнь, — бедняки городов казались им купцами, одежда на них еще держалась, — поэтому деньги у каждого человека стали собираться. Они купили по-разному: кто овец, кто ишаков, кто тех и других, кто женился — и пошли постепенно домой на Усть-Урт, потому что жить оказалось можно, а новый аул их стоял вдалеке нежилым, но ведь это было их добро и родное жилище… В пустыне — у такыров, в забытых староречьях, во влажных впадинах — жили еще робкие остатки вымерших семейств и племен. Когда люди джана гнали овец и ослов домой и вели за руку своих жен, они встретили этих неизвестных людей. Аллах привел их с собой сразу шесть душ. Таган и Старый Ванька не звали их с собой, но забытые люди сами побрели за ними, чтобы спастись для дальнейшей жизни.

— Вот они с нами теперь живут наравне, — указал Старый Ванька на чужих людей. — Пусть живут: от народа не победнеешь…

— Нет, вы будете богатыми, — произнес Чагатаев.

— Устроимся — и будем, — согласился Старый Ванька. — Мы по-мертвому жили, а

по-хорошему жить нам не трудно.

— Неинтересно даже, — сказал Аллах.

— Пока пусть нам будет хорошо, это самое интересное, — ответил Чагатаев. — Горе и печаль к нам тоже еще придут, но пусть наше горе будет не такое жалкое, какое было у нас, а другое. Наше горе было похоже на горе ящерицы или черепахи.

— Это ведь правда! — сказала вдруг молчавшая, дремлющая Ханом.

— Из какого вы племени? — спросил Чагатаев у старого туркмена, который был по виду старше всех.

— Мы — джан, — ответил старик, и по его словам оказалось, что все мелкие племена, семейства и просто группы постепенно умирающих людей, живущие в нелюдимых местах пустыни, Амударьи и Усть-Урта, называют себя одинаково — джан. Это их общее прозвище, данное им когда-то богатыми баями, потому что джан есть душа, а у погибающих бедняков ничего нет, кроме души, то есть способности чувствовать и мучиться. Следовательно, слово «джан» означает насмешку богатых над бедными. Баи думали, что душа лишь отчаяние, но сами они от джана и погибли, — своего джана, своей способности чувствовать, мучиться, мыслить и бороться у них было мало, это — богатство бедных…

Народ уже дремал. Ханом приоткрыла рот в сладости сна, прислонившись к мужу, Молле Черкезову. Чагатаев, чтобы не беспокоить Айдым, спавшую головой у него на коленях, лег осторожно на том же месте, где он сидел, и закрыл глаза в покое счастья и сна.

20

До конца лета Назар Чагатаев жил в своем народе на Усть-Урте. В ауле к тому времени прибавилось три новых глиняных дома и четыре женщины зачали от своих мужей и понесли в себе детей. В ноябре месяце из Хивы вернулись Старый Ванька и Кара-Чорма; их посылал туда Чагатаев со стадом овец в тридцать голов, чтобы они сдали шерсть и мясо государству, а на вырученные деньги купили бы муку, рис, соль, керосин и прочие продукты, а также новую одежду — для запаса на всю зиму до будущего лета, когда в отаре возмужает новое потомство овец.

В конце ноября Чагатаев попрощался со своим народом. Он дал ему совет — выбрать вместо него старшим человеком народа Ханом, хотя она и носит ребенка от Моллы Черкезова уже пятый месяц; но к тому времени, как она родит, может быть, Чагатаев уже вернется из Москвы обратно на Усть-Урт. Народ подумал немного и согласился: женщина часто бывает лучше мужчины, мать дороже или милее отца.

Девочку Айдым Чагатаев тоже уводил вместе с собой. Он обещал ее отдать в Москве на обучение, а когда Айдым станет ученой девушкой, она сама придет домой на Усть-Урт и научит всех, кто ее дождется, как правильно жить дальше…

Одним утром Назар и Айдым взяли немного пищи с собой на дорогу и спустились с возвышенности Усть-Урта. Весь народ джан вышел их провожать. Сойдя во впадину Сары-Камыша, Чагатаев оглянулся; народ все еще стоял на взгорье и следил за ним.

— Айдым, посмотри на всех, кто остался, — сказал Назар. — Попрощайся!

— А я все равно вернусь ведь домой когда-нибудь, тогда их и увижу, — ответила Айдым и не стала глядеть на маленьких людей, оставшихся вдалеке.

Три овцы и баран следовали за ними полдня по своей воле, потом они отстали и потерялись в пустынных местах.

Из Хивы до Чарджуя Чагатаев и Айдым доехали на грузовом автомобиле, а из Чарджуя отправились на поезде в Ташкент. В Ташкенте Чагатаев пробыл два дня, чтобы доложить о своей деятельности. В ЦК партии Чагатаева поблагодарили за работу по спасению кочевого племени джан от гибели в дельте Амударьи и сказали, что люди дальше сами найдут свою большую дорогу, а не останутся лишь в маленьком овраге Усть-Урта. Счастье всегда имеет большой размер, оно равняется всему социализму.

Айдым жила в чайхане около вокзала и без Чагатаева не выходила на улицу от страха. На второй день вечером Чагатаев взял Айдым за руку, и они пошли садиться на московский поезд. На вокзале он послал телеграмму Ксене, не зная, помнит ли она его теперь. Айдым с удивлением глядела на Назара: он побрился, был без бороды и усов и стал непохожим на того, кто ходил с ней по пустыне, по воде и горам. Она пробовала руками новый костюм на нем, в который он оделся в Ташкенте, и думала, какой Назар богатый. Но Чагатаев ей тоже купил новую узбекскую одежду и переодел ее в вагоне во все новое, а ветхий капот ее спрятал зачем-то к себе в карман.

Почти всю первую ночь в поезде Чагатаев простоял у окна в коридоре вагона, глядя в пустыни и степи, замечая редкие, далекие костры чабанов. Айдым спала на лавке. Чагатаев изредка поправлял ее одеяло, складывал обратно руки и ноги, когда она по-детски раскидывалась, и гладил ей голову, когда она бормотала что-то во сне, мучительно переживая Дневные впечатления.

В Москве на вокзале Чагатаева встретила Ксеня, выросшая и другая, чем во время их разлуки, как настоящая женщина. Она была в пальто с большим серым воротником и в черной шапочке, — в Москве шла зима. Разноцветные глаза ее заплакали, когда она увидела Чагатаева в толпе пассажиров. Она подбежала к нему и обняла, остановив движение задних людей. Ксеня не заметила сразу, что около Чагатаева стоит девочка в длинном цветном платье далекого народа и держится рукою за борт пиджака Чагатаева. Оба они были без пальто, поэтому Ксеня, после знакомства с Айдым, открыла свое пальто и взяла Айдым к себе на руки, прислонив ее тело к своей груди. Ксеня была вдвое больше Айдым, но все же она раскраснелась от напряжения. На вокзальной площади Ксеня наняла такси, потому что Назару и девочке было холодно.

— А куда мы поедем? — спросил Чагатаев у Ксени; ему некуда было ехать в Москве.

— К моей маме, — ответила Ксеня. — Я забронировала ее комнату для вас.

В автомобиле Ксеня сидела с красным лицом, словно она стыдилась чего-то, или это было от юности, когда жизнь от наслаждения кажется позором.

Автомобиль остановился. Ксеня передала Чагатаеву ключ и попросила прийти к ней завтра в гости.

— Только у меня адрес теперь другой, — сказала она. — Я живу отдельно, я одна, а вашу телеграмму мне бабушка переслала…

Она дала ему адрес на бумаге из блокнота, и они попрощались. Чагатаев вошел в знакомый новый дом, Айдым держалась за его руку. У них не было никакого багажа.

В большой комнате, убранной мелкой мебелью Веры, Чагатаев сел на постель не раздеваясь, потом положил голову поверх одеяла; прежний, вечный запах Веры еще хранился в ее постели. Чагатаев дышал этим запахом, думал и дремал. Айдым влезла с ногами на подоконник и глядела оттуда на большую Москву.

Утром на другой день Чагатаев пошел с Айдым в магазины, купил ей европейские кофты и юбки и два пальто — для себя и для нее. Айдым сразу изменилась в новой одежде: Чагатаев увидел, что она красавица.

Вечером они поехали в гости к Ксене. Ехать было далеко, в глубину Замоскворечья. После трамвая Чагатаев и Айдым долго шли пешком и наконец нашли по писаному адресу общежитие студентов торфяного техникума. В этом техникуме, очевидно, теперь училась Ксеня.

В общежитии, как у многих девушек, у нее была отдельная комната. Чагатаев постучался в дверь, и так как перегородки между комнатами и сама стена коридора были тонкие, то сразу три девичьих голоса сказали: «Войдите», в том числе и голос Ксени.

Она открыла дверь, и сразу трудное чувство волнения заполнило ее лицо излишним румянцем. На столе находилось заранее приготовленное робкое угощение, покрытое скатертью, Ксеня усадила гостей, сняла скатерть с закусок и сейчас же стала уговаривать их съесть ее пищу, но вилки, ложки, ножики валились у нее из рук на пол, вдобавок она зацепила красное разливное вино, налитое в какую-то масленую, должно быть керосиновую,

бутылку, и вино разлилось по столу бесполезно. Ксеня убежала в коридор, спряталась в уборную и там заплакала от мучительного жалкого стыда. Айдым без нее устроила порядок и даже слила со стола вино обратно в бутылку, так что сохранилась четверть прежнего количества. Ксеня вернулась с темными кругами под глазами и просила все же скушать, что она купила и настряпала; больше она ничего не знала, что говорить. Она не могла объяснить, почему ей совестно иногда быть живой и грустно чувствовать себя женщиной, человеком, желать счастья и удовольствия, — даже будучи одна, она от этого сознания закрывала себе лицо руками и краснела под ладонями.

Поев из вежливости угощенье, Чагатаев и Айдым стали прощаться с хозяйкой. Чагатаев обещал прийти к ней еще раз — через несколько дней.

Но они увиделись раньше, — на следующий вечер Ксеня пришла к Чагатаеву сама. Она хотела помочь Айдым, как старшая женщина девочке. Ксеня повела ее в баню, из бани они отправились кататься на метрополитене и вернулись домой уже поздно.

В выходной день Ксеня приехала с утра и привезла с собой несколько штук своего белья, из которого она сама выросла, а для Айдым оно было впору. В тот день они все трое ходили в столовую обедать, потом гуляли, были в кино и возвратились к вечеру. Айдым свернулась на постели матери Ксени и сразу заснула. Чагатаев и Ксеня сидели против спящей девочки на маленьком диване; они молча глядели на Айдым, на ее лицо, где еще были черты детства, страдания и заботы, и на ясное выражение ее зреющей высшей силы, которая делала эти черты уже незначительными и слабыми. Чагатаев взял руку Ксени в свою руку и почувствовал дальнее поспешное биение ее сердца, будто душа ее желала пробиться оттуда к нему на помощь. Чагатаев убедился теперь, что помощь к нему придет лишь от другого человека.

1934

Рассказы

«Первый Иван»

Заметки о техническом творчестве трудящихся людей

— Здравствуй, товарищ Первоиванов!

— Здравствуй, приезжий!.. Чего прибыл в осеннее время? Чужого ума ищешь учиться иль просто хлеб ходьбой зарабатываешь?

— Чужого ума ищу.

— А свой принес?

— Своего мне мало.

— Лга! Ну, раз мало, то живи с нами; у нас тоже ума не хватает. Может от твоей малости что прибавится!

Этот разговор был произнесен на юге Уральской области, в земледельческом коллективе имени Исаака Ньютона, где Первоиванов и его два помощника были членами и механиками. Механик же в колхозе — это весьма возвышенное лицо, это естествоиспытатель, командир огнедышащего инвентаря и человек науки-техники; лучшие снаружи девушки состоят во многих колхозах невестами механиков. Так приблизительно обстояло дело и в коллективе Ньютона. Но Первоиванов еще не додумал всех своих мыслей, еще не сделал из стихийной природы искусственного советского творения, поэтому заставлял невесту постоянно терпеть и страдать без обручения. И когда он виделся с невестой, — что было редко, — то, вероятно, больше размышлял о странности стихийной природы, чем любовался женским присутствующим существом.

Я остался в «Ньютоне». Мне было важно изучить труд ума и рук Первоиванова — предметы новой техники, о которых он мне писал дважды, предлагая выслать из Москвы гвозди, провода, полый медный шар, водяной насос высокого сжатия, манометр, и многое прочее. Что мог, я отыскивал на Мясницкой и отправлял наложенным платежом в степную мастерскую Первоиванова.

В тот день Первоиванов пришел отдыхать в общий дом коллектива поздно ночью, но мы стали разговаривать о научной судьбе советского государства, и т. Первоиванов променял сон на увлечение технической беседой. Я сидел с молчаливым сочувствием, а Первоиванов говорил передо мною как великий безвестный эконом и ключник природы. Он имел низшее техническое образование, и, прожив жизнь в глуши, где пахло конским навозом монгольских всадников, где на все четыре страны света не возвышалось ни одного технического устройства, — Первоиванов умножил свое знание, совершил научно-технические открытия и выполнил прекрасные изобретения. Он — полусамоучка — изучил несколько сот технических книг, поэтому мысль его была точна, а разговор прост и интеллигентен. Он рассуждал, как европейский инженер, с сознанием скромности своего тщательного ума, без превосходства прирожденного невежды. Этот нестарый мастеровой был истинный интеллигент: он знал и чувствовал теорию, как инженер, он пережил практику, как рядовой рабочий.

Я достаточно сильно удивлялся ему. Изобретателей-кустарей я видел, видел вечные двигатели, работающие моченым и сухим песком, но еще не наблюдал мастерового, ставшего ради изобретательства совершенным техническим интеллигентом, и притом личными усилиями.

Вблизи нас спали мужчины-коллективисты на раскладных кроватях. Горела лампа; дверь на балкон была открыта для воздуха; за балконом лежала мрачная мировая косность, привычная до неощутимости и примирения с нею.

Первоиванов говорил, а мы, три человека — два тракториста и я, слушали его.

— Сахара, Гоби, песчаные реки Азии — это экскременты неразумных культур, легших в уготованные самим себе песчаные могилы. Что такое вся Средняя Азия? Это — пески и люди!

«Верно ведь!» — думали все мы и молчали дальше.

А Первоиванов говорил с жадностью и скупостью настоящего разума, воображая весь мир своим двором, в котором, однако, еще царствует хищная, смертная бесхозяйственность.

— Основной капитал человечества — плодородие земли, поэтому он не должен расхищаться и истребляться, а должен лишь использоваться, сохраняя абсолютную величину постоянной.

Современные способы эксплуатации почвы, конечно, есть причины образования пустынь. Современная система сельского хозяйства есть хищничество по существу и разрушение производительных сил земли, а не хозяйство в нравоучительном смысле. Хозяйство есть такая система трансформации элементарных производительных сил, где абсолютная величина производительных сил, участвующих в процессе трансформации, постоянна, а, так сказать, частная прибыль, продукт, прибавочная ценность образуются за счет солнечной энергии, участвующей в хозяйстве как элементарная производительная сила, — энергии, практически не убывающей. За счет солнца же должно происходить восстановление органических потерь и нарушений почвенных элементарных производительных сил — потерь благодаря трансформации. Этот частичный ремонт почвы возможен, конечно, лишь при участии посредников (системы чередования растений, удобрений и пр.), искусственно вводимых человеком, которых также можно рассматривать как трансформаторов солнечной энергии.

Земля должна быть цела и девственна, а вся пышная жизнь человечества пусть идет целиком за счет солнца. В этом, по сути, конечная цель агрономической техники.

Я сейчас коснусь лишь способа ликвидации одного, и главнейшего, пустынообразователя

— поверхностного стока вод. Весеннее таяние снега и ливни дают в результате мощные потоки воды, которые с большими скоростями сбегают в реки, выгребая из почвы те вещества, которые питают растения. Ежегодно уносит вода такие богатства, которые не исчислишь, которые не восполнишь никакими удобрениями. Значит, стихийный поверхностный скат воды есть причина истощения почвы, есть сосун ее плодородия. Это одно. Второе: мы теряем воду, которая сама по себе необходима растению и от недостатка которой мы бедствуем постоянно и пока неизлечимо. Ведь 50–60 процентов всех осадков уходит безвозвратно. Это два. Кроме того, стихийный поверхностный сток воды творит овраги, увеличивая площадь неудобных земель и умыкая поля; он заносит реки продуктами размыва почвы, заставляя блуждать их русла и плодя болота, он, этот сток воды, дробит организм почвы, вода делает неорганический песок, а этот песок, обрабатываясь ветром, образует холмы и барханы, заносит плодородные черные земли

— и уже дышит пустыня. Это три. Этого достаточно.

Надо уничтожить главного пустынообразователя — поверхностный сток воды. Но как это сделать?

Мы, здесь, в колхозе, разработали особый проект «реконструкции рельефа», суть которого в создании водозадерживающих валиков по горизонтам поверхности. Валики должны охватывать как можно большую площадь (тем действительней будет их эффект). Теоретически этим достигалось почти полное прекращение поверхностного стока. Последний, таким образом, превращался во внутренний сток. Горизонтальное скольжение воды заменялось вертикальным ее поглощением почвой. Почва выходила из весны в лето жирно насыщенной влагой…

Первоиванов на время смолк. Мы ничего не могли сказать ему, и он сам добавил:

— Вот когда у нас вода не будет течь, а будет всасываться в землю, у нас получится действительно большевистская почва. А сейчас у нас есть овраги, пески, обнаженные глины. Это еще не наша, а царская территория!

Спящие коллективисты открывали глаза от звуков слов Первоиванова и вновь закрывали их от неизжитой усталости.

— Дмитрий Степанович, — обратился один слушатель-тракторист, — я читал, что ум кормится фосфором. У тебя, должно быть, много фосфора в голове!

— Наверно, есть, — ответил Первоиванов. — Только многие люди живут так плохо и вредно, что лучше б было поколоть ихние головы и обратить оттуда фосфор на минеральное удобрение.

— Ты бы лучше поспал, — сказал тот же тракторист. — А то весь фосфор истратишь. Чем завтра будешь думать?

— И то, надо поспать. Давайте успокоимся на последние темные часы.

Через несколько минут мы затихли, бурча во сне невысказанные слова.

Я проснулся уже в пустоте общежития, освещенного одиноким солнцем. Все спавшие люди давно пробудились и ушли на общий труд. Я вспомнил, что в Москве люди трудятся тоже коллективно, но живут единолично и часто ругаются. Здесь же было тихо, лишь где-то вдали шумела, вращаясь, неизвестная машина или какое-нибудь орудие. Я находился в колхозе ненужным человеком и решил ввязаться в труд на эти дни.

В общежитие вошел человек в кожаной, истертой о машины одежде: очевидно, один из механиков или мастеров «Ньютона». В «Ньютоне» половина людей была в сапогах и в коже, а другая половина — женщины и дети; но после я увидел, что и женщины обращаются с инструментом в слесарном отделении колхозной мастерской, а подросшие дети — юные натуралисты, и с ними приходилось говорить, напрягая все свои остаточные естественные знания.

— Тебя зовет Первый Иван, — сказал нерусским голосом пришедший человек. — Живи — не спи.

— Ты кто? — спросил я.

— Я в коллективе — электрик Гюли, я был киргиз.

— Разве электрик лучше киргиза? Ведь киргиз — сильный человек, и его народ терпелив и способен к трудной жизни. Там, где живут киргизы, другие люди через год погибли бы или сошли с ума от нервности!..

Гюли помолчал, давая мне из уважения время для слова, а затем начал думать и отвечать:

— Твоя голова лучше твоего слова. Я видел тайгу. Отец говорил, что дальше тайги народ живет на льду, и я сказал отцу: «Тот народ умный, что умеет жить на льду, — киргиз бы там умер». А отец научил меня: «Ты глупый, — тот народ тоже умер бы в киргизских песках». А другое ты говоришь: киргиз сильный, а лучше электрика! Твое верно: киргиз сильный, но пустыня терпеливей киргиза; пустыня останется, а киргиза не будет. Электрик лучше киргиза, электрик сильней пустыни, а киргиз — нет. Всякий киргиз будет электрик и механик — от них пустыня зарастет, а человек останется. Ты плохо уважаешь киргиза.

Мы вышли на колхозную усадьбу, похожую на заводской двор; из скотины присутствовали вдалеке, в углу усадьбы, коровы, овцы и одна толстая неработоспособная лошадь. Первоиванов пускал в работу реконструктор рельефа. Я разглядел механизм…

Но меня больше всего привлекала неизвестная мачта вдалеке и шар на ней из красной меди, блестевшей на солнце.

Подойдя поближе, я рассмотрел на том шаре особые заусенции, или тонкие острия, вделанные в тело шара перпендикулярно к его поверхности. У основания той мачты помещалась небольшая деревянная будка, закрытая на замок; из будки шел провод на вершину мачты — к медному шару, и другой провод, разделявшийся далее на несколько проводов. Эти последние провода покоились подвешенными на низенькие столбики, а со столбиков вонзались прямо в землю и в ней пропадали где-то. На, земле же находились, ограниченные канавками, четыре участка, явно похожие на подопытные и контрольные делянки. Но делянки были гладки и пусты, — наверно, на них ничего летом не произрастало. Я не мог понять такой картины и сел в канаву, взволнованный тайной техники.

Через два часа я вновь посетил это место в сопровождении Первоиванова и Гюли, поскольку вся таинственная установка представляет их совместное изобретение, достигнутое в течение шести лет изучения, размышлений и опытного труда. Вечером Гюли показал мне свои расчеты, записки, вспомогательные научные книги и объяснил всю тайну…

В почве вода присутствует в двух состояниях: пленочном и капельно-жидком (это давно установлено многими исследователями). Проявляя «всасывающую энергию», почва получает влагу извне для себя и этой же силой старается удержать ее.

Но что такое всасывающая влагу энергия почвы?

Поверхность земли, то есть почва, в первую очередь, имеет электрический заряд отрицательного знака (открытие принадлежит старым ученым, фамилии которых мне Первоиванов говорил, но я забыл)…

Отрицательные электроны, входящие в структуру атомов почвы, образуют пленочную влагу. Эта пленочная влага практически в сельском хозяйстве никак не может быть использована.

Но, кроме пленочной, в почве находится еще влага в капельно-жидком состоянии, всосанная в почву отрицательными электронами, находящимися в свободном, а не структурно-атомном состоянии, т. е. циркулирующими в почве по своим законам.

Эти свободные отрицательные электроны в почве и есть причина всасывающей силы почвы. Они образуют в почве влагу в капельно-жидком состоянии, которая остается влагой и не теряет своих свойств влаги, а следовательно, может быть использована в сельском хозяйстве.

Такова теория Гюли и Первоиванова. А первый опыт их был такой (он произведен в 1926 г.).

На делянке, площадью около 40 квадратных метров, был посеян овес. Такая же была контрольная делянка. Имелся источник электрического тока в виде многоэлементного аккумулятора с высоким напряжением тока. Положительный полюс аккумулятора был

соединен с медным полым шаром на мачте: Гюли припаял к поверхности шара множество длинных и тонких концов, чтобы положительный заряд уходил через них в атмосферу. А отрицательный заряд направлялся в почву, в корневую систему растений, посредством соединений луженых волосков провода с корнями овса. Таких соединений на опытной делянке было семь. Сколько положительного электричества уходило в атмосферу, столько же отрицательного электричества поступало в корнеобитаемый слой почвы. Не имея приборов и возможностей для точного учета результатов опыта, Первоиванов и Гюли достигли в 1926 г. такого конца своей работы:

1) Почва подопытной делянки хранила влаги больше по сравнению с контрольной делянкой; простейшим выпариванием установлено, что в пробе почвы с опытной делянки влаги было больше приблизительно на 8 процентов, чем на контрольной делянке.

2) Вероятно, были побочные положительные действия отрицательного тока на физиологию растений, кроме лучшего увлажнения почвы, потому что опытная делянка имела на вид более пышную растительность.

3) Валовой урожай твердой массы урожая с опытной делянки превысил контрольную делянку на 12 процентов.

4) Очевидно, что крайне кустарная обстановка опытов позволяет считать эти результаты лишь условными.

По расчетам Первоиванова и Гюли, для электрического орошения нужна примерно одна лошадиная сила на каждые 100 гектаров. А при больших площадях — и того меньше. В стоимости это выражается по 5-10 рублей на гектар.

Обладая исключительной простотой, ясностью и изяществом устройства, электрический способ орошения, изобретенный в «Ньютоне», может стать решающим орудием в борьбе с засухой. Мы можем сразу нанести засухе смертельный удар по всему фронту.

— Действительно, — воскликнул для своего слушателя Первоиванов, — что тут происходит? Ведь мы копируем природу — делаем в почве то же самое, что делает и она по своей воле, лишь искусственно подгоняя и усиливая ее. Как рождаются тучи в атмосфере, как получается капельно-жидкая влага в почве, таким же путем идем и мы, лишь оснащая почву усиленной пропорцией отрицательных электронов и получая поэтому более могучее всасывание почвой паров влаги в себя. Но откуда же будет приходить влага в почву после добавочного, считая против природной нормы, насыщения ее отрицательными электронами? А вот. Влага почвой будет усиленнее всасываться из-под почвы; отработанные, испаряемые растением пары влаги будут втягиваться обратно в почву, поступая, стало быть, во второй оборот; обтекающие дневную поверхность почвы пары влаги, а также утренние и всякие иные росы будут также вовлекаться в почву; наконец, поступившие хотя бы тощие осадки сильнейшим образом будут замедлены в своей фильтрации под почву и в испарении, уходя, главным образом, в полезный оборот растения и образуя некоторый запас влаги на будущее, — запас, который стянут электронами, как цементом.

Электрическое орошение соберет влагу по крохам отовсюду, и хлеб растущий будет сыт.

— Вы мне говорили про опыты 1926 года, а я видел ваше устройство нынче. Что у вас теперь выходит?

— Это другое, — сказал Первоиванов. — Это мы пробуем перероднть электрическую почву. Там первые опыты по удобрению голой почвы электричеством.

— Каким образом?

— Образом изменения строения почвы, чтоб растению было выгодней питаться и жить. Но только у нас ничего не выходит пока.

— Может быть, еще выйдет?

— Конечно, выйдет. Природе от науки некуда деваться.

— А зачем это все нужно, товарищ Первоиванов? Природу вы денете в науку, свой коллектив сделаете зеленой крепостью среди мутных мертвых песков. Ну, и что же?.. Вам

придется только пироги с начинкой кушать — больше ничего. Вы носите имя Исаака Ньютона, а добьетесь того, что обратитесь в артель сытых людей!

— Ты слаб в отношении чужого характера, — заявил Первоиванов. — Нам пища-одежда-жилище — пустяки: их мы в умах устроим. Мы соображаем прочней и дальше, наш колхоз в одиночку не удержится. Как же это так: ты одну пятитысячную часть своей жизни истратил на нас, а не понимаешь?!

— Нет, не понимаю.

Первоиванов со всем терпением присущего ему стойкого ума объяснил мне с полной ясностью, что колхоз в честь Исаака Ньютона не что иное, как центр, или просто точка, целой системы — союза подобных колхозов, которые должны создаться — и уже создаются — от южного конца Уральского хребта вплоть до северного берега Каспийского моря. Эти сомкнутые колхозы покроют сухую степь и полупустыню непрерывной зеленой живой полосой, с тем, чтобы эта полоса культурных растений послужила несокрушимой стеной, ботаническим кремлем против активных среднеазиатских пустынь, с тем, чтобы пустыня иссякла, упершись в юго-восточный противозасушливый союз колхозов. Нижнее и Среднее Поволжье, СевероКавказский край и Украина никогда не должны чувствовать желтой чумы пустыни. Кто это должен сделать, то есть кто именно будет жить и работать в таких противопустынных коллективах? Конечно, в первую очередь кочующие калмыки и киргизы. Они знают пустыню, они гибнут от нее, и они способны победить ее. Причем форма колхоза как раз наиболее приспособлена для безболезненного и быстрого перевода кочующих племен и родов на оседлость, не разлучая людей внутри племени или рода…

Так, по словам Первоиванова, в одном узле должны решиться национальная, климатическая, классовая и техническая задачи. Весь план выдумал и доказал Гюли, Первоиванов же был в этом плане, так сказать, «изобретателем технической революции».

Дальше Первоиванов унылым голосом говорил о своей общей скорби. Эта скорбь ощущалась им от расточения имущества природы бесхозяйственным человечеством. Нефть и уголь изымаются и передаются обращению в силу посредством огня, то есть уничтожению навеки. Леса изводятся на дрова, в тепловой газ, который уже невозможно превратить обратно в вещество. Материю земного шара тратят беспрерывно, и кончится это дело великой нуждой. И как это не жалко никому? Где же наука экономии и чувство скупости ради существования будущих людей? Того нет и не предвидится.

В размышляющей тоске Первоиванов опустил голову, и так же поступил Гюли.

Поэтому Первоиванов, Гюли и весь человеческий коллективный состав «Ньютона» сейчас думают более всего над устройством новой экономики жизни. В новой экономике сила и тепло должны добываться из падающей воды и дующего ветра, то есть посредством таких стихий, где вещество — капитал природы — нисколько не уничтожается. К концу времени люди не должны стать обездоленными — они и тогда, через наш берегущий разум, должны иметь под ногами полнотелый земной шар. По докладу Первоиванова колхоз принял план, что летом будущего года начнется сооружение ветросиловой установки, которая снабдит главную усадьбу коллектива силой, светом и теплом. Узнав эти обстоятельства, я возразил:

— Ведь металл в машинах изнашивается: он рассыпается, истирается, стареет, пропадает в невозвратимый прах. И вы не можете экономить вещество в быстроходной технике.

— Это да… — задумался Первоиванов. — Но мы такую вещь предупреждаем прессовкой металла. Мы уж с Гюлем это обдумали. Идем, я тебе покажу — у нас тайны нету, мы работаем для всех большевистских людей. Денег за мысли об улучшениях мы не просим — они сами к нам придут от изобретений.

И я посетил небольшую литейную в колхозной мастерской. Там была новость — пресс для упрочнения металла…

Металл разогревался до жидкого состояния обыкновенным способом, в вагранке. Затем расплавленный металл подносился в тиглях к прессу и наливался во второй — назовем его

исполнительный — цилиндр… Пресс немедленно пускался в действие: из первого, рабочего цилиндра выходил поршень и вдавливал второй поршень внутрь исполнительного цилиндра, наполненного жидкостью металла. Постепенно жидкость сжималась все более, объем ее уменьшался, пресс гудел от напряжения…

Когда происходил процесс увеличения давления, Гюли несколько раз выпускал особым краном газ из грушевидного сосуда над исполнительным цилиндром. Этот газ освобождался из недр сжимаемого металла, чтобы он не остался там в виде раковин, пустот и желваков, уменьшив прочность строения металла…

Через несколько минут металл, остывая, уже твердеет под сжатием. А раз он затвердел, то, следовательно, остается в таком искусственно-малом объеме, какой ему придало мощное прессование. Тогда остается разомкнуть заднюю крышку исполнительного цилиндра и посредством несильного нажима рабочим поршнем вытолкнуть наружу готовый металл. Он уже теперь имеет чрезвычайную прочность, его строение спрессовано навсегда.

Понятно, я опустил многие детали процесса отпрессовки и самого устройства гидравлического пресса… Однако принципиальная часть изобретения изложена.

Прессованный, «сжатый» металл допускает только холодную обработку. Для того же, чтобы получить изделие нужной формы, необходимо, чтобы пресс в своей исполнительной части имел форму заданного изделия, был бы, так сказать, изложницей. Но чтобы так устроить, следует иметь не один пресс, а целую серию их, и притом производство должно быть посвящено одному какому-либо стандартизованному изделию — например, определенному двигателю, станку и т. д.

Это изобретение Гюли и Первоиванова еще не доведено до конца: прессованный металл имеет хрупкость, показатель которой выше хрупкости обычно приготовленного металла. Однако Первоиванов предполагает в ближайшее время этот недостаток пресечь путем ввода в тело жидкого металла особого вяжущего состава. Мне кажется, что это Первоиванову удастся, потому что ему и его друзьям само время помогает, да и стихии мира, видимо, не прочь отдаться в его бережные, разумные и догадливые руки.

Таковы советские умственные дела, сбывающиеся за чертой нашего внимания безвестными, великими и рядовыми людьми «массы».

Вскоре я отправился домой. Мне пришлось долго ехать по осенней степи, среди которой природа исполняла свою скуку.

Было в точности ясно, что в мире необходимо иметь множество «Первых Иванов», дабы уничтожить скуку природы счастливым смыслом их совокупного, образующего творчества.

Факт
(Очерк про двух отсталых рабочих)

[текст отсутствует]

Товарищ пролетариата

«Сейчас ночь в СССР и в Европе. Капитализм спит и не знает, что он уже побежден насмерть. Всемирный рвач, летун по нашей планете, прогульщик своего срока, прорывщик всеобщего блага, капитализм уже не видит снов будущего счастья, потому что будущее до самого горизонта времен занято пролетариатом. А я — товарищ и подручный пролетариата».

Инженер Всуев сделал это сообщение в 3 часа зимней ночи, в эпоху реконструкции, обращаясь к самому себе.

Всуев жил в Советском Союзе два года; истинная фамилия его была Всюэ, происхождения он не помнил и в анкете — на вопрос о классовом роде — отвечал: безвестный, а об имущественном состоянии сообщал, что он средний бедняк. Все это было верно, потому что родителей он никогда не чувствовал и долгий срок работал в Австралии

караульщиком цветочных пчелиных пастбищ от саранчи. Всуев и теперь еще, ночуя в СССР, видел иногда в сновидениях безлюдье среднеавстралийской пустыни, томительный оазис пчеловодства и тоску жизни, продолжающейся без надежды. Он просыпался в страдании и вскоре ругался в одиночестве, не в силах терпеть такое положение.

В СССР тов. Всуев приехал по нужде. В Австралии он встретил однажды советского человека, пасшего кроликов. Тот человек ему рассказал про СССР все, что знал, и сам заплакал от воспоминаний.

— Там что такое? — спросил его Всуев. — Отчего ты плачешь по родине,

а сам уехал из нее…

— Да я там бандитом был, — сказал плачущий, — а здесь целиком осознался. Сижу теперь и горюю.

— А там полезное что-нибудь? — интересовался Всуев. — Там есть работа инженеру-оптику?

— Там любой дурак счастлив теперь. Там ударный инженер самую прелестную комсомолку может свободно полюбить…

— А она? — спросил Всуев.

— А она — как захочет, — объяснил бандит. — Там теперь всемирное счастье скапливается в один бугор, а я здесь единоличных кроликов стерегу, низкую сволочь такую!..

Вслед тому бандит привлек одного толстого кролика, питавшегося вблизи, и вручную задушил его как представителя местной буржуазии.

— Спи теперь вечно, гнусная личность, — сказал кролику бандит.

Он поглядел затем на окрестную Австралию, и слезы сразу высохли на его глазах от жары. Вдалеке, по пустынному миру ехал какой-то мелкий буржуй в таратайке. Беглый человек схватил с земли сухую ветвь и яростно побежал за тем буржуем, а на родине своей он убивал пролетарских активистов и желал кулачеству блага.

Всуев взял расчет у пчеловода и поехал в Мельбурн. В Мельбурне он узнал, сколько стоит проезд на товаро-пассажирском пароходе до Дальнего Востока. Денег у него хватало только на билет, а на дорожную пищу уже ничего не оставалось. Тогда он решил ехать в СССР натощак и поесть впоследствии во Владивостоке. Однако старый мир наполнен пролетариатом, и Всуева кормил всю дорогу кочегар 2-го разряда из своей суточной порции.

Достигнув берега СССР, Всуев не обрадовался. Он желал здесь найти только работу и постоянную пищу, но вовсе не счастье. Темная вода обмывала берег, на котором строился социализм, ветер сгибал приморскую поросль, и было кругом бесприютно и скучно, как всюду на земном капиталистическом шаре.

Всуев пошел к советскому агенту иностранных дел и сказал там, что он по образованию инженер-оптик, а по состоянию — нищий человек, нельзя ли ему потрудиться в здешней стране, поскольку он будет стараться.

Советский агент прочитал бумаги инженера Всуева, посмотрел ему в лицо и безмолвно что-то подумал. Всуев был худ снаружи и стоял печально, уже изнемогший от тридцати двух лет непрерывной жизни. На всем свете никто о нем сейчас не думал и не заботился, кроме этого советского служащего.

— Мы согласны, — сказал агент. — Если вы потрудитесь стать на сторону пролетариата, если вы забудете огни буржуазии…

— Они для меня никогда не светили, — ответил Всуев.

— Тем лучше, — продолжал служащий. — Тогда вы зажжете свет у нас — для себя и своих новых товарищей.

— Свет я зажечь могу — я же оптик, а оптика — это светотехника, — объяснил австралийский инженер.

— Хорошо, — сообщил агент и наложил резолюцию доверяющей рукой.

Отъехав от океана на несколько тысяч километров, Всуев начал работать на заводе особого назначения имени «1/6 суши». Общественным организациям завода понравился

усердный, угрюмый инженер из далекой, тем более колониальной страны — заведомо угнетенный человек, — и организации дали Всуеву различную нагрузку; в первую очередь ему поручили просмотр и оценку рабочих предложений.

Товарищ Всуев принял всю новую советскую жизнь сразу всерьез и никогда не засмеялся над отсталостью или неумелостью трудящихся масс. Он знал место, откуда эта отсталость произошла, и знал виноватых. Большому числу рабочих изобретений Всуев не удивился. Он не имел той руководительской радости, что неимущие и темные тоже умеют думать, какую имели образованные сторонники пролетариата, — они сами не были пролетариатом и не обладали правильным понятием о нем. То, что они, интеллигенты, чувствовали восторг от сообразительности пролетариата, служило Всуеву доказательством, что втайне, невольно они не верили в ум, в жизненное движение масс. Они, вероятно, предполагали, что лишь они свободно размышляют, а бедняки существуют смутно и механически, по одному указанию сознательных.

В течение ночей Всуев превращал краткие рисунки рабочих изобретений в полные чертежи, и те чертежи шли в немедленное осуществление. Партийные рабочие, которые заведовали заводом, одобряли Всуева и считали его товарищем пролетариата.

На торжествах изобретений Всуева ставили в ряд с умнейшими рабочими, вводившими новые правила производства и ударные высшие машины; Всуев стоял тогда на высоте трибуны и смотрел пред собою в этот радующийся мир, который был настолько несчастен, что приветствовал и возносил инженера за одно исполнение им своих обязанностей.

В половине двенадцатого одной ночи в комнату Всуева пришел пожилой человек и принес в руке старую, любимую книгу, всю пропахшую телом ее читателя. Человек сообщил Всуеву, что его профессия — шлифовщик двояковыпуклых чечевиц, фамилия — Климентов, возраст — почти старчество.

Всуев выслушал гостя и осмотрел его книгу. Это было учение Максвелла о солнечном свете, который есть на самом деле лишь электричество. Четыре года мучился шлифовщик над сочинением, пока не понял его целиком, а поняв — усомнился: может быть, считать солнечный свет простым электричеством есть явное упрощенство диалектической сложности природы!

Теперь Климентов объявил Всуеву, что капитализм можно немедленно и научно обогнать, он сказал:

— Ты моего лица не замечал, товарищ Всуев. Я всегда стоял в гуще и проверял твое настроение, а теперь вполне приветствую тебя, как пролетарского соучастника… Что такое солнечный свет? Это электромагнитные волны, только они, сволочи, дюже часты в секунде и коротки в длине, — вот вопрос-то!

Два часа слушал Всуев неправильную, самоспорящую речь прибывшего человека. Гость стоял все время на ногах и отвергал технические идеи, способные лишь догнать капитализм, но не обогнать его. Например, идею академика Иоффе об отеплении тундры, о превращении льдов Северного океана в теплую воду — шлифовщик не очень одобрял. Он уже успел прочитать, что где-то в Тихом океане есть силовые двигатели, действующие разницей температуры воды и воздуха; поэтому перенесение той же идеи к нам, хотя бы для отопления советских ледовитых местностей, его явно не прельщало. Он хотел именно обгона капитала посредством создания такой технической идеи, которая бы решила задачу энергетики земного шара чисто социалистически — изящно, вечно и почти как бы невесомо. Материалист Климентов уважал в машине не чугун, а мысль, изложенную конструкцией. Он глубоко предчувствовал строгую нежность природы и ненавидел чугунно-паровую технику буржуазии, как ложь перед миром.

— Вот вопрос-то! — ежеминутно удивлялся Климентов и тут же делал теоретическое усилие, чтобы положить стоячий вопрос вниз.

— Жутко быть сейчас капитализмом! — наслушавшись шлифовщика, сказал Всуев; он не видел в Австралии размышления со стороны пастухов или прочей наемной силы о солнечном свете.

— Еще бы не жутко! — подтвердил Климентов. — Ему не только жутко, ему странно сейчас: вот вопрос-то!.. Городской переменный ток имеет длину волны километра два или четыре, частоту волн — пятьдесят штук в секунду, а солнечный свет бьет, стервец, миллиарды раз в ту же секунду, и его волна по длине почти ничто! Ну и пускай! Но ведь принцип-то один и тот же! Стало быть, нужно сделать волну солнечного света подлиннее, а ее колебания пустить на редкий счет вместо частого — и тогда мы получим электричество — и нет вопроса!

— Земля — это электромотор, а солнце — его единственная динамо! — высказался Всуев.

— Свет солнца нужно немедленно превратить в электричество, — сообщил шлифовщик. — Коммунизм должен вертеться силой, добытой впрямую из солнца — без антрацита, без дров, без водопадов, без температуры, без химии — безо всякого терпения…

— Я понимаю, — сказал Всуев.

Тот же Климентов дал Всуеву рисунок простого прибора, который, кроме стекла и нескольких металлических деталей, ничего не должен иметь. В одну сторону прибор принимал дневной свет, пропускал его через стеклянные сферы, мимо склоненных плоскостей, преломлял в сложных фигурах, по другую сторону прибора свет выходил уже в форме рабочего тока.

Шлифовщик определил будущую технику и философию как время, когда оптимизм будет внутри человека, а оптификация — снаружи его. Оптику, науку о свете и тьме, он считал самым прекрасным вопросом.

Везде, где есть солнце, луна, звезды, северное сияние, наконец, — рассеянный сумрак ночи, — везде можно мгновенно, непрерывно и даром иметь электрическую мощность.

Получив рисунок изобретателя, Всуев несколько месяцев продумывал вопрос, пока не пришел к выходу из него. Теперь инженер был уже способен доказать, что использование энергии солнца — через прямое обращение световых колебаний в электрический переменный ток промышленной формы, — лучше всего возможно оптическим прибором. Шлифовщик был прав, говоря однажды на высоте энтузиазма, что подобно зеркалу, производящему из лица одинокого человека призрак второго друга, — оптическая наука откроет на Земле солнечный родник, взойдет заря вечной энергии, и в математической поверхности оптической машины изобразится целое человечество, как второй товарищ каждому склоненному лицу.

Зимою инженер Всуев закончил всю проектную работу и передал ее на просмотр и подпись тов. Климентову. Шлифовщик проверил, сделал поправки и отослал на высшую консультацию, а Всуеву прислал ночную записку, исполненную обычным торжествующим стилем: «Привет бывшему колониальному рабу, служащему нынче помощником, товарищем машиниста на паровозе истории, обгоняющем финансовый империализм! Да здравствует солнечная централь, образующая коммунизм на нашей нижней земле! Смерть вопросам!»

Инженер Всуев, прочтя, не улыбнулся: он знал место, где производится такое скучное горе, что для забвения его нужна радость, безумная, как глупость. Он и сам испытывал сейчас счастье и написал те слова, которые написаны в начале рассказа, обращенные к самому себе.

Пробыв еще полгода на заводе «1/6 суши», австралийский инженер изобрел способ просвечивания атмосферных туманностей для беспрерывных астрономических наблюдений и был принят в партию, перестав быть подручным пролетариата.

Бандит, пасший кроликов в Австралии, проник тайно в СССР и работал кирпичным кладчиком на капитальном строительстве того же завода, где был Всуев. Бандита вскоре открыли и увели на следствие в тюрьму, а потом судили в клубе, где присутствовал и Всуев. Инженер вспомнил знакомое лицо и вышел свидетелем. Он сказал, что данный человек плакал в Австралии от горя по СССР.

Суд задумался и отпустил бандита работать на воле.

<1929>

Мусорный ветер

Посвящается тов. Цахову, германскому безработному, свидетелю на Лейпцигском процессе, заключенному в концлагере Гитлера.

Оставьте безумие мое.
И подайте тех, Кто отнял мой ум.
«Тысяча и одна ночь»

Над землей взошла утренняя заря на небе, и начался новый сияющий день 16 июля 1933 года. Однако к одиннадцати часам утра этот день уже постарел от действия собственной излишней энергии — от жары, от пылящей ветхости почвы, затмившей пространство, от тления всякого живого дыхания, возбужденного реющим светом, — и летний день стал смутным, тяжким и вредоносным для зрения глаз.

Стихия света проникала через большое горячее окно и освещала одинокого спящего на железной кровати, на бедном белье, взволнованном сонными движениями. Спящий человек был не стар, но обыкновенное лицо его давно посерело от напряжения, с которым уснувший добывал себе жизнь, и непроходящее утомленное отчаяние с костяной твердостью лежало в выражении его лица, как часть поверхности человеческого тела.

Было воскресенье. Из другой комнаты квартиры вышла смуглая жена спящего человека, по имени Зельда, родом с Ближнего Востока, из русской Азии. Она с кроткой тщательностью накинула одеяло на обнажившегося мужа и побудила его:

— Вставай, Альберт. День наступил, я достану чего-нибудь…

Альберт открыл глаза — сначала один глаз, потом другой — и увидел все в мире таким неопределенным и чужим, что взволновался сердцем, сморщился и заплакал, как в детском ужасающем сновидении, когда вдруг чувствуется, что матери нету нигде и вставшие, мутные предметы враждебно двигаются на маленького зажмурившегося человека… Зельда погладила Альберта по лицу, он успокоился, его глаза остановились — чистые, выгоревшие насквозь, глядящие неподвижно, как в слепоте. Он не мог сразу вспомнить, что он существует и что ему надо продолжать жить дальше, он забыл вес и чувство своего тела. Зельда ближе склонилась к нему, увядшая от голода афганка, некогда пышное и милое существо.

— Вставай, Альберт… У меня есть две картошки с ворванью.

Альберт Лихтенберг увидел с ожесточением, что его жена стала животным: пух на ее щеках превратился в шерсть, глаза сверкали бешенством и рот был наполнен слюной жадности и сладострастия; она произносила над лицом возгласы своего мертвого безумия. Альберт закричал на нее и отогнал прочь. Одеваясь, Лихтенберг видел, как плакала Зельда, улегшись на полу; нога ее заголилась — она была покрыта одичалыми волдырями от неопрятности зверя, она даже не зализывала их, она была хуже обезьяны, которая все же тщательно следит за своими органами.

Альберт взял трость и захотел уйти: он потемнел мыслью, эта бывшая женщина иссосала его молодость, она грызла его за бедность, за безработицу, за мужское бессилие и, голая, садилась верхом на него по ночам. Теперь она зверь, сволочь безумного сознания, а он до гроба, навсегда останется человеком, физиком космических пространств, и пусть голод томит его желудок до самого сердца — он не пойдет выше горла, и жизнь его спрячется в пещеру головы.

Альберт ударил тростью Зельду и вышел на улицу, в южную германскую провинцию. Звонили колокола римской веры, из небольшой уличной церкви выходили белые блаженные девушки с глазами, наполненными скорее сыростью любовной железы, чем слезами обожания Христа.

Альберт поглядел на солнце и улыбнулся ему, как далекому человеку. Нет, не солнце, не это всемирное сияние энергии, и не кометы, не бродячие черные звезды закончат человечество на земле: они слишком велики для такого небольшого действия. Люди сами затомят и растерзают себя, и лучшие упадут мертвыми в борьбе, а худшие обратятся в животных.

На крыльцо католического храма вышел римский священник, возбужденный, влажный и красный, — посол бога в виде мочевого отростка человека. Затем из церкви появились старухи, эти женщины, в которых кипевшие некогда страсти теперь текли гноем, и в чреве, в его гробовой темноте, истлевали части любви и материнства. Священник благословил с крыльца жаркое пространство и ушел в холодок своей квартиры на церковном дворе.

Мелкие колокола на башне еще продолжали звонить, вознося пропетые молитвы через готическую мучительную вершину храма в неясное небо, затуманенное зноем солнца. Вечные колокола звонили о том же, о чем писали газеты и книги, о чем играла музыка в ночных кафе: «Томись — томись — томись!»

Но уже двадцать лет слышал этот однообразный всемирный звук Альберт Лихтенберг: «Томись!» — и призыв к томлению, к замедлению, к уничтожению жизни все более усиливался, — одно лишь сердце билось невинно и ясно, как непорочное, как не понимающее ничего.

Альберт сел где-то в городе среди потоков жары; день продолжался над ним с тщательностью пустяка, с точностью государственной казни и с терпением неизвестного милосердия. Лихтенберг потрогал дерево, росшее перед ним. Внимательно и нежно он стал глядеть на это деревянное растение, мучимое тем же томленьем, тем же ожиданьем прохладного ветра в этом пыльном, душевном существовании.

— Кто ты? — спросил Лихтенберг.

Ветви и листья склонились к утомленному человеку. Альберт схватил близкую ветвь с той страстью и напряжением одинокого дружелюбия, перед которым вся блаженная любовь на земле незначительна. С дерева упали мертвые бабочки, но живая моль улетела в сухую пустоту.

Лихтенберг сжал трость в руке; он пошел дальше с яростью своего жесткого сознания, он чувствовал мысли в голове, вставшие, как щетина, продирающиеся сквозь кость. В тлеющем, измученном воздухе он увидел площадь города. Большой католический собор, как сонное тысячелетие, как организованное в камень страдание, стоял сосредоточенно и безмолвно, опираясь глубоко в могилы своих строителей. Снизу поднимался мусор: человек сто национал-социалистов, в коричневой прозодежде своего мировоззрения, монтировали памятник Адольфу Гитлеру. Памятник был привезен готовым на грузовике, его отлили из качественной бронзы в Эссене. Другой грузовик, имея кран на своей площадке, сгрузил памятник вниз, а еще четыре грузовых машины одновременно привезли тропические растения в синих ящиках морского цвета. Национал-социалисты трудились, не жалея одежды; их белье прело от пота, кости изнашивались, но им хватало и одежды и колбасы, потому что в тот час миллионы машин и угрюмых людей напрягались в Германии, обслуживая трением металла и человеческих костей славу одного человека и его помощников.

Из центральной улицы города вышла единодушная толпа — в несколько тысяч человек, толпа пела песнь изнутри своей утробы — Лихтенберг ясно различал бас пищевода и тенор дрожащих кишок. Толпа приблизилась к памятнику; лица людей означали счастье: удовольствие силы и бессмыслия блестело на них, покой ночи и пищи был обеспечен для каждого темным могуществом их собственного количества. Они подошли к памятнику, и авангард толпы провозгласил хором приветствие — человеку, изображенному из бронзы, — а затем вступили в помощь работающим, и мусор поднялся от них с силой стихии, так что Лихтенберг почувствовал перхоть даже в своей душе. Другие тысячи и миллионы людей тоже топтали сейчас старую трудную землю Германии, выражая одной своей наличностью радость спасителю древней родины и современного человечества. Миллионы могли теперь

не работать, а лишь приветствовать; кроме них, были еще сонмы и племена, которые сидели в канцеляриях и письменно, оптически, музыкально, мысленно, психически утверждали владычество гения-спасителя, оставаясь сами безмолвными и безымянными. Ни приветствующие, ни безмолвные не добывали даже черного хлеба, но ели масло, пили виноградное вино, кормили по одной верной жене. Сверх того, по Германии маршевыми колоннами ходили вооруженные армии, охраняющие славу правительства и порядок преданности ему, — и эти колонны немых, сосредоточенных людей ежедневно питались ветчиной, и правительство поддерживало в них героический дух безбрачия, но снабдило пипетками против заражения сифилисом от евреек (немецкие женщины сифилисом сознательно не болели, от них даже не исходило дурного запаха благодаря совершенному расовому устройству тела).

Лихтенберг тоже не трудился — он мучился. Все видимые им людские количества либо погибали от голода и безумия, либо шагали в рядах государственной охраны. Кто же кормил их пищей, одевал одеждой и снабжал роскошью власти и праздности?.. Где живет пролетариат? Или он утомился и умер, истратившись в труде и безвестности? Кто же, бедный, могучий и молчаливый, содержит этот мир, который истощается в ужасе и остервенелой радости, а не в творчестве и ограждает себя частоколом идолов?

В изнеможении стоял Альберт Лихтенберг на старой католической площади, озираясь с удивлением в этом царстве мнимости; он и сам лишь с трудом чувствовал свое существование, напрягаясь для каждого воспоминания о самом себе; обычно же он себя постоянно забывал, может быть, излишек страдающего сознания выключал в нем жизнь, дабы она сохранилась хотя бы в своем грустном беспамятстве!..

Чуждый всякому соображению, равнодушный, как несуществующий, Лихтенберг подошел к радиатору грузовика. Трепещущий жар выходил из железа; тысячи людей, обратившись в металл, тяжело отдыхали в моторе, не требуя больше ни социализма, ни истины, питаясь одним дешевым газом. Лихтенберг прислонился лицом к машине, как к погибшему братству; сквозь щели радиатора он увидел могильную тьму механизма, в его теснинах заблудилось человечество и пало мертвым. Лишь изредка среди пустых заводов стояли немые рабочие; на каждого из них приходилось по десяти человек государственной гвардии, и каждый рабочий делал в день сто лошадиных сил, чтобы они кормили, утешали и вооружали господствующую стражу. Один убогий труженик содержал десять человек торжествующих господ, но эти десять господ, однако, не радовались, а жили в тревоге, сжимая оружие в руках — против бедных и одиноких.

Над радиатором автомобиля висела золотая полоска материи с надписью черными буквами: «Почитайте вождя германцев — мудрого, мужественного, великого Адольфа! Вечная слава Гитлеру!» По обеим сторонам надписи были знаки свастики, как следы лапок насекомого.

— Прекрасный девятнадцатый век, ты ошибся! — сказал Лихтенберг в пыль воздуха, и мысль его вдруг остановилась, превратившись в физическую силу. Он поднял тяжелую трость и ударил ею машину в грудь — в радиатор, так, что смялись его соты. Национальный шофер молча вышел из-за руля и, сжав туловище худого физика, ударил его головою с равнозначной силой о тот же радиатор. Лихтенберг свалился в земной сор и там полежал без ощущения; это уже не было для него страданием — он и без того очень мало чувствовал себя, как насущное тело и как эгоиста, а голова его болела от сорной действительности больше, чем от ударов о железо…

Слабо белел день над его зрением, он глядел в него не моргая; пыль набилась в его глазницы, и оттуда текли слезы, чтобы смыть щекочущую грязь. Над ним стоял шофер; все съеденные им за свою жизнь животные — коровы, бараны, овцы, рыбы, раки, — переварившись внутри, оставили в лице и теле шофера свое выражение остервенения и глухой дикости. Лихтенберг встал, ткнул тростью животное туловище шофера и отошел от машины. Шофер остался в удивлении — перед таким фактом невнимательного мужества — и забыл вторично ударить Лихтенберга.

В пространстве шел ветер с юга, неся из Франции, Италии, Испании житейский мусор и запах городов, остатки взволнованного шума, обрывающийся голос человека… Лихтенберг повернулся лицом навстречу ветру; он услышал далекую жалобу женщины, грустный крик толпы, скрежет машинных скоростей, пение влажных цветов на берегу Средиземного моря. Он вникнул в эту невнятность, в безответное долгое течение воздуха, наполненное воплем над безмолвием местной суеты.

Лихтенберг подошел к труженикам у памятника. Работа людей уже прекращалась. На чугунном цилиндре стояло бронзовое человеческое полутело, заканчивающееся сверху головой.

На лице памятника были жадные губы, любящие еду и поцелуи, щеки его потолстели от всемирной славы, а на обыкновенный житейский лоб оплаченный художник положил резкую морщину, дабы видна была мучительная сосредоточенность этого полутела над организацией судьбы человечества и ясен был его напряженный дух озабоченности. Грудь фигуры выдавалась вперед, точно подтягиваясь к груди женщины, опухшие уста лежали в нежной улыбке, готовые к страсти и к государственной речи, — если придать памятнику нижнюю половину тела, этот человек годился бы в любовники девушке, при одном же верхнем полутеле он мог быть только национальным вождем.

Лихтенберг улыбнулся; одна радость еще не оставила его — он мог нечаянно, по забывчивости, думать.

— Прекрасный девятнадцатый век! — громко сказал Лихтенберг в окружавший его удушающий дух жары, машин и людей; национал-социалисты прислушались к его неясной речи: их вождь сравнил некогда мысль и слово с семейным браком, — если мысль верна лишь вождю, как своему мужу, она полезна; если она бродит в сумраке ночи, по домам отчаяния, ища удовлетворения своего в развратном сомнении и блуде с одною грустью своею, — тогда мысль бессмысленна, организованная голова должна ее уничтожить, она опасней коммунизма и Версальского договора, сложенных вместе. — Великий век! — говорил Лихтенберг. — В конце твоего времени ты родил Адольфа Гитлера: руководителя человечества, самого страстного гения действия, проникшего в последнюю глубину европейской судьбы!..

— Верно! Хайль Гитлер! — закричали присутствующие массы национал-социалистов.

— Хайль Гитлер!.. Ты будешь царствовать века — ты прочнее всех императорских династий: твоему господству не будет конца, пока ты сам не засмеешься или пока смерть не уведет тебя в наш общий дом под травой! Что за беда! После тебя будут другие, более яростные, чем ты… Ты первый понял, что на спине машины, на угрюмом бедном горбу точной науки надо строить не свободу, а упрямую деспотию! Ты собираешь безработных, всех мрачных и блуждающих, которых освободила машина, под свои знамена, в гвардию своей славы и охраны… Ты скоро возьмешь всех живых в свои соратники, и те немногие утомленные люди, которые останутся у машин, чтобы кормить твою армию, не сумеют уничтожить тебя. Императоры гибли, потому что их гвардию кормили люди, но люди отказывались. Ты не погибнешь, потому что твою гвардию будут кормить механизмы, огромный излишек производительных сил! Ты не исчезнешь и победишь кризис…

— Хайль Гитлер!..

— Ты изобрел новую профессию, где будут тяжко уставать миллионы людей, никогда не создавая перепроизводства товаров, они будут ходить по стране, носить обувь и одежду, они уничтожат избыток пищи, они будут в радости и в поту прославлять твое имя, наживать возраст и умирать… Эта новая промышленность, труд по воодушевлению народа для создания твоей славы, окончит кризис и займет не только мускулы, но и сердце населения и утомит его покоем и довольством… Ты взял себе мою родину и дал каждому работу — носить твою славу…

Лихтенберг осмотрелся в томлении. С беспрерывной силой горел солнечный центр в мусорной пустоте пространства, сухие насекомые и различные пустяки с раздражением шумели в воздухе, а люди молчали.

— Землю начинают населять боги, я не нахожу следа простого человека, я вижу происхождение животных из людей… Но что же остается делать мне? Мне — вот что!..

С силой своего тела, умноженного на весь разум, Лихтенберг ударил дважды палкой но голове памятника, и палка лопнула на части, не повредив металла; машинное полутело не почувствовало бешенства грустного человека.

Национал-социалисты взяли туловище Лихтенберга себе на руки, лишили его обоих ушей и умертвили давлением половой орган, а оставшееся тело обмяли со всех сторон, пройдя по нем маршем. Лихтенберг спокойно понимал свою боль и не жалел об исчезающих органах жизни, потому что они одновременно были средствами для его страдания, злостными участниками движения в этой всемирной духоте. Кроме того, он давно признал, что прошло время теплого, любимого, цельного тела человека: каждому необходимо быть увечным инвалидом. Потом он уснул от слабости, давая возможность, чтобы кровь запеклась на ранах. Ночью он очнулся; звезд не было, шел мелкий острый дождь, настолько мелкий, что он казался сухим и нервным, как перхоть.

Неизвестный человек поднял Лихтенберга от подножия памятника и понес куда-то. Лихтенберг удивился, что есть еще незнакомые нежные руки, которые, прячась ночью, несут молча чужого калеку к себе домой. Но вскоре человек принес Лихтенберга в глубь черного двора, открыл дверь сарая над помойной ямой и бросил туда Лихтенберга.

Лихтенберг зарылся в теплую сырость житейских отходов, съел что-то невидимое и мягкое, а затем снова уснул, согревшись среди, тления дешевого вещества.

Из экономии хозяин дома подолгу не вывозил мусор из помойного помещения, поэтому Лихтенберг прожил долго в кухонной мишуре, равнодушно вкушая то, что входит в тело и переваривается там. По телу его — от увечных ран и загрязнения — пошла сплошная темная зараза, похожая на волчанку, а поверх ее выросла густая шерсть и все покрыла. На месте вырванных ушей также выросли кусты волос, однако он сохранил слух правой стороной головы. Ходить он больше не мог — рядом с мужским органом у него повредились ноги, и они перестали управляться. Только раз Лихтенберг вспомнил свою жену Зельду, без сожаления и без любви, — одною мыслью в костяной голове. Иногда он бормотал сам себе разные речи, лежа в рыбных очистках, — хлебные корки попадались очень редко, а картофельные шкурки — никогда. Лихтенберг удивлялся, отчего ему не отняли язык, это государственная непредусмотрительность: самое опасное в человеке вовсе не половой орган — он всегда однообразный, смирный реакционер, но мысль — вот проститутка, и даже хуже ее: она бродит обязательно там, где в ней совсем не нуждаются, и отдается лишь тому, кто ей ничего не платит! «Великий Адольф! Ты забыл Декарта: когда ему запретили действовать, он от испуга стал мыслить и в ужасе признал себя существующим, то есть опять действующим. Я тоже думаю и существую. А если я живу, — значит, тебе не быть! Ты не существуешь!»

— Декарт дурак! — сказал вслух Лихтенберг и сам прислушался к звукам своей блуждающей мысли: что мыслит, то существовать не может, моя мысль — это запрещенная жизнь, и я скоро умру… Гитлер не мыслит, он арестовывает, Альфред Розенберг мыслит лишь бессмысленное, папа римский не думал никогда, но они существуют ведь!

Пусть существуют: большевики скоро сделают их краткой мыслью в своем воспоминании…

Большевики! Лихтенберг в омраченной глубине своего ума представил чистый, нормальный свет солнца над влажной, прохладной страной, заросшей хлебом и цветами, и серьезного, задумчивого человека, идущего вослед тяжелой машине. Лихтенбергу стало вдруг стыдно того далекого, почти грустного труженика, и он закрыл рукою во тьме свое опечаленное лицо… Он стал печален от горя, что его тело уже истрачено, в чувстве нет надежды, и он никогда не увидит прохладной ржаной равнины, над которой проходят белые горы облаков, освещенные детским, сонным светом вечернего солнца, и его ноги никогда не войдут в заросшую траву. Он не будет другом громадному, серьезному большевику, молча думающему о всем мире среди своих пространств, — он умрет здесь, задохнувшись

мусорным ветром, в сухом удушье сомненья, в перхоти, осыпавшейся с головы человека на европейскую землю.

Житейские отбросы все более уменьшались. Лихтенберг съел все мягкое и более или менее достойное пищи. Наконец в помойном коробе осталась одна только жесть и осколки керамических изделий.

Лихтенберг уснул с туманным умом и во сне увидел большую женщину, ласкавшую его, но он мог лишь плакать в ее тесной теплоте и жалобно глядеть на нее. Женщина молча сжала его, так, что он почувствовал на мгновенье, что ноги его могут бежать собственной силой, — и он закричал от боли, схватил чужое тело в руку. Он поймал крысу, грызшую его ногу во сне: крыса рвалась жить с могучим рациональным нетерпеньем и утопала зубами в руке Лихтенберга; тогда он ее задушил. Потом Лихтенберг опробовал свок рану от крысы; рана была рваная и влажная, крыса много выпила его крови отъела верхнее мясо и изнурила его жизнь, — теперь сила Лихтенберга хранилась в покойном животном.

Лихтенберг почувствовал скупость к бедному остатку своего существования, ему стало жалко худое тело, принадлежащее ему, истраченное в труде и томлении мысли, растравленное голодом до извести костей, не наслаждавшееся никогда. Он добрался до мертвой крысы и начал ее есть, желая возвратить из нее собственное мясо и кровь, накопленные на протяжении тридцати лет из скудных доходов бедности. Лихтенберг съел маленького зверя вплоть до его шерсти и уснул с удовлетворением своего возвращенного имущества.

Утром собака, как нищенка, испуганно пришла в помойное место. Лихтенберг сразу понял, увидя эту собаку, что она — бывший человек, доведенный горем и нуждою до бессмысленности животного, и не стал пугать ее дальше. Но собака, как только заметила человека, задрожала от ужаса, глаза ее увлажнились смертельной скорбью, — утратив силу от страха, она с трудом исчезла прочь. Лихтенберг улыбнулся: когда-то он работал над изучением космического пространства, составлял грезящие гипотезы о возможных кристаллических ландшафтах на поверхности далеких звезд, — все это делалось с тайной целью — завоевать разумом вселенную, — теперь же, если бы звездная вселенная стала доступна, люди в первый же день разбежались бы друг от друга и стали бы жить в одиночестве, на расстоянии миллиардов километров один от другого, а на земле бы вырос растительный рай, и его населили бы птицы.

Днем уличная полицейская власть изъяла Лихтенберга из его убежища и отвезла, как прочих преступных и безымянных, в концлагерь, огороженный тройной сетью колючей проволоки. Среди лагерной площади были землянки, вырытые для долгой жизни загнанными сюда людьми.

В лагерной конторе у Лихтенберга не стали спрашивать ничего, а осмотрели его, полагая, что это — едва ли человек. Однако на всякий случай его оставили в бессрочном заключении, написав в личном формуляре: «Новый возможный вид социального животного, обрастает волосяным покровом, конечности слабеют, половые признаки неясно выражены, и к определенному сексуальному роду этого субъекта, изъятого из общественного обращения, отнести нельзя, по внешней характеристике головы — дебил, говорит некоторые слова, произнес без заметного воодушевления фразу — верховное полутело Гитлер — и умолк. Бессрочно».

На пространстве лагеря росло одно дерево. Лихтенберг вырыл под корнем дерева небольшую пещеру и поселился в ней для неопределенного продолжения своей жизни. Вначале его сторонились заключенные и он сам держался уединенно от них. Но потом один коммунист полюбил Лихтенберга. Это был молодой человек с черными внимательными глазами, покрытый по лицу прыщами от напора органической силы и бездействия. Он носил Альберта на руках, как мелкое, краткое тело, и говорил ему, что тосковать не надо: солнце всходит и заходит, растут ветви в лесах, в океан социализма течет историческое время; фашизм же кончится всемирной гигантской насмешкой — это улыбнутся молчаливые скромные массы, уничтожив господство живых и бронзовых идолов.

Лихтенберг пожил в лагере и постепенно успокоился. Он ждал только вечернего времени, когда возвращаются с работы заключенные, варят себе похлебку и разговаривают. Лихтенберга на работу не посылали, потому что он мог лишь ползти по земле. Ему теперь было ничего не жалко и не страшно: ни прожитой жизни, ни любви к женщинам, ни будущей темной судьбы; он лежал в пещере весь день и слушал, как шумит гнусная пыль в воздухе и пробегают поезда по насыпи, развозя чиновников правительства по делам их господства. Когда же раздавались голоса за колючей проволокой и гремело оружие конвоя, Лихтенберг вылезал навстречу людям — в радости своего страстного и легкого чувства к ним.

Он дружил больше всего с коммунистами: голодные невольники, они играли и бегали по вечерам, как ребятишки, веря в самих себя больше, чем в действительность, потому что действительность заслуживала лишь уничтожения, и Лихтенберг елозил между ними, принимая участие в этой общей детской суете, скрывавшей за собою терпеливое мужество. Потом он засыпал со счастьем до утра и рано вставал провожать своих товарищей на работу. Однажды, роясь в бурьяне в поисках еды, он нашел обрывок газеты и прочитал в нем про сожжение своей брошюры «Вселенная — безлюдное пространство». Брошюра была издана еще пять лет тому назад и посвящалась доказательству пустынности космического мира, наполненного почти сплошь одними минералами. Уничтожение книжки подтверждало, что и земля делается безлюдной и минеральной, но это не огорчило Лихтенберга; ему хотелось лишь, чтобы каждый день был вечер и он мог быть счастливым один час среди усталых, невольных людей, предающихся своей дружбе, как маленькие дети предаются ей в своих играх и воображении на заросших дворах ранней родины.

В конце лета, во время очередной ночи, Лихтенберг неожиданно проснулся. Его разбудила женщина, стоявшая около дерева. Женщина была в длинном плаще, в маленькой круглой шапке, не скрывавшей ее локонов, с изящным телом, грустно расположенным под одеждой, — это была, очевидно, девушка. Рядом с нею стояли два стражника.

Сердце Лихтенберга стало сильно биться в тоске: лишенный способности к любви и даже к вертикальному движению на ногах, он, однако, сейчас попытался встать на обе ноги, томимый стыдом и страхом перед женщиной, и ему удалось устоять при помощи палки. Женщина пошла, и Лихтенберг последовал за ней, снова чувствуя твердеющую силу в ногах. Он не мог ничего спросить у нее, волнение его не прекращалось, он шел, отставая немного, и видел одну щеку ее лица, она же глядела все время в сторону от Лихтенберга, в предстоящую тьму дороги.

В конторе лагеря их ожидал суд из трех военных людей. Женщина остановилась позади Лихтенберга. Судья объявил Лихтенбергу, что он осуждается на расстрел — вследствие несоответствия развития своего тела и ума теории германского расизма и уровню государственного умозрения: в целях жесткого оздоровления народного организма от субъектов, впавших в состояние животности, в целях профилактики от заражения расы беспородными существами[6].

— Ваше слово! — предложил судья Лихтенбергу.

— Я безмолвный, — сказал Лихтенберг.

— Гедвига Вотман! — произнес судья. — Вы член местной коммунистической организации. Со времени национальной революции насмешка над верховным вождем не сходила с вашего лица. С того же момента вы, находясь уже в заключении, отказали в браке и в ответной любви двум высшим офицерам национальной службы, оскорбив их расовое достоинство. Решение суда: уничтожить вас, как личного врага племенного гения тевтонов. Имеете слово?

— Имею, — с улыбкой ума и иронии ответила спутница Лихтенберга. — Два офицера получили отказ в моей любви потому, что я оказалась женщиной, а они не оказались мужчинами…

— Как — не мужчины?! — воскликнул судья, потрясаясь фактом.

[6] Смертная казнь посредством топора и палача была введена позже.

— Их надо расстрелять за потерю способности к деторождению, к размножению первоклассной германской расы! Они, немцы, способны были любить только по-французски, а не по-тевтонски: они враги нации!

— Вы коммунистка? — спросил член суда.

— Ясно, — сказала Вотман. — Но для ответа по этому вопросу я прошу дать мне ваше оружие!

Ей отказали в просьбе.

Судья сделал коменданту обычное распоряжение о казни.

— Введите следующую пару ублюдков! — приказал судья далее.

Лихтенберга и Гедвигу Вотман вывели из пределов лагеря. Четыре офицера конвоировали их, держа готовые революьверы в руках. Впереди шли двое уголовных, несших на головах по тесовому гробу, сделанных в лагере их же руками.

Гедвига Вотман шла по-прежнему изящная и нескучная, точно уходила не в смерть, а в перевоплощение. Она дышала тем же мусорным воздухом, что и Лихтенберг, голодала и мучилась в неволе, ожидала коммунизма, она шла погибать, — но ни скорби, ни болезни, ни страху, ни сожалению, ни раскаянию она не уступила ничего из своего тела и сознания — она покидала жизнь, сохранив полностью все свои силы, годные для одержания трудной победы и долговечного торжества. Омрачающие стихии врага остановились у ее одежды и не тронули даже поверхности ее щек, — здоровая и молчаливая, она шла ночью вслед за своим гробом и не жалела о несбывшейся жизни, как о пустяке. Но зачем же тогда она яростно и губительно боролась за рабочее сословие, как за вечное личное счастье?

Лихтенбергу казалось даже, что от Гедвиги Вотман исходил влажный запах здравого смысла и пота здоровых, полных ног, — в ней ничего не засохло от горячего мутного ветра, и достоинство ее пребывало внутри самого се одинокого тела, окруженного конвоем.

Гробовщики спустились в полевую долину и пошли дальше по ее глухому дну. Вскоре стали видны постройки давно заброшенного керамического завода, и приговоренных к уничтожению ввели в темную теснину между заводскими стенами.

Лихтенберг близко держался около Гедвиги Вотман и плакал от своего безумия. Он думал об этой неизвестной женщине с такою грустью, точно подходил к концу света, но жалел о кончине лишь этой своей преходящей подруги. Шествие повернуло за угол стены, гробовщики скрылись за каким-то неопределенным предметом. Конвойный офицер, шедший слева от Лихтенберга, попал на край пропасти, вырытой для какого-то могучего механизма, и пошел по ней осторожно и благополучно; но Лихтенберг внезапно толкнул его — по детской привычке сунуть что-нибудь в пустое место. Офицер исчез вниз и вскрикнул оттуда, одновременно со скрежетом железа и трением своих трескающихся костей. Три остальных конвойных офицера сделали движение к провальной яме, а Гедвига Вотман взмахнула краем плаща и беззвучно, с мгновеньем птицы скрылась от конвоя и от Альберта Лихтенберга навсегда. Три офицера, думая, что преступница удалилась не далее нескольких шагов, бросились за ней, дабы немедленно настигнуть ее и сейчас же возвратиться.

Лихтенберг остался один в недоумении. Офицер в яме давно умолк. Уголовные с гробами на головах — как отошли вперед, так и не вернулись. Вдалеке, уже в чистом поле, послышались два выстрела: Гедвига Вотман исчезала все более далеко и невозвратимо; настигнуть ее было нельзя никому. Лихтенбергу захотелось, чтобы ее поймали и привели; он не мог теперь обойтись без нее, он желал посмотреть на нее еще хотя бы самое краткое время.

Никто не возвращался. Лихтенберг прилег на землю. Раздался еще один глухой выстрел, бессильный и неверный — в далекой ночи. Вслед за тем в лагере зазвонил колокол боевой тревоги. Лихтенберг поднялся и пошел понемногу с того места, где должна бы быть его вечная гробница, в одной могиле с телом Гедвиги; через десять лет, когда гробы и тела в них сотлели бы, когда земной прах нарушился, скелет Альберта обнял бы скелет Гедвиги — на долгие тысячелетия. Лихтенберг пожалел сейчас, что этого не случилось.

Наутро Лихтенберг пришел в незнакомый ему рабочий поселок, где стояли шесть или

восемь домов. Начинался осенний светлый день, ослабевший сор шевелился на безлюдной дороге между жилищами, издалека поднималось солнце в свою высшую пустоту. Альберт дошел до крайнего дома, не встретив никого. Он очутился на околице у колодца и здесь увидел на ней памятник Гитлеру: пустынное бронзовое полутело; против лица гения находился букет железных цветов в каменной урне. Лихтенберг внимательно поглядел в металлическое лицо, ища в нем выражения.

Уйдя от памятника, он вошел в дом. Внутри дома никого не было, в запыленной постели лежал мертвый мальчик. Лихтенберг почувствовал в себе странную легкую силу, он быстро посетил еще два жилища и не нашел в них ни жителей, ни животных; с деревьев на усадьбах была содрана кора, и они засохли; из отверстий отхожих мест ничем не пахло.

В последнем доме этого вымершего или изгнанного городка сидела женщина и одной рукой качала люльку, подвешенную к потолку, а другой рукой все время кутала и укрывала одеялом ребенка, который спал в люльке. Лихтенберг спросил у той женщины что-то, она не ответила ему. Глаза ее не моргали и смотрели в колыбель с долгой сосредоточенной грустью, ставшей уже равнодушной от своего терпения. Лицо женщины имело от голода и утомления коричневый цвет, как рубашка фашиста, наружное, подкожное мясо ушло на внутреннее питание, так что с костей ее сошла вся плоть, как осенняя листва с дерева, и даже мозг ее из-под черепа рассосался по туловищу для поддержания сил, поэтому женщина жила сейчас без ума, память ее забыла необходимость моргать веками глаз, размер ее тела уменьшился до роста девочки, только одно горе ее действовало по инстинкту. Она с беспрерывной энергией все качала и качала дешевую люльку и с неутомимой, берегущей нежностью укрывала спящего ребенка от неощутимого для Лихтенберга холода.

— Он уснул уже, — сказал Альберт.

— Нет, они никак не засыпают, — ответила теперь мать. — Я их качаю вторую неделю. Все время зябнут и заснуть не могут.

Лихтенберг наклонился над колыбелью; женщина отвернула ему одеяло сверху: в люльке на общей маленькой подушке лежали с открытыми глазами две почерневших головы умерших детей, обращенных лицами друг к другу; Лихтенберг снял одеяло вовсе и увидел мальчика и девочку, лет по пяти или шести, уже сплошь покрытых трупными пятнами, — мальчик положил одну руку на сестру — для защиты ее от ужаса наступившей вечности, а девочка — сестра держала руку ладонью под щекой, доверчиво и по-женски; ноги их остались немытыми со времени последней игры на дворе, и синева холода — изморозь — действительно распространялась по тонкой коже обоих детей.

Мать снова укрыла покойных одеялом.

— Видишь, как озябли, — сказала она, — поэтому и уснуть не могут! Лихтенберг опустил пальцем веки на четырех детских глазах и сказал матери:

— Теперь они уснули!

— Спят, — согласилась женщина и перестала качать колыбель.

Лихтенберг пошел в кухню, разжег в ней очаг, пользуясь для топлива мебельной утварью, и поставил на огонь большую кастрюлю с водой. Когда вода закипела, Альберт пошел к женщине и предупредил ее, что он сейчас поставит вариться мясо, пусть она не засыпает — скоро они будут обедать вдвоем; если же он сам нечаянно заснет на кухне, пусть она поглядит за мясом и обедает одна, когда кушанье поспеет, не ожидая его пробуждения. Женщина согласилась подождать и пообедать и велела Альберту положить в кастрюлю особый и лучший кусок — для ее детей.

В кухне Лихтенберг как можно сильнее разжег огонь, взял косарь и начал рубить от заросших пахов свою левую, более здоровую ногу. Рубить было трудно, потому что косарь был давно не наточен, и говядина не поддавалась; тогда Альберт взял нож и наскоро срезал свое мясо вдоль кости, отделив его большим пластом до самого колена; этот пласт он управился еще разрубить на два куска — один получше, другой похуже — и бросил их вариться в кипящую кастрюлю. Затем он выполз наружу, на разгороженный двор, и лег лицом в землю. Обильная жизнь уходила из него горячим ручьем, и он слышал, как

впитывалась его кровь в ближнюю сухую почву. Но он еще думал; он поднял голову, оглядел пустое пространство вокруг, остановил глаза на далеком памятнике спасителю Германии и забыл себя — по своему житейскому обыкновению.

Через два часа весь суп выкипел и мясо изжарилось на собственном сале, огонь же потух.

Вечером в этот дом пришел полицейский и с ним молодая женщина с восточным тревожным лицом. Полицейский разыскивал при помощи женщины государственного преступника, а женщина, не зная мысль полиции, искала при помощи государства своего бедного безумного мужа.

Полицейский и его спутница нашли в доме мертвую женщину, уткнувшуюся лицом в колыбель с двумя детьми, так же одинаково мертвыми. Мужчины здесь не было.

Увидев в кухонном очаге кастрюлю с питательным и еще теплым мясом, уставший полицейский сел кушать его себе на ужин.

— Отдохните, фрау Зельда Лихтенберг, — предложил полицейский.

Но взволнованная женщина не послушалась его и вышла бесцельно из дома — через его кухонную дворовую дверь.

Зельда увидела на земле незнакомое убитое животное, брошенное глазами вниз. Она потрогала его туфлей, увидела, что это, может быть, даже первобытный человек, заросший шерстью, но скорее всего это большая обезьяна, кем-то изувеченная и одетая для шутки в клочья человеческой одежды.

Вышедший потом полицейский подтвердил догадку Зельды, что это лежит обезьяна или прочее какое-нибудь ненужное для Германии, ненаучное животное; в одежду же его нарядили молодые наци или штальгеймы: для политики.

Зельда и полицейский оставили пустой поселок, в котором жизнь людей была прожита без остатка.

Такыр

1

Давно в ночное время сорок или больше всадников ехали мирным шагом в долине Фирюзы по краю речного потока. Горы Копет-Дага оберегающе и неясно стояли по сторонам прохладного ущелья — меж Персией и равниной вольных туркменов. Древняя иранская дорога уже тысячу лет несла на себе либо торжествующее, либо плачущее, либо мертвое человеческое сердце. И в ту давно минувшую ночь четырнадцать человек шли пешком, рядом с линией конного отряда, связанные одной веревкой. Среди пеших было девять молодых женщин и одна маленькая девушка. Она шла без веревки и отставала от усталости. Душа пеших людей настолько утомилась, что они перестали чувствовать свое существование и шли как без дыхания. Но сорок всадников были счастливы и осторожно хранили свое удовлетворение, чтобы приехать с ним на родину, которая была еще далеко за горами, в темноте пустыни. Один же конный человек был мертвым: его убили курды в Иране, и теперь он ехал, низко склонившись, привязанный к седлу и к шее своей уцелевшей лошади, чтобы его семейство имело возможность увидеть его и заплакать.

В полночь наступил свет в долине — от луны, преодолевшей высоту гор, и речной поток от этого света стал как бы неслышным. Отряд приурочился в тень старой чинары, растущей к небу и не умирающей много веков. Конные спешились, снизили лошадей, как верблюдов, уложили рядом пленников и сами легли. На выходах из ущелья еще могли появиться курды в погоню, несущие пограничную персидскую службу, еще стояли на ближних горах сторожевые башни, сложенные из берегового камня и глины. В этих башнях раньше селились обыкновенно дежурные солдаты персидских аулов и базаров, чтобы стеречь дорогу от туркменских аламанов и заранее известить об опасности в Персии

посредством дыма из внутренних очагов — по всей очереди башен в глубину своей родины. Самым же опасным был русский пограничный разъезд, пост которого отряд миновал вчерашнею ночью кругом по горам. Туркмены знали про то и держали ружья близ груди, чтобы убить всякого показавшегося врага. Это было позднее время последних аламанов.

Вскоре персидские пленники уснули, и горе в них прекратилось от потери сознания. Лишь в одной маленькой женщине по имени Заррин-Тадж ум бился наравне с сердцем, и она не спала. Ей было четырнадцать лет, она чувствовала тоску, удушающую ей горло, и глядела в темную сторону Харасана, откуда ее вели. Иногда ей слышались издали звуки, помимо шума потока, — она думала тогда, что это, наверное, из Ирана в Туран уезжает поезд, который Заррин-Тадж видела однажды в детстве и запомнила, как гудит его бегущий дым. Туркмены, усталые от набега и бедствий пустынной жизни, закрывали по одному глазу, чтобы дремать и видеть наполовину; лежащие лошади вытянули морды вровень с землей и громко дышали, не трогая близкой травы. Заррин поднялась с места. Ночной ветер медленно дул из Персии по ущелью, слышен был запах цветов, одинокая птица напевала где-то далеко в слепых горах, потом она умолкла; лишь река неслась и работала на камнях — всегда и вечно, во тьме и в свете, как работает раб в туркменской равнине или неостывающий самовар в чайхане. Персиянка поглядела на старинную чинару — семь больших стволов разрасталось из нее и еще одна слабая ветвь: семь братьев и одна сестра. Нужно было целое племя людей, чтобы обнять это дерево вокруг, и кора его, изболевшая, изъеденная зверями, обхватанная руками умиравших, но сберегшая под собой все соки, была тепла и добра на вид, как земляная почва. Заррин-Тадж села на один из корней чинары, который уходил вглубь, точно хищная рука, и заметила еще, что на высоте ствола росли камни. Должно быть, река в свои разливы громила чинару под корень горными камнями, но дерево въело себе в тело те огромные камни, окружило их терпеливой корой, обжило и освоило и выросло дальше, кротко подняв с собою то, что должно его погубить. «Она тоже рабыня, как я! — подумала персиянка про чинару. — Она держит камень, как я свое сердце и своего ребенка. Пусть горе мое врастет в меня, чтобы я его не чувствовала».

Заррин-Тадж заплакала. Она была беременна второй месяц от курда-пастуха, потому что ей надо было любить хотя бы одного человека. Ближний туркмен смотрел на нее обоими глазами, довольный, что девушка скоро привыкнет быть женой, если умеет плакать, и смирно умрет под яшмаком в Туркменистане.

Луна скрылась за черные горы, стало опять глухо, ветер шел тенью по лицу Заррин-Тадж, она легла на землю среди всех…

«Гель-Эндам давно увели эрсари, — шептала персиянка себе в сердце, чтобы сравнить свое горе с наибольшим страданием и тем утешиться, — Фатьма утонула в Дарье, а милая, лучшая моя Ханом-Ага, я слышала, живет у джафарбайцев, на берегу моря, и рожает детей. Я тоже буду с ними».

Персиянка уснула, успокоившись воспоминанием о подругах, которые так же прошли когда-то через это прохладное травяное ущелье и не умерли.

Наутро верховые туркмены вывели пленников из гор Копет-Дага; тогда некоторые курдские и персидские женщины, как только увидели чужую пустыню и странное небо, с другим светом, чем на родине, заплакали от наступившей печали. Но Заррин-Тадж не плакала. Выросшая в нагорной хорасанской роще, она с любопытством глядела в пустой свет туркменистанской равнины, скучной, как детская смерть, и не понимала, зачем там живут.

Туркмены переждали день во впадине горного подножья. Они считались с курдами, которые иногда идут в преследование через русскую границу до самых открытых песков, и не хотели растратить победу на краю родины.

Всю другую ночь и еще полдня туркмены гнали пленников в даль своих мертвых песков. Потом отдыхали и ночевали в глиняной курганче аула, обнимали пленных девушек и снова шли дальше. Вскоре Заррин-Тадж узнала своего мужа и хозяина — Атах-бабу, туркмена из племени текэ, человека более сорока лет. Он имел бороду и всегда одинаковые темные глаза, не устающие и не счастливые. Атах-баба изредка звал к себе Заррин-Тадж и

отставал ото всех, чтобы жить с нею на песке. Лежа внизу, персиянка прислушивалась, как движется понемногу песок сам по себе: у него тоже была небольшая разнообразная жизнь. Вблизи стояла в ожидании лошадь Атах-бабы и рассматривала обоих людей. Во время любви, раскинув свои руки, Заррин-Тадж пересыпала ими песок, наблюдала высоту над собою и думала постороннее. Атах любил ее угрюмо и серьезно, как обычную обязанность, зря не мучил и не наслаждался. «С ним я проживу», — молча полагала Заррин, видя, что это не страшно и не интересно; для себя она не получала никакого чувства, кроме тяжести Атах-бабы и его бороды.

2

На двенадцатую ночь после родины пленников аламана пригнали к кибиткам близ колодца Таган. Здесь жило несколько семейств из рода Канджин, племени текэ. Атах-бабу встретили четыре его жены и обрадовались ему лишь одним выражением своих лиц, а к Заррин-Тадж отнеслись без внимания. Атах отвел персиянку в кибитку и велел ее кормить и класть спать в семействе. Сам Атах отправился отдать убитого в аламане родственника, уже истлевшего в пути, отчего лошадь его, надышавшись трупом, мало пила воды на водопоях.

Заррин-Тадж села на полу кибитки в недоумении перед чужбиной. На родине она с шести лет собирала хворост и отсохшие сучья в горных рощах Хорасана для своего господина, у которого жила за пищу два раза в день. Там жизнь была привычна, и годы юности проходили без памяти и следа, потому что тоска труда стала однообразна и сердце к ней притерпелось. Лучшее время то, которое быстро уходит, где дни не успевают оставлять своей беды.

Одна старая жена Атах-бабы спросила у персиянки по-курдски, какого она рода и в чьей кибитке родилась.

— Я не знаю, когда рожалась, — сказала Заррин-Тадж. — Я уже давно была.

Она действительно не помнила отца и матери и не заметила, когда произошла жить: она думала, что так было вечно.

Вдруг послышался плач и шум озлобления. Три босых и жалобных женщины вошли в кибитку и сели вокруг персиянки на поджатых ногах. Сначала они непонятно, грустно заговорили, а потом подползли к Заррин-Тадж, обхватили ее и стали царапать ногтями по лицу ее и худому телу. Персиянка сжалась и стала маленькой для своей защиты, но втайне она замечала, что злоба женщин бедна силой, и терпела боль без испуга. Пришедший назад Атах-баба постоял немного в молчании, а потом сказал: «Этого довольно, она молода, а вы старые дырки!» — и выгнал чужих женщин прочь.

Они ушли и снаружи опять заплакали по убитому мужу.

Ночью Атах-баба лег спать рядом с пленницей, и, когда все уснули и пустыня, как прожитый мир, была у изголовья за войлоком кибитки, хозяин обнял тело персиянки, обнищавшее в нужде и дороге. Было все тихо, одно дыхание выходило у спящих, и слышалось, что кто-то топал мягкими ногами по глухой глине, — может быть, шел куда-то скорпион по своему соображению. Заррин-Тадж лежала и думала, что муж — это добавочный труд, и терпела его. Но когда Атах-баба ожесточился страстью, то две других жены зашевелились и встали на колени. Вначале они яростно шептали что-то, а потом сказали мужу:

— Атах! Атах! Ты не жалей ее, пусть она закричит.

— Помнишь, как с нами было? Зачем ты ее ласкаешь?

— Искалечь ее, чтоб она к тебе привыкла!

— Ишь ты, хитрый какой!

Заррин-Тадж не слышала их до конца, она уснула от утомления и равнодушия среди любви.

3

Заррин-Тадж стала жить кочевницей. Она доила верблюдиц и коз, считала овец и доставала воду из колодцев на такыре — по сто и по двести бурдюков в день. Больше она никогда не видела птиц и забыла, как шумит ветер в древесных листьях. Но время молодости идет медленно. Еще долго тело персиянки томилось жизнью, точно непрестанно готовое к счастью.

Когда овцы начинали худеть или дохнуть от бестравия, Атах-баба велел снимать кибитку, собирать в узлы домашнее добро и уходить в дальнейшее безлюдие, где земля свежее и еще стоит нетронутой бедная трава. Весь небольшой род снимался с обжитого места и шел через горячий такыр в направлении одинакового пустого пространства. Впереди ехал аксакал и умные мужья на ишаках. Ишачки везли бугры сложенных кибиток и старых жен, позади брели вразброд, как безумные, овечьи стада, а Заррин-Тадж и прочие рабы шли пешком, унося на себе тяжелое серебро, подарки мужу старых друзей и еду в горшках.

Персиянка радовалась, если приходилось идти по песчаным холмам, утопая ногами в их теплоту. Она следила, как ветер тревожит и уносит дальше какое-то давно засохшее растение, рожденное, может быть, в синих смутных долинах Копет-Дага или на сырых берегах Амударьи.

Но часто нужно было проходить долгие такыры, самую нищую глинистую землю, где жара солнца хранится не остывая, как печаль в сердце раба, где бог держал когда-то своих мучеников, но и мученики умерли, высохли в легкие ветви, и ветер взял их с собою.

Новое место всегда было труднее старого. Надо было расчищать и готовить колодцы, устраивать пастбища и разыскивать вдалеке, где уцелел занесенный песками саксаул.

С течением времени Заррин-Тадж начала отвыкать от своих интересов и от самой себя. Когда Атах-баба ел плов, а мясные остатки доставались только другим его женам, персиянка не мучилась от голода и зависти. Она всегда молчала и постоянно заботилась среди животных, не сознавая своей души, чтобы она ни о чем не тосковала.

Иногда она ложилась от утомления среди такыра, пустота и свет окружали ее. Она глядела на природу — на солнце и на небо — с изумлением своего сердца: «Вот и все!» — шептала Заррин-Тадж, то есть вот вся ее жизнь чувствуется в уме, и обыкновенный мир стоит перед глазами, а больше ничего не будет.

Она пробовала свое тело руками — кости были уже близко, кожа засыхала от усталости, руки сработались до жил — это исчезает понемногу ее жизнь: луна восходит медленно, но закатывается скоро.

Через несколько месяцев Заррин-Тадж родила маленькую девочку. Атах-баба обрадовался этой чужеродной жизни, потому что девочка останется у него рабыней, и велел назвать ее Джумалью.

Персиянка прижала ребенка к себе и поняла, что не все еще прожито ею. Была зима, с такыра текла в колодцы дождевая вода, осел кричал с такою грустью, что будто он остался на свете круглой сиротою и теперь заболел печалью.

Через некоторое время Заррин-Тадж ослабела, ее здоровье пропало, она легла и не могла подняться; ребенок лежал при ней и согревался о ее горячее тело. Кибитку продували из-под низу, мертвый такыр шумел от потоков дождя. Атах-баба стоял над персиянкой, и слезы его капали на ее кошму; он страдал, что не может жить с нею дальше, такой худой, не помнящей его. Он ежедневно ел баранье мясо и сало, тяжкая сила любви скоплялась в его сердце, не зная облегчения с милой женщиной, которая лежала горячая и безумная. Изредка, в заглохшие ночи, Атах-баба откладывал ребенка от Заррин-Тадж и обнимал ее в тоске своей мертвой силы. Но время шло, как шумит ветер над песками и уносит весенних птиц в зеленые влажные страны. Персиянке представлялось в жарком, больном уме, что растет одинокое дерево где-то, а на его ветке сидит мелкая, ничтожная птичка и надменно, медленно напевает свою песню. Мимо той птички идут караваны верблюдов, скачут всадники вдаль и гудит поезд в Туран. Но птичка поет все более умно и тихо, почти про себя: еще неизвестно, чья сила победит в жизни — птички или караванов и гудящих поездов.

Заррин-Тадж проснулась и решила жить, как эта птица, пропавшая в сновидении. Она выздоровела. Однако Атах-баба хранил ее ради ребенка и не велел несколько дней работать.

Другие жены давали ей пищу на кошму с бранью, оттого что она лежит здоровая, а они, старые и больные, мучаются одни в скучном труде.

Заррин-Тадж вскоре встала сама. Ей нечего было ни думать, ни чувствовать, поэтому легче было шевелиться в беспрестанной заботе по хозяйству и изживать понемногу свое сердце. Она стала опять спокойной, когда положила Джумаль в повязку за спиной и, склонившись, стала доить коз, собирать на топливо ишачьи остатки и вытаскивать воду из колодца. Если бы даже она была счастлива, она все равно занималась бы этими делами, потому что, чтобы сберечь счастье, надо жить обыкновенно.

Джумаль долго лежала за спиною у матери, свернувшись в комок от страха пережитого рождения и слушая с удивлением звук своего собственного сердца — в ожидании, когда оно остановится, чтобы уснуть; потом Джумаль начала постепенно ходить самостоятельно и понимать свое существование. «Это я!» — чувствовала она неизвестное и трогала хрящи своих будущих костей. Но еще долго Джумаль не отходила от матери и гладила ее низко согнутую спину, горячую и влажную, где она лежала, грелась и спала. Ей стало нравиться жить, и она ела глину, траву, овечий помет, уголь, сосала тонкие кости животных, павших в песке, хотя ей достаточно было материнского молока.

Ее маленькое тело опухло от веществ, которые все пошли ей в пользу и в рост, глаза, свежие от сырости недавнего прозрения, глядели внимательно и точно на все обычные вещи, к биению своего сердца она уже привыкла и не боялась, что оно остановится.

4

Долго шло ее детство. Каждый день горело солнце на небе, начинался и кончался ветер, играли и плакали дети в затишье песчаных холмов, потом солнце делалось красным, огромным и тяжелым, оно тонуло вдали, и легкая луна, как серебряная тень солнца, светила в измученное лицо стареющей матери, всегда занятой работой. Выдаивая верблюдицу, мать глядела на луну, на этот свет нищих и мертвых, потом персиянка ложилась на кошму и успевала только немного ласкать свою дочь, потому что сон быстро разлучал ее с нею.

Весною Заррин-Тадж в первый раз показала дочери на птиц, летевших высоко над песком неизвестно куда. Птицы кричали что-то, точно жалели людей, и вскоре пропали навсегда.

— Кто они? — спросила Джумаль.

— Они счастливые, — сказала мать, — они могут улететь на дальние реки, за горы, где растут листья на деревьях и солнце прохладно, как луна.

Джумаль не знала, что это такое, и не тосковала о реках и листьях. Она росла здесь, между барханами, и с высоты песков, насыпанных ветром, видела, что земля повсюду одинакова и пуста. Мать же плакала иногда и прижимала к себе девочку — она теперь была для нее дальней рекою, забытыми горами, цветами деревьев и тенью на такыре.

— Тебе хорошо там было, на реке и на горе? — спросила Джумаль.

— Нет, я там мучилась, — сказала Заррин-Тадж.

— А зачем думаешь, что хорошо?

— Я не думаю, мне кажется, — ответила Заррин-Тадж.

Маленькая Джумаль озадачилась; она взяла мать за палец и посоветовала ей:

— Тебе кажется… А ты люби меня одну, вот тебе и будет хорошо! А горы и реки — не надо.

При расставании с местом Джумаль всегда долго и грустно прощалась с тем, что остается одиноким: с кустом саксаула, у которого она играла, с куском стекла, с высохшей ящерицей, служившей ей сестрою, с костями съеденных овец и разными предметами, названия которых она не знала, но любила их в лицо. Джумаль мысленно тосковала, что им будет скучно и они умрут, когда люди уйдут от них на новое кочевье.

В низкой былинке травы, сухой и жесткой, как жестяная стружка, заключалось все, чем питались верблюды и овцы. Ослы помнили, вероятно, другую еду в забытом мире и часто кричали в своей нужде по ней.

По кочевым дорогам Джумаль ехала на самом маленьком ишаке. Пустыня шла мимо ее опущенных ног, она глядела на громадную голову осла, больше, чем у лошади, на его уши, в которые попадает ветер, и думала, что осел — это остаток великана, но стал маленьким от горя, работы и редкой еды.

5

Когда прошло долгое время и Джумаль стала двенадцатилетней девушкой, она стала полной и хорошей. Лицо ее покрылось красотой, точно на нем выступила любовь и страсть ее неизвестного отца к Заррин-Тадж. Ничто — ни нищета рабыни, ни уныние — не помешало Джумаль стать ясной, взрослой и чистой. И пища ее, как она ни была бедна и однообразна по виду, была создана светом солнца, весенним ветром, водой дождя и росы, теплотою песков, и поэтому тело Джумаль было нежно, а глаза смотрели привлекательно, как будто внутри ее постоянно горел свет. Мыться ей было негде, — воды еле хватало только овцам, — и когда Джумаль становилось тяжко от сала на коже, она выходила туда, где дует ветер, чтобы ветер и песок освежали и очищали ее своим движением.

Однажды Атах-баба довел кибитки до угрюмого места, где лежала на целый день пути одна темная глина, и велел остановиться. Такого печального такыра ни Джумаль, ни Заррин-Тадж еще не видели. Поэтому, вероятно, здесь давно никто не селился и у края такыра ютилась добрая трава, прячась от жары и гибели в песок. К своей середине такыр понижался, и там в глинистой тьме стояла ветхая каменная башня. В той башне Атах-баба разместил свою семью. Заррин-Тадж и все другие женщины кочующего рода стали расчищать колодец, бывший вблизи древней башни. Никто не знал, чья это башня и что в ней делали в старое время — молились или убивали. Нижняя наружная стена башни была убрана голубыми изразцами, а маленький купол был покрыт плитами синего цвета, и золотая змея лежала нарисованной на этих плитах.

Джумаль вместе со всеми матерями работала на колодце: она относила влажный песок в отдаление и находила в нем чьи-то кости. На краю песков слабо виднелись небольшие горы, — уснувшие тучи до зимы лежали на них, — а в другую сторону, говорил Атах-баба, была Амударья и богатая Хива. Ночью Джумаль лежала около стены в нижнем помещении башни. Она слышала, как шевелятся скорпионы в глинистых ущельях, следила через открытый вход за одною звездой, которая движется в сумраке, как кочевница, и понимала заунывный звук текущего песка у подножия башни. Слезы и счастье находились около ее сердца, но Джумаль дышала осторожно и с недоумением непонимания значения жизни.

Атах-баба приподнялся с кошмы и начал подкрадываться к Заррин-Тадж через других спящих жен. Джумаль подождала время, а потом позвала мать, чтоб она испугалась Атаха. Но мать промолчала, а Атах-баба нашел ее. Джумаль повернулась лицом вниз, в шерсть своей подстилки, и озябла от горя. В это время неизвестный темный человек сошел вниз из верхнего помещения башни и остановился среди лежавшего семейства, сделав рукою знак мира и приветствия. Джумаль подошла к нему и ответила на его приветствие. Пришедший человек был чужд и ни на кого не похож; он был громаден и худ, лицо его глядело добрым, как у животного, и глаза, несмотря на сумрак, смотрели на маленькую Джумаль с такою печалью, точно он был мертв.

Заррин-Тадж, увидев дочь и другого человека, сказала им:

— Это наше дело на нашей кошме, а вы уйдите отсюда, — и она снова обняла своего хозяина и мужа.

Джумаль схватила руку пришедшего гостя и заплакала по матери, однако гость не мог успокоить плачущую: он бросился бежать вон по такыру в дальнюю ночь, потому что Атах-баба вскочил и погнался за ним. Джумаль, увидя это и свою жалкую мать, также побежала

вслед за гостем.

Их бег звенел по такыру. Но отчаяние сильнее злобы, и безвестный гость, миновав спящие кибитки, пропал вперед во тьму от обессилевшего Атах-бабы. Джумаль бежала следом за ними, неизвестно куда; она теперь почувствовала, что ей настала пора жить одной, с нею нет никого, даже мать живет отдельно от нее — своим сердцем и своей неволей. Она легла на холодную, ночную глину и умолкла от одиночества. Под нею тоже была умолкшая земля…

Атах-баба шел обратно с погони, постаревший и опухший со времени последнего персидского аламана. Он увидел Джумаль, молодую и с жалобным телом, — она выросла на его стадах и стала теперь угрюмой от юности. Атах поднял Джумаль с земли и сжал ее небольшое неумелое тело, унося его в глушь такыра. Джумаль впилась ногтями в горло Атах-бабы. Но если бы даже ему отрезали сейчас голову, он не оставил бы ее, поэтому он не чувствовал боли от девушки, с жадностью нюхая запах полыни и ветра в ее волосах.

На другой день Джумаль не вернулась домой. Одна ушла на дальний край такыра, пела там одна, выдумывая песни, и жить больше не хотела. За такыром начиналась новая земля — песок был смешан с суглинком, здесь трава росла гуще, и овцы, впившись в нее, мочили землю жадными слюнями.

Вечером, когда Джумаль уснула, ее нашла мать, разбудила и повела домой, потому что Атах-баба ее продал и уже получил половину калыма — четыреста русских рублей и шестьдесят голов разного скота. Джумаль считалась грнак, то есть она не имела чистой туркменской породы, и ценилась наравне с курдянкой.

Жених ее, пожилой Ода-Кара, сидел на ковре с Атахом и рассуждал об общем течении жизни в пустыне, о том, что делается в Гассан-Кули и по берегам Аму, что в Бухаре, говорят, опять открылся базар рабов. Ода-Кара знал многое, но он говорил, что ум его начинает путаться в бороде, потому что ему не хватает молодой жены для утешения.

Атах-баба согласился, что без утешения жить никому нельзя: пусть лучше из человека выходит плоть, чем слезы.

— Но ты, Ода, уже взял недавно жену из кибитки Курбан-Нияза, — сказал Атах. — Она тоже не стара еще, и лицо ее хорошо.

— Я взял ее, — согласился Ода-Кара. — Но пусть будет теперь другая. У меня жили в семействе шесть старых жен, одна умерла, а овцы окотились, и ослицы дали приплод. Кто будет с ними справляться? Старые жены стареют, потом помирают, — надо взять двух молодых, чтоб они не скоро померли.

— Ты недорого ценишь молодых, — сказал Атах-баба, — и калым не враз даешь.

Ода-Кара возразил:

— Нет, дорого! Я много думал — кого мне взять: трех старых, привычных старух или двух молодых. Но старые мясо не жуют и много его глотают, а молодые едят мало, но много беспокоятся. Я решил взять молодых.

Атах-баба засмеялся. Ода-Кара тоже захохотал.

— Беспокоиться будут, Ода, твои новые жены… Где у тебя, старика, любовь осталась для них?

— У меня есть две жены, которых я никогда не касался, — улыбаясь, произнес Ода. — Они прожили в хозяйстве тридцать лет, и я их спрашивал: «Старухи, где же ваша любовь, куда она вышла?»

— А они тебе что? — улыбался Атах.

— А они: слезами и потом ушла в песок — говорят. А я им говорю: «Нет, лучше я пойду спрошу про то у старых ишаков с кобелями!»

Заррин-Тадж и Джумаль сидели снаружи башни, у входа, и слышали разговор. Постаревшая персиянка плакала и прижимала к себе свою дочь.

Джумаль тоже ласкалась к матери и не обижалась на нее за то, что было ночью, — ее детское сердце еще жило без памяти.

— Мама, к нам гость приходил из темноты, когда ты спала с Атахом, — сказала

Джумаль. — Он на такыр убежал.

Заррин-Тадж сказала дочери, что другие женщины слышали про этого одинокого гостя из песков. Он воевал с русскими далеко, в том краю, где леса и озера. Его русские взяли в аламан, а он убежал от них в пески и теперь живет один в страхе и бегстве.

— Значит, он скоро умрет: ему ведь нечего есть! — догадалась Джумаль.

— Он бежит второй год, — сказала мать. — Он лепит горшки из глины и оставляет их на кочевых дорогах. За это ему бросают битых овец, а горшки берут… Ода говорил, что гость бывает и в аулах, там он чинит самовары в чайхане, шьет чужие халаты и кормится…

Джумаль задумалась. Ее влекла таинственность жизни, пространство и далекий шум, который ей слышался несколько раз, когда она спала ухом на земле. Заррин-Тадж встала, чтобы подать новый чай гостю и мужу, но вдруг вся потемнела лицом и потеряла свою силу, не дойдя до ковра, где сидел Ода-Кара. Она непочтительно легла около гостя, и влажное бешенство смерти выступило у нее на губах. Ода-Кара вскочил и ушел в испуге, а Атах-баба пихнул жену ногой, чтобы она отвернула от него свое страшное лицо. Заррин-Тадж повернулась сама и затихла. Она чувствовала жар, который сжигает ее усталые кости и внутренности, и ей становилось легче, точно все, что так давно изболелось и утомилось в ней, потягивалось и потрескивало.

6

Наутро кочевье было пусто. Атах-баба еще ночью велел гнать стадо и бросил на месте все предметы и имущество ежедневной жизни. Род убегал от чумы, которой заболела персиянка в ветхой башне, и теперь на сто лет это место останется безлюдным, потому что народ в песках живет слухом и долгой памятью. Джумаль залезла по стоптанным, когда-то каменным ступеням и спряталась в верхней комнате башни; там лежала на полу деревянная ложка, валялся кусок чурека и стояли три недоделанных горшка; здесь, наверно, жил и прятался неизвестный гость, убежавший опять в пески.

Спустившись немного по ступеням вниз, Джумаль видела, что делается внизу, около матери: Заррин-Тадж лежала одна на каменном полу, черная и спокойная от сознания своей грустной смерти. К ней пришла поглядеть на нее издали Зулейха, персиянка, похищенная в юности вместе с Заррин-Тадж. Потом явились перс Касем и два батрака — Агар и Лала; они не боялись заболеть и погибнуть и коснулись руками каменного ложа, на котором лежала умирающая, и ушли, унося в себе чувство вечного прощания. Джумаль не подходила к матери, потому что ее могли увезти отсюда, и ждала, когда люди отойдут далеко.

Пришедший после всех Атах-баба оглядел все помещения, жалея, что пропадают ковры, кошма и посуда. Он остановился вдалеке от Заррин-Тадж и громко сказал ей свои слова — те, которые обычно шепчут мертвому на ухо в промежутках между поцелуями, чтобы умирающая запомнила их и передала через смерть к богу на небо.

— Скажи там, пожалуйста, богу, тебе все равно, ты ведь мертвая, — скажи там, чтоб я один остался на свете! Овец стало мало — они дохнут — я один с ними справлюсь, а люди пусть станут душами и живут у бога на небе, где ты будешь жить.

Он ушел, но скоро вернулся опять, вместе с Ода-Карой, чтобы найти и взять с собою Джумаль, за которую уже были уплачены средства. Тогда Джумаль побежала вниз, приникла к матери и обняла ее всеми силами. Заррин-Тадж еще чуть дышала, и душа ее жила в жизни.

Ода-Кара и Атах побоялись брать эту невесту, обнимавшуюся с чумой, и ушли, проклиная общие убытки: один недополучил, а другой уплатил ни за что.

— Смерть, — говорил Мохаммед, это великая разлучница людей, — сказал Ода-Кара, — а меня она разлучила с овцами и баранами.

7

Все люди, стада и собаки ушли далеко. Такыр был пуст и глух, как туркменское небо.

Джумаль стала заводить хозяйство из оставшихся вещей. Она нашла шесть туш баранов, лишь отчасти истраченных на пищу и брошенных в бегстве от смерти. Она сварила суп для матери и покормила немного ее. Заррин-Тадж все еще понемногу была жива, боясь окончательно ожить, чтобы потом сразу не умереть. Вечером Джумаль глядела с высоты башни в пустыню: она ждала, что придет гость, бегущий где-то в песках. Но никто не шел, — по такыру катилась трава, исчезая отсюда дальше, где она снова может расти.

Садилось солнце и снова вставало. Время шло, чтобы мучение, томящееся в сердце каждого человека, стало привычным. Заррин-Тадж оправлялась и начинала ходить и существовать по-прежнему.

Когда им нечего стало есть, Заррин-Тадж пошла с дочерью через такыр, чтобы дойти до хивинского караванного пути. Однако, пройдя лишь половину такыра, Заррин-Тадж опустилась на глину и не могла дальше идти.

— Мама, давай с тобой умрем, — сказала Джумаль. Она легла с матерью рядом и закрыла глаза в терпении.

— Ты тоже закрой глаза и не смотри на меня! — попросила Джумаль. Так мы скорей умрем. Чего зря глядеть! Ведь нечего, мы все уж видели…

Джумаль прижала мать к себе и заметила, какая она стала высохшая, старая и маленькая — меньше ее. Она попробовала ее пошевельнуть — Заррин-Тадж была легка, как сухая ветвь.

Джумаль встала и подняла свою мать. Она справлялась с нею и понесла вдаль по такыру, задумав умереть немного позже. Вечером Джумаль донесла Заррин-Тадж до песчаной границы такыра и легла с нею ночевать в теплое углубление.

Утром они увидели чужого человека, сидевшего около них. Он поздоровался с матерью и дочерью и вынул из своего мешка кусок баранины для угощения. Джумаль сразу узнала в нем пустынного гостя и обрадовалась ему. Гость не был туркменом, хотя и говорил на туркменском языке. Он имел одежду серого цвета, давно изношенную, и молодое, ясное лицо, привычное к горю и бедствиям.

— Ты кто? — спросила его Джумаль.

— Я австриец, Стефан Катигроб, — сказал бродячий гость, — а ты?

Джумаль никогда не слышала про австрийцев. Лишь два раза она видела, как живут люди в оседлых курганчах, и еще не знала, что есть на свете города, книги, война, леса и озера.

Пока Джумаль говорила, ела и смеялась с Катигробом, Заррин-Тадж, лежавшая одна в песке, молча умерла.

Джумаль через некоторое время хотела кормить мать и позвала ее, но персиянка не ответила. Тогда Джумаль подошла и попробовала ее; она подняла на ней одежду и увидела грудь, похожую на два темных умерших червя, въевшихся внутрь грудного вместилища, — это были остатки молочных сосудов, некогда выкормивших ее, а кожа матери провалилась меж ребер и сердце было незаметно: оно больше не билось. И вся грудь ее была так мала, что только немногое и сухое могло там находиться, — чувствовать что-либо счастливое старухе было уже нечем, ее силы могло хватить лишь для мучения. Такая грудь ничего уж не могла делать — ни любить, ни ненавидеть, но над ней самой можно было склониться и заплакать.

Рабыня умерла.

Катигроб стоял в стороне и наблюдал, как дочь ласкает умершее тело своей матери, наполняясь думой и скорбью. Затем, когда Джумаль прошептала в ухо матери свою просьбу на небо о счастливой судьбе, Стефан Катигроб приблизился к умершей, чтобы поднять ее и нести хоронить. От Заррин-Тадж не исходило ни запаха, ни теплоты, — Катигроб обследовал ее, как минерал, и сердце его сразу устало, а разум пришел в ожесточение. Он сам заплакал и отвернулся… Где-то была его родина, шла война, он убежал отовсюду и скрылся надолго, может быть, навсегда, в этой худой пустыне, давно рассыпавшей свои кости в прах и прах истратившей на ветер. Он, венский оптик, видит теперь одни миражи, исчезающие эфемеры света и жизни.

Катигроб опомнился от своей мысли. Перед ним в ожидании стояла Джумаль, выросшая в тоске, в голоде, рабстве, но живая, чистая и терпеливая. Австриец поднял ее к себе на руки и поцеловал в темные, доверчивые глаза.

Ночью Катигроб отнес покойную Заррин-Тадж далеко за пределы такыра и там закопал ее в песчаную глубину. Сверху он насыпал холм, но его мог скоро развеять ветер, поэтому австрийский солдат произвел шагомерную съемку местности, привязавшись к постоянной пограничной черте такыра. Он не хотел, чтобы человек, даже мертвый, был забыт. Съемку он записал себе в памятную книжку.

Джумаль уснула на прежнем месте, где умерла ее мать. Катигроб разбудил ее и повел жить в глиняную башню посреди такыра. Он понимал, что туркмены возвратятся туда не скоро — когда окончится одна война в Европе и, может быть, начнется другая, а к тому времени он умрет в одиночестве.

На другой день Катигроб оставил Джумаль одну в башне с остатками еды из своей сумки, а сам пошел за сто верст на хивинскую караванную дорогу, где был колодец Боркан.

Он прожил там шесть дней; мимо него прошли два каравана купцов, затем проследовали пешком воры и дезертиры, скрывавшиеся к Каспийскому морю. Кому что нужно, тем работал Катигроб, получая в ответ баранину, рис, лук, спички и вино. Он чинил обувь, дорожную утварь, смазывал болячки верблюдам и ишакам, показывал фокусы и рассказывал сказки.

На девятый или десятый день он обычно возвращался к Джумаль на такыр с пищей и заработанным добром. Однажды он привел больного ишака, которого бросил караван, и Джумаль вылечила и воспитала его. В другой раз Катигроб принес девушке бусы из ракушек Аральского моря и поцеловал ее в губы. Джумаль не противилась его чувству, но сама была равнодушна и не понимала, за что можно любить человека. Она помнила умершую мать и других женщин своего племени, — многие из них, когда умирал муж, смачивали водой яшмаки, чтобы иметь слезную влагу для сухих глаз.

8

Они пробыли вместе шесть лет, и такыр перед глиняной башней лежал по-прежнему без звука, без жизни, — пустой, как судьба Джумали. Стефан Катигроб по-старому ходил время от времени на караванную дорогу, но караваны пропали, лишь изредка ему удавалось заработать полмешка риса или тощую овцу.

В одну серебряную ночь, когда Катигроба не было, Джумаль услышала далекие выстрелы. Она взяла кинжал, спички, немного риса, села на осла и поехала в ту сторону, где кто-то стрелял. Она ехала всю ночь и весь день до вечера, ей никто не встретился, осел устал в глухих горячих песках и остановился. Джумаль сошла с него и потянула за повод вперед, чтобы встретить человека или найти колодец.

Заночевав в неизвестном месте, наутро Джумаль снова повела своего осла вдаль и к вечеру дошла до маленького такыра, около которого был колодезь с блоком и бурдюком. Джумаль достала воды, но вода оказалась густой и зараженной, как гной, — в колодце лежал мертвый человек ногами вверх, и громадные, сальные мухи ползали по саксауловому срубу. Осел, истекавший пеной жажды, отвернулся от бурдюка; тогда Джумаль отрезала подол от своей одежды и подожгла его, повернув осла таким образом, чтобы дым обдавал его морду и он не чувствовал бы вкуса воды. Осел начал пить и выпил три бурдюка, пока не опился и не умер от гнойной воды. Джумаль, зная, что завтра она тоже умрет, жалела лишь, что будет далеко лежать от матери.

Ночью Джумаль задремала, и дремота ее стала непроходящей, — она забыла, что живет, и делала что попало: то вставала и ходила, то снова ложилась, потом опять бежала, улыбалась и плакала и все время вспоминала что-то все более забываемое, уносящееся от нее в сумрак, пропадающее, как дальний вопль, и протягивала за ним руки.

Ночью ей представлялись тысячи людей, бегущих по такыру, выстрелы и крик. Она

хватала кинжал и бежала за ними, пока не падала в слезах своего отчаяния и одиночества.

Однажды она проснулась спокойной. Было прохладно. Луна светила ей в лицо, кругом тихо говорили люди: Атах-баба, Ода-Кара и четверо незнакомых. За такыром, в песках, паслись оседланные лошади, горел маленький костер и котел с водой кипел над огнем.

Джумаль встала. Ей никто не обрадовался и не удивился, что она еще цела, — наверное, у этих людей были свои неразлучные заботы. Но все же Ода-Кара дал Джумаль кусок чурека, и она разглядела ружья, лежащие около каждого человека. Ее спросили, видела она красных или нет, но Джумаль не знала, что это такое. Атах ей не поверил.

— Это ты отравляешь колодцы! — закричал он.

— Нет, — сказала Джумаль.

— Врешь, шпионка, — не поверил Атах-баба, — поганая грнак! Рабы все красные!

— Дайте мне попить, — попросила Джумаль. — У вас вода в котле паром уходит.

— Завтра напьешься, — сказал Атах-баба. — Эта вода солона для тебя.

Они стали пить чай и выпили всю воду из котла. Джумаль отвернулась от них и от злобы перестала хотеть пить этой воды.

Под утро все уснули, кроме Ода-Кары, который остался сторожить лошадей и оружие. Но, вспомнив, что Джумаль — проданная ему жена, Ода-Кара подполз к ней и лег рядом. Джумаль молча подпустила его, а потом, когда он крепко обнял ее и занял этим свои руки, Джумаль схватила его за бороду и воткнула ему в горло кинжал. Ода-Кара вместо крика только сумел прошептать последнее слово и умер.

Джумаль свалила с себя мертвеца и приподнялась на локтях. Все пятеро спали, луна садилась в утреннее небо, кругом было просторно и чисто. Она решила, что если ее мать — рабыня лежит мертвая где-то, пусть погибают в песках и все эти свободные и богатые.

Джумаль встала на ноги, пошла к лошадям и без предосторожности освободила от пут стреноженных степных коней. Одну же лошадь она повела за собой, собрала винтовку у спящих, связала их, чтобы они не расходились концами, и взяла с собою поперек седла. Ударив по лошади, Джумаль поехала долгою рысью в пески, свежая от утреннего времени и вспомнившая себя, точно напившись росы. Свободные лошади, не поенные давно, также бросились за нею и бежали не отставая, думая, что будет вода.

Спустя два или три часа она встретила красноармейский разъезд, который разоружил ее и велел дать сведения про басмаческую шайку Атах-бабы.

9

После того события Джумаль долго не была на такыре с глиняной башней — десять лет. Она прожила все это время в Ашхабаде и Ташкенте и окончила сельскохозяйственный институт.

Джумаль Таджиева (она носила фамилию по имени матери) справлялась везде про австрийского военнопленного Катигроба, но о нем не было никаких сведений. Джумаль знала, что где-то есть близ Заунгусской впадины небольшой заповедник древних растений и там живет всего лишь один человек с винтовкой и двумя собаками. Там же, вероятно, находилась глиняная башня и большой такыр. Но выехать ей было некогда, и год за годом она откладывала поездку.

Одною истекшей весною Таджиевой поручили определить место для опытного садоводства в глубине Каракумов. Естественно, что садоводство лучше приурочить к такырной земле, чем к золовым минеральным пескам. Джумаль Таджиева сняла свою европейскую кофту и юбку, надела персидское черное платье, покрылась белою тонкой шалью и утром верхом на лошади выехала одна из Ашхабада. У нее была десятиверстная карта пустыни, и она соображала по ней, где может быть большой такыр. Но вперед она направилась в заповедник древних пустынных растений — она заинтересовалась этим как специалистка и жительница пустыни.

На пятый день скучного пути она неожиданно увидела синий купол башни с золотой

змеей и вечный такыр, окружающий ее. Копыта лошади зазвенели по плотным плитам глины, как по мерзлоте; все так же было печально кругом, как будто время не миновало и сама Джумаль осталась юной и угрюмой, не видев городов и рек, не зная в мире ничего, кроме ветра, поющего над ее пустым сердцем.

Был полдень, майское солнце освещало всю песчаную, глинистую, великую и грустную родину Джумаль. Она подъехала к заброшенной башне, построенной когда-то ветхим, погибшим народом. Она сообразила: «Такыр велик, около него есть обильный колодец с пресной водой, я здесь поселюсь, и мы посадим сад, — здесь лежит моя бедная родина».

Джумаль вошла в башню. По-прежнему пусто и неуютно было нижнее помещение. На плитах пола лежала гадость каких-то людей и покоилась раздавленная фаланга. В углу находился скелет человека, покрытый остатками одежды, и кости его были вдавлены внутрь от убийства или посмертного надругательства. Джумаль наклонилась к скелету — кости его давно иссохли, свернутый череп глядел в стену, нескольких ребер не хватало, и грудь была смята, точно ударом кувалды. В лохмотьях австрийской куртки она нашла карман, но никаких знакомых ей бумаг и памятной книжки там не оказалось. Лишь на стене у входа осталась надпись химическим карандашом по-немецки:

«Ты придешь ко мне, Джумаль, и мы увидимся».

— Я пришла к тебе, и мы встретились! — сказала Джумаль вслух одна в гулкой башне, под спудом ее высоты.

Выйдя из башни, она поехала по такыру кругом, чтобы снять с него глазомерный план для суждения о размерах будущего садоводства. Проехав несколько верст, она увидела в стороне, в песках, изгородь из колючей проволоки и направилась к ней. За изгородью росли редкие травинки, вдалеке стоял домик сторожа, а среди огороженного участка находились три русских креста над чьими-то могилами и один обычный самородный камень, поставленный вертикально. На камне имелась высеченная надпись латинскими буквами «Старая Джумаль».

Джумаль сошла с лошади и опустилась на колени перед колючей проволокой, закрыв лицо персидским платком, она не знала, что ей нужно сделать иначе. Она вспомнила слова, которые жалобно говорила про кого-то ее покойная мать: «И что это за плохое горе мое! Тот, кто ушел, назад никогда не вернется».

Отняв платок от лица, Джумаль разглядела древнее реликтовое растение — серый стебель, росший около камня матери, — она его узнала по рисунку, названию и еще по детской памяти, но значения его раньше не понимала. Следовательно, она доехала, куда хотела, — здесь и был заповедник растений, исчезающих с земли.

Семейство

[текст отсутствует]

Московская скрипка

1

В город Москву шел отходник из колхоза «Победитель» Семен Сарториус. Он был человеком небольшого роста, с неточным широким лицом, похожим на сельскую местность, на котором находилось двусмысленное выражение — улыбка около рта и угрюмая сосредоточенность в неясных глазах. Его отцовская фамилия была не Сарториус, а Жуйборода, и мать крестьянка выносила его когда-то в своих внутренностях, рядом с теплым пережеванным ржаным хлебом. Вместо обычного сундучка и плотничьего инструмента Сарториус нес в руках футляр от скрипки, но внутри футляра, кроме холодных блинов и куска мяса, ничего не было.

Колхоз находился от Москвы почти в ста километрах и вблизи от железной дороги; однако Сарториус, дождавшись поезда, не сел на него: народу было много, около билетной кассы происходили ссоры, ему не хотелось портить сердца — своего и чужого, что надоело уже в истекших тысячелетиях.

Он пошел пешком среди окружающей природы: времени у него впереди много — лет сорок сплошной жизни; на дворе всей страны стоит хорошая погода, июль месяц. Сколько можно передумать мысли, вспомнить забытое, пережить неизвестное в течение своей пустой дороги, — движение ног и ветер всегда настраивают сознание в голове и развивают силу в сердце.

В Москве Сарториус явился в контору консерватории и предъявил там свою командировочную бумагу. В ней сообщалось, что Тишанский сельсовет совместно с правлением колхоза «Победитель» направляют тов. Семена Яковлевича Сарториуса на ученье; деньги за правоученье, если они нужны, колхоз будет записывать на свой кредит и одновременно не оставит в нужде самого Сарториуса, то есть станет кормить его натурой до тех пор, пока требуется, равно и присылать деньги ему на снаряжение и текущие культурные удовольствия. Президиум сельсовета и правление колхоза просили отнестись к Сарториусу как к человеку дорогому для них, много раз решавшему игрой на скрипке трудные вопросы жизни, которые рассказать нельзя и если расскажешь — будет неутешительно. Однако скрипка его теперь похищена неизвестным врагом и находится не в руках, остался лишь футляр, а Сарториусу даны деньги на соответствующее приобретение. В случае порчи характера или убеждений Сарториуса — от влияний публичной жизни — просьба сообщить, чтобы средства общественного хозяйства не пошли для гибели хорошего человека.

В консерватории сказали Сарториусу, что нынче стоит лето, а прием будет осенью, поэтому придется ограничиться лишь предоставлением места в общежитии.

— Все это верно, но у меня терпенья нету, — сказал Сарториус. — Живешь-то ведь ежеминутно, когда же ждать!

— Ну как угодно, — сообщил служащий. — Писать вам ордер в общежитие, или как?

— Мало ли мне что угодно, — возразил недовольный Сарториус. — Мое общежитие — весь СССР… Ждите меня к осени, там видно будет…

Оставив консерваторию, Сарториус пошел по магазинам искать себе новую скрипку. Он их пробовал на звук и на ощущенье материала, но они ему что-то не нравились, ноты звучали, но не выходили из дерева в пространство.

Бродя по городу далее, Сарториус всюду замечал счастливые, тревожные или загадочные лица, и они ему казались прекрасными от предположения их души. Он думал, что дело музыки есть выражение чужой, разнообразной жизни, а не одной своей, — своей мало, личное тело слишком узко для помещения в нем предмета, представляющего вечный и всеобщий интерес, а не вечно жить — не надо. И Сарториус выбирал среди встречных людей, кем ему стать из них, чтобы узнать чужую тайну для музыки.

Воображение другой души, неизвестного ощущения нового тела на себе не оставляло его. Он думал о мыслях в другой голове, шагал не своей походкой и жадно радовался опустевшим и готовым сердцем. Молодость его туловища превращалась в жадное вожделение ума.

Улыбающийся, скромный Ленин сторожил на площадях и улицах все открытые дороги свежего, социалистического мира, — жизнь простиралась в даль, из которой не возвращаются.

Одна миловидная девушка, с которой можно было бы прожить полжизни, посоветовала Сарториусу съездить на Крестовский рынок — там иногда выносят инструменты, она сама учится в музыкальном техникуме, только не по классу скрипки. Сарториус хотел несколько минут превратиться в ее мужа, но прежде поехал за скрипкой.

Крестовский рынок был полон торгующих нищих и тайных буржуев, в сухих страстях и в риске отчаяния добывающих свой хлеб. Нечистый воздух стоял над многолюдным собранием стоячих и бормочущих людей, — иные из них предлагали скудные товары, прижимая их руками к своей груди, другие хищно приценялись к ним, щупая и удручаясь, рассчитывая на вечное приобретение. Здесь продавали старую одежду покроя девятнадцатого века, пропитанную специальным порошком, сбереженную в десятилетиях на осторожном теле; здесь были шубы, прошедшие за время революции столько рук, что меридиан земного шара мал для измерения их пути между людьми. В толпе торговали еще и такими вещами, которые навсегда потеряли свое применение — вроде капоров с каких-то чрезвычайных женщин, украшений от чаш для крещения детей, сюртуков усопших джентельменов, брелков на брюшную цепочку, урыльников доканализационного периода и прочего, — но эти вещи шли среди местного человечества не как необходимость, а как валюта жесткого качественного расчета. Кроме того, продавались носильные предметы недавно умерших людей, — смерть существовала, — и мелкое детское белье, заготовленное для зачатых младенцев, но потом мать, видимо, передумывала рожать и делала аборт, а это оплаканное мелкое белье нерожденного продавала вместе с заранее купленной погремушкой.

В специальном ряду продавали оригинальные портреты в красках и художественные репродукции. На портретах изображались давно погибшие мещане и женихи с невестами из уездного окружения Москвы; который из них наслаждался собою, судя по лицу, и выражал удовлетворение происходящей с ним жизнью: он гордился ею как заслуженной медалью. Позади фигур иногда виднелась церковь в природе и росли дубы давно минувшего лета. Одна картина была особо велика размером и висела на двух воткнутых в землю жердинах. На картине был представлен мужик или купец, небедный, но нечистый и босой. Он стоял на деревянном худом крыльце и глядел с высоты вниз. Рубаху его поддувал ветер, в обжитой мелкой бородке находились сор и солома, он глядел куда-то равнодушно в нелюдимый свет, где бледное солнце не то вставало, не то садилось. Позади того мужика стоял большой дом безродного вида, в котором хранились, наверно, банки с вареньем, несколько пудов пирогов с грибами и была деревянная кровать, приспособленная почти для вечного сна. Пожилая баба сидела в застекленной надворной пристройке — видна была только одна голова ее — и с выраженьем дуры глядела в порожнее место на дворе. Мужик ее только что очнулся от сна, а теперь вышел опростаться и проверить — не случилось ли чего особенного, — но все оставалось постоянным, дул ветер с немилых, ободранных полей, и человек сейчас снова отправится на покой — спать и не видеть снов, чтоб уж скорее прожить жизнь без памяти.

…Сарториус долго стоял в наблюдении этих прошлых людей. Теперь их намогильными камнями вымостили тротуары новых городов и третье или четвертое поколение топчет где-нибудь надписи: «Здесь погребено тело московского купца 2-й гильдии Петра Никодимовича Самофалова, полной жизни его было … Помяни мя Господи во царствии Твоем». «Здесь покоится прах девицы Анны Васильевны Стрижевой … Нам плакать и страдать, а ей на Господа взирать».

…Вместо Бога, сейчас вспомнив умерших, Сарториус содрогнулся от страха жить среди них, — в том времени, когда не сводили темных лесов, когда убогое сердце было вечно верным одинокому чувству, в знакомстве состояла лишь родня и мировоззрение было волшебным и терпеливым, а ум скучал и человек плакал при керосиновой лампе или, все равно, в светящий полдень лета — в обширной, шумящей ветром и травою природе; когда жалкая девушка, преданная, верная, обнимала дерево от своей тоски, глупая и милая, забытая теперь без звука, ее больше нет и не будет, и не надо ей быть.

Далее продавали скульптуры, чашки, тарелки, таганы, части от какой-то балюстрады, гирю в двенадцать старых пудов, чугунную плиту, раскопанную здесь же на месте, так что показывался только один ее край, а остальное было под землею и неизвестно; рядом сидели на корточках последние частные москательщики, уволенные разложившиеся слесаря загоняли свои домашние тиски, дровяные колуны, молотки, горсть гвоздей, — еще далее простирались сапожники, делающие работу в момент и на месте, и пищевые старухи с

холодными блинами, с пирожками, начиненными мясными отходами, с сальниками, согретыми в чугунных горшках под ватными пиджаками покойных мужей-стариков, с кусками пшенной каши и всем, что утоляет голодное страдание местной публики, могущей есть всякое добро, которое только бы глоталось, а более ничего.

Незначительные воры ходили между нуждающимися и продающими, они хватали из рук ситец, старые валенки, булки, одну калошу и убегали в дебри бродящих тел, чтобы заработать полтинник или рубль на каждом похищении. В сущности они с трудом оправдывали ставку чернорабочего, а изнемогали больше.

В глубине базара иногда раздавались возгласы отчаяния, однако никто не бросался туда на помощь, и вблизи чужого бедствия люди торговали и покупали, потому что их собственное горе требовало неотложного утешения. Одного слабого человека, одетого в старосолдатскую шинель, торговка булками загнала в лужу около отхожего места и стегала его по лицу тряпкой; на помощь торговке появился кочующий хулиган и сразу разбил в кровь лицо ослабевшего человека, свалившегося под отхожий забор. Он не издал крика и не тронул своего поврежденного лица, а спешно съедал сухую похищенную булку, с трудом размалывая ее сгнившими зубами, и вскоре управился с этим делом. Хулиган дал ему еще один удар в голову, и раненый едок, вскочив с энергией силы, непонятной при его молчаливой кротости, исчез в гуще народа, как в колосьях ржи. Он найдет себе пищу повсюду и будет долго жить без средств и без счастья, но зато часто наедаясь.

Один мужчина неясного вида стоял почти неподвижно, раскачиваемый лишь ближней суетою. Сарториус заметил его уже во второй раз и подошел к нему.

— Хлебные карточки, — произнес сам про себя тот неподвижный мужчина.

— Сколько стоит? — спросил Сарториус.

— Двадцать пять рублей пятая категория.

— Ну давай одну штуку, — попросил Сарториус, пожелавший истратить деньги на что-нибудь.

Торгующий осторожно вынул из бокового кармана конверт с напечатанной надписью на нем: «Полная программа Механобра». Внутри программы была заложена заборная карточка. Тот же торговец предложил Сарториусу подыскать заодно и скрипку, но Сарториус приобрел себе скрипку позже — у человека, покупавшего червей для рыбной ловли в обмен на свой инструмент и ворчавшего на всех прохожих, как на врагов государства.

Перед покупкой Сарториус захотел попробовать скрипку, но тесные люди все время мешали ему: тогда он поднялся в будку милиционера, — милиционер посторонился и дал место музыканту. С высоты этой надстройки Сарториус начал играть; его никто не слушал внизу: здесь давно привыкли ко всем человеческим фактам, а музыка не могла проникнуть в каждое вопиющее сердце, загроможденное собственной заботой. Но эта случайная скрипка играла хорошо. Она была построена из темного матерьяла, тяжелее дерева, на вид грубовата и сама делала звук благородней и задушевней, чем мог музыкант. Сарториус слушал ее пение сам, как посторонний слушатель, и удивлялся, что весь громадный окружающий воздух содрогается от слабого трения смычка, а люди не обращают внимания. Он посоветовался затем на этот счет с милиционером, и тот объяснил ему:

— Чего ты хочешь — здесь бродит последний буржуазный элемент, отвели ему место в буржуазной загородке и он тоскует тут один.

— Он погибает, — сказал Сарториус.

— А что ж ему делать: кто вор, кто нищий, кто торгует. У него своя душа, доживет и умрет.

— А отчего они не работают? — спросил Сарториус.

— Как тебе сказать! — Милиционер всмотрелся в глубь толпы. — Один тебе от слова переменится, другой от наказания, — те уж давно людьми живут. А иной только смерти послушается, так что ему, чтоб стать человеком, надо бы жить раза два подряд, — это вот здешние… Здесь скучное место, гражданин, — ступай теперь по своим делам, не мешай

заниматься наружным наблюдением…

Сарториус, согнувшись от уныния, навсегда покинул Крестовский рынок. Этого места тоже скоро не будет, как нет девицы Анны Васильевны Стрижевой, как умер нечистый и босой купец, смотревший с крыльца в нелюдимый обдутый непогодой свет.

3

С тех пор Сарториус стал жить в Москве. Само многолюдство уже возбуждало его силу, он шел среди людей, как в обольщении, и чувствовал их тело, издающее тепло.

До поздней ночи Сарториус не думал о приюте и ходил со скрипкой параллельно общему движению среди света, чистоты и тепла. Он чувствовал, что погибнуть здесь, остаться без внимания, пищи и призрения невозможно, если внутри его нет вражды к народу. И он действительно не оставался без участия. В первую же свою московскую ночь Сарториус попал ночевать к одной трамвайной кондукторше.

Он познакомился с ней случайно… Когда наступил второй час ночи и трамваи на большой скорости спешили в парк, Сарториус сел в такой трамвай и с интересом оглядел его пустынное помещение, точно тысячи людей, бывших здесь днем, оставили свое дыхание и лучшее чувство на пустых местах. Сарториус повторил свое путешествие и проехал в нескольких вагонах по разным направлениям. Кондукторша, иногда старая, иногда молодая, милая и сонная, сидела в этот час в вагоне одна и дергала бичеву на безлюдных остановках, чтобы скорее кончался последний маршрут. Сарториус подходил к кондукторше и заговаривал с ней о постороннем, не имеющем отношения ко всей окружающей видимой действительности, но зато кондукторша начинала, очевидно, чувствовать в себе невидимое. Одна кондукторша с прицепного вагона согласилась на слова Сарториуса, и он обнял ее на ходу, а потом они перешли в задний тамбур, где видно более смутно, и неслись в поцелуях три остановки, пока их не заметил какой-то человек с бульвара и не закричал им «ура».

С тех пор Сарториус изредка повторял свое знакомство с ночными кондукторшами, — иногда удачно, но чаще всего нет. Кондукторша первой ночи пригласила его ночевать, когда он сказал, что хочет спать, и положила его рядом со своей бабушкой на широкую старинную кровать, где он хорошо выспался.

На другой вечер Сарториус вышел на бульвар, где стоит памятник Пушкину. Он оставил футляр внизу и вошел на подножие памятника, на высоту всех его ступеней. Оттуда он сыграл, воображая себя перед всей Москвой, свое любимое сочинение о воробье — о том, как воробей полетел за простым зерном куда-то недалеко и там наелся среди многочисленных животных. Но скрипка разыгралась почти сама, скрипач осторожно последовал за ее усложняющейся мелодией, — музыкальная тема расширилась и судьба воробья переменилась. Он не долетел до ближней пищи: стихия ветра схватила его и понесла вдаль, в ужас, и воробей окоченел от скорости своего полета, но он встретил ночь, — темнота скрыла от него высоту и пространство, он согрелся, уснул, сжался во сне в мелкий комок и упал вниз, в рощу на мягкую ветку, проснулся в тишине, на заре незнакомого дня, среди ликующих неизвестных ему птиц. Музыканта заслушались прохожие, в его футляр на земле потекла почти беспрерывная зарплата; Сарториус застыдился и не знал, что ему делать с деньгами, точно он не нищий.

Молодая метростроевка, по-бабьи расставив ноги и пригорюнившись, слушала Сарториуса недалеко от него. Она была в мужской прозодежде, лишь обнажавшей ее женскую натуру, умна и прелестна черноволосым лицом; ясность сердца блестела в ее взгляде, следы глины и машинного масла от подземной работы не портили ее тела, а украшали, как знак чести и непорочности.

Во время игры музыкант глядел на девушку-метростроевку равнодушно и без внимания, не привлекаемый никакой ее прелестью: как артист, он всегда чувствовал в своей душе еще более лучшую и мужественную прелесть, тянущую волю вперед мимо обычного наслаждения. Под конец игры из глаз Сарториуса вышли слезы — ему самому понравилась

музыка и он растрогался, но многие слушатели его улыбались, а метростроевка вовсе смеялась.

Сарториус спустился с памятника и со злобой обратился к этой метростроевке:

— Эх ты, публика! Мыслить еще не умеет, а уже смеется над чувством.

— Это играете не вы, вы так не умеете, — ответила метростроевка. — Я знаю эту скрипку, на ней и я сумею играть…

— Не жалким таким девчонкам судить, хорошеньким на одну морду, — оценил ее Сарториус. — У меня, может, весь Советский Союз шевелится в уме…

— Ах, вы — так, — загадочно произнесла метростроевка. — Вам кажется, что вы знаменитый музыкант, значит, вы скучный дурак…

Она ушла от него по своим делам, а он пошел за нею и следил за нею до ее жилища, пока она не скрылась в нем. Тогда Сарториус сел на какой-то трамвай и уехал на нем далеко за город. Там он ходил и мучился, сидел около ржаного поля, играл в безмолвии и уединении на скрипке и не умел понять способа ее устройства: почему она от его игры разыгрывается затем сама и не вполне слушается его. Он не знал физики и техники, он мог только чувствовать одни душевные страсти и тревожный, напряженный ход человеческого сердца, а это не принадлежит к твердым телам; скрипка же вполне жестка и очевидна. Удаленная Москва нежно гудела как большая музыка; ее электрическое зарево небосклон отражал обратно на землю — и уже самый бедный свет заходил до здешней ржаной нивы и он лежал на ее колосьях как ранняя, неверная заря. Но была еще поздняя ночь. Сарториус с вожделением слушал дальнюю Москву, смотрел на небесную электрическую зарю и думал, что все это тайная музыка, и снова пускал в ход свою скрипку, слушая, как собирается вокруг нее все, что кажется немым и диким, и вторит неискусной игре девственными, спекшимися устами.

4

Метростроевская работница Лида Осипова, слушавшая игру Сарториуса у памятника Пушкину, жила на пятом этаже нового дома, в двух небольших комнатах. В этом доме жили летчики, конструкторы, различные инженеры, философы, экономические теоретики и прочие профессии. Окна ее квартиры выходили поверх окрестных московских крыш, и часто бывало, что Лида, вернувшись после смены и вымывшись, ложилась животом на подоконник. Волосы ее свисали вниз, и она слушала, как шумит всемирный город в своей торжественной энергии и раздается иногда смеющийся голос человека из гулкой тесноты бегущих механизмов. Подняв голову, Лида видела, как восходит пустая неимущая луна на погасшее небо, и чувствовала в себе согревающее течение жизни… Ее воображение работало непрерывно и еще никогда не уставало, — она чувствовала в уме происхождение различных дел и мысленно принимала в них участие; в одиночестве она наполняла весь мир своим вниманием и следила за огнем фонарей, чтоб они светили, и думала о машинах, день и ночь напрягающихся в своей силе, чтоб горел свет в темноте, шло чтение книг, мололась рожь моторами для утреннего хлебопечения, чтоб нагнеталась вода по трубам в теплые души танцевальных зал и происходило зачатье лучшей жизни в горячих и крепких объятьях людей — во мраке, уединении, не видя своих лиц, в чистом чувстве объединенного счастья, — чтоб, наконец, — сиял огнем и блестел радостью город ее юности, мировая столица человеческого труда, ума и человечности. Лиде Осиповой не столько хотелось переживать самой эту жизнь и наслаждаться, сколько обеспечивать ее успех, — круглые сутки стоять у тормозного крана паровоза, везя людей навстречу друг другу, чинить трубу водопровода, ездить на катке, прессуя новый асфальт, вешать лекарства больным на аналитических весах — и потухнуть вовремя лампой над чужим поцелуем, вберя в себя то тепло, которое только что было светом. Свои интересы при этом она не отвергала — ей тоже надо было девать куда-нибудь свое большое тело, — она их лишь откладывала до более дальнего будущего: она была терпелива и могла ожидать.

Когда Лида свешивалась из своего окна в эти вечера одиночества, ей кричали снизу приветствия прохожие люди, они звали ее с собою в общий летний сумрак, ей обещали показать все аттракционы парка культуры и отдыха и купить цветов и два торта. Лида смеялась им, но молчала и не шла.

Позже Лида видела сверху, как начинали населяться окрестные крыши домов: через чердаки на железные кровли выходили семьи, стелили одеяла и ложились спать на воздухе, помещая детей между матерью и отцом; в ущельях же крыш, где-нибудь между пожарным лазом и трубой, уединялись женихи с невестами и до утра не закрывали глаз, находясь ниже звезд и выше многолюдства.

После полуночи почти все видимые окна переставали светиться, — дневной ударный труд требовал глубокого забвения во сне, и с шепотом шин, не беспокоя лишними сигналами, проходили поздние автомобили. Лишь изредка потухшие окна снова освещались на короткое время — это приходили люди с ночных смен, ели что-нибудь, не будя спящих, и сразу ложились спать; другие же, выспавшись, вставали уходить на работу — машинисты турбин и паровозов, радиотехники, бортмеханики утренних рейсов, научные исследователи и прочие отдохнувшие.

Дверь в свою квартиру Лида Осипова часто забывала закрывать. Однажды она застала незнакомого человека, спящего вниз лицом на полу на своей верхней одежде. Лида подождала, пока он повернется лицом, и тогда узнала в нем музыканта, игравшего около Пушкина. Сарториус пришел сюда без спроса, а скрипку спрятал в уборной. Проснувшись, он сказал, что хочет у нее пожить, — здесь просторно и ему нравится. Лида Осипова не решилась отдалять его из-за бедности в жилищах и своего права на дополнительную площадь, — она промолчала и дала жильцу подушку и одеяло. Сарториус стал жить; по ночам он вставал и подходил на цыпочках к спящей Лиде, чтобы укрыть ее одеялом, потому что она ворочалась, раскрывалась и прозябала. Через несколько дней жизни в квартире Осиповой скрипач уже укреплял каблуки на стоптанных выходных туфлях Лиды, втайне чистил ее осеннее пальто от приставшего праха и согревал чай, с радостью ожидая пробуждения хозяйки. Лида сначала ругала скрипача за подхалимство, а потом, чтоб избежать такое рабство, ввела со своим жильцом хозрасчет — стала штопать ему носки и даже брить его щетину по лицу безопасной бритвой.

Когда же Лида уходила на работу, Сарториус тихо начинал играть на скрипке, стараясь вникнуть в ее волшебное устройство. Но скрипка была на вид обыкновенная и дешевая, однако на ее звуки отзывались оконные стекла, стены, мебель, люстры, пустой воздух — и пели вместе, как оркестр. При Лиде же Сарториус играть боялся.

Сарториус ни разу не осмелился спросить у нее про тайну своего инструмента и что означают ее насмешливые слова у памятника. Все же Сарториус понял, что истину новой музыки, поющей о любом мертвом веществе как живое чувство, он может узнать у этой черноволосой девушки, а больше некуда обратиться. И за этим он явился к ней жить и стараться во всем любить ее.

Вскоре Сарториус узнал, что Лида Осипова работает техником по буровому делу.

В одну ночь, когда он ее, как обычно, укрывал во сне, он услышал ее счастливый смех и она прошептала неясные слова: «Милый мой, мне скучно без тебя».

Сарториус тут же спросил ее:

— А чья это скрипка, милая моя…

Лида открыла глаза:

— А что?

— Ну стало быть, нужно. — Но обнять ее сразу Сарториус испугался.

— Что тебе нужно? — опомнилась Лида. — Завтра скажу. — И уснула дальше.

Утром она сказала Сарториусу, что сегодня вечером будет бал и пусть он идет туда вместе со скрипкой: неужели ему не надоест жить лодырем до самой осени.

— А чья это скрипка, милая моя? — спросил Сарториус. — Скажи, пожалуйста.

Лида медленно оглядела скрипача.

— Какая милая?.. Это что за новость?.. Скрипка эта сделана из отходов в лаборатории моего жениха — и для него я милая: вам понятно?

— Понятно, — сказал Сарториус, — я ведь не такой уж мещанин. Я человек особенный.

— Оно и видно, — произнесла Лида без внимания и без обиды.

5

Вечером в районном клубе комсомола собрались молодые ученые, инженеры, летчики, врачи, педагоги, артисты и знаменитые рабочие новых заводов. Никому из них не было более двадцати семи или тридцати лет, но каждый уже стал известен по всей своей родине — в новом мире, и каждому было немного стыдно от ранней славы, и это мешало жить и покрывало лицо излишним возбуждением. Пожилые работники клуба, упустившие свою жизнь и талант в неудачное буржуазное время, с тайными вздохами внутреннего оскудения, привели в порядок мебельное убранство в двух залах — в одном для заседания, в другом для беседы и угощения. Одним из первых пришел двадцатичетырехлетний инженер Полуваров с комсомолкой Кузьминой, пианисткой, постоянно задумчивой.

— Пойдем, жевнем чего-нибудь, — сказал ей Полуваров.

— Жевнем, — по-женски покорно согласилась Кузьмина.

Они пошли в буфет; там Полуваров съел сразу восемь бутербродов с колбасой, а Кузьмина взяла себе только два пирожных, она жила для игры, для музыки.

— Полуваров, почему ты ешь так много? — спросила Кузьмина. — Это, может, хорошо, но на тебя стыдно смотреть.

Вскоре пришли сразу десять человек: путешественник Головач, механик Гаусман, две девушки подруги — обе гидравлики — с канала Москва-Волга, метеоролог авиаслужбы Вечкин, конструктор высотных моторов Мульдбауэр, электротехник Гунькин с женой, — но за ним опять послышались люди и еще пришли некоторые, и среди них — Лида Осипова со скрипачом Сарториусом.

Позже всех в клуб явился хирург Самбикин. Он только что вернулся из клиники, где производил трепанацию черепа маленькому ребенку, и теперь пришел подавленный скорбью устройства человеческого тела, сжимающего в своих костях гораздо больше страдания, усталости и смерти, чем жизни и движения. И странно было Самбикину чувствовать себя хорошо — в напряжении своей заботы и ответственности за улучшение всех худых, изболевшихся человеческих тел. Весь его ум был наполнен мыслью, сердце билось покойно и верно, он не нуждался в лучшем счастье, чем контроль за чужим сердцебиеньем, — и в то же время ему становилось стыдно от сознания этого своего тайного наслаждения. Он хотел уже идти делать свой доклад, потому что раздался звонок, но вдруг увидел незнакомую молодую женщину, гуляющую рядом со скрипачом. Неясная прелесть ее наружности удивила Самбикина; он увидел силу и светящееся воодушевление, скрытое за скромностью и даже робостью ее лица. Содрогнувшись от неожиданного, тайного чувства, Самбикин вышел на минуту на открытый балкон.

Московская ночь светилась в наружной тьме, поддерживаемая напряженьем далеких машин. Возбужденный воздух, согретый миллионами людей, тоской проникал в сердце Самбикина. Он поглядел на звезды, в волшебное пространство мрака и прошептал старые слова, усвоенные понаслышке: «Боже мой!»

Затем он пошел в зал, где собрались его ровесники и товарищи. Самбикин должен был сделать доклад о последних работах того института, в котором он служил. Темой его доклада являлось человеческое бессмертие.

Во втором ряду сидела та молодая женщина с влекущим лицом и рядом с ней опять сидел скрипач со своим инструментом. Улыбка юности и бессмысленное очарование украшали ее, но она сама этого не замечала… Самбикин и его товарищи в институте хотели добыть долгую силу жизни или, быть может, ее вечность — из трупов павших существ.

Несколько лет назад, роясь в мертвых телах людей, Самбикин нашел в области их сердца слабые следы неизвестного вещества, и озадачился им. Он испытал его и открыл, что вещество обладает силой возбуждать слабеющую жизнь, как будто в момент смерти в теле человека открывается какой-то тайный шлюз и оттуда разливается по организму особая влага, бережно хранимая всю жизнь, вплоть до высшей опасности.

Но где тот шлюз в темноте, в телесных ущельях человека, который скупо и верно держит последний заряд жизни? Только смерть, когда она несется равнодушной волною по телу, срывает ту печать с запасной жизни, и она раздается в последний раз как безуспешный выстрел внутри человека, и оставляет неясные следы на его мертвом сердце…

Бродячий луч далекого прожектора остановился случайно на огромных окнах клуба. Слышно было в наставшей паузе, как били по шпунту и выдували исходящий пар паровые копры на Москва-реке. Лида Осипова стала беспокоиться и поворачивала голову на каждого, кто входил в залу. Несколько раз она ходила к телефону — звонить тому, кого она ожидала, но ей никто не отвечал оттуда, вероятно, испортился аппарат, и она возвращалась, не показывая своей печали.

Затем все гости перешли в другое помещение, где был накрыт стол для общего ужина, и там возобновился спор о бессмертии, о доисторических одноглазых циклопах как о первых живых существах, построивших Грецию и олимпийские холмы, — о том, что и Зевс был только каторжником с выколотым глазом, обожествленным впоследствии аристократией за свой труд, образовавшим целую страну, — и о других предметах.

Цветы, казавшиеся задумчивыми от своей замедленной смерти, стояли через каждые полметра, и от них исходило еле заметное благоухание. Жены конструкторов и молодые женщины — инженеры, философы, бригадиры, десятники — были одеты в самый тонкий шелк республики. Правительство украшало лучших людей. Лида Осипова была в синем шелковом платье, весившем всего граммов десять, и сшито оно было настолько искусно, что даже пульс кровеносных сосудов Лиды, беспокойство ее сердца обозначалось на платье волнением его шелка. Все мужчины, не исключая небрежного Самбикина и обросшего метеоролога Вечкина, пришли в костюмах из превосходного матерьяла, простых и красивых; одеваться плохо и грязно было бы упреком бедностью стране, которая питала и одевала присутствующих своим отборным добром, сама возрастая на силе и давлении этой молодости, на ее труде и таланте.

Самбикин попросил Сарториуса сыграть что-нибудь: зачем же он не расстается со скрипкой.

Сарториус поднялся и с прозрачной, счастливой силой заиграл свою музыку — среди молодой Москвы, в ее шумную ночь, над головами умолкших людей, красивых от природы или от воодушевления и счастливой молодости. Весь мир вокруг него стал вдруг резким и непримиримым, — одни твердые тяжкие предметы составляли его и грубая, жесткая мощность действовала с такой злобой, что сама приходила в отчаяние и плакала человеческим, истощенным голосом на краю собственного безмолвия. И снова эта сила вставала со своего железного поприща и крошила со скоростью вопля какого-то своего холодного, каменного врага, занявшего своим мертвым туловищем всю бесконечность. Однако эта музыка, теряя всякую мелодию и переходя в скрежещущий вопль наступления, все же имела ритм обыкновенного человеческого сердца и была проста и понятна тем, кто ее слушал.

Но, играя, Сарториус опять не мог понять своего инструмента: почему скрипка играла лучше, чем он мог, почему мертвое и жалкое вещество скрипки производило из себя добавочные живые звуки, играющие не на тему, но глубже темы и искуснее руки скрипача. Рука Сарториуса лишь тревожила скрипку, а пела и вела мелодию она сама, привлекая себе на помощь скрытую гармонию окружающего пространства, и все небо служило тогда экраном для музыки, возбуждая в темном существе природы родственный ответ на волнение человеческого сердца.

Лида закрыла лицо руками и заплакала, не в силах скрыть свое горе. Оставив свои

места, к ней подошли все присутствующие. Сарториус опустил скрипку в недоумении. Всеобщая радость свидания прекратилась.

— Послушайте, — обратилась Осипова к ближним товарищам, — у вас есть у кого-нибудь машина, мне нужно поехать…

— Сейчас будет, — сказал Самбикин.

Он вызвал по телефону автомобиль. Через десять минут Лида Осипова, Самбикин и Сарториус поехали по указанию Лиды.

В районе Каланчевской площади машина свернула в узкий переулок и остановилась. Дальше двигаться было нельзя, — там стояли пожарные машины, хотя огня нигде не замечалось, и только звучала однообразная нежная и грозная мелодия, неизвестно где.

В отдалении переулка находилось небольшое одноэтажное здание с вывеской о том, что это завод по производству весовых гирь и новых тяжелых масс имени инж. В. И. Грубова. У самых ворот того завода находилась машина скорой помощи. Луч прожектора пожарного автомобиля освещал одно окно заводского здания; за окном — внутри помещения — неподвижно сиял самостоятельный фиолетовый свет; готовые ко всему, пожарные цепью стояли против окна — внутри маленького завода сейчас лежал один человек неизвестно, живой или мертвый.

Лида Осипова с холодным сердцем старалась понять обстановку, но вдруг, помимо действия ума и сердца, она закричала: своим высоким, наивным голосом и побежала на завод сквозь строй пожарных, которые не успели ее схватить.

Ее ожидали несколько минут, но она там умолкла и назад не вернулась. Командир пожарных приказал разобрать наружную стену здания и извлечь оттуда людей.

Нежное, грозное пение продолжалось, распространяясь на весь переулок и восходя к электрическому зареву ночной Москвы.

Сарториус узнавал этот голос пространства и дикого окружающего вещества, бывшего мертвым и безмолвным всегда, — это был голос его скрипки, которая лежала у него сейчас в футляре в руках. Он поднял футляр к уху и прислушался: весь матерьял инструмента что-то напевал и, меняя мелодию, следовал неизвестной и трогательной теме, но внешний гул и суета людей мешали уловить мысль музыки.

— Моя скрипка, гражданин… Должно быть, теперь спасибо говорите, а сказать некому.

Сарториус увидел того самого человека, который торговал рыболовными червями на

Крестовском рынке и по случаю продал ему скрипку. Он был в летах и служил, оказывается, наружным сторожем на этом заводе, а раньше работал по деревообделочному делу и занимался, ради любви к природе, рыбной ловлей.

— Что это такое у вас происходит? — спросил у него Сарториус.

— Пройдет… Владимир Иванович засел в лаборатории.

— А кто он?

— Кто-кто? Ты читай вывеску — вот он кто. Очнется.

— От чего очнется?

— Опять ему — отчего? — недовольно говорил сторож. — От дела своего… Гляди теперь, и женщина замлеет там с ним.

— Какая женщина?

— Вот тебе — какая! А с тобой-то стояла, кто? Баба Владимира Ивановича, невеста его.

Странный, глубокий звук прекратился, волшебный свет в окне лаборатории погас. В двери проходной конторы завода показалась Лида Осипова и сказала пожарным:

— Ну идите же сюда, скорее, перестаньте портить здание. Теперь здесь не опасно, ток не бьет.

Пожарные вошли внутрь здания и вынесли оттуда молчащего человека, одетого в клочья своей бывшей одежды. Его поднесли к машине скорой помощи.

— Нет, я хочу домой, — сказал инженер Грубов. — Где Лида?

— Несите его сюда. — Самбикин отворил дверь своего автомобиля. — Мы поедем в

Институт, — сказал он шоферу.

К автомобилю поднесли утомленного человека; его тело местами было видно, и оно покрылось густой влагой пота, точно он дрался сверх сил, но лицо его было здоровое и глаза закатывались в сон.

— Здравствуйте, — сказал Самбикин Грубову.

— Здравствуйте, — ответил больной инженер.

— Мы поедем к нам в Институт, я вам помогу, — говорил Самбикин, когда Грубова усаживали в машину.

— Не хочу, — отказался Грубов.

— Но это очень интересно: я вам волью одну штуку, какую я добыл. Очень любопытный эксперимент — советую пережить.

— Тогда поедемте, — сразу согласился Грубов.

— Обожди. — В машину всунулся ночной сторож, автор скрипки Сарториуса. — Владимир Иванович, ты что там — замлел?

— Замлел, Сидор Петрович…

— Я, знаешь, хотел к тебе войти — шибает что-то и шибает назад.

— Нельзя, Сидор Петрович, ты умрешь.

— Нельзя — не надо… Можно я отходы возьму — хочу еще скрипки две сделать, последние уж.

— Возьми, Сидор Петрович… Ступай спи, я тоже уморился…

Они уехали. Переулок опустел. Остались только Сидор Петрович и Сарториус.

7

По своей привычке жить где попало и даже чужой жизнью Сарториус остался на гирьевом заводе. Его назначили чернорабочим, и он поселился в комнате у Сидора Петровича на заводском дворе. Сторож вскоре научил Сарториуса делать скрипки, он их делал обыкновенно и не знал никакого старинного искусства, но только темный, блестящий матерьял для работы он брал в лаборатории Грубова; этот матерьял был уже негодным и неточным для инженера, его бросали прочь. Сарториус не мог все же понять, почему природное вещество играет внутри почти само по себе и умнее искусства скрипача. Сидор Петрович тоже этого не знал, и даже не интересовался.

Целых два месяца томился Сарториус, ничего не узнавая, пока завод не перешел на производство новых гирь. Их не хватало в колхозах; хлеб и трудодни колхозника, сбережение урожая — наиболее драгоценного общего добра — зависело от наличия точных гирь. С их производством поэтому спешили и многим рабочим повышали квалификацию через краткие курсы. Сарториуса тоже послали учиться работать на новом деле. В заводе тогда появились небольшие электрические машины, похожие на радиоприемники. Эти машины излучали резкую, дробящую, невидимую силу, от которой обрабатываемый материал сначала грустно пел, а потом умолкал и был готов к изделию. Материалом для гирь служила глина, прессованные древесные стружки, даже простая земля и все, что дешево и почти негодно. После обработки электричеством это вещество делалось твердым, тяжелым и прочным, как сталь и свинец.

Инженер Грубов объяснил рабочим, что мир, особенно же те его места, которые обработаны человеком, построен из больного матерьяла, так как все его мелкие молекулярные части выбиты огнем, трудом, машинами и другими событиями из своих родных, лучших мест и бродят теперь в тоске внутри вещества. Электрический ток высокой частоты и ультразвуковое колебание быстро возвращают молекулы в их древние места — природа делается здоровой и прочной, молекулы оживают, они начинают давать гармонический резонанс, то есть отвечают звуком, теплотою, электричеством на всякое их раздражение, и даже поют сами по себе, когда раздражение уже прекратилось, давая знать своим далеким голосом, что они страдают и сопротивляются. И этот звук оказался понятным

для человека, его сердце, когда оно несет напряжение искусства, поет почти так же, только менее точно и более неясно.

— Это оправдалось на скрипках, сделанных Сидором Петровичем, — сказал однажды Грубов на производственном совещании. — Скрипки сделаны из матерьяла, не годного по своим качествам для весовых гирь, музыку он получил из нашего брака… Но я думаю — нам придется теперь сделать несколько скрипок из настоящего матерьяла…

Грубов улыбнулся, и лицо его, омраченное долгим трудом, сделалось кротким и молодым. Этот человек много раз переживал смертельные страдания от действия жестких, диких сил электричества, и лишь будучи на краю своей могилы узнал судьбу мертвого вещества и изменил его, насколько мог.

Сарториус проработал на гирьевом заводе до сентября месяца, но потом исчез неизвестно куда. Его влекла большая Москва, на него действовало многолюдство, как воодушевление, и чужое сердце интересней своего, — он хотел испытать свою душу во всей многообразной судьбе нового мира, а не только в качестве скрипача, не в одних узких пределах своего таланта.

Земляки из его колхоза искали его по осени по всей Москве, но нашли одни слабые признаки Сарториуса в виде справок о его проживании, а живым его нигде не оказалось: он заблудился между людей. Страна его велика и добра.

Глиняный дом в уездном саду

В уездном саду была деревянная кузница. Вокруг нее росли лопухи и крапива, далее стояли яблоневые и вишневые деревья, а между ними произрастали кусты крыжовника и черной смородины, и выше всех был клен, большое и грустное дерево, давно живущее над местным бурьяном и всеми растениями окрестных дворов и садов. Сад был огорожен плетнем со всех сторон, лишь в одном месте была деревянная калитка, навешенная на толстый кол; эта калитка выводила на пустой двор, а на дворе находился бедный дом из кухни и комнаты, где жил кондуктор товарного поезда с женой и семерыми детьми. А в задней стороне сада, где были заросшие дебри сонной травы, стояла глиняная стена глухого и еще более мелкого жилища, чем то, в котором жил кондуктор. К этой стене с обеих сторон подходили садовые плетни и вместе с густою травой точно хранили этот неизвестный глино-соломенный дом, где была или не была чья-то убогая, слабая жизнь.

Посредине глиняной стены того дома находилось окно, маленькое, как дремлющее зрение, — окно выходило прямо в этот сад, в тишину его трав и деревьев, в безлюдие долгого медленного времени.

Другие стены глиняного дома и дверь из него были за плетнем, на той стороне, и там тоже была трава, несколько умолкших, дремучих кустов и запустение забытого огорода. Не видно было жителей, которые входили бы в это жилище, хлопали дверью, жили и зажигали свет в окне в осенние вечера.

Деревянная кузница стояла на другом краю сада. В ней работал и неотлучно жил пожилой одинокий кузнец Яков Саввич Еркин. Ему было теперь почти пятьдесят лет, он прожил длинную жизнь, почти непригодную для себя. Когда-то он работал лесным сторожем и проклял лес. Уходя навсегда из казенной избушки, он обернулся к дубовой чаще и сказал ей:

— Проклинаю тебя на веки веков, грудь моя забудет все твои деревья, грибы и тропинки. Голова моя не увидит тебя и во сне никогда!

Он перекрестил шумящую дубраву крестом прощания и презрения и пошел от нее в пустошь, опять неимущий и свободный. В одной слободе Яков Саввич устроился для прокормления на краскотерочную фабрику, где работали четыре девки, два мальчика и один он. Потерев краску недели три, Яков Саввич плюнул в терочную машинку и произнес:

— Будь ты трижды проклята — трись сама, — а потом ушел в дверь, по своему обычаю, и больше не вернулся.

На улице он внимательно осмотрел краскотерочное помещение, чувствуя душевное счастье, что больше его никогда не увидит и поэтому можно даже печально полюбить его на память.

Затем Яков Саввич рыл траншеи для водопроводных труб в губернском городе, пока ему вскоре же, дня через три, не стало ясно, что для такой работы совсем не нужно быть человеком, мечта в его голове и настроение в сердце оставались без применения, работали только лишь одни скучные руки, и ноги держали тело в упор, как истуканы. Яков Саввич сразу расправился с этой своей новой судьбой, — он получил сдельный расчет и отдал лопату подрядчику, а земле сказал: «Лежи — дожидайся, как буду мертвым, так явлюсь к тебе!»

Потом Еркин, ввиду холодной зимы, поступил бассейнщиком. Он стал жить в водоразборной будке с печкой и отпускал теперь водовозам и базарным мужикам воду за мелкие деньги. Это было нетрудно, лишь бы питаться, а жизнь как-нибудь проживется. Но в бассейной будке окно было четверть аршина в квадрате, — никого не видно, всегда скучно и только суют гроши и алтыны в казенную щель под рамой замороженного окошка. Это мало радости, и поэтому Яков Саввич вышел однажды в зимний вечер наружу и засмотрелся на длинную очередь пустых деревенских саней. Базарный день окончился, деревенские люди уезжали домой — в натопленные избы, спрятанные среди снегов за десять — двадцать верст отсюда, в речных долинах, в заглохших балках и пустошах; они приедут туда поздно, поедят ужин с овинным хлебом и лягут спать, слушая первых петухов. Долгая синеющая улица города выходила в поле, в первые сумерки русской ночи. Небо еще с осени покрылось темной теплой наволочью и осталось таким неподвижно, больше не было ни звезд, ни молний. Брехали собаки у сеней мелких домовладельцев и звонил колокол церкви в память праздника какого-то небольшого святого, жители шли в баню или возвращались оттуда, застывшие дети бедняков проводили детство у своих дворов, играя тем, что упало с неба или с проезжих возов.

Последние сани безымянного старика скрылись с тоскою в темном месте пространства. Сильная, грустная мечта о безвозвратном бродяжничестве стала томиться в душе Якова Саввича. Он сосчитал дневную выручку за продажу воды, которую должен отнести в городскую кассу. Ее оказалось всего шесть рублей, сорок две с половиной копейки.

— Э, да будь ты все проклято! — сказал Яков Саввич. — Пойду жить по своей мысли.

Он взял пиджак в будке, потушил лампу и скрылся вслед за уехавшими мужиками.

Верстах в сорока от города, в деревне Таволжанке, Якову Саввичу понравилась одна милая молодая женщина, вдовица пропавшего шахтера. Он поселился в избе ее родителей, а потом постепенно женился на ней, приучив ее к себе до того, что она полюбила его. В этом ничего особого не было: ведь женщине некуда деваться, кругом равнодушное поле, в избе скудость и неуправка, у каждого своя забота, и человек ходит, молчит, — поэтому многие не выдерживают, их сердце располагается к кому-нибудь, и двое людей начинают жить, прижавшись в жалобе друг к другу, отчуждаясь от всех чужих. С таким же чувством предалась Якову Саввичу шахтерская вдовица, ища своего убежища в его доброте.

Яков же Саввич, обратно, боялся всякого убежища, точно сухой могилы. Тогда он сказал ей:

— Ну, поплачь теперь, слабая, года два обо мне, а я пойду, откуда пришел…

Дальше Яков Саввич пошел работать по уезду на богатых мужиков, служил обтирщиком вагонов на товарной станции, резаком в мясной лавке — и всюду, сгибаясь в труде, ел плохо, а на одежду не хватало ничего, хотя пользы от работы приносилось много. Догадавшись про убыточность полезного труда, Яков Саввич занялся сбором подаяния в кружку на построение храма Николая-чудотворца, а все кружечные деньги оставлял себе на пищу и в запас на худшее время и стал жить спокойно и хорошо. Он ходил среди природы по губернии, беседовал и размышлял с разными жителями и замечал, что его ненужное дело было гораздо более доходным, чем полезное занятие трудом. Мало того, люди, жертвовавшие копейку в расщелину кружки, делали это с интересом удовольствия, хотя

сами знали, что это безвозвратный расход и Бог им едва ли поможет. А когда Яков Саввич продавал воду в бассейной будке и приходили разные жаждущие с ведрами, то они уносили воду со скукой, хотя в воде была насущная необходимость, а церковная кружка — это пустая жестянка.

Накопив сто рублей, Яков Саввич пошел в уездный город и купил себе ларь с товаром для торговли игрушками, ложным золотом и украшениями женского лица. Он уже знал теперь, что ненужные вещи ценятся дороже и покупаются охотнее, чем необходимые. Торговля, стало быть, будет безубыточной. Однако торговать ему пришлось всего месяц времени, потому что его арестовали и присудили сидеть в тюрьме три года семь месяцев — за хищение медных церковных денег. В тюрьме Яков Саввич узнал еще много мер борьбы с безуспешной жизнью и, выйдя оттуда, поступил к двум купцам делать самые точные весы. Эти два купца, торговавшие алебастром, известью и дранью, были компаньонами в деле, но заспорили однажды среди лета — чья жена лучше и тяжелее. Своим весам они не верили, а у чужих весов хозяева были жулики. Здесь им назвался Яков Саввич, что он сделает весы, которые будут вешать, чья жена лучше, легче и тяжелее. Купцы вначале хотели разойтись без последствий и без убытков от такого дела: ну, пускай у одного жена будет толще, а у другого зато лучше на вид — так на так выйдет, без особых весов. Но один купец стал думать по-другому.

— Опять Евсей поехал без вожжей! — сказал он в раздражении. — Товар сорт любит, а не одну тяжесть. Пускай человек делает, раз называется: на баб не годятся, на известку пойдут…

— Твою бабу свесить не задача, — сказал другой купец, — ни спереди, ни сзади нет добра. А на мою царь-пуд еще надо лить.

— У моей кость тверже, она — баба — захватистей твоей.

— Опять тебе вот — захватистей! Купи себе клещи в железном ряду и живи с ними.

— Свесим — и дело с концом! — предложил Яков Саввич. — Ни туда, ни сюда выйдет, а по совести. Из-за женщин можно до смерти дойти: лучше весы сделать, все равно для известки нужны будут.

— После моей бабы, пожалуй, весы пополам треснут! — сказал купец, у которого жена, наверно, была толще.

— А ну, нехай пополам! — обиделся второй купец. — Что тяжельше — старое сало или молодая кость: нехай моя баба давнет, поглядим, как твоя кверху подскочит!..

Тот купец вынул пять рублей одной монетой и бросил на землю:

— А ну, пускай глянем, как моя баба-пирог кверху от твоей пышки полетит!

Второй купец тоже не пожалел денег, ради сердечной ревности за свою супругу, и вынул ассигнацию.

— Врешь, другой человек, красоту лопухом не одолеешь.

— Да моя твою одним глазом сшибет!

— А ты что, с перины на пол падал?

Но торговое дело любит, чтобы в нем было хорошее сердце, а не злоба, поэтому купцы, жалея свой мир между собою, заказали Якову Саввичу весы, чувствующие женщин.

Яков Саввич снял себе по летнему времени квартиру у товарного кондуктора — в сарае, в уездном саду. Он взял в лавках инструмент и стал ковать ненужное дело, желая на нем наживаться. Весы ему пришлось делать и переделывать целый год, потому что он никак не мог угодить купцам — все время не хватало точности для тяжести их жен. Затем Яков Саввич перестал спешить с работой, переполучив постепенно с купцов почти двести рублей, пока купцы, поругавшись навечно и по женам, и по другим серьезным делам, не разошлись навсегда, обеднев от злости.

Яков Саввич к тому времени завел уже себе в сарае зимнюю печку, обмеблировался, купил добавочный инструмент, заквасил капусту в кадке, но никакой обыкновенной кузнечной работы не брал и ничего не думал, а ждал, когда ему попадется что-нибудь бесполезное и загадочное, но тем более необходимое человеческой душе и, стало быть,

самое доходное, но всю наступившую зиму не было подходящих заказов, поэтому Яков Саввич начал по своему почину делать железные жалейки и питьевые кружки с откидным дном, что мешало их употреблять, но становилось как-то интересно черпать ими воду. Свои изделия Яков Саввич продавал на базаре, где встретил однажды одного из двух обедневших купцов, желавших в свое время сделать весы для определения своих жен. Этот купец стал напрашиваться в подручные к Якову Саввичу, но тот велел ему сначала найти заказчика на работу. Вскоре купец пришел к Якову Саввичу и указал ему сходить к попу в кафедральный собор, там есть заказ. Действительно, попы собирались сделать подношение архиерею, которому исполнялось через полгода сто лет, но нужно было что-то выдумать прелестное и простое. Яков Саввич тут же выдумал часы вечного хода, идущие без завода и остановки вплоть до конца света и второго пришествия.

Попу понравилась такая мечта, однако он высказал сомнение: не лучше ль будет, чтобы часы не шли, а стояли, потому что нижняя, земная жизнь есть остановочное томление, а за сутки до небесного суда тронулись бы сами и пошли, считая истинный Божий срок.

— Тоже можно! — сразу согласился Яков Саввич и взял в задаток сто двадцать рублей, уговорившись сделать всю работу за полтысячи.

Пока Яков Саввич понемногу трудился, у хозяина двора — кондуктора — постоянно рождались дети, и он обращался в нищего, тоскующего человека. Яков Саввич часто кормил его детей моченками из хлебной тюри, потому что его сердце скучало от одной жадности и своего житейского удовольствия и требовало для отдыха небольшой доброты. Потом Яков Саввич сделал попам чугунные часы, которые должны в конце обычного времени пойти в ход от удара молнии, и тогда купил у кондуктора всю его усадьбу за двести рублей, а кондуктор с семейством остался жить, как жил — в кухне и комнате, но только квартирантом — за пять рублей в месяц.

С тех пор Яков Саввич не проклинал надоевшего места своей жизни, а грелся на солнце около собственной кузницы, следил, чтобы все было цело, чтоб росла даже ненужная трава в саду, и втайне подружился с инвентарем своего двора — с плетнями, с деревьями, досками и гвоздями на них, с закоулками строений, — и беседовал с ними в душе, любя их теперь неразлучной любовью, как царство своего сердца и мировое пристанище. И бедные, дремлющие предметы тоже шептали что-то в ответ Якову Саввичу своими спекшимися от молчания грустными устами, так что хозяин тем более не мог оставить их одних в сиротстве, на печальное пребывание. Он теперь не искал случая делать лишь странные механизмы, утоляющие вожделение темной души, а работал все, что ему давали, — ведра, формы для пирогов, железные скобки, петли для навески деревянных ворот и прочее. Яков Саввич соглашался нынче и на малое добро, чувствуя от него достаточное утешение. Проклиная некогда всеобщие леса, он полюбил сейчас кусты и былинки в своем нажитом саду; волнуясь когда-то от ветра на бродяжьих дорогах, он прислушивался теперь к шевелению хвороста в собственных плетнях, а ветер не любил, как всякую непогоду.

Жизнь проходила перед ним своею мирной долготою; дети товарного кондуктора выросли и стали воровать крыжовник с кустов, деревянная кузница заиндевела от ветхости мелким древесным мхом, старый клен в саду уже несколько лет держал свои нижние ветви без листьев сухими от старчества — наверно, он родился в то давнее время, когда здесь было еще чистое поле, и прожил век сиротою, в далекой стороне от могучих отцовских лесов.

В летние ночи Яков Саввич любил обходить двор и сад по загаженному краю, по темной крапиве и глядеть, как спит его добро и никуда не двигается. На небе звезды хотя и шли куда-то, но медленно, а на другую ночь опять были на своих местах. Затем Яков Саввич спал и видел сновидения старости, что он молод и мил лицом, кругом растет бушующий от ветра бурьян и голос давно погибшей, грустной матери звучит в воздухе над ним, и он смеется. В кузнице пахнет сажей и железом, за деревянной стеной тьма и редкий пугающий шелест травяных стеблей, а старик спит один на топчане, открыв рот в слабости своего счастья — видеть во сне мертвую мать, минувшую природу и свою забытую душу.

Но ум его, как сторож-старичок, спал слабо: в одну ночь он расслышал, что скрипит

плетень под тяжестью человека, и разбудил Якова Саввича чувством беспокойства. Хозяин проснулся и стал слушать приближающееся бедствие. Кто-то шел по мякоти трав и почвы небольшими шагами, иногда останавливаясь в страхе чужого места и замирая. Яков Саввич стал бояться и ждать. Он расслышал, как неизвестное существо удалилось куда-то от кузницы и затем оттуда раздался робкий стук в оконное стекло, — что было в глиняной стене маленького дома, выходившего этой стороною в сад. Яков Саввич сам не знал, кто жил в том жилище, он там никогда не замечал ни звука, ни вечернего огня, ни дыма. Но стекло зимой и летом было наглухо замазано, значит, никто в сад не вылезал, и этого достаточно. После молчания снова кто-то постучал в далекое окно и смирно смолк в ожидании ответа.

«Может, это ангел ходит ночью! — подумал Яков Саввич. — Сколько сейчас времени? — Он потрогал руками стрелки стенных сельских часов и узнал, что было час ночи. — Ангелу ходить пора! — решил он в уме. — Либо мне проклясть все и скрыться отсюда без поворота!.. Чего я здесь живу — умираю: странность одна!»

Он прислушался далее. Ангел по-прежнему постукивал в окно, но все более редко и без ответа.

«Застынет! — подумал Яков Саввич и встал с места. — Зори теперь холодные».

Он вышел наружу и позвал: «Эй, чертенок, иди сюда!» — однако звука из его рта не раздалось, — от стеснения или от страха он говорил только в уме.

«Вот тебе раз! — подумал Яков Саввич. — Все вера в Бога, будь она проклята!.. По ягодным кустам, наверно, лез, сукин сын, изуродовал теперь растения».

Окно из глиняного дома отворилось целиком, вместе с рамой, и оттуда выставилось в сумрачный сад чье-то, не похожее на человека, лицо.

— Я все давно слышу! Чего тебе надо? — сказал скучный голос старухи, дыша словами не наружу, а внутрь, в свою пустую узкую утробу.

— А ты мама или нет? — спросил голос маленького ребенка, уставшего, должно быть, ходить по темной ночи.

— Я тебе чужая, — ответила старуха и вставила оконную раму обратно в проем стены.

Ребенок постоял немного, погладил глиняную стену рукой и пошел к кузнице, ступая по крапиве привычными ногами.

— Ты чей? — спросил его Яков Саввич.

— Я ничей, я отца-мать хожу ищу, — сказал мальчик лет четырех или пяти на вид.

— А я думал ты — ангел, стервец!

— Нет, я никто, — отказался мальчик.

— Жулик, что ль?

— Нет… Меня тетка загрызла, я хлеба много ем и портки протираю. Она ругается, — ступай, говорит, вон отсюда, ищи свою родную мать и отца, пускай они тебя кормят и водою поят. А я хожу-хожу, спрашиваю и говорю, никто их не знает.

— Кого? — спросил Яков Саввич.

— Ни отца, ни матери. А меня тетка за них по морде костяной рукою бьет.

— Вон что, — произнес среди своего молчания кузнец. — Жалко, что ты не ангел.

— Ничего, — сказал этот мальчик.

— А отец-то с матерью твои живут где-нибудь?

— Никто не говорит, пойду сейчас спрашивать, — ответил небольшой человек. — Может, есть, а ребят ведь много на свете, одного взяли и забыли.

— Ты маленький, а ведь умный! — удивился Яков Саввич.

— Я нечаянно стал, один живу, хожу и думаю.

— Давно ты родителей ищешь?

— Давно… Забыл уж, где тетка живет. Пускай бы костью била и хлеб из остатка давала, а то я не евши.

Яков Саввич зажег свет в кузнице и поднял на руки прибывшего ребенка, чтобы рассмотреть его лицо. Мальчик был одет в штаны на одной пуговице и в рубашку, а картуза и обуви не имел. Все обветшало на нем, материя стала редкой, точно вихри обдували его.

Лицо, лишенное детского запаса жира, было худощавым и морщинистым, серые угрюмые глаза глядели терпеливо, готовые без слез перенести неожиданный удар.

— Ну, ничего, — сказал Яков Саввич. — Жить будешь, — и опустил ребенка на землю.

Мальчик стал жить в кузнице. Он ел так мало, что Яков Саввич его не прогонял, портки же и рубашку он чинил сам, когда они раздирались от старости. Во сне ребенок часто бредил одной и той же мыслью о матери и об отце, а Яков Саввич слушал и ухмылялся: он знал, что родители ничего не означают, кроме детской мечты в сердце.

Вскоре сирота собрал себе тряпки по соседним дворам и сшил мешок; в этот мешок он накопил хлебных кусков, а потом в одно утро стал прощаться с Яковом Саввичем.

— Пойду мать искать, с чужими скучно жить.

— Я тебе пойду! Я тебя ремнем драть буду.

— А я жрать много стану, тогда сам прогонишь.

Яков Саввич задумался. Он попросил жену товарного кондуктора, чтобы она усыновила его мальчика, а он зато не будет брать с них плату за квартиру. Однако кондукторша отказалась: кормить не жалко, но своих детей много и за безродного тоже надо душой болеть, как за своего.

Мальчик на время присмирел и потихоньку сделал себе башмаки: снизу положил деревянные подошвы, а верх обсоюзил кровельным железом; затем он собрал и насушил себе грибов и пошел куда-то прочь: Яков Саввич, ходивший продавать готовые ведра, вернул его уже с улицы:

— Ты куда?

— По своему делу.

— По какому — своему? Ты где обужу взял?

— Сам сделал. Пойду теперь далеко, обуже ноги не уморятся, — и никогда к тебе не вернусь.

— Фу-ты, скот какой! Так ведь я же твой отец и есть!

Мальчик осторожно поглядел на старого кузнеца.

— Отец бы заплакал по мне, как я по нем плачу, когда ты спишь… Ты мне чужой!

— Я сам сирота, — ответил Яков Саввич, смущаясь печали ребенка.

— Тебе давно отцом пора быть, а ты нет… Я жду, когда только вырасту. Ем только мало — на мне говядина не держится. Приняться не с чего.

— А что! — испугался Яков Саввич.

— Детей тогда начну рожать и буду до самой смерти с ними жить. Пускай у них будет отец, а то у меня нету.

— А сколько тебе лет-то?

— Если бы были отец с матерью, они бы знали. И звать они знают как, я все позабыл.

Яков Саввич вернул его назад, и мальчик умолк. Пока у ребенка не было своих детей, он приучил к себе воробьев, давая им хлебные крошки, просяное зерно и разный мусор пищи. Воробьи ели, а наевшись, начинали ссориться и разлетались вдребезги, каждый отдельно, а потом сходились опять, чтобы снова суетиться вместе в нужде и в драке. Яков Саввич сделал для сироты железную клетку, и мальчик стал водить в ней воробьев. Но воробьи жили недолго, они скоро умирали, ложась навзничь в своей тоске. Тогда мальчик начал сажать их в клетку по два и по три, чтоб у них рождались дети и они жили бы ради них без печали. Однако воробьи опять ложились и все умирали. Это событие озадачило даже Якова Саввича, но он не знал, в чем тут тайна, — ведь даже соловьи живут в клетках и орлов приручают, а воробей все равно ютится почти под ногами, почему же он сразу кончается в клетке… Зачем ему свобода, когда он летает в длину на один аршин и проживает свою жизнь на двух соседних дворах? А кто может перелететь через море, тот, оказывается, и в клетке поет!

— Будь же ты все проклято: значит, я вроде воробья! — сказал Яков Саввич. — Либо опять мне тронуться куда-нибудь! Так ведь одинаково везде — поля да избушки, облака и мелкие речки… Ну что ж: пусть я воробей, а ведь если другой птицей стать, то в клетке

насидишься.

Мальчик перестал водить воробьев. «Вы не люди, — сказал он им, — надо мучиться, а вы прямо умираете, с вами не игра». Он часто ходил по саду, ища в деревьях, в мелких насекомых и в неизвестных мертвых предметах какого-либо родства себе, привязанности и взаимного горя одиночества, но обманывался только на короткое время, потому что его сердце было серьезным.

Каждый день сирота прислонялся лицом к окну в глиняной стене и смотрел, что там есть внутри дома. Там стояла табуретка, а на ней ведро с водой и кружка. Рядом с табуреткой находилась деревянная кровать, на той кровати всегда сидела лысая старуха и глядела белыми, забытыми глазами в одно пустое место перед собой. По старухе иногда ползали мыши, ее шею ели клопы, но она их плохо чувствовала или жалела свою силу, чтобы бороться с ними. Мальчик долго ее боялся, но старуха раз сидела и плакала с открытыми глазами, тогда он вынул оконную раму и влез внутрь глиняного дома. С тех пор он почти каждый день бывал в гостях у старухи, снимал клопов с нее и прогонял мышей. Старуха ничего не говорила мальчику, только раз, когда он подошел к ней близко, она положила легкую, как деревянную, руку ему на голову, на русые волосы и перебирала их своими пальцами. Скоро мальчик привык ходить к старухе, и она ждала его; он замечал через окно, что если он пропускал день или два, то старуха сидела скучная, или плачущая. Мальчик научился мыть старуху, варил ей кашу в кузнечном горне и сшил на ее голую голову чепец из старых варежек Якова Саввича, чтобы она не застывала по ночам.

Раз в неделю к старухе приходила дочь, пожилая женщина, приносила ей хлеб, меняла воду в ведре и молча уходила опять. Мальчик узнал, что у старухи восемь сыновей и пять дочерей, все они большие и даже старые, есть среди них богатые и бедные, но к ней давно никто не ходит, кроме средней дочери, и она забыла лица своих детей, не помнила, кому сколько лет, и путала живых с умершими в младенчестве.

Чтобы старухе не скучно было, когда она сидит одна, мальчик поймал для нее щегла, посадил его в свою воробьиную клетку и принес ей в подарок. Вынув, как обычно, окно, он пролез внутрь комнаты. Старуха лежала на полу, навзничь, глаза ее были открыты, но не глядели. Мальчик наклонился к ней и стал складывать ей руки на грудь, заголившиеся ноги одел платьем, а веки глаз закрыл пальцами, — он видел, как обращаются с мертвыми, и знал это дело. Теперь ему не было смысла оставаться у кузнеца, раз умерла старуха, и надо скорее искать мать или отца, чтобы сразу же не заплакать от горя.

Он выпустил из клетки щегла, перелез через плетень и ушел отсюда чужими огородами, не взяв с собою ничего и не наевшись под конец.

Яков Саввич сильно заскучал по пропавшему мальчику, но найти его не старался: мало ли кто пропадает на свете. Он и сам пропал через несколько времени, когда наступила Февральская революция. Яков Саввич правильно посчитал, что революция доходнее всего, выгодней даже, чем часы вечного хода, и пошел в нее орудовать, а через полтора года его убили на гражданском фронте. Яков Саввич служил добровольцем в красной артиллерии на стороне многих безродных сирот, а другая артиллерия попала в него, но он умирал в полной мысли, сказав самому себе на прощание: «Вот я и отделался сам от себя, давно бы пора», — и сжал веки, наболевшие от зрения в течение жизни.

Тот мальчик-сирота вырос по другим местам в большого честного юношу. Он много раз затем проезжал по той дороге, где стояли когда-то уездные сады и в одном из них была деревянная кузница и глиняный дом старухи. Он никогда не узнал и не нашел точного расположения своего детского мира: кругом — стране бывших сирот — стояли высокие чистые города, шумели листья новых деревьев, блестели дороги вперед, и многие, неизвестные, красивые люди народились повсюду и ходили везде. Юноша глядел на своих встречных товарищей и улыбался им: он знал, что среди них есть много таких же, как он, круглых сирот, которые наравне с ним создают себе нужную родину на месте долгой бесприютности.

Третий сын

В областном городе умерла старуха. Ее муж, семидесятилетний рабочий на пенсии, пошел в телеграфную контору и дал в разные края и республики шесть телеграмм однообразного содержания: «Мать умерла приезжай отец».

Пожилая служащая телеграфа долго считала деньги, ошибалась в счете, писала расписки, накладывала штемпеля дрожащими руками. Старик кротко глядел на нее через деревянное окошко красными глазами и рассеянно думал что-то, желая отвлечь горе от своего сердца. Пожилая служащая, казалось ему, тоже имела разбитое сердце и навсегда смущенную душу, — может быть, она была вдовицей или по злой воле оставленной женой.

И вот теперь она медленно работает, путает деньги, теряет память и внимание; даже для обыкновенного, несложного труда человеку необходимо внутреннее счастье.

После отправления телеграмм старый отец вернулся домой; он сел на табуретку около длинного стола, у холодных ног своей покойной жены, курил, шептал грустные слова, следил за одинокой жизнью серой птицы, прыгающей по жердочкам в клетке, иногда потихоньку плакал, потом успокаивался, заводил карманные часы, поглядывал на окно, за которым менялась погода в природе, — то падали листья вместе с хлопьями сырого, усталого снега, то шел дождь, то светило позднее солнце, нетеплое, как звезда, — и старик ждал сыновей.

Первый, старший сын прилетел на аэроплане на другой же день. Остальные пять сыновей собрались в течение двух следующих суток.

Один из них, третий по старшинству, приехал вместе с дочкой, шестилетней девочкой, никогда не видавшей своего деда.

Мать ждала на столе уже четвертый день, но тело ее не пахло смертью, настолько оно было опрятным от болезни и сухого истощения; давшая сыновьям обильную, здоровую жизнь, сама старуха оставила себе экономичное, маленькое, скупое тело и долго старалась сберечь его, хотя бы в самом жалком виде, ради того, чтобы любить своих детей и гордиться ими, — пока не умерла.

Громадные мужчины — в возрасте от двадцати до сорока лет — безмолвно встали вокруг гроба на столе. Их было шесть человек, седьмым был отец, ростом меньше самого младшего своего сына и слабосильнее его. Дед держал на руках внучку, которая зажмурила глаза от страха перед мертвой, незнакомой старухой, чуть глядящей на нее из-под прикрытых век белыми неморгающими глазами.

Сыновья молча плакали редкими, задержанными слезами, искажая свои лица, чтобы без звука стерпеть печаль. Отец их уже не плакал, он отплакался один раньше всех, а теперь с тайным волнением, с неуместной радостью поглядывал на могучую полдюжину своих сыновей. Двое из них были моряками — командирами кораблей, один — московским артистом, один, у которого была дочка, — физиком, коммунистом, самый младший учился на агронома, а старший сын работал начальником цеха аэропланного завода и имел орден на груди за свое рабочее достоинство. Все шестеро и седьмой отец, бесшумно находились вокруг мертвой матери и молчаливо оплакивали ее, скрывая друг от друга свое отчаяние, свое воспоминание о детстве, о погибшем счастье любви, которое беспрерывно и безвозмездно рождалось в сердце матери и всегда — через тысячи верст — находило их, и они это постоянно, безотчетно чувствовали и были сильней от этого сознания и смелее делали успехи в жизни. Теперь мать превратилась в труп, она больше никого не могла любить и лежала, как равнодушная чужая старуха.

Каждый ее сын почувствовал себя сейчас одиноко и страшно, как будто где-то в темном поле горела лампа на подоконнике старого дома, и она освещала ночь, летающих жуков, синюю траву, рой мошек в воздухе, — весь детский мир, окружающий старый дом, оставленный теми, кто в нем родился; в том доме никогда не были затворены двери, чтобы в него могли вернуться те, кто из него вышел, но никто не возвратился назад. И теперь точно сразу погас свет в ночном окне, а действительность превратилась в воспоминание.

Умирая, старуха наказала мужу-старику, чтобы священник отслужил по ней панихиду, когда она будет лежать дома, а уж выносить и опускать в могилу можно без попа, чтобы не обидеть сыновей и чтоб они могли идти за ее гробом. Старуха не столько верила в бога, сколько хотела, чтобы муж, которого она всю жизнь любила, сильнее тосковал и печалился по ней под звуки пения молитв, при свете восковых свечей над ее посмертным лицом; она не хотела расстаться с жизнью без торжества и без памяти. Старик после приезда детей долго искал какого-либо попа, наконец, привел под вечер одного человека — тоже старичка, одетого обыкновенно, по-штатскому, розового от растительной постной пищи, с оживленными глазами, в которых блестели какие-то мелкие целевые мысли. Поп пришел с военной командирской сумкой на бедре; в ней он принес свои духовные принадлежности: ладан, тонкие свечи, книгу, епитрахиль и маленькое кадило на цепочке. Он быстро уставил и возжег свечи вокруг гроба, раздул ладан в кадиле и с ходу, без предупреждения, забормотал чтение по книге. Находившиеся в комнате сыновья поднялись на ноги; им стало неудобно и стыдно чего-то. Они неподвижно, в затылок друг другу, стояли перед гробом, опустив глаза. Перед ними поспешно, почти иронически, пел и бормотал пожилой человек, поглядывая небольшими, понимающими глазами на гвардию потомков покойной старухи. Он их отчасти побаивался, отчасти же уважал и, видимо, не прочь был вступить с ними в беседу и даже высказать энтузиазм перед строительством социализма. Но сыновья молчали, никто, даже муж старухи, не крестился, — это был караул у гроба, а не присутствие на богослужении.

Окончив скорую панихиду, поп быстро собрал свои вещи, потом загасил свечи, горевшие у гроба, и сложил все свое добро обратно в командирскую сумку. Отец сыновей дал ему в руку денег, и поп, не задерживаясь, пробрался сквозь строй шестерых мужчин, не взглянувших на него, и боязливо скрылся за дверью. В сущности же, он с удовольствием бы остался в этом доме на поминки, поговорил бы о перспективах войн и революций и надолго получил бы утешение от свидания с представителями нового мира, которым он втайне восхищался, но проникнуть в него не мог; он мечтал в одиночестве совершить когда-нибудь враз героический подвиг, чтобы прорваться в блестящее будущее, в круг новых поколений, — для этого он даже подал прошение местному аэродрому, чтобы его подняли на самую высокую высоту и оттуда сбросили вниз на парашюте без кислородной маски, — но ему не дали оттуда ответа.

Вечером отец постелил шесть постелей во второй комнате, а девочку-внучку положил на кровати рядом с собой, где сорок лет спала покойная старуха. Кровать стояла в той же большой комнате, где находился гроб, а сыновья перешли в другую. Отец постоял в дверях, пока его дети не разделись и не улеглись, а потом притворил дверь и ушел спать рядом с внучкой, всюду потушив свет. Внучка уже спала, одна на широкой кровати, укрывшись в одеяло с головой.

Старик постоял над ней в ночном сумраке; выпавший снег на улице собирал скудный рассеянный свет неба и освещал тьму в комнате через окна. Старик подошел к открытому гробу, поцеловал руки, лоб и губы жены и сказал ей: «Отдыхай теперь». Он осторожно лег рядом с внучкой и закрыл глаза, чтобы сердце его все забыло. Он задремал и вдруг снова проснулся. Из-под двери комнаты, где спали сыновья, проникал свет — там опять зажгли электричество, и оттуда раздавался смех и шумный разговор.

Девочка от шума начала ворочаться, может быть, она тоже не спала, только боялась высунуть голову из-под одеяла — от страха перед ночью и мертвой старухой.

Старший сын с увлечением, с восторгом убежденности говорил о пустотелых металлических пропеллерах, и голос его звучал сыто и мощно, чувствовались его здоровые, вовремя отремонтированные зубы и красная глубокая гортань. Братья-моряки рассказывали случаи в иностранных портах и затем хохотали, что отец покрыл их сейчас старыми одеялами, которыми они накрывались еще в детстве и отрочестве. К этим одеялам сверху и снизу были пришиты белые полоски бязи с надписями «голова», «ноги», чтобы стелить одеяло правильно и грязным, потным краем, где были ноги, не покрывать лица. Затем один моряк схватился с артистом, и они начали возиться по полу, как в детстве, когда они жили

все вместе. Младший же сын подзадоривал их, обещая принять их обоих на одну свою левую руку. Видимо, все братья любили друг друга и радовались своему свиданью. Уже много лет они не съезжались все вместе и в будущем неизвестно, когда еще съедутся. Может быть, только на похороны отца? Развозившись, два брата опрокинули стул, тогда они на минуту притихли, но, вспомнив, видимо, что мать мертвая, ничего не слышит, они продолжали свое дело. Вскоре старший сын попросил артиста, чтобы он спел что-нибудь вполголоса: он ведь знает хорошие московские песни. Но артист сказал: что ему трудно начать ни с того, ни с сего, ни под слово. «Ну, закройте меня чем-нибудь», — попросил московский артист. Ему накрыли чем-то лицо, и он запел изпод прикрытия, чтоб не было стыдно начинать. Пока он пел, младший сын что-то предпринял там, отчего другой его брат сорвался с кровати и упал на третьего, лежавшего на полу. Все засмеялись и велели младшему немедленно поднять и уложить упавшего одной левой рукой. Младший тихо ответил своим братьям, и двое из них захохотали — так громко, что девочка-внучка высунула свою голову из-под одеяла в темной комнате и позвала:

— Дедушка! А дедушка! Ты спишь?

— Нет, я не сплю, я ничего, — сказал старик и робко покашлял. Девочка не сдержалась и всхлипнула. Старик погладил ее по лицу: оно было мокрое.

— Ты что плачешь? — шепотом спросил старик.

Мне бабушку жалко, — сказала внучка. — Все живут, смеются, а она одна умерла.

Старик ничего не сказал. Он то сопел носом, то покашливал. Девочке стало страшно, она приподнялась, чтобы лучше видеть деда и знать, что он не спит. Она разглядела его лицо и спросила:

— А почему ты тоже плачешь? Я перестала. Дед погладил ей головку и шепотом ответил:

— Так… Я не плачу, у меня пот идет.

Девочка сидела на кровати около изголовья старика.

— Ты по старухе скучаешь? — говорила она. — Лучше не плачь: ты старый, скоро умрешь, тогда все равно не будешь плакать.

— Я не буду, — тихо отвечал старик.

В другой шумной комнате вдруг наступила тишина. Кто-то из сыновей перед этим что-то сказал. Там все сразу умолкли. Один сын опять что-то негромко произнес. Старик по голосу узнал третьего сына, ученого-физика, отца девочки. До сих пор не слышно было его звука: он ничего не говорил и не смеялся. Он чем-то успокоил всех своих братьев, и они перестали даже разговаривать.

Вскоре оттуда открылась дверь и вышел третий сын, одетый как днем! Он подошел к матери в гробу и наклонился над ее смутным лицом, в котором не было больше чувства ни к кому.

Стало тихо из-за поздней ночи. Никто не шел и не ехал по улице. Пять братьев не шевелились в другой комнате. Старик и его внучка следили за своим сыном и отцом, не дыша от внимания.

Третий сын вдруг выпрямился, протянул руку во тьме и схватился за край гроба, но не удержался за него, а только сволок его немного в сторону, по столу, и сам упал на пол. Голова его ударилась, как чужая, о доски пола, но сын не произнес никакого звука, — закричала только его дочь.

Пять братьев в белье выбежали к своему брату и унесли его к себе, чтобы привести в сознание и успокоить. Через несколько времени, когда третий сын опомнился, все другие сыновья уже были одеты в свою форму и одежду, хотя шел лишь второй час ночи. Они поодиночке, тайно разошлись по квартире, по двору, по всей ночи вокруг дома, где жили в детстве, и там заплакали, шепча слова и жалуясь, точно мать стояла над каждым, слышала его и горевала, что она умерла и заставила своих детей тосковать по ней; если б она могла, она бы осталась жить постоянно, чтоб никто не мучился по ней, не тратил бы на нее своего сердца и тела, которое она родила. Но мать не вытерпела жить долго.

Утром шестеро сыновей подняли гроб на плечи и понесли его закапывать, а старик взял внучку на руки и пошел им вслед; он теперь уже привык тосковать по старухе и был доволен и горд, что его также будут хоронить эти шестеро могучих людей, и не хуже.

Бессмертие

После полуночи, на подходе к станции Красный Перегон, закричал и заплакал паровоз ФД. Он пел в зимней тьме глубокой силою своего горячего живота и затем переходил на нежное, плачущее человеческое дыхание, обращаясь к кому-то безответному. Умолкнув на краткое время, ФД опять пожаловался в воздух, причем в его сигнале уже можно было разобрать человеческие слова, и тот, кто слышал их сейчас, должен почувствовать давление своей совести, потому что машина мучилась — на материнском крюке ее тендера висел беспомощный, тяжеловесный состав, а на входном светофоре был сделан красный сигнал. Механик закрыл последнюю отсечку пара — сигнал ответил устойчиво — и дал три гудка остановки. Он достал красный платок и вытер лицо, которое ночной зимний ветер все время покрывал слезами из глаз. Зрение человека начало слабеть, сердце стало чувствительным: машинист пожил на свете, поездил по земле. Он не выругался в тьму на станционных дураков, хотя ему предстояло брать с подъема в упор две тысячи тонн и бандажи паровозных колес будут выбирать своим трением огонь из замерзших рельс.

— Жалко будить Эммануила Семеновича, но придется, — прошептал механик самому себе.

Будка машины содрогалась от мелкой вибрации. Помощник форсировал топку, держа давление в котле до отказа. Клапан баланса то рычал в воздухе паром, то переставал, когда через инжектор приходилось осаживать давление.

— Но придется! — сказал машинист и взял в руку поводок сирены. Машина опять закричала, запела, заплакала в темную ночь зимы, грозя и жалуясь.

В перерывах между своими сигналами машинист слышал, как где-то в дальнем колхозе забрехали собаки, которых, вероятно, обеспокоил паровоз, а в Перегоне запели петухи станционных служащих.

Теперь в пространстве звучал целый хор голосов: паровоза, петухов и собак…

В одном пристанционном доме, в девичьей комнате, проснулась молодая женщина. Она прислушивалась к голосу знакомого паровоза: она знала все машины перегонского депо по отдельности, как людей с разным характером. Она была домашней работницей начальника станции, и транспорт касался ее интересов.

— Либо тормоза захватило! — заговорила кухарка для себя. — Либо другое сказилось что, а бис-автоматчик спит!.. Ну что ж это такое: ну не мученье, ну не разложенье это делается, — все сердце болит от гадюк!..

Она, босая, подошла к закрытой спальне Эммануила Семеновича, чтобы сказать ему о паровозе, который кричит с Перегона. Но в комнату она не вошла, она услышала, что ее хозяин уже говорит по телефону с диспетчером.

— Это ты, Мищенко?.. Чего вы четыреста третий держите на входе?..

Мищенко что-то говорил оттуда в телефон, кухарка стояла за дверью спальни начальника станции.

— Хорошо, принимайте скорее! — сказал Эммануил Семенович. — Утром я найду виноватого… Отчего я не сплю? Нет, я сплю, но мне снится, что у вас происходит… Обожди минуту! Послушай горку!..

Кухарка Галя тоже прислушалась. С другого направления, не там, где кричал поездной ФД, слышались теперь жалобные гудки второго паровоза.

— Слышишь? — спросил в телефон начальник. — Скомандуй на горку, чтоб тормоза отдали: горочный поезд не может осадить состава!

Эммануил Семенович положил трубку. Паровозы перестали кричать. Галя отошла от двери обратно к себе и легла в постель. В парке отправления нормально и негромко

посвистывал маневровый паровоз. Она слышала, как катились вагоны по морозным рельсам и затем с силою бились дисками буферов о другие вагоны.

— Кто там хулиганит на маневрах? — опять закричал в телефон хозяин из своей спальни. — Почему вагоны на башмак не принимают?.. Где транзитный состав из нулевого парка, отчего я его не слышу? Ему ведь время быть!

Он умолк; ему отвечали по обратной связи.

— Проверьте и позвоните! — сказал Эммануил Семенович. Если там будет так тихо, я все равно уснуть не могу… Что? Нет: я дремать буду. Пусть паровозы свистят, тогда я засну. До свиданья!

Галина вздохнула на своей постели:

— Ну не демоны, не чертячьи это остатки!.. Скажусь-ка я наркому про такую жизнь — напишу ему открытку: нехай негодный народ попеняет, чтобы спать хозяину в сутки давали…

Большое тело Галины болело по транспорту, потому что все люди на станции Красный Перегон, которые были ей симпатичны, тоже тратили свое сердце на железную дорогу. Сперва, когда Галина узнала такую жизнь, она решила; меня нисколько то не касается, откуда люди беду себе в душу пускают, — я пешком буду жить, а грузную тяжесть за плечами унесу, — мне что паровоз, что вагон, ничто ни к чему, — я ведь женщина — девка такая!

Однако Гале вскоре же нечем стало жить: ни для сердца, ни для симпатии, ни для думы не находилось никакого применения, поскольку она хотела существовать пешей в одиночку, а еду носить в котомке за спиною. И тогда, склонившись в силу жизни к людям, она стала разделять их участь и тревогу, а пешей жить, хоть и могла, но не хотела, не стало интереса.

Она долго еще не спала, согреваясь собственным теплом под одеялом от работы своего мощного сердца.

— Ух, ветряка-враг сейчас дует в степи по путям! — думала она. — Люди говорят, от холода рельсы пополам трескаются… Не то нынче треснут, не то нет! Пускай бы уж нет, а то погрузки не будет, Эммануил Семенович опять похудеет… Завтра надо ему сметаны купить. Чегой-то колхозники возить ее мало стали, сами лопают, зажиточные черти, ишь, морды какие в степях живут! — Галя вспомнила лица знакомых колхозников. — Обрадовались теперь, а раньше, бывало, такие личности казали: одна худоба да чуждость, — мы — селянство! Так бы и вдарила теперь каждого врозь за прежнее. Класс на класс хотели! Я тебе дам класс! Вон он класс, — Галя сделала слабое движение туловищем в сторону комнаты начальника станции, — он спит и слышит…

Сама Галя тоже была колхозница-господарка, однако сердце ее не лежало к одному лишь родному и милому колхозу; это для нее представляло мало радости — масштаб мал.

Она уснула. Телефон молчал над постелью ее хозяина; хозяин тоже спал, и тело его, привыкшее к краткому отдыху, поскорее, поспешно набиралось сил, — сердце обмерло в глубине груди, дыхание сократилось, поддерживая лишь дежурное тление жизни, каждый мускул и каждая жила в тайне потягивалась, борясь с уродством, с морщинами дневного напряжения. Но во тьме ума, обильно орошаемого кровью, светилась одна дрожащая точка, она блестела сквозь сумрак полуприкрытых веками глаз — точно горел светильник на удаленном посту, на входной стрелке главного пути из действительности, и этот кроткий огонь каждое мгновение мог превратиться в обширное сияние всего сознания и пустить сердце на полный ход.

Наутро Галина взяла котомку начальника станции и пошла на базар. Сколько раз она хотела выбросить эту ветхую, старинную котомку, неудобную, сшитую давно, в старинные года, из кусков юфти и украинского полотна; не однажды Галина латала эту сумку-котомку, и все же она была дурна. Раньше с такими котомками ходили дальние нищие, но и те перестали. Однако Эммануил Семенович любил эту котомку; он с ней прожил в мире всю свою жизнь, исходил и проездил по земле сто тысяч километров или больше, она была его единственным имуществом, в детстве, в юности и в зрелом возрасте — на родине в

Черкассах, в уссурийской тайге, под Москвою и здесь, в Перегоне. Он странствовал с этой котомкой, и она нигде не полнела от богатства, — только окружающее государство добрело от товаров, от многолюдства, от движений тучных поездов. Казалось, что из этой котомки, из рук человека, который ее носит, выходит добро, но сама котомка всегда была пустой.

Вернувшись с базара, Галина уже не застала хозяина: зато около двери закрытой квартиры она встретила составителя поездов Полуторного, который пришел к начальнику станции посоветоваться, где достать петуха для его плимутрокских кур. Галя велела ему пропасть с ее глаз.

— До свиданья, — сказал Полуторный. — Пойду сейчас в кабинет к товарищу Левину Эммануилу Семеновичу. Скажу ему, чтоб хамок у себя не держал, а то персонал оскорбляют, настроенье кадрам портят…

— Ступай, заплачь! — заговорила Галя. — Привыкли, чтоб государство — советская власть — танцевало перед вами, — я вам не она!..

— А что ж ты, раз ты не она? — спросил Полуторный. — Контр, что ль?

— Он! — согласилась Галя.

В кабинет Левина Полуторный попал не сразу, там шло диспетчерское совещание. Потом Эммануил Семенович сам вышел к Полуторному. Составитель сказал, что он не знает как быть и круглые сутки тоскует, у кур его нету подходящего, достойного петуха; куры те особые, несутся круглый год и теперь мечутся, кричат без петуха, а некоторые уж летать приучились, — высоко поднимаются в воздух, как форменные птицы, и оттуда кудахчут. Сумасшествие природы!

Левин молча глядел в лицо Полуторного: чем только не живет на свете человек, даже курами и петухами может питаться его душа, и в птичьем надворном хозяйстве его сердце находит себе утешение!

— Понимаю, — тихо сказал Левин. — Я знаю одного куровода в Изюме, он мой знакомый… Сейчас напишу тебе записку к нему — в выходной съездишь. Если у него плимутроков нет, тогда он тебе скажет, где их достать. У него есть друзья среди куриных специалистов. Я все это ему напишу…

Говоря, Левин склонился к столу и уже писал.

Полуторный ушел. Он был доволен: пускай его баба-жена займется курами, а им перестанет заниматься. Была бы одна его воля, он давно бы пожарил всех кур на закуску к наливке… Но жизнь его шла косо: приходилось одними и теми же руками сцеплять большегрузные вагоны и щупать кур, мелкую бабью тварь. Полуторный решил и об этом поговорить как-нибудь с товарищем Левиным, пока его душа окончательно не испортилась от жены и не пропала кадровая ценность. Эх, жизнь, когда ты сорганизуешься, чтоб уж не чуять тебя!

Левин попробовал бумаги на своем столе — отношения, рапорты, сведения, ведомости, на седьмом пути свалили вагон, контрольный пост все еще держит поезда… Самому нельзя сделать работу тысячи человек; его система предварительных извещений о прибывающих поездах дает пока слабую пользу. Всякая система работы лишь игра одинокого ума, если она не прогревается энергией сердца всех работников. Здесь, в Перегоне, ему тоже придется проникать внутрь каждого человека, мучить и трогать его душу, чтоб из нее выросло растение, цветущее для всех.

Левин робко улыбался. Он был один: со стыдом и нежностью он думал о своих близких людях, помощниках по работе. Ему давно стало ясно, что транспорт в сущности простое, нетрудное дело; но отчего же он требует иногда не обыкновенного, естественного труда, а страдальческого напряжения?.. Мертвый или враждебный человек — вот трудность! Поэтому нужно постоянно, непрерывно согревать другого человека своим дыханием, держать его близко, чтоб он не мертвел, чтоб он чувствовал свою необходимость и хотя бы от стыда и совести возвращал полученное извне тепло помощи и утешения в виде честной жизни и работы… Но пока далеко не у всех людей душа обращена вперед — в работу и в будущее; у многих она гнездится далеко в тылу, на домашнем дворе, где ходят куры,

хозяйствует жена, стареет утварь, изнашивается одежда и ютится ветхая нужда, от которой до костей прозябает всякий человек и тайно плачет слезами себе внутрь, в кровь своего тела.

Пришел конторщик. Он начал говорить что-то начальнику про сведения за истекшие сутки. Левин в истекшие сутки тоже жил и поэтому знал про них все. По своей привычке он больше слушал паузы речи, в которые каждый человек неощутимо, почти бессознательно борется с внезапным наступлением личных, интимных потрясающих сил и сокрушает их, думая, что они не относятся к делу.

— Хорошо, Петр Иванович, — сказал Левин. — Что еще?

— Эммануил Семенович… Разрешите мне дежурить по ночам.

— А что? — спросил Левин.

— Так, — ответил конторщик; его красивое молодое лицо слегка смутилось, но сила скромности и самолюбия возвратила ему спокойствие.

— Напомните мне об этом к концу дня, — сказал Левин. Конторщик ушел. Левин взял трубку и позвонил домой.

— Галя, ты знаешь нашего конторщика?

Она, конечно, знала его. Все, что её прямо не касалось, она знала тем более подробно.

— Сходи к нему сейчас домой, займи что-нибудь для хозяйства, попроси веник, поговори с его женой… Ступай, хохлушка, — после мне позвонишь.

Левин встал. Ему пора быть на путях. В кабинет вошел незнакомый пожилой человек в старой шинели железнодорожного кондуктора, сшитой лет двадцать тому назад.

— Здравия желаю, начальник!

— Здравствуй… Что скажешь?

— Да насчет работы пришел. Тут у вас порядок, вы человек умный, хочу теперь в ногу идти…

— В колхозе был? — спросил Левин.

— Да то где же… О, господи!

— Почему уходишь оттуда?

— Хозяева дюже умные пошли… У нас там самая тьма командует, кто раньше плетни чужие чинил, а теперь кричит — плановость, основа начала, научность, а сами все сено вчистую в палеток в гной пустили — вымокло. Мы косили его, а оно в прах пошло. По нашей местности, выходит, и солнце зря горит: оно траву воспитывает, а мы ее в гной морим!

Левин слушал, потом спросил:

— Значит, у тебя в колхозе сено преет, а ты только вздыхаешь ходишь…

— Зачем нам вздыхать, у нас душа болела…

— Болела! — сказал Левин и стал смотреть на этого человека в упор. — Зря она болела — по-дурацки, по-кулацки она у тебя болела! Ты в стороне стоял, ты ухмылялся, ты думал: а пускай все хряснет в одну ночь к чертовой матери.

— Тьма замучила, — тихо ответил посетитель.

— Но ведь ты-то все понимал! — произнес Левин. — У тебя тоже, значит, тьма в голове…

— Зачем тьма! У меня мысль!

— Мысль! Чего ж она не работала, раз сено пропало… Тьма у нас ошибка, а не закон, а если твоя мысль там ничего не сделала, то и у нас она не нужна… Ступай домой, я затворяю кабинет. Ты работать на станции не будешь…

Левин пошел в обход станции. У перрона находился пассажирский поезд. Люди ехали на север — на Харьков, Москву, Ленинград. В Москве работал нарком, жила жена начальника станции. В сумраке вагонного окна стояла незнакомая женщина. Она скучно глядела на чужой для нее вокзал, на неинтересных людей, — тоже живущих себе здесь в своих надеждах и заботах, — и желала, наверно, чтобы поезд поскорее тронулся отсюда, и она тогда бесследно забудет людей, оставшихся на станции, даже названия этого места потом не вспомнит никогда и не задумается над теми, кто живет в дальних дымящих

избушках, которые видны с идущего поезда на степном горизонте.

Начальник станции скромно улыбнулся своей нечаянной мысли. Он подумал, что эта женщина — дура, если так размышляет, но тут же возразил себе: значит, нужно, чтобы она сошла с поезда и осталась работать в Перегоне.

— Да! — резко вслух сказал Левин и засмеялся.

Он вспомнил другую женщину, молодую, одаренную талантом жить чужим чувством, прекрасную, несчастную артистку. Она исчезла где-то без славы, без имени, нищая, гордая и кроткая, никогда не подумав больше о нем, не умея, наверно, чувствовать то, что находится далеко, что давно бесполезно для ее быстро живущего, впечатлительного сердца. Она права, судьба не обратима, и у начальника станции есть уже вторая, любимая жена, есть девочка-дочь, с которой он выйдет под руку в свет, в счастье, в настоящую жизнь, когда дочь вырастет в девушку.

Левин рассеянно остановился; потом он пошел обратно к пассажирскому поезду. Женщина, смотревшая в окно из вагона, теперь вышла наружу. Она стояла около тамбура в синем костюме, покрывши голову кашемировой южной шалью. Глаза ее удивленно, а не равнодушно разглядывали незнакомую станцию, служащих, весь местный странный мир. Ей было лет двадцать; свежее сосредоточенное лицо ее смотрело напряженно, одинаково готовое и к улыбке и к печали. Проходя мимо нее, начальник станции поднес руку к козырьку фуражки, и женщина слегка поклонилась ему в ответ.

Одинокий человек, Левин редко видел в лицо тех дальних людей, для которых он работал. «Такой скоро будет моя дочь, — решил Левин про себя, — даже лучше, счастливей… А начальники станций будут не такие, как я: они будут спать по ночам, ездить в отпуск в путешествия, жить в семействе с женою среди родных детей».

На путях Левина догнала Галя.

— Эммануил Семенович. У конторщика жена на шпалозаводе работает, а ребенок за дверью кричит, а дверь замком закрыта… Ведь это что за жизнь: ну прямо — ничто!..

— За какой дверью? — спросил Левин.

— А в комнате ж, в ихней же хатке… Дитя одно целый день живет, отец же с матерью на работе! Как же так можно, Эммануил Семенович! Их пора организувать!..

— Ступай, возьми у конторщика ключ от его хатки, — сказал Левин, — посиди с ребенком, пока отец с работы не придет. Сейчас его некем сменить…

— А обед кто вам сготовит? А кушать чего будете? — воскликнула Галя.

— Не буду кушать, — ответил начальник. — Буду жить натощак…

Галя уперлась руками в бока и подивилась:

— Моя мати!.. Он кушать не будет! На Украине чтоб не ели! А дирекция увидит, а товарищ Левченко опять приедет, а с Москвы кто покажется, да как узнают, да как скажут, — а где твоя кухарка-гадюка, отчего ты постный такой, — а ну пускай кухарка за то дело в лес поедет, десять лет на тыщу человек борщ варить!.. Так добрее же будет взять того мальца в одеяло с собой на квартиру, обед сготовить и с ним поцацкаться…

Левин ушел в парк формирования поездов, затем на горку и на контрольный пост. Ночью замазали, выбили из графика четыре поезда. На маневрах не сокращаются мелкие аварии и несчастные случаи с людьми. Но Левин понимал, что маленькие происшествия — это большие катастрофы, лишь случайно умершие в младенчестве.

Начальник обосновался в будке стрелочника и вызвал к себе ночного командира по отправлению, который еще бродил по путям, не уходя почему-то домой.

— Товарищ Пирогов, — произнес Левин. — Раньше ты говорил — тебе негде жить. Мы тебе дали квартиру. Ты утомился — я тебе наладил путевку на курорт. Тебе не хватало зарплаты — мы тебе добавили, стали выплачивать премии, компенсации… Дома ты скучаешь, пьешь водку, на дежурстве смазываешь поезда, вагоны у тебя режут стрелки… что с тобой, товарищ Пирогов? У тебя горе тайное есть?

— Нет никакого горя, начальник…

— Больше у меня нет добра для тебя, я тоже бедный человек, может — беднее,

несчастнее тебя! — воскликнул Левин, упустив на мгновение свою волю. — Я сам буду дежурить за тебя сегодня в ночь: ты не приходи, ты опомнись, отдохни, а завтра сходишь в партком. Я попрошу, чтоб у тебя отобрали партийный билет…

Пирогов стоял молча перед Левиным, опухший от ночного ветра, печальный, смутный человек.

— Ступай домой, — сказал Левин.

Пирогов не уходил.

— Калечьте уж до конца, начальник.

Он отвернулся, слезы нечаянно, сами по себе побежали по его лицу теплыми ручьями. Пирогов их не ожидал, он сразу вышел наружу и пошел против ветра, чтоб воздух высушил ему лицо вместо матери.

В будку пришли составители и сцепщики; Левин сказал им, чтоб они говорили только о мелких подробностях работы, главную беду он знает сам.

Составитель Захарченко стал доказывать, что аварии — ерундовое дело, их быть никогда не может.

— А когда у тебя хоппер сошел на стрелке, отчего это было? — спросил Левин.

— У меня был понос от обиды, товарищ начальник, — сказал Захарченко. — Меня рвать вчерашней едой начало от совести…

Но отчего сошел хоппер, он не знал.

— От жадности у тебя сошел хоппер, — объяснил за него Левин. — Ты дремлешь на работе; опоздал посигналить на пост — и стрелку тебе перевели под самым вагоном…

Ты жаден, Захарченко! Ты живешь за десять километров отсюда, и дома с женой горшки делаешь на продажу. Сменишься, приедешь, сразу садишься за гончарный круг. Поспишь потом немного, опять за горшки садишься и кроешь до самого нового дежурства, потом сюда едешь… Сюда ты приезжаешь уже усталый, почти больной, тебе спать надо, а ты за поезда берешься… Сколько ты с женой выгоняешь рублей из горшков?

— Да рублей шестьсот, более никак не выходит, — кротко ответил Захарченко.

— Врешь, больше зарабатываешь, — сказал Левин. — Но это мало на двоих. Я тебя научу, как можно зарабатывать больше: горшки нам нужны, горшков не хватает на Украине. Ты зайди ко мне после смены, я тебе составлю график: когда тебе спать нужно, когда горшки тачать, когда сюда ехать. Ты будешь приезжать к нам свежим, и происшествий у тебя не станет, а горшков успеешь сделать больше. Понял?

— Да давно бы так пора, Эммануил Семенович, — согласился Захарченко. — Горшок тоже серьезная вещь…

— Как жена твоя, — ты ведь женился недавно, — угождает твоему старику?

— Да она ничего, она умильная… Может, потом застервеет…

— Не застервеет: воспитаем, отрегулируем. Ты ее сам не испорть…

— Я ничего, я с ней живу осторожно, товарищ начальник…

— Гляди! — сказал Левин. — Живи хоть дома без аварий, раз здесь не можешь работать хорошо.

Захарченко вышел из будки в совести и в расстройстве. Он подошел к стрелочному сигналу, сел на тяговую штангу и увидел в стекле фонаря отражение своего лица. «Эх ты, жлоб московский, жадный черт! — сказал он в стекло. — Блинцы только любишь глотать… Вагон раз повредил, теперь и родной бабы тебе не доверяют. А все горшки, дьяволы глиняные…»

Через час Левин был на горке и принимал участие в расформировании с центрального поста прибывших составов. Он записал себе в книжку, что не ладило в техническом оборудовании. Каждый день проявлялись какие-либо неполадки, — то замедлители пасовали иногда, то башмаки срабатывались, то в централизации что-нибудь болело. Может быть, это глаз заострялся и видел теперь невидимое раньше, а может быть, технику нельзя было ни на минуту отнимать от груди и внимания человека. На всякий случай Левин полностью не верил ни технике, ни людям, инстинктивно любя то и другое.

На обратном пути в контору Левина догнал Полуторный.

— Эммануил Семенович, хочу вам слово сказать.

— Давай, товарищ Полуторный.

— Жена мне давеча ватрушку на пост приносила, хочет французский язык учить, — учитель в Перегоне явился…

— Пускай учится, — сказал Левин.

— Нельзя, Эммануил Семенович, это ведь блажь организуется тогда! Плимутроков уже теперь ей не надо, петуха тоже долой… Хочу, говорит, один французский язык, это культурность! А до плимутроков она наборному делу училась, но бросила, вредно, говорит, и цвет лица портится от свинца. Потом, стало быть, шофером хотела быть, агрономию учила, цветы воспитывала, из ружья в точку стреляла, детей чужих в саду за ручки водила — и все ни к чему. А потом за куроводство взялась, а сейчас на французский перешла…

— Тебя она часто ругает? — спросил Левин.

— Сквозь… Как только заметит, что человек — я, стало быть, — явился, так и пошла: гыр-гыр-гыр-гыр, гыр-гыр-гыр-гыр…

Левин остановился около столба и, прислонив к нему блокнот, написал записку…

— Знаешь, где редакция «Транспортника»? Отдашь эту записку товарищу Левартовскому, редактору. Он позовет твою жену на работу, — я ему позвоню, в чем дело. Пока они так ее потерпят — без французского, а потом заставят учить в обязательном порядке, как журналистку… Она в игрушки у тебя играет, нехай займется настоящей службой, а французский язык сначала на приманку пойдет, а потом уже всерьез. Сперва пусть хоть воду в графины наливает.

Полуторный стоял в счастливом удивлении.

— Ну, Эммануил Семенович, ты целый центнер с меня снял…

— Какой центнер?

— А женщина моя! — жена, которая журналисткой будет! Она ровно центнер до обеда весит — мещанка такая!.. Ну теперь я вдарю по труду, Эммануил Семенович! Теперь вручную вагоны буду катать, раз баба мне сердце не травит!

Время проходит, больше половины жизни прожито… Все лучшие, зрелые годы после окончания института Э. С. Левин прожил одиноким.

Дружил он наиболее прочно и постоянно, в сущности, только с железнодорожным пролетариатом — дружил посредством личного знакомства, взаимной помощи в работе и симпатии. Без личной связи с людьми Левин не понимал отношения к рабочему классу: чувство не может быть теоретическим. Но чувство приобретает силу и смысл лишь в общем действии друзей и товарищей, в бедствии и счастье трудного труда.

Левин вернулся с работы домой. Тьма слабела на небе. Человек, не сняв шинели, стал у окна в своей комнате и прислушался к шуму удаляющихся тяжелых поездов, убегающих в рассвет. Сегодня Левин сам расшил ночной график, выбросил все поезда со станции, принял на сортировку прибытие и приготовил под отправление на утро новые составы.

Последний маршрут утихал вдали; лишь слышно было, как паровоз во весь клапан, на большом форсе, брал подъем. Левин открыл форточку, чтоб дольше, яснее слышать работу поезда. Не в пирушках с друзьями, не в полуночных спорах и даже не в тепле домашнего благоустроенного счастья находил он удовлетворение и наслаждение. Он мог уснуть за беседой об истине жизни и мгновенно проснуться от тревожного гудка паровоза. Он отводил от себя руки жены и друзей, чтобы уйти в полночь на станцию, если чувствовал там горе и беспокойство. В вагонах лежали товары — плоть, душа и труд миллионов людей, живущих за горизонтом. Он чувствовал их больше, чем верность друзей, чем любовь к женщине. Любовь должна быть первой службой и помощью для его заботы о всех незнакомых, но близких людях, живущих за дальними концами рельсовых путей из Перегона. Он любил и воображал всех удаленных, откуда прибывают и куда уходят тяжкие поезда. Наслаждение же одним любимым существом само по себе ничто, если оно не служит делу ощущения и понимания тех многих существ, которые скрыты за этим единственным человеком… Спать

уже поздно было… Левин сам погладил и поласкал руками свое тело, зашедшееся от усталости. Но в нем еще много томилось цельной, чистой силы, — и странно было желание скорее растратить эту силу, истомить себя в труде и заботе, чтобы уже другое, незнакомое, лучшее, счастливое сердце воспользовалось результатом расточенной, беспощадной к себе жизни, а сам Левин, казалось ему, не смог бы никогда жить полноценно. Он себя считал временным, проходящим существом, которое быстро минует в историческом времени, — и больше не будет таких встревоженных, неинтересных, озадаченных вагонами и паровозами людей, и, может быть, — хорошо, что их не будет.

Левин с тоскою стал гладить дерево на поверхности стола; ему захотелось разбудить Галю и поговорить с ней, как с сестрой, может быть, пожаловаться ей или кому-нибудь еще, любому человеку, если б явился человек.

Но Левин молчал всю жизнь, когда ему было больно, и первая боль до сих пор не прошла. Может быть, именно тогда — в детстве — его душа была потрясена настолько, что начала разрушаться и заранее почувствовала свою далекую смерть. Он всегда мог представить себе с точностью тот детский, все же милый день прекрасной, бедной жизни.

Он сидел в школе рядом с русским мальчиком Володей. Вошел отец Давид, начался урок по закону божьему. Священник спросил Володю; мальчик неловко встал за партой и нечаянно небрежно оперся на нее. Отец Давид посмотрел молча на Володю, потом сказал: «Посидел вот рядом с жидом, а теперь держать себя не умеешь… Надо вас рассадить». Весь класс, все ученики молча посмотрели на маленького Эммануила, и Эммануил заметил улыбку, удовлетворение, удовольствие на лицах своих товарищей. Эммануил робко приоткрыл рот, чтоб свободнее было дышать от муки и сердцебиения, и весь урок глядел в парту, где чей-то ножик вырезал два слова: «хочу домой». Сам отец Давид был крещеный еврей.

Левин ушел обратно на станцию; иногда ему не хотелось быть одному. От вокзала к нему навстречу бежал без шапки сторож и уже издали открывал рот, чтобы кричать что-то начальнику станции. Левин побежал ему навстречу.

— Скорей, Эммануил Семенович, вас там буква Ц из Москвы по телефону спрашивает. Вся контора испугалась… Транзитный на север задержали, — дежурный думает, может, понадобится что везти…

— Скажи, чтоб сейчас же выбросили поезд! — закричал Левин. — Кто задержал отправление?

— Товарищ Едвак, — ответил сторож. — Кто ж, как не он!

В аппаратной комнате присутствовало уже человек двадцать, которым не было терпенья от интереса. Левин велел уйти всем, закрыл дверь и взял трубку.

— Я ДС Красный Перегон. Слушаю.

— Здравствуйте, товарищ Левин. Вы почему так скоро подошли к аппарату? Когда вы успели одеться? Вы что — не спали?

— Нет, товарищ нарком, я только пошел спать.

— Пошли только! Люди ложатся спать вечером, а не утром… Слушайте, Эммануил Семенович, если вы искалечите себя в Перегоне, я взыщу, как за порчу тысячи паровозов. Я проверю, когда вы спите, но не делайте из меня вашу няньку…

Далекий, густой и добрый голос умолк на время. Левин стоял безмолвный; он давно любил своего московского собеседника, но никогда никаким образом не мог высказать ему свое чувство непосредственно: все способы были бестактны и неделикатны.

— В Москве сейчас тоже, наверно, ночь, товарищ нарком, — тихо произнес Левин. — Там тоже не с утра люди спать ложатся.

Нарком понял и засмеялся.

— Выдумали что-нибудь нового, товарищ Левин?

— Здесь людей заново приходится выдумывать, товарищ нарком…

— Самое трудное, самое нужное, — говорил дальний, ясный голос; слышен был тонкий, стонущий гул электрического усиления, напоминая обоим собеседникам о долгом

пространстве, о ветре, морозах и метелях, об их общей заботе.

Левин сообщал, как работает станция. Нарком спросил, чем ему надо помочь.

— Вы уже помогли мне, товарищ нарком… Я теперь передумаю сам себя заново.

Пауза. Опять стала слышна работа усиления: печальный скулящий звук электромагнитного возбуждения, преодолевающего огромную шаровую выпуклость земли. Оба человека молча слушали это мучение энергии, дрожащей сквозь расстояние.

— Меня зима тревожит, товарищ Левин, — медленно сказал нарком. — Она еще долго будет идти…

Левин вздрогнул. Интонация раздумья, человечности, тревога истинной героической души была в этих словах, сказанных точно про себя.

Левин выждал время и ответил:

— Ничего, товарищ нарком… Мы будем работать, зима пройдет. Молчание. Левин хотел еще многое сказать, но волнение изменило ему голос, он боролся с тайным стыдом взрослого, счастливого человека.

— Не утешайте, Левин, самого себя, — произнес нарком. — Зиму надо пережить, вырасти за нее, а не привыкать к мысли, что она, мол, пройдет. Человек не должен привыкать даже к самому себе, иначе он помирится со всем миром, а он еще плох. Пишите мне письма или вызывайте по аппарату. Ложитесь спать, будьте здоровы!

Левин отошел от аппарата и попробовал свои ребра под шинелью. Он пожалел, что в его теле не так много добра, чтоб можно было прожить еще новый век без сна.

Один помощник Левина имел лицо заклятого врага турецкого султана. Это был Ефим Едвак, редкий человек на свете. Он сделать мог все, но без крайней нужды не предпринимал ничего. Лишь непосредственная угроза смерти заставляла его совершать жизнь и движение. Главным всеобщим злом Едвак считал простое обстоятельство: люди работают сегодня то, что полагается делать не ранее завтрашнего дня. Отсюда все и пошло крутиться и мучиться. Поэтому сам Едвак начинал творить всякое дело лишь в последнюю минуту, но делал его хорошо и кончал вовремя. Левин давал ему часто тяжелые поручения с кратким сроком. Но Едваку достаточно было только понять, и тогда он сделает любое мероприятие, сам же он не придумывал и не мудрил ничего. В свободное домашнее время Едвак играл на балалайке, пил настойку, звал девиц и плясал с ними, пока не приходил от веселья в отчаяние. Человек большого, но неподвижного ума, он жил, как старинный бурлак, мог работать, как артист, мог до гроба ничего не делать. Женщины, сколько их ни было, долго его не терпели. Наверно, у Едвака душа была такой просторной емкости, что там ни одна женщина не сумела построить семейного гнезда, чувствуя себя как воробей в пустой цистерне.

— Бушуешь? — спросил однажды Левин у Едвака.

— Живу, — ответил Едвак.

Раньше Едвак работал на большом харьковском заводе. Левин хотел с ним посоветоваться: нельзя ли позаимствовать что-либо от заводов для улучшения работы станции. Ведь заводы давно уже пользуются опытом работы железных дорог. Например, конвейер, диспетчерская связь, сигнализация.

— Можно, — сказал Едвак, — только ни к чему. У нас командиры привыкли скопом, народом брать. Где одного нужно, они троих держат. У нас привыкли не думать, а терпеть…

— А разве ты думаешь? Ты тоже на работе молчишь, а дома пляшешь…

— Я думать не берусь, я не тот человек, а пляшу я от горя, от безобразия на этом пункте своей жизни — в Красном, бордовом Перегоне!..

Лицо Едвака покрылось бурым цветом от внезапно возбудившегося сознания: давно он так ничего не сознавал; даже усы его затвердели и приподнялись, будто построенные из рыбьих костей.

— Нарком сказал, что привычка нас губит. Человек должен уметь отвыкать и жить заново…

— Слыхал, — сказал Едвак. — Он нарком, а я нет.

— Ты нет, — произнес Левин. — Ты вчера два поезда задержал на десять минут, два

вагона перекидывал — пять сцепщиков нагнал. Тебе бы надо моим дедом быть: тот три телеги нанимал, когда нужна была одна. Первая не приедет, у второй шкворень согнется, а уж третья как-нибудь явится…

Едвак осовел от обиды.

— Ты мне, начальник, давай потяжельше дела, по слабым я слаб… Перекидка — пустая вещь, там дежурный был, а я этюд другого порядка.

— Значит, вы двое там командовали — людям работать мешали!..

Левин поручил Едваку обдумать, как перевести некоторые работы станции на заводской способ. Едвак, не собиравшийся думать вовек, задумался тут же. Он привлек все свои воспоминания о заводах, о гаражах, о колхозах, даже о женщинах и целиком озадачился проблемой. Левин остался доволен. Бурлачество, дикость, проживание впустую своего ума и сердца — это лишь общественный форс и искаженная маска талантливой и гордой, когда-то обиженной натуры. Втайне Едвак серьезный человек, и ему достаточно будет дать дело по плечу и по самолюбию, чтобы он выздоровел.

Вечером Левин лежал дома, уткнувшись головой в подушку, но одетый. Иногда у него сильно болела голова, сердце билось больно и близко, словно о кости скелета. Однако это состояние скоро проходило, нужно лишь молча перетерпеть его. Ночью, отдохнув немного, Левин опять ушел на станцию. Ничего опасного там сейчас не было, но Левину дома стало скучно; он верил, что преходящему, временному человеку жить самому с собой нечем. Настоящие, будущие люди, может быть, уже родились, но он к ним себя не относил. Ему нужно было круглые сутки отвлекаться от себя, чтобы понять других; ущемлять и приспосабливать свою душу ради приближения к другой, всегда завороженной, закутанной человеческой душе, чтобы изнутри настроить ее на простой труд движения вагонов. Чтобы слышать все голоса, нужно самому почти онеметь.

Левин, согнувшись, шел по путям в дальний парк прибытия. «Нельзя ли систему предварительной информации начинать в месте формирования поездов?» — подумал он и улыбнулся. Как странно, он привык страстно размышлять лишь о своей работе. Какой он скучный человек! Разве может с ним интересно жить какой-нибудь другой человек? Едва ли!.. Сколько еще осталось жизни? Ну, лет двадцать, нет — меньше, надо прожить скорее; ведь неудобно будет в светлом мире, в блестящем обществе существовать такой архаической фигуре: оборот вагона, снижение нормы простоя, коммерческая скорость, график…

— Нет! — вслух засмеялся одинокий начальник станции. — Таких чертей там не будет: вымрут! Или останутся где-нибудь на пенсии сидеть на завалинке и будут рассказывать, как слепые деды…

Левин вспомнил детей, когда они слушают слепого старика. Они не понимают его слов и не придают им значения. Они смотрят на его глаза, на ветхое лицо, их интересует лишь, что он старый, слепой, а не умирает: они бы на его месте умерли.

В полночь начальник вернулся домой. Галя уже спала. «Надо ее подучить и отправить работать на горку, — решил Левин. — Что ее держать, зачем тратить ее жизнь на услуги для одного человека? Безобразная вещь!»

Он лег в постель, стараясь скорее крепко уснуть, — не для наслаждения покоем, а для завтрашнего дня. Он долго еще слышал работу парков прибытия и отправления, нулевой парк, транзит, горку, маневры… Сигналы паровозов были нормальны, на выхода выбрасывались поезда, поездные вагоны пели на удаление. Левин забывался, свет его покрасневших от бессонницы глаз угасал во внутренней тьме беспамятства.

Через час зазвонил телефон.

— Собаки! — проснувшись в своей комнате, сказала Галя.

Левин открыл налившиеся кровью глаза. Шинель и вся одежда висела у него на спинке кровати. На всякий случай он сразу взялся рукой за шинель, чтобы надеть ее прямо на белье, если понадобится, и проверил взглядом, где стоят сапоги.

— Я! — сказал он в трубку.

— Ничего, начальник, это я — Едвак. Из Москвы спрашивали по селектору: как ваше

здоровье, спите вы или нет. Как будто вы великий, бессмертный человек!.. Я сказал, — Левин спит спозаранку: чтоб они больше не шумели из Москвы.

— Ты же меня разбудил теперь!

— Неважно: крепче заснешь, — сказал Едвак.

Левин посидел немного на кровати, потом оделся и ушел на станцию. Ему пришло соображение относительно увеличения нормы нагрузки вагона, и он хотел сейчас поговорить с вагонниками. Запас прочности в осевой шейке достаточно велик, можно добавить нагрузку.

1936

Среди животных и растений

Во мгле утренней природы по мелкорастущему лесу шел человек с охотничьим ружьем. Охотник был немного рябой в лице, но все же красивый и еще молодой. В это время года в лесу стоял туманный дух от теплоты и сырости воздуха, от дыхания развивающихся растений, от тления погибших давних листьев. Видно было плохо, но идти одному и что-нибудь незначительно думать или, наоборот, забыться и поникнуть — было хорошо. Лес рос по склону невысокой горы; меж худых, маленьких берез часто лежали большие камни, почва была малоплодородна и бедна — то глина, то сырая земля, — но деревья и трава давно жили в этой земле, притерпевшись к ее бедности.

Охотник иногда останавливался, и тогда он слышал топкий, разноречивый гул жизни мошек, мелких птиц, червей, муравьев и шорох земли, которую мучило и шевелило это население, чтобы питаться и действовать. Лес походил на многолюдный город, в котором охотник еще ни разу не был, но зато давно его воображал. Лишь однажды он проезжал Петрозаводск, и то мимо… Вопли, писк и слабое бормотание наполняли лес, может быть, означая блаженство и удовлетворение, может быть, гибель; влажные листья березы светились в тумане внутренним, зеленым светом своей жизни, незаметные насекомые колебали их в тишине преющего земляного пара. Какое-то далекое, небольшое животное кротко заскулило в своем укрытии; должно быть, оно дрожало там от испуга собственного существования, не смея предаться радости своего сердца перед прелестью мира, боясь воспользоваться редким и кратким случаем нечаянной жизни, потому что его могут обнаружить и съесть безмолвные хищники. Свисток паровоза, тонкий, далекий, разрываемый ветром движения, раздался в лесах и в тумане, как жалобный голос бегущего измученного человека. «„Полярная стрела“! — произнес охотник. — Она далеко бежит — там в вагонах музыка играет, там умные люди едут, они розовую воду пьют из бутылки и разговор разговаривают».

Охотнику стало скучно в лесу; он сел около пня и поставил ружье к дереву как ненужное. Ему обидно было, что он не знает науки, не ездит в поездах с электричеством, не видел Москвы и только раз нюхал духи из флакона у жены начальника десятого разъезда. Ему лишь приходится бродить в туманном лесу — среди насекомых, растений и некультурности, когда там мчатся вдаль роскошные поезда. «Хоть зверь, хоть птица — кто явится, того и убью!» — порешил охотник. Но вокруг него по-прежнему шумели и жужжали одни мелкие, тщедушные существа, негодные для боя. Под охотником ползали усердные, обремененные хозяйственными тяжестями муравьи, как маленькие добропорядочные люди: гнусная тварь с кулацким характером — всю жизнь они тащат добро в свое царство, эксплуатируют всех мелких и крупных одиноких животных, с какими только сладят, не знают всемирного интереса и живут ради своего жадного, сосредоточенного благополучия. Сейчас, например, муравьи растаскивали тело старого скончавшегося червя; мало того, что они тлю доят и молоко пьют, они и чужую говядину любят. Однажды охотнику пришлось видеть, как два муравья волокли от железной дороги железную стружку. Им и железо, оказывается, нужно. Они весь мир собирают себе по крошке, чтобы получилась одна куча. Охотник потоптал ближайших муравьев и ушел с этого места, чтобы не расстраивать больше

своего сердца. Он был похож на своего отца — тот на охоте тоже всегда сердился, воевал со зверями и птицами, как с лютыми врагами, тратил злобу сердца в лесу без остатка, а домой возвращался добрым, чувствительным, семейным человеком. Другие люди на охоте, наоборот, ходили по траве с нежной душою, били зверя с любовью и с дрожащим наслаждением ласкали рукою цветы и деревья, а дома, среди людей, жили с раздражением, тоскуя опять по природе, где они чувствовали себя начальниками благодаря ружью.

— Охота — либо глупость, либо бедность, Сергей Семенович, — говорил ему отец (после исполнения сыну восемнадцати лет отец его начал называть по имени и отчеству). — Ты видал: сидит человек один с удочкой на озере, нанижет червяка и обманывает безумное животное в воде: стервец! А другой взял ружье и пошел в чащу: никто, дескать, мне не нужен, живите себе без меня, а я один прокормлюсь, я один сам собой доволен… Ему собака — друг, а не мы с тобой…

Когда Сергей Семенович был мальчиком, отец ему показывал лица убитых зайцев и птиц — они были кроткие, и иногда даже умные, и есть их не хотелось, но потом приходилось.

Отец ел добытых животных и птиц экономно, разумно, приучая к тому же детей, чтобы погибший дар природы превращался в человеке в пользу, а не пропадал напрасно. Он советовал приобретать из мяса и костей убитых не одну лишь сытость, но и хорошую душу, силу сердца и размышления. Если же не можешь брать из птицы или зверя его лучшее добро, а хочешь только напитаться, тогда ешь одну траву во щах или хлебную тюрю. Отец считал, что зверь и птица — дорогие души на свете, и любовь к ним — это экономическое дело.

Сергей Семенович поднял ружье. Что-то пошевелилось в небольшой, ближней траве. Он прошел туда немного. Там оказался маленький заяц, еще детеныш; он сидел почти по-человечески и быстро жевал травинку, помогая себе передними лапками, потом он утерся теми же лапками и стал часто дышать чистым, здоровым воздухом; он утомился, добывая себе пропитание с малолетства: родители его, должно быть, погибли, и он живет один сиротой. Охотника заяц не замечал или не понимал его значения. Оправившись, заяц скакнул и исчез. Сергей Семенович не убил его: он слишком мал и почти бесполезен для пищи, и жалко его, потому что он еще ребенок, а уже труженик. Пускай подышит.

Вскоре Сергей Семенович вышел на поляну. Тот же мелкий, пухлый заяц-младенец рылся там лапками в земле, добывая себе какие-то корешки или оброненный прошлогодний капустный лист. Он занимался заботой о своей жизни неутомимо, потому что ему надо было расти и есть хотелось беспрерывно. Поев то, что нашлось на земле, заяц начал играть со своим хвостиком, тремя лапками с четвертой, затем с остатком мертвой древесной коры, с кусочками своих отходов и даже с пустым воздухом, ловя его передними ножками. Отыскав водяную лужу, заяц напился, осмотрелся вокруг влажными нежными глазами, потом лег в ямку, свернулся в теплоту собственного тела и задремал. Он уже перепробовал все наслаждения жизни: ел, пил, дышал, осмотрел местность, почувствовал удовольствие, поиграл и уснул.

Сергей Семенович вспомнил, как он в детстве с удивлением и осторожностью рассматривал спящих собак, кошек и кур. Они жевали ртом, произносили блаженные звуки, иногда приоткрывали ослепшие от беспамятства глаза и снова закрывали их, шевелились, кутались в тепло своего тела и стонали от сладости и покоя своего существования во сне.

Охотник подошел к маленькому зайцу, поднял его и положил себе за пазуху; заяц пискнул и не проснулся, он лишь еще больше свернулся и пригрелся к телу человека, хотя сам был парной и горячий.

На Лобской Горе, как созвездие бедных звезд, стояла деревня в четыре избушки. Одна изба топилась, из нее шел дым в воздух, а на крыше другой избы сидел человек, размером в половину самой избы, и смотрел оттуда на Онежское озеро, в далекое место. Человек на крыше был в больших годах, но бритый, с оскобленным тщательным лицом, как зажиточный или ученый. Он совмещал свое колхозное положение со службой в Академии наук в качестве гидрометеорологического пункта — для измерения воды и бури. Сейчас он глядел на озеро,

наблюдая там ветер либо какие-то другие признаки и события, важные для науки. Сергей Семенович тоже хотел бы иметь такую должность, но там бриться надо, писать и разговаривать, а это он плохо умел делать и стеснялся.

В той деревне избы были маленькие, небогатые и некрашеные, но зато в них уютно бывает жить, и поэтому они кажутся достаточными, даже обширными, хотя жилища небольшие. Охотник пошел в самую худую, не имеющую вида избу. Деревянная крыша той избы сопрела и поросла ветхим мхом, нижние венцы погреблись в землю, точно возвращаясь обратно в глубину своего родного места, — и оттуда, из самого нижнего тела избушки, росли уже две новые слабые ветви, которые будут могучими дубами и съедят когда-нибудь в своих корнях прах этого изжитого, истраченного ветром, дождями и человеческим родом жилища. Избушка стояла на своем пустом дворе, который был огорожен кольями, камнями с берега Онеги, сложенными внаброску, ржавыми листами кровельного железа, принесенными сюда, наверно, бурей из дальнего города, и прочим дешевым или случайным материалом. Но эта огорожа уже не держалась — камни разваливались, колья накренились, издавна изморившись и сотлев в почве. Изба и огорожа были похожи на вдовье сиротское подворье, однако там жило большое, здоровое семейство — нерадивое, должно быть, либо несогласное меж собой. Но это неверно: старший человек на дворе Семен Кириллович — отец Сергея Семеновича — работал на лесопильном заводе и надеялся вскоре построиться заново, а старую избушку оставить на съедение под корень молодого дуба. Старик держал расчет на лучший век жизни, а прожитое время решил пожалеть и забыть.

Дома сидело в сборе все семейство. Отец налаживал в действие радио, которое он якобы получил в премию месяц приблизительно тому назад. На самом же деле он взял одноламповый радиоприемник на выплату через завком, а дома ради жены сказал, что радио дали ему в премию; хотя старик был сторожем на заводе, но он тоже хотел почета в семействе и мечтал о всенародной знатности. Однако его старуха скоро узнала всю правду, за какую честь получено радио, — разве что скроешь от старой, опытной жены.

Сергей Семенович положил зайчонка под печку и взял па руки свою десятимесячную девочку-дочку; она уже могла становиться на ножки и училась самостоятельно передвигаться; лет через шестнадцать-восемнадцать она сама будет невестой и тоже детей примется рожать, а пока пусть сейчас растет и отдыхает на родительских руках.

— Что ж одного зайца-то принес? — сказала молодая жена Сергея Семеновича. — У тебя семейство есть: надо думать ходить. Там теперь белочки есть, рябчики, тетерева живут, а ты зайчонка на игрушки принес. Пистоны только тратишь, лучше б обновку в дом купил…

Сергей Семенович приуныл в этих домашних условиях. Он воображал себе дальние курьерские поезда, свет электричества за шторами вагонных окон, радостную музыку, играющую внутри поезда, которую он слышал иногда, нажимая на противовес стрелки. Там была наука, слава, высшее образование, метрополитен, а здесь лес, животные, семейство, обычная вещь, но нужно пока терпеть и не ссориться.

— Бабы спокон веку зажиточность любят, — сказал отец Сергея Семеновича, — чтобы всего было много: и белок, и рябчиков, и материя в сундуке, — их дело такое: и детей и добро при себе держать…

И старик сразу пустил радио, чтобы слышать весь прочий посторонний мир, где происходит, как он говорил, всемирная история. Вначале старый человек мало доверял радиоаппарату: едва ли он научный, — думал старик, — разве можно за тысячу верст передавать пустяк в виде звука, наука не может заниматься такой шуткой, наука — дело важное, а радио — это случайность, и, кроме того, радио не могло писать, оно не оставляло документов, поэтому не было достоверности, что картонная трубка говорит правильно. Однако не так давно этот старый человек лично съездил в Петрозаводск и там подал прошение, чтобы его допустили сказать по радио несколько звуков; его действительно допустили, а он заранее велел своей старухе неотлучно слушать его каждый вечер, когда говорят всякие сведения и новости. И старик сказал старухе из Петрозаводска: «Это я, Семен Кириллович Пучков, житель деревни Лобская Гора, старик-человек, чтоб ты не думала, что

это не я, — это я, радио — это правда, сейчас я тебе покашляю — ты сразу меня узнаешь (здесь Семен Кириллович действительно покашлял раза три), — слышишь? Помнишь, когда я на тебе женился, ты вдовой тогда была, а я батраком у кулака, теперь он классовый враг, — ну кто ж тебе это говорит, как не я, — стало быть, я!..» Но в Лобской Горе Семена Кирилловича услыхать в тот день не могли: радио испортилось, в нем что-то засохло или лопнуло. Старуха его, правда, сидела у рупора без отлучки, и ей даже иногда казались какие-то звуки из трубы, а это был обман. Вернувшись из своего проверочного путешествия, Семен Кириллович не стал раздражаться, что его не слыхала его контрольная старуха: «Все равно я теперь верю, — сказал дома старик, — а кто не верит — того прочь!» «Да уж видно так, — согласилась старуха. — Истопи мне завтра баньку, что я слушала-слушала тебя, оглохла вся».

Радио теперь заиграло. С обмиранием сердца слушали люди в деревянной избе далекую увлекательную жизнь. Сначала говорил пожилой, затем молодой, играла музыка таинственную песню, пела степная дудка и звонил колокол.

Потом хор девичьих голосов начал песню о счастливых людях и об их интересной жизни. Девицы пели на большом расстоянии отсюда, но все равно чувствовалось, что теперь нужно жить по-хорошему, а не в нужде и мученье.

Сергей Семенович слушал радио и ласкал свою дочку; он гладил ладонью ее головку и надеялся про себя, что его дочь будет высшим ученым человеком, а он, ее отец, проживет неважно: он стрелочник с лесного разъезда. Ребенок тоже слушал пение и музыку, а жена Сергея Семеновича тут же делала хозяйственные и культурные выводы, трудясь у печной загнетки:

— Ишь люди как живут: отсюда слышно… И обновки покупают, и дома строят, и сладко едят, и в театры ходят, танцуют, поют, науки изучают, в Черном море купаются, а здесь только и видишь заботу да работу…

— И верно, что так! — согласилась старуха, мать Сергея Семеновича. — Другие мужики, поглядишь, и за то и за другое примутся, глядь — и копейка в доме лежит… Теперь ведь не старое время, работают мало. Пришел с работы — чего дома сидеть! На сплав ступай, в бараки наведайся — там и печки новые кладут, и пни копают, и на кухню всегда черный мужик нужен… А то как же жить-то! — старуха разошлась характером, изводясь всем телом посредине избы. — А наши-то как явятся, так и расселись: в гости пришли! А то возьмет ружье — и в лес пошел. А зачем пошел, какой тебе рожон по траве посреди дубьев ходить: что там — куры с поросятами водятся, что ль, или сукно на сучьях висит! А зайчишки, а тетерьки — тьфу, что такое: если бы вы по целому возу их привозили, а то по одному, по два: угодье какое — мне старухе на один жевок не хватает… Да заткни ты трубу-то свою: нечего там слушать, когда я говорю!..

Старик остановил радио и умильно стал слушать свою жену дальше; возражать ей он ленился: пускай сама по себе духом изойдет, тогда и подобреет.

Но старуха начала действовать. Она схватила зайца-ребенка, прижавшегося к рогачу под печкой, вытащила животное на свет и стала его левой рукой таскать по полу, а правой бить по заду, потом по ребрышкам, где побольней, — туда злость ее выходила слаже, — и заяц, худой и жалкий, волочился по полу, молча бедствуя, пока старуха не изошла своей темной силой. Тогда она подняла зайца в воздух и выкинула его за дверь на двор: все равно пользы от него нету, пусть не гадит в избе. Заяц спрятался в траву, поплакал там немного по-своему, а потом оправил шерсть на себе, пробрался в скважину огорожи и скрылся в лесной стране, забыв только что испытанное горе ради будущей жизни.

Жена взяла у Сергея Семеновича девочку, ее пора было кормить — она уже дремала, насмотревшись на зайца.

— Там люди вон как теперь живут — с удовольствием, а вы что?.. У, щипаные хари! — обратилась старая хозяйка к мужу и сыну.

Старик и сын попробовали немного свои лица — они и вправду были рябоватые, щипаные люди, но это, однако, сойдет им безвозмездно, любить их есть кому. Умри, скажем,

Семен Кириллович, и по нему самое меньшее двое людей заплачут, жена и сын. Достаточно!

— Открывай радио! — приказала старуха Семену Кирилловичу. — Мне слухать надо, а то упустишь, гляди, такое что-нибудь, а польза мимо пройдет…

Старый хозяин включил машину; радио сказало сперва нравоучение, а дальше заиграла нежная музыка. Мать Сергея Семеновича приложила правую руку к щеке, пригорюнилась, а потом стала улыбаться. Она желала бы быть доброй постоянно, но ей нельзя было — ведь все поедят, попьют, износят, а мужики перестанут работать, и тогда семейство помрет от нужды, двор зарастет лесом, выйдет заяц из кустов и будет гадить, где жил человеческий род.

Сергей Семенович Пучков заступил дежурить в ночь. Десятый разъезд был глухое место, погрузка и выгрузка здесь небольшая. Пучков осмотрел и почистил свои стрелки, исследовал с фонарем крестовины — он всегда боялся за них; паровозы тяжко бьют, вбегая на крестовину, и в ней может произойти трещина, а крушение на стрелочном переводе всегда большая беда, потому что и по здоровой стрелке поезд проходит с резким содроганием: здесь ехать составу больно. Если бы Пучков мог стать инженером, он бы выдумал стрелочный перевод поумнее, чтоб езда была более гладкой. Он стал на колени и пополз от стрелочного пера к крестовине, ведя рукою по головке рельса, по поверхности катания; он искал на ощущение возможные выбоины, щербины или соструганные паровозным бандажом заусеницы. Время темное, фонарь светит бедно, поэтому ручное чувство дает более точное представление о стрелочном механизме. Никакого ущерба Сергей Семенович не заметил; есть одно небольшое вмятие, но оно неопасно.

Стрелочник очистил с брусьев старую сработанную смазку и обильно снабдил все места трения новой смазкой, чтобы было погуще, почище и безопасней. Он наблюдал, что стрелочное перо играет на богатой смазке, когда пропускает через себя тяжкий состав, оно как бы плавает в нефтяном жиру. Пусть играет — что играет, то не мучается и, стало быть, не лопнет. Затем Сергей Семенович вычистил и промазал балансир и попробовал его несколько раз на перекидку, чтобы весь стрелочный механизм пригартовался. Переводил он стрелку мягко, без всякого удара, так что каждое перо касалось неподвижного рельса с нежностью и расставалось с ним медленно, экономно натягивая за собою смазку.

Пучков в начале своей службы на железной дороге относился к металлу и к машинам, как к животным и растениям, — осторожно и дальновидно, стараясь при этом их не только узнать, но и перехитрить. Потом он понял, что этого отношения мало и недостаточно. К металлу и механизму нужно относиться гораздо более чувствительно, чем к зверю или растению, потому что живое можно действительно перехитрить, и оно тебе сдастся, его можно ранить, и на живом заживет. Машина же или рельс на хитрость не даются, их можно взять лишь чистым добром, и ранить их нельзя, на них не заживет: они лопаются насмерть. И поэтому Пучков вел себя на службе чутко и осторожно; он даже дверь в свою будку закрывал не с размаху, а бесшумно и деликатно, чтобы не тревожить железных петель и не расшатывать в них шурупов.

Дежурный по разъезду позвонил в будку по телефону: пусть Пучков приготовит стрелку для приема скорого поезда на проход. Сергей Семенович и сам помнил время поезда. Он уже глядел в темную просеку лесов, где лежал путь. Луны не было, слабые звезды находились высоко, однако рельсы блестели ясно и далеко, точно они собирали свет изо всей бедности тьмы, из его рассеяния во мраке. Пучков прилег ухом к рельсу и расслышал вечное пение металла — от течения воздуха, от шума дальних листьев и ветвей, заставляющих рельсы напевать в ответ. Рельсы звучали правильно, они были, наверно, целы и здоровы на всем протяжении. Но постепенно в их равномерный волнообразный гул вошло невнятное, постороннее бормотание. И бормотание становилось все более отчетливым, настойчивым, почти выговаривающим слова; эту речь говорил молодой, поющий голос — без фальши, без звука дребезжащего раздражения, значит, рельсы нигде не имели трещины и на стыках не было большой выработки. Стрелочник поднял голову с рельса, высморкался, отряхнул сор с одежды и сделал более важное, серьезное лицо. С юга на проход, на Мурманск, шел скорый,

спешащий поезд. Спокойный свет паровоза взошел из-за горизонта и погнал тьму вперед и по верху лесной чащи, освещая живые синие деревья, кустарники, таинственные предметы, неизвестные днем, фигуру путевого обходчика, сторожащего путь в темноте и одиночестве. Сергей Семенович сыграл на рожке долгий, приветственный сигнал о готовности входа на разъезд и почтительно вытянул руку с фонарем навстречу механику паровоза, своему незнакомому другу, единственному человеку, который сейчас следит за ним, будучи доволен, что все благополучно и что его ожидают. «Шибко идет, — подумал Пучков, — музыку не услышишь… Нажимает, дьявол, — опоздал минуты на четыре». При замедленном ходе скорых поездов или «Полярной стрелы» Сергей Семенович успевал иногда расслышать радио или патефон, играющие в поезде. Несколько секунд он вслушивался тогда в мелодию, не обращая внимания на прочий шум, и успевал насладиться музыкой. Если же музыка не играла, Пучков был доволен и тем, что удавалось рассмотреть какое-либо незнакомое странное или прекрасное лицо человека, глядящее через окно на здешние чуждые ему леса; стрелочнику было безразлично, кто это был — мужчина, женщина или дитя, — и неважно, куда ехал тот человек, лишь бы лицо у него было интересное и непонятное. Изредка Пучков подымал на пути после прохода поезда какую-либо вещь и долго смотрел на нее и вникал в ее значение. Затем он воображал человека, которому эта вещь принадлежала, и успокаивался лишь тогда, когда ясно представлял себе в своей фантазии этого промчавшегося, безызвестного пассажира. Благодаря пустой папиросной коробке, ключу для консервных банок или комку ваты Сергею Семеновичу приходилось думать о характере, лице и даже о цели жизни того человека, который только что миновал его в поезде…

Катерина Васильевна села на рельс и еще раз подумала: а будет ли что особенное на Медвежьей Горе?

— Ну, пиши прошение, — разрешила она. — Пусть надбавку на жалованье дают. Чернилами бумагу не закапай, всегда капаешь, а там подумают — ты неграмотный, и надбавку сбавят.

Сергей Семенович поглядел на жену и подумал: «Красивая она или нет? Волосы у нее черные, сама не старая, в общем — ничего».

Начальник разъезда не стал слишком задерживать Сергея Семеновича: пусть растет человек на большой станции, где есть театр, библиотека, интеллигенция, музыка; можно отказать человеку в лишнем рубле пли в удобстве жизни, но в душевной нужде отказывать никому нельзя, иначе не станет ни человека, ни работника.

С тех пор стрелочник Пучков начал ездить дежурить на Медвежью Гору. И он не бывал в семействе по двое и по трое суток, потому что после очередного дежурства оставался смотреть представление или шел в библиотеку и там читал книги в культурном зале, с восхищением посматривая на портреты великих писателей; он читал книги с середины, с конца, перемежая страницы через одну и две, любым интересным способом, и наслаждался чужою высшей мыслью и собственным дополнительным воображением. Если ум его уставал, он выходил проветривать голову. Но снаружи, на улице, всегда где-нибудь играла музыка — либо гармония в рабочем общежитии, либо патефон из окна квартиры зажиточного служащего. И тогда Сергей Семенович подолгу застаивался на ногах или садился на местный камень и слушал игру полностью до конца, счастливый и готовый на подвиг.

Наконец, наработавшись, наслушавшись музыки, прочтя книги, Сергей Семенович являлся домой на Лобскую Гору, в избу, которая превращалась в корень дуба. Катерина Васильевна встречала его в тоске и в ревностной злобе; она была уверена, что муж ее явно любит другую, лучшую женщину, неизвестную ей прекрасную злодейку.

— Ты вот там удовольствие себе получаешь, — указывала жена, — а стрелка у тебя, должно быть, грязная стоит. Как же ты в люди выйдешь, когда ж нам жизнь полегчает! Лучше б ты век вековал на десятом разъезде, там бы я за тобой глядела…

Семен Кириллович, выслушав подобный разговор сына с невесткой, звал обыкновенно Сергея Семеновича на охоту — к животным и растениям: дитя всегда дорого, даже когда оно

уже пожилое.

— Кто его знает: может, так и надо, чтоб бабы ругали нас постоянно, — рассуждал старик.

— Они ведь людей рожают, они хозяйки человечества, им видней… А вот одного они боятся, это когда как шарахнешь что-нибудь в жизни, так либо ты герой, либо покойник. Вот им удивление-то! А так им ничего не страшно — это нет! Да и тебе пора бы уж стать чем-нибудь, — советовал отец сыну.

Старуха вздохнула и сказала мужу:

— Чем ему стать-то? Покойником, что ль?.. Гляжу я на тебя, старик, и думаю себе: где я девкой была, когда в женихи тебя выбирала!

— А ты мне измени! — советовал отец Сергея Семеновича.

— Да и придется! — соглашалась старуха. — Дай только тело наем: я ведь пышная, я статная была, я женщина хорошая… Бывало, как выйду на улицу, как топну ногой, так ваш брат и в тоску вдастся… Зря мой век прошел, я бы его снова прожила! Ух и прожила бы! Да что мне тужить, я и теперь проживу как молодая, что у нас — иль власть-то не Советская…

На Медвежьей Горе Сергей Семенович работал еще более тщательно и задумчиво, чем на десятом разъезде. Здесь, на Медвежьей, было больше руководства, больше культурности, поэтому Пучков чувствовал себя еще более, чем прежде, скромно и застенчиво и от застенчивости увеличивал свое прилежание. Постоянно видя могучие паровозы, точные механизмы сигнализации, слушая гул скоростей тяжеловесных поездов, стрелочник чувствовал торжество своего разума, словно и он был тоже повинен во всей этой технической силе мира и во всей прелести ее. Втайне и неясно он улавливал соответствие или родство между музыкой, книгой и паровозом; ему казалось, что машины и музыка выдуманы одним сердцем, и это сердце было похоже на его собственное.

Начальник станции знал своего нового стрелочника давно, еще когда Пучков был мальчиком и ходил с ним на охоту. Он выдержал его небольшое время, а потом назначил старшим стрелочником. Теперь у Пучкова стало под рукою несколько стрелочных постов и младшие стрелочники на них. Не зная, как нужно начальствовать, Сергей Семенович стал сперва работать за всех: сам чистил каждую стрелку, сам заправлял ее смазкой и выходил встречать каждый поезд, не обращая внимания, что поезд уже встречает второй стрелочник. Пучков все равно следил лично: правильно ли стоит стрелка и хорошо ли она работает при движении. Младшие стрелочники дежурили в недоумении.

— Что ж ты, Сергей Семенович, нас за рабочий класс не считаешь? — говорили они. — Чего ты сам переводы мажешь, мы тоже здесь не в виде пустяка находимся.

— А вы можете так же делать, как я? — спросил их Пучков. Один пожилой младший стрелочник ответил:

— Кто ее знает!.. Так же, как ты, едва ли: мы лучше будем делать.

— Я там погляжу, — сумрачно сказал Пучков. — Вы сюда только служить ходите, а я здесь живу и чувствую.

Много времени Сергей Семенович проверял работу своих младших людей и наконец увидел, что они делают все хорошо, но не лучше его самого. У них не было понятия, что машины и механизмы — это сироты, которых надо постоянно держать близ своей души, иначе не узнаешь, когда они дрожат и болеют, и не успеешь ничего сделать, пока в стрелке не раздастся треск и смерть.

Мать Сергея Семеновича, постоянно внушая мужу и сыну мысль о лучшей жизни, сама тоже постоянно заботилась, чтобы в избе было много пищи и добра.

Чуть освободившись от домашнего хозяйства, старуха сейчас же шла либо в лес за грибами и орехами, либо на озеро посмотреть, не прибило ли чего к берегу: сплавное бревно, мертвую испорченную рыбу или еще что-нибудь полезное. В то лето, как ее сын поступил на Медвежью Гору, погода была сухая и грибы не рожались, поэтому старая хозяйка стала заготавливать орехи. Она нашла дальний глухой орешник и ходила туда через день с большой кошелкой.

Ходить ей приходилось мимо лесной сторожки, в которой жил бессемейный старичок. Однажды, возвращаясь с орехами ко двору, старуха увидела дым, выходящий из-под деревянной крыши. Старая хозяйка поставила на землю кошелку с орехами и пошла в сторожку. Но дверь в сени оказалась запертой на большой казенный замок — сторож, наверно, ушел в обход по участку. Старуха, не видя лучшего, взяла небольшую жердь, вдела ее под замок, между пробоями, и вывернула всю снасть. В сторожевой избе на полу костром горела сухая трава, сложенная в запас на растопку, а печь была только что истоплена и закрыта. Сторож-старик, наверно, сварил себе пищу и, когда загребал жар в печке, обронил уголек на пол, либо этот уголек прилип к горшку, а от горшка сам отвалился, когда горшок выставляли из печки.

Сторож ушел, а горячий уголь стал тлеть, согрел травяную сухую ветошь и поджег ее.

Мать Сергея Семеновича не испугалась пожара, она схватила по памяти ухват из-под печки, потому что в дыму ей плохо было видно, разворошила ухватом горящую траву по всей избе, чтобы пламя разделилось и ослабело, а затем затоптала огонь живьем, — благо, что башмаки на ней были старые и жалеть их нечего. Откашлявшись от дыма, старая хозяйка отыскала кружку, зачерпнула воды в кадке и в несколько раз залила ведою последнее тление травы. Пол еще не успел заняться, он только обгорел.

Дождавшись сторожа, который вернулся из обхода вместе с помощником лесничего, старуха объяснила им, что тут случилось, и пошла к себе на Лобскую Гору. Дома она ничего не сказала и вскоре сама про себя уже перестала вспоминать про огонь в лесной избушке — ей и так много помнить приходилось, что было более необходимо. Но месяца через полтора — к осени — ее вызвали в контору лесничества и на дворе конторы со склада старой женщине выдали премию: патефон с двадцатью пластинками и вязаную кофту, а юбку обещали додать потом, когда будет получен суконный материал.

Семен Кириллович вдался в тоску, когда его старуха получила патефон и кофту. Он попробовал свои мускулы, погладил себе голову, содержащую, по его мнению, ум, и ощупал остальное тело, осталась ли еще в нем сила?.. А старуха ничего ему не сказала, она не похвасталась и не попрекнула его: что же, дескать, дела-то ведь вот какие на свете, а ты думал — все шутки!..

Старик вздохнул, взял ружье и пошел в лес стрельнуть что-нибудь.

— Ты куда? — окликнула его жена. — Опять по кустам ходить, одёжу рвать, — лучше б в кружке где-нибудь учился… А то принесет белку или зайчишку — гляди, изобилие какое!

— Дай хоть я пойду кислородом-то подышу! — отзывался старик. — Я силы хочу прибавить, чтоб работать было способней…

— Каким таким кислородом? — с интересом удивлялась старуха. — Я вот сроду им не дышала, а гляди, какая вышла — ты мне теперь не под стать…

— Я старик отстающий! — соглашался Семен Кириллович.

— Отстающий? — спросила жена. — Вернись только с охоты без всего — я тебе отстану тогда! Ты хоть в лесу-то первым будь, там же хищники живут.

Сын, вернувшись с Медвежьей Горы, тотчас же попросил мать завести патефон.

— Старые носят, а молодые просят! — тихо произнесла мать и завела веселую музыку на пластинке. Она уже знала, как действует механика в патефоне.

Катерина Васильевна пригорюнилась и засмотрелась на мужа.

— Ты чего? — спросил ее Сергей Семенович.

— Я-то ничего, а ты вот — неудельный! — сказала жена; она отвернулась лицом и заплакала: у людей и патефоны, и кофты, и мужья начальники, а у нее мало всего, одна изба, и то пополам со свекровью.

Она согнулась над колыбелью своей дочери и затихла в печали своей судьбы.

Сергей Семенович глядел в окно, в лес: убежать туда, что ли! Но ведь лес тоже вырубят когда-нибудь, а в человечестве жить теперь становится все более загадочно и хорошо. По железной дороге на платформах везут великие машины и дворцы в разобранном виде, в

библиотеке толстые книги лежат, красивые люди едут мимо в поездах…

На следующее дежурство Сергей Семенович прочитал приказ начальника станции, что старший стрелочник товарищ Пучков повышается в зарплате и временно назначается сцепщиком, на дефицитную и ответственную профессию.

В тихий краткий день глубокой осени в тупиковом пути шла погрузка шпал. Человек десять мужчин и женщин поднимались со шпалами по мосткам на платформы, складывали там шпалы и сходили вниз, чтобы опять брать груз на плечи.

На выход тупик поднимался круто в гору, на большой подъем; туда паровозам приходилось вывозить груженые платформы, работая песочницей и форсируя топку во весь сифон. Шесть человек, целая бригада, лежали под вагонами и дремали, не тратя сил на пустую жизнь, когда нечего делать. Для этой бригады еще не подали платформу, и люди ожидали работы.

Для них старался сейчас Пучков на станции. Он подогнал паровозом порожнюю платформу к спуску в тупик и велел машинисту остановиться: дальше платформа пойдет самоходом, а под уклоном сцепщик ее примет на башмак. Чтобы платформа не ушла, Сергей Семенович подложил под один колесный скат старую бесхозяйственную шпалу, которая лежала без назначения возле пути, и пошел снимать сцепную стяжку, чтобы освободить паровоз. Но платформа сильно отошла от паровоза и стяжка натянулась в струну, поэтому Пучков крикнул механику: «Нажми маленько!» Механик нажал, стяжка провисла, и Сергей Семенович легко сбросил ее со сцепного паровозного крюка.

Платформа потянула Пучкова от паровоза под уклон, сцепщик ухватил стяжку обеими руками, чтобы окоротить вагон, но шпала, подложенная под скат, хряпнула от хода колес, и железо стяжки начало жечь руки — вагон уже повис над уклоном, в конце которого шла погрузка. Однако Пучков уперся ногами в путевую рабочую шпалу, решив не жалеть кожу на руках, — она сейчас сгорит, а потом зарастет опять. У него загудели ноги от усилия в костях, его повезло волоком за вагоном, он сообразил, что пользы нет, и выпустил из рук сцепной прибор.

Внизу работали люди, — кто будет жить, с кем придется водиться, кто сыграет на музыке, если внизу вагон подавит насмерть людей?.. Пучков знал, что там есть и женщины, а они могут родить и тех, кто сумеет писать книги или будет хорош сам собою по сердцу и характеру, кто споет когда-нибудь неизвестную песню или вообразит в своем уме в будущем рябоватого стрелочника с Медвежьей Горы и скажет: жил давно один бедный человек на свете.

Сергей Семенович бежал рядом с разгоняющимся вагоном. Он подымал попутные доски и колья, бросал их под передний скат, но вагон сокрушал их с разгона и набирал скорость вперед. «Без них плохо станет на свете, их будут хоронить в гробах с цветами, страшная музыка заиграет!» — решал в уме судьбу нижних рабочих Пучков. Он схватил с балласта путевой железный лом и с точным прицелом всадил его между спиц бегущего вращающегося колеса в переднем скате. Лом развернулся в воздухе и свободным концом сбил Пучкоза с ног, а затем поддел и подбросил уже беспамятного человека ко второму скату, так что Пучков ударился головой о буксу. На втором и третьем повороте колеса лом начал гнуться и корчиться, потому что он задевал свободным концом за балласт и за шпалы; согнувшись, он впился между шпалами в песок, а две спицы в колесе взял враспор, посинел на сгибе от напряжения, от температуры и удержал вагон на месте.

Пучков лежал на песке и слышал, как машинист сказал: «Пучкова зарезало!»

«Нет, — подумал Сергей Семенович. — Это неверно».

И он встал, чтобы узнать, что случилось.

— Ты живой или как? — спросил у Пучкова механик.

— А ты? — спросил Сергей Семенович и почувствовал, что его правая рука вся холодная, точно к ней привязали лед и он сосет из его тела тепло, доставая холодом до середины сердца.

— Поедем на паровозе, — сказал механик.

Однако Пучкову хотелось пить; он открыл кран в тендере паровоза, и оттуда полилась вода ему в рот, а кровь из его правой руки лилась в рукавицу и в пиджак с исподней стороны, она даже пробиралась по ноге за штанами до ступни ноги. Сергей Семенович заметил, что кровь течет безобразно, что он скоро может стать совсем пустым, и велел кочегару нести его правую руку на весу, чтоб она не вытекла вся на землю.

Потом принесли носилки и Пучкова положили на них для покоя. Сергей Семенович почувствовал, что с него трудно снимают сапоги, а правый сапог промок кровью, портянки разбухли и не дают сапогу сойти. «А в гробу засохнет и будет ногу жать!» — подумал Пучков и заснул, чтобы не знать своей смерти.

Отец, мать и жена пришли в больницу и стояли около Сергея Семеновича, а он их не замечал вокруг себя.

— Сереженька, что же это сделалось с тобою! — говорила мать. — Мы бы и так прожили, нам ничего не надо…

Проснулся Сергей Семенович не скоро. Кругом тихо и чисто, постель большая. Сергей Семенович не знал, есть у него правая рука или нет. Видит, что есть, лежит рядом с ним, но неизвестно — при нем ли она заодно или лежит отдельно. Он взял ее на испытание и пошевелил пальцами. Пальцы жили, значит, рука будет, а смерть давно прошла мимо.

Вскоре к нему пришли разные люди — начальник станции, парторг, жена Катерина Васильевна, фотограф, машинист, две женщины из тех, которые грузили шпалы в тупике; одна из этих женщин принесла Пучкову букет цветов и две жамки.

— Он здесь и так сыт, — сказала Катерина Васильевна тем женщинам, — чего вы напрасно свои деньги тратите и больного тревожите!

Женщины застеснялись и ушли.

После больницы правая рука у Сергея Семеновича действовала не вполне и слабо.

— Окалечился теперь! — говорили ему семейные. — Чем работать будешь?

— Головой научусь! — отвечал Пучков и смотрел через окно в лес.

Но жена и мать относились к нему все же ласково и хорошо. Сельсовет и железнодорожная власть дали Пучкову денег тысячу рублей и назначили пенсию на всю жизнь.

Начальник станции через каждые три-четыре дня приходил в гости к Пучкову на Лобскую Гору и готовил его учиться на дежурного по станции. А один раз на Лобскую Гору поднялся автомобиль, и к Сергею Семеновичу приехали сразу шестеро людей, которые привезли ему телеграмму из Москвы с поздравлением, что ему полагается получить орден.

Пучков не спал две ночи от сильного течения мысли, пока на третьи сутки опять не пришел за шестнадцать километров начальник станции. Но он не стал заниматься с ним наукой об эксплуатации железных дорог, а сказал только: «Давай собирайся, мы поедем в Москву». Сергей Семенович не стал ничего есть, выпил лишь стакан молока, поцеловал на дворе жену и дочь и отправился. Катерина Васильевна заплакала, она подумала, что муж теперь разлюбит ее и не вернется, а дочь ничего еще не понимала, она только прижалась к отцу на прощание.

В следующие новые дни Катерина Васильевна сильно тосковала на Лобской Горе по мужу и часто плакала по нем, пряча свое горе от свекора и свекрови. «Он там парашютистку полюбит! — думала она. — Ведь они летают, у них личики, говорят, такие хорошие. А может, его сам народный комиссар при себе оставит, где я тогда буду?» Но, вспомнив, что у мужа рука-то правая почти не действует, жена утешалась: калеку едва ли кто полюбит, теперь барышни хитрые. Хотя, что же, рука ведь у него цельная, да и заживет она еще…

Сергей Семенович вернулся через месяц. Он был в черном суконном костюме, весь спокойный, точно чужой человек, и его привезли в деревню на автомобиле. Жена села перед ним на лавку и ощупала руками его самого и материал, который был одет на муже.

— Хорошо там? — спросила она.

— Хорошо! — сказал Сергей Семенович. — Я там американку видел в метро: она коричневая.

— А красивая? — спросила жена.

— Так себе! — ответил муж.

— Ты кто же теперь? — пытала Катерина Васильевна. — Начальник?

— Стрелочник старший… Начальники ученые, а я нет. Он вынул орден в коробке и показал жене. Катерина Васильевна орден взяла и спрятала в сундук.

— Я носить его должен, зачем ты прячешь? — сказал Сергей Семенович.

Жена отдала ему обратно пустую коробку:

— А ты коробку будешь показывать! Перед кем тебе орденом хвастаться, — мы и так знаем, а другие пусть не завидуют…

Пришла мать с дочкой. Сергей Семенович взял девочку к себе на руки, чтобы поласкать ребенка и дать матери свободу поплакать от радости.

— Что ж ты один костюм-то привез? — сказала мать, управившись со слезами. — Ты бы хоть два: себе и отцу…

— Я один только взял. Два ведь не наденешь, надо один износить сначала.

Фро

Он уехал далеко и надолго, почти безвозвратно. Паровоз курьерского поезда, удалившись, запел в открытом пространстве на расставание: провожающие ушли с пассажирской платформы обратно к оседлой жизни, появился носильщик со шваброй и начал убирать перрон, как палубу корабля, оставшегося на мели.

— Посторонитесь, гражданка! — сказал носильщик двум одиноким полным ногам.

Женщина отошла к стене, к почтовому ящику, и прочитала на нем сроки выемки корреспонденции: вынимали часто, можно писать письма каждый день. Она потрогала пальцем железо ящика — оно было прочное, ничья душа в письме не пропадет отсюда.

За вокзалом находился новый железнодорожный город; по белым стенам домов шевелились тени древесных листьев, вечернее летнее солнце освещало природу и жилища ясно и грустно, точно сквозь прозрачную пустоту, где не было воздуха для дыхания.

Накануне ночи в мире все было слишком отчетливо видно, ослепительно и призрачно — он казался поэтому несуществующим.

Молодая женщина остановилась от удивления среди столь странного света: за двадцать лет прожитой жизни она не помнила такого опустевшего, сияющего, безмолвного пространства; она чувствовала, что в ней самой слабеет сердце от легкости воздуха, от надежды, что любимый человек приедет обратно. Она увидела свое отражение в окне парикмахерской: наружность пошлая, волосы взбиты и положены воланами (такую прическу носили когда-то в девятнадцатом веке), серые глубокие глаза глядят с напряженной, словно деланной нежностью, — она привыкла любить уехавшего, она хотела быть любимой им постоянно, непрерывно, чтобы внутри ее тела, среди обыкновенной, скучной души, томилась и произрастала вторая, милая жизнь. Но сама она не могла любить, как хотела, — сильно и постоянно; она иногда уставала и тогда плакала от огорчения, что сердце ее не может быть неутомимым.

Она жила в новой трехкомнатной квартире; в одной комнате жил ее вдовый отец — паровозный машинист, в двух других помещалась она с мужем, который теперь уехал на Дальний Восток настраивать и пускать в работу таинственные электрические приборы. Он всегда занимался тайнами машин, надеясь посредством механизмов преобразовать весь мир для блага и наслаждения человечества или еще для чего-то — жена его точно не знала.

По старости лет отец ездил редко. Он числился резервным механиком, заменяя заболевших людей, работая на обкатке паровозов, вышедших из ремонта, или водя легковесные составы ближнего сообщения. Год тому назад его попробовали перевести на пенсию. Старик, не зная, что это такое, согласился, но, прожив четыре дня на свободе, на пятый день вышел за семафор, сел на бугор в полосе отчуждения и просидел там до темной ночи, следя плачущими глазами за паровозами, тяжко бегущими во главе поездов. С тех пор

он начал ходить на тот бугор ежедневно, чтобы смотреть на машины, жить сочувствием и воображением, а к вечеру являться домой усталым, будто вернувшись с тягового рейса. На квартире он мыл руки, вздыхал, говорил, что на девятитысячном уклоне у одного вагона отвалилась тормозная колодка или еще случилось что-нибудь такое, затем робко просил у дочери вазелина, чтобы смазать левую ладонь, якобы натруженную о тугой регулятор, ужинал, бормотал и вскоре спал в блаженстве. Наутро отставной механик снова шел в полосу отчуждения и проводил очередной день в наблюдении, в слезах, в фантазии, в сочувствии, в неистовстве одинокого энтузиазма. Если, с его точки зрения, на идущем паровозе была неполадка или машинист вел машину не по форме, он кричал ему со своего высокого пункта осуждение и указание: «Воды перекачал! Открой кран, стервец! Продуй!», «Песок береги: станешь на подъеме! Чего ты сыплешь его сдуру?», «Подтяни фланцы, не теряй пара: что у тебя — машина или баня?». При неправильном составе поезда, когда легкие пустые платформы находились в голове и в середине поезда и могли быть задавлены при экстренном торможении, свободный механик грозил кулаком с бугра хвостовому кондуктору. А когда шла машина самого отставного машиниста и ее вел его бывший помощник Вениамин, старик всегда находил наглядную неисправность в паровозе — при нем так не было — и советовал машинисту принять меры против его небрежного помощника: «Веньяминчик, Веньяминчик, брызни ему в морду!» — кричал старый механик с бугра своего отчуждения.

В пасмурную погоду он брал с собой зонт, а обед ему приносила на бугор его единственная дочь, потому что ей было жалко отца, когда он возвращался вечером, худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего вожделения. Но недавно, когда устаревший механик, по обычаю, орал и ругался со своей возвышенности, к нему подошел парторг депо товарищ Пискунов; парторг взял старика за руку и отвел в депо. Конторщик депо снова записал старика на паровозную службу. Механик влез в будку одной холодной машины, сел у котла и задремал, истощенный собственным счастьем, обнимая одной рукою паровозный котел, как живот всего трудящегося человечества, к которому он снова приобщился.

— Фрося! — сказал отец дочери, когда она вернулась со станции, проводив мужа в дальний путь. — Фрося, дай мне из печки чего-нибудь пожевать, а то как бы меня ночью не вызвали ехать…

Он ежеминутно ожидал, что его вызовут в поездку, но его вызывали редко — раз в три-четыре дня, когда подбирался сборный, легковесный маршрут либо случалась другая нетрудная нужда. Все-таки отец боялся выйти на работу несытым, неподготовленным, угрюмым, поэтому постоянно заботился о своем здоровье, бодрости и правильном пищеварении, расценивая сам себя как ведущий железный кадр.

— Гражданин механик! — с достоинством и членораздельно говорил иногда старик, обращаясь лично к себе, и многозначительно молчал в ответ, как бы слушая далекую овацию.

Фрося вынула горшок из духового шкапа и дала отцу есть. Вечернее солнце просвечивало квартиру насквозь, свет проникал до самого тела Фроси, в котором грелось ее сердце и непрерывно срабатывало текущую кровь и жизненное чувство. Она ушла в свою комнату. На столе у нее была детская фотография ее мужа; позже детства он ни разу не снимался, потому что не интересовался собой и не верил в значение своего лица. На пожелтевшей карточке стоял мальчик с большой, младенческой головой, в бедной рубашке, в дешевых штанах и босой; позади него росли волшебные деревья, и в отдалении находились фонтан и дворец. Мальчик глядел внимательно в еще малознакомый мир, не замечая позади себя прекрасной жизни на холсте фотографа. Прекрасная жизнь была в самом этом мальчике с широким, воодушевленным и робким лицом, который держал в руках ветку травы вместо игрушки и касался земли доверчивыми голыми ногами.

Уже ночь наступила. Поселковый пастух пригнал на ночлег молочных коров из степи. Коровы мычали, просясь на покой к хозяевам: женщины, домашние хозяйки, уводили их ко

двору — долгий день остывал в ночь; Фрося сидела в сумраке, в блаженстве любви и памяти к уехавшему человеку. За окном, начав прямой путь в небесное счастливое пространство, росли сосны, слабые голоса каких-то ничтожных птиц напевали последние, дремлющие песни, сторожа тьмы, кузнечики, издавали свои кроткие мирные звуки — о том, что все благополучно и они не спят и видят.

Отец спросил у Фроси, не пойдет ли она в клуб: там сегодня новая постановка, бой цветов и выступление затейников из кондукторского резерва.

— Нет, — сказала Фрося, — я не пойду. Я по мужу буду скучать.

— По Федьке? — произнес механик. — Он явится: пройдет один год — и он тут будет… Скучай себе, а то что ж! Я, бывало, на сутки, на двое уеду — твоя покойница мать и то скучала: мещанка была!

— А я вот не мещанка, а скучаю все равно! — с удивлением проговорила Фрося. — Нет, наверно, я тоже мещанка…

Отец успокоил ее:

— Ну, какая ты мещанка!.. Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до мещанки еще долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были…

— Папа, ступай в свою комнату, — сказала Фрося. — Я тебе скоро ужинать дам, я сейчас хочу быть одна…

— Ужинать сейчас пора! — согласился отец. — А то кабы из депо вызывальщик не пришел: может, заболел кто-либо, запьянствовал или в семействе драма-шутка, мало ли что. Я тогда должен враз явиться: движение остановиться никогда не может!.. Эх, Федька твой на курьерском сейчас мчится, зеленые сигналы ему горят, на сорок километров вперед ему дорогу освобождают, механик далеко глядит, машину ему электричество освещает — все как полагается!

Старик мешкал уходить, топтался и бормотал свои слова дальше: он любил быть с дочерью или с другим человеком, когда паровоз не занимал его сердца и ума.

— Папа, ступай ужинать! — велела ему дочь, она хотела слушать кузнечиков, видеть ночные сосны за окном и думать про мужа.

— Но, на дерьмо сошла! — тихо сказал отец и удалился прочь.

Накормив отца, Фрося ушла из дому. В клубе шло ликование. Там играла музыка, потом слышно было, как пел хор затейников из кондукторского резерва: «Ах, ель, что за ель! Ну что за шишечки на ней!», «Ту-ту-ту-ту: паровоз, ру-ру-ру-ру: самолет, пыр-пыр-пыр-пыр: ледокол… Вместе с нами нагибайся, вместе с нами подымайся, говори ту-ту-ру-ру, шевелися каждый гроб, больше пластики, культуры, производство — наша цель!..».

Публика в клубе шевелилась, робко бормотала и мучилась, ради радости, вслед за затейниками.

Фрося прошла мимо; дальше уже было пусто, начинались защитные посадки по сторонам главного пути. Издали, с востока, шел скорый поезд, паровоз работал на большой отсечке, машина с битвой брала пространство и светила со своего фронта вперед сияющим прожектором. Этот поезд встретил где-то курьерский состав, бегущий на Дальний Восток, эти вагоны видели его позже, чем рассталась Фрося со своим любимым человеком, и она теперь с прилежным вниманием разглядывала скорый поезд, который был рядом с ее мужем после нее. Она пошла обратно к станции, но пока она шла, поезд постоял и уехал; хвостовой вагон исчез во тьму, забывая про всех встречных и минувших людей. На перроне и внутри вокзала Фрося не увидела ни одного незнакомого, нового человека — никто из пассажиров не сошел со скорого поезда, не у кого было спросить что-нибудь про встречный курьерский поезд и про мужа. Может быть, кто-нибудь видел его и знает что́!

Но в вокзале сидели лишь две старушки, ожидавшие полуночного поезда местного сообщения, и дневной мужик опять мел ей сор под ноги. Они всегда метут, когда хочется стоять и думать, им никто не нравится.

Фрося отошла немного от метущего мужика, но он опять подбирался к ней.

— Вы не знаете, — спросила она его, — что́ курьерский поезд номер второй, он

благополучно едет? Он днем уехал от нас. Что, на станцию ничего не сообщали о нем?

— На перрон полагается выходить, когда поезд подойдет, — сказал уборщик. — Сейчас поездов не ожидается, идите в вокзал, гражданка… Постоянно тут публичность разная находится, лежали бы дома на койках и читали газету. Нет, они не могут — надо посорить пойти…

Фрося отправилась по путям, по стрелкам — в другую сторону от вокзала. Там было круглое депо товарных паровозов, углеподача, шлаковые ямы и паровозный круг. Высокие фонари ярко освещали местность, над которой бродили тучи пара и дыма: некоторые машины мощно сифонили, подымая пар для поездки, другие спускали пар, остужаясь под промывку.

Мимо Фроси прошли четыре женщины с железными совковыми лопатами, позади них шел мужчина — нарядчик или бригадир.

— Кого потеряла здесь, красавица? — спросил он у Фроси. — Потеряла — не найдешь, кто уехал — не вернется… Идем с нами транспорту помогать!

Фрося задумалась.

— Давай лопату! — сказала она.

— На́ тебе мою, — ответил бригадир и подал женщине инструмент. — Бабы! — сказал он прочим женщинам. — Ступайте становиться на третью яму, а я буду на первой…

Он отвел Фросю на шлаковую яму, куда паровозы очищали свои топки, и велел работать, а сам ушел. В яме уже работали две другие женщины, выкидывая наружу горячий шлак. Фрося тоже спустилась к ним и начала трудиться, довольная, что с ней рядом находятся неизвестные подруги. От гари и газа дышать было тяжело, кидать шлак наверх оказалось нудно и несподручно, потому что яма была узкая и жаркая. Но зато в душе Фроси стало лучше: она здесь развлекалась, жила с людьми — подругами — и видела большую, свободную ночь, освещенную звездами и электричеством. Любовь мирно спала в ее сердце; курьерский поезд далеко удалился, на верхней полке жесткого вагона спал, окруженный Сибирью, ее милый человек. Пусть он спит и не думает ничего! Пусть машинист глядит далеко вперед и не допустит крушения.

Вскоре Фрося и еще одна женщина вылезли из ямы. Теперь нужно было выкинутый шлак нагрузить на платформу. Швыряя гарь за борт платформы, женщины поглядывали друг на друга и время от времени говорили, чтоб отдыхать и дышать воздухом.

Подруге Фроси было лет тридцать. Она зябла чего-то и поправляла или жалела на себе бедную одежду. Ее сегодня выпустили из ареста, она просидела там четыре дня по навету злого человека. Ее муж служит сторожем, он бродит с берданкой вокруг кооператива всю ночь, получает шестьдесят рублей в месяц. Когда она сидела, сторож плакал по ней и ходил к начальству просить, чтоб ее выпустили, а она жила до ареста с одним полюбовником, который рассказал ей нечаянно, под сердце (должно быть, от истомы или от страха), про свое мошенничество, а потом, видно, испугался и хотел погубить ее, чтоб не было ему свидетеля. Но теперь он сам попался, пускай уж помучается, а она будет жить с мужем на воле: работа есть, хлеб теперь продают, а одёжу они вдвоем как-нибудь наживут.

Фрося сказала ей, что у нее тоже горе: муж уехал далеко.

— Уехал — не умер, назад возвернется! — утешительно сообщила Фросе ее рабочая подруга. — А я там, в аресте, заскучала, загорюнилась. Раньше не сидела, не привыкла, если б сидела, тогда и горя мало. А я уж всегда невинная такая была, что власть меня не трогала… Вышла я оттуда, пришла домой, муж мой обрадовался, заплакал, а обнимать меня боится: думает, я преступница, важный человек. А я такая же, я доступная… А вечером ему на дежурство надо уходить, таково печально нам стало. Он берет берданку: «Пойдем, говорит, я тебя фруктовой водой угощу». А у меня тоска идет, не проходит. Я ему велела сходить в буфет одному, пускай уж сладкой воды он один выпьет, а когда соберутся у нас деньги и отляжет от меня тюремная тоска, тогда мы сходим в буфет вдвоем. Сказала я ему, а сама пошла на пути, сюда работать. Может, думаю, балласт где подбивают, рельсы меняют либо еще что. Хоть и ночное время, а работа всегда случается. Думаю, вот с людьми там побуду,

сердцем отойду, опять спокойная стану. И правда, поговорила сейчас с тобой, как сестру двоюродную встретила… Ну, давай платформу кончать — в конторе денег дадут, утром пойду хлеба куплю… Фрося! — крикнула она в шлаковую яму: там работала тезка верхней Фроси. — Много там осталось?

— Не, — ответила тамошняя Фрося, — тут малость, поскребышки одни…

— Лезай сюда, — велела ей жена берданочного сторожа. — Кончим скорей, вместе расчет пойдем получать.

Вокруг них с шумом набирались сил паровозы для дальнего пути или, наоборот, остывали на отдых, испуская в воздух свое дыхание.

Пришел нарядчик.

— Ну как, бабы? Кончили яму?.. Ага! Ну, валите в контору, я сейчас приду. А там, — деньги получите, — там видно будет: кто в клуб танцевать, кто домой — детей починать! Вам делов много!

В конторе женщины расписались: Ефросинья Евстафьева, Наталья Букова и три буквы, похожие на слово «Ева», с серпом и молотом на конце, вместо еще одной Ефросиньи, у которой был рецидив неграмотности. Они получили по три рубля двадцать копеек и пошли по своим дворам. Фрося Евстафьева и жена сторожа Наталья шли вместе. Фрося зазвала к себе домой новую подругу, чтобы умыться и почиститься.

Отец спал в кухне, на сундуке, вполне одетый, даже в толстом, зимнем пиджаке и в шапке со значком паровоза: он ожидал внезапного вызова либо какой-то всеобщей технической аварии, когда он должен мгновенно появиться в середине бедствия.

Женщины тихо справились со своими делами, немного попудрились, улыбнулись и ушли. Сейчас уже поздно было, в клубе, наверно, начались танцы и бой цветов. Пока муж Фроси спит в жестком вагоне вдалеке и его сердце все равно ничего не чувствует, не помнит, не любит ее, она точно одна на всем свете, свободная от счастья и тоски, и ей хотелось сейчас немного потанцевать, послушать музыку, подержаться за руки с другими людьми. А утром, когда он проснется там один и сразу вспомнит ее, она, может быть, заплачет.

Две женщины бегом добежали до клуба. Прошел местный поезд: полночь, еще не очень поздно. В клубе играл самодеятельный джаз-оркестр. Фросю Евстафьеву сразу пригласил на тур вальса «Рио-Рита» помощник машиниста.

Фрося пошла в танце с блаженным лицом: она любила музыку, ей казалось, что в музыке печаль и счастье соединены неразлучно, как в истинной жизни, как в ее собственной душе. В танце она слабо помнила сама себя, она находилась в легком сне, в удивлении, и тело ее, не напрягаясь, само находило нужное движение, потому что кровь Фроси согревалась от мелодии.

— А бой цветов уже был? — тихо, часто дыша, спросила она у кавалера.

— Только недавно кончился, почему вы опоздали? — многозначительно произнес помощник машиниста, точно он любил Фросю вечно и томился по ней постоянно.

— Ах, как жалко! — сказала Фрося.

— Вам здесь нравится? — спросил кавалер.

— Ну конечно, да! — отвечала Фрося. — Здесь так прекрасно!

Наташа Букова танцевать не умела, она стояла в зале у стены и держала в руках шляпу своей ночной подруги.

В перерыве, когда отдыхал оркестр, Фрося и Наташа пили ситро и выпили две бутылки. Наташа только один раз была в этом клубе, и то давно. Она разглядывала чистое, украшенное помещение с кроткой радостью.

— Фрось, а Фрось! — прошептала она. — Что ж, при социализме-то все комнаты такие будут ай нет?

— А какие же? Конечно, такие! — сказала Фрося. — Ну, может, немножко только лучше.

— Это бы ничего! — согласилась Наталья Букова.

После перерыва Фрося танцевала опять. Ее пригласил теперь маневровый диспетчер.

Музыка играла фокстрот «Мой бебе», диспетчер держал крепко свою партнершу, стараясь прижаться своею щекою к прическе Фроси, но Фросю не волновала эта скрытая ласка, она любила далекого человека, сжато и глухо было ее бедное тело.

— Ну, как же вас зовут? — говорил кавалер среди танца ей на ухо. — Мне знакомо ваше лицо, я только забыл, кто ваш отец.

— Фро! — ответила Фрося.

— Фро? Вы не русская?

— Ну конечно, нет!

Диспетчер размышлял.

— Почему же нет? Ведь отец ваш русский: Евстафьев!

— Не важно, — прошептала Фрося. — Меня зовут Фро!

Они танцевали молча. Публика стояла у стен и наблюдала танцующих. Танцевало всего три пары людей, остальные стеснялись или не умели. Фрося ближе склонила голову к груди диспетчера, он видел под своими глазами ее пышные волосы в старинной прическе, и эта ослабевшая доверчивость была ему мила и приятна. Он гордился перед народом. Он даже хотел ухитриться осторожно погладить ее голову, но побоялся публичной огласки. Кроме того, в публике находилась его сговоренная невеста, которая могла ему сделать потом увечье за близость с этой Фро. Диспетчер поэтому слегка отпрянул от женщины ради приличия, но Фро опять прилегла к его груди, к его галстуку, и галстук сдвинулся под тяжестью ее головы в сторону, а в сорочке образовалась ширинка с голым телом. В страхе и неудобстве диспетчер продолжал танец, ожидая, когда музыка кончит играть. Но музыка играла все более взволнованно и энергично, и женщина не отставала от своего обнимающего ее друга. Он почувствовал, что по его груди, оголившейся под галстуком, пробираются щекочущие капли влаги — там, где растут у него мужественные волосы.

— Вы плачете? — испугался диспетчер.

— Немножко, — прошептала Фро. — Отведите меня к двери. Я больше не буду танцевать.

Кавалер, не сокращая танца, подвел Фросю к выходу, и она сразу вышла в коридор, где мало людей.

Наташа вынесла шляпу подруге. Фрося пошла домой, а Наташа направилась к складу кооператива, который сторожил ее муж. Рядом с тем складом был двор строительных материалов, а его караулила одна миловидная женщина, и Наташа хотела проверить, нет ли у ее мужа с той сторожихой тайной любви и симпатии.

На другой день утром Фрося получила телеграмму с сибирской станции, из-за Урала. Ей писал муж: «Дорогая Фро, я люблю тебя и вижу во сне».

Отца не было дома. Он ушел в депо: посидеть и поговорить в красном уголке, почитать «Гудок», узнать, как прошла ночь на тяговом участке, а потом зайти в буфет, чтобы выпить с попутным приятелем пивца и побеседовать кратко о душевных интересах.

Фрося не стала чистить зубы; она умылась еле-еле, поплескав немного водою в лицо, и больше не позаботилась о красоте своей наружности. Ей не хотелось тратить время на что-нибудь, кроме чувства любви, и в ней не было теперь женского прилежания к своему телу. Над потолком комнаты Фроси, на третьем этаже, все время раздавались короткие звуки губной гармонии; потом музыка утихала, но вскоре играла опять. Фрося просыпалась сегодня еще темным утром, потом она опять уснула, — и тогда она тоже слышала над собой эту скромную мелодию, похожую на песню серой рабочей птички в поле, у которой для песни не остается дыхания, потому что сила ее тратится в труде. Там, наверху, жил маленький мальчик, сын токаря из депо. Отец, наверно, ушел на работу, мать стирает белье, — скучно, скучно ему. Не поев пищи, Фрося ушла на занятия — на курсы железнодорожной связи и сигнализации.

Ефросинья Евстафьева не была на курсах четыре дня, и по ней уже соскучились, наверно, подруги, а она шла к ним сейчас без желания. Фросе многое прощали на курсах за ее способность к ученью, за ее глубокое понимание предмета технической науки; но она

сама не знала ясно, как это у нее получается, — во многом она жила подражанием своему мужу, человеку, окончившему два технических института, который чувствовал машинные механизмы с точностью собственной плоти.

Вначале Фрося училась плохо. Ее сердце не привлекали катушки Пупина, релейные упряжки или расчет сопротивления железной проволоки. Но уста ее мужа однажды произнесли эти слова, и больше того, он с искренностью воображения, воплощающегося даже в темные, неинтересные машины, представил ей оживленную работу загадочных, мертвых для нее предметов и тайное качество их чуткого расчета, благодаря которому машины живут. Муж Фроси имел свойство чувствовать величину напряжения электрического тока, как личную страсть. Он одушевлял все, чего касались его руки или мысль, и поэтому приобретал истинное представление о течении сил в любом механическом устройстве и непосредственно ощущал страдальческое, терпеливое сопротивление машинного телесного металла.

С тех пор катушки, мостики Уитстона, контракторы, единицы светосилы стали для Фроси священными вещами, словно они сами были одухотворенными частями ее любимого человека; она начала понимать их и беречь в уме, как в душе. В трудных случаях Фрося, приходя домой, уныло говорила: «Федор, там микрофарада и еще блуждающие токи, мне скучно». Не обнимая жену после дневной разлуки, Федор сам превращался на время в микрофараду и в блуждающий ток. Фрося почти видела глазами то, что раньше лишь хотела и не могла понять. Это были такие же простые, природные и влекущие предметы, как разноцветная трава в поле. По ночам Фрося часто тосковала, что она только женщина и не может чувствовать себя микрофарадой, паровозом, электричеством, а Федор может, — и она осторожно водила пальцем по его горячей спине; он спал и не просыпался. Он всегда был почему-то весь горячий, странный, любил тратить деньги на пустяки, мог спать при шуме, ел одинаково всякую пищу — хорошую и невкусную, никогда не болел, собирался поехать в Южный советский Китай и стать там солдатом…

На курсах Евстафьева сидела теперь со слабой, рассеянной мыслью, ничего не усваивая из очередных лекций. Она с унынием рисовала с доски в тетрадь векторную диаграмму резонанса токов и с печалью слушала речь преподавателя о влиянии насыщения железа на появление высших гармоник. Федора не было; сейчас ее не прельщала связь и сигнализация, и электричество стало чуждым. Катушки Пупина, микрофарады, уитстоновские мостики, железные сердечники засохли в ее сердце, а высших гармоник тока она не понимала нисколько: в ее памяти звучала все время однообразная песенка детской губной гармонии: «Мать стирает белье, отец на работе, не скоро придет, скучно, скучно одному».

Фрося отстала вниманием от лекции и писала себе в тетрадь свои мысли: «Я глупа, я жалкая девчонка, Федя, приезжай скорей, я выучу связь и сигнализацию, а то умру, похоронишь меня и уедешь в Китай».

Дома отец сидел обутый, одетый и в шапке. Сегодня его вызовут в поездку обязательно — он так предполагал.

— Пришла? — спросил он у дочери; он рад был, когда кто-нибудь приходил в квартиру; он слушал все шаги по лестнице, точно постоянно ожидал необыкновенного гостя, несущего ему счастье, вшитое в шапку.

— Тебе каши с маслом не подогреть? — спрашивал отец. — Я живо.

Дочь отказалась.

— Ну колбаски поджарю!

— Нет! — сказала Фрося.

Отец ненадолго умолкал; потом опять спрашивал, но более робко:

— Может, чайку с сушками выпьешь? Я ведь враз согрею…

Дочь молчала.

— А макароны вчерашние!.. Они целы, я их тебе оставил…

— Да отстань ты, наконец! — говорила Фрося. — Хоть бы тебя на Дальний Восток командировали…

— Просился — не берут, говорят — стар, зрение неважное, — объяснял отец.

Он боялся, что Фрося сейчас уйдет в свою комнату, а ему хотелось, чтоб она побыла с ним и поговорила, и старый человек искал повода задержать около себя Фросю.

— Что ж ты сегодня себе губки во рту не помазала? — спросил он. — Иль помада вся вышла? Так я сейчас куплю, сбегаю в аптеку…

У Фроси показались слезы в ее серых глазах, и она ушла к себе в комнату. Отец остался один; он начал прибирать кухню и возиться по хозяйству, потом сел на корточки, открыл дверку духового шкапа, спрятал туда голову и там заплакал над сковородой с макаронами.

В дверь постучали, Фрося не вышла открывать. Старик вынул голову из духовки, все тряпки висели грязные, он вытер лицо о веник и пошел отворять дверь.

Пришел вызывальщик из депо.

— Расписывайся, Нефед Степанович: сегодня тебе в восемь часов явиться — поедешь сопровождать холодный паровоз в капитальный ремонт. Прицепят к триста десятому сборному, харчей возьми и одёжу, ране недели не обернешься…

Нефед Степанович расписался в книге, вызывальщик ушел. Старик открыл свой железный сундучок — там уже лежал еще вчерашний хлеб, лук и кусок сахара. Механик добавил туда осьмушку пшена, два яблока, подумал и запер дорожный сундучок на громадный висячий замок.

Затем он осторожно постучал в дверь комнаты Фроси.

— Дочка!.. Закрой за мной, я в рейс поехал — недели на две. Дали паровоз серии «Ща»: он холодный, но ничего.

Фрося вышла не сразу, когда отец уже ушел, — и закрыла дверь квартиры.

— Играй! Отчего ты не играешь? — шептала Фрося вверх, где жил мальчик с губной гармоникой.

Но он отправился, наверно, гулять — стояло лето, шел долгий день, ветер успокаивался на вечер среди сонных, блаженных сосен. Музыкант был еще мал, он еще не выбрал изо всего мира что-нибудь единственное для вечной любви, его сердце билось пустым и свободным, ничего не похищая для одного себя из добра жизни.

Фрося открыла окно, легла на большую постель и задремала. Слышно было, как слабо поскрипывали стволы сосен от верхнего течения воздуха и трещал один дальний кузнечик, не дождавшись времени тьмы.

Фрося пробудилась; еще светло на свете, надо было вставать жить. Она засмотрелась на небо, полное греющего тепла, покрытое живыми следами исчезающего солнца, словно там находилось счастье, которое было сделано природой изо всех своих чистых сил, чтобы счастье от нее снаружи проникло внутрь человека.

Меж двух подушек Фрося нашла короткий волос; он мог принадлежать только Федору. Она рассмотрела волос на свет, он был седой: Федору шел уже двадцать девятый год, и у него росли седые волосы, штук двадцать. Отец тоже седой, но он никогда даже близко не подходил к их постели. Фрося принюхалась к подушке, на которой спал Федор, — она еще пахла его телом, его головой, наволочку не мыли с тех пор, как в последний раз поднялась с нее голова мужа. Фрося уткнулась лицом в подушку Федора и затихла.

Наверху, на третьем этаже, вернулся мальчик и заиграл на губной гармонике — ту же музыку, которую он играл сегодня темным утром. Фрося встала и спрятала волос мужа в пустую коробочку на своем столе. Мальчик перестал играть: ему пора спать, он ведь рано встает — или он занялся с отцом, пришедшим с работы, и сидит у него на коленях. Мать его колет сахар щипцами и говорит, что надо прикупить белья: старое износилось и рвется, когда его моешь. Отец молчит, он думает: «Обойдемся так».

Весь вечер Фрося ходила по путям станции, ближним рощам и по полям, заросшим рожью. Она побывала около шлаковой ямы, где вчера работала, — шлаку опять было почти полно, но никто не работал. Наташа Букова жила неизвестно где, ее вчера Фрося не спросила; к подругам и знакомым она идти не хотела, ей было чего-то стыдно перед всеми людьми — говорить с другими о своей любви она не могла, а прочая жизнь стала для нее

неинтересна и мертва. Она прошла мимо кооперативного склада, где одинокий муж Наташи ходил с берданкой, Фрося хотела ему дать несколько рублей, чтобы он выпил завтра с женою фруктовой воды, но постеснялась.

— Проходите, гражданка! Здесь нельзя находиться: здесь склад, казенное место, — сказал ей сторож, когда Фрося остановилась и нащупывала деньги где-то в скважинах своей куртки.

Далее складов лежали запустелые, порожние земли, там росла какая-то небольшая, жесткая, злостная трава. Фрося пришла в то место и постояла в томлении среди мелкого мира худой травы, откуда, казалось, до звезд было километра два.

«Ах, Фро, Фро, хоть бы обнял тебя кто-нибудь!» — сказала она себе.

Возвратившись домой, Фрося сразу легла спать, потому что мальчик, игравший на губной гармонике, уже спал давно и кузнечики тоже перестали трещать. Но ей что-то мешало уснуть. Фрося огляделась в сумраке и принюхалась: ее беспокоила подушка, на которой рядом с ней спал когда-то Федор. От подушки все еще исходил тлеющий, земляной запах теплого, знакомого тела, и от этого запаха в сердце Фроси начиналась тоска. Она завернула подушку Федора в простыню и спрятала ее в шкаф, а потом уснула одна, по-сиротски.

На курсы связи и сигнализации Фрося больше не пошла — все равно ей наука теперь стала непонятна. Она жила дома и ожидала письма или телеграммы от Федора, боясь, что почтальон унесет письмо обратно, если не застанет никого дома. Однако минуло уже четыре дня, потом шесть, а Федор не присылал никакой вести, кроме первой телеграммы.

Отец вернулся из рейса, отведя холодный паровоз; он был счастливый, что поездил и потрудился, что видел много людей, дальние станции и различные происшествия; теперь ему надолго хватит, что вспомнить, подумать и рассказать. Но Фрося его не спросила ни о чем; тогда отец начал рассказывать ей сам — как шел холодный паровоз и приходилось не спать по ночам, чтобы слесари попутных станций не сняли с машины деталей; где продают дешевые ягоды, а где их весною морозом побило. Фрося ему ничего не отвечала, и даже когда Нефед Степанович говорил ей про маркизет и про искусственный шелк в Свердловске, дочь не поинтересовалась его словами. «Фашистка она, что ль? — подумал про нее отец. — Как же я ее зачал от жены? Не помню!»

Не дождавшись ни письма, ни телеграммы от Федора, Фрося поступила работать в почтовое отделение письмоносцем. Она думала, что письма, наверно, пропадают, и поэтому сама хотела носить их всем адресатам в целости. А письма Федора она хотела получать скорее, чем принесет их к ней посторонний, чужой письмоносец, и в ее руках они не пропадут. Она приходила в почтовую экспедицию раньше других письмоносцев — еще не играл мальчик на губной гармонии на верхнем этаже — и добровольно принимала участие в разборке и распределении корреспонденции. Она прочитывала адреса всех конвертов, приходивших в поселок, — Федор ничего ей не писал. Все конверты назначались другим людям, и внутри конвертов лежали какие-то неинтересные письма. Все-таки Фрося аккуратно, два раза в день, разносила письма по домам, надеясь, что в них лежит утешение для местных жителей. На утренней заре она быстро шла по улице поселка с тяжелой сумкой на животе, как беременная, стучала в двери и подавала письма и бандероли людям в подштанниках, оголенным женщинам и небольшим детям, проснувшимся прежде взрослых. Еще темно-синее небо стояло над окрестной землей, а Фрося уже работала, спеша утомить ноги, чтобы устало ее тревожное сердце. Многие адресаты интересовались ею по существу жизни и при получении корреспонденции задавали бытовые вопросы: «За девяносто два рубля в месяц работаете?» — «Да, — говорила Фрося. — Это с вычетами». Один получатель журнала «Красная новь» предложил Фросе выйти за него замуж — в виде опыта: что получится, может быть, счастье будет, а оно полезно. «Как вы на это реагируете?» — спросил подписчик. «Подумаю», — ответила Фрося. «А вы не думайте! — советовал адресат. — Вы приходите ко мне в гости, почувствуйте сначала меня: я человек нежный, читающий, культурный — вы же видите, на что я подписываюсь! Это журнал, он выходит

под редакцией редколлегии, там люди умные, вы видите, и там не один человек, и мы будем двое! Это же все солидно, и у вас, как у замужней женщины, авторитета будет больше!.. А девушка — это что, одиночка, антиобщественница какая-то!»

Много людей узнала Фрося, стоя с письмом или пакетом у чужих дверей. Ее пытались угощать вином и закуской, и ей жаловались на свою частную, текущую судьбу. Жизнь нигде не имела пустоты и спокойствия.

Уезжая, Федор обещал Фросе сразу же сообщить адрес своей работы: он сам не знал точно, где он будет находиться. Но вот уже прошло четырнадцать дней со времени его отъезда, а от него нет никакой корреспонденции, и ему некуда писать. Фрося терпела эту разлуку, она все более скоро разносила почту, все более часто дышала, чтобы занять сердце посторонней работой и утомить его отчаяние. Но однажды она нечаянно закричала среди улицы — во время второй почты. Фрося не заметила, как в ее груди внезапно сжалось дыхание, закатилось сердце, и она протяжно закричала высоким, поющим голосом. Ее видели прохожие люди. Опомнясь, Фрося тогда убежала в поле вместе с почтовой сумкой, потому что ей трудно стало терпеть свое пропадающее, пустое дыхание; там она упала на землю и стала кричать, пока сердце ее не прошло.

Фрося села, оправила на себе платье и улыбнулась, ей было теперь опять хорошо, больше кричать не надо.

После разноски почты Фрося зашла в отделение телеграфа, там ей передали телеграмму от Федора с адресом и поцелуем. Дома она сразу, не приняв пищи, стала писать письмо мужу. Она не видела, как кончился день за окном, не слушала мальчика, который играл перед сном на своей губной гармонии. Отец, постучавшись, принес дочери стакан чая, булку с маслом и зажег электрический свет, чтобы Фрося не портила глаз в сумраке.

Ночью Нефед Степанович задремал в кухне на сундуке. Его уже шесть дней не вызывали в депо; он полагал, что в сегодняшнюю ночь ему не миновать поездки, и ожидал шагов вызывальщика на лестнице.

В час ночи в кухню вошла Фрося со сложенным листом бумаги в руке.

— Папа!

— Ты что, дочка? — Старик спал слабо и чутко.

— Отнеси телеграмму на почту, а то я устала.

— А вдруг — я уйду, а вызывальщик придет? — испугался отец.

— Обождет, — сказала Фрося. — Ты ведь недолго будешь ходить… Только ты сам не читай телеграммы, а отдай ее там в окошко.

— Не буду, — обещал старик. — А ты же письмо писала, давай заодно отнесу.

— Тебя не касается, что́ я писала… У тебя деньги есть?

У отца деньги были; он взял телеграмму и отправился. В почтово-телеграфной конторе старик прочитал телеграмму. «Мало ли что, — решил он, — может, дочка заблуждение пишет, надо поглядеть».

Телеграмма назначалась Федору на Дальний Восток: «Выезжай первым поездом твоя жена дочь Фрося умирает при смерти осложнение дыхательных путей отец Нефед Евстафьев».

«Их дело молодое!» — подумал Нефед Степанович и отдал телеграмму в приемное окно.

— А я ведь видела сегодня Фросю! — сказала телеграфная служащая. — Неужели она заболела?

— Стало быть, так, — объяснил машинист.

Утром Фрося велела отцу опять идти на почту — отнести ее заявление, что она добровольно увольняется с работы вследствие болезненного состояния здоровья. Старик пошел опять, ему все равно в депо хотелось идти.

Фрося принялась чинить белье, штопать носки, мыть полы и убирать квартиру и никуда не ходила из дома.

Через двое суток пришел ответ «молнией»: «Выезжаю беспокоюсь мучаюсь не

хороните без меня Федор».

Фрося точно сосчитала время приезда мужа, и на седьмой день после получения телеграммы она ходила по перрону вокзала, дрожащая и веселая. С востока без опоздания прибывал транссибирский экспресс. Отец Фроси находился тут же, на перроне, но держался в отдалении от дочери, чтобы не мешать ее настроению.

Механик экспресса подвел поезд к станции с роскошной скоростью и мягко, нежно посадил состав на тормоза. Нефед Степанович, наблюдая эту вещь, немного прослезился, позабыв даже, зачем он сюда пришел.

Из поезда на этой станции вышел только один пассажир. Он был в шляпе, в длинном синем плаще, запавшие глаза его блестели от внимания. К нему побежала женщина.

— Фро! — сказал пассажир и бросил чемодан на перрон.

Отец потом поднял этот чемодан и понес его следом за дочерью и зятем.

На полдороге дочь обернулась к отцу.

— Папа, ступай в депо, попроси, чтобы тебе поездку дали, — тебе ведь скучно все время дома сидеть…

— Скучно, — согласился старик. — Сейчас пойду. Возьми у меня чемодан.

Зять глядел на старого машиниста.

— Здравствуйте, Нефед Степанович!

— Здравствуй, Федя! С приездом!

— Спасибо, Нефед Степанович…

Молодой человек хотел еще что-то сказать, но старик передал чемодан Фросе и ушел в сторону, в депо.

— Милый, я всю квартиру прибрала, — говорила Фрося. — Я не умирала.

— Я догадался в поезде, что ты не умираешь, — отвечал муж. — Я верил твоей телеграмме недолго…

— А почему же ты тогда приехал? — удивилась Фрося.

— Я люблю тебя, я соскучился, — грустно сказал Федор.

Фрося опечалилась.

— Я боюсь, что ты меня разлюбишь когда-нибудь, и тогда я вправду умру…

Федор поцеловал ее сбоку в лицо.

— Если умрешь, ты тогда всех забудешь, и меня, — сказал он.

Фрося оправилась от горя.

— Нет, умирать неинтересно. Это пассивность.

— Конечно, пассивность, — улыбнулся Федор; он любил ее высокие, ученые слова. Раньше Фро даже специально просила, чтобы он научил ее умным фразам, и он написал ей целую тетрадь умных и пустых слов: «Кто сказал „а“, должен говорить „б“», «Камень, положенный во главу угла», «Если это так, а это именно так» — и тому подобное. Но Фро догадалась про обман. Она спросила его: «А зачем после буквы „а“ обязательно говорить „б“, а если не надо и я не хочу?»

Дома они сразу легли отдыхать и уснули. Часа через три постучал отец. Фрося открыла и подождала, пока старик наложил в железный сундучок харчей и снова ушел. Его, наверное, назначили в рейс. Фрося закрыла дверь и опять легла спать. Проснулись они уже ночью. Они поговорили немного, потом Федор обнял Фро, и они умолкли до утра.

На следующий день Фрося быстро приготовила обед, накормила мужа и сама поела. Она делала сейчас все кое-как, нечисто, невкусно, но им обоим было все равно, что́ есть и что́ пить, лишь бы не терять на материальную, постороннюю нужду время своей любви.

Фрося рассказывала Федору о том, что она теперь начнет хорошо и прилежно учиться, будет много знать, будет трудиться, чтобы в стране жилось всем людям еще лучше.

Федор слушал Фро, затем подробно объяснял ей свои мысли и проекты — о передаче силовой энергии без проводов, посредством ионизированного воздуха, об увеличении прочности всех металлов через обработку их ультразвуковыми волнами, о стратосфере на высоте в сто километров, где есть особые световые, тепловые и электрические условия,

способные обеспечить вечную жизнь человеку, — поэтому мечта древнего мира о небе теперь может быть исполнена, — и многое другое обещал обдумать и сделать Федор ради Фроси и заодно ради всех остальных людей.

Фрося слушала мужа в блаженстве, приоткрыв уже усталый рот. Наговорившись, они обнимались — они хотели быть счастливыми немедленно, теперь же, раньше, чем их будущий усердный труд даст результаты для личного и всеобщего счастья. Ни одно сердце не терпит отлагательства, оно болит, оно точно ничему не верит. Заспав утомление от мысли, беседы и наслаждения, они просыпались снова свежими, готовые к повторению жизни. Фрося хотела, чтобы у нее народились дети, она их будет воспитывать, они вырастут и доделают дело своего отца, дело коммунизма и науки. Федор в страсти воображения шептал Фросе слова о таинственных силах природы, которые дадут богатство человечеству, о коренном изменении жалкой души человека… Затем они целовались, ласкали друг друга, и благородная мечта их превращалась в наслаждение, точно сразу же осуществляясь.

По вечерам Фрося выходила из дома ненадолго и закупала продовольствие для себя и мужа, у них обоих все время увеличивался теперь аппетит. Они прожили не разлучаясь уже четверо суток. Отец до сих пор еще не возвратился из поездки: наверно, опять повел далеко холодный паровоз.

Еще через два дня Фрося сказала Федору, что вот они еще побудут так вместе немножко, а потом надо за дело и за жизнь приниматься.

— Завтра же или послезавтра мы начнем с тобою жить по-настоящему! — говорил Федор и обнимал Фро.

— Послезавтра! — шепотом соглашалась Фро.

На восьмой день Федор проснулся печальным.

— Фро! Пойдем трудиться, пойдем жить, как нужно… Тебе надо опять на курсы связи поступить.

— Завтра! — прошептала Фро и взяла голову мужа в свои руки.

Он улыбнулся ей и смирился.

— Когда же, Фро? — спрашивал Федор на следующий день.

— Скоро, скоро, — отвечала дремлющая, кроткая Фро; руки ее держали его руку, он поцеловал ее в лоб.

Однажды Фрося проснулась поздно, день давно разгорелся на дворе. Она была одна в комнате, шел, наверно, десятый или двенадцатый день ее неразлучного свидания с мужем. Фрося сразу поднялась с постели, отворила настежь окно и услышала губную гармонию, которую она совсем забыла. Гармония играла не наверху. Фрося поглядела в окно. Около сарая лежало бревно, на нем сидел босой мальчик с большой детской головой и играл на губной музыке.

Во всей квартире было тихо и странно, Федор куда-то отлучился. Фрося вышла на кухню. Там сидел отец на табуретке и дремал, положив голову в шапке на кухонный стол. Фрося разбудила его.

— Ты когда приехал?

— А? — воскликнул старик. — Сегодня, рано утром.

— А кто тебе дверь отворил? Федор?

— Никто, — сказал отец, — она была открыта… Меня Федор на вокзале нашел, я там спал на лавке.

— А почему ты спал на вокзале, что у тебя — места нету? — рассердилась Фрося.

— А что! Я там привык, — говорил отец. — Я думал — мешать вам буду…

— Ну уж ладно, ханжа! А где Федор, когда он явится?..

Отец затруднился.

— Он не явится, — сказал старик, — он уехал…

Фро молчала перед отцом. Старик внимательно глядел на кухонную ветошку и продолжал:

— Утром курьерский был, он сел и уехал на Дальний Восток. Может, говорит, потом в

Китай проберусь — неизвестно.

— А еще что он говорил? — спросила Фрося.

— Ничего, — ответил отец. — Велел мне идти к тебе домой и беречь тебя. Как, говорит, поделает все дела, так либо сюда вернется, либо тебя к себе выпишет.

— Какие дела? — узнавала Фрося.

— Не знаю, — произнес старик. — Он сказал, ты все знаешь: коммунизм, что ль, или еще что-нибудь.

Фро оставила отца. Она ушла к себе в комнату, легла животом на подоконник и стала глядеть на мальчика, как он играет на губной гармонии.

— Мальчик! — позвала она. — Иди ко мне в гости.

— Сейчас, — ответил гармонист.

Он встал с бревна, вытер свою музыку о подол рубашки и направился в дом, в гости.

Фро стояла одна среди большой комнаты, в ночкой рубашке. Она улыбалась в ожидании гостя.

— Прощай, Федор!

Может быть, она глупа, может быть, ее жизнь стоит две копейки и не нужно ее любить и беречь, но зато она одна знает, как две копейки превратить в два рубля.

— Прощай, Федор! Ты вернешься ко мне, и я тебя дождусь!

В наружную дверь робко постучал маленький гость. Фрося впустила его, села перед ним на пол, взяла руки ребенка в свои руки и стала любоваться музыкантом: этот человек, наверно, и был тем человечеством, о котором Федор говорил ей милые слова.

Река Потудань

Трава опять отросла по набитым грунтовым дорогам гражданской войны, потому что война прекратилась. В мире, по губерниям снова стало тихо и малолюдно: некоторые люди умерли в боях, многие лечились от ран и отдыхали у родных, забывая в долгих снах тяжелую работу войны, а кое-кто из демобилизованных еще не успел вернуться домой и шел теперь в старой шинели, с походной сумкой, в мягком шлеме или овечьей шапке, — шел по густой, незнакомой траве, которую раньше не было времени видеть, а может быть — она просто была затоптана походами и не росла тогда. Они шли с обмершим, удивленным сердцем, снова узнавая поля и деревни, расположенные в окрестности по их дороге; душа их уже переменилась в мучении войны, в болезнях и в счастье победы, — они шли теперь жить точно впервые, смутно помня себя, какими они были три-четыре года назад, потому что они превратились совсем в других людей — они выросли от возраста и поумнели, они стали терпеливей и почувствовали внутри себя великую всемирную надежду, которая сейчас стала идеей их пока еще небольшой жизни, не имевшей ясной цели и назначения до гражданской войны.

Поздним летом возвращались домой последние демобилизованные красноармейцы. Они задержались по трудовым армиям, где занимались разным незнакомым ремеслом и тосковали, и лишь теперь им велели идти домой к своей и общей жизни.

По взгорью, что далеко простерто над рекою Потудань, уже вторые сутки шел ко двору, в малоизвестный уездный город, бывший красноармеец Никита Фирсов. Это был человек лет двадцати пяти от роду, со скромным, как бы постоянно опечаленным лицом, — ко это выражение его лица происходило, может быть, не от грусти, а от сдержанной доброты характера либо от обычной сосредоточенности молодости. Светлые, давно не стриженные волосы его опускались из-под шапки на уши, большие серые глаза глядели с угрюмым напряжением в спокойную, скучную природу однообразной страны, точно пешеход был нездешний.

В полдень Никита Фирсов прилег около маленького ручья, Ткущего из родника по дну балки в Потудань. И пеший человек дремал на земле под солнцем, в сентябрьской траве, уже уставшей расти здесь с давней весны. Теплота жизни словно потемнела в нем, и Фирсов

уснул в тишине глухого места. Насекомые лета а над ним, плыла паутина, какой-то бродяга-человек переступил и рез него и, не тронув спящего, не заинтересовавшись им, пошёл' дальше по своим делам. Пыль лета и долгого бездождия высок стояла в воздухе, сделав более неясным и слабым небесный свет но все равно время мира, как обычно, шло вдалеке вослед солнцу… Вдруг Фирсов поднялся и сел, тяжко, испуганно дыша, точно он запалился в невидимом беге и борьбе. Ему приснился страшный сон, что его душит своею горячей шерстью маленькое, упитанное животное, вроде полевого зверька, откормившегося чистой пшеницей. Это животное, взмокая потом от усилия и жадности, залезло спящему в рот, в горло, стараясь пробраться цепкими лапками в самую середину его души, чтобы сжечь его дыхание. Задохнувшись во сне, Фирсов хотел вскрикнуть, побежать, но зверек самостоятельно вырвался из него, слепой, жалкий, сам напуганный и дрожащий, и скрылся в темноте своей ночи.

Фирсов умылся в ручье и прополоскал рот, а потом пошел скорее дальше; дом его отца уже был близко, и к вечеру можно успеть дойти до него.

Как только смерклось, Фирсов увидел свою родину в смутной, начавшейся ночи. То было покатое, медленное нагорье, подымавшееся от берегов Потудани к ржаным, возвышенным полям. На этом нагорье расположился небольшой город, почти невидимый сейчас благодаря темноте. Ни одного огня не горело там.

Отец Никиты Фирсова спал сейчас: он лег, как только вернулся с работы, когда еще солнце не зашло. Он жил в одиночестве, жена его давно умерла, два сына исчезли на империалистической войне, а последний сын, Никита, был на гражданской: он, может быть, еще вернется, думал про последнего сына отец, гражданская война идет близко около домов и по дворам, и стрельбы там меньше, чем на империалистической. Спал отец помногу — с вечерней зари до утренней, — иначе, если не спать, он начинал думать разные мысли, воображать забытое, и сердце его мучилось в тоске по утраченным сыновьям, в печали по своей скучно прошедшей жизни. С утра он сразу уходил в мастерскую крестьянской мебели, где он уже много лет работал столяром, — и там, среди работы, ему было более терпимо, он забывался. Но к вечеру ему делалось хуже в душе, и, вернувшись на квартиру, в одну комнату, он поскорее, почти в испуге, засыпал до завтрашнего утра; ему и керосин был не нужен. А на рассвете мухи начинали кусать его в лысину, старик просыпался и долго, помаленьку, бережно одевался, обувался, умывался, вздыхал, топтался, убирал комнату, бормотал сам с собою, выходил наружу, смотрел там погоду и возвращался — лишь бы потратить ненужное время, что оставалось до начала работы в мастерской крестьянской мебели.

В нынешнюю ночь отец Никиты Фирсова спал, как обычно, по необходимости и от усталости. Сверчок, уже которое лето, жил себе в завалинке дома и напевал оттуда в вечернее время — не то это был тот же самый сверчок, что и в позапрошлое лето, не то внук его. Никита подошел к завалинке и постучал в окошко отца; сверчок умолк на время, словно он прислушивался, кто это пришел

— незнакомый, поздний человек. Отец слез с деревянной старой кровати, на которой он спал еще с покойной матерью всех своих сыновей, и сам Никита родился когда-то на этой же кровати. Старый, худой человек был сейчас в подштанниках, от долгой носки и стирки они сели и сузились, поэтому приходились ему только до колен. Отец близко прислонился к оконному стеклу и глядел оттуда на сына. Он уже увидел, узнал своего сына, но все еще смотрел и смотрел на него, желая наглядеться. Потом он побежал, небольшой и тощий, как мальчик, кругом через сени и двор — отворять запертую на ночь калитку.

Никита вошел в старую комнату, с лежанкой, низким потолком, с одним маленьким окном на улицу. Здесь пахло тем же запахом, что и в детстве, что и три года назад, когда он ушел на войну; даже запах материнского подола еще чувствовался тут — в единственном месте на всем свете. Никита снял сумку и шапку, медленно разделся и сел на кровать. Отец все время стоял перед ним, босой и в подштанниках, не смея еще ни поздороваться как следует, ни заговорить.

— Ну как там буржуи и кадеты? — спросил он немного погодя. — Всех их побили иль еще маленько осталось?

— Да нет, почти всех, — сказал сын.

Отец кратко, но серьезно задумался: все-таки ведь целый класс умертвили, это большая работа была.

— Ну да, они же квелые! — сообщил старик про буржуев. — Чего они могут, они только даром жить привыкли…

Никита встал перед отцом, он был теперь выше его головы на полторы. Старик молчал около сына в скромном недоумении своей любви к нему. Никита положил руку на голову отца и привлек его к себе на грудь. Старый человек прислонился к сыну и начал часто, глубоко дышать, словно он пришел к своему отдыху.

На одной улице того же города, выходившей прямо в поле, стоял деревянный дом с зелеными ставнями. В этом доме жила когда-то вдовая старушка, учительница городского училища; вместе с нею жили ее дети — сын, мальчик лет десяти, и дочь, белокурая девочка Люба, пятнадцати лет.

Отец Никиты Фирсова хотел несколько лет тому назад жениться на вдовой учительнице, но вскоре сам оставил свое намерение. Два раза он брал с собою в гости к учительнице Никиту, тогда еще мальчика, и Никита видел там задумчивую девочку Любу, которая сидела и читала книжки, не обращая внимания на чужих гостей.

Старая учительница угощала столяра чаем с сухарями и говорила что-то о просвещении народного ума и о ремонте школьных печей. Отец Никиты сидел все время молча; он стеснялся, крякал, кашлял и курил цигарки, а потом с робостью пил чай из блюдца, не трогая сухарей, потому что, дескать, давно уже сыт.

В квартире учительницы, во всех ее двух комнатах и в кухне, стояли стулья, на окнах висели занавески, в первой комнате находились пианино и шкаф для одежды, а в другой, дальней, комнате имелись кровати, два мягких кресла из красного бархата и там же на стенных полках помещалось много книг,

— наверно, целое собранье сочинений. Отцу и сыну эта обстановка казалась слишком богатой, и отец, посетив вдову всего два раза, перестал к ней ходить. Он даже не управился ей сказать, что хочет на ней жениться. Но Никите было интересно увидеть еще раз пианино и читающую, задумчивую девочку, поэтому он просил отца жениться на старушке, чтобы ходить к ней в гости.

— Нельзя, Никит! — сказал в то время отец. — У меня образования мало, о чем я с ней буду говорить! А к нам их позвать — стыдно: у нас посуды нету, харчи нехорошие… Ты видал, у них кресла какие? Старинные, московские! А шкаф? По всем фасу резьба и выборка: я понимаю!.. А дочь! Она, наверно, курсисткой будет, И отец теперь уже несколько лет не видел своей старой невесты, лишь иногда он, может быть, скучал по ней или просто размышляя.

На другой день после возвращения с гражданской войны Никита пошел в военный комиссариат, чтобы его отметили там в запас Затем Никита обошел весь знакомый, родной город, и у него заболело сердце от вида устаревших, небольших домов, сотлевших заборов и плетней и редких яблонь по дворам, многие из которых уже умерли, засохли навсегда. В его детстве эти яблони еще были зелеными, а одноэтажные дома казались большими и богатыми, населенными таинственными умными людьми, и улицы тогда были длинными, лопухи высокими, и бурьян на пустырях, на заброшенных огородах представлялся в то давнее время лесною, жуткою чащей. А сейчас Никита увидел, что маленькие дома жителей были жалкими, низкими, их надо красить и ремонтировать, бурьян на пустых местах беден, он растет не страшно, а заунывно, обитаемый лишь старыми, терпеливыми муравьями, и все улицы скоро кончались волевою землей, светлым небесным пространством, — город стал небольшим. Никита подумал, что, значит, им уже много жизни прожито, если большие, таинственные предметы обратились в маленькие и скучные.

Он медленно прошел мимо дома с зелеными ставнями, куда он некогда ходил в гости с

отцом. Зеленую краску на ставнях он знал только по памяти, теперь от нее остались одни слабые следы, — она выцвела от солнца, была вымыта ливнями и дождями, вылиняла до древесины; и железная крыша на доме уже сильно заржавела — теперь, наверно, дожди проникают через крышу и мокнет потолок над пианино в квартире. Никита внимательно посмотрел в окна этого дома; занавесок на окнах теперь не было, по ту сторону стекол виднелась чужая тьма. Никита сел на скамейку около калитки обветшалого, но все же знакомого дома. Он думал, что, может быть, кто-нибудь заиграет на пианино внутри дома, тогда он послушает музыку. Но в доме было тихо, ничего не известно. Подождав немного, Никита поглядел в щель забора на двор, там росла старая крапива, пустая тропинка вела меж ее зарослями в сарай и три деревянные ступеньки подымались в сени. Должно быть, умерли уже давно и учительница-старушка, и ее дочка Люба, а мальчик ушел добровольцем на войну…

Никита направился к себе домой. День пошел к вечеру, — скоро отец придет ночевать, надо будет подумать с ним, как жить дальше и куда поступать на работу.

На главной улице уезда было небольшое гулянье, потому что народ начал оживать после войны. Сейчас по улице шли служащие, курсистки, демобилизованные, выздоравливающие от ран, подростки, люди домашнего и кустарного труда и прочие, а рабочий человек выйдет сюда на прогулку позже, когда совсем смеркнется. Одеты люди были в старую одежду, по-бедному, либо в поношенное военное обмундирование времен империализма.

Почти все прохожие, даже те, которые шли под руку, будучи женихами и невестами, имели при себе что-нибудь для хозяйства. Женщины несли в домашних сумках картофель, а иногда рыбу, мужчины держали под мышкой пайковый хлеб или половину коровьей головы либо скупо хранили в руках требуху на приварок, Но редко кто шел в унынии, разве только вовсе пожилой, истомленный человек. Более молодые обычно смеялись и близко глядели лица друг другу, воодушевленные и доверчивые, точно они были накануне вечного счастья.

— Здравствуйте! — несмело со стороны сказала женщина Никите Фирсову.

И голос тот сразу коснулся и согрел его, будто кто-то, дорогой и потерянный, отозвался ему на помощь. Однако Никите показалось, что это ошибка и это поздоровались не с ним. Боясь ошибиться, он медленно поглядел на ближних прохожих. Но их сейчас было всего два человека, и они уже миновали его. Никита оглянулся, — большая, выросшая Люба остановилась и смотрела в его сторону. Она грустно и смущенно улыбалась ему.

Никита подошел к ней и бережно оглядел ее — точно ли она сохранилась вся в целости, потому что даже в воспоминании она для него была драгоценность. Австрийские башмаки ее, зашнурованные бечевой, сильно износились, кисейное, бледное платье доходило ей только до колен, больше, наверно, не хватило материала, — и это платье заставило Никиту сразу сжалиться над Любой — он видел такие же платья на женщинах в гробах, а здесь кисея покрывала живое, выросшее, но бедное тело. Поверх платья был надет старый дамский жакет, — наверно, его носила еще мать Любы в свою девичью пору, — а на голове Любы ничего не было, одни простые волосы, свитые пониже шеи в светлую прочную косу.

— Вы меня не помните? — спросила Люба.

— Нет, я вас не забыл, — ответил Никита.

— Забывать никогда не надо, — улыбнулась Люба.

Ее чистые глаза, наполненные тайною душою, нежно глядели на Никиту, словно любовались им. Никита также смотрел в ее лицо, и его сердце радовалось и болело от одного вида ее глаз, глубоко запавших от житейской нужды и освещенных доверчивой надеждой.

Никита пошел с Любой одной к ее дому, — она жила все там же. Мать ее умерла не так давно, а младший брат кормился в голод около красноармейской полевой кухни, потом привык там бывать я ушел вместе с красноармейцами на юг против неприятеля.

— Он кашу там есть привык, а дома ее не было, — говорила Люба про брата.

Люба теперь жила лишь в одной комнате, — больше ей не надо. С замершим чувством

Никита осмотрелся в этой комнате, где он в первый раз видел Любу, пианино и богатую обстановку. Сейчас здесь не было уже ни пианино, ни шкафа с резьбою по всему фасу, остались одни два мягких кресла, стол и кровать, и сама комната теперь перестала быть такою интересной и загадочной, как тогда, в ранней юности, — обои на стенах выцвели и ободрались, пол истерся, около изразцовой печи находилась небольшая железная печка, которую можно истопить горстью щепок, чтобы немного согреться около нее.

Люба вынула общую тетрадь из-за пазухи, потом сняла башмаки и осталась босая. Она училась теперь в уездной академии медицинских наук: в те годы по всем уездам были университеты и академии, потому что народ желал поскорее приобрести высшее знание; бессмысленность жизни, так же как голод и нужда, слишком измучили человеческое сердце, и надо было понять, что же есть существование людей, это — серьезно или нарочно?

— Они мне ноги трут, — сказала Люба про свои башмаки. — Вы посидите еще, а я лягу спать, а то мне очень сильно есть хочется, а я не хочу думать об этом…

Люба, не раздеваясь, залезла под одеяло на кровати и положила косу себе на глаза.

Никита молча просидел часа два-три, пока Люба не проснулась. Тогда уже настала ночь, и Люба встала в темноте.

— Моя подруга, наверно, сегодня не придет, — грустно сказала Люба.

— А что — она вам нужна? — спросил Никита.

— Даже очень, — произнесла Люба. — У них большая семья и отец военный, она мне приносит ужин, если у нее что-нибудь останется… Я поем, и мы с ней начинаем заниматься…

— А керосин у вас есть? — спросил Никита.

— Нет, мне дрова дали… Мы печку зажигаем — мы на полу садимся и видим от огня.

Люба беспомощно, стыдливо улыбнулась, словно ей пришла на ум жестокая и грустная мысль.

— Наверно, ее старший брат, мальчишка, не заснул, — сказала она. — Он не велит, чтоб меня его сестра кормила, ему жалко… А я не виновата! Я и так не очень люблю кушать: это не я — голова сама начинает болеть, она думает про хлеб и мешает мне Жить и думать другое…

— Люба! — позвал около окна молодой голос.

— Женя! — отозвалась Люба в окно.

Пришла подруга Любы. Она вынула из кармана своей куртку четыре больших печеных картошки и положила их на железную печку.

— А гистологию достала? — спросила Люба..

— А у кого ее доставать-то! — ответила Женя. — Меня в очередь в библиотеке записали…

— Ничего, обойдемся, — сообщила Люба. — Я две первые главы на факультете на память выучила. Я буду говорить, а ты запишешь. Пройдет?

— А раньше-то! — засмеялась Женя.

Никита растопил печку для освещения тетрадей огнем и собрался уходить к отцу на ночлег.

— Вы теперь не забудете меня? — попрощалась с ним Люба.

— Нет, — сказал Никита. — Мне больше некого помнить.

* * *

Фирсов полежал дома после войны два дня, а потом поступил работать в мастерскую крестьянской мебели, где работал его отец. Его зачислили плотником на подготовку материала, и расценок его был ниже, чем у отца, почти в два раза. Но Никита знал, что это временно, пока он не привыкнет к мастерству, а тогда его переведут в столяры и заработок станет лучше.

Работать Никита никогда не отвыкал. В Красной Армии тоже люди не одной войною

занимались — на долгих постоях и в резервах красноармейцы рыли колодцы, ремонтировали избушки бедняков в деревнях и сажали кустарник в вершинах действующих оврагов, чтобы земля дальше не размывалась. Война ведь пройдет, а жизнь останется, и о ней надо было заранее позаботиться.

Через неделю Никита снова пошел в гости к Любе; он понес ей в подарок вареную рыбу и хлеб — свое второе блюдо от обеда в рабочей столовой.

Люба спешила читать по книжке у окна, пользуясь тем, что еще не погасло солнце на небе; поэтому Никита некоторое время сидел в комнате у Любы молчаливо, ожидая ночной темноты. Но вскоре сумрак сравнялся с тишиной на уездной улице, а Люба потерла свои глаза и закрыла учебную книгу.

— Как поживаете? — тихо спросила Люба.

— Мы с отцом живем, мы — ничего, — сказал Никита. — Я вам там покушать принес, — вы съешьте, пожалуйста, — попросил он.

— Я съем, спасибо, — произнесла Люба.

— А спать не будете? — спросил Никита.

— Не буду, — ответила Люба. — Я же поужинаю сейчас, я буду сыта!

Никита принес из сеней немного мелких дровишек и разжег железную печку, чтобы был свет для занятий. Он сел на пол, открыл печную дверцу и клал щепки и худые короткие поленья в огонь, стараясь, чтоб тепла было поменьше, а света побольше. Съев рыбу с хлебом, Люба тоже села на пол, против Никиты и около света из печки, и начала учить по книжке свою медицину.

Она читала молча, однако изредка шептала что-то, улыбалась и записывала мелким, быстрым почерком несколько слов в блокнот — наверно, самые важные вещи. А Никита только следил за правильным горением огня, и лишь время от времени — не часто — он смотрел в лицо Любы, но затем опять подолгу глядел на огонь, потому что боялся надоесть Любе своим взглядом. Так время шло, и Никита думал с печалью, что скоро оно пройдет совсем и ему настанет пора уходить домой.

В полночь, когда пробили часы на колокольне, Никита спросил у Любы, отчего не пришла ее подруга, по имени Женя.

— А у нее тиф повторился, она, наверное, умрет, — ответила Люба и опять стала читать медицину.

— Вот это жалко! — сказал Никита, но Люба ничего не ответила ему.

Никита представил себе в мысли больную, горячую Женю, — и, в сущности, он тоже мог бы ее искренне полюбить, если б узнал ее раньше и если бы она была немного добра к нему. Она тоже, кажется, прекрасная: зря он ее не разглядел тогда во тьме и плохо запомнил.

— Я уже спать хочу, — прошептала Люба, вздыхая.

— А поняли все, что прочитали-то? — спросил Никита.

— Все чисто! Хотите, расскажу? — предложила Люба.

— Не надо, — отказался Никита. — Вы лучше берегите при себе, а то я все равно забуду.

Он подмел веником сор около печки и ушел к отцу.

С тех пор он посещал Любу почти каждый день, лишь иногда пропуская сутки или двое, ради того, чтоб Люба поскучала по нем. Скучала она или нет

— неизвестно, но в эти пустые вечера Никита вынужден был ходить по десять, по пятнадцать верст, несколько раз вокруг всего города, желая удержать себя в одиночестве, вытерпеть без утешения тоску по Любе и не пойти к ней.

У нее в гостях он обыкновенно занимался тем, что топил печь и ожидал, когда она ему скажет что-нибудь в промежуток, отвлекшись от своего учения по книге. Каждый раз Никита приносил Любе на ужин немного пищи из столовой при мастерской крестьянской мебели; обедала же она в своей академии, но там давали кушать слишком мало, а Люба много думала, училась вдобавок еще росла, и ей не хватало питания. В первую же свою получку Никита купил в ближней деревне коровьи ноги и затем всю ночь варил студень на железной

печке, а Люба до полночи занималась с книгами и тетрадями, потом чинила свою одежду штопала чулки, мыла полы на рассвете и купалась на дворе в кадушке с дождевой водой, пока еще не проснулись посторонние люди.

Отцу Никиты было скучно жить все вечера одному, без сына, а Никита не говорил, куда он ходит. «Он сам теперь человек, — думал старик. — Мог же ведь быть убитым или раненным на войне, а раз живет — пусть ходит!»

Однажды старик заметил, что сын принес откуда-то две белые булки. Но он их сразу же завернул в отдельную бумагу, а его не угостил. Затем Никита, как обычно, надел фуражку и пошел до полночи и обе булки тоже взял с собой.

— Никит, возьми меня с собой! — попросился отец. — Я там ничего не буду говорить, я только гляну… Там интересно, — должно быть, что-нибудь выдающееся!

— В другой раз, отец, — стесняясь, сказал Никита. — А то тебе сейчас спать пора, завтра ведь на работу надо идти…

В тот вечер Никита не застал Любы, ее не было дома. Он сел тогда на лавочку у ворот и стал ожидать хозяйку. Белые булки он положил себе за пазуху и согревал их там, чтоб они не остыли до прихода Любы. Он сидел терпеливо до поздней ночи, наблюдая звезды на небе и редких прохожих людей, спешивших к детям в свои жилища, слушал звон городских часов на колокольне, лай собак по дворам и разные тихие, неясные звуки, которые днем не существуют. Он бы мог прожить здесь в ожидании, наверно, до самой своей смерти.

Люба неслышно появилась из тьмы перед Никитой. Он встал перед ней, но она сказала ему: «Идите лучше домой», — и заплакала. Она пошла к себе в квартиру, а Никита обождал еще снаружи в недоумении и пошел за Любой.

— Женя умерла, — сказала Люба ему в комнате. — Что я теперь буду делать?..

Никита молчал. Теплые булки лежали у него за пазухой — не то их надо вынуть сейчас, не то теперь уж ничего не нужно. Люба легла в одежде на кровать, отвернулась лицом к стене и плакала там сама для себя, беззвучно и почти не шевелясь.

Никита долго стоял один в ночной комнате, стесняясь помешать чужому грустному горю. Люба не обращала на него внимания, потому что печаль от своего горя делает людей равнодушными ко всем другим страдающим. Никита самовольно сел на кровать в ногах у Любы и вынул булки из-за пазухи, чтобы деть их куданибудь, но пока не находил для них места.

— Давайте я с вами буду теперь! — сказал Никита.

— А что вы будете делать? — спросила Люба в слезах. Никита подумал, боясь ошибиться или нечаянно обидеть Любу.

— Я ничего не буду, — отвечал он. — Мы станем жить как обыкновенно, чтоб вы не мучились.

— Обождем, нам нечего спешить, — задумчиво и расчетливо произнесла Люба. — Надо вот подумать, в чем Женю хоронить, — у них гроба нету…

— Я завтра его принесу, — пообещал Никита и положил булки на кровать.

На другой день Никита спросил разрешения у мастера и стал делать гроб; их всегда позволяли делать свободно и за материал не высчитывали. По неумению он делал его долго, но зато тщательно и особо чисто отделал внутреннее ложе для покойной девушки; от воображения умершей Жени Никита сам расстроился и немного покапал слезами в стружки. Отец, проходя по двору, подошел к Никите и заметил его расстройство.

— Ты что тоскуешь: невеста умерла? — спросил отец.

— Нет, подруга ее, — ответил он.

— Подруга? — сказал отец. — Да чума с ней!.. Дай я тебе борта в гробу поравняю, у тебя некрасиво вышло, точности не видать!

После работы Никита понес гроб к Любе; он не знал, где лежит ее мертвая подруга.

В тот год долго шла теплая осень, и народ был доволен. «Хлебу вышел недород, так мы на дровах сбережем», — говорили экономические люди. Никита Фирсов загодя заказал сшить из своей красноармейской шинели женское пальто для Любы, но пальто уже

приготовили, а надобности, за теплым временем, в нем все еще не было. Никита по-прежнему ходил к Любе на квартиру, чтобы помогать ей жить и самому в ответ получать питание для наслаждения сердца.

Он ее спрашивал один раз, как они дальше будут жить — вместе или отдельно. А она отвечала, что до весны не имеет возможности чувствовать свое счастье, потому что ей надо поскорее окончить академию медицинских знаний, а там — видно будет Никита выслушал это далекое обещание, но не требовал большего счастья, чем оно уже есть у него благодаря Любе, и он не знал есть ли оно еще лучшее, но сердце его продрогло от долгого терпения и неуверенности — нужен ли он Любе сам по себе, как бедный, малограмотный, демобилизованный человек. Люба иногда с улыбкой смотрела на него своими светлыми глазами, в которых находились большие, черные, непонятные точки, а лицо ее вокруг глаз было исполнено добром.

Однажды Никита заплакал, покрывая Любу на ночь одеялом перед своим уходом домой, а Люба только погладила его по голове и сказала: «Ну будет вам, нельзя так мучиться, когда я еще жива».

Никита поспешил уйти к отцу, чтобы там укрыться, опомниться и не ходить к Любе несколько дней подряд. «Я буду читать, — решал он, — и начну жить по-настоящему, а Любу забуду, не стану ее помнить и знать. Что она такое особенное — на свете великие миллионы живут, еще лучше ее есть. Она некрасивая!»

Наутро он не встал с подстилки, на которой спал на полу. Отец, уходя на работу, попробовал его голову и сказал:

— Ты горячий: ложись на кровать! Поболей немножко, потом выздоровеешь… Ты на войне нигде не раненный?

— Нигде, — ответил Никита.

Под вечер он потерял память; сначала он видел все время потолок и двух поздних предсмертных мух на нем, приютившихся греться там для продолжения жизни, а потом эти же предметы стали вызывать в нем тоску, отвращение, — потолок и мухи словно забрались к нему внутрь мозга, их нельзя было изгнать оттуда и перестать думать о них все более увеличивающейся мыслью, съедающей уже головные кости. Никита закрыл глаза, но мухи кипели в его мозгу, он вскочил с кровати, чтобы прогнать мух с потолка, и упал обратно на подушку: ему показалось, что от подушки еще пахло материнским дыханием — мать ведь здесь же спала рядом с отцом, — Никита вспомнил ее и забылся.

Через четыре дня Люба отыскала жилище Никиты Фирсова и явилась к нему в первый раз сама. Шла только середина дня; во всех домах, где жили рабочие, было безлюдно — женщины ушли доставать провизию, а дошкольные ребятишки разбрелись по дворам и полянам. Люба села на кровать к Никите, погладила ему лоб, протерла глаза концом своего носового платка и спросила:

— Ну что, где у тебя болит?

— Нигде, — сказал Никита.

Сильный жар уносил его в своем течении вдаль ото всех людей и ближних предметов, и он с трудом видел сейчас и помнил Любу, боясь ее потерять в темноте равнодушного рассудка; он взялся рукой за карман ее пальто, сшитого из красноармейской шинели, и держался за него, как утомленный пловец за отвесный берег, то утопая, то спасаясь. Болезнь все время стремилась увлечь его на сияющий, пустой горизонт — в открытое море, чтоб он там отдохнул на медленных, тяжелых волнах.

— У тебя грипп, наверно, я тебя вылечу, — сказала Люба. — А может, и тиф!.. Но ничего — не страшно!

Она подняла Никиту за плечи и посадила его спиной к стене. Затем быстро и настойчиво Люба переодела Никиту в свое пальто, нашла отцовский шарф и повязала им голову больного, а ноги его всунула в валенки, валявшиеся до зимы под кроватью. Обхватив Никиту, Люба велела ему ступить ногами и вывела его, озябшего, на улицу. Там стоял извозчик. Люба подсадила больного в пролетку, и они поехали.

— Не жилец народ живет! — сказал извозчик, обращаясь к лошади, беспрерывно погоняя ее вожжами на уездную мелкую рысь.

В своей комнате Люба раздела и уложила Никиту в кровать и укрыла его одеялом, старой ковровой дорожкой, материнскою ветхою шалью — всем согревающим добром, какое у нее было.

— Зачем тебе дома лежать? — удовлетворенно говорила Люба, подтыкая одеяло под горячее тело Никиты. — Ну зачем!.. Отец твой на работе, ты лежишь целый день один, ухода ты никакого не видишь и тоскуешь по мне…

Никита долго решал и думал, где Люба взяла денег на извозчика. Может быть, она продала свои австрийские башмаки или учебную книжку (она ее сначала выучила наизусть, чтобы не нужна была), или же она заплатила извозчику всю месячную стипендию…

Ночью Никита лежал в смутном сознании: иногда он понимал, где сейчас находится, и видел Любу, которая топила печку и стряпала пищу на ней, а затем Никита наблюдал незнакомые видения своего ума, действующего отдельно от его воли в сжатой, горячей тесноте головы.

Озноб его все более усиливался. Время от времени Люба пробовала ладонью лоб Никиты и считала пульс в его руке. Поздно ночью она напоила его кипяченой, теплой водой и, сняв верхнее Платье, легла к больному под одеяло, потому что Никита дрожал от лихорадки и надо было согреть его. Люба обняла Никиту и прижала к себе, а он свернулся от стужи в комок и прильнул лицом к ее груди, чтобы теснее ощущать чужую, высшую, лучшую жизнь и позабыть свое мученье, свое продрогшее пустое тело. Но Никите жалко было теперь умирать,

— не ради себя, но ради того чтоб иметь прикосновение к Любе и к другой жизни, — поэтому он спросил шепотом у Любы, выздоровеет он или помрет: она ведь училась и должна знать.

Люба стиснула руками голову Никиты и ответила ему:

— Ты скоро поправишься… Люди умирают потому, что они болеют одни и некому их любить, а ты со мной сейчас… Никита пригрелся и уснул.

Недели через три Никита поправился. На дворе уже выпал снег, стало вдруг тихо повсюду, и Никита пошел зимовать к отцу; он не хотел мешать Любе до окончания академии, пусть ум ее разовьется полностью весь, она тоже из бедных людей. Отец обрадовался возвращению сына, хотя и посещал его у Любы из двух дней в третий, принося каждый раз для сына харчи, а Любе какой бы то ни было гостинец.

Днем Никита опять стал работать в мастерской, а вечером посещал Любу и зимовал спокойно; он знал, что с весны она будет его женой и с того времени наступит счастливая, долгая жизнь. Изредка Люба трогала, шевелила его, бегала от него по комнате, и тогда — после игры — Никита осторожно целовал ее в щеку. Обычно же Люба не велела ему напрасно касаться себя.

— А то я тебе надоем, а нам еще всю жизнь придется жить! — говорила она. — Я ведь не такая вкусная: тебе это кажется!..

В дни отдыха Люба и Никита ходили гулять по зимним дорогам за город или шли, полуобнявшись, по льду уснувшей реки Потудани — далеко вниз по летнему течению. Никита ложился животом и смотрел вниз под лед, где видно было, как тихо текла вода. Люба тоже устраивалась рядом с ним, и, касаясь друг друга, они наблюдали укромный поток воды и говорили, насколько счастлива река Потудань, потому что она уходит в море и эта вода подо льдом будет течь мимо берегов далеких стран, в которых сейчас растут цветы и поют птицы. Подумав об этом немного, Люба велела Никите тотчас же вставать со льда; Никита ходил теперь в старом отцовском пиджаке на вате, он ему был короток, грел мало, и Никита мог простудиться.

И вот они терпеливо дружили вдвоем почти всю долгую зиму, томимые предчувствием своего близкого будущего счастья. Река Потудань тоже всю зиму таилась подо льдом, и озимые хлеба дремали под снегом, — эти явления природы успокаивали и даже утешали

Никиту Фирсова: не одно его сердце лежит в погребении перед весной. В феврале, просыпаясь утром, он прислушивался — не жужжат ли уже новые мухи, а на дворе глядел на небо и на деревья соседнего сада: может быть, уже прилетают первые птицы из дальних стран. Но деревья, травы и зародыши мух еще спали в глубине своих сил и в зачатке.

В середине февраля Люба сказала Никите, что выпускные экзамены у них начинаются двадцатого числа, потому что врачи очень нужны и народу некогда их долго ждать. А к марту экзамены уже кончатся, — поэтому пусть снег лежит и река течет подо льдом хоть до июля месяца! Радость их сердца наступит раньше тепла природы.

На это время — до марта месяца — Никита захотел уехать из города, чтобы скорее перетерпеть срок до совместной жизни с Любой. Он назвался в мастерской крестьянской мебели идти с бригадой столяров чинить мебель по сельсоветам и школам в деревнях.

Отец тем временем — к марту месяцу — сделал не спеша в подарок молодым большой шкаф, подобный тому, который стоял в квартире Любы, когда еще ее мать была приблизительной невестой отца Никиты. На глазах старого столяра жизнь повторялась уже по второму или по третьему своему кругу. Понимать это можно, а изменить пожалуй что нельзя, и, вздохнув, отец Никиты положил шкаф на санки и повез его на квартиру невесты своего сына. Снег потеплел и таял против солнца, но старый человек был еще силен и волок санки в упор даже по черному телу оголившейся земли, Он думал втайне, что и сам бы мог вполне жениться на этой девушке Любе, раз на матери ее постеснялся, но стыдно как-то и нет в доме достатка, чтобы побаловать, привлечь к себе подобную молодую девицу. И отец Никиты полагал отсюда, что жизнь далеко не нормальна. Сын вот только явился с войны и опять уходит из дома, теперь уж навсегда. Придется, видно, ему, старику, взять к себе хоть побирушку с улицы

— не ради семейной жизни, а чтоб, вроде домашнего ежа или кролика, было второе существо в жилище: пусть оно мешает жить и вносит нечистоту, но без него перестанешь быть человеком.

Сдав Любе шкаф, отец Никиты спросил у нее, когда ему нужно приходить на свадьбу,

— А когда Никита приедет: я готова! — сказала Люба.

Отец ночью пошел на деревню за двадцать верст, где Никита работал по изготовлению школьных парт. Никита спал в пустом классе на полу, но отец побудил его и сказал ему, что пора идти в город — можно жениться.

— Ты ступай, а я за тебя парты доделаю! — сказал отец. Никита надел шапку и сейчас же, не ожидая рассвета, отправился пешком в уезд. Он шел один всю вторую половину ночи по пустым местам; полевой ветер бродил без порядка близ него, то касаясь лица, то задувая в спину, а иногда и вовсе уходя на покой в тишину придорожного оврага. Земля по склонам и на высоких пашнях лежала темной, снег ушел с нее в низы, пахло молодою водой и ветхими травами, павшими с осени. Но осень уже забытое давнее время, — земля сейчас была бедна и свободна, она будет рожать все сначала и лишь те существа, которые никогда не жили. Никита даже не спешил идти к Любе; ему нравилось быть в сумрачном свете ночи на этой беспамятной ранней земле, забывшей всех умерших на ней и не знающей, что она родит в тепле нового лета.

Под утро Никита подошел к дому Любы. Легкая изморозь легла на знакомую крышу и на кирпичный фундамент, — Любе, наверно, сладко спится сейчас в нагретой постели, и Никита прошел мимо ее дома, чтобы не будить невесту, не остужать ее тела из-за своего интереса.

К вечеру того же дня Никита Фирсов и Любовь Кузнецова записались в уездном Совете на брак, затем они пришли в комнату Любы и не знали, чем им заняться. Никите стало теперь совестно, что счастье полностью случилось с ним, что самый нужный для него человек на свете хочет жить заодно с его жизнью, словно в нем скрыто великое, драгоценное добро. Он взял руку Любы к себе и долго держал ее; он наслаждался теплотой ладони этой руки, он чувствовал через нее далекое биение любящего его сердца и думал о непонятной тайне: почему Люба улыбается ему и любит его неизвестно за что. Сам он чувствовал в

точности, почему дорога для него Люба.

— Сначала давай покушаем! — сказала Люба и выбрала свою руку от Никиты.

Она приготовила сегодня кое-что: по окончании академии ей дали усиленное пособие в виде продуктов и денежных средств.

Никита со стеснением стал есть вкусную, разнообразную пищу У своей жены. Он не помнил, чтобы когда-нибудь его угощали почти задаром, ему не приходилось посещать людей для своего удовольствия и еще вдобавок наедаться у них.

Покушав, Люба встала первой из-за стола. Она открыла объятия навстречу Никите и сказала ему;

— Ну!

Никита поднялся и робко обнял ее, боясь повредить что-нибудь в этом особом, нежном теле. Люба сама сжала его себе на помощь, но Никита попросил: «Подождите, у меня сердце сильно заболело», — и Люба оставила мужа.

На дворе наступили сумерки, и Никита хотел затопить печку для освещения, но Люба сказала: «Не надо, я ведь уже кончила учиться, и сегодня наша свадьба». Тогда Никита разобрал постель, а Люба тем временем разделась при нем, не зная стыда перед мужем. Никита же зашел за отцовский шкаф и там снял с себя поскорее одежду, а потом лег рядом с Любой ночевать.

Наутро Никита встал спозаранку. Он подмел комнату, затопил печку, чтобы скипятить чайник, принес из сеней воду в ведре для умывания и под конец не знал уже, что ему еще сделать, пока Люба спит. Он сел на стул и пригорюнился: Люба теперь, наверно, велит ему уйти к отцу навсегда, потому что, оказывается, надо уметь наслаждаться, а Никита не может мучить Любу ради своего счастья, и у него вся сила бьется в сердце, приливает к горлу, не оставаясь больше нигде.

Люба проснулась и глядела на мужа.

— Не унывай, не стоит, — сказала она, улыбаясь. — У нас все с тобой наладится!

— Давай я пол вымою, — попросил Никита, — а то у нас грязно.

— Ну, мой, — согласилась Люба.

«Как он жалок и слаб от любви ко мне! — думала Люба в кровати. — Как он мил и дорог мне, и пусть я буду с ним вечной девушкой!.. Я протерплю. А может — когда-нибудь он станет любить меня меньше и тогда будет сильным человеком!»

Никита ерзал по полу с мокрой тряпкой, смывая грязь с половых досок, а Люба смеялась над ним с постели.

— Вот я и замужняя! — радовалась она сама с собой и вылезла в сорочке поверх одеяла.

Убравшись с комнатой, Никита заодно вытер влажной тряпкой всю мебель, затем разбавил холодную воду в ведре горячей и вынул из-под кровати таз, чтобы Люба умывалась над ним.

После чая Люба поцеловала мужа в лоб и пошла на работу в больницу, сказав, что часа в три она возвратится. Никита попробовал на лбу место поцелуя жены и остался один. Он сам не знал, почему он сегодня не пошел на работу, — ему казалось, что жить теперь ему стыдно и, может быть, совсем не нужно: зачем же тогда зарабатывать деньги на хлеб? Он решил кое-как дожить свой век, пока не исчахнет от стыда и тоски.

Обследовав общее семейное имущество в квартире, Никита нашел продукты и приготовил обед из одного блюда — кулеш с говядиной. А после такой работы лег вниз лицом на кровать и стал считать, сколько времени осталось до вскрытия рек, чтобы утопиться в Потудани.

— Обожду, как тронется лед: недолго! — сказал он себе вслух для успокоения и задремал.

Люба принесла со службы подарок — две плошки зимних цветов; ее там поздравили с бракосочетанием врачи и сестры милосердия. А она держалась с ними важно и таинственно, как истинная женщина. Молодые девушки из сестер и сиделок завидовали ей, одна же

искренняя служащая больничной аптеки доверчиво спросила у Любы — правда или нет, что любовь — это нечто чарующее, а замужество по любви — упоительное счастье? Люба ответила ей, что все это чистая правда, оттого и люди на свете живут.

Вечером муж и жена беседовали друг с другом. Люба говорила, что у них могут появиться дети и надо заранее об этом подумать. Никита обещал начать в мастерской делать сверхурочно детскую мебель: столик, стул и кроватку-качалку.

— Революция осталась навсегда, теперь рожать хорошо, — говорил Никита. — Дети несчастными уж никогда не будут!

— Тебе хорошо говорить, а мне ведь рожать придется! — обижалась Люба.

— Больно будет? — спрашивал Никита. — Лучше тогда не рожай, не мучайся…

— Нет, я вытерплю, пожалуй! — соглашалась Люба.

В сумерках она постелила постель, причем, чтоб не тесно было спать, она подгородила к кровати два стула для ног, а ложиться велела поперек постели. Никита лег в указанное место, умолк и поздно ночью заплакал во сне. Но Люба долго не спала, она услышала его слезы и осторожно вытерла спящее лицо Никиты концом простыни, а утром, проснувшись, он не запомнил своей ночной печали.

С тех пор их общая жизнь пошла по своему времени. Люба лечила людей в больнице, а Никита делал крестьянскую мебель. В свободные часы и по воскресеньям он работал на дворе и по по дому хотя Люба его не просила об этом, — она сама теперь точно не знала, чей это дом. Раньше он принадлежал ее матери, потом его взяли в собственность государства, но государство забыло про дом — никто ни разу не приходил справляться в целости дома и не брал денег за квартиру. Никите это было все равно. Он достал через знакомых отца зеленой краски-медянки и выкрасил заново крышу и ставни, как только устоялась весенняя погода. С тем же прилежанием он постепенно починил обветшалый сарай на дворе, оправил ворота и забор и собирался рыть новый погреб, потому что старый обвалился.

Река Потудань уже тронулась. Никита ходил два раза на ее берег, смотрел на потекшие воды и решил не умирать, пока Люба еще терпит его, а когда перестанет терпеть, тогда он успеет скончаться — река не скоро замерзнет. Дворовые хозяйственные работы Никита делал обычно медленно, чтобы не сидеть в комнате и не надоедать напрасно Любе. А когда он отделывался начисто, то нагребал к себе в подол рубашки глину из старого погреба и шел с ней в квартиру. Там он садился на пол и лепил из глины фигурки людей и разные предметы, не имеющие подобия и назначения, — просто мертвые вымыслы в виде горы с выросшей из нее головой животного или корневища дерева, причем корень был как бы обыкновенный, но столь запутанный, непроходимый, впившийся одним своим отростком в другой, грызущий и мучающий сам себя, что от долгого наблюдения этого корня хотелось спать. Никита нечаянно, блаженно улыбался во время своей глиняной работы, а Люба сидела тут же, рядом с ним на полу, зашивала белье, напевая песенки, что слышала когда-то, и между своим делом ласкала Никиту одною рукой — то гладила его по голове, то щекотала под мышкой. Никита жил в эти часы со сжавшимся кротким сердцем и не знал, нужно ли ему еще что-либо более высшее и могучее, или жизнь на самом деле невелика, — такая, что уже есть у него сейчас. Но Люба смотрела на него утомленными глазами, полными терпеливой доброты, словно добро и счастье стали для нее тяжким трудом. Тогда Никита мял свои игрушки, превращал их снова в глину и спрашивал у жены, не нужно ли затопить печку, чтобы согреть воду для чая, или сходить куда-нибудь по делу. — Не нужно, — улыбалась Люба. — Я сама сделаю все… И Никита понимал, что жизнь велика и, быть может, ему непосильна, что она не вся сосредоточена в его бьющемся сердце — она еще интересней, сильнее и дороже в другом, недоступном ему человеке. Он взял ведро и пошел за водой в городской колодец, где вода была чище, чем в уличных бассейнах. Никита ничем, никакой работой не мог утолить свое горе и боялся, как в детстве приближающейся ночи. Набрав воды, Никита зашел с полным ведром к отцу и посидел у него в гостях.

— Что ж свадьбу-то не сыграли? — спросил отец. — Тайком, по-советски управились?..

— Сыграем еще, — пообещал сын. — Давай с тобой сделаем маленький стол со стулом и кровать-качалку, — ты поговори завтра с мастером, чтоб дали материал… А то у нас дети, наверно, пойдут!

— Ну что ж, можно, — согласился отец. — Да ведь дети у вас скоро не должны быть: не пора еще…

Через неделю Никита поделал для себя всю нужную детскую мебель; он оставался каждый вечер сверхурочно и тщательно трудился. А отец начисто отделал каждую вещь и покрасил ее.

Люба установила детскую утварь в особый уголок, убрала столик будущего ребенка двумя горшками цветов и положила на спинку стула новое вышитое полотенце. В благодарность за верность к ней и к ее неизвестным детям Люба обняла Никиту, она поцеловала его в горло, прильнула к груди и долго согревалась близ любящего человека, зная, что больше ничего сделать нельзя. А Никита, опустив руки, скрывая свое сердце, молча стоял перед нею, потому что не хотел казаться сильным, будучи беспомощным В ту ночь Никита выспался рано, проснувшись немного позже полуночи. Он лежал долго в тишине и слушал звон часов в городе — половина первого, час, половина второго: три раза по одному удару. На небе, за окном, началось смутное прозябание — еще не рассвет, а только движение тьмы, медленное оголение пустого пространства, и все вещи в комнате и новая детская мебель тоже стали заметны, но после прожитой темной ночи они казались жалкими и утомленными, точно призывая к себе на помощь. Люба пошевелилась под одеялом и вздохнула: может быть, она тоже не спала. На всякий случай Никита замер и стал слушать. Однако больше Люба не шевелилась, она опять дышала ровно, и Никите нравилось, что Люба лежит около него живая, необходимая для его души и не помнящая во сне, что он, ее муж, существует. Лишь бы она была цела и счастлива, а Никите достаточно для жизни одного сознания про нее. Он задремал в покое, утешаясь сном близкого милого человека, и снова открыл глаза.

Люба осторожно, почти неслышно плакала. Она покрылась с головой и там мучилась одна, сдавливая свое горе, чтобы оно умерло беззвучно. Никита повернулся лицом к Любе и увидел, как она, жалобно свернувшись под одеялом, часто дышала и угнеталась. Никита молчал. Не всякое горе можно утешить; есть горе, которое кончается лишь после истощения сердца, в долгом забвении или в рассеянности среди текущих житейских забот.

На рассвете Люба утихла. Никита обождал время, затем приподнял конец одеяла и посмотрел в лицо жены. Она покойно спала, теплая, смирная, с осохшими слезами…

Никита встал, бесшумно оделся и ушел наружу. Слабое утро начиналось в мире, прохожий нищий шел с полной сумою посреди улицы. Никита отправился вослед этому человеку, чтобы иметь смысл идти куда-нибудь. Нищий вышел за город и направился по большаку в слободу Кантемировку, где спокон века были большие базары и жил зажиточный народ; правда, там нищему человеку подавали всегда мало, кормиться как раз приходилось по дальним, бедняцким деревням, но зато в Кантемировке было праздно, интересно, можно пожить на базаре одним наблюдением множества людей, чтобы развлеклась на время душа.

В Кантемировку нищий и Никита пришли к полудню. На околице города нищий человек сел в канавку, открыл сумку и вместе с Никитой стал угощаться оттуда, а в городе они разошлись в разные стороны, потому что у нищего были свои соображения, у Никиты их не было. Никита пришел на базар, сел в тени за торговым закрытым рундуком и перестал думать о Любе, о заботах жизни и о самом себе.

…Базарный сторож жил на базаре уже двадцать пять лет и все годы жирно питался со своей тучной, бездетной старухой. Ему всегда у купцов и в кооперативных магазинах давали мясные, некондиционные остатки и отходы, отпускали по себестоимости пошивочный материал, а также предметы по хозяйству, вроде ниток, мыла и прочего. Он уже и сам издавна торговал помаленьку пустой, бракованной тарой и наживал деньги в сберкассу. По должности ему полагалось выметать мусор со всего базара, смывать кровь с торговых полок в мясном ряду, убирать публичное отхожее место, а по ночам караулить торговые навесы и

помещения. Но он только прохаживался ночью по базару в теплом тулупе, а черную работу поручал босякам и нищим, которые ночевали на базаре; его жена почти всегда выливала остатки вчерашних мясных щей в помойное место, так что сторож всегда мог кормить какого-нибудь бедного человека за уборку отхожего места.

Жена постоянно наказывала ему — не заниматься черной работой, ведь у него уж борода седая вон какая отросла, — он теперь не сторож, а надзиратель.

Но разве бродягу либо нищего приучишь к вечному труду на готовых харчах: он поработает однажды, поест, что дадут, и еще попросит, а потом пропадает обратно в уезд За последнее время уже несколько ночей подряд сторож прогонял с базара одного и того же человека. Когда сторож толкал его, спящего, тот вставал и уходил, ничего не отвечая, а потом опять лежал или сидел где-нибудь за дальним рундуком. Однажды сторож всю ночь охотился за этим бесприютным человеком, в нем даже кровь заиграла от страсти замучить, победить чужое, утомленное существо… Раза два сторож бросал в него палкой и попадал по голове, но бродяга на рассвете все же скрылся от него, — наверно, совсем ушел с базарной площади. А утром сторож нашел его опять — он спал на крышке выгребной ямы за отхожим местом, прямо снаружи. Сторож окликнул спящего, тот открыл глаза, но ничего не ответил, посмотрел и опять равнодушно задремал. Сторож подумал, что это — немой человек. Он ткнул наконечником палки в живот дремлющего и показал рукой, чтоб он шел за ним.

В своей казенной, опрятной квартире — из кухни и комнаты — сторож дал немому похлебать из горшка холодных щей с выжирками, а после харчей велел взять в сенях метлу, лопату, скребку, ведро с известью и прибрать начисто публичное место. Немой глядел на сторожа туманными глазами: наверно, он был и глухой еще… Но нет, едва ли, — немой забрал в сенях весь нужный инструмент и материал, как сказал ему сторож, значит — он слышит.

Никита аккуратно сделал работу, и сторож явился потом проверить, как оно получилось; для начала вышло терпимо, поэтому сторож повел Никиту на коновязь и доверил ему собрать навоз и вывезти его на тачке.

Дома сторож-надзиратель приказал своей хозяйке, чтоб она теперь не выхлестывала в помойку остатки от ужина и обеда, а сливала бы их в отдельную черепушку: пусть немой человек доедает.

— Небось и спать его в горнице класть прикажешь? — спросила хозяйка.

— Это ни к чему, — определил хозяин. — Ночевать он наружи будет: он ведь не глухой, пускай лежит и воров слушает, а услышит — мне прибежит скажет… Дай ему дерюжку, он найдет себе место и постелит…

На слободском базаре Никита прожил долгое время. Отвыкнув сначала говорить, он и думать, вспоминать и мучиться стал меньше. Лишь изредка ему ложился гнет на сердце, но он терпел его без размышления, и чувство горя в нем постепенно утомлялось и проходило. Он уже привык жить на базаре, а многолюдство народа, шум голосов, ежедневные события отвлекали его от памяти по самом себе и от своих интересов — пищи, отдыха, желания увидеть отца. Работал Никита постоянно; даже ночью, когда Никита засыпал в пустом ящике среди умолкшего базара, к нему наведывался сторож-надзиратель и приказывал ему подремывать и слушать, а не спать по-мертвому. «Мало ли что, — говорил сторож, — намедни вон жулики две доски от ларька оторвали, пуд меда без хлеба съели…» А на рассвете Никита уже работал, он спешил убрать базар до народа; днем тоже есть нельзя было, то надо навоз накладывать из кучи на коммунальную подводу, то рыть новую яму для помоев и нечистот, то разбирать старые ящики, которые сторож брал даром у торгующих и продавал затем в деревню отдельными досками, — либо еще находилась работа.

Среди лета Никиту взяли в тюрьму по подозрению в краже москательных товаров из базарного филиала сельпо, но следствие оправдало его, потому что немой, сильно изнемогший человек был слишком равнодушен к обвинению. Следователь не обнаружил в характере Никиты и в его скромной работе на базаре как помощника сторожа никаких признаков жадности к жизни и влечения к удовольствию или наслаждению, — он даже в

тюрьме не поедал всей пищи. Следователь понял, что этот человек не знает ценности личных и общественных вещей, а в обстоятельствах его дела не содержалось прямых улик. «Нечего пачкать тюрьму таким человеком!» — решил следователь.

Никита просидел в тюрьме всего пять суток, а оттуда снова явился на базар. Сторож-надзиратель уморился без него работать, поэтому обрадовался, когда немой опять показался у базарных рундуков. Старик позвал его в квартиру и дал Никите покушать свежих горячих щей, нарушив этим порядок и бережливость в своем хозяйстве. «Один раз поест — не разорит! — успокоил себя старый сторож-хозяин. — А дальше опять на вчерашнюю холодную еду перейдет, когда что останется!»

— Ступай, мусор отгреби в бакалейном ряду, — указал сторож Никите, когда тот поел хозяйские щи.

Никита отправился на привычное дело. Он слабо теперь чувствовал самого себя и думал немного, что лишь нечаянно появлялось в его мысли. К осени, вероятно, он вовсе забудет, что он такое, и, видя вокруг действие мира, — не станет больше иметь о нем представления; пусть всем людям кажется, что этот человек живет себе на свете, а на самом деле он будет только находиться здесь и существовать в беспамятстве, в бедности ума, в бесчувствии, как в домашнем тепле, как в укрытии от смертного горя…

Вскоре после тюрьмы, уже на отдании лета, — когда ночи стали длиннее,

— Никита, как нужно по правилу, хотел вечером запереть дверь в отхожее место, но оттуда послышался голос:

— Погоди, малый, замыкать!.. иль и отсюда добро воруют? Никита обождал человека. Из помещения вышел отец с пустым мешком под мышкой.

— Здравствуй, Никит! — сказал сначала отец и вдруг жалобно заплакал, стесняясь слез и не утирая их ничем, чтоб не считать их существующими. — Мы думали, ты покойник давно… Значит, ты цел?

Никита обнял похудевшего, поникшего отца, — в нем тронулось сейчас сердце, отвыкшее от чувства.

Потом они пошли на пустой базар и приютились в проходе меж двух рундуков.

— А я за крупой сюда пришел, тут она дешевле, — объяснил отец. — Да вот, видишь, опоздал, базар уж разошелся… Ну, теперь переночую, а завтра куплю и отправлюсь… А ты тут что?

Никита захотел ответить отцу, однако у него ссохлось горло, и он забыл, как нужно говорить. Тогда он раскашлялся и прошептал:

— Я, ничего. А Люба жива?

— В реке утопилась, — сказал отец. — Но ее рыбаки сразу увидели и вытащили, стали отхаживать, — она и в больнице лежала: поправилась.

— А теперь жива? — тихо спросил Никита.

— Да пока еще не умерла, — произнес отец. — У нее кровь горлом часто идет: наверно, когда утопала, то простудилась. Она время плохое выбрала, — тут как-то погода испортилась, вода была холодная…

Отец вынул из кармана хлеб, дал половину сыну, и они пожевали немного на ужин. Никита молчал, а отец постелил на землю мешок и собирался укладываться.

— А у тебя есть место? — спросил отец. — А то ложись на мешок, а я буду на земле, я не простужусь, я старый…

— А отчего Люба утопилась? — прошептал Никита.

— У тебя горло, что ль, болит? — спросил отец. — Пройдет!.. По тебе она сильно убивалась и скучала, вот отчего… Цельный месяц по реке Потудани, по берегу, взад-вперед за сто верст ходила. Думала, ты утонул и всплывешь, а она хотела тебя увидеть. А ты, оказывается, вот тут живешь. Это плохо…

Никита думал о Любе, и опять его сердце наполнялось горем и силой.

— Ты ночуй, отец, один, — сказал Никита. — Я пойду на Любу погляжу.

— Ступай, — согласился отец. — Сейчас идти хорошо, прохладно. А я завтра приду,

тогда поговорим…

Выйдя из слободы, Никита побежал по безлюдному уездному большаку. Утомившись, он шел некоторое время шагом, потом снова бежал в свободном легком воздухе по темным полям.

Поздно ночью Никита постучал в окно к Любе и потрогал ставни, которые он покрасил когда-то зеленой краской, — сейчас ставни казались синими от темной ночи. Он прильнул лицом к оконному стеклу. От белой простыни, спустившейся с кровати, по комнате рассеивался слабый свет, и Никита увидел детскую мебель, сделанную им с отцом, — она была цела. Тогда Никита сильно постучал по оконной раме. Но Люба опять не ответила, она не подошла к окну, чтобы узнать его.

Никита перелез через калитку, вошел в сени, затем в комнату, — двери были не заперты: кто здесь жил, тот не заботился о сохранении имущества от воров.

На кровати под одеялом лежала Люба, укрывшись с головой.

— Люба! — тихо позвал ее Никита.

— Что? — спросила Люба из-под одеяла.

Она не спала. Может быть, она лежала одна в страхе и болезни или считала стук в окно и голос Никиты сном. Никита сел с краю на кровать.

— Люба, это я пришел! — сказал Никита. Люба откинула одеяло со своего лица.

— Иди скорей ко мне! — попросила она своим прежним, нежным голосом и протянула руки Никите.

Люба боялась, что все это сейчас исчезнет; она схватила Никиту за руки и потянула его к себе.

Никита обнял Любу с тою силою, которая пытается вместить другого, любимого человека внутрь своей нуждающейся души; но он скоро опомнился, и ему стало стыдно.

— Тебе не больно? — спросил Никита.

— Нет! Я не чувствую, — ответила Люба.

Он пожелал ее всю, чтобы она утешилась, и жестокая, жалкая сила пришла к нему. Однако Никита не узнал от своей близкой любви с Любой более высшей радости, чем знал ее обыкновенно, — он почувствовал лишь, что сердце его теперь господствует во всем его теле и делится своей кровью с бедным, но необходимым наслаждением.

Люба попросила Никиту, — может быть, он затопит печку, ведь на дворе еще долго будет темно. Пусть огонь светит в комнате, все равно спать она больше не хочет, она станет ожидать рассвета и глядеть на Никиту.

Но в сенях больше не оказалось дров. Поэтому Никита оторвал на дворе от сарая две доски, поколол их на части и на щепки и растопил железную печь. Когда огонь прогрелся, Никита отворил печную дверцу, чтобы свет выходил наружу. Люба сошла с кровати и села на полу против Никиты, где было светло.

— Тебе ничего сейчас, не жалко со мной жить? — спросила она.

— Нет, мне ничего, — ответил Никита. — Я уже привык быть счастливым с тобой.

— Растопи печку посильней, а то я продрогла, — попросила Люба.

Она была сейчас в одной заношенной ночной рубашке, и похудевшее тело ее озябло в прохладном сумраке позднего времени.

Семен
(Рассказ из старинного времени)

Семилетний ребенок весь долгий летний день своей жизни был занят работой: он заботился о двух братьях, еще более маленьких, чем он. Самую же меньшую сестру пока еще нянчила сама мать, и старший семилетний сын до некоторого времени как бы отдыхал от нее. Но он знал, что скоро и сестра будет отдана в его хозяйство, потому что у матери опять подымался живот, хотя она и говорила сыну, что это от еды. Отец и мать семилетнего Семена

Пономарева были люди добрые, поэтому мать постоянно рожала детей; чуть откормив грудью одного, она уже починала другого.

— Пускай живут, — говорил отец, узнав, что жена опять понесла, — чего им там томиться?

— Папа, а где они там? — спрашивал Семен. — Они там мертвые?

— А то какие же? — говорил отец. — Раз с нами не живут, то мертвые.

— Они там мучаются? — узнавал Семен.

— Ты видишь, сюда все лезут — значит, мучаются, — сообщал отец. — С нами им плохо: ты уж большой — сам знаешь, а там еще хуже…

— У нас плохо, — говорила мать, засовывая хлебную жвачку в рот самой меньшей дочери. — Ох, плохо…

Отец глядел на мать кроткими, сильными глазами.

— Ничего. Пусть растут: не жить им — еще хуже.

Лишь года три-четыре после своего рождения Семен отдыхал и жил в младенчестве, потом ему стало некогда. Отец сам сделал тележку из корзины и железных колес, а мать велела Семену катать по двору маленького брата, пока она стряпает обед. Среди дня маленький брат спал, но вскоре просыпался и плакал, — тогда его приходилось опять возить по двору кругом — мимо сарая, нужника, калитки в сад, мимо флигеля, плетня, мимо ворот на улицу и снова к сараю. Затем, когда родился и подрос еще один брат Семена, он их сажал в тележку сразу двоих и тоже возил по двору кругом, пока не умаривался. Уморившись, он просил у матери хлеба в окно, и она ему давала кусок, а Семен снова усердно упирался руками в грядушку тележки и вез ее перед собой, забываясь в долгом путешествии среди соломинок, сора, камешков и редких травинок двора; он глядел на них вниз сонными глазами и шептался с ними о чем-то или думал в уме, что они тоже такие, как он, и нечего ему скучать, они ведь молчат и не скучают — ни соломинки, ни трава. Иногда Семен разговаривал со своими братьями в тележке, но они мало понимали его и любили плакать; если они плакали долго, то Семен их наказывал, давая каждому рукой по голове, но редко. Семен видел, что его братья — жалкие люди и, может быть, плачут от испуга, что их обратно прогонят туда, где они были мертвые, когда не рожались. «Пусть живут», — соглашался Семен.

Время от времени Семен спрашивал у матери в окно:

— Мама, пора?

— Нет, нет, катай их еще! — отвечала мать из комнаты.

Она там стряпала, кормила и качала последнюю девочку, стирала, штопала и чинила белье, мыла полы, бедные деньги берегла, как большие, сама дрова с девчонкой на руках ходила собирать около склада, где их мужики возили и роняли нечаянно с возов, а потом не подымали, чтоб легче было лошадям, — дрова чужие, а лошади свои.

Отец Семена работал кузнецом в кузнице около шоссейной дороги, которая шла до Москвы на тысячу верст и еще дальше. Отец дома только спал, а утром он просыпался раньше всех, брал краюшку хлеба и уходил. По вечерам же, зимой и летом, он приходил уже в темноте, редко заставая самого старшего сына Семена, когда тот еще не спал. Перед тем как лечь спать, отец обыкновенно лазал по полу на коленях между спящими детьми, укрывал их получше гунями, гладил каждого по голове и не мог выразить, что он их любит, что ему жалко их, он как бы просил у них прощения за бедную жизнь; потом отец ложился около матери, которая спала в один ряд с детьми тоже на полу, клал свои холодные, занемевшие ноги на ее теплые и засыпал.

Утром, проснувшись, дети начинали плакать — они хотели есть, пить, и, кроме того, им было страшно и непривычно жить, в их теле что-нибудь постоянно болело, потому что там не произошло еще окостенения. Один Семен не плакал, он молча терпел свою нужду в пище и сначала заботился о братьях, а потом уж доедал с матерью, что оставалось от меньших детей, или то, что случайно испортилось и протухло, чтобы зря не выкидывать еду. Мать уже давно жила, она не могла сильно мучиться, когда хотела есть, но Семен тосковал

до самого обеда. Катая братьев в тележке, он шел печальный, потому что в нем болело сердце от голода, он плакал и тихо скулил, чтобы забыться. Братья глядели на него из тележки и тоже начинали кричать от страха, раз их старший брат боится чего-то. Тогда Семен находил в выброшенной печной золе кусочки древесного угля или отламывал известку от стены флигеля и давал братьям; они принимались сосать и глодать уголь и от жадности переставали кричать. Семен же закатывал тележку с братьями за сарай, где между курником, плетнем и стеной сарая рос лопух, лежали жестянки и житейский мусор, а сам уходил на улицу. Там он ходил мимо чужих домов, ища глазами, что валяется на земле. Больше всего он любил находить огрызки яблок и морковь. Когда он находил их и ел, у него слабело сердце от радости, он сразу смеялся и бежал поскорее обратно к братьям, которые могли без него уползти из тележки неизвестно куда и навеки пропасть. Семен на бегу поднимал подол рубашки и смотрел на свой живот; ему казалось, что там живет кто-то отдельный от него, который то мучает его, то ласкает, но лучше б там не было никого совсем, лучше жить одному без горя.

Братья действительно самостоятельно выбирались из тележки, — один из них умел только ползать, а другой уже ходил понемногу. Который ходил, тот не мог далеко уйти — его били все встречные предметы — по лбу, по боку, в живот, и он вскоре сваливался от боли и плакал. Опасен был меньший брат, Петька, который ползал; он был еще весь мягкий, пухлый от младенчества, он полз медленно, и встречные предметы трогали его мало, поэтому он мог тихим ходом уползти в щели под плетнями и скрыться в траве и кустарнике на чужих дальних дворах или заснуть в собачьей будке.

Собрав братьев обратно в тележку, Семен опять их катал по земле, рассказывая им, какие на свете бывают дожди и молнии, какие башни стоят в городе, где живут богатые, — он уже много прожил и все видел; у него есть дом из железа на краю леса, он ходит туда ночью, чтобы жить там одному по-страшному, потому что он работает царем у волков. Братья слушали его со страхом и верой; младший, Петька, понимал мало, но все равно боялся. Сам Семен тоже слушал свои рассказы с интересом, и хотя у него не было по правде железного дома и он не служил по ночам царем у волков, но он был счастлив от своего воображения на самом деле. Открыв рты, забывая моргать глазами, братья глядели на Семена, как на высшего, ужасного человека; у них не было ничего, что нужно рассказывать, они и говорить умели лишь немного слов, поэтому, слушая, дети не помнили самих себя.

Но Семену вдруг становилось жалко двух своих братьев; в них не хватало даже ума, чтобы воображать себя хорошими, и они еще не успели научиться любить одну свою жизнь. Дети смотрели на старшего брата доверчиво и победному, их глаза не выражали сладкой радости и выдуманной мысли или гордости, — для них было неважно, где происходит счастье — внутри их или снаружи, в другом человеке, лишь бы это было и они могли знать, чтобы не сомневаться.

— Я царем не работаю, я нарочно, — грустно говорил Семен. — Я бы тогда деньги или говядину домой приносил, а то у нас нужда в доме, всего мало…

— А ты воруй говядину и матери давай, — советовал второй после Семена, пятилетний Захар. — У мамы голова болит от горя, она мне говорила, — вспоминал Захар; он уже умел собирать щепки для растопки самовара и следил во время обеда, чтобы мать не обделила его куском — отцу надо побольше, чем ему, Семену чуть-чуть только побольше, а Петьке меньше всех, он еще не вырос и может объесться.

Однажды мать до обеда закричала Семену в окно, чтобы он шел скорее домой. У нее начались родовые муки, и она велела Семену сходить к Капишке — бабке-повитухе, чтоб она пришла. Семен враз привел старуху за руку, он ее знал и раньше. У Капишки был один только верхний зуб, этим зубом она прихватывала нижнюю губу, а то губа свешивалась вниз, и тогда открывалась темная пропасть пустого рта. На ночь, на сон грядущий, Капишка подвязывала нижнюю челюсть тесемкой к темени, иначе рот ее разваливался во сне и туда набирались мухи, ища себе теплое место. Лицо Капишки давно уже стало походить на мужика, оно позеленело от старости и, должно быть, от злобы, а на верхней губе ее росли

седые усики. Старуха была такая худая, что Семен слышал, когда вел ее за руку домой, как в ней что-то шуршало и поскрипывало, наверно, ее жилы терлись о кости.

Капишка взяла от матери и отдала Семену самую маленькую, ручную сестру-девчонку и велела ему долго не приходить домой. Семен посадил сестру в тележку меж двух братьев и сказал им, что мать опять рожает, теперь им еще хуже будет жить. Он увез детей за курник, где было тихое место, и там они все задремали, потому что прошел уже полдень, была пора обедать, а мать заболела.

Семен покачал детей в тележке, чтоб они крепче заснули, а сам ушел домой и спрятался в сенях, во тьме. Он хотел услышать, как рожаются люди, отчего они живут, и дрожал от горя и страха. Мать в комнате то кричала, то стонала, то шептала чего-то. Капишка гремела посудой, раздирала материю в тряпки и хозяйствовала там, как на домашней ежедневной работе.

— А ты не плачь, не горюй, моя дочка! — сказала Капишка матери Семена. — Дай я к тебе рядом лягу, может — тебе полегчает!..

Капишка покряхтела немного, а потом в комнате стало тихо. Наверно, старуха легла рядом с матерью на перину, постеленную на пол. Слышно лишь было, как мать часто и трудно дышала, словно спеша переработать свое мученье.

— Тебе — трудно, а как же ему-то? — говорила Капишка.

— Кому, бабушка? — быстро, стараясь не заплакать от боли, спросила мать.

— А тому, кто рожается! — сказала Капишка. — В него ведь душа входит сейчас, в самую тесноту, в середину тельца, лезет к нему, все жилы жмет и натягивает… А ты что ж, отрожаешь, ухмыльнешься да опять почнешь, — чем тебе заниматься-то?

— Я больше не буду рожать, — томясь, сказала мать.

— Нюжли ж не будешь? — произнесла старуха. — Аль так я тебе и поверила!.. И-их, дочка, рожать не будешь, замутнеешь, погниешь, заквокнешь вся — не вспомнишь, что жизнь прожила, злобой подернешься… Лучше уж мучаться, да знать, что живая живешь!

Мать опять застонала.

— Иль опять трудно? — сказала Капишка. — Ну, дуйся, дуйся, надувайся прилежней! Давай вместе, я тоже буду рожать! — Старуха начала кряхтеть и надуваться; она старалась в этом больше матери, ради того, чтоб утешить роженицу и хотя бы одной видимостью положить часть ее мук на себя.

Семен продрог от ожидания и грусти; из комнаты пахло чем-то кислым и словно желтым, мальчик сидел и боялся. Вдали, на дворе, за курником, сразу с чего-то закатилась криком младшая сестра Нюшка, — может быть, она упала из тележки вниз головой. Но крик сестры вдруг прекратился, как будто его и не было и он лишь почудился. Семен побежал туда, к детям, на проверку. На дне тележки спал один меньший Петька, а Захарка и Нюшка уже вылезли оттуда куда-то: это, наверно, Захар вытащил сестру, сама она не сумела бы оставить тележку. Семен огляделся и услышал, что Захарка говорит кому-то: «У, гадина такая, ты зачем рожалась!» Семен вошел в курник. Там в сумраке, под пустыми куриными насестами, Захарка сидел верхом на животе маленькой сестры и душил ее горло руками. Она лежала навзничь под ним и старалась дышать, помогая себе голыми ножками, которыми она скреблась по нечистой земле курника. Заплаканные глаза ее молча и уже почти равнодушно глядели в лицо Захарке, а пухлыми руками она упиралась в душащие ее руки брата. Семен дал сзади кулаком Захарке в правое скуло. Захарка свалился с сестры и ударился левым виском о плетневую горбушку в стене курника; он даже не заплакал, а сразу забылся от сильной боли в голове. Семен ударил его еще несколько раз по чем попало, но вскоре опомнился, перестал бить и сам заплакал. Сестра уже повеселела, она подползла к нему на четвереньках и ждала, пока старший брат обратит на нее внимание. Семен взял ее к себе на руки и, послюнявив одну свою ладонь, вытер ей заплаканные глаза, а потом отнес ее в тележку, побаюкал там, и сестра покорно, испуганно заснула рядом с меньшим братом.

Захарка самостоятельно вышел из курника; на левой щеке его засохла кровь, но он больше не обижался. «Ладно, — сказал он Семену, — я тебе, выросту, все вспомню!» — и

лег спать на землю около тележки, зная, что мать опять рожает и обед не готовила. Семен тоже лег в тени тележки и заснул, пока вечернее солнце не засветило ему в лицо.

Но есть время в жизни, когда невозможно избежать своего счастья. Это счастье происходит не от добра и не от других людей, а от силы растущего сердца, из глубины тела, согревающегося своим теплом и своим смыслом. Там, в человеке, иногда зарождается что-то самостоятельно, независимо от бедствия его судьбы и против страдания, — это бессознательное настроение радости; но оно бывает обычно слабым и скоро угасает, когда человек опомнится и займется своей близкой нуждой. Семен часто просыпался нечаянно счастливым, потом одумывался и забывал, что ему жить хорошо.

Вечером пришел из кузницы отец и стал варить кулеш в чугунном горшке. Мать уже родила девчонку и спала от потери сил. Капишка дождалась кулешу, поела со всем семейством и стала говорить отцу, чтоб он ей дал денег, а то ей хочется жить дальше, но не на что. Отец дал ей сорок копеек, Капишка завязала их в уголок платка и пошла к себе на ночлег.

На другой день отец спозаранку ушел на работу, а мать не могла подняться. Поэтому Семен повел один целое хозяйство. Сначала он привез на тележке два ведра воды из бассейна, затем стал умывать, обряжать и кормить детей. Кроме того, надо было убрать комнату, сварить для матери жидкую кашу, купить хлеба и молока, глядеть за двумя братьями, чтобы они не скрылись куда-нибудь, не провалились в нужник и не сделали пожара.

Мать молча, слабыми глазами следила за Семеном, как он заботился и работал. Новорожденная девочка лежала при ней и уже сосала, кормилась из ее груди.

В полдень Семен напитал всех детей хлебом с молоком, а мать кашей, и дети легли спать. Семен стал уже думать, чем кормить семейство вечером, потому что за обед все поели, а запасов и остатков не было. Вымыв посуду, Семен пошел к домохозяину, чтобы попросить взаймы хлеба и пшена.

— Да ведь вы не отдадите небось! — сказал домохозяин; у него было десятин сорок земли, и он сдавал ее в аренду крестьянам, а сам ничего не делал, лежал на диване или на лежанке и читал крестовый календарь Гатцука. Семену давно хотелось попросить у домохозяина крестовый календарь и посмотреть в нем картинки, но он боялся.

— Мы отдадим, — сказал Семен. — Отец вот получку получит, а я принесу… Домохозяин дал Семену хлеба фунта два и пшена в подол рубашки.

— Гляди, чтоб ваша саранча на дворе не гадила! — сказал хозяин. — Захарка сегодня в трех местах напачкал, ты убери пойди…

— Сейчас уберу пойду, — пообещал Семен. — Они ведь маленькие еще, не понимают.

— А вот я, как увижу, дам ему чертоплешину по башке, он сразу поймет! — сказал хозяин.

— Бить их лучше не надо, — попросил Семен, — а то я ваш дом ночью подожгу!

— Ишь ты, сволочь какая!.. — заговорил домохозяин, но Семен уже скрылся с хлебом и пшеном.

Летний детский день жизни шел долго и трудно, пока не напитались все птицы, воробьи и куры; когда они уже умолкли и стали дремать от пищи и усталости, тогда на небе появился сумрак и слышно стало, как вдалеке по шоссейной дороге уезжают телеги в деревню и стучат кузнецы в придорожных кузницах.

Мать и все дети в семействе Семена еще спали; он один сидел на сундуке и ожидал, когда проснется кто-нибудь, — он не привык жить один на свободе, в нем собиралась печаль, и сердце опять хотело заботы. Но глаза Семена начали слипаться, он прилег головой на сундук и, стараясь кое-что помнить, все позабыл и уснул.

Однако все матери спят мало, и мать Семена тоже вскоре открыла глаза.

— Семен! — сказала она. — Затопи печку, поставь чугун с водой, искупай ребятишек!.. Семен сразу вскочил со своего места на сундуке. Но мальчик еще не отдохнул, не согрелся

во сне и теперь дрожал от слабости.

— Мне плохо, — говорила мать, — сходи за отцом, пусть он пораньше придет.

— Сейчас, — сказал Семен. — Мама, не рожай больше детей, я уморился.

— Я больше не буду, — ответила мать; она лежала навзничь на перине и еле дышала, истощенная рождением ребенка.

Новая дочка лежала около матери в глубоком сне и не понимала, что она уже живая. Семен с удивлением глядел на свою самую маленькую сестру: только что родилась, ничего еще не видела, а спит все время и просыпаться не хочет, как будто жизнь для нее была неинтересна.

— Семен, попробуй меня, какая я холодная, — произнесла мать. — Если я умру, ты выходи детей за меня, отцу ведь некогда, он хлеб нам добывает…

Семен прилег к матери и попробовал ее лоб — он был холодный и мокрый, а нос ее стал худой и глаза побелели.

— Все внутренности отвалились во мне, я как пустая лежу, — сказала мать. — Ты самый старший, ты береги своих братьев и сестер, — может, хоть они людьми вырастут…

Мать подержала голову Семена в своих руках и велела ему:

— Иди за отцом.

Семен сходил за отцом, но тот не смог сразу прийти, ему еще осталось ошиновать три колеса, и хозяин ждет работу. «Дотерпит, не помрет, — сказал хозяин кузницы про Семенову мать, — жены, они каждый месяц у нас помирать собираются!» Семен, вернувшись, развел на загнетке огонь над таганом и начал варить пшенный кулеш на ужин. Ребятишки уже проснулись, — Захарка встал около загнетки и подкладывал щепки в огонь, чтобы кулеш скорее и вкусней варился, а Петька подполз к матери и долго смотрел в ее лицо и водил по нему руками, точно проверяя, что мать еще цела, она только больная и плачет.

Отец вернулся из кузницы, как обычно, в темноте. Он поел, что оставил ему Семен от детей, и лег спать рядом с матерью. Семен еще не спал, он видел, как отец осторожно обнял мать и поцеловал ее в щеку; мать повернулась к отцу лицом, сжалась, как маленькая, тесно собирая свое коченеющее, опустевшее тело. Полежав немного, отец встал и пошел в чулан. Он принес оттуда старую большую дерюжку и покрыл ею все время стынущую мать. Новую девочку он переложил от матери к себе, потому что мать уже не могла бы ею заниматься, если она заплачет ночью. Семен всю ночь хотел не спать, боясь, что мать умрет или отец нечаянно задавит во сне младшую девочку, но глаза его сами закрылись и он открыл их лишь утром, когда на него залез Захарка и ткнул ему пальцем в ухо.

Отец ходил по комнате, качая на руках плачущую новорожденную дочь. Мать по-прежнему лежала на полу на перине, покрытая одеялом, а сверху большой дерюгой. Она спряталась там с головой и не вставала.

Семен подошел к матери — посмотреть ее и спросить, что ему нужно делать с утра, чего стряпать ребятишкам и где занять денег до получки отца.

— Не надо ее открывать, — сказал отец Семену, — она под утро умерла. Ступай, сходи за Капишкой.

— Зачем за Капишкой? — спросил Семен.

— Пускай она у нас теперь живет, — говорил отец. — Будет хоть за детьми смотреть и обед готовить. Она старая женщина.

— На что нам Капишка! — произнес Семен.

— Ста рая жаб а такая! — ска за л Захарка. — Он а жрать м ного будет, а нам самим мало!

Семен взял к себе новую сестру из рук отца. Петька и младшая сестра (теперь уже старшая) сидели на полу; они молча играли друг с другом в разный сор и лоскутки матери, делая из них себе вещи и богатство.

— А как же нам теперь жить! — сказал Семен и жалостно сморщил лицо; горе его медленной горячей волной подымалось от сердца к горлу, но еще не дошло до слез. — Чем же нам теперь грудную кормить, она ведь тоже умрет…

— Она еще маленькая, — говорил отец, — она не жила еще, не привыкла, не знает

ничего. Придется ее с матерью вместе похоронить.

Семен укачал на своих руках плачущую новую девочку, она уснула и умолкла. Он положил ее временно на перину, к ногам матери.

— Папа, сколько стоит коза? — спросил Семен.

— Да, наверно, недорого, я не знаю, — ответил отец.

— Купи ее нам в получку, — попросил Семен. — Захарка будет в поле пасти ее ходить, а вечером я подою из нее молоко, вскипячу его, и мы сами. без матери, выкормим девочку. Я ей из соска буду давать, — купим сосок и на пузырек его наденем… Только скажи сам Захарке, чтоб он из козы в поле ничего не сосал, а то он любит выгадывать!

— Я не буду ничего сосать из козы твоей, — пообещал Захарка. — В ней молоко несладкое, мне давно мама давала.

Отец молчал. Он глядел на всех своих детей, на умершую жену, которая грелась около него всю ночь, но все равно не могла согреться и теперь окоченела, — и кузнец не знал, что ему подумать, чтобы стало легче на душе.

— Им мать нужна, а не коза, — произнес отец. — Ведь ты только, Семен, один старший, а они еще маленькие все…

Семен был сейчас в одной рубашке, потому что не успел надеть штанов с тех пор, как проснулся. Он поглядел вверх, на отца, и сказал ему:

— Давай я им буду матерью, больше некому.

Отец ничего не сказал своему старшему сыну. Тогда Семен взял с табуретки материно платье, капот, и надел его на себя через голову. Платье оказалось длинным, но Семен оправил его на себе и сказал:

— Ничего, я его подрежу и подошью.

Умершая мать была худая, поэтому платье на Семена пришлось бы впору, если б оно не было длинным. Отец смотрел на старшего сына, — «восьмой год уж ему», подумал он.

Теперь, одетый в платье, с детским грустным лицом, Семен походил столько же на мальчика, сколько и на девочку, — одинаково. Если б он немного подрос, то его можно принять даже за девушку, а девушка — это все равно что женщина; это — почти мать.

— Захарка, ступай на двор, покатай в тележке Петьку с Нюшкой, чтоб они есть не просили, — сказал Семен в материнском капоте. — Я вас тогда позову. У нас дела много с отцом.

— Тебя ребята на улице девчонкой дразнить будут! — засмеялся Захар. — Ты дурочка теперь, а не мальчик!

Семен взял веник и стал мести пол вокруг перины, где лежала мать.

— Пускай дразнят, — ответил Семен Захарке, — им надоест дразнить, а я девочкой все равно привыкну быть… Ступай, не мешайся тут, бери детей в тележку, а то вот веником получишь!

Захарка позвал с собой Петьку, и он пополз за ним на двор, а Нюшку Захарка взял к себе на руки, еле справляясь с тяжестью сестры.

Отец стоял в стороне и понемногу, бесшумно плакал. Семен, прибрав комнату, подошел к отцу:

— Папа, давай сначала мать откроем, ее надо обмывать… А потом ты плакать будешь, и я буду, я тоже хочу — мы вместе!

Любовь к родине, или Путешествие воробья

(Сказочное происшествие)

Старый скрипач-музыкант любил играть у подножия памятника Пушкину. Этот памятник стоит в Москве, в начале Тверского бульвара, на нем написаны стихи, и со всех четырех сторон к нему подымаются мраморные ступени. Поднявшись по этим ступеням к

самому пьедесталу, старый музыкант обращался лицом на бульвар, к дальним Никитским воротам, и трогал смычком струны на скрипке. У памятника сейчас же собирались дети, прохожие, чтецы газет из местного киоска, — и все они умолкали в ожидании музыки, потому что музыка утешает людей, она обещает им счастье и славную жизнь. Футляр со своей скрипки музыкант клал на землю против памятника, он был закрыт, и в нем лежал кусок черного хлеба и яблоко, чтобы можно было поесть, когда захочется.

Обыкновенно старик выходил играть под вечер, по первому сумраку. Для его музыки было полезней, чтоб в мире стало тише и темней. Беды от своей старости он не знал, потому что получал от государства пенсию и кормился достаточно. Но старик скучал от мысли, что он не приносит людям никакого добра, и поэтому добровольно ходил играть на бульвар. Там звуки его скрипки раздавались в воздухе, в сумраке, и хоть изредка они доходили до глубины человеческого сердца, трогая его нежной и мужественной силой, увлекавшей жить высшей, прекрасной жизнью. Некоторые слушатели музыки вынимали деньги, чтобы подарить их старику, но не знали, куда их положить: футляр от скрипки был закрыт, а сам музыкант находился высоко на подножии памятника, почти рядом с Пушкиным. Тогда люди клали гривенники и копейки на крышку футляра. Однако старик не хотел прикрывать свою нужду за счет искусства музыки; пряча скрипку обратно в футляр, он осыпал с него деньги на землю, не обращая внимания на их ценность. Уходил домой он поздно, иногда уже в полночь, когда народ становился редким, и лишь какой-нибудь случайный одинокий человек слушал его музыку. Но старик мог играть и для одного человека и доигрывал произведение до конца, пока слушатель не уходил, заплакав во тьме про себя. Может быть, у него было свое горе, встревоженное теперь песнью искусства, а может быть, ему стало совестно, что он живет неправильно, или просто он выпил вина…

В позднюю осень старик заметил, что на футляр, лежавший, как обычно, поодаль на земле, сел воробей. Музыкант удивился, что эта птичка еще не спит и даже в темноте вечера занята работой на свое пропитание. Правда, за день сейчас трудно накормиться: все деревья уже уснули на зиму, насекомые умерли, земля в городе гола и голодна, потому что лошади ходят редко и дворники враз убирают за ними навоз. Где, на самом деле, питаться в осень и в зиму воробью? Ведь и ветер в городе слаб и скуден меж домами, — он не держит воробья, когда тот простирает утомленные крылья, так что воробью приходится все время ими махать и трудиться.

Воробей, обследовав всю крышку футляра, ничего полезного на ней для себя не нашел. Тогда он пошевелил ножками денежные монеты, взял из них клювом самую мелкую бронзовую копейку и улетел с ней неизвестно куда. Значит, он не даром прилетал — хоть что-нибудь, а взял! Пусть живет и заботится, ему тоже надо существовать.

На другой вечер старый скрипач открыл футляр — на тот случай, что если прилетит вчерашний воробей, так он может покормиться мякотью хлеба, который лежал на дне футляра. Однако воробей не явился, наверно, он наелся где-нибудь в другом месте, а копейка ему не годилась никуда.

Старик все же терпеливо ожидал воробья, и на четвертые сутки он опять увидел его. Воробей без помехи сел на хлеб в футляре и по-деловому начал клевать готовую пищу. Музыкант сошел с памятника, приблизился к футляру и тихо рассмотрел небольшую птичку. Воробей был взлохмаченный, головастый, и многие перья его поседели; время от времени он бдительно поглядывал по сторонам, чтобы с точностью видеть врага и друга, и музыкант удивился его спокойным, разумным глазам. Должно быть, этот воробей был очень стар или несчастен, потому что он успел уже нажить себе большой ум от горя, беды и долголетия.

Несколько дней воробей не появлялся на бульваре; тем временем выпал чистый снег и подморозило. Старик, перед тем как идти на бульвар, ежедневно крошил в футляр скрипки мягкий теплый хлеб. Стоя на высоте подножия памятника, играя нежную мелодию, старик постоянно следил взором за своим открытым футляром, за ближними дорожками и умершими кустами цветов на летней клумбе. Музыкант ожидал воробья и тосковал по нем: где он теперь сидит и согревается, что он ест на холодном снегу? Тихо и светло горели

фонари вокруг памятника Пушкину, красивые чистые люди, освещенные электричеством и снегом, мягко проходили мимо памятника, удаляясь по своим важным и счастливым делам. Старик играл дальше, скрывая в себе жалкое чувство печали по небольшой усердной птичке, которая жила сейчас где-то и изнемогала.

Но прошло еще пять дней, а воробей все не прилетал гостить к памятнику Пушкину. Старый скрипач по-прежнему оставлял для него открытый футляр с накрошенным хлебом, однако чувство музыканта уже затомилось от ожидания, и он стал забывать воробья. Старику многое пришлось забыть в своей жизни безвозвратно. И скрипач перестал крошить хлеб, он теперь лежал в футляре целым куском, и только крышку музыкант оставлял открытой.

* * *

В глубине зимы, близ полуночи, началась однажды поземка. Старик играл последней вещью «Зимнюю дорогу» Шуберта и собирался затем уходить на покой. В тот час из середины ветра и снега появился знакомый седой воробей. Он сел тонкими, ничтожными лапками на морозный снег; потом походил немного вокруг футляра, задуваемый по всему телу вихрями, но равнодушный к ним и безбоязненный, — и перелетел внутрь футляра. Там воробей начал клевать хлеб, почти зарывшись в его теплую мякоть. Он ел долго, наверно целых полчаса времени; уже метель почти полностью засыпала снегом помещение футляра, а воробей все еще шевелился внутри снега, работая над своей пищей. Значит, он умел наедаться надолго. Старик подошел к футляру со скрипкой и смычком и долго ожидал среди вихря, когда воробей освободит футляр. Наконец воробей выбрался наружу, почистился в маленьком снежном сугробе, кратко проговорил что-то и убежал пешком к себе на ночлег, не захотев лететь по холодному ветру, чтобы не тратить напрасно свою силу.

На следующий вечер тот же воробей опять прибыл к памятнику Пушкину; он сразу же опустился в футляр и стал клевать готовый хлеб. Старик глядел на него с высоты подножия памятника, играл оттуда музыку на скрипке и чувствовал добро в своем сердце. В этот вечер погода стояла тихая, словно усталая после вчерашней едкой поземки. Наевшись, воробей высоко взлетел из футляра и пробормотал в воздухе небольшую песню…

Утром долго не светало. Проснувшись в своей комнате, музыкант-пенсионер услышал пение вьюги за окном. Морозный, жесткий снег несся по переулку и застил дневной свет. На оконное стекло еще ночью, во тьме, легли замороженные леса и цветы неизвестной волшебной страны. Старик стал любоваться этой воодушевленной игрою природы, точно природа тоже томилась по лучшему счастью, подобно человеку и музыке.

Идти играть на Тверской бульвар сегодня уже не придется. Сегодня поет буря, и звуки скрипки будут слишком слабы. Все же старик под вечер оделся в пальто, обвязал себе голову и шею шалью, накрошил хлеба в карман и вышел наружу. С трудом, задыхаясь от затвердевшего холода и ветра, музыкант пошел по своему переулку к Тверскому бульвару. Безлюдно скрежетали обледенелые ветви деревьев на бульваре, и сам памятник уныло шелестел от трущегося по нем летящего снега. Старик хотел положить хлебные комки на ступеньку памятника, но увидел, что это бесполезно: буря тотчас же унесет хлеб, и снег засыплет его. Все равно музыкант оставил на ступени свой хлеб и видел, как он исчез в сумраке бури.

Вечером музыкант сидел дома один; он играл на своей скрипке, но некому было его слушать, и мелодия звучала плохо в пустоте комнаты, она трогала лишь одну-единственную душу скрипача, а этого было мало, или душа его стала бедной от старости лет. Он перестал играть. На улице шел поток урагана, — худо, наверно, теперь воробьям. Старик подошел к окну и послушал силу бури сквозь замороженное стекло. Неужели седой воробей и сейчас не побоится прилететь к памятнику Пушкину, чтобы поесть хлеба из футляра?

* * *

Седой воробей не испугался снежного урагана. Только он не полетел на Тверской бульвар, а пошел пешком, потому что внизу было немного тише и можно укрываться за местными сугробами снега и разными попутными предметами.

Воробей тщательно обследовал всю окрестность вокруг памятника Пушкину и даже порылся ножками в снегу, где обыкновенно стоял открытый футляр с хлебом. Несколько раз он пытался взлететь с подветренной стороны на голые, обдутые ступени памятника, чтобы поглядеть, не принес ли туда ураган каких-нибудь крошек или старых зерен; их можно было бы поймать и проглотить. Однако буря сразу брала воробья, как только он отрывался он снега, и несла его прочь, пока он не ударялся о ствол дерева или трамвайную мачту, и тогда воробей поскорее падал и зарывался в снег, чтобы согреться и отдохнуть. Вскоре воробей перестал надеяться на пищу. Он разгреб поглубже ямку в снегу, сжался в ней и задремал: лишь бы ему не замерзнуть и не умереть, а буря когда-нибудь кончится. Все-таки спал воробей осторожно, чутко, следя во сне за действием урагана. Среди сна и ночи воробей заметил, что снежный бугор, в котором он спал, пополз вместе с ним, а затем весь снег вокруг него обвалился, рассеялся, и воробей остался один в урагане.

Воробья понесло вдаль, на большой пустой высоте. Здесь даже снега не было, а только голый чистый ветер, твердый от собственной сжатой силы. Воробей подумал, свернулся потеснее своим телом и заснул в этом урагане.

Выспавшись, он проснулся, но буря по-прежнему несла его. Воробей уже немного освоился жить в урагане, ему было даже легче сейчас существовать, потому что он не чувствовал тяжести своего тела и не нужно было ни ходить, ни летать, ни заботиться о чем-либо. Воробей огляделся в сумраке бури, — ему хотелось понять, какое сейчас время: день или ночь. Но увидеть свет или тьму сквозь сумрак он не сумел и опять съежился и уснул, стараясь сберечь тепло хотя бы внутри себя, а перья и кожа пусть остывают.

Когда воробей проснулся во второй раз, его все еще несла буря. Он стал теперь уже привыкать к ней, только его брала забота о пище. Холода воробей сейчас не чувствовал, зато и тепла не было, — он лишь дрожал в этом сумраке и потоке пустого воздуха. Воробей снова сжался, стараясь не сознавать ничего, пока ураган не обойдется.

Проснулся воробей на земле, в чистой и теплой тишине. Он лежал на листьях большой зеленой травы. Неизвестные и невидимые птицы пели долгие, музыкальные песни, так что воробей удивился и послушал их некоторое время. Затем он убрал и почистил свои перья после вьюги и пошел кормиться.

Здесь, наверно, шло вечное лето, и пищи поэтому было много. Почти каждая трава имела на себе плоды. На стеблях меж листьями висели либо колосья с зернами, либо мягкие стручки с мелкими пряными лепешками, либо открыто росла крупная сытная ягода. Воробей клевал весь день, пока ему не стало стыдно и отвратительно; он опомнился и перестал есть, хотя мог бы покушать еще немного.

Проспав ночь на травяном стебле, воробей с утра опять начал питаться. Однако он съел теперь немного. Вчера от сильного голода он не заметил вкуса пищи, а сегодня почувствовал, что все плоды трав и кустарников были слишком сладкими либо, наоборот, горькими. Но зато в плодах содержалась большая питательность, в виде густого, почти опьяняющего жира, и воробей на второй же день слегка пополнел и залоснился. А ночью его стала мучить изжога, и тогда воробей затосковал по привычной кислоте простого черного хлеба; его мелкие кишки и желудок заскулили от ощущения теплой, темной мякоти в футляре музыканта у памятника Пушкину.

Вскоре воробей стал вовсе печальным на этой летней, мирной земле. Сладость и обилие пищи, свет воздуха и благоухание растений не привлекали его. Бродя в тени зарослей, воробей нигде не встретил ни знакомого, ни родственника: тут воробьи не жили. Местные, тучные птицы имели разноцветные, красивые перья; они обыкновенно высоко сидели на древесных ветвях и пели оттуда прекрасные песни, словно из их горла происходил свет. Ели эти птицы редко, потому что достаточно было склевать одну жирную ягодку в траве, чтобы насытиться на весь день и на всю ночь.

Воробей стал жить в одиночестве. Он постепенно облетал всю здешнюю страну, поднимаясь от земли чуть выше кустарника, и повсюду наблюдал густые рощи трав и цветов, толстые низкие деревья, поющих, гордых птиц и синее, безветренное небо. Даже дожди здесь шли только по ночам, когда все спали, чтобы ненастье не портило никому настроения.

Спустя время воробей нашел себе постоянное место для жизни. Это был берег ручья, покрытый мелкими камнями, где ничего не росло, где земля лежала более скудной и неудобной.

В береговой расщелине там еще жила одна змея, но у нее не было яда и зубов, она питалась тем, что глотала влажную почву, как червь, — и мелкие земляные животные оставались у нее внутри, а сжеванная земля исходила обратно прочь. Воробей подружился с этой змеей. Он часто являлся к ней и смотрел в ее темные, приветливые глаза, и змея тоже глядела на воробья. Затем воробей уходил, и ему становилось легче жить в одиночестве после свидания со змеей.

Вниз по течению ручья воробей увидел однажды довольно высокую, голую скалу. Он взлетел на нее и решил ночевать здесь, на возвышенном камне, каждую ночь. Воробей надеялся, что когда-нибудь настанет буря и она сорвет его, спящего, с камня и унесет обратно домой, на Тверской бульвар. Первую ночь спать на прохладной скале было неудобно, однако на вторую ночь воробей уже привык и спал на камне, глубоко, как в гнезде, согреваемый надеждой на бурю.

* * *

Старый музыкант понял, что седой, знакомый воробей погиб навсегда в зимнем урагане. Снегопад, холодные дни и вьюги часто не позволяли старику выходить на Тверской бульвар для игры на скрипке.

В такие дни музыкант сидел дома, и его единственным утешением было смотреть на замороженное оконное стекло, где складывалась и разрушалась в тишине картина заросшей, волшебной страны, населенной, вероятно, одними поющими птицами. Старый человек не мог предположить, что его воробей живет сейчас в теплом, цветущем краю и спит по ночам на высоком камне, подставив себя под ветер… В феврале месяце музыкант купил себе в зоологическом магазине на Арбате маленькую черепаху. Он читал когда-то, что черепахи живут долго, а старик не хотел, чтобы то существо, к которому привыкнет его сердце, погибло раньше его. В старости душа не заживает, она долго мучается памятью, поэтому пусть черепаха переживет его смерть.

Живя вместе с черепахой, музыкант стал ходить к памятнику Пушкину совсем редко. Теперь он каждый вечер играл дома на скрипке, а черепаха медленно выходила на середину комнаты, вытягивала худую, длинную шею и слушала музыку. Она поворачивала голову немного в сторону от человека, точно для того, чтобы лучше было слышать, и один ее черный глаз с кротким выражением смотрел на музыканта. Черепаха, наверно, боялась, что старик перестанет играть и ей опять станет скучно жить одной на голом полу. Но музыкант играл для черепахи до поздней ночи, пока черепаха не клала свою маленькую голову на пол в усталости и во сне. Дождавшись, когда у черепахи закроются глаза морщинами век, старик прятал скрипку в футляр и сам тоже ложился на покой. Но музыкант спал худо. В теле его то постреливало где-нибудь, то щемило, то заходилось сердце, и он часто вдруг просыпался в страхе, что умирает. Обыкновенно оказывалось, что он еще живой и за окном, в московском переулке, продолжалась спокойная ночь. В марте месяце, проснувшись от замирания сердца, старик услышал могучий ветер; стекло в окне оттаяло: ветер, наверно, дул с юга, с весенней стороны. И старый человек вспомнил про воробья и пожалел его, что он умер: скоро будет лето, на Тверском бульваре снова воскреснут деревья и воробей пожил бы еще на свете. А на зиму музыкант взял бы его к себе в комнату, воробей подружился бы с черепахой и свободно перенес зиму в тепле, как на пенсии… Старик опять уснул, успокоившись тем, что у него

есть живая черепаха и этого достаточно.

Воробей тоже спал в эту ночь, хотя и летел в ураганном южном ветре. Он проснулся только на одно мгновение, когда удар урагана сорвал его с возвышенного камня, но, обрадовавшись, сейчас же уснул вновь, сжавшись потеплее своим телом. Проснулся воробей уже засветло; ветер нес его могучей силой в далекую сторону. Воробей не боялся полета и высоты; он пошевелился внутри урагана, как в тяжелом, вязком тесте, проговорил сам для себя кое-что и почувствовал, что хочет есть. Воробей огляделся с осторожностью и заметил вокруг себя посторонние предметы. Он их тщательно рассмотрел и узнал: то были отдельные тучные ягодки из теплой страны, зерна, стручки и целые колосья, а немного подальше от воробья летели даже целые кусты и древесные ветви. Значит, ветер взял с собою не одного его, воробья. Маленькое зерно мчалось совсем рядом с воробьем, но схватить его было трудно, благодаря тягости ветра: воробей несколько раз высовывал клюв, а достать зерна не мог, потому что клюв упирался в бурю, как в камень. Тогда воробей начал вращаться вокруг самого себя: он перевернулся ножками кверху, выпустил одно крыло, и ветер сразу снес его в сторону — сначала к близкому зерну, и воробей враз склевал его, а потом воробей пробрался и к более дальним ягодам и колосьям. Он накормил себя досыта и, кроме того, научился, как нужно передвигаться почти поперек бури. Покушав, воробей решил заснуть. Ему сейчас было хорошо: обильная пища летела рядом с ним, а холода или тепла среди урагана он не чувствовал. Воробей спал и просыпался, а проснувшись, опять ложился по ветру ножками кверху, чтобы дремать на покое. В промежутках меж одним сном и другим он сытно кормился из окружающего воздуха; иногда какая-либо ягода или стручок со сладкой начинкой вплотную прибивались к телу воробья, и тогда ему оставалось только склевать и проглотить эту пищу. Однако воробей побаивался, что ветер когда-нибудь перестанет дуть, а он уже привык жить в буре и обильно питаться из нее. Ему не хотелось больше добывать себе корм на бульварах постоянным хищничеством, зябнуть по зимам и бродить пешком по пустому асфальту, чтобы не тратить сил на полет против ветра. Он жалел только, что нет среди всего этого могучего ветра крошек кислого черного хлеба, — летит одна лишь сладость или горечь. К счастью для воробья, буря шла долго, и, просыпаясь, он снова чувствовал себя невесомым и пробовал напевать сам себе песню от удовлетворения жизнью.

* * *

В весенние вечера старый скрипач выходил играть к памятнику Пушкину почти ежедневно. Он брал с собою черепаху и ставил ее на лапки возле себя. Во все время музыки черепаха неподвижно слушала скрипку и в перерывы игры терпеливо ждала продолжения. Футляр от скрипки по-прежнему лежал на земле против памятника, но крышка футляра была теперь постоянно закрыта, потому что старик уже не ожидал к себе в гости седого воробья.

В один из погожих вечеров начался ветер со снегом. Музыкант спрятал черепаху за пазуху, сложил скрипку в футляр и пошел на квартиру. Дома он, по обыкновению, накормил черепаху, а затем поместил ее на покой в коробку с ватой. После того старик хотел взяться за чай, чтобы погреть желудок и продлить время вечера. Однако в примусе не оказалось керосина и бутылка тоже была пустая. Музыкант пошел покупать керосин на Бронную улицу. Ветер уже прекратился; падал слабый, влажный снег. На Бронной продажу керосина закрыли на переучет товара, поэтому старику пришлось идти к Никитским воротам.

Закупив керосин, скрипач направился обратно домой по свежему, тающему снегу. Два мальчика стояли в воротах старого жилого дома, и один из них сказал музыканту:

— Дядя, купи у нас птицу… Нам на кино не хватает!

Скрипач остановился.

— Давай, — сказал он. — А где вы ее взяли?

— Она сама с неба на камни упала, — ответил мальчик и подал птицу музыканту в двух сложенных горстях.

Птица, наверно, была мертвая. Старик положил ее в карман, уплатил мальчику

двадцать копеек и пошел дальше.

Дома музыкант вынул птичку из кармана на свет. Седой воробей лежал у него в руке; глаза его были закрыты, ножки беспомощно согнулись, и одно крыло висело без силы. Нельзя понять, обмер ли воробей на время или навечно. На всякий случай старик положил воробья себе за пазуху под ночную рубашку — к утру он либо отогреется, либо никогда более не проснется.

Напившись чаю, музыкант бережно лег спать на бок, не желая повредить воробья.

Вскоре старик задремал, но сразу же проснулся: воробей пошевелился у него под рубашкой и клевнул его в тело. «Живой! — подумал старый человек. — Значит, сердце его отошло от смерти!» — и он вынул воробья из теплоты под своею рубашкой.

Музыкант положил ожившую птичку на ночлег к черепахе. Она спала в коробке, — там лежала вата, там воробью будет мягко.

На рассвете старик окончательно проснулся и посмотрел, что делает воробей у черепахи.

Воробей лежал на вате тонкими ножками кверху, а черепаха, вытянув шею, смотрела на него добрыми, терпеливыми глазами. Воробей умер и забыл навсегда, что он был на свете.

Вечером старый музыкант не пошел на Тверской бульвар. Он вынул скрипку из футляра и начал играть нежную, счастливую музыку. Черепаха вышла на середину комнаты и стала кротко слушать его одна. Но в музыке недоставало чего-то для полного утешения горюющего сердца старика. Тогда он положил скрипку на место и заплакал.

Старик и старуха

[текст отсутствует]

На заре туманной юности

1

Родители ее умерли от тифа в гражданскую войну в одну ночь. Ольге тогда было четырнадцать от роду, и она осталась одна, без родных и без помощи, в маленьком поселке при железнодорожной станции, где отец ее работал составителем поездов. После того как отца и мать помогли похоронить соседи и знакомые, девочка жила еще несколько дней в пустой, выморочной квартире из кухни и комнаты. Ольга вымыла полы в кухне и комнате, прибралась и села на табурет, не зная, что ей делать дальше и как теперь жить. Соседка-бабушка принесла девочке кулеш в чашке, чтобы сирота, бывшая худой и не по летам маленького роста, поела что-нибудь, и Ольга скушала все без остатка. А когда бабушка ушла, Оля начала стирать белье: рубашку матери и подштанники отца, что от них сохранилось из белья и верхней одежды. Вечером Ольга легла спать на койку, где спали всегда отец с матерью, когда они были живые и больные. Наутро она встала, умылась, прибрала постель, подмела комнату и сказала: «Опять надо жить!» — так часто говорила ее мать. Затем Ольга пошла в кухню и стала там хлопотать, точно она, подобно умершей матери, стряпала обед; стряпать было нечего, не было никаких продуктов, но Ольга все же поставила пустой горшок на загнетку печки, взяла чаплю, оперлась на нее и, вздохнув, пригорюнилась около печи, как делала мать. Потом она перетерла и составила в ящик стола всю посуду, посмотрела на часы, подтянула гирю к циферблату и подумала: «Не то отец вовремя придет с дежурства, не то запоздает? Если будет формироваться маршрут, то опоздает» — так обычно думала мать Ольги, называя своего мужа отцом. Теперь девочка-сирота тоже думала и поступала подобно матери, и ей от этого было легче жить одной. Она знала, что ей четырнадцать лет и ее зовут Ольгой, но, когда она делала вместо матери все дела по хозяйству, когда она повторяла ее слова, вздыхала от нужды и тихо томилась на

кухне, девочка воображала себе, что мать ее еще жива в ней немного, она чувствовала ее вместе с собою.

Вечером Ольга зажгла лампу, в ней был на дне керосин, налитый когда-то отцом, и поставила огонь на подоконник. Так же делала и ее мать, когда ожидала отца в темное время. Отец, подходя к дому, еще издали кашлял на улице и сморкался, чтобы жена и дочь слышали, что идет отец. Но теперь на улице было постоянно тихо; народ разошелся по сельским хлебным местам либо лежал в своих жилищах слабый и болезненный, а в некоторых дворах вовсе вымер. Ольга все же дотемна ожидала отца или кого-нибудь, кто бы пришел к ней, но никто не вспомнил о сироте — ни бабушка-соседка, ни другие люди, потому что у них была своя боль и своя забота. Тогда она легла в кровать родителей и уснула одна.

Девочка пожила дома еще два дня, переночевала, а потом ушла на станцию. Далеко от нее, в губернском городе на Волге, жила ее тетя; она приезжала два года тому назад гостить к матери и была в воображении Ольги богатой и доброй. Тетка была сестрой матери, она даже походила на нее лицом, и девочка хотела сейчас поскорее уехать к ней, чтобы жить около тетки и не скучать по матери. Болея перед смертью, мать говорила, что если Ольге суждено жить, то пусть она едет к тетке, чтобы не оставаться одной на свете; сестра матери и накормит сироту, и обошьет, и отдаст в учение. Теперь дочь вспомнила мать и послушалась ее.

На вокзале было пустынно; война с буржуями отошла в южную сторону. На железнодорожном пути против вокзальной платформы стоял один небольшой, старый паровоз и два пустых товарных вагона. Из будки паровоза на девочку глядел помощник машиниста; он помнил ее отца и мать, и знал, что они скончались, поэтому позвал сироту на машину. Девочка влезла по трапу на паровоз; механик развязал красный платок с пищей и вынул оттуда четыре печеные картошки; затем он погрел их на котле, посыпал солью и дал Ольге поесть две картошки, а две съел сам. Ольге захотелось, чтобы механик взял ее к себе домой, она бы стала у него жить и привыкла бы к нему. Но паровозный механик ничего не сказал девочке доброго, он только покормил ее и спрятал обратно свой пустой красный платок. Он сам был многодетный человек и не мог решить, сможет ли он прокормить лишний рот.

Ольга просидела на паровозе до самых вечерних сумерек, пока не подъехал к вокзалу длинный поезд с вагонами-теплушками, в которых находились красноармейцы.

— Я теперь пойду, мне к тетке ехать надо, — сказала Ольга механику. — Мне мать велела, когда она еще живая была.

— Раз надо, тогда езжай, — сказал ей механик.

Ольга сошла с паровоза и направилась к красноармейскому поезду. Все вагоны были открыты настежь, и почти все красноармейцы вышли наружу; некоторые из них ходили по вокзальной платформе и смотрели, что находится вокруг них — водонапорная башня, дома около станции и далее их простые хлебные поля. Четыре красноармейца несли суп в цинковых ведрах из станционной кухни; Ольга близко подошла к тем ведрам с супом и поглядела в них: оттуда пахло вкусным мясом и укропом, но это было для красноармейцев, потому что они ехали на войну и им надо быть сильными, а Ольге кушать этот суп не полагалось.

Около одного вагона стоял задумчивый красноармеец; он не спешил идти обедать и отдыхал от дороги и от войны.

— Дядя, можно я тоже с вами поеду? — попросилась Ольга. — Меня родная тетка ждет…

— А она где отсюда проживает? — спросил красноармеец. — Далече?

Ольга назвала город, и красноармеец согласился, что это — далеко, пешком не дойдешь, а с поездом завтра к утру, пожалуй, поспеешь туда.

В это время к вагону подошли два красноармейца с ведром супа, а позади них еще несколько красноармейцев несли в руках хлеб, махорку, кашу в кастрюле, мыло, спички и

прочее довольствие.

— Вот тут девочка доехать до тетки просится, — сказал красноармеец своим подошедшим товарищам. — Надо бы взять ее, что ли…

— А чего нет — пускай едет! — сказал красноармеец, прибывший с двумя хлебами под мышками. — В невесты она не годится — мала, а в сестры — как раз…

Ольгу подсадили в вагон, дали ей ложку и большой ломоть хлеба, и она села среди красноармейцев, чтобы есть общий суп из цинкового чистого ведра. Вскоре один красноармеец заметил, что ей неловко есть, сидя на полу, и он велел ей встать на колени — тогда она будет доставать ложкой погуще со дна, будет видеть, где плавает жир и где находится говядина.

После ужина поезд тронулся. Красноармейцы уложили Ольгу на верхнее помостье, потому что там было теплее и тише, а сверху укрыли ее двумя шинелями, чтобы она не продрогла от ночной или утренней прохлады.

2

Поздно утром красноармейцы разбудили Ольгу. Поезд стоял на большой станции; незнакомые паровозы чужими голосами гудели вдалеке, и солнце светило не с той стороны, с какой оно светило в поселке, где жила Ольга. Красноармейцы подарили Ольге половину печеного хлеба и ломоть сала и опустили ее из вагона под руки на землю.

— Тут твоя тетка живет, — сказали они. — Ступай к ней, учись и вырастай большая, в твое время хорошо будет жить.

— А я не знаю, где тетка живет, — произнесла Ольга снизу; она стояла теперь одна, в бедной юбчонке, босая и с хлебом под мышкой.

— Сыщешь, — ответил задумчивый красноармеец. — Люди укажут.

Но Ольга не уходила; ей хотелось остаться с красноармейцами в вагоне и ехать с ними, куда они едут. Она уже привыкла к ним немного, и ей хотелось каждый день есть суп с говядиной.

— Ну, иди помаленьку, — поторопили ее из вагона.

— А вы сказали, мне хорошо будет, а когда? — спросила она, боясь сразу уходить к тетке, неизвестно куда.

— Потерпи, — ответил ей прежний, задумчивый красноармеец. — Нам сейчас заботы много: белых надо покончить.

— Я потерплю, — согласилась Ольга. — А теперь до свиданья, я к тетке пошла.

Тетку она отыскала лишь к самому вечеру. Она спрашивала всех встречных, у кого лица

были добрее, но сперва никто не знал, где живет Татьяна Васильевна Благих. Хлеб у Ольги отобрал один прохожий человек, который попросил откусить один раз, но взял весь хлеб и ушел в сторону, сказав девочке, что хлебом спекулировать теперь воспрещается. Ольга съела поскорее все сало, которое дали ей красноармейцы, чтобы его никто больше не отнял, и вошла в один двор — попросить напиться. Пожилая женщина вынесла ей кружку воды и сказала, что больше подать нечего.

— А я не побираюсь, я к тетке приехала, — сказала Ольга.

— А кто ж твоя тетка-то? — с подозрением спросила дворовая женщина.

Ольга подробно назвала свою тетку; тогда женщина почему-то вздохнула и указала девочке, куда надо идти: направо за угол, и там будет третий дом по левой стороне с некрашеными ставнями, там и живут Благих, муж и жена, а детей у них нету.

— Нету? — спросила Ольга.

— Нету, — подтвердила женщина, — у этих людей дети рожаться не любят.

Ольга нашла небольшой деревянный дом с некрашеными ставнями, вошла во двор, заросший дикой травою, и постучала в запертые сени. Оттуда послышался недовольный, тихий голос, затем шаги, и дверь отворилась — она была закрыта на засов и щеколду, как на

ночь. Босая, простоволосая тетка Татьяна Васильевна вышла к Ольге и осмотрела всю девочку. Ольга увидела перед собой тетку; она думала, что тетка была веселой и доброй, какой Ольга запомнила ее в детстве, когда Татьяна Васильевна жила в гостях у отца и матери, а теперь тетка глядела на девочку равнодушными глазами и не обрадовалась, что к ней приехала круглая сирота.

— Ты что сюда явилась? — спросила тетка.

— Мне мать велела, — произнесла Ольга. — Она ведь теперь умерла вместе с отцом, а я одна живу… Тетя, их больше нету!

Татьяна Васильевна подняла конец фартука и вытерла глаза.

— Наша родня вся недолговечная, — сказала она. — Я ведь тоже только на вид здорова, а сама не жилица… И-их, нет, не жилица!

Ольга с удивлением смотрела на тетку — теперь она казалась ей доброй, потому что грустила об умершей сестре и о самой себе.

— Живешь-живешь, и погоревать некогда, — вздохнула Татьяна Васильевна. — Ты ступай покуда посиди на улице, — указала она племяннице, — а то я сейчас полы только вымыла, уборку сделала, пустить тебя некуда…

— А я на дворе побуду, тут трава у вас растет, — сказала Ольга.

Но Татьяна Васильевна рассердилась:

— Нечего тебе на дворе тут делать! Здесь у нас куры ходят, они и так не несутся, а ты пугать их будешь сидеть. А траву мы косим на корм кроликам, ходить по ней нельзя… Ступай по тропинке за ворота!

Ольга вышла на улицу; посредине ее лежали сложенные в штабель старые ржавые рельсы, и между ними уже много раз вырастала и умирала трава, и теперь она снова росла. Девочка села на эти рельсы — они находились как раз против окон того дома, где жила тетка, — и стала ожидать, когда высохнут полы в комнатах у тетки, и тогда ее позовут и накормят.

Но прошли уже все прохожие, проехали крестьяне на телегах в свои деревни и ломовые возчики, возившие пшено в мешках со станции, перестали ездить, — наступил вечер, и стало темно. Ольги озябли голые ноги, она их поджала ближе к себе и задремала, сидя на стынущем рельсе. Затем, открыв глаза, она увидела, что в окнах у тетки теперь горел свет, а на всей улице была страшная тихая ночь детства, населенная еле видимыми, неизвестными существами, от которых все люди спрятались домой и заперли двери на железо. Ольга побежала поскорее к тетке; калитка была закрыта, тогда девочка постучала в освещенное окно. Изнутри комнаты отдернули занавеску, и оттуда на Ольгу поглядело большое лицо пожилого человека, обросшего густой черной бородой; он быстро проглотил что-то, словно испугавшись, что к нему пришли отымать пищу, и внимательно всмотрелся во тьму своими глазами, такими маленькими, что они казались кроткими, как бывает у животных. Позади этого человека был виден стол с ужином, и Татьяна Васильевна сейчас поспешно убирала хлеб и посуду со стола.

Ольга отошла от окна. Вскоре отворилась калитка, и оттуда выглянула тетка.

— Ты что стучишь? — спросила она. — А мы уж думали, ты давно ушла…

— Я уморилась ждать, когда вы позовете, — сказала Ольга. — Я боюсь одна на улице…

— Ну иди уж, — позвала тетка.

В кухне и горнице у тетки было чисто, прибрано и покойно и пахло хорошо, как у богатых. «Здесь я жить не буду, — подумала Ольга. — Тут нельзя: скажут, ты испачкаешь все». Муж Татьяны Васильевны, который смотрел на Ольгу через окно, опять ел за столом свой ужин.

— От своих детей бог избавил, зато нам их родня подсыпает, — вздохнула Татьяна Васильевна. — Вот тебе, Аркаша, племянница моя, она теперь круглая сирота: пои, корми ее, одевай и обувай!..

— Изволь радоваться! — равнодушно, точно про себя, сказал муж Татьяны

Васильевны. — Ну, дай ей поесть, и пускай она сегодня переночует… А то отвечать еще за нее придется!

— А чего ж я ей постелю-то! — воскликнула тетка. — У нас ведь нет ничего лишнего-то: ни белья, ни одеяла, ни наволочки чистой!

— Я так буду спать — на жестком, а покроюсь своим платьем, — согласилась Ольга.

— Пусть ночует, — указал жене дядя, Аркадий Михайлович. — А ты нынче не зверствуй, а то тебе Советская власть покажет!

Татьяна Васильевна сначала озадачилась, а потом пришла в озлобление:

— Чем же это она мне покажет-то?.. Советская-то власть, она думает, что люди это ангелы-товарищи, а они возьмут нарожают тебе детей, а сами помрут, — вот пусть она их и кормит, власть-то Советская!..

— Прокормит, — уверенно сказал муж тетки, жуя кашу с маслом из ложки.

— «Прокормит!» — передразнила Татьяна Васильевна своего мужа. — Кто их прокормит, если у них родители рожают без удержу! Уж я-то знаю, как трудно оборачиваться Советской власти, уж я-то ей сочувствую!..

— Меня кормить не надо, я спать хочу, — сказала Ольга; она села на сундук и отвернулась лицом от чашки с кашей, которая стояла на столе перед хозяином.

Муж тетки вытер свою ложку, положил ее около чашки и сказал сироте:

— Садись доедай — тут осталось.

Ольга села к столу и начала понемногу есть пшенную кашу, подгребая ее со дна чашки.

— Ну вот, а говорила, что тебя кормить не надо, ты спать хочешь, — произнесла тетка и поскорее положила на сундук подушку без наволочки, чтоб девочка ложилась спать.

— Я немножко, — ответила Ольга; она еще раз взяла половину ложки каши, затем начисто облизала ложку и аккуратно положила ее на стол. — Больше не буду, — сообщила она.

— Уже наелась? — добрым голосом спросила Татьяна Васильевна.

— Нет, я расхотела, — сказала Ольга.

— Ну, ложись теперь спать, отдыхай, — пригласила ее тетка на сундук. — А то мы свет сейчас потушим: чего зря керосину гореть!

Ольга улеглась на сундук, тихо сжалась всем телом, чтобы чувствовать себя теплее, и уснула на твердом дереве, как на мягкой постели, потому что у нее не было сейчас другого места на свете.

3

Утром дядя и тетка проснулись рано; дядя был железнодорожным машинистом и уезжал в очередную поездку на товарном поезде. Татьяна Васильевна собрала мужу сытные харчи в дорогу — кусок сала, хлеб, стакан пшена для горячей похлебки, четыре вареных яйца, — и машинист надел теплый пиджак и шапку, чтобы не остудить голову на ветру.

— Так как же нам теперь жить-то? — шепотом спросила Татьяна Васильевна у мужа.

— А что? — сказал Аркадий Михайлович.

— Да видишь вон, — указала тетка на Ольгу, — лежит наше новое сокровище-то!

— Она — твоя родня, — ответил ей муж, — делай сама с нею, что хочешь, а мне чтоб покой дома был.

После ухода мужа тетка села против спящей племянницы, подперла щеку рукой, пригорюнилась и тихо зашептала:

— Приехала, развалилась — у дяди с тетей ведь добра много: накормят, обуют, оденут и с приданым замуж отдадут!.. Принимайте, дескать, меня в подарок, — вот я босая, в одной юбчонке, голодная, немытая, сирота несчастная… Может, бог даст, вы скоро подохнете — дядя с тетей, — так я тут хозяйкой и останусь: что вы горбом да трудом добыли, я враз в оборот пущу!.. Ну уж, милая, пускай черти кромешные тебя к себе заберут, а с моего добра я и пыль тебе стирать не позволю и куском моим ты подавишься!.. Мужик целый день на

работе, на ветру, на холоде, я с утра до ночи не присяду, а тут, на тебе, приехала на все готовое: любите, питайте меня… Ольга, чего ты все спишь-то? — вдруг громко позвала Татьяна Васильевна. — Ишь, уморилась, подумаешь, — вставать давно пора! Мне из-за тебя ни за чего приниматься нельзя!..

Ольга лежала неподвижно, обратившись лицом к стене; она свернулась в маленькое тело, прижав колени почти к подбородку, сложив руки на животе и склонив голову, чтобы дышать себе на грудь и согревать ее; изношенное серое платье покрывало ее, но это платье уже было не по ней — она из него выросла, и его хватало лишь потому, что Ольга лежала, тесно сжавшись; днем же почти до колен были обнажены худые ноги подростка и руки покрывались обшлагами рукавов только до локтей.

— Ишь ты, разнежилась как! — раздражалась близ нее тетка.

— Я не сплю, — сказала Ольга.

— А что ж ты лежишь тогда, мне ведь горницу убирать пора!

— Я вас слушала, — ответила девочка.

Тетка осерчала:

— Ты еще путем не выросла, а уж видать, что — ехидна!

Ольга встала и оправила на себе платье. Помолчав, Татьяна Васильевна сказала ей:

— Пойди умойся, потом я самовар поставлю. Небось кушать хочешь!

Ольга ничего не ответила; она не знала, что нужно сейчас думать и как ей быть.

За чаем тетка дала Ольге немного черных сухарей и половину вареного яйца, а другую половину съела сама. Поев, что ей дали, Ольга собрала со скатерти еще крошки от сухарей и высыпала их себе в рот.

— Иль ты не сыта еще? — спросила тетка. — Тебя теперь и не прокормишь!.. Уйдешь из дому, а ты и начнешь по шкафам крошки собирать да по горшкам лазить… А мне сейчас как раз на базар надо идти, как же я тебя одну-то во всем доме оставлю?

— Я сейчас пойду, я у вас не останусь, — ответила ей Ольга.

Тетка довольно улыбнулась.

— Что ж, иди — значит, тебе есть куда идти… А когда соскучишься, в гости будешь к нам приходить. Так-то будет лучше.

— Когда соскучусь, тогда приду, — пообещала Ольга, и она ушла.

На улице было утро, с неба светило теплое солнце; скоро будет уже осень, но она еще не наступила, только листья на деревьях стали старыми. Ольга пошла мимо домов по чужому, большому городу, но смотрела она на все незнакомые места и предметы без желания, потому что она чувствовала сейчас горе от своей тетки, и это горе в ней превратилось не в обиду или ожесточение, а в равнодушие; ей стало теперь неинтересно видеть что-либо новое, точно вся жизнь перед ней вдруг омертвела. Она двигалась вперед вместе с разными прохожими людьми и, что видела вокруг, тотчас забывала. На одном желтом доме висели объявления и плакаты, люди стояли и читали их. Ольга тоже прочитала, что там было написано. Там писалось о том, куда требуются рабочие и на какой разряд оплаты по семиразрядной тарифной сетке; затем объявлялось, что в университет принимаются слушатели с предоставлением стипендии и общежития. Ольга пошла в университет — она хотела жить в общежитии и учиться; она уже четыре зимы ходила в школу, когда жила при родителях.

В канцелярии университета никого не было, все ушли в столовую, но сидел на стуле один сторож-старик и ел хлебную тюрю из жестяной кружки, выбирая оттуда пальцами мочёные кусочки хлеба. Он сказал Ольге, что ее по малолетству и несознательности сейчас в университет не примут, пусть она сначала поучится добру в низшей школе.

— Я хочу жить в общежитии, — проговорила Ольга.

— Чего хорошего! — ответил ей старик. — Живи с родными, там тебе милее будет.

— Дедушка, дай мне тюрю доесть, — попросила Ольга. — У тебя ее немножко осталось, ты ей все равно не наешься, а мочёнки ты уже все повытащил…

Старик отдал свою кружку сироте:

— Похлебай: ты еще маленькая, тебе хватит, может, наешься… А ты чья сама-то будешь?

Ольга начала есть тюрю и ответила:

— Я ничья, я сама себе своя.

— Ишь ты, сама себе своя какая! — произнес старик. — А тюрю мою зачем ешь? Харчилась бы сама своим добром, жила бы в чистом поле…

Ольга отдала кружку обратно старику:

— Доедай сам, тут еще осталось… Меня в люди не принимают!

4

Служащие канцелярии, пришедшие из столовой, приняли в Ольге участие. Заведующий написал письмо на курсы подготовки младших железнодорожных агентов с просьбой принять осиротевшую дочь рабочего на эти курсы и обеспечить ее всем необходимым для жизни. Сторож-старик проводил вечером Ольгу по адресу, и комендант курсов пока что отвел для Ольги место в общежитии — койку и шкаф — рядом с другой такой же койкой в маленькой выбеленной комнате; далее по коридору было еще много комнат, где жили учащиеся курсанты. На завтрашний день с утра, когда придет заведующий курсами, комендант велел Ольге оформить свое поступление посредством заполнения анкеты.

Несколько дней Ольга привыкала к подругам по общежитию и к своей новой жизни, а потом почувствовала, что ей здесь хорошо. Утром и вечером она училась в подготовительном классе, который находился при курсах, а среди дня был перерыв на обед и на отдых. Узнав, что Ольга нуждается и не может платить в столовой за пищу, заведующий велел выдать новой учащейся стипендию за полмесяца вперед, а также башмаки, белье, нитки, две пары чулок, верхнюю куртку и прочее, что полагалось по норме.

Тревога и грусть перед жизнью, вызванные в Ольге смертью родителей, ночлегом у тетки и сознанием, что все люди обходятся без нее и она никому не нужна, теперь в ней прекратились. Ольга понимала, что она теперь дорога и любима, потому что ей давали одежду, деньги и пропитание, точно родители ее воскресли и она опять жила у них в доме. Значит, все люди, вся Советская власть считают ее необходимой для себя и без нее им будет хуже.

И Ольга училась с прилежным усердием, чувствуя в себе спокойное, счастливое сердце, лишь иногда оно томилось в ней неутешимым воспоминанием об отце и матери, и девочка хотела, чтобы ее снова любил кто-нибудь — отдельный человек, подобно отцу или матери, а не все люди, которые сейчас ее кормят и учат, но которых она хорошо не знает.

Просыпаясь по ночам, Ольга забывала, что она лежит в общежитии, ей казалось, что рядом с нею спят в сумраке на своей старой кровати мать и отец, что слышатся свистки маневрового паровоза со станции и брешут собаки вдалеке, охраняя добро своих хозяев, сложенное в дворовых закутах… Но глаза ее понемногу привыкали к сумраку, и девочка видела спящую подругу-соседку, пятнадцатилетнюю Лизу. Подруга всегда спала кротко, тихо дыша спокойным телом, ей, может быть, снилось ее девичье предчувствие — будущая счастливая жизнь; из-за толстых стен большого здания слышался долгий городской гул, всегда как будто удаляющийся, но возникающий вновь из ночного труда и движения людей.

В классе Ольга сидела рядом с Лизой, которая тоже была наполовину сиротой: ее отца убили на империалистической войне, а мать, нестарая женщина, вышла замуж за заведующего столовой и, не заботясь более о своей дочери, предалась шумной, сытой жизни и какой-то общественной деятельности. Но перед Лизой открылись другие близкие люди; утратив мать, она нашла подруг в общежитии, узнала, кто такой Ленин, что такое революция, — и печаль нужды и сиротства оставила ее сердце, которое дотоле было бедным и несчастным, потому что оно чувствовало жизнь лишь как необходимость терпеть голод и тоску вдвоем с матерью, в одиночестве своей комнаты, около печки-лежанки, где они спали и изредка готовили пищу, когда доставали пшена и щепок. Затем мать ушла к мужу и

забывала приносить дочери хлеб…

Подруги, общежитие, обучение науке, кружки самодеятельности, питание всем готовым в столовой — это было не то, что домашнее уныние и непрерывная забота о хлебе, утомляющая детскую душу.

Ольга вначале не понимала, за что ее здесь кормят и позволяют жить в чистоте и тепле, почему здесь не нужно вдобавок к ученью работать, а нужно только думать, учиться, слушать музыку, когда играют по вечерам в клубе на гармони, и читать книги, описывающие всю жизнь. И Ольга боялась, что ее прогонят из школы и общежития, потому что ее пока ведь не за что любить, кормить и доверчиво тратить на нее добро бедного народа. И хотя она не пугалась нужды и ночлега в неприютных местах, но ей было жалко лишиться этой счастливой и веселой жизни в общежитии, чувства свободы и сознания своего значения, которое она приобретала из книг и от учителей на курсах; ей уже не хотелось теперь жить, как прежде, со спрятанным, тихим сердцем, — она хотела им чувствовать все, что ей раньше было незнакомо.

На вечере в честь годовщины Октябрьской революции Ольга впервые в жизни долго слушала музыку на рояле, привезенном из Дворца труда, и она заплакала оттого, что это было хорошо, оттого, что жизнь не может быть скучна и обыкновенна, она должна быть волшебной, похожей на истинное предчувствие ее, которое существует в детском или юношеском сердце.

Ольга спросила у Лизы, которая была рядом с ней на стуле:

— Лиза, нас не прогонят отсюда домой? У меня ведь дома больше нет! Кто это все делает для нас?

— Это Ленин, — сказала Лиза. — Он нас никогда не тронет!

— А почему? — спросила Ольга.

Лиза удивилась:

— Почему?.. А потому, что он нас тоже любит, мы будущие люди, мы будем коммунизмом… Без нас всем станет плохо.

Ольга задумалась, она не поняла Лизу:

— А как же он будет — коммунизм? Надо ведь стараться!

— Ленин знает, как будет все! — легко ответила Лиза.

Ольга посмотрела на портрет Ленина: «Он уже старый, — подумала она, — как мой отец; мы много хлеба едим и одежду скоро носим, а вчера на курсы пять возов дров привезли, — нам надо скорее учиться и вырастать, чтоб самим работать». Она была мала ростом и несильная в теле, и сама это знала. «Как бы не помереть, — еще озаботилась она. — Недавно тиф и грипп ходили, а то на нас Ленин потратит последнее, а мы вдруг помрем от болезни и ничего не сделаем, и даже его никогда не увидим».

Ночью, укрывшись в одеяло с головой, Ольга начала думать о своей и всеобщей жизни; она представила Ленина, как живого, главного отца для себя и для всех бедных, хороших людей, — и от этой мысли она почувствовала ясное, верное счастье в своем сердце, как будто вся смутная земля стала освещенной и чистой перед нею, и жалкий страх ее утратить хлеб и жилище прошел, потому что разве Ленин может ее обидеть или оставить опять одну без надежды и без родства на свете?.. Ольга любила правильное устройство мира, чтобы все было в нем уместно и понятно, — так было ей лучше думать о нем и счастливее жить.

5

Ослабленным и худым учащимся в столовой давали обыкновенно добавок к обеду, если они его просили, — по второй тарелке супу или каши. В первое время ученья Ольга тоже часто брала себе добавок, чтобы сытнее наедаться, но теперь она перестала требовать добавки и с неудовольствием смотрела на Лизу, которая всегда съедала двойную порцию второго блюда. Ольга жалела общую пищу республики, чтобы осталось больше хлеба для красноармейцев и рабочих, для всех, кто сейчас нужнее, чем она.

Но через несколько месяцев, к весне, их столовой вдруг вовсе перестали выдавать продукты, а всем учащимся курсантам задержали уплату стипендий. После оказалось, что в этом деле были повинны белые офицеры, служившие в губпродкоме и финотделе, и те, кто им доверил советскую службу.

Лиза, не поев всего два дня, на третий день заплакала, а Ольга не стала плакать. Ольга с утра пошла на третий этаж дома, где жили разные вольные жильцы, и попросила у хозяек работы по домашнему хозяйству, — уроки в этот день она пропустила. Но хозяйки из экономии всюду управлялись сами, и лишь в одной квартире полная женщина, Полина Эдуардовна, велела Ольге вымыть полы, потому что ей самой было трудно нагибаться от излишней полноты тела. За эту работу Ольга получила фунт хлеба, два куска сахара и еще немного денег.

Вернувшись в общежитие, Ольга подождала Лизу, когда окончатся дневные уроки, и разделила с ней пополам хлеб и сахар. Лиза скушала свою долю, но не наелась и опять стала печальной от голода.

— Скажи мне, какие были сегодня уроки? — спросила у нее Ольга.

— Сегодня были неинтересные уроки! — ответила Лиза.

Ольга нахмурилась:

— Ты учись теперь за себя и за меня, пока нам стипендию не отдадут, — сказала она. — А я буду тебя кормить и у тебя уроки записывать, а по вечерам стану их готовить.

Лиза спросила:

— А что ты будешь делать?

— Полы пойду у людей помою, за детьми посмотрю, — делов везде много, — грустно сказала Ольга. — А ты учись, я тебя одна прокормлю.

— Я есть хочу, — произнесла Лиза. — Я не наелась твоим хлебом и куском сахара.

— Я тебе сейчас еще хлеба принесу, — пообещала Ольга и ушла из комнаты.

Она отправилась к тетке, но побоялась пойти к ней сразу и села на рельсы, лежавшие на улице против окон теткиного дома. Старые рельсы, неизвестно чьи, находились на прежнем месте, и Ольга с улыбкой встречи и знакомства погладила их рукой. Она сидела долго и видела, что тетка два раза глядела на нее в окно, но тем более ей трудно было пойти в дом родных, хотя Ольга уже давно озябла на зимнем холоде.

Вечером Татьяна Васильевна вышла за калитку и позвала племянницу:

— Иди уж, чего сидишь!.. Потрескай моего кулешу…

Ольга вошла в дом и съела кулеш из жестяной чашки, которую подала ей тетка; Аркадия Михайловича дома не было, но Татьяна Васильевна торопила, чтоб Ольга ела скорее, потому что тетке надо было уходить, и она из-за спешки даже забыла дать сироте хлеба, из-за которого Ольга и пришла к тетке, с тем чтобы унести хлеб Лизе.

Накормив племянницу кулешом без хлеба, Татьяна Васильевна неожиданно сказала:

— Посиди еще, мне рано уходить, — и вдруг вытерла фартуком глаза, где не было слез пли их было очень мало.

Затем тетка рассказала Ольге, что ей сейчас надо идти в железнодорожную столовую: муж ее, Аркадий Михайлович, теперь всегда как сменится, то умывается прямо из паровоза и потом идет в столовую, где он спознался, на старости лет, с одной официанткой-подавалкой, Маруськой Вихревой, и ей надо пойти туда, чтобы дознаться про эту измену…

— Тетя, — обратилась Ольга, — дайте мне кусочек хлеба побольше.

Тетка молча поглядела на сироту и еще некоторое время подумала.

— Ну да бери уж, — произнесла тетка в раздражении от гибели всей своей жизни. — Все одно, жить теперь мне не судьба… Горькая моя головушка!

Татьяна Васильевна заплакала и запричитала по самой себе, затем по мужу и по своему опустевшему дому, а Ольга самостоятельно открыла шкаф, где хранились продукты, и взяла оттуда ковригу печеного хлеба. Тетка глядела на нее, но ничего не говорила, только когда Ольга разрезала ковригу пополам и половину хлеба взяла себе на руки, Татьяна Васильевна вскрикнула и еще сильнее заплакала.

— Вот моей и жизни конец! — тихо сказала она. — Кого мне теперь кормить, кого питать, кого в доме ожидать!..

Ольга пообещала вскоре еще навестить родную тетку и попрощалась с нею; она спешила.

— Приходи хоть ты-то ко мне! — попросила ее Татьяна Васильевна. — Уж ты видишь, какая я стала — совсем на человека не похожа…

В общежитии Ольга застала Лизу; она уже вернулась с вечерних занятий, не досидев одного урока. Ольга отдала ей хлеб и велела есть, а сама начала заниматься далее по пройденным сегодня предметам, чтобы не отстать. Лиза жевала хлеб и говорила подруге, что сегодня было в классе, но она сама плохо усвоила уроки и не могла объяснить, что такое периодическое число.

— Надо стараться, — сказала ей Ольга. — Чего ты уроки не досиживаешь? А когда сидишь — о чем думаешь? Эх ты, горькая твоя головушка!

— Тебе какое дело! — обиделась Лиза. — Чего мы завтра будем есть? — вздохнула она.

— Что сегодня, то и завтра, — ответила Ольга. — Я достану. Не надо было говорить, что мы будущие люди, когда ты ото всего умереть боишься и периодического числа не запомнила… Это прошедшие, буржуазные люди такие были — вздыхали и боялись, а сами жили по сорок и пятьдесят лет… Нам надо остаться целыми, нас Ленин любит!

Лиза перестала есть хлеб и сказала:

— Я больше не буду, давай уроки вместе делать, — у меня в животе щипало, есть хотелось…

— Что у тебя, кроме живота ничего нету, что ли? — рассердилась Ольга. — У тебя сознание должно где-нибудь быть!

Подруги сели делать уроки к общему столику, и долго еще светил свет на две их задумчивые, склонившиеся головы, в которых работал сейчас их человеческий разум, питаемый кровью из сердца. Но вскоре они нечаянно задремали и, встрепенувшись на мгновение, улыбнулись и легли на свои кровати в безмолвном детском сне.

Наутро Ольга снова пошла работать по людям, чтобы кормить себя и Лизу, а Лиза должна учиться пока одна за них обеих.

Через два дома от общежития курсов Ольге пришлось наняться приходящей нянькой к одному человеку, рано потерявшему жену, — другой домашней работы нигде не было. Ребенку было всего полтора года, звали его Юшкой, и Ольга должна находиться с ним в комнате по девять и десять часов в день, пока отец Юшки не возвратится под вечер с завода; за эту работу Ольга должна получать с хозяина стол и зарплату по тарифу работников Нарпита.

Ольга полюбила Юшку; это был мальчик с большой головой, темноволосый, с серыми чистыми глазами, внимательно и добродушно наблюдавший все явления и происшествия в комнате; он обычно не плакал и терпел без раздражения и обиды свои младенческие невзгоды. Ольгу привлекла в ребенке одна его особенность: взяв сначала, он отдавал обратно ей все, что она ему дарила, и прибавлял к тому еще что-нибудь лишнее, что у него бывало под руками — в люльке или на полу, где он играл и ползал. Если Ольга давала ему старую погремушку, то мальчик дарил ей в ответ деревянную бочку, которой он играл до того, и норовил еще отдать и соску с пузырьком или прочую обиходную для него вещь. Когда Ольга кормила Юшку кашей, он ел с охотой в том случае, если нянька тоже ест с ним — одну ложку себе в рот, а другую ему, и так по очереди, иначе ребенок есть не хотел.

Ровно месяц прожила Ольга в няньках, нося каждый вечер пищу Лизе из своей доли, а потом нужда в работе миновала: курсантам выплатили полностью всю задолженность по стипендии и в столовую начали возить продукты. Но Ольга уже не могла оставить Юшку одного без помощи; почти ежедневно она видела его, навещая ребенка в обеденный перерыв между уроками или вечером после занятий.

У Юшки уже была другая нянька, старуха, но Юшка признавал Ольгу выше, любимей

старухи и всегда тянулся к ней.

Отец Юшки, тридцатилетний механик-дизелист, молча глядел на Ольгу, когда она нянчила и ласкала ребенка при нем, и шептал про себя: «Как жаль, как жаль!» Ему было жалко, что Ольга никогда не сможет быть для Юшки приемной матерью, и он, отвернувшись от сына и Ольги, глядел в окно и видел, что оно становится мутным, потому что у него застилались глаза несдержанными слезами.

Ольге не понравилась новая нянька — старуха; она могла теперь доверить Юшку лишь с большой разборчивостью; поэтому Ольга отыскала детские ясли и уговорила отца устроить туда Юшку. Отец вначале колебался — он не верил, что государственные няньки, члены профсоюзов, получающие зарплату по тарифной сетке, могут заменить детям матерей, но Ольга возразила ему тем, что она тоже государственная, советская нянька и тоже получала у него зарплату по тарифу. Отец тогда подумал и согласился носить Юшку в детские ясли.

6

Через три года, по окончании курсов, Ольгу и Лизу направили на железнодорожную линию на практику. Перед отъездом Ольга попрощалась с Юшкой и заплакала над ним. Подросший мальчик уже давно привык называть Ольгу мамой; он обнял ее и долго не отпускал от себя, пока им не пришло время расстаться…

Ольге в ту пору стало семнадцать лет, а Лизе восемнадцать. Их отправили, как подруг, вместе, чтобы они не скучали и лучше работали.

Им назначили проходить практику на маленькой станции Серьга, невдалеке от города, где они учились. Здесь они должны были работать конторщиками, весовщиками, подменять дежурного по станции и даже научиться управлять маневровым паровозом.

Стояло лето, жилого поселка вблизи станции не было, поэтому начальник станции поселил курсанток в оборудованный для перевозки войск товарный вагон, поданный в дальний тупик.

Сначала подруги захотели пройти практику на станционном паровозе, с чем согласился начальник станции, — и они целые долгие летние дни дежурили на старом паровозе серии «О». Машинист, пожилой человек, ушел в отпуск, его заменял теперь помощник Иван Подметко, молчаливый парень тридцати с лишним лет, а Ольга и Лиза вдвоем служили ему помощниками. Подметко стал учить девушек машине своим способом — как не надо на ней работать.

— Видишь, паровоз у меня сейчас не стронется с места, а пар я открою, — говорил Подметко. Он открывал регулятор, но машина не шла.

Ольге и Лизе нужно было догадываться, отчего это происходило.

— Отсечка мала, поверни реверс! — догадывалась Ольга.

— Ну верно, — ухмылялся Подметко. — А вот если я сейчас разгоню машину вперед, а потом как шарахну реверсом назад, а регулятор оставлю на всем открытии, — предлагал Подметко, — то что у меня тогда получится?

— Если ты продувных кранов не откроешь, крышки цилиндров порвешь либо поршневой шток согнешь, либо дышла искалечишь, — сообщала ему Ольга.

— Всякой дурочке понятно, — соглашался Подметко. — А котел вы можете сжечь? Я вас научу… Ну это после, а сейчас ступайте, всю машину оботрите, чтоб блестела, а сами потом умойтесь, — что вы чумазые, как чумички, сидите на паровозе: грязь ведь это лишнее трение и смерть!.. Смотрите на меня — и думайте!

После трех месяцев работы на паровозе Лиза стала работать в конторе у начальника станции — изучать искусство движения поездов по графику, а Ольга была направлена в пакгауз — в помощники к весовщику; она хотела в точности знать дело грузовых операций, главную работу железных дорог.

Поздней осенью практические занятия обеих курсанток кончились; они должны были теперь возвратиться обратно на курсы, сдать экзамены и получить назначение на

постоянную, обыкновенную службу. Едва ли их назначат вместе, и подругам предстояла разлука. Они часто сидели по вечерам в своем жилом вагоне, свесив ноги наружу, и говорили о великой жизни, которая их ожидает впереди. Перед ними была смутная степь, холодеющая в ночи, — большая, грустная, но добрая и волшебная, как будущее время, ожидающее юность. У подруг заходилось сердце от предчувствия и воображения, и они обнимали друг друга, полные доверчивости.

Незадолго до отъезда навсегда со станции Серьга Ольга однажды проснулась на утренней заре. Лиза крепко спала рядом с нею, укутавшись с головой в серое железнодорожное одеяло, взятое из спального вагона. В воинской теплушке было привычно тепло и тихо, подруги ее успели обжить за длинное лето. И это их темное, тихое жилище начал заполнять далекий, тревожный, рвущийся вихрем скорости и ветра гудок паровоза. Тогда Ольга сообразила, отчего она проснулась: паровоз, наверно, кричал еще раньше, во время ее сна. Она сразу вскочила с места и побудила Лизу:

— Вставай… У него тормоза не держат!

Ольга схватила свою одежду с табуретки и оделась. Паровоз опять запел, приближаясь издалека. Ольга прислушалась к словам машины:

«Нет, — задумалась она. — Он говорит о том, что у него состав оборван…»

Она раскатила дверь, выпрыгнула из вагона и побежала к станции; Лизу ей ожидать уже было некогда, пусть она спит одна на заре и не раскрывает на себе одеяло.

Против вокзального здания на третьем пути стоял одинокий паровоз; он был единственным на станции, и больше ничего не было вокруг него, кроме здания вокзала, и степь тоже была сейчас светлой и пустой. Из паровоза глядели в направлении приближающегося поезда два человека — пожилой машинист и его помощник Иван Подметко; они ожидали, что случится, когда оборван состав поездного маршрута; по правилу все поездные маршруты миновали станцию Серьгу с ходу, без остановки, как и все пассажирские поезда, кроме почтовых.

В минувшую ночь на станции дежурил сам начальник станции. Он стоял сейчас на платформе и, сняв фуражку, вслушивался в сигналы приближающегося поезда, идущего с затяжного уклона.

Ольга подбежала к нему:

— Вы слышите — у него состав оборван!

— Я слышу, — недовольно ответил начальник станции, и вдруг он опечалился и рассерчал, как пожилой, уставший человек: — Ну отчего все эти происшествия обязательно случаются в мое дежурство? Неужели мне покоя не полагается?..

Ольга ему не ответила; она глядела в сторону набегающей катастрофы; оробевший начальник станции поглядел туда же.

Вдали, на прямой, был виден путь, поднимаясь от станции в крутой и долгий подъем, и оттуда, с затяжного уклона, шел грудью вперед паровоз — с открытым полным паром, на всей отсечке.

Тот паровоз время от времени тревожно пел, то сигналя об обрыве, то прося сквозного прохода.

Начальник станции внимательно посмотрел на Ольгу:

— Ведь это же воинский состав оборван!.. Надо поскорее принимать какое-либо решение!

Ольга попросила его:

— Командуйте!

— Сейчас, — в тревоге и поспешности сказал начальник, — сейчас мысль ко мне придет!

— Долго, — возразила Ольга. — Не надо, я сама знаю…

Она сошла с платформы вниз, перебежала пути, достигла маневрового паровоза и ухватилась за поручень трапа, ведущего в кабину машины. Затем она обернулась к начальнику станции:

— Предупредите соседнюю станцию, дайте сквозной проход! — и вбежала на тихо сипящий, мирный паровоз.

Выходной семафор со станции был закрыт. Начальник станции взглянул на него и исчез с платформы вокзала.

— Сифон! — сразу сказала Ольга, войдя на паровоз. — Что же вы тут смотрите, сидите?

Иван Подметко молча повернул кран сифона, открыл дверцу в топку н начал кидать туда уголь полной лопатой. Пламя не поспевало высасываться тягой вон в атмосферу и забивалось длинными красно-черными языками внутрь паровозной будки через открытую шуровку.

— Поедешь со мной? — спросила Ольга у пожилого, спокойного машиниста, хозяина машины.

Механик ответил не враз: он подумал, потрогал гущу волос на подбородке и произнес:

— Уклон велик: расшибемся… Ведь и за Серьгой продолжается уклон к Волге, тут только на станции одна маленькая площадка. А у меня семейство большое…

Выходной семафор открыл начальник станции. Паровоз воинского поезда пропел совсем близко. Ольга сказала механику:

— Ну, нам надо ехать, — ты сходи, береги своих детей!

Подметко по-прежнему поспешно загружал топку.

— А ты? — спросила его Ольга.

— Мне можно, — ответил Подметко. — Давай! Я бездетный!

На платформу вокзала вышел начальник станции; он держал в вытянутой руке развернутый желтый флаг: осторожная езда по усмотрению. А тяжелый поезд уже гремел вблизи стальными колесами, и паровоз снова завыл о катастрофе.

Машинист станционного паровоза молча сошел на землю и помаленьку направился вдоль пути, якобы по текущему делу, касающемуся обслуживания машины.

Начальник станции был скрыт от Ольги набежавшим составом. Сначала промчался паровоз, за ним с воем и скрежетом, с лихою игрою рессор прошло немного вагонов, у которых были настежь открыты двери. «А где же Лиза? — подумала Ольга. — Неужели она спит и не слышит?» Через открытые двери вагонов на мгновение было видно красноармейцев; они силою молодых рук сдерживали бьющихся лошадей, испугавшихся скорости и раскачки вагонов, и лошади вышибали копытами доски из стен вагонов, так что видна была древесина на срезах досок.

Паровоз с вагонами прошел, и на платформе остался лежать жезл, сброшенный с паровоза. Начальник станции поднял жезл, вынул из него записку и прочел: «Оборвано двадцать — тридцать вагонов. Ухожу от хвоста. Дайте проход и предупреждение вперед. Механик А. Благих».

Начальник станции с этой запиской прыгнул с платформы, перебежал рельсы и отдал записку Ольге.

Ольга взяла записку, прочла ее и поглядела туда, откуда прибыл паровоз с головной частью поезда.

Оттуда, с горизонта, без паровоза, надвигался и сразу вырастал несущийся хвост поезда. Сейчас была видна лишь передняя лобовая часть вагона — тупая, слепая стенка, увеличивающаяся на глазах от скорости.

Ольга, не найдя в себе места, куда спрятать записку начальника станции, взяла ее в рот, повернула несколько раз штурвал реверса вперед до отказа и двинула регулятор на открытие пара; паровоз тронулся.

Ольга взяла ручку регулятора на себя, потом от себя, покачала его и поставила его на всю дугу. Паровоз бросился вперед, пар стал бить в трубу в ускоренной, задыхающейся отсечке.

Маневровый станционный паровоз уже ушел со станции, но начальник, на всякий случай, поднял сигнал остановки — красный диск и свободную руку ладонью к поезду. С

вихрем и музыкой свободной скорости появился перед ним хвост поезда в двадцать — тридцать вагонов; большая часть вагонов были открытыми платформами. На этих платформах стояли легкие орудия, кухни и лежало покрытое брезентами разное воинское имущество. Красноармейцы спокойно сидели на тех платформах и пели свои песни. Лишь командир их, держась за стойку одного тормозного вагона, молча глядел вперед, и тормоза под этим вагоном, как нечаянно заметил начальник станции, были зажаты намертвую, — но им, одним вагоном, удержать состав, несущийся под уклон, было невозможно.

Начальник станции сейчас же ушел в дежурную комнату — сообщать в отделение службы эксплуатации о назревающем происшествии.

Паровоз, который вела Ольга, сильно раскачало от скорости, но она не убавляла открытия пара и отсечки. Время от времени она глядела на водомерное стекло, на манометр и назад, где ее нагонял свободный оборванный состав, разгоняющийся под уклон. Иван Подметко беспрерывно загружал топку углем, чтобы держать хорошее давление в котле и уходить вперед.

Но, оглянувшись назад, он начинал сомневаться: оборванный хвост поезда их быстро нагонял.

— Не удержим состава, расшибемся, — сказал он. — Придется погибать.

— Прыгай! — посоветовала ему Ольга.

— А ты? — спросил Подметко.

— Я останусь одна, — ответила Ольга.

Подметко распахнул дверцу топки и снова начал швырять туда лопаты с углем.

— Я буду тоже с тобой, — сказал он. — Справимся.

Машина Ольги шла уже на предельной скорости; колесные дышла были почти незаметны от поспешности своего движения. Ольга одна видела сейчас положение своей машины. Слепой состав шел скорее, чем ее паровоз, и настигал убегающую машину почти в упор.

— Иван! — крикнула она. — Шуруй скорее топку! Ты завалил пламя углем, — что же ты со мной делаешь?!

Подметко взял кочергу и засунул ее в бушующий огонь. Однако расстояние между паровозом и слепым составом все более сокращалось. «Неужели? — думала Ольга. — Неужели я сейчас умру? Не хочется!»

Вдруг она услышала красноармейскую песню, которую пели на открытых платформах нагоняющего ее бешеного поезда. «Не буду я умирать!» — решила она. Она высунулась из окна паровозной кабины далеко наружу и увидела, что ей будет сейчас трудно: вагоны с разгона собьют ее легкий паровоз под откос. Она обернулась к Ивану Подметко:

— Уходи! Нас расшибет сейчас!

Иван еще немного подумал вдобавок:

— Надо воду выбить — шибче поедем. — И он дернул штангу крана продувки цилиндров, а потом схватился за поручни трапа и исчез вниз: должно быть, прыгнул в песок балласта, чтобы спасти свою жизнь.

Ольга заметила, что Подметко ушел, и прошептала: «Боже мой!» — как говорила когда-то ее покойная мать. Далее она не успела ничего подумать. Она почувствовала удар в машину, и паровоз ее прыгнул вперед, как живой и сознательный. Ольга обернулась через окно назад: «Что случилось?» — и тут же ощутила второй, громящий тупой удар. «Ну же, бедная! — с испугом вслух сказала она сама себе. — Пусть песни поют, без тебя!» — и Ольга закрыла регулятор, пустила песок под колеса, дала реверс назад, обратно открыла регулятором пар на полный ход и повела кран паровозного тормоза на все его открытие. Машина ее на мгновение стала вмертвую, уперлась на месте. Ольга сейчас же отпустила воздушный тормоз, а затем сама, всею машиной, надавила задним ходом на ударивший в нее состав, но инерция задних, напирающих вагонов еще не погасла — и они своей мертвой силой разгона вглухую вдвинули тендер паровоза в его кабину, где находился одинокий механик. Ольга поняла, что происходит, и свернулась в комок на своем месте машиниста:

«Это теткин муж, сволочь Благих, Аркадий Михайлович, это он оборвал состав! У меня записка в зубах была — где я ее потеряла? Где Лиза, неужели все спит?»

Ольгу сжало в машине. Она почувствовала, как ей стало душно, как всю ее — без остатка, вместе с одеждой — вдавливает чужая сила в железное тело горячего котла.

Маневровый паровоз даже не сошел с рельсов, в машину только вдвинулся тендер на котел, но зато весь оборванный состав уцелел, если не считать сцепных приборов одного переднего вагона, ударившего в паровоз. Теперь весь поезд мирно стоял на высокой насыпи среди чистого поля, освещенного безветренным утренним солнцем. Красноармейцы и командир сначала вышли на траву и подошли к паровозу. В паровозе лежала во сне или в смерти незнакомая одинокая женщина. Тогда командир и его помощник, разобрав крышу над будкой паровоза, освободили женщину из машины и опустили ее оттуда на руки красноармейцев.

После того командир отошел в сторону и громко сказал:

— Четверо остаются здесь! Остальные — бегом назад к станции. Первые четверо несут раненую, затем передают ее с рук на руки новым четверым людям, а те — следующим! Все.

Через полчаса Ольга была доставлена на руках красноармейцев обратно на станцию Серьгу. С нею же прибыл командир эшелона, не оставлявший ее в пути. Он соединился по железнодорожному телеграфу с командованием военного округа и доложил происшествие; у механика ранена голова и грудь; все красноармейцы невредимы, имущество цело; в случае дальнейшего развития свободной скорости оборванный состав неминуемо сошел бы с рельсов на закруглении перед волжским мостом или на самом мосту; либо же состав был бы сокрушен на станции, расположенной по ту сторону реки, за мостом, куда поезд должен был ворваться.

Из военного округа сообщили, что оттуда высылают через одну минуту санитарный автомобиль скорой помощи с двумя врачами и всеми принадлежностями для лечения; автомобиль пойдет по шоссе напрямую и достигнет станции назначения скорее, чем экстренный паровоз.

Командир склонился к Ольге, лежавшей на диване в телеграфной комнате:

— Кого вы хотите увидеть? Мы сейчас вызовем. Может быть, родственников или друзей?

— Юшку, — сказала Ольга. — А больше никого не надо: пусть за меня все люди на свете живут…

— Хорошо, — ответил командир и дал знак телеграфисту приготовиться к передаче. — А это кто Юшка?

— Ребенок, — произнесла Ольга.

Командир удивился молодости матери и ничего не сказал. Она долго и терпеливо болела, но умереть не могла, — Ольга выздоровела, стала жить и живет до сих пор.

1938

Старый механик

Он возвратился домой, к своей жене, серьезный и печальный. Он был в поездке, в пурге и на морозе, почти сутки, но усталости не чувствовал, потому что всю жизнь привык работать.

Жена ничего сначала не спросила у мужа; она подала ему таз с теплой водой для умывания и полотенце, а потом вынула из печки горячие щи и поставила самовар, готовя мужу ужин и чай.

За ужином они сидели молча. Муж медленно ел щи и отогревался, но на лицо по-прежнему был угрюмым.

— Ты что это, Петр Савельич? — тихо спросила его жена. — Иль случилось что с ним, боль и поломка какая?

— У него палец греется… — сказал Петр Савельич.

— Который палец? — в тревоге спросила жена. — В позапрошлую зиму он тоже грелся — тот или прочий какой?

— Другой, — ответил Петр Савельич. — На третьем колесе у левой машины. Всю поездку мучился, боялся, что в кривошипе получилась слабизна и палец проворачивается на ходу. Мало ли что может быть!

— А может, Петр Савельич, у тебя там на дышлах либо в шатуне масло сорное! — сказала жена. — Ты бы заставил помощника профильтровать масло иль сам бы попробовал. Я тебе в другой раз чистую тряпочку дам. А этак-то куда ж оно годится, ты мне всю машину искалечишь, а чего тогда с тебя взять?

Петр Савельич положил деревянную ложку на хлеб и вытер усы большой старой рабочей рукой.

— Плохое масло я, Анна Гавриловна, не допущу. Плохое я сам лучше с кашей съем, а в машину всегда даю масло чистое и обильное, — зря говорить нечего!

— А палец-то ведь греется! — упрекнула Анна Гавриловна. — Глядишь, он погреется, погреется, а потом и отвалится, вот и станет машина калекой!

— Пока я жив буду, пока я механик, Анна Гавриловна, у меня ничего не отвалится, — ни в ходу, ни в покое.

— Да ну уж — ничего у тебя не отвалится! — осерчала Анна Гавриловна. — Покуда со мной живешь, у тебя и не валится ничего, потуда ты и механик! А как начнешь дурить, как начнешь на разных вдов да баб бессемейных поглядывать, вот у тебя и повалится все… Прохоров-то, Иван Матвеевич, поехал намедни, а у него колесо с паровоза соскочило. А что ж! Не надо было за чужими женщинами бегать — пусть хоть и помоложе они, да я ни одной из них ни в чем не уступлю, — не надо было свою жену с двумя ребятами в деревню на полгода отправлять: иль повольничать захотелось? Вот и повольничал — спасибо, что тормозами вовремя состав ухватил, а то бы сколько оставил сирот, — ведь пассажирский вел, двадцать седьмой номер-бис… Ну, ешь уж щи, доедай начисто, а то прокиснут и жалко в помойку выливать…

Петр Савельич вздохнул и доел щи.

— Колеса с паровозных осей не соскакивают, Анна Гавриловна, — сказал механик жене. — Это заблуждение. У Ивана Матвеевича бандаж на ходу ослаб. А бандаж, Анна Гавриловна, это не целое колесо, отнюдь нет. Иван Матвеевич тут ни при чем: машина вышла из капитального ремонта, и бандаж в ремонте насадили недостаточно.

— А у тебя бы он тоже соскочил? — попытала Анна Гавриловна.

Петр Савельич подумал и решил:

— У меня нет, у меня едва ли! Я бы учуял дефект.

— Ну и вот, а я про что же говорю! — с довольством подтвердила Анна Гавриловна.

— Что вот? — терпеливо удивился Петр Савельич. — Мне шестьдесят два года осенью сравнялось, а тебе пятьдесят четыре, а ты мне «вот» говоришь!

— С вами, мужиками, на старости лет только и случаются такие дела! — объяснила Анна Гавриловна. — Молодые-то теперь поумнели: женятся спозаранку и живут себе, детей да славу и почет наживают. А иной старик все по сторонам озирается, торопится: чего бы ему еще ухватить, что ему не досталось, чего бы ему не упустить, а то могила-то близка ведь!.. Помнишь Сеньку Беспалого: он беспризорную девчонку на квартиру привел…

— Помню, — произнес Петр Савельич. — Жизнь не бедное дело, в ней все случается… Стели мне постель, я хоть спать и не буду, а так полежу.

Анна Гавриловна начала стелить кровать мужу и себе.

— Уснешь небось, — говорила она, нянчая подушки, чтоб они стали пышными и покойными для сна. — Чего тебе не спать: должно, все тело затомилось на такой работе-то. Шутка сказать, а ведь ты у меня, Петр Савельич, механик! Ляжешь вот тут — и уснешь. Перина у нас мягкая, одеяло теплое, в комнате тихо, — чего тебе нужно-то!

— Ничего мне не нужно, Анна Гавриловна, — кротко сказал механик. — Я думаю, что

палец в машине болит… А сейчас ночь, темно, мой напарник тяжеловесный состав ведет — думает ли он там чего или просто глядит вперед, как сыч!

Анна Гавриловна постелила кровать и тоже загоревала было, но скоро отошла от горя.

— А ты не вдавайся в тоску, Петр Савельич, может быть, ничего и не случится. Он, палец тот, сначала погреется, а потом приработается — греться перестанет: железо тоже свыкается друг с другом — и терпит…

— Да какое там железо тебе! — негодующе выразился Петр Савельич. — Тридцать лет с механиком живешь, а все малограмотная, как кочегар в банной котельной…

Анна Гавриловна здесь промолчала; она понимала, когда надо уважать своего мужа и когда наставлять его.

Они легли спать и лежали молча. Петр Савельич слушал — не усиливается ли ветер на дворе, не начинается ли снова пурга, которая недавно улеглась; но в мире пока что было мирно и спокойно. Медленно шли стенные часы над кроватью, грустный сумрак ночи протекал за окном навстречу далекому утру, и стояла тишина времени.

Семья Петра Савельича была небольшая: она состояла из него самого, его жены и паровоза серии «Э», на котором работал Петр Савельич. Детей у них долго не было: родился давно один сын, но он пожил недолго и умер от детской болезни, а больше никто у них не рожался. И теперь даже младенческий образ сына уже стушеван был в памяти родителей: время, как мрак, покрыло его и удалило в свое забвение… Умерший сын точно ослабел и отстал где-то от своих родителей и навсегда потерялся в земле. Слабый голос умершего еще звучал иногда в душевном воспоминании отца, но голос тот был уже еле слышен и не трогал болью сердце Петра Савельича; лишь в сновидении, очень редко, образ умершего сына, жалкий и смутный, но живой, близко виделся отцу, и тогда отец кричал по сыну и звал его к себе из могилы; однако это длилось одно небольшое мгновение, потому что механик сразу же просыпался, чтобы не умереть от горя во сне.

Петр Савельич прислушался. Ночь шла тихо, но где-то в сенях или на дворе осторожно треснула древесина, сжимаемая морозом. Снаружи, наверно, сейчас холод сгущал ночную изморозь, и видимость ухудшалась, — интересно, но трудно было в эту пору вести машину с тяжеловесным составом на тендерном крюке. У напарника Петра Савельича помощником работал молодой человек, просто юноша, по имени Кондрат. Сколько ему могло быть лет? Лет, должно быть, девятнадцать, двадцать. Столько же, пожалуй, что и сыну Петра Савельича и Анны Гавриловны, если бы он жил на свете.

Петр Савельич привстал на постели; тревожное предчувствие, еще прежде ясной мысли, обеспокоило его сердце. Он укрыл жену одеялом, чтоб она не проснулась, сошел с кровати и начал одеваться. Но Анна Гавриловна уже проснулась, как только Петр Савельич чуть пошевелился; она привыкла следить за мужем и тихо думала о нем все дни и ночи, чутко ощущая еле слышный запах машины от его волос и одежды, когда муж был дома, и воображая его про себя, когда он находился в поездке.

— Куда тебя домовой несет? — спросила Анна Гавриловна. — Метель утихла, палец в машине притерпится, — чего тебе там за всех стараться? Там без тебя есть народ!

— Народ там есть, Анна Гавриловна, а меня там нет, — с терпением сказал Петр Савельич. — А без меня народ неполный!

— Да то как же! — рассердилась Анна Гавриловна. — Без тебя ведь весь свет пустой! А завтра, что ж, ты не спавши, значит, в рейс поедешь? Ну что ж, поезжай не спавши, — может, в хвост другому составу наедешь, либо весь паровоз на куски изувечишь, — тебя в тюрьму посадят, а я с тоски помру… Вот оно сразу все и кончится!

— Будет тебе свои нервы портить, — произнес Петр Савельич. — Там помощником нынче Кондрат поехал, малый молодой, просто еще юноша, и скоро им в обратный конец ехать…

— Ну и что тебе Кондрат, малый молодой? — спросила Анна Гавриловна.

— А то, — сказал Петр Савельич, снарядившись в дорогу, — а то, что им в обратный

конец четыре затяжных подъема надо одолеть. Там нужно силу тяги держать точно по котлу, чтоб сколько ты ни ехал, сколько ни тянул, а у тебя все в котле и давление пара не падает, и уровень воды особо не понижается, — вот как надо котел содержать, понятно тебе стало?

— А чего ж тут и понимать-то? — сказала Анна Гавриловна. — Машина должна идти неугомонно, а пар упустишь, то она запыхается и станет…

— Ну вот, вроде верно, только неправильно: чем ей пыхать-то? — ответил Петр Савельич. — А Кондрат котел по тяге не удержит. Машину он любит, но знает в ней далеко не все. Да одну машину — это знать мало. Надо видеть всю целую природу — и погоду, и что у тебя на рельсах: мороз или жарко, и подъемы надо знать наизусть, и машина как себя чувствует сегодня…

— Пусть уж они без тебя там знают! — сообщила Анна Гавриловна. — Только нагрел постель, а уж вылез! Окоченеешь наружи!

— Я у котла согреюсь, — пообещал механик. — Скоро рабочий поезд пойдет, я на нем и встречу свою машину на четвертом разъезде: там подъем такой, что станешь врастяжку и состав порвешь…

— Ты хоть еды-то возьми с собой, шут непокойный! — попросила жена.

— Я в буфете на вокзале пожую, — ответил Петр Савельич. — Ты спи себе в тепле и покое.

— С вами уснешь! — сказала Анна Гавриловна. — Как же, даете вы покой, старые черти…

Но Петр Савельич уже гремел щеколдой в сенях, уходя в зимнюю ночь; он не обижался на жену.

Возвратился домой Петр Савельич не скоро — к вечеру следующего дня. Он пришел вместе с Кондратом, молодым стесняющимся человеком, помощником машиниста.

Анна Гавриловна только поглядела своими знающими и чувствующими глазами на пришедших, но ничего не сказала и молча стала собирать им еду на стол.

— Мойтесь, чумазые работнички! — пригласила она затем. — Вам бы и есть-то давать не надо: по вас вижу — поломали вы машину… Всё тяжеловесы они возят и носятся как бешеные, аж рельсы воют. Водили бы потише, полегче, и паровозы бы у вас здоровые были, как упитанные толстые дети! А то ишь — большой клапан придумали! Я вам дам большой!

Петр Савельич и Кондрат оставили речь женщины без ответа. Им нечего было отвечать человеку, чуждому механике. Они помылись и сели за стол, угрюмые и безмолвные. Кондрат ел робко и мало, чувствуя себя в гостях. Петр же Савельич, наоборот, кушал достаточно хорошо и обильно.

— Ешь больше! — говорил он Кондрату. — От пищи горе скорее пройдет, в пище есть своя добрая душа, и когда съешь ее, она в нас очутится…

— Я ем, Петр Савельич, — произнес Кондрат.

— Ешь, — приглашал механик. — Потом спать ляжешь… Анна Гавриловна, постели сыну постель!

Анна Гавриловна вначале обомлела и не могла даже ничего высказать разумного, но потом опомнилась.

— Который сын? — спросила она.

— Кондрат, — указал Петр Савельич. — Мы бездетные, а он без отца, без матери живет. Вот мы и квиты будем, он наш будет, а мы его — и все!.. Стели ему постель на диване и помалкивай!

Анна Гавриловна стала стелить постель Кондрату, но она не помалкивала, а шептала слова про себя: «Паровоз сломал, теперь малого в сыновья привел, — ему только и дела, старому, что заботу мне выдумывать!»

Однако Петр Савельич расслышал эти размышления жены.

— Раз навсегда я тебе говорю — замолчи! — сказал Петр Савельич. — Вот тебе Кондрат — люби его и действуй дальше по моей инструкции, пока не привыкнешь!

Кондрат сидел в грустном смущении и молчал.

— А паровоз наш где? — спросила Анна Гавриловна. Старый механик покряхтел в тягостном чувстве.

— Машина в ремонт пошла! — ответил машинист. — Болящий палец ей вывернули, в топке связи потекли, и песку в песочнице не оказалось… Весь состав встал врастяжку на подъеме, его начали рвать вперед эти двое — Кондрат и его механик, и у них вышло происшествие, а тяги не получилось…

— Вот тебе раз! — воскликнула Анна Гавриловна. — Вот так сын Кондрат!

— Как же ты пальца-то не услыхал! — угрожающе сказал Кондрату Петр Савельич. — Ведь он стонал и кричал перед тем, как ему провернуться в гнезде!

— Форсировка большая была, — ответил Кондрат, — машину вели с полным дутьем — гулко было, ничего не слыхать…

— Ах, так! — произнес Петр Савельич. — Так тогда надо было увидеть звук, если его слышать нельзя… Ну ладно, будешь сыном, я тебя научу. А так вы нам все машины покалечите!

Анна Гавриловна поняла своего мужа. Она отвернула одеяло, положенное на диване для Кондрата, и подстелила туда пододеяльник, а подушку сбила в руках для мягкости: пусть Кондрат спит удобно и нежно, если надо его считать сыном, а сердце затем само привыкнет его любить.

Когда Кондрат улегся и засопел в глубоком сне, Петр Савельич и Анна Гавриловна долго стояли над спящим Кондратом, рассматривая его юное, утомленное и доверчивое лицо, открытый рот и закрытые, запавшие глаза.

— А ты паровоз любила, — огорченно произнес старый машинист, — и меня иногда вдобавок, а надо было вот его.

Старая жена машиниста думала и молчала без ответа.

— Когда я увидел, что машина у них совсем изуродовалась и заболела, — говорил и советовался с женой Петр Савельич, — я поругал машиниста, а Кондрату хотел уши нарвать, но потом передумал — пусть, думаю, живет, я его усыновлю и воспитаю, чтоб из него большой механик вышел впоследствии лет…

— Будет нас слушаться, так и механик из него выйдет! — согласилась Анна Гавриловна.

— Это ты в точности подумала, Анна Гавриловна, — сообщил свое мнение механик. — А ты вот что, ты поговорила и хватит тебе, ты поставь сейчас тесто, а завтра утром оладьев для Кондрата испечешь. Его надо хорошо питать!

— А я хотела бы блинцов напечь, Петр Савельич, — возразила жена. — Они легче для моего желудка.

Старый механик не стал здесь спорить со своей женой. Он допускал самостоятельность ее суждения.

1940

Юшка

Давно, в старинное время, жил у нас на улице старый на вид человек. Он работал в кузнице при большой московской дороге; он работал подручным помощником у главного кузнеца, потому что он плохо видел глазами и в руках у него мало было силы. Он носил в кузницу воду, песок и уголь, раздувал мехом горн, держал клещами горячее железо на наковальне, когда главный кузнец отковывал его, вводил лошадь в станок, чтобы ковать ее, и делал всякую другую работу, которую нужно было делать. Звали его Ефимом, но все люди называли его Юшкой. Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его, вместо усов и бороды, росли по отдельности редкие седые волосы; глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слезы.

Юшка жил на квартире у хозяина кузницы, на кухне. Утром он шел в кузницу, а вечером шел обратно на ночлег. Хозяин кормил его за работу хлебом, щами и кашей, а чай, сахар и одежда у Юшки были свои; он их должен покупать за свое жалованье — семь рублей и шестьдесят копеек в месяц. Но Юшка чаю не пил и сахару не покупал, он пил воду, а одежду носил долгие годы одну и ту же без смены: летом он ходил в штанах и в блузе, черных и закопченных от работы, прожженных искрами насквозь, так что в нескольких местах видно было его белое тело, и босой, зимою же он надевал поверх блузы еще полушубок, доставшийся ему от умершего отца, а ноги обувал в валенки, которые он подшивал с осени, и носил всякую зиму всю жизнь одну и ту же пару.

Когда Юшка рано утром шел по улице в кузницу, то старики и старухи подымались и говорили, что вон Юшка уж работать пошел, пора вставать, и будили молодых. А вечером, когда Юшка проходил на ночлег, то люди говорили, что пора ужинать и спать ложиться — вон и Юшка уж спать пошел.

А малые дети и даже те, которые стали подростками, они, увидя тихо бредущего старого Юшку, переставали играть на улице, бежали за Юшкой и кричали:

— Вон Юшка идет! Вон Юшка!

Дети поднимали с земли сухие ветки, камешки, сор горстями и бросали в Юшку.

— Юшка! — кричали дети. — Ты правда Юшка?

Старик ничего не отвечал детям и не обижался на них; он шел так же тихо, как прежде, и не закрывал своего лица, в которое попадали камешки и земляной сор.

Дети удивлялись Юшке, что он живой, а сам не серчает на них. И они снова окликали старика:

— Юшка, ты правда или нет?

Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его и толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмет хворостину и не погонится за ними, как все большие люди делают. Дети не знали другого такого человека, и они думали — вправду ли Юшка живой? Потрогав Юшку руками или ударив его, они видели, что он твердый и живой.

Тогда дети опять толкали Юшку и кидали в него комья земли, — пусть он лучше злится, раз он вправду живет на свете. Но Юшка шел и молчал. Тогда сами дети начинали серчать на Юшку. Им было скучно и нехорошо играть, если Юшка всегда молчит, не пугает их и не гонится за ними. И они еще сильнее толкали старика и кричали вкруг него, чтоб он отозвался им злом и развеселил их. Тогда бы они отбежали от него и в испуге, в радости снова бы дразнили его издали и звали к себе, убегая затем прятаться в сумрак вечера, в сени домов, в заросли садов и огородов. Но Юшка не трогал их и не отвечал им.

Когда же дети вовсе останавливали Юшку или делали ему слишком больно, он говорил им:

— Чего вы, родные мои, чего вы, маленькие!.. Вы, должно быть, любите меня!.. Отчего я вам всем нужен?.. Обождите, не надо меня трогать, вы мне в глаза землей попали, я не вижу.

Дети не слышали и не понимали его. Они по-прежнему толкали Юшку и смеялись над ним. Они радовались тому, что с ним можно все делать, что хочешь, а он им ничего не делает.

Юшка тоже радовался. Он знал, отчего дети смеются над ним и мучают его. Он верил, что дети любят его, что он нужен им, только они не умеют любить человека и не знают, что делать для любви, и поэтому терзают его.

Дома отцы и матери упрекали детей, когда они плохо учились или не слушались родителей: «Вот ты будешь такой же, как Юшка! — Вырастешь, и будешь ходить летом босой, а зимой в худых валенках, и все тебя будут мучить, и чаю с сахаром не будешь пить, а одну воду!»

Взрослые пожилые люди, встретив Юшку на улице, тоже иногда обижали его. У взрослых людей бывало злое горе или обида, или они были пьяными, тогда сердце их

наполнялось лютой яростью. Увидев Юшку, шедшего в кузницу или ко двору на ночлег, взрослый человек говорил ему:

— Да что ты такой блажной, непохожий ходишь тут? Чего ты думаешь такое особенное?

Юшка останавливался, слушал и молчал в ответ.

— Слов у тебя, что ли, нету, животное такое! Ты живи просто и честно, как я живу, а тайно ничего не думай! Говори, будешь так жить, как надо? Не будешь? Ага!.. Ну ладно!

И после разговора, во время которого Юшка молчал, взрослый человек убеждался, что Юшка во всем виноват, и тут же бил его. От кротости Юшки взрослый человек приходил в ожесточение и бил его больше, чем хотел сначала, и в этом зле забывал на время свое горе.

Юшка потом долго лежал в пыли на дороге. Очнувшись, он вставал сам, а иногда за ним приходила дочь хозяина кузницы, она подымала его и уводила с собой.

— Лучше бы ты умер, Юшка, — говорила хозяйская дочь. — Зачем ты живешь? Юшка глядел на нее с удивлением. Он не понимал, зачем ему умирать, когда он

родился жить.

— Это отец-мать меня родили, их воля была, — отвечал Юшка, — мне нельзя помирать, и я отцу твоему в кузне помогаю.

— Другой бы на твое место нашелся, помощник какой!

— Меня, Даша, народ любит! Даша смеялась.

— У тебя сейчас кровь на щеке, а на прошлой неделе тебе ухо разорвали, а ты говоришь — народ тебя любит!..

— Он меня без понятия любит, — говорил Юшка. — Сердце в людях бывает слепое.

— Сердце-то в них слепое, да глаза у них зрячие! — произносила Даша. — Иди скорее, что ль! Любят-то они по сердцу, да бьют тебя по расчету.

— По расчету они на меня серчают, это правда, — соглашался Юшка. — Они мне улицей ходить не велят и тело калечат.

— Эх ты, Юшка, Юшка! — вздыхала Даша. — А ты ведь, отец говорил, нестарый еще!

— Какой я старый!.. Я грудью с детства страдаю, это я от болезни на вид оплошал и старым стал…

По этой своей болезни Юшка каждое лето уходил от хозяина на месяц. Он уходил пешим в глухую дальнюю деревню, где у него жили, должно быть, родственники. Никто не знал, кем они ему приходились.

Даже сам Юшка забывал, и в одно лето он говорил, что в деревне у него живет вдовая сестра, а в другое, что там племянница. Иной раз он говорил, что идет в деревню, а в иной, что в самоё Москву. А люди думали, что в дальней деревне живет Юшкина любимая дочь, такая же незлобная и лишняя людям, как отец.

В июле или августе месяце Юшка надевал на плечи котомку с хлебом и уходил из нашего города. В пути он дышал благоуханием трав и лесов, смотрел на белые облака, рождающиеся в небе, плывущие и умирающие в светлой воздушной теплоте, слушал голос рек, бормочущих на каменных перекатах, и больная грудь Юшки отдыхала, он более не чувствовал своего недуга — чахотки. Уйдя далеко, где было вовсе безлюдно, Юшка не скрывал более своей любви к живым существам. Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтоб они не испортились от его дыхания, он гладил кору на деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим. Но живые птицы пели в небе, стрекозы, жуки и работящие кузнечики издавали в траве веселые звуки, и поэтому на душе у Юшки было легко, в грудь его входил сладкий воздух цветов, пахнущих влагой и солнечным светом.

По дороге Юшка отдыхал. Он садился в тень подорожного дерева и дремал в покое и тепле. Отдохнув, отдышавшись в поле, он не помнил более о болезни и шел весело дальше, как здоровый человек. Юшке было сорок лет от роду, но болезнь давно уже мучила его и состарила прежде времени, так что он всем казался ветхим.

И так каждый год уходил Юшка через поля, леса и реки в дальнюю деревню или в Москву, где его ожидал кто-то или никто не ждал, — об этом никому в городе не было известно.

Через месяц Юшка обыкновенно возвращался обратно в город и опять работал с утра до вечера в кузнице. Он снова начинал жить по-прежнему, и опять дети и взрослые, жители улицы, потешались над Юшкой, упрекали его за безответную глупость и терзали его.

Юшка смирно жил до лета будущего года, а среди лета надевал котомку за плечи, складывал в отдельный мешочек деньги, что заработал и накопил за год, всего рублей сто, вешал тот мешочек себе за пазуху на грудь и уходил неизвестно куда и неизвестно к кому.

Но год от году Юшка все более слабел, потому шло и проходило время его жизни и грудная болезнь мучила его тело и истощала его. В одно лето, когда Юшке уже подходил срок отправляться в свою дальнюю деревню, он никуда не пошел. Он брел, как обычно вечером, уже затемно из кузницы к хозяину на ночлег. Веселый прохожий, знавший Юшку, посмеялся над ним:

— Чего ты землю нашу топчешь, божье чучело! Хоть бы ты помер, что ли, может, веселее бы стало без тебя, а то я боюсь соскучиться…

И здесь Юшка осерчал в ответ — должно быть, первый раз в жизни.

— А чего я тебе, чем я вам мешаю!.. Я жить родителями поставлен, я по закону родился, я тоже всему свету нужен, как и ты, без меня тоже, значит, нельзя!..

Прохожий, не дослушав Юшку, рассердился на него:

— Да ты что! Ты чего заговорил? Как ты смеешь меня, самого меня с собой равнять, юрод негодный!

— Я не равняю, — сказал Юшка, — а по надобности мы все равны…

— Ты мне не мудруй! — закричал прохожий. — Я сам помудрей тебя! Ишь, разговорился, я тебя выучу уму!

Замахнувшись, прохожий с силой злобы толкнул Юшку в грудь, и тот упал навзничь.

— Отдохни, — сказал прохожий и ушел домой пить чай.

Полежав, Юшка повернулся вниз лицом и более не пошевелился и не поднялся.

Вскоре проходил мимо один человек, столяр из мебельной мастерской. Он окликнул Юшку, потом переложил его на спину и увидел во тьме белые открытые неподвижные глаза Юшки. Рот его был черен; столяр вытер уста Юшки ладонью и понял, что это была спекшаяся кровь. Он опробовал еще место, где лежала голова Юшки лицом вниз, и почувствовал, что земля там была сырая, ее залила кровь, хлынувшая горлом из Юшки.

— Помер, — вздохнул столяр. — Прощай, Юшка, и нас всех прости. Забраковали тебя люди, а кто тебе судья!..

Хозяин кузницы приготовил Юшку к погребению. Дочь хозяина Даша омыла тело Юшки, и его положили на стол в доме кузнеца. К телу умершего пришли проститься с ним все люди, старые и малые, весь народ, который знал Юшку и потешался над ним и мучил его при жизни.

Потом Юшку похоронили и забыли его. Однако без Юшки жить людям стало хуже. Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и тратились меж ними, потому что не было Юшки, безответно терпевшего всякое чужое зло, ожесточение, насмешку и недоброжелательство.

Снова вспомнили про Юшку лишь глубокой осенью. В один темный непогожий день в кузницу пришла юная девушка и спросила у хозяина-кузнеца: где ей найти Ефима Дмитриевича?

— Какого Ефима Дмитриевича? — удивился кузнец. — У нас такого сроду тут и не было.

Девушка, выслушав, не ушла, однако, и молча ожидала чего-то. Кузнец поглядел на нее: что за гостью ему принесла непогода. Девушка на вид была тщедушна и невелика ростом, но мягкое чистое лицо ее было столь нежно и кротко, а большие серые глаза глядели так грустно, словно они готовы были вот-вот наполниться слезами, что кузнец подобрел

сердцем, глядя на гостью, и вдруг догадался:

— Уж не Юшка ли он? Так и есть — по паспорту он писался Дмитричем…

— Юшка, — прошептала девушка. — Это правда. Сам себя он называл Юшкой. Кузнец помолчал.

— А вы кто ему будете? — Родственница, что ль?

— Я никто. Я сиротой была, а Ефим Дмитриевич поместил меня, маленькую, в семейство в Москве, потом отдал в школу с пансионом… Каждый год он приходил проведывать меня и приносил деньги на весь год, чтоб я жила и училась. Теперь я выросла, я уже окончила университет, а Ефим Дмитриевич в нынешнее лето не пришел меня проведать. Скажите мне, где же он, — он говорил, что работал у вас двадцать пять лет…

— Половина полвека прошло, состарились вместе, — сказал кузнец.

Он закрыл кузницу и повел гостью на кладбище. Там девушка припала к земле, в которой лежал мертвый Юшка, человек, кормивший ее с детства, никогда не евший сахара, чтоб она ела его.

Она знала, чем болел Юшка, и теперь сама окончила ученье на врача и приехала сюда, чтобы лечить того, кто ее любил больше всего на свете и кого она сама любила всем теплом и светом своего сердца…

С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в нашем городе. Она стала работать в больнице для чахоточных, она ходила по домам, где были туберкулезные больные, и ни с кого не брала платы за свой труд. Теперь она сама уже тоже состарилась, однако по-прежнему весь день она лечит и утешает больных людей, не утомляясь утолять страдание и отдалять смерть от ослабевших. И все ее знают в городе, называя дочерью доброго Юшки, позабыв давно самого Юшку и то, что она не приходилась ему дочерью.

Родина электричества

Шло жаркое, сухое лето 1921 года, проходила моя юность. В зимнее время я учился в политехникуме на электротехническом отделении, летом же работал на практике, в машинном зале городской электрической станции. От работы я сильно уставал, потому что никакого силового резерва из станции не было, а единственный турбогенератор шел без остановки уже второй год — день и ночь, и поэтому за машиной приходилось ухаживать столь точно, нежно и внимательно, что на это тратилась вся энергия моей жизни. Вечером, минуя гуляющую по летним улицам молодежь, я возвращался домой уже дремлющим человеком. Мать мне давала вареную картошку, я ужинал и одновременно снимал с себя рабочий пиджак и лапти, чтобы после ужина на мне оставалось мало одежды и сразу можно было бы лечь спать.

Среди лета, в июле месяце, когда я так же, как обычно, вернувшись вечером с работы, уснул глубоко и темно, точно во мне навсегда потух весь внутренний свет, меня разбудила мать.

Председатель губисполкома Иван Миронович Чуняев прислал ко мне со сторожем записку, в которой просил, чтобы я нынче же явился к нему на квартиру. Чуняев был раньше кочегаром на паровозе, он работал вместе с моим отцом и по отцу знал меня.

В полночь я сидел у Чуняева. Его мучила задача борьбы с разрухой, и он, боясь за весь народ, тяжело переживал мутную жару того сухого лета, когда с неба не упало ни одной капли живой влаги, но зато во всей природе пахло тленом и прахом, будто уже была отверзта голодная могила для народа. Даже цветы в тот год пахли не более, чем металлические стружки, и глубокие трещины образовались в полях, в теле земли, похожие на провалы меж ребрами худого скелета.

— Ты скажи мне, ты не знаешь, что такое электричество? — спросил меня Чуняев. — Радуга, что ли?

— Молния, — сказал я.

— Ах, молния! — произнес Чуняев. — Вон что! Гроза и ливень… Ну, пускай! А ведь и верно, что нам молния нужна, это правильно… Мы уж, братец ты мой, до такой разрухи дошли, что нам действительно нужна только одна молния, чтоб враз и жарко! На вот, прочти, что люди мне пишут.

Чуняев подал мне со стола отношение на бланке сельсовета. Из сельсовета деревни Верчовки сообщали:

> «Председателю губисполкома тов. Чуняеву и всему президиуму.
>
> Товарищи и граждане, не тратьте ваши звуки среди такой всемирной бедной скуки. Стоит, как башня, наша власть науки, а прочий Вавилон из ящериц, засухи разрушен будет умной рукой. Не мы создали божий мир несчастный, но мы его устроим до конца. И будет жизнь могучей н прекрасной, и хватит всем куриного яйца! Не дремлет разум коммуниста, и рук ему никто не отведет. Напротив: он всю землю чисто в научное давление возьмет. Громадно наше сердце боевое, не плачьте вы, в желудках, бедняки, минует это нечто гробовое — мы будем есть пирожного куски. У нас машина уж гремит — свет электричества от ней горит; но надо нам помочь, чтоб еще лучше было у нас в деревне на Верчовке, а то машина ведь была у белых раньше, она чужою интервенткой родилась, ей псих мешает пользу нам давать. Но не горюет сердце роковое, моя слеза горит в мозгу и думает про дело мировое!
>
> За председателя Совета (он выбыл в краткий срок на контратаку против всех бандитов-паразитов и ранее победы не вернется ко двору) — делопроизводитель Степан Жаренов».

Делопроизводитель Жаренов был, очевидно, поэт, а Чуняев и я были практиками, рабочими людьми. И мы сквозь поэзию, сквозь энтузиазм делопроизводителя увидели правду и действительность далекой, неизвестной нам деревни Верчовки. Мы увидели свет в унылой тьме нищего, бесплодного пространства, — свет человека на задохнувшейся, умершей земле, — мы увидели провода, повешенные на старые плетни, и наша надежда на будущий мир коммунизма, надежда, необходимая нам для ежедневного трудного существования, надежда, единственно делающая нас людьми, эта наша надежда превратилась в электрическую силу, пусть пока что зажегшую свет лишь в дальних соломенных избушках.

— Ступай туда, — сказал мне Чуняев, — и помоги им, ты долго ел наш хлеб, когда учился. С городской электрической станцией мы сговоримся, тебя оттуда отпустят…

На другой день я с утра отправился в деревню Верчовку; мать сварила мне картошек, положила в сумку соли и немного хлеба, и я пошел на юг по проселкам и шел три дня, потому что карты у меня не было, а Верчовок оказалось три — Верхняя, Старая и Малобедная Верчовка. Но делопроизводитель, товарищ Жаренов, думал, конечно, что их знаменитая Верчовка только одна на свете и она известна всему миру, как Москва, поэтому Жаренов и не прибавлял к своей деревне добавочного названия, а жареновская Верчовка оказалась именно Малобедной, чтоб можно было отличить ее от прочих Верчовок.

Обойдя обе Верчовки, где не было электрических станций, к Малобедной Верчовке я подошел за полдень третьего дня пути… На виду деревни я остановился, потому что заметил большую пыль в стороне от дороги и рассмотрел там толпу народа, шествующую по сухой, лысой земле. Я подождал, пока народ выйдет ближе ко мне, и тогда увидел попа с помощниками, трех женщин с иконами и человек двадцать богомольцев. Здешняя местность имела покатость в древнюю высохшую балку, куда ветер и весенние воды отложили тонкий прах, собранный с обширных нагорных полей. Шествие спустилось с верхних земель и теперь шло по праху в долине, направляясь к битой дороге.

Впереди шел обросший седой шерстью, измученный и по-черневший поп; он пел что-то в жаркой тишине природы и махал кадилом на дикие, молчаливые растения, встречавшиеся на пути. Иногда он останавливался и поднимал голову к небу в своем обращении в глухое сияние солнца, и тогда было видно озлобление и отчаяние на его лице,

по которому текли капли слез или пота. Сопровождавший его народ крестился в пространство, становился на колени в пыльный прах и кланялся в бедную землю, напуганный бесконечностью мира и слабостью ручных иконных богов, которых несли старые заплаканные женщины на своих отрожавших животах. Двое детей — мальчик и девочка, — в одних рубашках и босые, шли позади церковной толпы и с интересом изучения глядели на действия взрослых; дети не плакали и не крестились, они боялись и молчали.

Около дороги находилась большая яма, откуда когда-то добывалась глина. Шествие народа остановилось около той ямы, иконы были поставлены ликами святых к солнцу, а люди спустились в яму и прилегли на отдых в тень, под глинистый обрыв. Поп снял ризу и оказался в штанах, отчего двое детей сейчас же засмеялись.

Большая икона, подпертая сзади комом глины, изображала деву Марию, одинокую молодую женщину, без бога на руках. Я всмотрелся в эту картину и задумался над ней, а богомольные женщины расселись в тени и уже занялись там своим делом — они искали одна у другой в голове.

Бледное, слабое небо окружало голову Марии на иконе; одна видимая рука ее была жилиста и громадна и не отвечала смуглой красоте ее лица, тонкому носу и большим нерабочим глазам — потому что такие глаза слишком быстро устают. Выражение этих глаз заинтересовало меня — они смотрели без смысла, без веры, сила скорби была налита в них так густо, что весь взор потемнел по непроницаемости, до омертвения и беспощадности; никакой нежности, глубокой надежды или чувства утраты нельзя было разглядеть в глазах нарисованной богоматери, хотя обычный ее сын не сидел сейчас у нее на руках; рот ее имел складки и морщины, что указывало на знакомство Марии со страстями, заботой и злостью обыкновенной жизни, — это была неверующая рабочая женщина, которая жила за свой счет, а не милостью бога. И народ, глядя на эту картину, может быть, также понимал втайне верность своего практического предчувствия о глупости мира и необходимости своего действия.

Около иконы сидела усохшая старуха, ростом с ребенка, и невнимательно смотрела на меня темными глазами; лицо и руки ее были покрыты морщинами, точно застывшими судорогами страдания, а во взгляде был зоркий ум, прошедший такие испытания жизни, что старушка, наверно, знала про себя не меньше целой экономической науки и могла бы быть почетным академиком.

Я спросил у нее:

— Бабушка, зачем вы ходите, молитесь? Бога же нет совсем, и дождя не будет.

Старушка согласилась:

— Да и наверно, что нету, — правда твоя!

— А на что вы тогда креститесь? — спросил я ее далее.

— Да и крестимся зря! Я уж обо всем молилась — о муже, о детях, и никого не осталось — все померли. Я и живу — то, милый, по привычке, разве по воле, что ли! Сердце — то ведь само дышит, меня не спрашивает, и рука сама крестится: Бог — беда наша… Ишь убытки какие — и пахали, и сеяли, а рожон один вырос…

Я помолчал в огорчении.

— Не молитесь, бабушка, лучше никому. Природа не слышит ни слов, ни молитвы, она боится только разума и работы.

— Разума! — произнесла старуха с ясным сознанием. — Да я столько годов прожила, что у меня разум да кости — только всего и есть! А плоть давно вся в работу да в заботу спущена — во мне и умереть-то мало чему осталось, все уж померло помаленьку. Ты погляди на меня, какая я есть!

Старуха покорно сняла платок с головы, и я увидел ее облысевший череп, кости которого обветшали, готовые уже развалиться и предать безвозвратному праху земли скупо скопленный терпеливый ум, познавший мир в труде и бедствиях.

— Придет зима, я и соседу пойду поклонюсь, — сказала старуха, — и у богача в сенцах поплачу: все, может, пшена подживусь до лета, а летом уж погибелью своей буду

отплачивать — за мешок полтора мешка, да отработки четыре дня, да почету ему на пять мешков…

Разве мы богу одному только кланяемся — мы и ветра боимся, и гололедицы, и ливня, и суши, и соседа, и прохожего человека, — и на всех крестимся! Разве мы молимся оттого, что любим! Нам и любить — то нечем уж!

Я отошел прочь от старухи, исполненный скорби и размышления. Толпа народа начала собираться с отдыха, и весь крестный ход, молившийся о дожде, направился назад на деревню. Осталась лишь одна старуха, говорившая со мною.

Старуха желала еще немного передохнуть, и все равно бы она теперь не поспела идти за людьми на своих детских уставших ногах, когда народ пошел спешно, по-деловому, — и сам поп уже шагал в штанах.

Увидев ее состояние, я поднял старуху к себе на руки и понес ее к деревне, как восьмилетнюю девочку, сознавая всю вечную ценность этой ветхой труженицы.

В деревне у одной попутной избушки старушка сошла с моих рук. Я попрощался с нею, поцеловав ее в лицо, и решил посвятить ей свою жизнь, потому что в молодости всегда кажется, что жизни очень много и ее хватит на всех старух.

Верчовка оказалась небольшой деревней — дворов не более тридцати, но исправных изб в ней было мало; жилища обветшали и уже загнивали нижними венцами срубов в земле. Военный империализм, прошедший по всему миру, сделал все видимое, все добытое, устроенное и сбереженное поколениями тружеников похожим на погост.

Мальчик, которого я затем навеки потерял из виду, с охотой провел меня на электрическую станцию, работавшую в полверсте от деревни — около общественного водопоя на проезжем тракте.

Английский двухцилиндровый мотоцикл фирмы «Индиан» был врыт в землю на полколеса и с ревущей силой вращал ремнем небольшую динамо — машину, которая стояла на двух коротких бревнах и сотрясалась от поспешности работы. В прицепной коляске сидел пожилой человек и курил цигарку; тут же находился высокий столб, и на нем горела электрическая лампа, освещая день, а кругом стояли подводы с распряженными лошадьми, евшими корм, и на телегах сидели крестьяне, с удовольствием наблюдавшие за действием быстроходной машины; некоторые из них, худые по виду, выражали открытую радость; они подходили к механизму и гладили его, как милое существо, улыбаясь притом с такой гордостью, точно они принимали участие в этом предприятии, хотя сами были нездешние.

Механик электростанции, сидевший в мотоциклетной коляске, не обращал внимания на окружающую его действительность: он вдумчиво и проникновенно воображал стихию огня, бушующую в цилиндрах машины, и слушал со страстным взором, как музыкант, мелодию газового вихря, вырывающегося в атмосферу.

Я громко спросил у механика, зачем он работает сейчас впустую, ради одной лампочки на столбе, и зря тратит топливо и машину.

— Не зря, — равнодушно сказал механик; он вышел из прицепа и попробовал ладонью подшипник у динамо — машины около большого самодельного деревянного шкива, которым она вращалась.

— Не зря, — сообщил механик. — Мы работаем вечером, а сейчас мы только пытаем машину и крутим ее впрок, чтоб все части у нее пригартовались и привыкли друг к другу. И перед проезжим народом нам надо похвастаться — это, стало быть, будет агитация. Пусть люди любуются!

В словах механика об опытной работе установки было дельное соображение, потому что мотоциклетный мотор был старой машиной, пережившей дороги войны, и некоторые заводские части, наверно, в нем заменяли деталями, сделанными в местной кузнице от руки, и нужно было эти части испытать и дать им приработаться.

Я молча изучил устройство электростанции, не обращаясь более к задумчивому механику. Под сиденьем мотоцикла я прочел номер машины: Е-О-401, а под тем номером имелась еще мелкая английская надпись, означавшая в переводе воинскую часть «77-й

британский королевский колониальный дивизион».

Провода от электростанции на деревню шли под землей, в глухом кабеле, и вечером, должно быть, торжественно сияли окна деревенских избушек, охраняя от тьмы революцию.

Механик подошел ко мне и протянул кисет с табаком.

— Покури, лучше будет, — сказал он мне. — Что смотришь? Наверно, на молотилке работал и думаешь, что в моторах понимаешь?

— На молотилке работать не приходилось, — ответил я и сам спросил деревенского машиниста: — Чем топите машину?

— Хлебным спиртом, чем же, — вздохнув, сказал механик. — Гоним самогон особой крепости, тем и светим.

— А смазка? — интересовался я далее.

— Чем придется, — ответил человек. — Что сыщешь, профильтруешь через тряпку, тем и смазываешь.

— Хлеб-то жалко ведь жечь в машине, — сказал я — не стоило бы?

— Хлеба жалко, — согласился механик. — А что сделаешь: другого газу нету.

— А чей хлеб это вы на газ переводите?

— Народа, чей же, общества, — пояснил машинист. — Собрали фонд по самообложению, а теперь берем из фонда и еще кой-откуда…

Я удивился, что крестьяне столь охотно стравляют хлеб прошлогоднего урожая в машину, когда в нынешнее лето хлеб от засухи совсем не уродится.

— Это ты народа нашего не знаешь, — медленно говорил механик, все время вслушиваясь в работу машины, от которой мы стояли теперь в удалении, у коновязи. — Раз есть нечего, то и читать, что ль, народу не надо!.. У нас в Верчовке богатая библиотека от помещика оста-лась, крестьяне теперь читают книги по вечерам, — кто вслух, кто про себя, кто чтению учится… А мы им свет даем в избы, вот у нас и получается свет и чтение. Пока другой радости у народа нету, пусть будет у него свет и чтение.

— Если б машину топить не хлебом, то было бы еще лучше, — советовал я. — Тогда у вас получились бы хлеб, свет и чтение. Механик поглядел на меня и скрыто, но вежливо улыбнулся.

— Ты не жалей этого хлеба: он все равно мертвый, не едоцкий… Тут кулак у нас жил, Чуев Ванька, — он с белыми всем семейством ушел, а хлеб зарыл в дальнем поле. Так мы его хлеб с товарищем Жареновым целый год искали, а когда нашли, так зерно уже задохнулось и умерло: на еду оно тухлое, на семена вовсе негоже, а на спирт, на вредную химию эту, оно пойдет.

— А ведь там сколько ж было?

— Да пудов без малого четыреста! А фонд по самообложению и взаимопомощи мы еще и не трогали: как был, так и есть — двадцать пудов. Наш председатель оттуда крошки тебе не подарит, пока и вправду с голода не опухнешь. Да ведь иначе и нельзя, а то…

И здесь механик прервал свою речь и бросился к электрической станции, потому что ремень соскочил со шкива динамо-машины. Я же обратился к деревне Верчовке и направился туда. На околице деревни сильно и безостановочно дымила печная труба, и я пошел в ту избу, которая столь жарко топилась в летний день. Изба, судя по двору и воротам, была выморочная или бесхозная. Ворота заросли, на дворе поселился жесткий, зачумленный бурьян, терпящий одинаково и жару, и ветры, и ливневые потоки и выживающий всегда.

Внутри избы я увидел печь, и в нее был вделан самогонный аппарат. Печь топилась корневищами, а у исходной трубки аппарата сидел на табуретке веселый, блаженный старик, освещенный пламенем, с кружкой в правой руке и с куском посоленной картошки в левой: старик, должно быть, ожидал очередного выхода безумной жидкости, чтобы попробовать ее — годится ли она для горения в машине или слаба еще. Собственный желудок и кишки старика — дегустатора были прибором для испытания горючего.

Я вышел во двор избы, чтобы увидеть электрическую линию, потому что на улице ее не было. Линия шла через дворы; крюки изоляторов были укреплены в стенах надворных

построек, в редких ветлах или просто были завинчены в большие, наращенные один на другой колья плетней, и оттуда уже шли местные ответвления проводов в жилые горницы и дворовые службы. В этой местности, лишенной леса, нельзя было найти столбов для устройства обычной уличной сети. И с хозяйственной, а также с технической точки зрения подобное решение вопроса электропередачи было единственно возможное и правильное.

Однако, опасаясь пожара от неправильной проводки воздушной линии, я пошел по дворам, перелезая через плетни и слеги, огораживающие соседские владения, и всюду осмотрел снаружи подвеску и крепление магистральных проводов. Натяжка линии была хорошая, и провода нигде не проходили близко от соломы или прочих ветхих и горючих веществ, способных затлеть от нагревания их токонесущей медью.

Успокоившись насчет пожара, я нашел прохладное укромное место в тени одного овина и уснул там для отдыха.

Но, еще не отдохнув как следует, я вынужден был проснуться, потому что меня кто-то толкал ногою и будил.

— Не время сна, не время спать, пора весь мир уж постигать и мертвых с гроба поднимать! — произнес неизвестный человек надо мною.

Я в ужасе опомнился; поздняя жара солнца, как бред, стояла в природе. Ко мне наклонился человек с добрым лицом, морщинистым от воодушевленного оживления, и приветствовал меня рифмованным слогом, как брата в светлой жизни. По этому признаку я догадался, что предо мною был делопроизводитель местного сельсовета, писавший отношение в губисполком.

— Вставай, бушуй среди стихии, уж разверзается она, большевики кричат лихие и сокрушают ад до дна!

Но у меня тогда была в уме не поэзия, а рачительность. Поднявшись, я сказал делопроизводителю про мотоциклетную электростанцию и про то, что необходимо достать где-либо насос.

— Мне ветер мысли все разнес, — ответил делопроизводитель, — и думать здесь я не могу про… А дальше как? — спросил он вдруг у меня.

— Про твой насос! — добавил я ему на помощь.

— Про твой насос!.. Пойдем ко мне в мою усадьбу, — продолжал делопроизводитель во вдохновении сердца, — ты мне расскажешь не спеша: могилы ждешь ты или свадьбы и чем болит твоя душа.

В сельсовете я с точностью изложил делопроизводителю деревни свой план, который касался орошения сухой земли водою, чтобы прекратить крестные походы населения за дождем.

— Провижу я чело твое младое! — воскликнул делопроизводитель. — В ответ гремит тебе отсюда, — он показал на грудь, — сердце боевое!

Я спросил его:

— У вас есть общественная огородная земля, чтоб там не было многих хозяев?

Делопроизводитель без размышления сразу дал справку:

— Земля такая есть. Она была коровья. Теперь же стала вдовья и отведена семействам — как их такое?.. — сбился он вдруг. — Семействам больраненых красноармейцев! — сказал добавочно Делопроизводитель.

— В ней сорок десятин — Там пашет, жнет и сеет орган власти — сельсовет! Там было раньше староселье, теперь же пустошь, зато осталось удобренье и злак растет, как дым зимой из труб. Ну, а теперь, конечно, все засохло — нам без воды и солнце ни к чему!

Я сообразил, что, может быть, мотоциклетной силы не хватит для увлажнения водою сорока десятин, но все же решил полить хоть часть этой наиболее бедняцкой земли — вдовьей и красноармейской.

Делопроизводитель, услышав такое мое предложение, не мог больше выразиться и тут же заплакал.

— Это я от стечения обстоятельств, — сказал он немного погодя, не употребляя стихов.

В течение двух последующих дней делопроизводитель, механик мотоциклетной электростанции и я трудились над установкой мотоцикла на новом месте — на берегу маловодной речки Прошвы, которая слабо текла куда-то в обмороке жары. Здесь, начинаясь с берега, была вдовья и красноармейская земля, обрабатываемая сельсоветом на общественных лошадях. Несмотря на плодородие низинных угодий, сейчас там росли только редкие посадки картофеля, а за ними — мелкие просяные колосья; но все растения были в изнеможении, они покрылись смертельной пылью знойных вихрей и клонились вниз, чтобы вернуться обратно в темноту праха и сжаться в свое первоначальное семя, уже мертвое теперь.

В этих же посевах с терпеньем росли купыри, репей, бледные цветы «златоуста», похожие на лицо человека с выражением сумасшествия, и прочие плевелы, которыми всегда зарастает земля во время действия сухих стихий.

Я попробовал почву; она была как зола, перегоревшая на лице, и первый же ураган способен был поднять всю пыль плодородия и развеять ее бесследно в пространстве.

После установки мотоцикла мы с делопроизводителем задумались о насосе. Мы поискали его по сараям зажиточных мужиков, грабивших помещиков с наибольшим хладнокровием и жадностью, и нашли там много добра, даже картины Пикассо и женские мраморные биде, а никакого насоса не было.

— Потеха жить и наслаждаться, — сказал мне делопроизводитель, — насоса нет, но есть любовь и чашка, чтобы обмываться.

Подумав, я снял толстую железную бляху с мотоцикла, обозначавшую английскую интервенционную воинскую часть, и вырезал из нее в кузнице две лопасти. Затем по приказу делопроизводителя была раскрыта железная крыша с дома сельсовета, и то железо пошло на изделие остальных пяти лопастей, а также кожуха для насоса, трубы для всасывания и лотков для подачи воды на поле.

Еще трое суток мы с механиком электростанции поработали у мотоцикла, пока не посадили семь лопастей на спицы заднего колеса машины и не обрядили колесо в кожух. Таким образом мы соорудили центробежный насос из колеса мотоцикла. Мы организовали водокачку вместо электрической станции; однако насос ничему не помешал: когда вода не потребуется земле, можно опять вертеть динамо и давать свет в избушки.

Через пять дней мучительного труда без нужных инструментов и материалов, среди полевого неустройства, я и механик пустили мотор мотоцикла, и вода пошла на землю вдов и красноармейцев, но поток ее был слишком слаб — ведер сто в час, и необходимо было еще развезти воду по всем посевам, что требовало усердия населения. Кроме того, некоторое количество воды терялось из неплотных соединений наших самодельных лотков, что дополнительно нас огорчало. Однако делопроизводитель не огорчился на это и сказал:

— Пускай наука только каплю даст, мы выжмем море туловищем масс!

На другой день делопроизводитель и двадцать женщин с четырьмя пожилыми мужчинами-бедняками повели воду под лопату в глубь полей, но ручей воды иссох уже невдалеке от водокачки. Из расщелин земли, пугаясь влаги, полезли ящерицы, пауки, сухие членистые черви неизвестной породы и твердые мелкие насекомые, точно сделанные из меди, — они, следовательно, и должны наследовать землю, если тучи не соберутся в атмосфере, а люди вымрут.

Вдовы и замужние беднячки окружили нас и начали ругать за недостаток воды и за бедную силу машины. Мы выслушали их со стыдом, но без боязни, а делопроизводитель произнес им в утешение заключительное слово. Он глядел в туманное, томительное небо одичалого лета и говорил с просветленным лицом среди тишины ослепительной страшной природы:

— Все сохнет, лопается прочь — и почва, и трава!.. А жить охота во всю мочь, поскольку есть у человека голова. Она прибавлена вдобавок нам не зря… Нет, потому мы не железо, не скотина, не дресва, что надо нам всю жизнь стерпеть — и без победы нипочем не умереть!..

Делопроизводитель устал от жары и страдания, но лицо его стало теперь иным — ясным и задумчивым, хотя и не потеряло доброты своих складок. И он сказал прозой бабам — вдовам, смотревшим на него с удивлением и улыбкой сочувствия:

— Ступайте, женщины, копать канаву дальше. Машина эта — интервентка, она была за белых, теперь ей неохота лить воду в пролетарский огород.

Механик с жадностью страстного размышления наблюдал напряженную работу мотора; машина шла на сбавленных оборотах и тяжко упыхивалась от перегрузки. Я ощупал все тело машины — оно сильно грелось и мучилось, крепкий самогон взрывался в цилиндрах с жесткой яростью, но плохое смазочное масло не держалось в трущихся частях и не обволакивало их облегчающей нежной пленкой. Мотор трепетал в раме, и неясный тонкий голос изнутри его механизма звучал как предупреждение о смертельной опасности.

Я понял машину и прекратил ее злобный сухой ход. Затем мы сняли кожух с колеса, служившего центробежным насосом, убавили число лопастей на колесе с семи до четырех и опять надели кожух. Я хотел разгрузить мотор, чтобы он дал лучшую скорость, и тогда четыре лопасти будут работать сильнее семи.

В это время настал вечер; все люди ушли на отдых, только товарищ Жаренов и я остались сидеть на берегу слабеющей, сочащейся реки. Я не спешил снова запускать мотор. Я хотел догадаться еще о чем-нибудь для более свободного движения машины.

Солнце зашло в раскаленном свирепом пространстве, а внизу на земле наступила тьма и остались озабоченные люди с трудным чувством в сердце, поникшие в своих избах без всякой защиты от беды и смерти. Вскоре к делопроизводителю пришли его дети — мальчик и девочка, — те самые, которых я видел в крестном ходе о дожде. Они оголтели от голода и бесприютности и бросились к отцу, радуясь, что нашли его и будут ночевать вместе с ним в страшной душной темноте; хлеба они уже не просили, радуясь тому, что хоть есть у них отец, который их любит и сам ничего не ест. Отец прижал к себе слабые тела своих детей и стал искать в карманах чего-нибудь, чтобы покормить их, но находил лишь мусор и отношения волисполкома. Тогда делопроизводитель решил успокоить детей своей теплотой; он обнял их обоих громадными неписчими руками, приблизил к своему теплому животу, и все трое заснули на ночной земле. Наверно, у этих детей мать была умершая, и они жили сиротами около своего отца.

Я догадался, что мне надо сделать: нужно свернуть из пакли фитиль, опустить его одним концом в бачок с водой и обмотать фитилем цилиндры мотора, — тогда вода будет сочиться по фитилю, а машина почувствует прохладу и даст лишнюю мощность. Я нашел паклю в прицепной коляске, в ящике механика, и к полночи совершил работу до конца. Затем я подошел к спящему семейству Степана Жаренова и не знал, что делать — качать ли воду, чтобы обеспечить хотя бы на осень пищу этим детям, или подождать, потому что дети проснутся от шума мотора и немедленно начнут мучиться без еды.

Вскоре мне пришлось обернуться к деревне — там раздался взрыв какой-то бочки, а потом шипение пара, и стало тихо. Делопроизводитель проснулся, поднял спящую голову, сказал стих: «Дети в мозгу кричат „агу“», и снова уснул.

Учитывая крепкий сон семейства, проспавшего взрыв бочки, я пустил мотор. В черные угодья пошел толстый поток воды из устья нагнетательной трубы; мотор теперь вращался на хороших оборотах, грелся мало и не пел мучительным голосом утомления из глубины своего жесткого существа. Я тихо ходил вокруг бьющейся в напряжении машины и с удовлетворением наблюдал спокойное течение ночи в мире; пусть время теперь идет, оно проходит не напрасно: машина надежно качает воду в сухие поля бедняков.

Я смерил ведром подачу воды в минуту времени — оказалось, что насос теперь дает около двухсот ведер в час, в два раза больше прежнего. В кармане я нашел сухой кусочек городского хлеба и стал есть его, стараясь закончить еду поскорее. Втайне от самого себя я боялся внезапного пробуждения детей делопроизводителя, которые обязательно попросят у меня пищи… Уже дожевывая, я наклонился к детям — они смутно и неравномерно дышали в своем скучном сне, смирившем в них страдание голода. Только отец их лежал со

счастливым, обычно приветливым лицом: он господствовал над своим телом и надо всеми мучающими силами природы; магическое напряжение гения беспрерывно радовало его сердце, верующее в могучую долю пролетарского человечества.

Видимо, что-то переполнило сознание делопроизводителя. Он нечаянно открыл глаза, увидел, что я чего-то дожевываю, и сразу сказал, как неспавший:

— Пора не только жизнь страдать, но также хлеб во рту жевать…

Я в испуге проглотил остаток пищи и задумался. Из темноты речной долины вышли к машине два человека — выспавшийся механик и незнакомая старушка большого роста.

— Идите вот теперь, — сказала старушка, — идите мужика моего подымайте: мужчина весь обмер, свалился, и сердце в нем не стучит. Все для вас, чертей, кофей этот варил…

Я равнодушно обратился к механику мотоцикла, учась быть хладнокровным среди событий. Механик представил старушку как жену старичка, который варит круглые сутки самогон специальной крепости для снабжения мотора. Ввиду отсутствия прибора, измеряющего градусы крепости, старичок обычно брал в одну руку кружку, в другую — кусок посоленной закуски, что-нибудь вроде картошки, и ожидал со своей посудой у отводящей трубки змеевика, пока оттуда закапает. Но нынче старичок не сразу раскушал качество топлива; он завернул кран на трубке, подложил дров в огонь и заснул с опорожненной кружкой и картошкой в руках; котел накопил давление, взорвался, и мощный газ выбросил старичка из самогонной избушки вместе с дверью и двумя оконными рамами. Сейчас старик лежит и постепенно опоминается, а завтра начнет ремонт взорвавшейся установки.

— Чего же вы хотите? — спросил я у старушки. — Это авария, а мы здесь ни при чем.

— Льготы какой-нибудь, — ответила бранившаяся старуха.

— Хорошо, я запишу.

Я вынул записную книжку и написал там: «Пришли из города старушке пшена».

Старуха, только увидя, что я что-то записываю, сразу поверила мне и утешилась.

Я сказал механику устную инструкцию об уходе за мотором и насосом, постоял немного возле спящего на земле делопроизводителя Жаренова и его детей, а затем пошел пешком, по теплой ночи к себе домой, к своей матери. Я шел один в темном поле, молодой, бедный и спокойный. Одна моя жизненная задача была исполнена.

По небу полуночи

Лейтенанта германского военно-воздушного флота Эриха Зуммера днем вызвали в штаб части и предложили приготовиться к дальнему ночному перелету на боевой машине; задание — строго секретное, маршрут перелета и пункт его окончания Зуммер получит у командира своего отряда перед стартом.

Зуммер вышел из штаба на улицу южнобаварской деревни. Он улыбнулся, вспомнив сугубо серьезное, глубоко задумчивое выражение лица начальника штаба части, точно ему действительно было над чем задумываться, точно он не был всего лишь техническим исполнителем чужой воли, простым канцеляристом для чтения получаемых бумаг.

Зуммер улыбался так же, как и грустил, — безмолвно и не меняясь в лице; он привык молчать, и впечатления жизни, естественно вызывающие в человеке смех, печаль или живое искреннее действие, теперь в нем все более превращались во внутренние сдавленные переживания, не заметные ни для кого, безопасные и бесполезные. Ум и сердце молодого летчика по-прежнему были способны воодушевляться людьми, событиями, полетом машин, он мог любить друзей и возлюбленных и ожесточаться в ненависти против врагов и тиранов, но эти свои обычные способности Эрих Зуммер обнаруживал теперь лишь очень скромно либо вовсе не обнаруживал их, — что самое лучшее, потому что открытые чувства и мысли человека становились для него все более смертельно опасными.

Даже любить для Зуммера стало невозможно. Год назад он жил в казарме под Лейпцигом, и ему понравилась Клара Шлегель, девушка, служившая на кухне в военной

столовой, и он приблизился к ней, подружился с ее семейством — отцом и матерью — и ходил в ее дом по вечерам, чтобы беседовать и гулять с этой девушкой, считая ее своей невестой и желая приучить ее к себе, чтобы она затем тоже полюбила его. Может быть, для самой любви ничего и не нужно, кроме двух любящих людей, но каждому из них необходимо удостоверить перед другим свою ценность, чтобы укрепиться в его сердце, и для этого привлекаются в свидетели, в доказательство любые прекрасные факты из постороннего мира, самого по себе неинтересного для сосредоточенного чувства любящих.

Видимо, чтобы доказать свой ум и оригинальность, Эрих сказал однажды Кларе о русских, испанцах и китайцах. «Они теперь самые лучшие, самые одухотворенные люди на всей земле», — произнес он. Клара проницательно посмотрела на Эриха и затем ответила ему, что офицеру с такими мыслями неуместно служить в германской армии и она сама позаботится, чтобы Эрих больше не работал в военной авиации.

«И вам будет безопасней, и мне спокойней, — улыбнулась Клара и добавила: — Если я выйду за вас замуж когда-нибудь».

Зуммер понял, что Клара сообщит о нем в тайную полицию, и стал ждать ареста. Он более не посещал свою невесту и не видел ее — не из боязни, а из грустного равнодушия, заполнившего Эриха, хотя жалость и приглушенная, опечаленная нежность к оставленной девушке сохранилась у него. Но подобное, похожее чувство Эрих испытывал ко всем людям, которые ему были близкими или милыми когда-то и которых он утратил из виду; их голоса таились в его сердце и воспоминании и глухо, почти безмолвно шептали ему о себе, точно жалуясь на свое сиротство без него.

Арестован Эрих Зуммер не был — наверно, потому, что в тайной полиции тоже был непорядок и там руки не дошли до него или схватили кого-нибудь другого вместо него: им же все равно, была бы лишь деятельность. В благородство или в остаток человечности Клары Шлегель Эрих верил мало. Ей не от кого было научиться и привыкнуть к этим вещам, — ей, захваченной фашизмом в тринадцать лет от роду, — а он не успел ее ничему научить, потому что только любил ее и считал это достаточным. Любовь же его была не чем другим, как только заботой о своей пользе и о своей радости, о своем наслаждении прекрасным существом, а не работой для спасения женщины-ребенка, наивной и неопытной и уже теснимой жестокой враждебною силой в грустную долю постоянного робкого напряжения, где жалкий ум ее будет способен только молчать и слушаться, но не думать, и где ее сердце будет биться, чтобы происходило кровообращение в теле, но не сможет превратиться в душу…

Что же он сделал, Эрих Зуммер, ради облегчения будущей участи Клары Шлегель? Он рассердился на свою невесту и оставил ее; ему не понравилось, что она хочет сообщить о его антифашистских убеждениях в тайную полицию; он отказал ей в своей дружбе, обрек ее на одиночество и беспомощность, тогда как можно было бы приблизить к себе ее сердце столь тесно, что оно всю жизнь бы согревалось дыханием Эриха и никакие холодные, гибельные ветры не остудили бы его. Ее никто не взял за руку, чтобы увести с собою в новый будущий мир людей, существующий в Германии уже теперь в скрытых сердцах.

Но сейчас уже поздно заботиться о Кларе Шлегель. Прошел почти год, как Эрих Зуммер ее не видел, и восемь месяцев миновало со времени его отъезда из-под Лейпцига сюда, в Южную Баварию. И сегодня после захода солнца он улетит через Францию в Испанию, чтобы уничтожать своих друзей, чтобы громить народ бедняков, надеющийся, как сказал их земляк Дон-Кихот, на свет в будущем, а сейчас желающий лишь терпимой судьбы на своей земле.

Зуммер возвратился домой. Он снимал комнату в жилище крестьянина. В деревне, кроме Зуммера, жили еще человек двадцать офицеров из авиационных и танковых частей, расположенных поблизости. Крестьяне относились к военным терпеливо, но работали они теперь менее трудолюбиво и тщательно и жили как придется, лишь бы день прожить. Зуммер чувствовал тайное недовольство крестьян появлением военных частей в окрестности деревни. Огромная толпа вооруженных бездельников, занявшая пахотные поля под стоянки

машин и постройку казарм, офицеры, поселившиеся жить в родных, отцовских домах земледельцев, гром и гул испытываемых машин в дотоле тихих, рожающих полях — все это угнетало крестьян, и они жили среди родной земли, как на чужбине, точно готовясь вот-вот переселиться отсюда навсегда или умереть.

До вечера нужно было бы выспаться, но Эрих решил не спать, ему не хотелось тратить на сон свое последнее прощальное время на родине. Он сел бриться к настольному зеркалу и увидел свое лицо: большой правильный нос, серые угрюмые глаза, светлые волосы с нехорошим рыжеватым оттенком, а нежная, слегка обветренная кожа усеяна мелкими коричневыми точками — Эрих был конопатый. В детстве поэтому Эриха дразнили «засиженным воробьями» и «дерьмом обрызганным».

«А ведь я похож на арийца, — подумал Зуммер. — Вот еще проклятое дело, надо бы нарочно изувечить себя, чтобы быть непохожим. Да и арийцев ведь нету на самом деле, — просто объявлено, что они есть, а кто скажет нет, того — железом по голове и в тюрьму. По такому способу можно заставить поверить и в гномов, и в кобольдов, и еще в кое-что невидимое, но однако злодейски действующее».

По стенам комнаты, которую снимал Зуммер, были развешаны фотографии и старые дагерротипы предков и родственников хозяина этого крестьянского дома, целые умершие поколения. Они были счастливее нынешних людей. Но почему?

Побрившись, Зуммер быстро сложил свои вещи в маленький, но емкий чемодан, вытер и проверил револьвер, положил его на виду и был уже готов к отъезду на аэродром. Прощающимися глазами он осмотрел комнату, в которой жил и которую едва ли когда посетит еще. Мучимый тоскующей мыслью, Эрих лег на кровать, чтобы отдохнуть, задуматься еще более и принять какое-либо решение, утешающее страдание.

Поколение крестьян, изображенных на фотографиях, смотрело на него со стены у кровати. Почему они были счастливее его?

«Я не понял Клары и оставил ее одну среди врагов. Я пришел в раздражение от одной ее случайной глупости, а где она могла научиться уму и чести?.. Ты и любить понастоящему не можешь, — любят ведь только тогда, когда человек прощает любимому все, даже смерть от его руки, а ты не вытерпел, ты обиделся, ты подлец, ты ничего не понял, ты все превратил в свое обиженное настроение и ты сегодня улетаешь в Испанию бить народ тружеников, чтобы от него остались одни сироты и чтобы сирот затем превратить в рабов…»

Пустынный свет безмолвного летнего дня озарил окно. Зуммер подошел к стеклу и увидел полевую, рабочую дорогу, уходящую на дальние пашни, — простую дорогу с колеями от колес, проложенную по мякоти земли. Крестьянин поехал по ней из деревни в отдаление; Эрих ждал, когда он обернется, но крестьянин не обернулся и скоро скрылся из вида. Две ракиты росли у той дороги, на выходе ее из деревни в поле; теплый ветер медленно шевелил их листья, и хлеб задумчиво рос по краям дороги. Это было все близко к людям и родственно им, но столь чуждо, столь уединенно в собственной, глубокой жизни, что лишь общее солнце соединяло судьбу людей и растений. Рожь и деревья живут серьезно и по своей необходимости, и им нет дела до того, что люди употребляют их плоды и их тело на то, чтобы жить за чужой, за их счет. Хлебным зернам нет дела до этого потому, что когда их хотят уничтожить, они уже созрели и почти мертвы, они готовы пасть в землю, чтобы, разродившись, умереть там, и оттого действия людей для них не заметны.

— Но я ведь не мертв еще, — понимал Эрих Зуммер. — Мне двадцать восемь лет. И я хочу жить, потому что я умираю и потому что меня убивают.

Он знал, как обессилел его ум в молчании, в скрытности, в сдержанности, как оробело его сердце в скромности и страхе, неспособное утешить даже одного человека, например — Клару Шлегель, как одновременно с непосредственным чувством и ясной, истинной мыслью у него возникает торможение, подавление этого чувства и мысли, то покорное дрожание смирившейся согбенной жизни, которая даже свои бедствия ощущает как благо, как свою единственно возможную судьбу, и жизнь проходит в суете, но без действий, в заботе, но в бессмысленности, в ожидании окончательного смертельного удара — и в беззащитности.

Так что же это? Отчего в меня, в некоего Эриха Зуммера, весь мир посылает свои сигналы и природа сеет свои семена, а из меня ничего не происходит, не возрастает обратно в ответ, в отплату и в благодарность, точно я та нерожающая, мертвая земля, в которой посеянные семена, не оживая в зачатье, лишь распадаются в прах и отравляют почву ядом погибшей, неистраченной силы, чтобы земля стала еще более бесплодной, чтобы она окаменела. Но трудно понять и правильно направить свою жизнь тому, кто не умирал ни разу и не был близок к смерти.

— Ничего, я и живу как умираю, поэтому я немного начинаю понимать, как мне следует теперь жить, — размышлял Эрих.

Он вспомнил сугубо секретный приказ о ночном дальнем перелете и улыбнулся глупости этих секретов. О том, что военные аэропланы посылаются отсюда в Испанию, знали все окрестные пастухи, их помощники и весь германский народ. Очевидное всегда делается по секрету, а явно сообщаются лишь никому не нужные, не интересные пустяки.

Эрих снова лег на кровать и забылся до вечера.

Вечером за ним прислали из штаба автомобиль, и он поехал на аэродром. До аэродрома было всего километров десять, по гудрону новой снивелированной трассы. Эрих ехал и удивлялся: где росло раньше дерево, оно было теперь срублено, где ничего раньше не росло, теперь кое-что появилось: не то трава, не то темная каменная одежда, хранящая землю от размывания. И он ехал по знакомым местам, но поражался, как чужестранец: ему было понятно, почему здесь срублено дерево, а там положен дерн для укрепления откосов, но он хотел бы здесь, в деревенских полях, видеть еще старый, смирный мир — ночные пашни, древние деревья у заросших канав, свет в окне деревенского жилища, где крестьянская семья сидит за столом и ужинает из общей чашки, — тот старый мир, возвращение в который означало бы по сравнению с фашизмом освобождение.

Зуммер велел остановить машину и вышел пеший на край дороги. Было уже темно, и огни нигде не светились из экономии керосина и электричества, лишь тревожный и вопящий голос пел где-то в отдалении, постоянный и волнообразный, похожий, что он поет из каменных недр природы, и поет оттуда вечно, так что, по привычке, его можно не слышать и жить, как в тишине. Это скулили на ближайшем опытном авиационном заводе испытуемые моторы и им подвывала аэродинамическая труба — там готовили новые конструкции истребителей и бомбардировщиков. Надо всем миром поют сейчас эти трубы и воют новые моторы на испытательных стендах. Скоро и бомбы на землю будут падать столь часто и постоянно, что люди привыкнут к ним, перестанут их слышать, и жизнь им снова покажется тихой, а смерть от осколка бомбы обычной и естественной.

Зуммер приказал шоферу ехать дальше. Километрах в двух от деревни, вправо от дороги, был расположен концентрационный лагерь — четыре длинных барака, лишь на метр возвышавшиеся над землей; стены бараков были сложены из речного мягкого камня, и ради экономии строительных материалов их всего клали в метр высоты, а остальным своим жилым объемом бараки уходили в грунт, так что они были, в сущности, большими землянками. Из сбережения железа никакой колючей проволоки вокруг концлагеря не имелось, и охрана лагеря состояла — про это слышал Эрих раньше — из старых прусских стражников и штурмовиков.

Заключенные в этом лагере работали на тяжелых земляных работах; они строили земляные насыпи для новых автомобильных дорог и планировали посадочные площадки для аэропланов. Эрих много раз видел, как работали арестованные: они рыли лопатами землю, и движения их походили на движения людей, живущих в сновидении. Глаза одних, побледневшие и выцветшие от постоянной тоски, испуганно и робко смотрели на постороннего, свободного человека, у других в глазах светилась жизненная ненависть к свободным, как своим врагам, — почти счастливое чувство.

Однако не за участие ли в улучшении жизни людей безвестные товарищи Эриха Зуммера томятся в этом тюремном лагере? Именно так, но тогда, следовательно, и само заточение людей, врагов фашизма, есть доказательство существования свободы в сердце и в

мысли человека, и невольник представляет собою безмолвное обещание общего освобождения. Поэтому нынешняя неволя германского народа, может быть, есть лишь подготовка его близкой, будущей свободы.

— И мне бы надо быть в тюрьме, — желал Зуммер. — А я офицер фашистской армии.

На аэродроме стоял готовый к вылету отряд двухместных истребителей из пяти машин.

Отпив кофе со сливками, летчики и штурманы переоделись в летную одежду, снарядились и выстроились фронтом для получения инструкций от командования. Выслушав инструкцию, летчики пошли к машинам. Инструкция была проста и заранее всем известна: лететь через Францию в Испанию, держась приблизительно высоты потолка, садиться в Испании по указанию флагманской машины, в случае ж если какая-либо машина по непреодолимой причине вынуждена будет отделиться от группы машин, летчику следует достигнуть зоны генерала Франко самостоятельно, пользуясь расчетами своего штурмана.

На машину Зуммера штурманом был назначен Фридрих Кениг. Он должен не только сопровождать машину до Испании, но и остаться в экипаже вместе с Зуммером в качестве боевого штурмана, на все время войны. Зуммер знал Кенига около года: он летал с ним в тренировочных полетах и участвовал на маневрах. Как штурман Кениг был обыкновенный работник, даже плохой, — однажды при дневном, безоблачном небе на высоте полутора тысяч метров он перепутал ориентиры и дал Зуммеру ошибочный курс. Но зато в чистых, младенческих, больших глазах Кенига постоянно горел энергичный свет искренней убежденности в истине фашизма, свет веры, а также проницательности и подозрительности, и он жил в беспричинной, но четко ощущаемой им яростной радости своего существования, непрерывно готовый к бою и восторгу.

Зуммер, наблюдая Кенига, чувствовал иногда содрогание — не оттого, что штурман верил в фашизм (вера в заблуждение постепенно обессиливает и умерщвляет верующего человека, так что пусть он верует), но оттого, что идиотизм его веры, чувственная, счастливая преданность рабству были в нем словно прирожденными или естественными, — Зуммер тогда содрогался.

Он думал со страхом и грустью, что во многих других людях существует такой же инстинктивный, радостный идиотизм, как у Фридриха Кенига. Зуммер вспомнил, что при прощании с генералом специального авиационного соединения, напутствовавшего летчиков, у Кенига стояли слезы в глазах, слезы радостной преданности и полной готовности обязательно умереть за этого генерала и за кого попало из начальства, которые все вместе составляли для штурмана отчизну.

— И ты умрешь за отчизну, — сказал про себя Эрих Зуммер, усевшись на свое место пилота, — но умрешь не за ту отчизну, которую ты себе выдумал, а за мою, за всемирную отчизну, за всю разноцветную и голубую землю, которую ты хочешь покрыть коричневой глиной могил.

Машины одна за другой пошли в воздух и после короткого построения легли на курс вслед за флагманом. С привычным, но никогда не надоедающим наслаждением чувствовал Зуммер точную напряженную работу мотора. Эрих, прежде, после окончания Мюнхенского политехникума, был механиком и затем конструктором в опытных авиамастерских. Он первый построил взрывобезопасные бензиновые баки для военных аэропланов. Эти баки состояли из системы трубок, заполняемых бензином, и походили на водяной автомобильный радиатор; каждая трубка имела два специальных автоматических клапана, которые в момент порчи трубки перекрывали ее и этим отделяли трубку от всей системы. Такой способ был необходим на случай, если в бак попадает пуля противника, тогда 909-й бензин вытечет лишь из одной трубки, и даже если топливо загорится, то едва ли по малому своему количеству подожжет всю машину. Кроме того, свой бензиновый бак Зуммер предлагал помещать в машине таким образом, чтобы система трубок продувалась потоком воздуха, — этим достигалось столь сильное охлаждение горючего, что поджечь его любой пулей или даже непосредственно пламенем было очень затруднительно. И еще Зуммер предложил сделать несколько улучшений в моторной части аэроплана, не думая о пользе работы, но

находя в ней утешение от своей тоски, точно занимаясь игрой, чтобы отвлечься от настоящей действительности.

Но спустя время это занятие творческой техникой ему надоело — нужно было или переменить одну игру на другую (например, начать улучшение автомобилей или радиоприемников), если хочешь чем бы то ни было утомить и растратить свою жизнь, либо, наоборот, начать жизнь всерьез и без всякой игры. И Зуммер больше не стал заниматься улучшением аэропланных моторов, потому что ни хорошие, ни плохие моторы сами по себе не помогают правильно существовать человеку, если в человеке нет священной сущности или эта сущность убита или искалечена. Может быть, эта сущность — наша душа, и неизвестно в точности, что такое, но известно, что без нее общая жизнь человечества не состоится, и это подтверждается тем, что мы страдаем…

Машина шла высоко над Францией. Фридрих Кениг сидел позади Зуммера, касаясь ручки дублированного управления. Тихий, скромный свет горел над доской приборов против Зуммера, и циферблаты приборов глядели оттуда на летчика с разным выражением своих лиц: одни нахмурясь, другие улыбаясь, третьи важно шевеля усами стрелок, будто они нарядились в стариков. Эрих улыбнулся на свои циферблаты; они показались ему детскими рожицами, потомством, которое он нарожал от верной, любимой жены.

Летчик поглядел вверх на небо Франции — какое оно было здесь, над чужой, но милой и еще свободной страной. Вечные звезды сияли на небе, подобно недостижимому утешению. Но если это утешение для нас недоступно, тем более, следовательно, земля под небом должна быть для человека прекрасной и согретой нашим дыханием, потому что люди на ней обречены жить безвыходно.

— Я его убью, — решил Зуммер участь Кенига. — Он и они хотят нас искалечить, унизить до своего счастливого идиотизма, чтобы мы больше не понимали звезд и не чувствовали друг друга, а это все равно что нас убить. Это — хуже: это ребенок с выколотыми глазами. А мы хотим подняться над самими собой, мы хотим приобрести то, чего не имеет сейчас и самый лучший человек на земле, потому что это для нас самое необходимое. Но чтобы приобрести это необходимое, следует перестать быть привычным к самому себе, постоянным, неподвижным, смирившимся человеком… Кениг вон ни в чем не чувствует нужды, и он летит сейчас со мной на завоевание мира, чтобы навсегда лишить земли и свободы тех, кто в них нуждается. Сам же он не нуждается ни в свободе, ни в душе, это ему не нужно, и поэтому он хочет уничтожить то, что ему не нужно. Ему вполне достаточно тюрьмы и могилы, но он оставил туда свободную дорогу только для нас. Он доволен, он уверен, что добыл для себя мировую истину, и теперь питается ею себе на пользу. А я бедняк, я печальный человек, я полон нужды и тоски по свободным людям. В этом наша разница с ним, и поэтому я убью Фридриха Кенига… Мне почему-то кажется, что я прав, а Кениг неверно думает, что он прав, но я уже не могу сдержать свою жизнь и убью его. Пусть наша общая мысль и горе восстанут на их веру и одержимость.

Время ушло за полночь. Флагман вел сейчас группу машин с обычной крейсерской скоростью и на небольшой сравнительно высоте: он не желал изнашивать моторы форсировкой, экономил горючее и не опасался французов.

Французская земля лежала во тьме под машинами. Там, в деревнях и городах, в хижинах среди пшеницы и виноградников, спал сейчас уставший за день народ.

Зуммер долго вглядывался в далекую землю, стараясь различить на ней какой-нибудь свет, доказывающий существование человека. Наблюдению, должно быть, мешала ночная пелена тумана, поднявшаяся с возделанных полей, надышанная влажными устами культурных растений. Но вот Зуммер заметил слабо светящееся пятно, еле движущееся по земле поперек курса самолета. Что это может быть? Зуммер догадался: это прожектор французского курьерского паровоза, идущего либо на Ниццу, либо к Пиренеям.

На доске приборов вспыхнула маленькая красная лампочка с надписью «штурман». Зуммер склонился немного вправо, где висел микрофон, соединяющий его со штурманом.

— Мы подходим к испанской границе, — сказал ему Фридрих Кениг. — Под нами

впереди, на пересечении нашего курса, идет французский ночной экспресс к Средиземному морю. Если бы у нас были бомбы, мы бы могли сейчас немного снизиться, — смеясь, шутил Кениг, — и испытать французский паровоз на запас его прочности и на пробой…

— Я военный летчик, а не авантюрист, — ответил Кенигу Зуммер.

— А никто бы не узнал, — говорил Кениг в микрофон. — У французских поездов хорошие скорости, нужно только сбить паровоз, а состав потом сам сокрушит себя. И никто бы не узнал, нельзя было бы доказать, чей бомбил самолет — решили бы, что красный испанский или итальянский… а потом похоронили бы пассажиров и забыли…

Зуммер помолчал и ответил:

Красные испанцы воюют только со своими врагами и на своей земле… А итальянцы, они — наши союзники, но я передам нашему командованию, что вы их считаете способными на бандитизм, а меня подговаривали напасть на французский экспресс…

Кениг умолк. Зуммер улыбнулся и сказал в микрофон:

— Слушайте, Кениг… А ведь мы, если на бреющем полете ударить изо всех наших трубок, мы можем перебить паровозную бригаду, повредить паровоз, и дальше поезд пойдет вслепую на свою смерть…

— Конечно, можно, — ободрился Кениг, — хорошо бы попробовать. «Вот человек, — подумал Зуммер. — Нет, мне пора быть ангелом, человеком надоело, ничего не выходит».

Впереди от Зуммера, непоколебимо сохраняя дистанцию, шли четыре машины отряда, и гул мотора Зуммера сливался с ревом моторов всей группы машин, и это ровное, нерушимое пение походило на безмолвие, отчего летчика клонило в сон и спокойствие. Лишь патрубки моторов, извергая напряженное, рвущееся пламя, освещали на мгновение блестящие туловища мчащихся тяжелых птиц.

«Скоро Испания, — вспомнил Эрих Зуммер. — Мне пора». Он быстро вынул револьвер из кобуры, и, полуобернувшись назад к штурману, почти не видя его, всадил в чужое тело пять пуль одной струею. Фридрих Кениг поник и привалился вправо к борту мертвой головой.

Флагманская машина стала набирать высоту. Пиренеи были покрыты мощным туманом; сверху, под звездами, туман казался черным: он собрался сюда на ночь из долин Франции и Каталонии, с теплых вод Средиземного моря и Атлантики.

Зуммер не последовал за флагманом; он шел на прежней высоте и сбавил обороты мотора, чтобы отстать. Выждав немного, Зуммер дал мотору максимальные обороты, затем нацелился своей машиной на удаляющуюся группу фашистских самолетов и помчался им вослед, быстро нагоняя их.

Подошедши к группе самолетов снизу на близкую дистанцию и По-прежнему форсируя мотор, Зуммер, находясь уже под флагманом, резко задрал машину вверх и одновременно взял гашетку пулеметов. Из передней кромки плоскостей засветилось пульсирующее пламя пулеметных трубок, машина словно украсилась в огни иллюминации. Пули секущим потоком ударили по головному самолету флагмана — от винта до хвоста, — потому что Зуммер не отдавал руля высоты, пока его машина, поворачиваясь вокруг своей поперечной оси, не легла навзничь. В течение, по крайней мере, половины фигуры, сделанной Зуммером, его пулеметы вели снизу вспарывающую борозду вдоль всего туловища флагманского самолета, а также громили его плоскости и рулевое устройство. Перевернувшись вниз головой, Зуммер выключил пулеметы и ушел по горизонтали в обратную сторону от прежнего курса.

Удалившись, Зуммер сделал вираж, выправил машину и снова пошел вслед своему отряду. Эрих заметил, что машина флагмана на мгновение приостановилась в воздухе, свободно вывесилась в нем и затем вертикально, набирая ускорение, пошла вниз на камни Пиренеев, темная и умолкшая насмерть. Остальные три машины в воздухе обтекли своего флагмана и продолжали свой путь на сбавленной скорости, точно в размышлении, медленно выстраиваясь одна за другой. Зуммер погнался за ними, решив взять их пулеметами, с хвоста. Но штурман задней машины начал бить по Зуммеру со своего места из турельного

пулемета. И вдруг он перестал стрелять, потеряв уверенность, очевидно, что он делает правильно, расстреливая немецкую машину и наблюдая, как напрямую, открыто, не защищаясь, его догоняет своя машина. «И Зуммер ли сбил машину флагмана? Может быть, это ошибка, и флагман сокрушен испанской машиной?» — предполагал хвостовой штурман, бездействуя и следя за Зуммером.

Приблизившись и взяв немного высоты, Эрих Зуммер слегка опустил нос машины, а потом вновь тронул гашетку и начал рассекать изо всех трубок своих пулеметов задний самолет отряда. Винт на фашистской машине с разгона стал вмертвую, и, колебнувшись в неустойчивости, машина беспомощно завалилась к земле рыть себе могилу. Но передняя машина группы, занявшая место флагмана, перешла с крейсерской на максимальную скорость и глубоким виражом заходила навстречу Зуммеру, становясь в атакующее положение. Зуммер, не прекращая огня, дал весь газ в мотор, поставил наиболее выгодное зажигание и пошел точным прямым курсом в лоб противника, желая уничтожить его своим пулеметным огнем и добить ударом винта в винт, тело в тело, взять врага в таран. Противник Эриха, не успев занять выгодной боевой позиции, понял маневр Зуммера и стал резко набирать высоту. Он решил, вероятно, поразить Зуммера сверху. Однако, запрокинув машину, Зуммер очутился в хвосте противника и неотступно последовал за ним.

Зуммер лучше владел тяговой работой мотора, чем его противник, поэтому Эрих догонял противника, идущего на машине той же серии. Ведя огонь и преследование, Зуммер вспомнил про последний, живой самолет, который еще может его ударить. Он поискал его глазами в небе и увидел темный силуэт машины и сверкание огня из патрубков ее мотора далеко в стороне. Машина ушла из боя в бегство. «Жаль, — подумал Эрих. — Темно, полночь, фашисты уже близко, не догоню».

Резкий свет, как безмолвный взрыв, вспыхнул впереди Зуммера, и летчик зажмурился: «Я горю? Нет», — Эрих отпустил гашетку, потянул ручку управления, сделал крутой виток петли, вырываясь из гибели, пошел обратным курсом и опомнился.

Машина противника, вращаясь и скручивая собственное пламя, бьющее из ее корпуса, уходила под ним вниз, чтобы вонзиться в землю или раздробиться о скалу.

«Кончено», — сказал Эрих и вздохнул с удовлетворением, как после выполненной мучительной работы. Он развернул машину и повел ее в Испанию. Небо теперь было пусто вокруг него.

По ту сторону Пиренеев лежал туман, Зуммер, сберегая горючее, не стал обходить его сверху, а вошел во влажную тьму и пошел сквозь нее прямым курсом. Он летел сейчас на уменьшенной скорости и рассчитывал свой путь, чтобы посадить машину на республиканскую землю. Можно было бы вскоре пойти на снижение, но по соображению летчика под ним находились предгорья Пиренеев, а туман, наверное, стлался до самой поверхности земли, стеснив тьму ночи в густой мрак.

Зуммер оглянулся на покойного штурмана; тот молчал, хотя еще недавно он был уверен в завоевании всего мира. Пусть спят спокойно и вечно все завоеватели мира — они жизнь хотели превратить в игру и в этой игре выиграть; они предполагали в своем жалком сознании, что действительность — лишь шутка, и у них недостало ни скромности, ни благородства, ни привязанности к людям, — так пусть же они спят мертвыми.

Зуммер увидел слабый свет. Он вышел туда, где светился свет, и увидел море, занимающееся рассветом будущего дня, первоначальной зарею нового времени. Зуммер повернул машину. Он понял, что вылетел в Средиземное море и миновал Каталонию.

Летчик пошел обратно к берегу земли. Клочья тумана, разрываемые винтом, проносились под машиной. Зуммер дал мотору полное, предельное число оборотов, и машина понесла его вперед с такою покорной и радостной мощью, точно Эрих летел в свое давно заслуженное, близкое, ожидающее его счастье.

Зуммер достиг земли и полетел над нею. Если море уже светилось перед рассветом, то здесь, над темными пашнями, было еще глухо и сумрачно, здесь шла ночь и продолжался сон народа, животных и растений…

Пролетев еще немного, Зуммер пошел на посадку. Туман действительно стлался до самой земли, словно рождался из нее, и Зуммер долго летел у поверхности почвы, почти бежал по ней, рискуя вонзиться либо в гору, либо в хижину земледельца или кочующего пастуха. Пролетев километра два, Зуммер повернул обратно и посадил машину на безвестное поле, осторожно притерев ее к неровной земле.

Было еще совсем темно и сумрачно в ночном тумане. Зуммер потушил мотор и свет над доской приборов, положил револьвер себе на колени и задремал до рассвета.

Очнувшись от сна, он услышал отдаленный гул орудий. Летчик вышел из машины и оглядел местную землю. Уже наступило утро, и низовой туман, снедаемый светом солнца, свертывался, подымался немного вверх и рассеивался; тихий свет уничтожал туман, как его уничтожает вихрь, и обнажал простую непокрытую землю. Это был картофельный огород, через который пролегала дорога, взрытая тяжелыми повозками. Ботва картофеля слабо развилась от засухи, и много картофельных кустов было преждевременно вырвано из почвы: очевидно, люди выбирали недозревшую картошку, чтобы кормиться. Зуммер направился по дороге, желая встретить кого-нибудь или разглядеть какой-либо признак, чтобы узнать, чья это земля — республиканская или фашистская, и не заблудился ли он.

Пока Зуммер шел, утро распространилось повсюду, и земля стала далеко видна. К северу на горизонте были горы, к югу, километров за пять отсюда, лежали мягкие возвышенности, и оттуда шел волнообразный постоянный гул работающей артиллерии, точно там было обычное промышленное предприятие.

Картофельное поле сменилось плантацией сахарной свеклы, а в стороне от дороги, среди зелени свеклы, Зуммер увидел бедный крестьянский дом, сложенный из известкового камня. Деревни поблизости не было видно, и в одиноком известковом доме жил, наверно, сторож этой плантации или ночевали крестьяне в рабочее время.

Эрих Зуммер пошел к тому жилищу. Еще не дойдя до него, он увидел ямы в земле от падавших сюда артиллерийских снарядов. Изгороди или каменной ограды вокруг дома не было, уцелевшая свекла росла прямо от стен жилища. Деревянная дверь лежала у крыльца дома, сброшенная наружу, и Зуммер сразу увидел, еще не войдя в дом, что внутри жилища ярко светит свет утреннего неба. Черепичная кровля и потолочный настил были снесены одним ударом артиллерийского снаряда, и теперь небо стало близким к глинобитному полу крестьянского дома.

Внутри дома была всего одна комната. В ней было сейчас прибрано, чисто, кто-то уже убрал сор и обломки от разрушенного потолка. У входа стоял деревянный стол с пустым ведром для воды и скамья для отдыха, а в глубине жилища находилась большая семейная кровать. На той кровати сидел ребенок, мальчик лет семи или восьми, и смотрел на вошедшего Эриха Зуммера. Большие глаза ребенка были широко открыты, как утренний рассвет, но они глядели пусто, точно в них было безоблачное, равнодушное небо. Мальчик уставился глазами на чужого человека, а сам не видел или не понимал летчика: во взоре ребенка не было ни страха, ни удивления, ни вопроса.

Эрих близко подошел к мальчику и спросил его по-испански (Зуммер знал несколько обыденных фраз):

— Где твоя мама?.. Она ушла за водой?..

Мальчик не ответил ему. Он сидел босой, в одних штанах, державшихся на пуговице и на лямке через плечо, и без рубашки. Светлые глаза его, глядящие из большой младенческой головы, по-прежнему не выражали ничего, будто он находился в сновидении или видел что-то другое, отчего не мог оторваться и чего не видел Зуммер.

Эрих поднял ребенка к себе на руки и пошел с ним к машине. Мальчик покорно сидел на руках Эриха и даже прильнул к его плечу в утомлении.

Солнечный день сиял над большими полями, не оставив более нигде следа ночи и тумана. Артиллерия гудела вдали, и гул ее шел не только по воздуху, но и передавался через содрогание земли.

Мальчик тихо пробормотал что-то про себя на плече Эриха и умолк. Зуммер дошел с

ним до самолета и усадил ребенка в кабину на свое место. Затем он дал мальчику шоколад и велел ему есть, а сам занялся штурманом.

Эрих размундировал штурмана, открепил его от кресла, выволок наружу и бросил прочь на землю, а потом спустился сам из машины и отволок труп в сторону, в картофельную ботву. Крови из Кенига ничего не вышло, и штурманское место осталось чистым.

Испанский мальчик покорно жевал шоколад, но забывал или не мог его глотать, поэтому весь рот ребенка был набит шоколадом, а он равнодушно жевал и жевал его дальше. Зуммер попросил мальчика глотать шоколад показал ему, как нужно это делать, но ребенок не слушал летчика и не смотрел на него. Тогда Эрих достал фляжку с коньяком, полил его немного себе на пальцы, а остальное выпил. Вытерев пальцы, Эрих выбрал ими шоколад изо рта мальчика. Ребенок непонимающе смотрел перед собой, затем в глазах его появилось выражение внимания и даже интереса, и он начал бормотать неясные детские слова на родном языке. Поговорив, мальчик умолкал, как бы вслушиваясь, что ему говорит что-то изнутри его души, и опять начинал быстро говорить в ответ кому-то.

Зуммер сидел на полу кабины и слушал ребенка, стараясь понять его. А мальчик бормотал теперь почти не останавливаясь, он все более погружался в свой внутренний мир и в свое воображение; глаза его опять опустели, они смотрели открыто, но были как ослепшие, и ребенок уже вовсе не чувствовал сейчас ничего, что существует вокруг него. Вся его сила уходила в создание не видимого никому внутреннего мира, в переживание этого мира и в младенческое бормотание.

В тоске своей Зуммер видел, как этот ребенок, живой и дышащий, все более удалялся от него в свое безумие, навсегда скрываясь туда, умирая для всех и уже не чувствуя ничего живого вне себя, вне своего маленького сердца и сознания, съедающего самого себя в беспрерывной работе воображения. Зуммер понимал, что безумие мальчика было печальнее смерти: оно обрекало его на невозвратное, безвыходное одиночество.

Но что случилось в мире перед его глазами, от чего этот ребенок был вынужден забыть всю природу и всех людей, чтобы сжаться в жалость своего безумия, как в единственную самозащиту своей жизни? Этого Эрих не мог в точности узнать, хотя и понимал, что современный мир войны и фашизм редко будет дарить детям что-либо другое, кроме смерти и безумия, а взрослым — то слабоумие, которым обладал Фридрих Кениг и обладает и будет, скажем, обладать Клара Шлегель.

Мальчик перестал бормотать и потер себе глаза обеими руками, точно стараясь проснуться, а потом опять начал говорить что-то шепотом, спеша и сбиваясь, и в этом тревожном, спешащем шепоте была, как показалось Эриху, борьба с тайным страданием, желание утолить его и отдохнуть.

«Нет, я не оставлю его жить одного, — сказал Эрих. — Я буду терпеть все и жить, чтобы он не умер… Я буду работать и драться, я не устану и не погибну».

Он взял руку мальчика, погладил ее и поцеловал. Ребенок вдруг взглянул на Эриха, будто узнавая его, потом закрыл глаза и заплакал. Он опустился с кресла летчика на пол, доверчиво прикоснулся к Эриху и внятно сказал несколько слов, из которых Эрих понял, или ему так почудилось, что мальчик хочет увидеть свою маму и просит Эриха отыскать ему ее.

— Ты увидишь свою маму, — сказал Эрих наполовину по-испански, наполовину по-немецки. — Мы отыщем ее, и ты будешь жить вместе с нею всегда.

Мальчик задумчиво и спокойно посмотрел на Эриха, словно он понял его и поверил ему.

Странный свет сверкнул в глаза Зуммера, и тяжелый удар воздуха пошевелил плоскости машины. Летчик увидел невдалеке, на картофельном поле, куски темной земли, уже падавшие обратно с воздуха вниз. Землю только что разорил и выбросил павший туда снаряд. Видимо, Зуммера заметила республиканская артиллерия и по типу машины его правильно приняла за немца. «Это хорошо, — подумал Эрих. — Следующим снарядом они разобьют меня».

Он усадил мальчика на место штурмана, прикрепил его лямками и поясом к сиденью, чтобы ребенок надежно держался на виражах и фигурах машины, а затем устроился сам на своем месте пилота.

Эрих приготовился к взлету и уже хотел нажать кнопку самопуска мотора, но, внимательно поглядев вперед, он раздумал запускать мотор. Впереди машины, приближаясь к ней, ехали по полевой дороге какие-то всадники, человек сорок или больше. Эрих посмотрел на них в бинокль и догадался по одежде и темным лицам, что это марокканцы, их кавалерийский отряд.

Зуммер пустил мотор и пошел вразбег, держа направление прямо на марокканцев. Машина быстро приблизилась к всадникам, и тогда Эрих, не отрывая самолета от земли, взял гашетку пулеметов и начал сечь огнем заметавшихся кавалеристов. Но пулеметы Зуммера через несколько секунд стрельбы замолчали; они истратили весь свой боевой запас.

Эрих выбрал ручку управления, оторвал машину и ушел в высоту — искать вместе с мальчиком, сидящим за его спиной, республиканскую землю и мать этого ребенка или тех людей, которые заменят ему родителей и возвратят в его душу утраченный разум.

В прекрасном и яростном мире
(Машинист Мальцев)

1

В Толубеевском депо лучшим паровозным машинистом считался Александр Васильевич Мальцев.

Ему было лет тридцать, но он уже имел квалификацию машиниста первого класса и давно водил скорые поезда. Когда в наше депо прибыл первый мощный пассажирский паровоз серии «ИС», то на эту машину назначили работать Мальцева, что было вполне разумно и правильно. Помощником у Мальцева работал пожилой человек из деповских слесарей по имени Федор Петрович Драбанов, но он вскоре выдержал экзамен на машиниста и ушел работать на другую машину, а я был, вместо Драбанова, определен работать в бригаду Мальцева помощником; до того я тоже работал помощником механика, но только на старой, маломощной машине.

Я был доволен своим назначением. Машина «ИС», единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления; я мог подолгу глядеть на нее, и особая растроганная радость пробуждалась во мне — столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина. Кроме того, я желал поработать в бригаде первоклассного механика, чтобы научиться у него искусству вождения тяжелых скоростных поездов.

Александр Васильевич принял мое назначение в его бригаду спокойно и равнодушно; ему было, видимо, все равно, кто у него будет состоять в помощниках.

Перед поездкой я, как обычно, проверил все узлы машины, испытал все ее обслуживающие и вспомогательные механизмы и успокоился, считая машину готовой к поездке. Александр Васильевич видел мою работу, он следил за ней, но после меня собственными руками снова проверил состояние машины, точно он не доверял мне.

Так повторялось и впоследствии, и я уже привык к тому, что Александр Васильевич постоянно вмешивался в мои обязанности, хотя и огорчался молчаливо. Но обыкновенно, как только мы были в ходу, я забывал про свое огорчение. Отвлекаясь вниманием от приборов, следящих за состоянием бегущего паровоза, от наблюдения за работой левой машины и пути впереди, я посматривал на Мальцева. Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним. Глаза Александра Васильевича глядели вперед отвлеченно, как пустые, но я знал, что он видел ими всю дорогу впереди и

всю природу, несущуюся нам навстречу, — даже воробей, сметенный с балластного откоса ветром вонзающейся в пространство машины, даже этот воробей привлекал взор Мальцева, и он поворачивал на мгновение голову вслед за воробьем: что с ним станется после нас, куда он полетел.

По нашей вине мы никогда не опаздывали; напротив, часто нас задерживали на промежуточных станциях, которые мы должны проследовать с ходу, потому что мы шли с нагоном времени и нас посредством задержек обратно вводили в график.

Обычно мы работали молча; лишь изредка Александр Васильевич, не оборачиваясь в мою сторону, стучал ключом по котлу, желая, чтобы я обратил свое внимание на какой-нибудь непорядок в режиме работы машины, или подготавливая меня к резкому изменению этого режима, чтобы я был бдителен. Я всегда понимал безмолвные указания своего старшего товарища и работал с полным усердием, однако механик по-прежнему относился ко мне, равно и к смазчику-кочегару, отчужденно и постоянно проверял на стоянках пресс-масленки, затяжку болтов в дышловых узлах, опробовал буксы на ведущих осях и прочее. Если я только что осмотрел и смазал какую-либо рабочую трущуюся часть, то Мальцев вслед за мной снова ее осматривал и смазывал, точно не считая мою работу действительной.

— Я, Александр Васильевич, этот крейцкопф уже проверил, — сказал я ему однажды, когда он стал проверять эту деталь после меня.

— А я сам хочу, — улыбнувшись, ответил Мальцев, и в улыбке его была грусть, поразившая меня.

Позже я понял значение его грусти и причину его постоянного равнодушия к нам. Он чувствовал свое превосходство перед нами, потому что понимал машину точнее, чем мы, и он не верил, что я или кто другой может научиться тайне его таланта, тайне видеть одновременно и попутного воробья, и сигнал впереди, ощущая в тот же момент путь, вес состава и усилие машины. Мальцев понимал, конечно, что в усердии, в старательности мы даже можем его превозмочь, но не представлял, чтобы мы больше его любили паровоз и лучше его водили поезда, — лучше, он думал, было нельзя. И Мальцеву поэтому было грустно с нами; он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать его, чтобы мы поняли.

И мы, правда, не могли понять его умения. Я попросил однажды разрешить повести мне состав самостоятельно; Александр Васильевич позволил мне проехать километров сорок и сел на место помощника. Я повел состав, и через двадцать километров уже имел четыре минуты опоздания, а выходы с затяжных подъемов преодолевал со скоростью не более тридцати километров в час. После меня машину повел Мальцев; он брал подъемы со скоростью пятидесяти километров, и на кривых у него не забрасывало машину, как у меня, и он вскоре нагнал упущенное мною время.

2

Около года я работал помощником у Мальцева, с августа по июль, и 5 июля Мальцев совершил свою последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда…

Мы взяли состав в восемьдесят пассажирских осей, опоздавший до нас в пути на четыре часа. Диспетчер вышел к паровозу и специально попросил Александра Васильевича сократить, сколь возможно, опоздание поезда, свести это опоздание хотя бы к трем часам, иначе ему трудно будет выдать порожняк на соседнюю дорогу. Мальцев пообещал ему нагнать время, и мы тронулись вперед.

Было восемь часов пополудни, но летний день еще длился, и солнце сияло с торжественной утренней силой. Александр Васильевич потребовал от меня держать все время давление пара в котле лишь на полатмосферы ниже предельного.

Через полчаса мы вышли в степь, на спокойный мягкий профиль. Мальцев довел скорость хода до девяноста километров и ниже не сдавал, наоборот — на горизонталях и малых уклонах доводил скорость до ста километров. На подъемах я форсировал топку до

предельной возможности и заставлял кочегара вручную загружать шуровку, в помощь стоккерной машине, ибо пар у меня садился.

Мальцев гнал машину вперед, отведя регулятор на всю дугу и отдав реверс на полную отсечку. Мы теперь шли навстречу мощной туче, появившейся из-за горизонта. С нашей стороны тучу освещало солнце, а изнутри ее рвали свирепые, раздраженные молнии, и мы видели, как мечи молний вертикально вонзались в безмолвную дальнюю землю, и мы бешено мчались к той дальней земле, словно спеша на ее защиту. Александра Васильевича, видимо, увлекло это зрелище: он далеко высунулся в окно, глядя вперед, и глаза его, привыкшие к дыму, к огню и пространству, блестели сейчас воодушевлением. Он понимал, что работа и мощность нашей машины могла идти в сравнение с работой грозы, и, может быть, гордился этой мыслью.

Вскоре мы заметили пыльный вихрь, несшийся по степи нам навстречу. Значит, и грозовую тучу несла буря нам в лоб. Свет потемнел вокруг нас; сухая земля и степной песок засвистели и заскрежетали по железному телу паровоза; видимости не стало, и я пустил турбодинамо для освещения и включил лобовой прожектор впереди паровоза. Нам теперь трудно было дышать от горячего пыльного вихря, забивавшегося в кабину и удвоенного в своей силе встречным движением машины, от топочных газов и раннего сумрака, обступившего нас. Паровоз с воем пробивался вперед, в смутный, душный мрак — в щель света, создаваемую лобовым прожектором. Скорость упала до шестидесяти километров; мы работали и смотрели вперед, как в сновидении.

Вдруг крупная капля ударила по ветровому стеклу — и сразу высохла, испитая жарким ветром. Затем мгновенный синий свет вспыхнул у моих ресниц и проник в меня до самого содрогнувшегося сердца; я схватился за кран инжектора, но боль в сердце уже отошла от меня, и я сразу поглядел в сторону Мальцева — он смотрел вперед и вел машину, не изменившись в лице.

— Что это было? — спросил я у кочегара.

— Молния, — сказал он. — Хотела в нас попасть, да маленько промахнулась.

Мальцев расслышал наши слова.

— Какая молния? — спросил он громко.

— Сейчас была, — произнес кочегар.

— Я не видел, — сказал Мальцев и снова обратился лицом наружу.

— Не видел! — удивился кочегар. — Я думал — котел взорвался, во как засветило, а он не видел.

Я тоже усомнился, что это была молния.

— А гром где? — спросил я.

— Гром мы проехали, — объяснил кочегар. — Гром всегда после бьет. Пока он вдарил, пока воздух расшатал, пока туда-сюда, мы уже прочь его пролетели. Пассажиры, может, слыхали, — они сзади.

Далее мы вошли в ливень, но скоро миновали его и выехали в утихшую, темную степь, над которой неподвижно покоились смирные, изработавшиеся тучи.

Потемнело вовсе, и наступила спокойная ночь. Мы ощущали запах сырой земли, благоухание трав и хлебов, напитанных дождем и грозой, и неслись вперед, нагоняя время.

Я заметил, что Мальцев стал хуже вести машину — на кривых нас забрасывало, скорость доходила то до ста с лишним километров, то снижалась до сорока. Я решил, что Александр Васильевич, наверно, очень уморился, и поэтому ничего не сказал ему, хотя мне было очень трудно держать в наилучшем режиме работу топки и котла при таком поведении механика. Однако через полчаса мы должны остановиться для набора воды, и там, на остановке, Александр Васильевич поест и немного отдохнет. Мы уже нагнали сорок минут, а до конца нашего тягового участка мы нагоним еще не менее часа.

Все же я обеспокоился усталостью Мальцева и стал сам внимательно глядеть вперед — на путь и на сигналы. С моей стороны, над левой машиной, горела на весу электрическая лампа, освещая машущий, дышловой механизм. Я хорошо видел напряженную, уверенную

работу левой машины, но затем лампа над нею припотухла и стала гореть бедно, как одна свечка. Я обернулся в кабину. Там тоже все лампы горели теперь в четверть накала, еле освещая приборы. Странно, что Александр Васильевич не постучал мне ключом в этот момент, чтобы указать на такой непорядок. Ясно было, что турбодинамо не давала расчетных оборотов и напряжение упало. Я стал регулировать турбодинамо через паропровод и долго возился с этим устройством, но напряжение не поднималось.

В это время туманное облако красного света прошло по циферблатам приборов и потолку кабины. Я выглянул наружу.

Впереди, во тьме, близко или далеко — нельзя было установить, красная полоса света колебалась поперек нашего пути. Я не понимал, что это было, но понял, что надо делать.

— Александр Васильевич! — крикнул я и дал три гудка остановки.

Раздались взрывы петард под бандажами наших колес. Я бросился к Мальцеву; он обернул ко мне свое лицо и поглядел на меня пустыми покойными глазами. Стрелка на циферблате тахометра показывала скорость в шестьдесят километров.

— Мальцев! — закричал я. — Мы петарды давим! — и протянул руку к управлению.

— Прочь! — воскликнул Мальцев, и глаза его засияли, отражая свет тусклой лампы над тахометром.

Он мгновенно дал экстренное торможение и перевел реверс назад.

Меня прижало к котлу, я слышал, как выли бандажи колес, стругавшие рельсы.

— Мальцев! — сказал я. — Надо краны цилиндров открыть, машину сломаем.

— Не надо! Не сломаем! — ответил Мальцев.

Мы остановились. Я закачал инжектором воду в котел и выглянул наружу. Впереди нас, метрах в десяти, стоял на нашей линии паровоз, тендером в нашу сторону. На тендере находился человек; в руках у него была длинная кочерга, раскаленная на конце до красного цвета; ею и махал он, желая остановить курьерский поезд. Паровоз этот был толкачом товарного состава, остановившегося на перегоне.

Значит, пока я налаживал турбодинамо и не глядел вперед, мы прошли желтый светофор, а затем и красный и, вероятно, не один предупреждающий сигнал путевых обходчиков. Но отчего эти сигналы не заметил Мальцев?

— Костя! — позвал меня Александр Васильевич.

Я подошел к нему.

— Костя! Что там впереди нас?

Я объяснил ему.

— Костя… Дальше ты поведешь машину, я ослеп.

На другой день я привел обратный состав на свою станцию и сдал паровоз в депо, потому что у него на двух скатах слегка сместились бандажи. Доложив начальнику депо о происшествии, я повел Мальцева под руку к месту его жительства; сам Мальцев был в тяжком удручении и не пошел к начальнику депо.

Мы еще не дошли до того дома на заросшей травою улице, в котором жил Мальцев, как он попросил меня оставить его одного.

— Нельзя, — ответил я. — Вы, Александр Васильевич, слепой человек.

Он посмотрел на меня ясными, думающими глазами.

— Теперь я вижу, ступай домой… Я вижу все — вон жена вышла встретить меня.

У ворот дома, где жил Мальцев, действительно стояла в ожидании женщина, жена Александра Васильевича, и ее открытые черные волосы блестели на солнце.

— А у нее голова покрытая или безо всего? — спросил я.

— Без, — ответил Мальцев. — Кто слепой — ты или я?

— Ну, раз видишь, то смотри, — решил я и отошел от Мальцева.

3

Мальцева отдали под суд, и началось следствие. Меня вызвал следователь и спросил,

что я думаю о происшествии с курьерским поездом. Я ответил, что думал, — что Мальцев не виноват.

— Он ослеп от близкого разряда, от удара молнии, — сказал я следователю. — Он был контужен, и нервы, которые управляют зрением, были у него повреждены… Я не знаю, как это нужно сказать точно.

— Я вас понимаю, — произнес следователь, — вы говорите точно. Это все возможно, но не достоверно. Ведь сам Мальцев показал, что он молнии не видел.

— А я ее видел, и смазчик ее тоже видел.

— Значит, молния ударила ближе к вам, чем к Мальцеву, — рассуждал следователь. — Почему же вы и смазчик не контужены, не ослепли, а машинист Мальцев получил контузию зрительных нервов и ослеп? Как вы думаете?

Я стал в тупик, а затем задумался.

— Молнию Мальцев увидеть не мог, — сказал я.

Следователь удивленно слушал меня.

— Он увидеть ее не мог. Он ослеп мгновенно — от удара электромагнитной волны, которая идет впереди света молнии. Свет молнии есть последствие разряда, а не причина молнии. Мальцев был уже слепой, когда молния засветилась, а слепой не мог увидеть света.

— Интересно, — улыбнулся следователь. — Я бы прекратил дело Мальцева, если бы он и сейчас был слепым. Но вы же знаете, теперь он видит так же, как мы с вами.

— Видит, — подтвердил я.

— Был ли он слепым, — продолжал следователь, — когда на огромной скорости вел курьерский поезд в хвост товарному поезду?

— Был, — подтвердил я.

Следователь внимательно посмотрел на меня.

— Почему же он не передал управление паровозом вам или, по крайней мере, не приказал вам остановить состав?

— Не знаю, — сказал я.

— Вот видите, — говорил следователь. — Взрослый сознательный человек управляет паровозом курьерского поезда, везет на верную гибель сотни людей, случайно избегает катастрофы, а потом оправдывается тем, что он был слеп. Что это такое?

— Но ведь он и сам бы погиб! — говорю я.

— Вероятно. Однако меня больше интересует жизнь сотен людей, чем жизнь одного человека. Может быть, у него были свои причины погибнуть.

— Не было, — сказал я.

Следователь стал равнодушен; он уже заскучал от меня, как от глупца.

— Вы все знаете, кроме главного, — в медленном размышлении сказал он. — Вы можете идти.

От следователя я пошел на квартиру Мальцева.

— Александр Васильевич, — сказал я ему, — почему вы не позвали меня на помощь, когда ослепли?

— А я видел, — ответил он. — Зачем ты нужен мне был?

— Что вы видели?

— Все: линию, сигналы, пшеницу в степи, работу правой машины — я все видел…

Я озадачился.

— А как же так у вас вышло? Вы проехали все предупреждения, вы шли прямо в хвост другому составу…

Бывший механик первого класса грустно задумался и тихо ответил мне, как самому себе:

— Я привык видеть свет, и я думал, что вижу его, а я видел его тогда только в своем уме, в воображении. На самом деле я был слепой, но я этого не знал. Я и в петарды не поверил, хотя и услышал их: я подумал, что ослышался. А когда ты дал гудки остановки и закричал мне, я видел впереди зеленый сигнал, я сразу не догадался.

Теперь я понял Мальцева, но не знал, почему он не скажет о том следователю — о том, что после того, как он ослеп, он еще долго видел мир в своем воображении и верил в его действительность. И я спросил об этом Александра Васильевича.

— А я ему говорил, — ответил Мальцев.

— А он что?

— «Это, говорит, ваше воображение было; может, вы и сейчас воображаете что-нибудь, я не знаю. Мне, говорит, нужно установить факты, а не ваше воображение или мнительность. Ваше воображение — было оно или нет — я проверить не могу, оно было лишь у вас в голове; это ваши слова, а крушение, которое чуть-чуть не произошло, — это действие».

— Он прав, — сказал я.

— Прав, я сам знаю, — согласился машинист. — И я тоже прав, а не виноват. Что же теперь будет?

— В тюрьме сидеть будешь, — сообщил я ему.

4

Мальцева посадили в тюрьму. Я по-прежнему ездил помощником, но только уже с другим машинистом — осторожным стариком, тормозившим состав еще за километр до желтого светофора, а когда мы подъезжали к нему, то сигнал переделывался на зеленый, и старик опять начинал волочить состав вперед. Это была не работа: я скучал по Мальцеву.

Зимою я был в областном городе и посетил своего брата, студента, жившего в университетском общежитии. Брат сказал мне среди беседы, что у них, в университете, есть в физической лаборатории установка Тесла для получения искусственной молнии. Мне пришло в голову некоторое соображение, неуверенное и еще не ясное для меня самого.

Возвратившись домой, я обдумал свою догадку относительно установки Тесла и решил, что моя мысль правильна. Я написал письмо следователю, ведшему в свое время дело Мальцева, с просьбой испытать заключенного Мальцева на подверженность его действию электрических разрядов. В случае, если будет доказана подверженность психики Мальцева либо его зрительных органов действию близких внезапных электрических разрядов, то дело Мальцева надо пересмотреть. Я указал следователю, где находится установка Тесла и как нужно произвести опыт над человеком.

Следователь долго не отвечал мне, но потом сообщил, что областной прокурор согласился произвести предложенную мною экспертизу в университетской физической лаборатории.

Через несколько дней следователь вызвал меня повесткой. Я пришел к нему взволнованный, заранее уверенный в счастливом решении дела Мальцева.

Следователь поздоровался со мной, но долго молчал, медленно читая какую-то бумагу печальными глазами; я терял надежду.

— Вы подвели своего друга, — сказал затем следователь.

— А что? Приговор остается прежний?

— Нет. Мы освободим Мальцева. Приказ уже дан, — может быть, Мальцев уже дома.

— Благодарю вас. — Я встал на ноги перед следователем.

— А мы вас благодарить не будем. Вы дали плохой совет: Мальцев опять слепой…

Я сел на стул в усталости, во мне мгновенно сгорела душа, и я захотел пить.

— Эксперты без предупреждения, в темноте, провели Мальцева под установкой Тесла, — говорил мне следователь. — Включен был ток, произошла молния, и раздался резкий удар. Мальцев прошел спокойно, но теперь он снова не видит света — это установлено объективным путем, судебно-медицинской экспертизой.

Следователь попил воды и добавил:

— Сейчас он опять видит мир только в одном своем воображении… Вы его товарищ, помогите ему.

— Может быть, к нему опять вернется зрение, — высказал я надежду, — как было

тогда, после паровоза…

Следователь подумал.

— Едва ли… Тогда была первая травма, теперь вторая. Рана нанесена по раненому месту.

И, не сдерживаясь более, следователь встал и в волнении начал ходить по комнате.

— Это я виноват… Зачем я послушался вас и, как глупарь, настоял на экспертизе! Я рисковал человеком, а он не вынес риска.

— Вы не виноваты, вы ничем не рисковали, — утешил я следователя. — Что лучше — свободный слепой человек или зрячий, но невинно заключенный?

— Я не знал, что мне придется доказать невиновность человека посредством его несчастья, — сказал следователь. — Это слишком дорогая цена.

— Вы следователь, — объяснил я ему. — Вы должны знать про человека все, и даже то, чего он сам про себя не знает…

— Я вас понимаю, вы правы, — тихо произнес следователь.

— Вы не волнуйтесь, товарищ следователь… Тут действовали факты внутри человека, а вы искали их только снаружи. Но вы сумели понять свой недостаток и поступили с Мальцевым как человек благородный. Я вас уважаю.

— Я вас тоже, — сознался следователь. — Знаете, из вас мог бы выйти помощник следователя…

— Спасибо, но я занят: я помощник машиниста на курьерском паровозе.

Я ушел. Я не был другом Мальцева, и он ко мне всегда относился без внимания и заботы. Но я хотел защитить его от горя судьбы, я был ожесточен против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека; я почувствовал тайный, неуловимый расчет этих сил — в том, что они губили именно Мальцева, а, скажем, не меня. Я понимал, что в природе не существует такого расчета в нашем человеческом, математическом смысле, но я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных, для человеческой жизни гибельных обстоятельств, и эти гибельные силы сокрушают избранных, возвышенных людей. Я решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе, — я чувствовал свою особенность человека. И я пришел в ожесточение и решил воспротивиться, сам еще не зная, как это нужно сделать.

5

На следующее лето я сдал экзамен на звание машиниста и стал ездить самостоятельно на паровозе серии «СУ», работая на пассажирском местном сообщении. И почти всегда, когда я подавал паровоз под состав, стоявший у станционной платформы, я видел Мальцева, сидевшего на крашеной скамейке. Облокотившись рукою на трость, поставленную между ног, он обращал в сторону паровоза свое страстное, чуткое лицо с опустевшими слепыми глазами, и жадно дышал запахом гари и смазочного масла и внимательно слушал ритмичную работу паровоздушного насоса. Утешить его мне было нечем, и я уезжал, а он оставался.

Шло лето; я работал на паровозе и часто видел Александра Васильевича — не только на вокзальной платформе, но встречал его и на улице, когда он медленно шел, ощупывая дорогу тростью. Он осунулся и постарел за последнее время; жил он в достатке — ему определили пенсию, жена его работала, детей у них не было, но тоска, безжизненная участь снедали Александра Васильевича, и тело его худело от постоянного горя. Я с ним иногда разговаривал, но видел, что ему скучно было беседовать о пустяках и довольствоваться моим любезным утешением, что и слепой — это тоже вполне полноправный, полноценный человек.

— Прочь! — говорил он, выслушав мои доброжелательные слова.

Но я тоже был сердитый человек, и, когда, по обычаю, он однажды велел уходить мне прочь, я сказал ему:

— Завтра в десять тридцать я поведу состав. Если будешь сидеть тихо, я возьму тебя в машину.

Мальцев согласился.

— Ладно. Я буду смирным. Дай мне там в руки что-нибудь, — дай реверс подержать: я крутить его не буду.

— Крутить его ты не будешь! — подтвердил я. — Если покрутишь, я тебе дам в руки кусок угля и больше сроду не возьму на паровоз.

Слепой промолчал; он настолько хотел снова побыть на паровозе, что смирился передо мной.

На другой день я пригласил его с крашеной скамейки на паровоз и сошел к нему навстречу, чтобы помочь ему подняться в кабину.

Когда мы тронулись вперед, я посадил Александра Васильевича на свое место машиниста, я положил одну его руку на реверс и другую на тормозной автомат и поверх его рук положил свои руки. Я водил своими руками, как надо, и его руки тоже работали. Мальцев сидел молчаливо и слушался меня, наслаждаясь движением машины, ветром в лицо и работой. Он сосредоточился, забыл свое горе слепца, и кроткая радость осветила изможденное лицо этого человека, для которого ощущение машины было блаженством.

В обратный конец мы ехали подобным же способом: Мальцев сидел на месте механика, а я стоял, склонившись, возле него и держал свои руки на его руках. Мальцев уже приноровился работать таким образом настолько, что мне было достаточно легкого нажима на его руку, и он с точностью ощущал мое требование. Прежний, совершенный мастер машины стремился превозмочь в себе недостаток зрения и чувствовать мир другими средствами, чтобы работать и оправдать свою жизнь.

На спокойных участках я вовсе отходил от Мальцева и смотрел вперед со стороны помощника.

Мы уже были на подходе к Толубееву; наш очередной рейс благополучно заканчивался, и шли мы вовремя. Но на последнем перегоне нам светил навстречу желтый светофор. Я не стал преждевременно сокращать хода и шел на светофор с открытым паром. Мальцев сидел спокойно, держа левую руку на реверсе; я смотрел на своего учителя с тайным ожиданием…

— Закрой пар! — сказал мне Мальцев.

Я промолчал, волнуясь всем сердцем.

Тогда Мальцев встал с места, протянул руку к регулятору и закрыл пар.

— Я вижу желтый свет, — сказал он и повел рукоятку тормоза на себя.

— А может быть, ты опять только воображаешь, что видишь свет! — сказал я Мальцеву.

Он повернул ко мне свое лицо и заплакал. Я подошел к нему и поцеловал его в ответ:

— Веди машину до конца, Александр Васильевич: ты видишь теперь весь свет!

Он довел машину до Толубеева без моей помощи. После работы я пошел вместе с Мальцевым к нему на квартиру, и мы вместе с ним просидели весь вечер и всю ночь.

Я боялся оставить его одного, как родного сына, без защиты против действия внезапных и враждебных сил нашего прекрасного и яростного мира.